РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. БОЛЬШИЕ КНИГИ

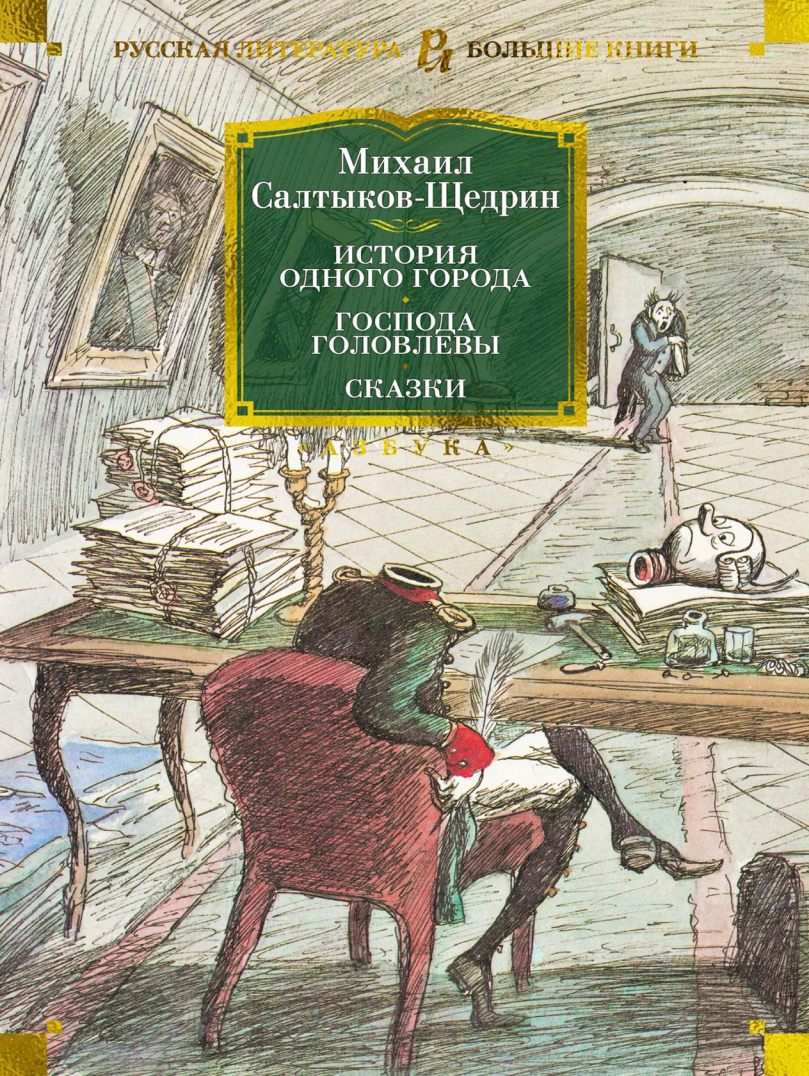
Михаил Салтыков-Щедрин

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ

СКАЗКИ

«АЗБУКА»



История одного города. Господа Головлевы. Сказки

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Аннотация
Михаил Салтыков-Щедрин. История одного города. Господа Головлевы. Сказки
История одного города
- От издателя
- Обращение к читателю
- О Корени происхождения Глуповцев
- Опись градоначальникам
- Органчик
- Сказание о шести градоначальницах
- Известие о Двоекурове
- Голодный город
- Соломенный город
- Фантастический путешественник
- Войны за просвещение
- Эпоха увольнения от войн
- Поклонение мамоне и покаяние
- Подтверждение покаяния. Заключение
- Оправдательные документы

Господа Головлевы

Семейный суд
По-родственному
Семейные итоги
Племяннушка
Недозволенные семейные радости
Выморочный
Расчет
Сказки
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил
Пропала совесть
Дикий помещик
Премудрый пискарь
Самоотверженный заяц
Бедный волк
Добродетели и Пороки
Медведь на воеводстве
Обманщик-газетчик и легковерный читатель
Вяленая вобла
Орел-меценат
Карась-идеалист
Игрушечного дела людишки
Чижиково горе
Верный Трезор
Недреманное око
Дурак

Соседи
Здравомысленный заяц
Либерал
Баран-непомнящий
Коняга
Кисель
Праздный разговор
Деревенский пожар
Путем-дорогою
Богатырь
Гиена
Приключение с Крамольниковым
Христова ночь
Ворон-челобитчик
Рождественская сказка
Приложение
Сказка о ретивом начальнике, как он сам своими действиями в изумление был приведен

Аннотация

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина занимает особое место в истории русской литературы. Его сатира откликалась на все значительные явления общественной жизни, безжалостно бичуя пороки, обличая ложь и нравственный упадок эпохи «великих реформ». Однако написанные на злобу дня, произведения Салтыкова-Щедрина парадоксальным образом не утрачивают своей актуальности.

В настоящее издание вошли романы «История одного города» и «Господа Головлевы», а также сказки. Тексты печатаются с иллюстрациями Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова – выдающихся русских художников, совместно работавших под творческим псевдонимом Кукрыниксы, а также Николая Кузьмина.

Михаил Салтыков-Щедрин
История одного города. Господа Головлевы. Сказки

© Кукрыниксы (наследники), иллюстрации, 2026
© Н. В. Кузьмин (наследники), иллюстрации, 2026
© Оформление ООО «Издательство АЗБУКА», 2022
Издательство Азбука®

* * *

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



Михаил
Салтыков-Щедрин

История одного города

•

Господа Головлевы

•

Сказки



АЗБУКА

Санкт-Петербург

История одного города

ПО ПОДЛИННЫМ ДОКУМЕНТАМ ИЗДАЛ М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



От издателя

Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города (или края) в данный период времени, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне, роясь в глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского Летописца», и, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Содержание «Летописца» довольно однообразно; оно почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников, в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова, и описанием замечательнейших их действий, как то: скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройства мостовых, обложения данями откупщиков и т. д. Тем не менее даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его

истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина — распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского — неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни; в первом случае обыватели трепетали бессознательно, во втором — трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем — возвышались до трепета, исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых — и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости[1].

Летопись ведена преемственно четырьмя городовыми архивариусами и обнимает период

---

[1] Notes: 1

Нестомчивость — неутомимость, выносливость.

времени с 1731 по 1825 год. В этом году, по-видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною. Внешность «Летописца» имеет вид самый настоящий, то есть такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в его подлинности; листы его так же желты и испещрены каракулями, так же изъедены мышами и загажены мухами, как и листы любого памятника погодинского древлехранилища[2]. Так и чувствуется, как сидел над ними какой-нибудь архивный Пимен, освещая свой труд трепетно горящею сальною свечкой и всячески защищая его от неминуемой любознательности гг. Шубинского, Мордовцева и Мельникова[3]. Летописи предшествует особый свод, или «опись», составленная, очевидно, последним летописцем; кроме того, в виде оправдательных документов к ней приложено несколько детских тетрадок, заключающих в себе оригинальные упражнения на различные

---

[2] Notes: 2

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — историк и писатель. Его коллекция древних рукописей, книг, монет, оружия и утвари получила название древнехранилища; большую часть коллекции Погодин продал Публичной библиотеке.

[3] Notes: 3

С. Н. Шубинский, Д. Л. Мордовцев, П. И. Мельников — по определению самого Салтыкова, русские «фельетонисты-историки», авторы исторических очерков.

темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения: «Об административном всех градоначальников единомыслии», «О благовидной градоначальников наружности», «О спасительности усмирений (с картинками)», «Мысли при взыскании недоимок», «Превратное течение времени» и, наконец, довольно объемистая диссертация «О строгости». Утвердительно можно сказать, что упражнения эти обязаны своим происхождением перу различных градоначальников (многие из них даже подписаны) и имеют то драгоценное свойство, что, во-первых, дают совершенно верное понятие о современном положении русской орфографии и, во-вторых, живописуют своих авторов гораздо полнее, доказательнее и образнее, нежели даже рассказы «Летописца».

Что касается до внутреннего содержания «Летописца», то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Таков, например, совершенно ни с чем не сообразный рассказ о градоначальнике с музыкой. В одном месте «Летописец» рассказывает, как градоначальник летал по воздуху, в другом — как другой градоначальник, у которого ноги были обращены ступнями назад,

едва не сбежал из пределов градоначальства. Издатель не счел, однако ж, себя вправе утаить эти подробности; напротив того, он думает, что возможность подобных фактов в прошедшем еще с большею ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него. Сверх того, издателем руководила и та мысль, что фантастичность рассказов нимало не устраняет их административно-воспитательного значения и что опрометчивая самонадеянность летающего градоначальника может даже и теперь послужить спасительным предостережением для тех из современных администраторов, которые не желают быть преждевременно уволенными от должности.

Во всяком случае, в видах предотвращения злонамеренных толкований, издатель считает долгом оговориться, что весь его труд в настоящем случае заключается только в том, что он исправил тяжелый и устарелый слог «Летописца» и имел надлежащий надзор за орфографией, нимало не касаясь самого содержания летописи. С первой минуты до последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина, и это одно уже может служить ручательством, с каким почтительным трепетом он относился к

своей задаче.

Обращение к читателю

ОТ ПОСЛЕДНЕГО АРХИВАРИУСА-ЛЕТОПИСЦА[4]

Ежели древним еллинам и римлянам дозволено было слагать хвалу своим безбожным начальникам и предавать потомству мерзкие их деяния для назидания, ужели же мы, христиане, от Византии свет получившие, окажемся в сем случае менее достойными и благодарными? Ужели во всякой стране найдутся и Нероны преславные, и Калигулы, доблестью сияющие[5], и только у себя мы таковых не обрящем? Смешно и нелепо даже помыслить таковую нескладицу, а не то чтобы оную вслух проповедывать, как де-

---

[4] Notes: 4

«Обращение» это помещается здесь досрочно словами самого «Летописца». Издатель позволил себе наблюсти только за тем, чтобы права буквы Ь не были слишком бесцеремонно нарушены. — *Изд.*

[5] Notes: 5

Очевидно, что летописец, определяя качества этих исторических лиц, не имел понятия даже о руководствах, изданных для средних учебных заведений. Но страннее всего, что он был незнаком даже с стихами Державина:

Калигула! твой конь в сенате
Не мог сиять, сияя в злате:
Сияют добрые дела!

— *Примеч. изд.*

лают некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагают, что они у них в голове, словно мухи без пристанища, там и сям вольно летают.

Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь, — и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет, и не иметь не может. Взгляни на первую лужу — и в ней найдешь гада, который иройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. Взгляни на древо — и там усмотришь некоторый сук больший и против других крепчайший, а следственно, и доблестнейший. Взгляни, наконец, на собственную свою персону — и там прежде всего встретишь главу, а потом уже не оставишь без приметы брюхо и прочие части. Что же, по-твоему, доблестнее: глава ли твоя, хотя и легкою начинкою начиненная, но и за всем тем горé устремляющаяся, или же стремящееся долу брюхо, на то только и пригодное, чтобы изготовлять… О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство!

Таковы-то были мысли, которые побудили меня, смиренного городового архивариуса (получающего в месяц два рубля содержания, но и за всем тем славословящего), купно с троими мои-

ми предшественниками, неумытными[6] устами воспеть хвалу славных оных Неронов[7], кои не безбожием и лживою еллинскою мудростью, но твердостью и начальственным дерзновением преславный наш град Глупов преестественно украсили. Не имея дара стихослагательного, мы не решились прибегнуть к бряцанию и, положась на волю Божию, стали излагать достойные деяния недостойным, но свойственным нам языком, избегая лишь подлых слов. Думаю, впрочем, что таковая дерзостная наша затея простится нам ввиду того особливого намерения, которое мы имели, приступая к ней.

Сие намерение — есть изобразить преемственно градоначальников, в город Глупов от российского правительства в разное время поставленных. Но, предпринимая столь важную материю, я, по крайней мере, не раз вопрошал себя: по силам ли будет мне сие бремя? Много видел я на своем веку поразительных сих подвижников, много видели таковых и мои предместники. Всего же числом двадцать два, следовавших непрерывно, в величественном

---

[6] Notes: 6
Неумытный — неподкупный, честный.

[7] Notes: 7
Опять та же прискорбная ошибка. — *Изд.*

порядке, один за другим, кроме семидневного пагубного безначалия, едва не повергшего весь град в запустение. Одни из них, подобно бурному пламени, пролетали из края в край, все очищая и обновляя; другие, напротив того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити, а бурность и сокрушительность предоставляли в удел правителям канцелярии. Но все, как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память в сердцах сограждан, ибо все были градоначальники. Сие трогательное соответствие само по себе уже столь дивно, что немалое причиняет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более славословить: власть ли, в меру дерзающую, или сей виноград, в меру благодарящий?

Но сие же самое соответствие, с другой стороны, служит и немалым для летописателя облегчением. Ибо в чем состоит собственно задача его? В том ли, чтобы критиковать или порицать? — Нет, не в том. В том ли, чтобы рассуждать? — Нет, и не в этом. В чем же? — А в том, легкодумный вольнодумец, чтобы быть лишь изобразителем означенного соответствия и об оном предать потомству в надлежащее назидание.

В сем виде взятая, задача делается доступною даже смиреннейшему из смиренных, потому что

он изображает собой лишь скудельный сосуд, в котором замыкается разлитое повсюду в изобилии славословие. И чем тот сосуд скудельнее, тем краше и вкуснее покажется содержимая в нем сладкая славословная влага. А скудельный сосуд про себя скажет: вот и я на что-нибудь пригодился, хотя и получаю содержания два рубля медных в месяц!

Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас — благочестие, Рим заражало буйство, а нас — кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас — начальники.

И еще скажу: летопись сию преемственно слагали четыре архивариуса: Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка, Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к г. Бартеневу и

дабы не напечатал он их в своем «Архиве». А за тем Богу слава и разглагольствию моему конец.

О Корени происхождения Глуповцев

«Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под облаки, ни, подобно Пыпину[8], растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и предобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло»[9].

Так начинает свой рассказ летописец и затем, сказав несколько слов в похвалу своей скромности, продолжает.

Был, говорит он, в древности народ, головотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди

---

[8] Notes: 8

Костомаров Николай Иванович (1817–1885) — историк, публицист. *Пыпин Александр Николаевич* (1833–1904) — литературовед, этнограф.

[9] Notes: 9

Очевидно, летописец подражает здесь «Слову о полку Игореве»: «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мыслью по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облаки». И далее: «О, Бояне! соловию старого времени! Абы ты сии пълки ущекотал» и т. д. — *Изд.*

оттого, что имели привычку «тяпать» головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется — об стену тяпают; Богу молиться начнут — об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонёбые долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности; когда же лгали, то прибавляли «да будет мне стыдно» и были наперед уверены, что «стыд глаза не выест». Таким образом взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешки кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев и нечем было «людской завод» продолжать, тогда головотяпы первые взялись за ум. Поняли, что ко-

му-нибудь да надо верх взять, и послали сказать соседям: будем друг с дружкой до тех пор головами тяпаться, пока кто кого перетяпает. «Хитро это они сделали, — говорит летописец, — знали, что головы у них на плечах растут крепкие, — вот и предложили». И действительно, как только простодушные соседи согласились на коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех, с Божьею помощью, перетяпали. Первые уступили слепороды и рукосуи; больше других держались гущееды, ряпушники и кособрюхие. Чтобы одолеть последних, вынуждены были даже прибегнуть к хитрости. А именно: в день битвы, когда обе стороны встали друг против друга стеной, головотяпы, не уверенные в успешном исходе своего дела, прибегли к колдовству: пустили на кособрюхих солнышко. Солнышко-то само по себе так стояло, что должно было светить кособрюхим в глаза, но головотяпы, чтобы придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону кособрюхих шапками: вот, дескать, мы каковы, и солнышко заодно с нами. Однако кособрюхие не сразу испугались, а сначала тоже догадались: высыпали из мешков толокно и стали ловить солнышко мешками. Но изловить не изловили и только тогда, увидев, что правда на

стороне головотяпов, принесли повинную.

Собрав воедино куралесов, гущеедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться внутри, с очевидною целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из нее лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, потом козла в соложеном тесте утопили, потом свинью за бобра купили да собаку за волка убили, потом лапти растеряли да по дворам искали: было лаптей шесть, а сыскали семь; потом рака с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за восемь верст ловить ходили, а комар у пошехонца на носу сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами острог[10] конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом беса в солдаты отдавали, потом небо кольями подпирали, наконец, утомились и стали ждать, что из этого выйдет.

Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села; блины, которыми острог конопатили, арестанты съели; кошели, в которых кашу варили, сгорели

---

[10] Notes: 10
Частокол.

вместе с кашею. А рознь да галденье пошли пуще прежнего: опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя.

— Он нам все мигом предоставит, — говорил старец Добромысл, — он и солдатов у нас наделает, и острог, какой следовает, выстроит! Айда, ребята!

Искали, искали они князя и чуть-чуть в трех соснах не заблудилися, да спасибо случился тут пошехонец-слепород, который эти три сосны как свои пять пальцев знал. Он вывел их на торную дорогу и привел прямо к князю на двор.

— Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? — вопросил князь посланных.

— Мы головотяпы! нет нас в свете народа мудрее и храбрее! Мы даже кособрюхих и тех шапками закидали! — хвастали головотяпы.

— А что вы еще сделали?

— Да вот комара за семь верст ловили, — начали было головотяпы, и вдруг им сделалось так смешно, так смешно… Посмотрели они друг на дружку и прыснули.

— А ведь это ты, Петра, комара-то ловить хо-

дил! — насмехался Ивашка.

— Ан ты!

— Нет, не я! у тебя он и на носу-то сидел!

Тогда князь, видя, что они и здесь, перед лицом его, своей розни не покидают, сильно распалился и начал учить их жезлом.

— Глупые вы, глупые! — сказал он. — Не головотяпами следует вам, по делам вашим, называться, а глуповцами! Не хочу я володеть глупыми! а ищите такого князя, какого нет в свете глупее, — и тот будет володеть вами.

Сказавши это, еще маленько поучил жезлом и отослал головотяпов от себя с честию.

Задумались головотяпы над словами князя; всю дорогу шли и все думали.

— За что он нас раскостил? — говорили одни. — Мы к нему всей душой, а он послал нас искать князя глупого!

Но в то же время выискались и другие, которые ничего обидного в словах князя не видели.

— Что же, — возражали они, — нам глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будет! Сейчас мы ему коврижку в руки: жуй, а нас не замай!

— И то правда, — согласились прочие.

Воротились добры молодцы домой, но сначала решили опять попробовать устроиться сами со-

бой. Петуха на канате кормили, чтоб не убежал, божку съели… Однако толку все не было. Думали-думали и пошли искать глупого князя.

Шли они по ровному месту три года и три дня, и все никуда прийти не могли. Наконец, однако, дошли до болота. Видят, стоит на краю болота чухломец-рукосуй, рукавицы торчат за поясом, а он других ищет.

— Не знаешь ли, любезный рукосуюшко, где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его в свете глупее? — взмолились головотяпы.

— Знаю, есть такой, — отвечал рукосуй, — вот идите прямо через болото, как раз тут.

Бросились они все разом в болото, и больше половины их тут потопло («Многие за землю свою поревновали», — говорит летописец); наконец вылезли из трясины и видят: на другом краю болотины, прямо перед ними, сидит сам князь — да глупый-преглупый! Сидит и ест пряники писаные. Обрадовались головотяпы: вот так князь! лучшего и желать нам не надо!

— Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? — молвил князь, жуя пряники.

— Мы головотяпы! нет нас народа мудрее и храбрее! Мы гущеедов — и тех победили! — хвастались головотяпы.

— Что же вы еще сделали?

— Мы щуку с яиц согнали, мы Волгу толокном замесили… — начали было перечислять головотяпы, но князь не захотел и слушать их.

— Я уж на что глуп, — сказал он, — а вы еще глупее меня! Разве щука сидит на яйцах? или можно разве вольную реку толокном месить? Нет, не головотяпами следует вам называться, а глуповцами! Не хочу я володеть вами, а ищите вы себе такого князя, какого нет в свете глупее, — и тот будет володеть вами!

И, наказав жезлом, отпустил с честию.

Задумались головотяпы: надул курицын сын рукосуй! Сказывал, нет этого князя глупее — ан он умный! Однако воротились домой и опять стали сами собой устраиваться. Под дождем онучи сушили, на сосну Москву смотреть лазили. И все нет как нет порядку, да и полно. Тогда надоумил всех Пётра Комар.

— Есть у меня, — сказал он, — друг-приятель, по прозванью вор-новото́р, уж если экая выжига князя не сыщет, так судите вы меня судом милостивым, рубите с плеч мою голову бесталанную!

С таким убеждением высказал он это, что головотяпы послушались и призвали новотора-

вора[11]. Долго он торговался с ними, просил за розыск алтын да деньгу, головотяпы же давали грош да животы свои в придачу. Наконец, однако, кое-как сладились и пошли искать князя.

— Ты нам такого ищи, чтоб немудрый был! — говорили головотяпы новотору-вору. — На что нам мудрого-то, ну его к ляду!

И повел их вор-новотор сначала все ельничком да березничком, потом чащей дремучею, потом перелесочком, да и вывел прямо на поляночку, а посередь той поляночки князь сидит.

Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит, это, перед ними князь, да умной-преумной; в ружьецо попаливает да сабелькой помахивает. Что ни выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит, что ни махнет сабелькой, то голова с плеч долой. А вор-новотор, сделавши такое пакостное дело, стоит, брюхо поглаживает да в бороду усмехается.

---

[11] Notes: 11

Новоторы — жители Новоторжского уезда Тверской губернии.



— Что ты! с ума, никак, спятил! пойдет ли этот к нам? во сто раз глупее были, — и те не пошли! — напустились головотяпы на новотора-вора.

— Ни́што! обладим! — молвил вор-новотор. — Дай срок, я глаз на глаз с ним слово перемолвлю.

Видят головотяпы, что вор-новотор кругом на кривой их объехал, а на попятный уж не смеют.

— Это, брат, не то что с «кособрюхими» лбами тяпаться! нет, тут, брат, ответ подай: каков таков человек? какого чину и звания? — гуторят они меж собой.

А вор-новотор этим временем дошел до самого князя, снял перед ним шапочку соболиную и стал ему тайные слова на ухо говорить. Долго они шептались, а про что — не слыхать. Только и почуяли головотяпы, как вор-новотор говорил: «Драть их, ваша княжеская светлость, завсегда очень свободно».

Наконец и для них настал черед встать перед ясные очи его княжеской светлости.

— Что вы за люди? и зачем ко мне пожаловали? — обратился к ним князь.

— Мы головотяпы! нет нас народа храбрее, — начали было головотяпы, но вдруг смутились.

— Слыхал, господа головотяпы! — усмехнулся князь («и таково ласково усмехнулся, словно

солнышко просияло!» — замечает летописец). — Весьма слыхал! И о том знаю, как вы рака с колокольным звоном встречали — довольно знаю! Об одном не знаю, зачем же ко мне-то вы пожаловали?

— А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить: много мы промеж себя убивств чинили, много друг дружке разорений и наругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и володей нами!

— А у кого, спрошу вас, вы допрежь сего из князей, братьев моих, с поклоном были?

— А были мы у одного князя глупого, да у другого князя глупого ж — и те володеть нами не похотели!

— Ладно. Володеть вами я желаю, — сказал князь, — а чтоб идти к вам жить — не пойду! Потому вы живете звериным обычаем: с беспробного золота пенки снимаете, снох портите! А вот посылаю к вам, заместо себя, самого этого новотора-вора: пущай он вами дóма правит, а я отсель и им, и вами помыкать буду!

Понурили головотяпы головы и сказали:

— Так!

— И будете вы платить мне дани многие, — продолжал князь, — у кого овца ярку принесет,

овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь; у кого грош случится, тот разломи его начетверо: одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую себе оставь. Когда же пойду на войну — и вы идите! А до прочего вам ни до чего дела нет!

— Так! — отвечали головотяпы.

— И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать; прочих же всех — казнить.

— Так! — отвечали головотяпы.

— А как не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами.

— Так! — отвечали головотяпы.

Затем приказал князь обнести послов водкою да одарить по пирогу да по платку алому и, обложив данями многими, отпустил от себя с честию.

Шли головотяпы домой и воздыхали. «Воздыхали не ослабляючи, вопияли сильно!» — свидетельствует летописец. «Вот она, княжеская правда какова!» — говорили они. И еще говорили: «Та́кали мы, та́кали, да и прота́кали!» Один же из них, взяв гусли, запел:

Не шуми, мати зелена дубровушка!
Не мешай добру молодцу думу думати,

Как заутра мне, добру молодцу, на допрос идти

Перед грозного судью, самого царя…

Чем далее лилась песня, тем ниже понуривались головы головотяпов. «Были между ними, — говорит летописец, — старики седые и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли; были и молодые, кои той воли едва отведали, но и те тоже плакали. Тут только познали все, какова такова прекрасная воля есть». Когда же раздались заключительные стихи песни:

Я за то тебя, детинушку, пожалую

Среди поля хоромами высокими,

Что двумя столбами с перекладиною… —

то все пали ниц и зарыдали.

Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами. «Так и процвела сия древняя отрасль», — прибавляет летописец.

Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением

их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару[12] с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами, и, действительно, не в долгом времени возжег бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потом сычужники. Вор-новотор ходил на них с пушечным снарядом, палил неослабляючи и, перепалив всех, заключил мир, то есть у заугольников ел палтусину, у сычужников — сычуги. И получил от князя похвалу великую. Вскоре, однако, он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстве дошли даже до князя. Распалился князь крепко и послал неверному рабу петлю. Но новотор, как сущий вор, и тут извернулся: предварил казнь тем, что, не выждав петли, зарезался огурцом.

После новотора-вора пришел «заместь князя» одоевец, тот самый, который «на грош постных яиц купил». Но и он догадался, что без бунтов ему не жизнь, и тоже стал донимать. Поднялись кособрюхие, калашники, соломатники — все отстаивали старину да права свои. Одоевец пошел против бунтовщиков и тоже начал неослабно палить, но, должно быть, палил зря, потому что

---

[12] Notes: 12
Хабара — поборы, взятки.

бунтовщики не только не смирялись, но увлекли за собой чернонёбых и губошлепов. Услыхал князь бестолковую пальбу бестолкового одоевца и долго терпел, но напоследок не стерпел: вышел против бунтовщиков собственною персоною и, перепалив всех до единого, возвратился восвояси.

— Посылал я сущего вора — оказался вор, — печаловался при этом князь, — посылал одоевца, по прозванию «продай на грош постных яиц», — и тот оказался вор же. Кого пошлю ныне?

Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать преимущество: орловцу ли — на том основании, что «Орел да Кромы — первые воры», — или шуянину, на том основании, что он «в Питере бывал, на полу сыпáл, и тут не упал», но наконец предпочел орловца, потому что он принадлежал к древнему роду «Проломленных Голов». Но едва прибыл орловец на место, как встали бунтом старичане и, вместо воеводы, встретили с хлебом с солью петуха. Поехал к ним орловец, надеясь в Старице стерлядями полакомиться, но нашел, что там «только грязи довольно». Тогда он Старицу сжег, а жен и дев старицких отдал самому себе на поругание. «Князь же, уведав о том, урезал ему язык».

Затем князь еще раз попробовал послать «вора попроще», и в этих соображениях выбрал калязинца, который «свинью за бобра купил», но этот оказался еще пущим вором, нежели новотор и орловец. Взбунтовал семендяевцев и заозерцев и, «убив их, сжег».

Тогда князь выпучил глаза и воскликнул:

— Несть глупости горшия, яко глупость!

«И прибых собственною персоною в Глупов и возопи:

— Запорю!»

С этим словом начались исторические времена.

Опись градоначальникам

В РАЗНОЕ ВРЕМЯ В ГОРОД ГЛУПОВ ОТ ВЫШНЕГО НАЧАЛЬСТВА ПОСТАВЛЕННЫМ

(1731–1826)

1) Клементий, Амадей Мануйлович. Вывезен из Италии Бироном, герцогом Курляндским, за искусную стряпню макарон; потом, будучи внезапно произведен в надлежащий чин, прислан градоначальником. Прибыв в Глупов, не только не оставил занятия макаронами, но даже многих усильно к тому принуждал, чем себя и воспрославил. За измену бит в 1734 году кнутом и, по вырывании ноздрей, сослан в Березов.

2) Ферапонтов, Фотий Петрович, бригадир. Бывый брадобрей оного же герцога Курляндского. Многократно делал походы против недоимщиков и столь был охоч до зрелищ, что никому без себя сечь не доверял. В 1738 году, быв в лесу, растерзан собаками.

3) Великанов, Иван Матвеевич. Обложил в свою пользу жителей данью по три копейки с души, предварительно утопив в реке экономии

директора. Перебил в кровь многих капитан-исправников. В 1740 году, в царствование кроткия Елисавет, быв уличен в любовной связи с Авдотьей Лопухиной, бит кнутом и, по урезании языка, сослан в заточение в Чердынский острог.

4) Урус-Кугуш-Кильдибаев, Маныл Самылович, капитан-поручик из лейб-кампанцев. Отличался безумной отвагой и даже брал однажды приступом город Глупов. По доведении о сем до сведения, похвалы не получил и в 1745 году уволен с распубликованием[13].

5) Лаврокакис, беглый грек, без имени и отчества, и даже без чина, пойманный графом Кирилою Разумовским в Нежине, на базаре. Торговал греческим мылом, губкою и орехами; сверх того, был сторонником классического образования. В 1756 году был найден в постели, заеденный клопами.

6) Баклан, Иван Матвеевич, бригадир. Был роста трех аршин и трех вершков[14] и кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого (известная в Москве колокольня). Переломлен пополам во время бури, свирепство-

---

[13] Notes: 13
Распубликование — публичный позор.

[14] Notes: 14
Почти 2 м 30 см.

вавшей в 1761 году.

7) Пфейфер, Богдан Богданович, гвардии сержант, голштинский выходец. Ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество.

8) Брудастый, Дементий Варламович. Назначен был впопыхах и имел в голове некоторое особливое устройство, за что и прозван был «Органчиком». Это не мешало ему, впрочем, привести в порядок недоимки, запущенные его предместником. Во время сего правления произошло пагубное безначалие, продолжавшееся семь дней, как о том будет повествуемо ниже.

9) Двоекуров, Семен Константиныч, штатский советник и кавалер. Вымостил Большую и Дворянскую улицы, завел пивоварение и медоварение, ввел в употребление горчицу и лавровый лист, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал о заведении в Глупове академии. Написал сочинение «Жизнеописания замечательнейших обезьян». Будучи крепкого телосложения, имел последовательно восемь амант[15]. Супруга его, Лукерья Терентьевна, тоже была весьма снисходительна и тем много способствовала блеску сего правления. Умер в 1770 году

---

[15] Notes: 15

Аманта — возлюбленная, любовница, фаворитка (от *фр.* amante).

своею смертью.

10) Маркиз де Санглот, Антон Протасьевич, французский выходец и друг Дидерота. Отличался легкомыслием и любил петь непристойные песни. Летал по воздуху в городском саду, и чуть было не улетел совсем, как зацепился фалдами за шпиц, и оттуда с превеликим трудом снят. За эту затею уволен в 1772 году, а в следующем же году, не уныв духом, давал представления у Излера на минеральных водах[16].

11) Фердыщенко, Петр Петрович, бригадир. Бывший денщик князя Потемкина. При не весьма обширном уме был косноязычен. Недоимки запустил; любил есть буженину и гуся с капустой. Во время его градоначальствования город подвергся голоду и пожару. Умер в 1779 году от объедения.

12) Бородавкин, Василиск Семенович. Градоначальничество сие было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовал в кампании против недоимщиков, причем спалил тридцать три деревни и, с помощью сих мер, взыскал недоимок два рубля с полтиною. Ввел в

[16] Notes: 16

Это очевидная ошибка. — *Примеч. изд.* Имеется в виду модный петербургский ресторан «Заведение искусственных минеральных вод» И. И. Излера.

употребление игру ламуш[17] и прованское масло; замостил базарную площадь и засадил березками улицу, ведущую к присутственным местам; вновь ходатайствовал о заведении в Глупове академии, но, получив отказ, построил съезжий дом. Умер в 1798 году, на экзекуции, напутствуемый капитан-исправником.

13) Негодяев, Онуфрий Иванович, бывый гатчинский истопник. Размостил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов. Сменен в 1802 году за несогласие с Новосильцевым, Чарторыйским и Строгоновым (знаменитый в свое время триумвират) насчет конституций, в чем его и оправдали последствия.

14) Микаладзе, князь Ксаверий Георгиевич, черкашенин, потомок сладострастной княгини Тамары. Имел обольстительную наружность и был столь охоч до женского пола, что увеличил глуповское народонаселение почти вдвое. Оставил полезное по сему предмету руководство. Умер в 1814 году от истощения сил.

15) Беневоленский, Феофилакт Иринархович, статский советник, товарищ Сперанского по

---

[17] Notes: 17
Ламуш — карточная игра.

семинарии. Был мудр и оказывал склонность к законодательству. Предсказал гласные суды и земство. Имел любовную связь с купчихою Распоповою, у которой по субботам, едал пироги с начинкой. В свободное от занятий время сочинял для городских попов проповеди и переводил с латинского сочинения Фомы Кемпийского. Вновь ввел в употребление, яко полезные, горчицу, лавровый лист и прованское масло. Первый обложил данью откуп, от коего и получал три тысячи рублей в год. В 1811 году, за потворство Бонапарту, был призван к ответу и сослан в заточение.

16) Прыщ, майор, Иван Пантелеич. Оказался с фаршированной головой, в чем и уличен местным предводителем дворянства.

17) Иванов, статский советник, Никодим Осипович. Был столь малого роста, что не мог вмещать пространных законов. Умер в 1819 году от натуги, усиливаясь постичь некоторый сенатский указ.

18) Дю Шарио, виконт, Ангел Дорофеевич, французский выходец. Любил рядиться в женское платье и лакомился лягушками. По рассмотрении оказался девицею. Выслан в 1821 году за границу.

20) Грустилов, Эраст Андреевич, статский советник. Друг Карамзина. Отличался нежностью

и чувствительностью сердца, любил пить чай в городской роще, и не мог без слез видеть, как токуют тетерева. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 году. Дань с откупа возвысил до пяти тысяч рублей в год.

21) Угрюм-Бурчеев, бывый прохвост. Разрушил старый город и построил другой на новом месте.

22) Перехват-Залихватский, Архистратиг Стратилатович, майор. О сем умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.

Органчик[18]

В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника, Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей». Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них, и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями: батюшка-то наш! красавчик-то наш! умница-то наш!

Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями

---

[18] Notes: 18

По «Краткой описи» значится под № 8. Издатель нашел возможным не придерживаться строго хронологического порядка при ознакомлении публики с содержанием «Летописца». Сверх того, он счел за лучшее представить здесь биографии только замечательнейших градоначальников, так как правители не столь замечательные достаточно характеризуются предшествующею настоящему очерку «Краткою описью». — *Изд.*

благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что, под наблюдением квартальных надзирателей, возникнут науки и искусства. Не удержались и от сравнений. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что, за всем тем, новому правителю уже по тому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие.

Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты), и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хотин.

Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и надежды их были, по малой мере,

преждевременны и преувеличенны. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами, произнес: «Не потерплю!» — и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели; за ними остолбенели и обыватели.

Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы — народ изнеженный и до крайности набалованный. Они любят, чтоб у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его, по временам, исходили любезные прибаутки, и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в Глупове академии (таков, например, штатский советник Двоекуров, значащийся по «описи» под № 9), но так как они не обзывали глуповцев ни

«братцами», ни «робятами», то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые — таких не бывало, — а такие, которые делали дела средние, то есть секли и взыскивали недоимки, но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд.

Так было и в настоящем случае. Как ни воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их.

— Что ж это такое! — фыркнул — и затылок показал! нешто мы затылков не видали! а ты по душе с нами поговори! ты лаской-то, лаской-то пронимай! ты пригрозить-то пригрози, да потом и помилуй! — так говорили глуповцы, и со слезами припоминали, какие бывали у них прежде начальники, всё приветливые, да добрые, да красавчики — и все-то в мундирах! Вспомнили даже беглого грека Лаврокакиса (по «описи» под № 5), вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан (по «описи» под № 6) и каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед обывателями.

— Натиск, — сказал он, — и притом быстрота, снисходительность, и притом строгость. И притом благоразумная твердость. Вот, милостивые государи, та цель или, точнее сказать, те пять целей, которых я, с Божьею помощью, надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность или, лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании!

И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому голове и присовокупил:

— А по праздникам будем есть у вас пироги!

— Так вот, сударь, как настоящие-то начальники принимали! — вздыхали глуповцы. — А этот что! фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков!

Увы! последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил: «Не потерплю!» — и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города;

частные пристава поскакали; квартальные поскакали; заседатели поскакали; будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают… А градоначальник все сидит и выскребает всё новые и новые понуждения… Гул и треск проносятся из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее: «Не потерплю!»

Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль: а ну как он этаким манером целый город выпорет! Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю!» — наконец, прибегли к истории Глупова, стали отыскивать в ней примеры спасительной градоначальнической строгости, нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались.

— И хоть бы он делом сказывал, по скольку с души ему надобно, — беседовали между собой смущенные обыватели, — а то цыркает, да и на́-поди!

Глупов, беспечный, добродушно-веселый Глу-

пов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои и, на мгновение показавши испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена тушинского царика, да еще при Бироне, когда гулящая девка, Танька Корявая, чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше; по крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, зловещий и безотчетный страх.

В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того мало оживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов; густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал, далеко за полночь, зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись, за письменным столом и все что-то скребет пером… И вдруг подойдет к окну,

крикнет: «Не потерплю!» — и опять садится за стол, и опять скребет…

Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень, присланный в Глупов по легкомыслию; что он по ночам, в виде ненасытного упыря, парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом; хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колена и просить прощенья, но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? что, ежели признано необходимым, чтобы в Глупове, грех его ради, был именно такой, а не иной градоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве.

И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органных дел мастер Байбаков. Достоверные свидетели сказывали, что однажды, в третьем часу ночи, видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, вышел из квартиры градоначальника и бережно нес что-то обернутое в салфетке.

И что всего замечательнее, в эту достопамятную ночь никто из обывателей не только не был разбужен криком «не потерплю!», но и сам градоначальник, по-видимому, прекратил на время критический анализ недоимочных реестров[19] и погрузился в сон.

Возник вопрос: какую надобность мог иметь градоначальник в Байбакове, который, кроме того что пил без просыпа, был еще и явный прелюбодей?

Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну, но Байбаков оставался нем как рыба и на все увещания ограничивался тем, что трясся всем телом. Пробовали споить его, но он, не отказываясь от водки, только потел, а секрета не выдавал. Находившиеся у него в ученье мальчики могли сообщить одно: что действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской и с тех пор затосковал.

Более ничего узнать не могли. Между тем

---

[19] Notes: 19

Очевидный анахронизм. В 1762 году недоимочных реестров не было, а просто взыскивались деньги, сколько с кого надлежит. Не было, следовательно, и критического анализа. Впрочем, это скорее не анахронизм, а прозорливость, которую летописец, по местам, обнаруживает в столь сильной степени, что читателю делается даже не совсем ловко. Так, например (мы увидим это далее), он провидел изобретение электрического телеграфа и даже учреждение губернских правлений. — *Изд.*

таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты[20], если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. Он сшил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в Глупове такой магазин, что самому Винтергальтеру[21] в нос бросится.

Среди всех этих толков и пересудов вдруг как с неба упала повестка, приглашавшая именитейших представителей глуповской интеллигенции, в такой-то день и час, прибыть к градоначальнику для внушения. Именитые смутились, но стали готовиться.

То был прекрасный весенний день. Природа ликовала; воробьи чирикали; собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа под мышками кульки, теснились на дворе градоначальнической квартиры и с трепетом ожидали страшного судбища. Наконец ожидае-

[20] Notes: 20

Без зачета — то есть без права выплатить денежную компенсацию или быть замененным кем-то другим.

[21] Notes: 21

Новый пример прозорливости. Винтергальтера в 1762 году не было. — *Изд.* Имеется в виду И. Ф. Винтергальтер, чья мастерская с начала XIX века производила органы-автоматы.

мая минута настала.

Он вышел, и на лице его в первый раз увидели глуповцы ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали и на него (по крайней мере, многие обыватели потом уверяли, что собственными глазами видели, как у него тряслись фалдочки). Он по очереди обошел всех обывателей и хотя молча, но благосклонно принял от них все, что следует. Окончивши с этим делом, он несколько отступил к крыльцу и раскрыл рот… И вдруг что-то внутри у него зашипело и зажужжало, и чем более длилось это таинственное шипение, тем сильнее и сильнее вертелись и сверкали его глаза. «П… п… плю!» — наконец вырвалось у него из уст… С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и опрометью бросился в открытую дверь своей квартиры.

Читая в «Летописце» описание происшествия столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен и иных событий, конечно, имеем полную возможность отнестись к нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за сто лет тому назад, поставим себя на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих

вращающихся глаз и этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, не похожего даже на бой часов. Но в том-то именно и заключалась доброкачественность наших предков, что, как ни потрясло их описанное выше зрелище, они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией, но остались верными начальстволюбию и только слегка позволили себе пособолезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника.



— И откуда к нам экой прохвост выискался! — говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения.

— Смотри, братцы! как бы нам тово… отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось! — присовокупляли другие.

И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям.

И остался бы наш Брудастый на многие годы пастырем вертограда сего, и радовал бы сердца начальников своею распорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычайного, если бы обстоятельство совершенно случайное (простая оплошность) не прекратило его деятельности в самом ее разгаре.

Немного спустя после описанного выше приема письмоводитель градоначальника, вошедши утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище: градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова… Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали.

Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без основания утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе как с согласия самого же градоначальника и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе, в числе вещественных доказательств, оказались: долото, буравчик и английская пилка. Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? 2) возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? и 3) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то «градоначальническом веществе», якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения

вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована[22].

Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух: или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тем начать под рукой следствие, или же некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний.

Но как ни строго хранили будочники вверенную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами и, сверх того, боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах, вместо головы, была пустая посудина. Напротив, другие хотя тоже

---

[22] Notes: 22

Ныне доказано, что тела всех вообще начальников подчиняются тем же физиологическим законам, как и всякое другое человеческое тело, но не следует забывать, что в 1762 году наука была в младенчестве. — *Изд.*

плакали, но утверждали, что за повиновение их ожидает не кара, а похвала.

В клубе, вечером, все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель Толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника играющим своею собственною головою, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания и даже счел его игрою воображения, но теперь ясно, что градоначальник, в видах собственного облегчения, по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, точно так как соборный протоиерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камилавку и надевает колпак. Другой заседатель, Младенцев, вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, он увидал в одном из ее окон градоначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом. Но Младенцеву не дали докончить, потому что, при первом упоминовении о Байбакове, всем пришло на память

его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника…

Тем не менее из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть не что иное, как выдумка праздных людей, но потом, припомнив лондонских агитаторов[23] и переходя от одного силлогизма к другому, заключила, что измена свила себе гнездо в самом Глупове. Тогда все члены заволновались, зашумели и, пригласив смотрителя народного училища, предложили ему вопрос: бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? Смотритель подумал с минуту и отвечал, что в истории многое покрыто мраком; но что был, однако же, некто Карл Простодушный, который имел на плечах хотя и не порожний, но все равно *как бы* порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал.

Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил о Байбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме «знать

---

[23] Notes: 23

Даже и это предвидел «Летописец»! — *Изд.* Имеются в виду А. И. Герцен и Н. П. Огарев.

не знаю, ведать не ведаю», не отвечал, но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и, сверх того, пообещали полтинник на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующее показание:

«Василием зовут меня, Ивановым сыном, по прозванию Байбаковым. Глуповский цеховой; у исповеди и Святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте фармазонов, и есмь оной секты лжеиерей. Судился за сожитие вне брака с слободской женкой Матренкой и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании и поныне состою. В прошлом году, зимой, — не помню, какого числа и месяца, — быв разбужен в ночи, отправился я, в сопровождении полицейского десятского, к градоначальнику нашему, Дементию Варламовичу, и, пришед, застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помава́ющим. Обеспамятев от страха и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманили меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал: „Не удивляйся, но попорченное исправь“. После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев

ближе лежащий предо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: „разорю!“ и „не потерплю!“. Но так как в дороге голова несколько отсырела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие и совсем повыпали. От этого самого господин градоначальник не могли говорить внятно или же говорили с пропуском букв и слогов. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина градоначальника, я с должным рачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я увидел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо как ни старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались, и в последнее время господин градоначальник могли произнести только: п-плю! В сей крайности, вознамерились они сгоряча меня на всю жизнь несчастным сделать, но я тот удар отклонил, предложивши господину градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург, к часовых и органных дел мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор про-

шло уже довольно времени, в продолжение коего я ежедневно рассматривал градоначальникову голову и вычищал из нее сор, в каковом занятии пребывал и в то утро, когда ваше высокоблагородие, по оплошности моей, законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не прибывает, о том неизвестен. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек, по весеннему нынешнему времени, голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего высокоблагородия о том, во-первых, могу ли я, в случае присылки новой головы, оную утвердить и, во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать? ответствовать сим честь имею: утвердить могу и действовать оная будет, но настоящих мыслей иметь не может. К сему показанию явный прелюбодей Василий Иванов Байбаков руку приложил».

Выслушав показание Байбакова, помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в Глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует. Поэтому он решился выжидать, но в то же время послал к Винтергаль-

теру понудительную телеграмму[24] и, заперев градоначальниково тело на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения.

Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того и еще два дня; пришла наконец и давно ожидаемая петербургская почта; но никакой головы не привезла.

Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустели; недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот, да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался; квартальные отбились от рук и нагло бездействовали; официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека, в котором по фалдочкам хотя и признали лейб-кампанца, но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения, как ни бились, не могли отыскать отделенной от туловища головы.

В восемь часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначаль-

---

[24] Notes: 24
Изумительно!! — *Изд.*

ника оторопел окончательно.

Проходит и еще день, а градоначальниково тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальстволюбие, временно потрясенное странным поведением Брудастого, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут процессией к помощнику градоначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника, видя, что недоимки накопляются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию штаб-офицера. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству и по телеграфу же получил известие, что он за нелепое донесение уволен от службы[25].

Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели — и тоже заплакали; явился стряпчий, но и тот от слез не мог говорить.

Между тем Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно. Но он поступил опрометчиво,

---

[25] Notes: 25

Этот достойный чиновник оправдался и, как увидим ниже, принимал деятельнейшее участие в последующих глуповских событиях. — *Изд.*

поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно несведущему в органном деле. Вместо того чтоб держать посылку бережно на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью врасплох, он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная кладь, и странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова разевала рот и поводила глазами; мало того: она громко и совершенно отчетливо произнесла: «Разорю!»

Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую кладь на дорогу; вторым — незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты.

Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова, пролежав некоторое время на дороге, была бы со временем раздавлена экипажами проезжающих и наконец вывезена на поле в виде удобрения, если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами глуповцы — и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий и посмотрим, что делается в Глупове.

Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду градоначальника, граждане волновались и, нимало не стесняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Какой-то Мишка Возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж грозен и облаком пресветлым одеян.

Наконец глуповцы не вытерпели; предводительствуемые излюбленным[26] гражданином Пузановым, они выстроились в карé перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника градоначальника, грозя в противном случае разнести и его самого, и его дом.

Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающею быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который, предводительствуя вольницей, не далее как вчера, в виду всех, свел двух купеческих жен.

— Куда ты девал нашего батюшку? — завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ним.

---

[26] Notes: 26

Излюбленный — так называли выбранных на какие-либо должности.

— Атаманы-молодцы! где же я вам его возьму, коли он на ключ заперт! — уговаривал толпу объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся.

Но волнение не унималось.

— Врешь, переметная сума! — отвечала толпа. — Вы нарочно с квартальным стакнулись, чтоб батюшку нашего от себя избыть!

И бог знает, чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом… исчезнувший градоначальник!

На нем был надет лейб-кампанский мундир; голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги и сверкнул на толпу глазами.

— Разорю! — загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли.

Волнение было подавлено сразу; в этой, недавно столь грозно гудевшей толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как

жужжал комар, прилетевший из соседнего болота подивиться на «сие нелепое и смеха достойное глуповское смятение».

— Зачинщики, вперед! — скомандовал градоначальник, все более возвышая голос.

Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей, и уже набрали человек с десяток, как новое и совершенно диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот.

В то время как глуповцы с тоскою перешептывались, припоминая, на ком из них более накопились недоимки, к сборищу незаметно подъехали столь известные обывателям градоначальнические дрожки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним в виду всей толпы очутился точь-в-точь такой же градоначальник, как и тот, который за минуту перед тем был привезен в телеге исправником! Глуповцы так и остолбенели.

Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой.

Самозванцы встретились и смерили друг друга

глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась[27].

[27] Notes: 27

Издатель почел за лучшее закончить на этом месте настоящий рассказ, хотя «Летописец» и дополняет его различными разъяснениями. Так, например, он говорит, что на первом градоначальнике была надета та самая голова, которую выбросил из телеги посланный Винтергальтера и которую капитан-исправник приставил к туловищу неизвестного лейб-кампанца; на втором же градоначальнике была надета прежняя голова, которую наскоро исправил Байбаков по приказанию помощника городничего, набивши ее, по ошибке, вместо музыки вышедшими из употребления предписаниями. Все эти рассуждения положительно младенческие, и несомненным остается только то, что оба градоначальника были самозванцы. — *Изд.*

Сказание о шести градоначальницах

КАРТИНА ГЛУПОВСКОГО МЕЖДОУСОБИЯ

Как и должно было ожидать, странные происшествия, совершившиеся в Глупове, не остались без последствий.

Не успело еще пагубное двоевластие пустить зловредные свои корни, как из губернии прибыл рассыльный, который, забрав обоих самозванцев и посадив их в особые сосуды, наполненные спиртом, немедленно увез для освидетельствования.



Но этот, по-видимому, естественный и законный акт административной твердости едва не сделался источником еще горших затруднений, нежели те, которые произведены были непонятным появлением двух одинаковых градоначальников.

Едва простыл след рассыльного, увезшего самозванцев, едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как, движимые силою начальстволюбия, немедленно впали в анархию.

«И лежал бы град сей и доднесь в оной погибельной бездне, — говорит летописец, — ежели бы не был извлечен оттоль твердостью и самоотвержением некоторого неустрашимого штаб-офицера из местных обывателей».

Анархия началась с того, что глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската двух граждан: Степку да Ивашку. Потом пошли к модному заведению француженки, девицы де Сан-Кюлот (в Глупове она была известна под именем Устиньи Протасьевны Трубочистихи; впоследствии же оказалась сестрою Марата[28]

[28] Notes: 28

Марат в то время не был известен: ошибку эту, впрочем, можно объяснить тем, что события описывались «Летописцем», по-видимому, не по горячим следам, а несколько лет спустя. — *Изд.*

и умерла от угрызений совести), и, перебив там стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан: Порфишку да другого Ивашку, и, ничего не доспев, разошлись по домам.

Между тем измена не дремала, явились честолюбивые личности, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям. И, что всего страннее, представительницами анархического элемента явились на сей раз исключительно женщины.

Первая, которая замыслила похитить бразды глуповского правления, была Ираида Лукинишна Палеологова, бездетная вдова, непреклонного характера, мужественного сложения, с лицом темно-коричневого цвета, напоминавшим старопечатные изображения. Никто не помнил, когда она поселилась в Глупове, так что некоторые из старожилов полагали, что событие это совпадало с мраком времен. Жила она уединенно, питаясь скудною пищею, отдавая в рост деньги и жестоко истязуя четырех своих крепостных девок. Дерзкое свое предприятие она, по-видимому, зрело обдумала. Во-первых, она сообразила, что городу без начальства ни на минуту оставаться невозможно; во-вторых, нося фамилию Палеологовых,

она видела в этом некоторое тайное указание; в-третьих, немало предвещало ей хорошего и то обстоятельство, что покойный муж ее, бывший винный пристав, однажды, за оскудением, исправлял где-то должность градоначальника. «Сообразив сие, — говорит „Летописец“, — злоехидная оная Ираидка начала действовать».

Не успели глуповцы опомниться от вчерашних событий, как Палеологова, воспользовавшись тем, что помощник градоначальника с своими приспешниками засел в клубе в бостон, извлекла из ножон шпагу покойного винного пристава и, напоив для храбрости троих солдат из местной инвалидной команды, вторглась в казначейство. Оттоль, взяв в плен казначея и бухгалтера, а казну бессовестно обокрав, возвратилась в дом свой. Причем бросала в народ медными деньгами, а пьяные ее подручники восклицали: «Вот наша матушка! теперь нам, братцы, вина будет вволю!»

Когда, на другой день, помощник градоначальника проснулся, все уже было кончено. Он из окна видел, как обыватели поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Затем, хотя он и попытался вновь захватить бразды правления, но так как руки у него тряслись, то сейчас

же их выпустил. В унынии и тоске он поспешил в городовое управление, чтоб узнать, сколько осталось верных ему полицейских солдат, но на дороге был схвачен заседателем Толковниковым и приведен пред Ираидку. Там уже застал он связанного казенных дел стряпчего, который тоже ожидал своей участи.

— Признаёте ли вы меня за градоначальницу? — кричала на них Ираидка.

— Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаю! — твердо отвечал мужественный помощник градоначальника. Казенных дел стряпчий трясся всем телом и трясением этим как бы подтверждал мужество своего сослуживца.

— Не о том вас спрашивают, мужняя ли я жена или вдова, а о том, признаете ли вы меня градоначальницею? — пуще ярилась Ираидка.

— Если более ясных доказательств не имеешь, то не признаю! — столь твердо отвечал помощник градоначальника, что стряпчий защелкал зубами и заметался во все стороны.

— Что с ними толковать! на раскат их! — вопил Толковников и его единомышленники.

Нет сомнения, что участь этих оставшихся верными долгу чиновников была бы весьма

плачевна, если б не выручило их непредвиденное обстоятельство. В то время, когда Ираида беспечно торжествовала победу, неустрашимый штаб-офицер не дремал и, руководясь пословицей: «Выбивай клин клином», научил некоторую авантюристку, Клемантинку де Бурбон, предъявить права свои. Права эти заключались в том, что отец ее, Клемантинки, кавалер де Бурбон, был некогда где-то градоначальником и за фальшивую игру в карты от должности той уволен. Сверх сего, новая претендентша имела высокий рост, любила пить водку и ездила верхом по-мужски. Без труда склонив на свою сторону четырех солдат местной инвалидной команды и будучи тайно поддерживаема польскою интригою, эта бездельная проходимица овладела умами почти мгновенно. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку да третьего Ивашку, потом пошли к Трубочистихе и дотла разорили ее заведение, потом шарахнулись к реке и там утопили Прошку да четвертого Ивашку.

В таком положении были дела, когда мужественных страдальцев повели к раскату. На улице их встретила предводимая Клемантинкою толпа, посреди которой недреманным оком бодрствовал неустрашимый штаб-офицер. Пленников

немедленно освободили.

— Что, старички! признаете ли вы меня за градоначальницу? — спросила беспутная Клемантинка.

— Ежели ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаём! — мужественно отвечал помощник градоначальника.

— Ну, Христос с вами! отведите им по клочку земли под огороды! пускай сажают капусту и пасут гусей! — кротко сказала Клемантинка и с этим словом двинулась к дому, в котором укрепилась Ираидка.

Произошло сражение; Ираидка защищалась целый день и целую ночь, искусно выставляя вперед пленных казначея и бухгалтера.

— Сдайся! — говорила Клемантинка.

— Покорись, бесстыжая! да уйми своих кобелей! — храбро отвечала Ираидка.

Однако к утру следующего дня Ираидка начала ослабевать, но и то благодаря лишь тому обстоятельству, что казначей и бухгалтер, проникнувшись гражданскою храбростью, решительно отказались защищать укрепление. Положение осажденных сделалось весьма сомнительным. Сверх обязанности отбивать осаждающих, Ира-

идке необходимо было усмирять измену в собственном лагере. Предвидя конечную гибель, она решилась умереть геройскою смертью и, собрав награбленные в казне деньги, в виду всех взлетела на воздух вместе с казначеем и бухгалтером.

Утром помощник градоначальника, сажая капусту, видел, как обыватели вновь поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Некоторые из них до того осмелились, что даже подходили к нему, хлопали по плечу и в шутку называли свинопасом. Всех этих смельчаков помощник градоначальника, конечно, тогда же записал на бумажку.

Вести о «глуповском нелепом и смеха достойном смятении» достигли наконец и до начальства. Велено было «беспутную оную Клемантинку, сыскав, представить, а которые есть у нее сообщники, то и тех, сыскав, представить же, а глуповцам крепко-накрепко наказать, дабы неповинных граждан в реке занапрасно не утапливали и с раската звериным обычаем не сбрасывали». Но известия о назначении нового градоначальника все еще не получалось.

Между тем дела в Глупове запутывались все больше и больше. Явилась третья претендентша, ревельская уроженка Амалия Карловна

Штокфиш, которая основывала свои претензии единственно на том, что она два месяца жила у какого-то градоначальника в помпадуршах. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Семку и только что хотели спустить туда же пятого Ивашку, как были остановлены именитым гражданином Силой Терентьевым Пузановым.

— Атаманы-молодцы! — говорил Пузанов. — Однако ведь мы таким манером всех людишек перебьем, а толку не измыслим!

— Правда! — согласились опомнившиеся атаманы-молодцы.

— Стой! — кричали другие. — А зачем Ивашко галдит? галдеть разве велено?

Пятый Ивашко стоял ни жив ни мертв перед раскатом, машинально кланяясь на все стороны.

В это время к толпе подъехала на белом коне девица Штокфиш, сопровождаемая шестью пьяными солдатами, которые вели взятую в плен беспутную Клемантинку. Штокфиш была полная, белокурая немка, с высокою грудью, с румяными щеками и с пухлыми, словно вишни, губами. Толпа заволновалась.

— Ишь толстомясая! пупки́-то нагуляла! — раздалось в разных местах.

Но Штокфиш, очевидно, заранее взвесила опасности своего положения и поторопилась отразить их хладнокровием.

— Атаманы-молодцы! — гаркнула она, молодецки указывая на обезумевшую от водки Клемантинку. — Вот беспутная оная Клемантинка, которую велено, сыскав, представить! Видели?

— Видели! — шумела толпа.

— Точно видели? и признаёте ее за ту самую беспутную оную Клемантинку, которую велено, сыскав, немедленно представить?

— Видели! признаем!

— Так выкатить им три бочки пенного! — воскликнула неустрашимая немка, обращаясь к солдатам, и, не торопясь, выехала из толпы.

— Вот она! вот она, матушка-то наша Амалия Карловна! теперь, братцы, вина у нас будет вдоволь! — гаркнули атаманы-молодцы вслед уезжающей.

В этот день весь Глупов был пьян, а больше всех пятый Ивашко. Беспутную оную Клемантинку посадили в клетку и вывезли на площадь; атаманы-молодцы подходили и дразнили ее. Некоторые, более добродушные, потчевали водкой, но требовали, чтобы она за это откинула какое-

нибудь коленце.

Легкость, с которою толстомясая немка Штокфиш одержала победу над беспутною Клемантинкой, объясняется очень просто. Клемантинка, как только уничтожила Раидку, так сейчас же заперлась с своими солдатами и предалась изнеженности нравов. Напрасно пан Кшепшицюльский и пан Пшекшицюльский, которых она была тайным орудием, усовещивали, протестовали и угрожали — Клемантинка через пять минут была до того пьяна, что ничего уж не понимала. Паны некоторое время еще подержались, но потом, увидев бесполезность дальнейшей стойкости, отступились. И действительно, в ту же ночь Клемантинка была поднята в бесчувственном виде с постели и выволочена в одной рубашке на улицу.



Неустрашимый штаб-офицер (из обывателей) был в отчаянии. Из всех его ухищрений, подвохов и переодеваний ровно ничего не выходило. Анархия царствовала в городе полная; начальствующих не было; предводитель удрал в деревню; старший квартальный зарылся с смотрителем училищ на пожарном дворе в солому и трепетал. Самого его, штаб-офицера, сыскивали по городу и за поимку назначено было награды алтын. Обыватели заволновались, потому что всякому было лестно тот алтын прикарманить. Он уж подумывал, не лучше ли ему самому воспользоваться деньгами, явившись к толстомясой немке с повинною, как вдруг неожиданное обстоятельство дало делу совершенно новый оборот.

Легко было немке справиться с беспутною Клемантинкою, но несравненно труднее было обезоружить польскую интригу, тем более что она действовала невидимыми подземными путями. После разгрома Клемантинкинова паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский грустно возвращались по домам и громко сетовали на неспособность русского народа, который даже для подобного случая ни одной талантливой личности не сумел из себя выработать, как внимание их было развлечено одним, по-видимому,

ничтожным происшествием.

Было свежее майское утро, и с неба падала изобильная роса. После бессонной и бурно проведенной ночи глуповцы улеглись спать, и в городе царствовала тишина непробудная. Около деревянного домика невзрачной наружности суетились какие-то два парня и мазали дегтем ворота. Увидев панов, они, по-видимому, смешались и спешили наутек, но были остановлены.

— Что вы тут делаете? — спросили паны.

— Да вот, Нелькины ворота дегтем мажем! — сознался один из парней. — Оченно она ноне на все стороны махаться стала!

Паны переглянулись и как-то многозначительно цыркнули. Хотя они пошли далее, но в головах их созрел уже план. Они вспомнили, что в ветхом деревянном домике действительно жила и содержала заезжий дом их компатриотка, Анеля Алоизиевна Лядоховская, и что хотя она не имела никаких прав на название градоначальнической помпадурши, но тоже была как-то однажды призываема к градоначальнику. Этого последнего обстоятельства совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претендентшу и сплести новую польскую интригу.

Они тем легче могли успеть в своем намерении,

что в это время своеволие глуповцев дошло до размеров неслыханных. Мало того что они в один день сбросили с раската и утопили в реке целые десятки излюбленных граждан, но на заставе самовольно остановили ехавшего из губернии, по казенной подорожной, чиновника.

— Кто ты? и с чем к нам приехал? — спрашивали глуповцы у чиновника.

— Чиновник из губернии (имярек), — отвечал приезжий, — и приехал сюда для розыску бездельных Клемантинкиных дел!

— Врет он! Он от Клемантинки, от подлой, подослан! волоките его на съезжую! — кричали атаманы-молодцы.

Напрасно протестовал и сопротивлялся приезжий, напрасно показывал какие-то бумаги, народ ничему не верил и не выпускал его.

— Нам, брат, этой бумаги целые вороха показывали — да пустое дело вышло! а с тобой нам ссылаться не пригоже, потому ты, и по обличью видно, беспутной оной Клемантинки лазутчик! — кричали одни.

— Что с ним по пустякам лясы точить! В воду его — и шабаш! — кричали другие.

Несчастного чиновника увели в съезжую избу и отдали за приставов.

Между тем Амалия Штокфиш распоряжалась: назначила с мещан по алтыну с каждого двора, с купцов же по фунту чаю да по голове сахару по большой. Потом поехала в казармы и из собственных рук поднесла солдатам по чарке водки и по куску пирога. Возвращаясь домой, она встретила на дороге помощника градоначальника и стряпчего, которые гнали хворостиной гусей с луга.

— Ну что, старички? одумались? признаёте меня? — спросила она их благосклонно.

— Ежели имеешь мужа и можешь доказать, что он наш градоначальник, то признаем! — твердо ответствовал помощник градоначальника.

— Ну, Христос с вами! пасите гусей! — сказала толстомясая немка и проследовала далее.

К вечеру полил такой сильный дождь, что улицы Глупова сделались на несколько часов непроходимыми. Благодаря этому обстоятельству ночь минула благополучно для всех, кроме злосчастного приезжего чиновника, которого, для вернейшего испытания, посадили в темную и тесную каморку, исстари носившую название «большого блошиного завода», в отличие от малого завода, в котором испытывались преступники менее опасные. Наставшее затем утро также не благоприятствовало происками польской интри-

ги, так как интрига эта, всегда действуя в темноте, не может выносить солнечного света. «Толстомясая немка», обманутая наружною тишиной, сочла себя вполне утвердившеюся и до того осмелилась, что вышла на улицу без провожатого и начала заигрывать с проходящими. Впрочем, к вечеру она, для формы, созвала опытнейших городских будочников и открыла совещание. Будочники единогласно советовали: первое, беспутную оную Клемантинку, не медля, утопить, дабы не смущала народ и не дразнила; второе, помощника градоначальника и стряпчего пытать и, в-третьих, неустрашимого штаб-офицера, сыскав, представить. Но таково было ослепление этой несчастной женщины, что она и слышать не хотела о мерах строгости и даже приезжего чиновника велела перевести из большого блошиного завода в малый.

Между тем глуповцы мало-помалу начинали приходить в себя, и охранительные силы, скрывавшиеся дотоле на задних дворах, робко, но твердым шагом выступали вперед. Помощник градоначальника, сославшись с стряпчим и неустрашимым штаб-офицером, стал убеждать глуповцев удаляться немкиной и Клемантинкиной злоехидной прелести и обратиться к своим

занятиям. Он строго порицал распоряжение, вследствие которого приезжий чиновник был засажен в блошиный завод, и предрекал Глупову великие от этого бедствия. Сила Терентьев Пузанов при этих словах тоскливо замотал головой, так что если б атаманы-молодцы были крошечку побойчее, то они, конечно, разнесли бы съезжую избу по бревнышку. С другой стороны, и «беспутная оная Клемантинка» оказала немаловажную услугу партии порядка…

Дело в том, что она продолжала сидеть в клетке на площади, и глуповцам в сладость было в часы досуга приходить дразнить ее, так как она остервенялась при этом неслыханно, в особенности же когда к ее телу прикасались концами раскаленных железных прутьев.

— Что, Клемантинка, сладко? — хохотали одни, видя, как «беспутная» вертелась от боли.

— А сколько, братцы, эта паскуда винища у нас слопала — страсть! — прибавляли другие.

— Ваше я, что ли, пила? — огрызалась беспутная Клемантинка. — Кабы не моя несчастная слабость да не покинули меня паны мои милые, узнали бы вы у меня ужó, какова я есть!

— Толстомясая-то тебе небось прежде, какова она есть, показала!

— То-то «толстомясая»! Я, какова ни на есть, а все-таки градоначальническая дочь, а то взяли себе расхожую немку!

Призадумались глуповцы над этими Клемантинкиными словами. Загадала она им загадку.

— А что, братцы! ведь она, Клемантинка, хоть и беспутная, а правду молвила! — говорили одни.

— Пойдем, разнесем толстомясую! — галдели другие.

И если б не подоспели тут будочники, то несдобровать бы «толстомясой», полететь бы ей вниз головой с раската! Но так как будочники были строгие, то дело порядка оттянулось, и атаманы-молодцы, пошумев еще с малость, разошлись по домам.

Но торжество «вольной немки» приходило к концу само собою. Ночью, едва успела она сомкнуть глаза, как услышала на улице подозрительный шум и сразу поняла, что все для нее кончено. В одной рубашке, босая, бросилась она к окну, чтобы, по крайней мере, избежать позора и не быть посаженной, подобно Клемантинке, в клетку, но было уже поздно.

Сильная рука пана Кшепшицюльского крепко держала ее за стан, а Нелька Лядоховская, «разъярившись неслыханно», требовала к ответу.

— Правда ли, девка Амалька, что ты обманным образом власть похитила и градоначальницей облыжно[29] называть себя изволила и тем многих людишек в соблазн ввела? — спрашивала ее Лядоховская.

— Правда, — отвечала Амалька, — только не обманным образом и не облыжно, а была и есмь градоначальница по самой сущей истине.

— И с чего тебе, паскуде, такое смехотворное дело в голову взбрело? и кто тебя, паскуду, тому делу научил? — продолжала допрашивать Лядоховская, не обращая внимания на Амалькин ответ.

Амалька обиделась.

— Может быть, и есть здесь паскуда, — сказала она, — только не я.

Сколько затем ни предлагали девке Амальке вопросов, она презрительно молчала; сколько ни принуждали ее повиниться — не повинилась. Решено было запереть ее в одну клетку с беспутною Клемантинкой.

«Ужасно было видеть, — говорит „Летописец“, — как оные две беспутные девки, от третьей, еще беспутнейшей, друг другу на съедение отда-

---

[29] Notes: 29
Облыжно — заведомо ложно.

ны были! Довольно сказать, что к утру на другой день в клетке ничего, кроме смрадных их костей, уже не было!»

Проснувшись, глуповцы с удивлением узнали о случившемся; но и тут не затруднились. Опять все вышли на улицу и стали поздравлять друг друга, лобызаться и проливать слезы. Некоторые просили опохмелиться.

— Ах, ляд вас побери! — говорил неустрашимый штаб-офицер, взирая на эту картину. — Что ж мы, однако, теперь будем делать? — спрашивал он в тоске помощника градоначальника.

— Надо орудовать, — отвечал помощник градоначальника, — вот что! Не пустить ли, сударь, в народе слух, что оная шельма Анелька, заместо храмов Божиих, костелы везде ставить велела?

— И чудесно!

Но к полудню слухи сделались еще тревожнее. События следовали за событиями с быстротою неимоверною. В пригородной солдатской слободе объявилась еще претендентша, Дунька-толстопятая, а в стрелецкой слободе такую же претензию заявила Матренка-ноздря. Обе основывали свои права на том, что и они не раз бывали у градоначальников «для лакомства». Таким образом, приходилось отражать уже не одну, а разом трех

претендентш.

И Дунька, и Матренка бесчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы, ходили в одиночку на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в подполья, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волоса по ветру, в одном утреннем неглиже, они бегали по городским улицам, словно исступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова.

Глуповцы просто обезумели от ужаса. Опять все побежали к колокольне, и сколько тут было перебито и перетоплено тел народных — того даже приблизительно сообразить невозможно. Началось общее судбище; всякий припоминал про своего ближнего всякое, даже такое, что тому и во сне не снилось, и так как судоговорение было краткословное, то в городе только и слышалось: шлеп-шлеп-шлеп! К четырем часам пополудни загорелась съезжая изба; глуповцы кинулись туда и оцепенели, увидав, что приезжий из губернии чиновник сгорел весь без остатка. Опять началось судбище; стали доискиваться, от чьего воровства произошел пожар, и порешили, что пожар произведен сущим вором и бездельником

пятым Ивашкой. Вздернули Ивашку на дыбу, требуя чистосердечного во всем признания, но в эту самую минуту в пушкарской слободе загорелся тараканий малый заводец, и все шарахнулись туда, оставив пятого Ивашку висящим на дыбе. Зазвонили в набат, но пламя уже разлилось рекою и перепалило всех тараканов без остачи. Тогда поймали Матренку-ноздрю и начали вежливенько топить ее в реке, требуя, чтобы она сказала, кто ее, сущую бездельницу и воровку, на воровство научил и кто в том деле ей пособлял? Но Матренка только пускала в воде пузыри, а сообщников и пособников не выдала никого.

Среди этой общей тревоги об шельме Анельке совсем позабыли. Видя, что дело ее не выгорело, она, под шумок, снова переехала в свой заезжий дом, как будто за ней никаких пакостей и не водилось, а паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский завели кондитерскую и стали торговать в ней печатными пряниками. Оставалась одна толстопятая Дунька, но с нею совладать было решительно невозможно.

— А надо, братцы, изымать ее беспременно! — увещевал атаманов-молодцов Сила Терентьич Пузанов.

— Да! поди, сунься! ловкой! — отвечали мо-

лодцы.

Был, по возмущении, уже день шестый.

Тогда произошло зрелище умилительное и беспримерное. Глуповцы вдруг воспрянули духом и сами совершили скромный подвиг собственного спасения. Перебивши и перетопивши целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове крамольного греха не осталось ни на эстолько. Уцелели только благонамеренные. Поэтому всякий смотрел всякому смело в глаза, зная, что его невозможно попрекнуть ни Клемантинкой, ни Раидкой, ни Матренкой. Решили действовать единодушно и прежде всего снестись с пригородами. Как и следовало ожидать, первый выступил на сцену неустрашимый штаб-офицер.

— Сограждане! — начал он взволнованным голосом, но так как речь его была секретная, то весьма естественно, что никто ее не слыхал.

Тем не менее глуповцы прослезились и начали нудить помощника градоначальника, чтобы вновь принял бразды правления; но он, до поимки Дуньки, с твердостью от того отказался. Послышались в толпе вздохи; раздались восклицания: «Ах! согрешения наши великие!» — но помощник градоначальника был непоколебим.

— Атаманы-молодцы! в ком еще крамола осталась — выходи! — гаркнул голос из толпы.

Толпа молчала.

— Все очистились? — допрашивал тот же голос.

— Все! все! — загудела толпа.

— Крестись, братцы!

Все перекрестились, объявлено было против Дуньки-толстопятой общее ополчение.

Пригороды между тем один за другим слали в Глупов самые утешительные отписки. Все единодушно соглашались, что крамолу следует вырвать с корнем и для начала прежде всего очистить самих себя. Особенно трогательна была отписка пригорода Полоумнова. «Точию же, братие, сами себя прилежно испытуйте, — писали тамошние посадские люди, — да в сердцах ваших гнездо крамольное несвиваемо будет, а будете здравы, и пред лицом начальственным не злокозненны, но добротщательны, достохвальны и прелюбезны». Когда читалась эта отписка, в толпе раздавались рыдания, а посадская жена Аксинья Гунявая, воспалившись ревностью великою, тут же высыпала из кошеля два двугривенных и положила основание капиталу, для поимки Дуньки предназначенному.

Но Дунька не сдавалась. Она укрепилась на большом клоповном заводе и, вооружившись пушкой, стреляла из нее как из ружья.

— Ишь, шельма, какие артикулы пушкой выделывает! — говорили глуповцы и не смели подступиться.

— Ах, съешь тя клопы! — восклицали другие.

Но и клопы были с нею как будто заодно. Она целыми тучами выпускала их против осаждающих, которые в ужасе разбегались. Решили оборониться от них варом, и средство это как будто помогло. Действительно, вылазки клопов прекратились, но подступиться к избе все-таки было невозможно, потому что клопы стояли там стена стеною, да и пушка продолжала действовать смертоносно. Пытались было зажечь клоповный завод, но в действиях осаждающих было мало единомыслия, так как никто не хотел взять на себя обязанность руководить ими, — и попытка не удалась.

— Сдавайся, Дунька! не тронем! — кричали осаждающие, думая покорить ее льстивыми словами.

Но Дунька отвечала невежеством.

Так шло дело до вечера. Когда наступила ночь, осаждающие, благоразумно отступив, оставили, для всякого случая, у клоповного завода сторо-

жевую цепь.

Оказалось, однако, что стратагема[30] с варом осталась не без последствий. Не находя пищи за пределами укрепления и раздраженные запахом человеческого мяса, клопы устремились внутрь искать удовлетворения своей кровожадности. В самую глухую полночь Глупов был потрясен неестественным воплем: то испускала дух толстопятая Дунька, изъеденная клопами. Тело ее, буквально представлявшее сплошную язву, нашли на другой день лежащим посреди избы, и около нее пушку и бесчисленные стада передавленных клопов. Прочие клопы, как бы устыдившись своего подвига, попрятались в щелях.

Был, после начала возмущения, день седьмый. Глуповцы торжествовали. Но несмотря на то что внутренние враги были побеждены и польская интрига посрамлена, атаманам-молодцам было как-то не по себе, так как о новом градоначальнике все еще не было ни слуху ни духу. Они слонялись по городу, словно отравленные мухи, и не смели ни за какое дело приняться, потому что не знали, как-то понравятся ихние недавние

---

[30] Notes: 30

Стратагема — военная хитрость.

затеи новому начальнику.

Наконец, в два часа пополудни седьмого дня, он прибыл. Вновь назначенный, «сущий» градоначальник был статский советник и кавалер Семен Константинович Двоекуров.

Он немедленно вышел на площадь к буянам и потребовал зачинщиков. Выдали Степку Горластого да Фильку Бесчастного. Супруга нового начальника, Лукерья Терентьевна, милостиво на все стороны кланялась.

Так кончилось это бездельное и смеха достойное неистовство; кончилось и с тех пор не повторялось.

Известие о Двоекурове

Семен Константинович Двоекуров градоначальствовал в Глупове с 1762 по 1770 год. Подробного описания его градоначальствования не найдено, но, судя по тому, что оно соответствовало первым и притом самым блестящим годам Екатерининской эпохи, следует предполагать, что для Глупова это было едва ли не лучшее время в его истории.

О личности Двоекурова «Глуповский Летописец» упоминает три раза: в первый раз в «краткой описи градоначальникам», во второй — в конце отчета о смутном времени, и в третий — при изложении истории глуповского либерализма (см. описание градоначальствования Угрюм-Бурчеева). Из всех этих упоминаний явствует, что Двоекуров был человек передовой и смотрел на свои обязанности более нежели серьезно. Нельзя думать, чтобы «Летописец» добровольно допустил такой важный биографический пропуск в истории родного города; скорее должно предположить, что преемники Двоекурова с умыслом уничтожили его биографию, как представляющую свидетельство слишком явного

либерализма и могущую послужить для исследователей нашей старины соблазнительным поводом к отыскиванию конституционализма даже там, где, в сущности, существует лишь принцип свободного сечения. Догадку эту отчасти оправдывает то обстоятельство, что в глуповском архиве до сих пор существует листок, очевидно принадлежавший к полной биографии Двоекурова и до такой степени перемаранный, что, несмотря на все усилия, издатель «Летописи» мог разобрать лишь следующее: «имея немалый рост… подавал твердую надежду, что… Но объят ужасом… не мог сего выполнить… Вспоминая, всю жизнь грустил…» И только. Что означают эти загадочные слова? — С полною достоверностью отвечать на этот вопрос, разумеется, нельзя, но если позволительно допустить в столь важном предмете догадки, то можно предположить одно из двух: или что в Двоекурове, при немалом его росте (около трех аршин), предполагался какой-то особенный талант (например, нравиться женщинам), которого он не оправдал, или что на него было возложено поручение, которого он, сробев, не выполнил. И потом всю жизнь грустил.



Как бы то ни было, но деятельность Двоекурова в Глупове была несомненно плодотворна. Одно то, что он ввел медоварение и пивоварение и сделал обязательным употребление горчицы и лаврового листа, доказывает, что он был по прямой линии родоначальником тех смелых новаторов, которые, спустя три четверти столетия, вели войны во имя картофеля. Но самое важное дело его градоначальствования — это, бесспорно, записка о необходимости учреждения в Глупове академии.

К счастию, эта записка уцелела вполне[31] и дает возможность произнести просвещенной деятельности Двоекурова вполне правильный и беспристрастный приговор. Издатель позволяет себе думать, что изложенные в этом документе мысли не только свидетельствуют, что в то отдаленное время уже встречались люди, обладавшие правильным взглядом на вещи, но могут даже и теперь служить руководством при осуществлении подобного рода предприятий. Конечно, современные нам академии имеют несколько иной характер, нежели тот, который предполагал им дать Двоекуров, но так как сила

[31] Notes: 31

Она печатается дословно в конце настоящей книги, в числе оправдательных документов. — *Изд.*

не в названии, а в той сущности, которую преследует проект и которая есть не что иное, как «рассмотрение наук», то очевидно, что покуда царствует потребность в «рассмотрении», до тех пор и проект Двоекурова удержит за собой все значение воспитательного документа. Что названия произвольны и весьма редко что-либо изменяют — это очень хорошо доказал один из преемников Двоекурова, Бородавкин. Он тоже ходатайствовал об учреждении академии, и когда получил отказ, то, без дальнейших размышлений, выстроил вместо нее съезжий дом. Название изменилось, но предположенная цель была достигнута — Бородавкин ничего больше и не желал. Да и кто же может сказать, долго ли просуществовала бы построенная Бородавкиным академия и какие принесла бы она плоды? Быть может, она оказалась бы выстроенною на песке; быть может, вместо «рассмотрения» наук занялась бы насаждением таковых? Все это в высшей степени гадательно и неверно. А со съезжим домом — дело верное: и выстроен он прочно, и из колеи «рассмотрения» не выбьется никуда.

Вот эту-то мысль и развивает Двоекуров в своем проекте с тою непререкаемою ясностью и последовательностью, которыми, к сожалению, не

обладает ни один из современных нам прожектёров. Конечно, он не был настолько решителен, как Бородавкин, то есть не выстроил съезжего дома вместо академии, но решительность, кажется, вообще не была в его нравах. Следует ли обвинять его за этот недостаток? или, напротив того, следует видеть в этом обстоятельстве тайную наклонность к конституционализму? — разрешение этого вопроса предоставляется современным исследователям отечественной старины, которых издатель и отсылает к подлинному документу.

Голодный город

1776-й год наступил для Глупова при самых счастливых предзнаменованиях. Целых шесть лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей, и граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенка. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенною настойчивостью остановиться на этом качестве, как на самом естественном объяснении того удовольствия, которое испытывали глуповцы во время бригадирского управления. Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями, охотно захаживал в кабаки покалякать с целовальниками[32], по вечерам выходил в замасленном халате на крыльцо градоначальни-

---

[32] Notes: 32
Целовальник — продавец в питейном заведении.

ческого дома и играл с подчиненными в носки[33], ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик».

— А ну, братик-сударик, ложись! — говорил он провинившемуся обывателю.

Или:

— А ведь корову-то, братик-сударик, у тебя продать надо! потому, братик-сударик, что недоимка — это святое дело!

Понятно, что после затейливых действий маркиза де Санглота, который летал в городском саду по воздуху, мирное управление престарелого бригадира должно было показаться и «благодетельным», и «удивления достойным». В первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить «без утеснения» не в пример лучше, чем жить «с утеснением».

— Нужды нет, что он парадов не делает да с полками на нас не ходит, — говорили они, — зато мы при нем, батюшке, свет у́зрили! Теперича, вышел ты за ворота: хошь — на месте сиди; хошь — куда хошь иди! А прежде, сколько одних порядков было — и не приведи бог!

---

[33] Notes: 33

Носки — игра в карты, при которой проигравшего бьют картами по носу.

Но на седьмом году правления Фердыщенку смутил бес. Этот добродушный и несколько ленивый правитель вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности: скинул замасленный халат и стал ходить по городу в вицмундире. Начал требовать, чтоб обыватели по сторонам не зевали, а смотрели в оба, и к довершению всего устроил такую кутерьму, которая могла бы очень дурно для него кончиться, если б, в минуту крайнего раздражения глуповцев, их не осенила мысль: «А ну как, братцы, нас за это не похвалят!»

Дело в том, что в это самое время, на выезде из города, в слободе Навозной, цвела красотой посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает. При среднем росте, она была полна, бела и румяна; имела большие серые глаза навыкате, не то бесстыжие, не то застенчивые, пухлые вишневые губы, густые, хорошо очерченные брови, темно-русую косу до пят и ходила по улице «серой утицей». Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной и был тоже под стать жене: молод, крепок, красив.

Ходил он в плисовой поддевке и в поярковом грешневике[34], расцвеченном павьими перьями. И Дмитрий не чаял души в Аленке, и Аленка не чаяла души в Дмитрии. Частенько похаживали они в соседний кабак и, счастливые, распевали там вместе песни. Глуповцы же просто не могли нарадоваться на их согласную жизнь.

Долго ли, коротко ли они так жили, только в начале 1776 года в тот самый кабак, где они в свободное время благодушествовали, зашел бригадир. Зашел, выпил косушку, спросил целовальника, много ли прибавляется пьяниц, но в это самое время увидел Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку.

— Хочешь, молодка, со мною в любви жить? — спросил бригадир.

— А на что мне тебя... гунявого? — отвечала Аленка, с наглостью смотря ему в глаза. — У меня свой муж хорош!

Только и было сказано между ними слов; но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой

---

[34] Notes: 34

Поярковый — из шерсти первой стрижки ягненка. *Грешневик* — крестьянский головной убор, валяная шапка.

двух инвалидов, наказав им при этом действовать «с утеснением». Сам же, надев вицмундир, пошел в ряды и, дабы постепенно приучить себя к строгости, с азартом кричал на торговцев:

— Кто ваш начальник? сказывайте! или, может быть, не я ваш начальник?

С своей стороны, Дмитрий Прокофьев, вместо того чтоб смириться да полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные слова, а Аленка, вооружась ухватом, гнала инвалидов прочь и на всю улицу орала:

— Ай да бригадир! к мужней жене, словно клоп, на перину всползти хочет!

Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавши об таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своею единоличною властью старик поопáсился. Собравши излюбленных глуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания ослушников.

— Вам, старички-братики, и книги в руки! — либерально прибавил он. — Какое количество по душе назначите, я наперед согласен! Потому теперь у нас время такое: всякому свое, лишь бы поронцы были!

Излюбленные посоветовались, слегка погалдели и вынесли следующий ответ:

— Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их, шельмов, и учить следовает!

Стал бригадир считать звезды («очень он был прост», повторяет по этому случаю архивариус-летописец), но на первой же сотне сбился и обратился за разъяснениями к денщику. Денщик отвечал, что звезд на небе видимо-невидимо.

Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом, потому что когда Аленка с Митькой воротились, после экзекуции, домой, то шатались словно пьяные.

Однако Аленка и на этот раз не унялась или, как выражается летописец, «от бригадировых шелепов[35] пользы для себя не вкусила». Напротив того, она как будто пуще остервенилась, что и доказала через неделю, когда бригадир опять пришел в кабак и опять поманил Аленку.

— Что, дурья порода, надумалась? — спросил он ее.

— Ишь тебя, старого пса, ущемило! Или мало на стыдобушку мою насмотрелся! — огрызнулась Аленка.

---

[35] Notes: 35
Шелепы — плеть, нагайка.

— Ладно! — сказал бригадир.

Однако упорство старика заставило Аленку призадуматься. Воротившись после этого разговора домой, она некоторое время ни за какое дело взяться не могла, словно места себе не находила; потом подвалилась к Митьке и горько-горько заплакала.

— Видно, как-никак, а быть мне у бригадира в полюбовницах! — говорила она, обливаясь слезами.

— Только ты это сделай! да я тебя… и черепки-то твои поганые по ветру пущу! — задыхался Митька, и в ярости полез уж было за вожжами на полати, но вдруг одумался, затрясся всем телом, повалился на лавку и заревел.

Кричал он шибко, что мочи, а про что кричал, того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек бунтует.

Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная, бросилась Аленка на бригадирский двор, но путного ничего выговорить не могла, а только рвала на себе сарафан и безобразно кричала:

— На́, пес! жри! жри! жри!

К удивлению, бригадир не только не обиделся

этими словами, но, напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник и банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила; кричать — не кричала, а только потихоньку всхлипывала. Тогда бригадир приказал принести свой новый мундир, надел его и во всей красе показался Аленке. В это же время выбежала в дверь старая бригадирова экономка и начала Аленку усовещивать.

— Ну, чего ты, паскуда, жалеешь, подумайко! — говорила льстивая старуха. — Ведь тебя бригадир-то в медовой сыте купать станет.

— Митьку жалко! — отвечала Аленка, но таким нерешительным голосом, что было очевидно, что она уже начинает помышлять о сдаче.

В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастию, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором временно откармливалась к праздникам свинья. Натурально, возникло подозрение в поджоге, и пало оно не на кого другого, а на Митьку. Узнали, что Митька напоил на съезжей сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием, но он, как отъявленный вор и злодей, от всего отпирался.

— Ничего я этого не знаю, — говорил он, — знаю

только, что ты, старый пес, у меня жену уводом увел, и я тебе это, старому псу, прощаю… жри!

Тем не менее Митькиным словам не поверили, и так как казус был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и, по наложении клейм, отправлен в Сибирь, в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал; Аленка потихоньку всхлипывала.

Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них.

Все изменилось с этих пор в Глупове. Бригадир, в полном мундире, каждое утро бегал по лавкам и все тащил, все тащил. Даже Аленка начала походя тащить и вдруг, ни с того ни с сего, стала требовать, чтоб ее признавали не за ямщичиху, а за поповскую дочь.

Но этого мало: самая природа перестала быть благосклонною к глуповцам. «Новая сия Иезавель, — говорит об Аленке летописец, — навела на наш город сухость». С самого вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в межень[36], и вплоть до Ильина дня не выпало ни капли

---

[36] Notes: 36

Межень — самый низкий уровень воды в водоеме.

дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобного и не без основания приписывали это явление бригадирскому грехопадению. Небо раскалилось и целым ливнем зноя обдавало все живущее; в воздухе замечалось словно дрожанье и пахло гарью; земля трескалась и сделалась тверда, как камень, так что ни сохой, ни даже заступом взять ее было невозможно; травы и всходы огородных овощей поблекли; рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано, но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян; яровые совсем не взошли, и засеянные ими поля стояли черные, словно смоль, удручая взоры обывателей безнадежной наготою; даже лебеды не родилось; скотина металась, мычала и ржала; не находя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами; одни горшечники радовались вёдру, но и те раскаялись, как скоро убедились, что горшков много, а ва́рева нет.

Однако глуповцы не отчаявались, потому что не могли еще обнять всей глубины ожидавшего их бедствия. Покуда оставался прошлогодний запас, многие, по легкомыслию, пили, ели и задавали банкеты, как будто и конца запасу не

предвидится. Бригадир ходил в мундире по городу и строго-настрого приказывал, чтоб людей, имеющих «унылый вид», забирали на съезжую и представляли к нему. Дабы ободрить народ, он поручил откупщику[37] устроить в загородной роще пикник и пустить фейерверк. Пикник сделали, фейерверк сожгли, «но хлеба через то людишкам не предоставили». Тогда бригадир призвал к себе «излюбленных» и велел им ободрять народ. Стали «излюбленные» ходить по соседям и ни одного унывающего не пропустили, чтоб не утешить.

— Мы люди привышные! — говорили одни. — Мы претерпеть мóгим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить — мы и тогда противного слова не молвим!

— Это что говорить! — прибавляли другие, — нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!

— Ты думаешь как? — ободряли третьи. — Ты думаешь, начальство-то спит? Нет, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит!

Но когда убрались с сеном, то оказалось, что животы кормить будет нечем; когда окончилось

---

[37] Notes: 37

Откупщик — купец, за деньги приобретший право на какой-нибудь род государственных доходов, налогов.

жнитво, то оказалось, что и людишкам кормиться тоже нечем. Глуповцы испугались и начали похаживать к бригадиру на двор.

— Так как же, господин бригадир, насчет хлебца-то? похлопочешь? — спрашивали они его.

— Хлопочу, братики, хлопочу! — отвечал бригадир.

— То-то; уж ты постарайся!

В конце июля полили бесполезные дожди, а в августе людишки начали помирать, потому что все, что было, приели. Придумывали, какую такую пищу стряпать, от которой была бы сытость; мешали муку с ржаной резкой, но сытости не было; пробовали, не будет ли лучше с толченой сосновой корой, но и тут настоящей сытости не добились.

— Хоть и точно, что от этой пищи словно кабы живот наедается, однако, братцы, надо так сказать: самая эта еда пустая! — говорили промеж себя глуповцы.

Базары опустели, продавать было нечего, да и некому, потому что город обезлюдел. «Кои померли, — говорит летописец, — кои, обеспамятев, разбежались кто куда». А бригадир между тем все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый прадедамовый платок. Сведавши об этом,

глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадиров двор.

— А ведь это поди ты не ладно, бригадир, делаешь, что с мужней женой уводом живешь! — говорили они ему. — Да и не затем ты сюда от начальства прислан, чтоб мы, сироты, за твою дурость напасти терпели!

— Потерпите, братики! всего вдоволь будет! — вертелся бригадир.

— То-то! мы терпеть согласны! Мы люди привышные! А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай, потому не ровён час: терпим-терпим, а тоже и промеж нас глупого человека не мало найдется! Как бы чего не сталось!

Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение, но тот еще больше обеспокоил, рассказавши историю об Ахаве и Иезавели.

— И доколе не растерзали ее псы, весь народ изгиб до единого! — заключил батюшка свой рассказ.

— Очнись, батя! ужли ж Аленку собакам отдать! — испугался бригадир.

— Не к тому о сем говорю! — объяснился батюш-

ка. — Однако и о нижеследующем не излишне размыслить: паства у нас равнодушная, доходы малые, провизия дорогая… где пастырю-то взять, господин бригадир?

— Ох! за грехи меня, старого, Бог попутал! — простонал бригадир и горько заплакал.

И вот, сел он опять за свое писанье; писал много, писал всюду.

Рапортовал так: коли хлеба не имеется, так, по крайности, пускай хоть команда прибудет. Но ни на какое свое писание ни из какого места ответа не удостоился.

А глуповцы с каждым днем становились назойливее и назойливее.

— Что? получил, бригадир, ответ? — спрашивали они его с неслыханной наглостью.

— Не получил, братики! — отвечал бригадир.

Глуповцы смотрели ему «нелепым обычаем» в глаза и покачивали головами.

— Гунявый ты! вот что! — укоряли они его. — Оттого тебе, гадёнку, и не отписывают! не сто́ишь!

Одним словом, вопросы глуповцев делались из рук вон щекотливыми. Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются бессильными.

— Да; убеждениями с этим народом ничего не поделаешь! — рассуждал бригадир. — Тут не убеждения требуются, а одно из двух: либо хлеб, либо… команда!

Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием; но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего.

Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку и все прислушивается, не раздастся ли откуда: туру-туру?

Рассыпьтесь, молодцы!

За камни, за кусты!

По два в ряд!

— Нет! не слыхать!

— Словно и Бог-то наш край позабыл! — молвит бригадир.

А глуповцы между тем всё жили, всё жили.

Молодые все до одного разбежались. «Бежали-бежали, — говорит летописец, — многие, ни до чего не добежав, венец приняли; многих изловили и заключили в узы; сии почитали себя благополучными». Дома остались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтоб

бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать. Женщины выли, церкви переполнились гробами, трупы же людей худородных валялись по улицам неприбранные. Трудно было дышать в зараженном воздухе; стали опасаться, чтоб к голоду не присоединилась еще чума, и для предотвращения зла сейчас же составили комиссию, написали проект об устройстве временной больницы на десять кроватей, нащипали корпии[38] и послали во все места по рапорту. Но несмотря на столь видимые знаки начальственной попечительности, сердца обывателей уже ожесточились. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь не показал бригадиру фигу, не назвал его «гунявым», «гадёнком» и проч.

К довершению бедствия, глуповцы взялись за ум. По вкоренившемуся исстари крамольническому обычаю, собрались они около колокольни, стали судить да рядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока — самого древнего в целом городе человека, Евсеича. Долго кланялись и мир, и Евсеич друг другу в ноги: первый просил

[38] Notes: 38

Корпия — нащипанные из старой льняной ткани нитки, употреблявшиеся как перевязочный материал (до распространения ваты).

послужить, второй просил освободить. Наконец мир сказал:

— Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь, сколько начальников видел, а все жив состоишь!

Тогда и Евсеич не вытерпел.

— Много годов я выжил! — воскликнул он, внезапно воспламенившись. — Много начальников видел! Жив есмь!

И, сказавши это, заплакал. «Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить», — прибавляет летописец. И сделался Евсеич ходоком, и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз.

— Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом, сироты, помираем? — так начал он свое первое искушение.

— Ведомо, — ответствовал бригадир.

— И то ведомо ли тебе, от чьего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?

— Нет, не ведомо.

Первое искушение кончилось. Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. «Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся», — говорит летописец.

Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, «но уже прежний твердый вид утерял».

— С правдой мне жить везде хорошо! — сказал он. — Ежели мое дело справедливое, так ссылай ты меня хоть на край света, — мне и там с правдой будет хорошо!

— Это точно, что с правдой жить хорошо, — отвечал бригадир, — только вот я какое слово тебе молвлю: лучше бы тебе, древнему старику, с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликáть!

— Нет! мне с правдой дома сидеть не приходится! потому она, правда-матушка, непоседлива! Ты глядишь: как бы в избу да на полати влезти, ан она, правда-матушка, из избы вон гонит… вот чтó!

— Что ж! по мне, пожалуй! Только как бы ей, правде-то твоей, не набежать на рожон!

И второе искушение кончилось. Опять воротился Евсеич к колокольне, и вновь отдал миру подробный отчет. «Бригадир же, видя Евсеича о правде безнужно беседующего, убоялся его против прежнего не гораздо», — прибавляет летописец. Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут.

Еще через три дня Евсеич пришел к бригадиру

в третий раз и сказал:

— А ведомо ли тебе, старому псу…

Но не успел он еще порядком рот разинуть, как бригадир, в свою очередь, гаркнул:

— Одеть дурака в кандалы!

Надели на Евсеича арестантский убор и, «подобно невесте, навстречу жениха грядущей», повели, в сопровождении двух престарелых инвалидов, на съезжую. По мере того как кортеж приближался, толпы глуповцев расступались и давали дорогу.

— Небось, Евсеич, небось! — раздавалось кругом. — С правдой тебе везде будет жить хорошо!

Он же кланялся на все стороны и говорил:

— Простите, атаманы-молодцы! ежели кого обидел, и ежели перед кем согрешил, и ежели кому неправду сказал… все простите!

— Бог простит! — слышалось в ответ.

— И ежели перед начальством согрубил… и ежели в зачинщиках был… и в том, Христа ради, простите!

— Бог простит!

С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было, исчез без остатка, как умеют исчезать только «старатели» русской земли. Однако строгость бригадира все-таки оказала

лишь временное действие. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба все не было («Нет этой нужды горше!» — говорит летописец), то волею-неволею опять пришлось глуповцам собраться около колокольни. Смотрел бригадир с своего крылечка на это глуповское «бунтовское неистовство» и думал: «Вот бы теперь горошком — раз-раз-раз — и се не бе!» Но глуповцам приходилось не до бунтовства. Собрались они, начали тихим манером сговариваться, как бы им «о себе промыслить», но никаких новых выдумок измыслить не могли, кроме того, что опять выбрали ходока.

Новый ходок, Пахомыч, взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник. Он понял так, что теперь самое верное средство — это начать во все места просьбы писать.

— Знаю я одного человечка, — обратился он к глуповцам, — не к нему ли нам наперед поклониться сходить?

Услышав эту речь, большинство обрадовалось. Как ни велика была «нужа», но всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех «стараться». Что без «старания» не обойдешься — это одинаково

сознавалось всеми; но всякому казалось не в пример удобнее, чтоб за него «старался» кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем было двинулась вперед, чтоб исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос, куда идти: направо или налево? Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии.

— Стойте, атаманы-молодцы! — сказали они. — Как бы нас за этого человека бригадир не взбондировал![39] Лучше спросим наперед, каков таков человек?

— А таков этот человек, что все ходы и выходы знает! Одно слово, прожженный! — успокоил Пахомыч.

Оказалось на поверку, что «человечек» — не кто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы «за трясение правой руки», каковому трясению состояла причина в напитках. Жил он где-то на «болоте», в полуразвалившейся избенке некоторой мещанской девки, которая, за свое легкомыслие, пользовалась прозвищем «козы» и «опчественной кружки». Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая

---

[39] Notes: 39
Взбондировать — высечь.

правую руку левою. Никаких других сведений об «человечке» не имелось, да, по-видимому, и не ощущалось в них надобности, потому что большинство уже зараньше было предрасположено к безусловному доверию.

Тем не менее вопрос «охранительных людей» все-таки не прошел даром. Когда толпа окончательно двинулась, по указанию Пахомыча, то несколько человек отделились и отправились прямо на бригадирский двор. Произошел раскол. Явились так называемые «отпадшие», то есть такие прозорливцы, которых задача состояла в том, чтобы оградить свои спины от потрясений, ожидающихся в будущем. «Отпадшие» пришли на бригадирский двор, но сказать ничего не сказали, а только потоптались на месте, чтобы засвидетельствовать.

Несмотря, однако, на раскол, дело, затеянное глуповцами на «болоте», шло своим чередом.

На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить. Но это было раздумье мгновенное. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукою в правую и начал строчить:

ВО ВСЕ МЕСТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Просят пренесчастнейшего города Глупова всенижайшие и всебедствующие всех сословий чины и людишки, а о чем, тому следуют пункты:

1) Сим доводим до всех Российской империи мест и лиц: мрем мы все, сироты, до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, ко взысканию податей строгое, к подаянию же помощи мало поспешное. И еще доводим: которая у того бригадира, Фердыщенка, ямская жена Аленка, то от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился, а более того причины не видим. А когда жила Аленка у мужа своего, Митьки-ямщика, то было в нашем городе смирно и жили мы всем изобильно. Хотя же и дальше терпеть согласны, однако опасаемся: ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сумненье не ввел.

2) Более сего пунктов не имеется.

К сему прошению, вместо людишек города Глупова, за неграмотностью их, поставлено двести и тринадцать крестов.

Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали

бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту.

— Ишь, поплелась! — говорили старики, следя за тройкой, уносившей их просьбу в неведомую даль. — Теперь, атаманы-молодцы, терпеть нам недолго!

И действительно, в городе вновь сделалось тихо; глуповцы никаких новых бунтов не предпринимали, а сидели на завалинках и ждали. Когда же проезжие спрашивали: как дела? — то отвечали:

— Теперь наше дело верное! теперича мы, братец мой, бумагу подали!

Но проходил месяц, проходил другой — резолюции не было. А глуповцы всё жили и все что-то жевали. Надежды росли и с каждым новым днем приобретали все больше и больше вероятия. Даже «отпадшие» начали убеждаться в неуместности своих опасений и крепко приставали, чтоб их записывали в зачинщики. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. Обманутый наружным спокойствием обывателей, он очутился в самом щекотливом положении. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего; с другой стороны, тоже чувствовал — что

ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустит в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит. Потом опять опустит, опять вытащит и опять засадит. И в то же время все пишет, все пишет. Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, оговорил по куче других злоумышленников. Бригадир роскошествовал, но глуповцы не только не устрашались, но, смеясь, говорили промеж себя: «Каку таку новую игру старый пес затеял?»

— Постой, — рассуждали они, — вот придет ужó бумага!

Но бумага не приходила, а бригадир плел да плел свою сеть и доплел до того, что помаленьку опутал ею весь город. Нет ничего опаснее, как корни и нити, когда примутся за них вплотную. С помощью двух инвалидов бригадир перепутал и перетаскал на съезжую почти весь город, так что не было дома, который не считал бы одного или двух злоумышленников.

— Этак он, братцы, всех нас завинит! — догадывались глуповцы, и этого опасения было

достаточно, чтобы подлить масла в потухавший огонь.

Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей сто пятьдесят «крестов» очутились на площади («отпадшие» вновь благоразумно скрылись) и, дойдя до градоначальнического дома, остановились.

— Аленку! — гудела толпа.

Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Так он и поступил. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтоб дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее. Замок щелкнул, и Аленка осталась снаружи с простертыми врозь руками. В таком положении застала ее толпа; застала бледную, трепещущую всем телом, почти безумную.

— Пожалейте, атаманы-молодцы, мое тело белое! — говорила Аленка ослабевшим от ужаса голосом. — Ведомо вам самим, что он меня силкóм от мужа увел!

Но толпа ничего уж не слышала.

— Сказывай, ведьма, — гудела она, — через какое твое колдовство на наш город сухость нашла?

Аленка словно обеспамятела. Она металась и, как бы уверенная в неизбежном исходе своего дела, только повторяла: «Тошно мне! ох, батюшки, тошно мне!»

Тогда совершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более пятнадцати саженей…

«И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого лóскута. В одно мгновение ока разнесли ее приблудные голодные псы».

И вот, в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали, по дороге, вдруг поднялось густое облако пыли.

— Хлеб идет! — вскрикнули глуповцы, внезапно переходя от ярости к радости.

— Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренностей пыльного облака…

В колонну
Соберись бегом!
Трезвону
Зададим штыком!
Скорей! скорей! скорей!

Соломенный город

Едва начал поправляться город, как новое легкомыслие осенило бригадира: прельстила его окаянная стрельчиха Домашка.

Стрельцы в то время хотя уж не были настоящими, допетровскими стрельцами, однако кой-что еще помнили. Угрюмые и отчасти саркастические нравы с трудом уступали усилиям начальственной цивилизации, как ни старалась последняя внушить, что галдение и крамолы ни в каком случае не могут быть терпимы в качестве «постоянных занятий». Жили стрельцы в особенной пригородной слободе, названной по их имени Стрелецкою, а на противоположном конце города расположилась слобода Пушкарская, в которой обитали опальные петровские пушкари и их потомки. Общая опала, однако ж, не соединила этих людей, и обе слободы постоянно враждовали друг с другом. Казалось, между ними существовали какие-то старые счеты, которых они не могли забыть и которые каждая сторона формулировала так: «Кабы не ваше (взаимно) тогда воровство, гуляли бы мы и по сю пору по матушке-Москве». В особенности выступали

наружу эти счеты при косьбе лугов. Каждая слобода имела в своем владении особенные луга, но границы этих лугов были определены так: «В урочище, „где Пётру Долгого секли“, — клин, да в дву потому ж». И стрельцы и пушкари аккуратно каждый год около Петровок[40] выходили на место; сначала, как и путные, искали какого-то оврага, какой-то речки, да еще кривой березы, которая в свое время составляла довольно ясный межевой признак, но лет тридцать тому назад была срублена; потом, ничего не сыскав, заводили речь об «воровстве» и кончали тем, что помаленьку пускали в ход косы. Побоища происходили очень серьезные, но глуповцы до того пригляделись к этому явлению, что нимало даже не формализировались им. Впоследствии, однако ж, начальство обеспокоилось и приказало косы отобрать. Тогда не стало чем косить траву, и животы помирали от бескормицы. «И не было ни стрелкам, ни пушкарям прибыли ни малыя, а только землемерам злорадство великое», — прибавляет по этому случаю летописец.

На одно из таких побоищ явился сам Фердыщенко с пожарной трубою и бочкой воды. Сначала

---

[40] Notes: 40

Петровки — пост перед Петровым днем (29 июня / 12 июля).

он распоряжался довольно деятельно и даже пустил в дерущихся порядочную струю воды; но когда увидел Домашку, действовавшую в одной рубахе, впереди всех, с вилами в руках, то «злопыхательное» сердце его до такой степени воспламенилось, что он мгновенно забыл и о силе данной им присяги, и о цели своего прибытия. Вместо того чтоб постепенно усиливать обливательную тактику, он преспокойно уселся на кочку и, покуривая из трубочки, завел с землемерами пикантный разговор. Таким образом, пожирая Домашку глазами, он просидел до вечера, когда сгустившиеся сумерки сами собой принудили сражающихся разойтись по домам.

Стрельчиха Домашка была совсем в другом роде, нежели Аленка. Насколько последняя была плавна́ и женственна во всех движениях, настолько же первая — резка, решительна и мужественна. Худо умытая, растрепанная, полурастерзанная, она представляла собой тип бабы-халды, по́ходя ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтоб украсить речь каким-нибудь непристойным движением. С утра до вечера звенел по слободе ее голос, клянущий и сулящий всякие нелегкие, и умолкал только тогда, когда зелено́ вино угомоняло ее до потери сознания.

Стрельцы из молодых гонялись за нею без памяти, однако ж не враждовали из-за нее промеж собой, а все вообще называли «сахарницей» и «проезжим шляхом». Пушкари ее боялись, но втайне тоже вожделели. Смелости она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила: а ну, посмотрим, покоришь ли ты меня? — и всякому, конечно, делалось лестным доказать этой «прорве», что «покорить» ее можно. Об одеждах своих она не заботилась, как будто инстинктивно чувствовала, что сила ее не в цветных сарафанах, а в той неистощимой струе молодого бесстыжества, которое неудержимо прорывалось во всяком ее движении. Был у нее, по слухам, и муж, но так как она дома ночевала редко, а все по клевушка́м да по овинам, да и детей у нее не было, то в скором времени об этом муже совсем забыли, словно так и явилась она на свет божий прямо бабой мирскою да бабой-неродúхою.

Но это-то собственно, то есть совсем наглое забвение всяких околичностей, и привлекло «злопыхательное» сердце привередливого старца. Сладостная, тающая бесстыжесть Аленки позабылась; потребовалось возбуждение более острое, более способное действовать на засыпающие

чувства старика. «Испытали мы бабу сладкую, — сказал он себе, — теперь станем испытывать бабу строптивую». И, сказавши это, командировал в Стрелецкую слободу урядника, снабдив его, для порядка, рассыльною книгой. Урядник застал Домашку вполпьяна, за огородами, около амбарушки, окруженную толпою стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась, но так как, в сущности, ей было все равно, «кто ни поп — тот батька», то после минутного колебания она начала приподниматься, чтоб последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата и отняли у урядника бабу.

— Больно лаком стал! — кричали они. — Давно ли Аленку у Митьки со двора свел, а теперь, подикось, уж у опчества бабу отнять вздумал!

Конечно, бригадиру следовало бы на сей раз посовеститься; но его словно бес обуял. Как ужаленный бегал он по городу и кричал криком. Не пошли ему впрок ни уроки прошлого, ни упреки собственной совести, явственно предупреждавшей распалившегося старца, что не ему придется расплачиваться за свои грехи, а все тем же ни в чем не повинным глуповцам. Как ни отбивались стрельчата, как ни отговаривалась сама Домашка, что она «против опчества идти не смеет», но

сила, по обыкновению, взяла верх. Два раза стегал бригадир заупрямившуюся бабенку, два раза она довольно стойко вытерпела незаслуженное наказание, но когда принялись в третий раз, то не выдержала…

Тогда выступили вперед пушкари и стали донимать стрельцов насмешками за то, что не сумели свою бабу от бригадировых шелепов отстоять. «Глупые были пушкари, — поясняет летописец, — того не могли понять, что, посмеваясь над стрельцами, сами над собой посмеваются». Но стрельцам было не до того, чтобы объяснять действия пушкарей глупостью или иною причиной. Как люди, чувствующие кровную обиду и не могущие отомстить прямому ее виновнику, они срывали свою обиду на тех, которые напоминали им о ней. Начались драки, бесчинства и увечья; ходили друг против дружки и в одиночку, и стена на стену, и всего больше страдал от этой ненависти город, который очутился как раз посередке между враждующими лагерями. Но бригадир уже ничего не слушал и ни на что не обращал внимания. Он забрался с Домашкой на вышку градоначальнического дома и первый день своего торжества ознаменовал тем, что мертвецки напился пьян с новой жертвой своего

сластолюбия…

И вот новое ужасное бедствие не замедлило постигнуть город…

Пожар начался 7-го июля, накануне праздника Казанской Божией Матери.

До первых чисел июля все шло самым лучшим образом. Перепадали дожди, и притом такие тихие, теплые и благовременные, что все растущее с неимоверною быстротой поднималось в росте, наливалось и зрело, словно волшебством двинутое из недр земли. Но потом началась жара и сухмень, что также было весьма благоприятно, потому что наступала рабочая пора. Граждане радовались, надеялись на обильный урожай и спешили с работами.

Шестого числа утром вышел на площадь юродивый Архипушко, стал середь торга и начал раздувать по ветру своей пестрядинной рубашкой.

— Горю! горю! — кричал блаженный.

Старики, гуторившие кругом, примолкли, собрались около блаженненького и спросили:

— Где, батюшко?

Но прозорливец бормотал что-то нескладное.

— Стрела бежит, огнем палит, смрадом-дымом души́т. Увидите меч огненный, услышите голос

архангельский… горю!

Больше ничего от него не могли добиться, потому что, выговоривши свою нескладицу, юродивый тотчас же скрылся (точно сквозь землю пропал), а задержать блаженного никто не посмел. Тем не меньше старики задумались.

— Про «стрелу» помянул! — говорили они, покачивая головами на Стрелецкую слободу.

Но этим дело не ограничилось. Не прошло часа, как на той же площади появилась юродивая Анисьюшка. Она несла в руках крошечный узелок и, севши посередь базара, начала ковырять пальцем ямку. И ее обступили старики.

— Что ты, Анисьюшка, делаешь? на что ямку копаешь? — спрашивали они.

— Добро хороню! — отвечала блаженная, оглядывая вопрошавших с бессмысленною улыбкой, которая с самого дня рождения словно застыла у ней на лице.

— По́што же ты хоронишь его? чай, и так от тебя, божьей старушки, никто не покорыствуется?

Но блаженная бормотала:

— Добро хороню… восемь ленточек… восемь тряпочек… восемь платочков шелковыих… восемь золотыих запоночков… восемь сережек яхонтовенькиих… восемь перстеньков изумруд-

ных... восьмеро бус янтарных... восьмеро ниток бурмицких...[41] девятая — лента алая... хи-хи! — засмеялась она своим тихим, младенческим смехом.

— Господи! что такое будет! — шептали испуганные старики.

Обернулись, ан бригадир, весь пьяный, смотрит на них из окна и лыка не вяжет, а Домашка-стрельчиха угольком фигуры у него на лице рисует.

— Вот-то пса несытого нелегкая принесла! — чуть-чуть было не сказали глуповцы, но бригадир словно понял их мысль и не своим голосом закричал:

— Опять за бунты принялись! не прочухались!

С тяжелою думой разбрелись глуповцы по своим домам, и не было слышно в тот день на улицах ни смеху, ни песен, ни говору.

На другой день, с утра, погода чуть-чуть закуражилась; но так как работа была спешная (зачиналось жнитво), то все отправились в поле. Работа, однако ж, шла вяло. Оттого ли, что дело было перед праздником, или оттого, что всех томило какое-то смутное предчувствие, но люди

---

[41] Notes: 41

Нитка бурмицкая — нить жемчуга.

двигались словно сонные. Так продолжалось до пяти часов, когда народ начал расходиться по домам, чтоб принарядиться и отправиться ко всенощной. В исходе седьмого в церквах заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усиливал общие предчувствия. Не успели отзвонить третий звон, как небо заволокло сплошь и раздался такой оглушительный раскат грома, что все молящиеся вздрогнули; за первым ударом последовал второй, третий; затем послышался где-то, не очень близко, набат. Народ разом схлынул из всех церквей. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и пожиткам. Горела Пушкарская слобода, и от нее, навстречу толпе, неслась целая стена песку и пыли.

Хотя был всего девятый час в начале, но небо до такой степени закрылось тучами, что на улицах сделалось совершенно темно. Сверху черная, безграничная бездна, прорезываемая молниями; кругом воздух, наполненный крутящимися атомами пыли, — все это представляло неизобразимый хаос, на грозном фоне которого выступал не менее грозный силуэт пожара. Видно было,

как вдали копошатся люди, и казалось, что они бессознательно толкутся на одном месте, а не мечутся в тоске и отчаянье. Видно было, как кружатся в воздухе оторванные вихрем от крыш клочки зажженной соломы, и казалось, что перед глазами совершается какое-то фантастическое зрелище, а не горчайшее из злодеяний, которыми так обильны бессознательные силы природы. Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. В одном месте пожар уже в полном разгаре; все строение обнял огонь, и с каждой минутой размеры его уменьшаются, и силуэт принимает какие-то узорчатые формы, которые вытачивает и выгрызает страшная стихия. Но вот в стороне блеснула еще светлая точка, потом ее закрыл густой дым, и через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык; потом язык опять исчез, опять вынырнул — и взял силу. Новая точка, еще точка… сперва черная, потом ярко-оранжевая; образуется целая связь светящихся точек, и затем — настоящее море, в котором утопают все отдельные подробности, которое крутится в берегах своею собственною силою, которое издает свой собственный треск, гул и свист. Не скажешь, что́ тут горит, что́ плачет, что́ страдает; тут все горит, все плачет, все

страдает… Даже стонов отдельных не слышно.



Люди стонали только в первую минуту, когда без памяти бежали к месту пожара. Припоминалось тут все, что когда-нибудь было дорого; все заветное, пригретое, приголубленное, все, что помогало примиряться с жизнью и нести ее бремя. Человек так свыкся с этими извечными идолами своей души, так долго возлагал на них лучшие свои упования, что мысль о возможности потерять их никогда отчетливо не представлялась уму. И вот настала минута, когда эта мысль является не как отвлеченный призрак, не как плод испуганного воображения, а как голая действительность, против которой не может быть и возражений. При первом столкновении с этой действительностью человек не может вытерпеть боли, которою она поражает его; он стонет, простирает руки, жалуется, клянет, но в то же время еще надеется, что злодейство, быть может, пройдет мимо. Но когда он убедился, что злодеяние уже совершилось, то чувства его внезапно стихают и одна только жажда водворяется в сердце его — это жажда безмолвия. Человек приходит к собственному жилищу, видит, что оно насквозь засветилось, что из всех пазов выпалзывают тоненькие огненные змейки, и начинает сознавать, что вот это и есть тот самый *конец всего,* о кото-

ром ему когда-то смутно грезилось и ожидание которого, незаметно для него самого, проходит через всю его жизнь. Что остается тут делать? что можно еще предпринять? Можно только сказать себе, что прошлое кончилось и что предстоит начать нечто новое, нечто такое, от чего охотно бы оборонился, но чего невозможно избыть, потому что оно придет само собою и назовется завтрашним днем.

— Все ли вы тут? — раздается в толпе женский голос. — Один, другой… Николка-то где?

— Я, мамонька, здеся, — отвечал боязливый лепет ребенка, притаившегося сзади около сарафана матери.

— Где Матренка? — слышится в другом месте. — Ведь Матренка-то в избе осталась!

На этот призыв выходит из толпы парень и с разбега бросается в пламя. Проходит одна томительная минута, другая. Обрушиваются балки одна за другой, трещит потолок. Наконец парень показывается среди облаков дыма; шапка и полушубок на нем затлелись, в руках ничего нет. Слышится вопль: «Матренка! Матренка! где ты?» — потом следуют утешения, сопровождаемые предположениями, что, вероятно, Матренка с испуга убежала на огород…

Вдруг в стороне из глубины пустого сарая раздается нечеловеческий вопль, заставляющий даже эту, совсем обеспамятевшую толпу перекреститься и вскрикнуть: «Спаси, Господи!» Весь или почти весь народ устремляется по направлению этого крика. Сарай только что загорелся, но подступиться к нему уже нет возможности. Огонь охватил плетеные стены, обвил каждую отдельную хворостинку, и в одну минуту сделал из темной, дымившейся массы рдеющий, ярко-прозрачный костер. Видно было, как внутри метался и бегал человек, как он рвал на себе рубашку, царапал ногтями грудь, как он вдруг останавливался и весь вытягивался, словно вдыхал. Видно было, как брызгали на него искры, словно обливали, как занялись на нем волосы, как он сначала тушил их, потом вдруг закружился на одном месте…

— Батюшки! да ведь это Архипушко! — разглядели люди.

Действительно, это был он. Среди рдеющего кругом хвороста темная, полудикая фигура его казалась просветлевшею. Людям виделся не тот нечистоплотный, блуждающий мутными глазами Архипушко, каким его обыкновенно видали, не Архипушко, преданный предсмертным

корчам и, подобно всякому другому смертному, бессильно борющийся против неизбежной гибели, а словно какой-то энтузиаст, изнемогающий под бременем переполнившего его восторга.

— Отворь ворота, Архипушко! отворь, батюшко! — кричали издали люди, жалеючи.

Но Архипушко не слыхал и продолжал кружиться и кричать. Очевидно было, что у него уже начинало занимать дыхание. Наконец столбы, поддерживавшие соломенную крышу, подгорели. Целое облако пламени и дыма разом рухнуло на землю, прикрыло человека и закрутилось. Рдеющая точка на время опять превратилась в темную; все инстинктивно перекрестились…

Не успели пушкари опамятоваться от этого зрелища, как их ужаснуло новое: загудели на соборной колокольне колокола, и вдруг самый большой из них грохнулся вниз. Бросились и туда, но тут увидели, что вся слобода уже в пламени, и начали помышлять о собственном спасении. Толпа, оставшаяся без крова, пропитания и одежды, повалила в город, но и там встретилась с общим смятением. Хотя очевидно было, что пламя взяло все, что могло взять, но горожанам, наблюдавшим за пожаром по ту сторону речки, казалось, что пожар все рос и зарево больше и больше

рдело. Весь воздух был наполнен какою-то светящеюся массою, в которой, отдельными точками, кружились и вихрились головни и горящие пуки соломы. «Куда-то они полетят? На ком обрушатся?» — спрашивали себя оцепенелые горожане.

Этот вопрос произвел всеобщую панику; всяк бросился к своему двору спасать имущество. Улицы запрудились возами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним скарбом. Торопливо, но без особенного шума двигалась эта вереница по направлению к выгону и, отойдя от города на безопасное расстояние, начала улаживаться. В эту минуту полил долго желанный дождь и растворил на выгоне легко уступающий чернозем.

Между тем пушкари остановились на городской площади и решились дожидаться тут до свету. Многие присели на землю и дали волю слезам. Какой-то начетчик запел: *на реках вавилонских* — и, заплакав, не мог кончить; кто-то произнес имя стрельчихи Домашки, но отклика ниоткуда не последовало. О бригадире все словно позабыли, хотя некоторые и уверяли, что видели, как он слонялся с единственной пожарной трубой и порывался отстоять попов дом. Поп был тут же, вместе со всеми, и роптал.

— Беззаконновахом! — говорил он.

— Ты бы, батька, побольше Богу молился да поменьше с попадьей проклажался! — в упор последовал ответ, и затем разговор по этому предмету больше не возобновлялся.

К свету пожар действительно стал утихать, отчасти потому, что гореть было нечему, отчасти потому, что пошел проливной дождь. Пушкари побрели обратно на пожарище и увидели кучи пепла и обуглившиеся бревна, под которыми тлелся огонь. Достали откуда-то крючьев, привезли из города трубу и начали не торопясь растаскивать уцелевший материал и тушить остатки огня. Всякий рылся около своего дома и чего-то искал; многие в самом деле доискивались и крестились. Сгоревших людей оказалось с десяток, в том числе двое взрослых; Матренку же, о которой накануне был разговор, нашли спящею на огороде между гряд. Мало-помалу день принял свой обычный, рабочий вид. Убытки редко кем высчитывались; всякий старался прежде всего определить себе не то, что потерял, а то, что у него есть. У кого осталось нетронутым подполье, и по этому поводу выражалась радость, что уцелел квас и вчерашний каравай хлеба; у кого каким-то чудом пожар обошел клевушок, в котором была

заперта буренушка.

— Ай да буренушка! умница! — хвалили кругом.

Начал и город понемногу возвращаться в свои логовища из вынужденного лагеря; но не надолго. Около полдня, у Ильи-пророка, что на болоте, опять забили в набат. Загорелся сарай той самой «Козы», у которой в предыдущем рассказе летописец познакомил нас с приказным Боголеповым. Полагают, что Боголепов в пьяном виде курил трубку и заронил искру в сенную труху; но так как он сам при этом случае сгорел, то догадка эта настоящим образом в известность не приведена. В сущности, пожар был не весьма значителен и мог бы быть остановлен довольно легко, но граждане до того были измучены и потрясены происшествиями вчерашней бессонной ночи, что достаточно было слова: «пожар!», чтоб произвести между ними новую общую панику. Все опять бросились к домам, тащили оттуда кто что мог и побежали на выгон. А пожар между тем разрастался и разрастался.

Не станем описывать дальнейших перипетий этого бедствия, тем более что они вполне схожи с теми, которые уже приведены нами выше. Скажем только, что два дня горел город, и в это

время без остатка сгорели две слободы: Болотная и Негодница, названная так потому, что там жили солдатки, промышлявшие зазорным ремеслом. Только на третий день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались. Подстрекаемые крамольными стрельцами, они выступили из лагеря, явились толпой к градоначальническому дому и поманили оттуда Фердыщенку.

— Долго ли нам гореть будет? — спросили они его, когда он, после некоторых колебаний, появился на крыльце.

Но лукавый бригадир только вертел хвостом и говорил, что ему с Богом спорить не приходится.

— Мы не про то говорим, чтоб тебе с Богом спорить, — настаивали глуповцы, — куда тебе, гунявому, на Бога лезти! а ты вот что скажи: за чьи бесчинства мы, сироты, теперича помирать должны?

Тогда бригадир вдруг засовестился. Загорелось сердце его стыдом великим, и стоял он перед глуповцами и точил слезы. («И все те его слезы были крокодиловы», — предваряет летописец события.)

— Мало ты нас в прошлом году истязал? Мало нас от твоей глупости да от твоих шелепов смерть

приняло? — продолжали глуповцы, видя, что бригадир винится. — Одумайся, старче! Оставь свою дурость!

Тогда бригадир встал перед миром на колени и начал каяться. («И было то покаяние его аспидово», — опять предваряет события летописец.)

— Простите меня, ради Христа, атаманы-молодцы! — говорил он, кланяясь миру в ноги. — Оставляю я мою дурость на веки вечные, и сам вам тоё мою дурость с рук на руки сдам! только не наругайтесь вы над нею, ради Христа, а проводите честь честью к стрельцам в слободу!

И, сказав это, вывел Домашку к толпе. Увидели глуповцы разбитную стрельчиху и животами охнули. Стояла она перед ними, та же немытая, нечесаная, как прежде была: стояла, и хмельная улыбка бродила по лицу ее. И стала им эта Домашка так люба, так люба, что и сказать невозможно.

— Здорово живешь, Домаха! — гаркнули в один голос граждане.

— Здравствуйте! Ослобонять пришли? — отвечала Домашка.

— Охотой идешь в опчество?

— Со всем моим великим удовольствием!

Тогда Домашку взяли под руки и привели к то-

му самому анбару, откуда она была, за несколько времени перед тем, уведена силою.

Стрельцы радовались, бегали по улицам, били в тазы и в сковороды и выкрикивали свой обычный воинственный клич:

— Посрамихом! посрамихом!

И началась тут промеж глуповцев радость и бодренье великое. Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец и что отныне ничего другого не остается, как благоденствовать. С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару, в несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны города глубокою канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою, вследствие недостатка питания.

Но летописец недаром предварял события намеками: слезы бригадировы действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние аспидово. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места. Десять часов сряду макал он перо в чернильницу, и чем дальше макал, тем больше становилось оно ядовитым.

«Сего 10-го июля, — писал он, — от всех вообще глуповских граждан последовал против меня великий бунт. По случаю бывшего в слободе

Негоднице великого пожара собрались ко мне, бригадиру, на двор всякого звания люди и стали меня нудить и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принес. Я же без страха от сего уклонился. И теперь рассуждаю так: ежели таковому их бездельничеству потворство сделать, да и впредь потрафлять, то как бы оное не явилось повторительным и не гораздо к утишению способным?»

Отписав таким образом, бригадир сел у окошечка и стал поджидать, не послышится ли откуда: ту-ру! ту-ру! Но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками.

— Миленькие вы, миленькие! — говорил он им. — Ну, чего вы, глупенькие, на меня рассердились! Ну, взял Бог — ну, и опять даст Бог! У него, у Царя Небесного, милостей много! Так-то, братики-сударики!

По временам, однако ж, на лице его показывалась какая-то сомнительная улыбка, которая не предвещала ничего доброго…

И вот, в одно прекрасное утро, по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло наконец к самому Глупову.

— Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренностей таинственного облака.

Трубят в рога!
Разить врага
Другим пора!

Глуповцы оцепенели.

Фантастический путешественник

Едва успели глуповцы поправиться, как бригадирово легкомыслие чуть-чуть не навлекло на них новой беды.

Фердыщенко вздумал путешествовать.

Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенка находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они, даже в археологическом отношении, ничего примечательного не представляли. «Куда и с какою целью тут путешествовать?» Все благоразумные люди задавали себе этот вопрос, но удовлетворительно разрешить не могли. Даже бригадирова экономка — и та пришла в большое смущение, когда Фердыщенко объявил ей о своем намерении.

— Ну куда тебя слоняться несет? — говорила она. — На первую кучу наткнешься и завязнешь! Кинь ты свое озорство, Христа ради!

Но бригадир был непоколебим. Он вообразил себе, что травы сделаются зеленее и цветы расцветут ярче, как только он выедет на выгон.

«Утучнятся поля, прольются многоводные реки, поплывут суда, процветет скотоводство, объявятся пути сообщения», — бормотал он про себя и лелеял свой план пуще зеницы ока. «Прост он был, — поясняет летописец, — так прост, что даже после стольких бедствий простоты своей не оставил».

Очевидно, он копировал в этом случае своего патрона и благодетеля, который тоже был охотник до разъездов (по краткой описи градоначальникам, Фердыщенко обозначен так: бывый денщик князя Потемкина) и любил, чтоб его везде чествовали.

План был начертан обширный. Сначала направиться в один угол выгона; потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец; потом очутиться в середине, потом ехать опять по прямому направлению, а затем уже куда глаза глядят. Везде принимать поздравления и дары.

— Вы смотрите! — говорил он обывателям, — как только меня завидите, так сейчас в тазы бейте, а потом зачинайте поздравлять, как будто я и невесть откуда приехал!

— Слушаем, батюшка Петр Петрович! — говорили проученные глуповцы; но про себя думали: «Господи! того гляди, опять город спалит!»

Выехал он в самый Николин день, сейчас после ранних обеден, и дома сказал, что будет не скоро. С ним был денщик Василий Черноступ да два инвалидных солдата. Шагом направился этот поезд в правый угол выгона, но так как расстояние было близкое, то как ни медлили, а через полчаса поспели. Ожидавшие тут глуповцы, в числе четырех человек, ударили в тазы, а один потрясал бубном. Потом начали подносить дары: подали тёшку осетровую соленую, да севрюжку провесную среднюю, да кусок ветчины. Вышел бригадир из брички и стал спорить, что даров мало, «да и дары те не настоящие, а лежалые» и служат к умалению его чести. Тогда вынули глуповцы еще по полтиннику, и бригадир успокоился.

— Ну, теперь показывайте мне, старички, — сказал он ласково, — каковы у вас есть достопримечательности?

Стали ходить взад и вперед по выгону, но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной кучи.

— Это в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так в ту пору всякого скота тут довольно было! — объяснил один из стариков.

— Хорошо бы здесь город поставить, — молвил бригадир, — и назвать его Домнославом, в честь

той стрельчихи, которую вы занапрасно в то время обеспокоили!



И потом прибавил:

— Ну а в недрах земли как?

— Об этом мы неизвестны, — отвечали глуповцы, — думаем, что много всего должно быть, однако допытываться боимся: как бы кто не увидал да начальству не пересказал!

— Боитесь?! — усмехнулся бригадир.

Словом сказать, в полчаса, да и то без нужды, весь осмотр кончился. Видит бригадир, что времени остается много (отбытие с этого пункта было назначено только на другой день), и зачал тужить и корить глуповцев, что нет у них ни мореходства, ни судоходства, ни горного и монетного промыслов, ни путей сообщения, ни даже статистики — ничего, чем бы начальниково сердце возвеселить. А главное, нет предприимчивости.

— Вам бы следовало корабли заводить, кофей-сахар развозить, — сказал он, — а вы что!

Переглянулись между собою старики, видят, что бригадир как будто и к слову, а как будто и не к слову свою речь говорит, помялись на месте и вынули еще по полтиннику.

— На этом спасибо, — молвил бригадир, — а что про мореходство сказалось, на том простите!

Выступил тут вперед один из граждан и, желая

подслужиться, сказал, что припасена у него за пазухой деревянного дела пушечка малая на колесцах и гороху сушеного запасец небольшой. Обрадовался бригадир этой забаве несказанно, сел на лужок и начал из пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а до обеда все еще много времени остается.

— Ах, прах те побери! Здесь и солнце-то словно назад пятится! — сказал бригадир, с негодованием поглядывая на небесное светило, медленно выплывавшее по направлению к зениту.

Наконец, однако, сели обедать, но так как со времени стрельчихи Домашки бригадир стал запивать, то и тут напился до безобразия. Стал говорить неподобные речи и, указывая на «деревянного дела пушечку», угрожал всех своих амфитрионов[42] перепалить. Тогда за хозяев вступился денщик, Василий Черноступ, который хотя тоже был пьян, но не гораздо.

— Пустое ты дело затеял! — сразу оборвал он бригадира. — Кабы не я, твой приставник, — слова бы тебе, гунявому, не пикнуть, а не то чтоб за экое орудие взяться!

Время между тем продолжало тянуться с безна-

---

[42] Notes: 42

Амфитрион — здесь: радушный хозяин.

дежною вялостью. Обедали-обедали, пили-пили, а солнце все высоко стоит. Начали спать. Спали-спали, весь хмель переспали, наконец начали вставать.

— Никак солнце-то высоко взошло! — сказал бригадир, просыпаясь и принимая запад за восток.

Но ошибка была столь очевидна, что даже он понял ее. Послали одного из стрельцов в Глупов за квасом, думая ожиданием сократить время; но старик оборотил духом и принес на голове целый жбан, не пролив ни капли. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклось, зажгли плошку и осветили навозную кучу. Плошка коптела, мигала и распространяла смрад.

— Славу богу! не видали, как и день кончился! — сказал бригадир и, завернувшись в шинель, улегся спать во второй раз.

На другой день поехали наперерез и, по счастью, встретили по дороге пастуха. Стали его спрашивать, кто он таков, и зачем по пустым местам шатается, и нет ли в том шатании умысла. Пастух сначала оробел, но потом во всем повинился. Тогда его обыскали и нашли хлеба ломоть небольшой да лоскуток от онуч.

— Сказывай, в чем был твой умысел? — допра-

шивал бригадир с пристрастием.

Но пастух на все вопросы отвечал мычанием, так что путешественники вынуждены были, для дальнейших расспросов, взять его с собою и в таком виде приехали в другой угол выгона.

Тут тоже в тазы звонили и дары дарили, но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. Вечером опять зажгли плошку и начадили так, что у всех разболелись головы.

На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку, но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам, и так как день был праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его чем-нибудь особенным. Одевшись в лучшие одежды, они выстроились в каре и ожидали своего начальника. Стучали в тазы, потрясали бубнами, и даже играла одна скрипка. В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился.

Плакали тут все, плакали и потому, что жалко, и

потому, что радостно. В особенности разливалась одна древняя старуха (сказывали, что она была внучка побочной дочери Марфы Посадницы).

— О чем ты, старушка, плачешь? — спросил бригадир, ласково трепля ее по плечу.

— Ох ты наш батюшка! как нам не плакать-то, кормилец ты наш! век мы свой всё-то плачем… всё плачем! — всхлипывала в ответ старуха.

В полдень поставили столы и стали обедать; но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил три чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место. Затем, съевши первую перемену (были щи с солониной), он опять выпил два стакана и начал говорить, что ему нужно бежать.

— Ну куда тебе без ума бежать? — урезонивали его почетные глуповцы, сидевшие по сторонам.

— Куда глаза глядят! — бормотал он, очевидно, припоминая эти слова из своего маршрута.

После второй перемены (был поросенок в сметане) ему сделалось дурно; однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустою. После этого ему перекосило рот.

Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка, дрожала-дрожала

и вдруг замерла… Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест.

Кончилось…

Кончилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. «Была ли в сих вразумлениях необходимость?» — спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа.

На некоторое время глуповцы погрузились в ожидание. Они боялись, чтоб их не завинили в преднамеренном окормлении бригадира и чтоб опять не раздалось неведомо откуда: «туру-туру!»

Встаньте гуще!
Чтобы пуще
Побеждать врага!

К счастью, однако ж, на этот раз опасения оказались неосновательными. Через неделю прибыл из губернии новый градоначальник и превосходством принятых им административных мер заставил забыть всех старых градоначальников, а в том числе и Фердыщенку. Это был Василиск Семенович Бородавкин, с которого, собственно, и начинается золотой век Глупова. Страхи рас-

сеялись, урожаи пошли за урожаями, комет не появлялось, а денег развелось такое множество, что даже куры не клевали их… Потому что это были ассигнации.

Войны за просвещение

Василиск Семенович Бородавкин, сменивший бригадира Фердыщенку, представлял совершенную противоположность своему предместнику. Насколько последний был распущен и рыхл, настолько же первый поражал расторопностью и какою-то неслыханной административной въедчивостью, которая с особенной энергией проявлялась в вопросах, касавшихся выеденного яйца. Постоянно застегнутый на все пуговицы и имея наготове фуражку и перчатки, он представлял собой тип градоначальника, у которого ноги во всякое время готовы бежать неведомо куда. Днем он, как муха, мелькал по городу, наблюдая, чтоб обыватели имели бодрый и веселый вид; ночью — тушил пожары, делал фальшивые тревоги и вообще заставал врасплох.

Кричал он во всякое время, и кричал необыкновенно. «Столько вмещал он в себе крику, — говорит по этому поводу летописец, — что от оного многие глуповцы и за себя, и за детей навсегда испугались». Свидетельство замечательное и находящее себе подтверждение в том, что впоследствии начальство вынуждено было дать

глуповцам разные льготы, именно «испуга их ради». Аппетит имел хороший, но насыщался с поспешностью и при этом роптал. Даже спал только одним глазом, что приводило в немалое смущение его жену, которая, несмотря на двадцатипятилетнее сожительство, не могла без содрогания видеть его другое, недремлющее, совершенно круглое и любопытно на нее устремленное око. Когда же совсем нечего было делать, то есть не предстояло надобности ни мелькать, ни заставать врасплох (в жизни самых расторопных администраторов встречаются такие тяжкие минуты), то он или издавал законы, или маршировал по кабинету, наблюдая за игрой сапожного носка, или возобновлял в своей памяти военные сигналы.

Была и еще одна особенность за Бородавкиным: он был сочинитель. За десять лет до прибытия в Глупов он начал писать проект «о вящем армии и флотов по всему лицу распространении, дабы через то возвращение (sic) древней Византии под сень Российския державы уповательным учинить», и каждый день прибавлял к нему по одной строчке. Таким образом составилась довольно объемистая тетрадь, заключавшая в себе три тысячи шестьсот пятьдесят две строчки (два года

было високосных), на которую он не без гордости указывал посетителям, прибавляя при том:

— Вот, государь мой, сколь далеко я виды свои простираю!

Вообще, политическая мечтательность была в то время в большом ходу, а потому и Бородавкин не избегнул общих веяний времени. Очень часто видали глуповцы, как он, сидя на балконе градоначальнического дома, взирал оттуда, с полными слез глазами, на синеющие вдалеке византийские твердыни. Выгонные земли Византии и Глупова были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из этого выходили беспрестанные пререкания. Казалось, стоило только кликнуть клич… И Бородавкин ждал этого клича, ждал с страстностью, с нетерпением, доходившим почти до негодования.

— Сперва с Византией покончим-с, — мечтал он, — а потом-с…

На Драву, Мораву, на дальнюю Саву,
На тихий и синий Дунай…[43]

Д-да-с!

---

[43] Notes: 43

Неточная цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Беззвездная полночь дышала прохладой».

Сказать ли всю истину: по секрету, он даже заготовил на имя известного нашего географа, К. И. Арсеньева, довольно странную резолюцию: «Предоставляется вашему благородию, — писал он, — на будущее время известную вам Византию во всех учебниках географии числить тако: Константинополь, бывшая Византия, а ныне губернский город Екатериноград, стоит при излиянии Черного моря в древнюю Пропонтиду[44] и под сень Российской державы приобретен в 17... году, с распространением на оный единства касс (единство сие в том состоит, что византийские деньги в столичном городе Санкт-Петербурге употребление себе находить должны). По обширности своей город сей, в административном отношении, находится в ведении четырех градоначальников, кои состоят между собой в непрерывном пререкании. Производит торговлю грецкими орехами и имеет один мыловаренный и два кожевенных завода». Но, увы! дни проходили за днями, мечты Бородавкина росли, а клича все не было. Проходили через Глупов войска пешие, проходили войска конные.

— Куда, голубчики? — с волнением спрашивал

---

[44] Notes: 44

Пропонтида — древнее греческое название Мраморного моря.

Бородавкин солдатиков.

Но солдатики в трубы трубили, песни пели, носками сапогов играли, пыль столбом на улицах поднимали, и всё проходили, всё проходили.

— Валом валит солдат! — говорили глуповцы, и казалось им, что это люди какие-то особенные, что они самой природой созданы для того, чтоб ходить без конца, ходить по всем направлениям. Что они спускаются с одной плоской возвышенности для того, чтобы лезть на другую плоскую возвышенность, переходят через один мост для того, чтобы перейти вслед за тем через другой мост. И еще мост, и еще плоская возвышенность, и еще, и еще…

В этой крайности Бородавкин понял, что для политических предприятий время еще не наступило и что ему следует ограничить свои задачи только так называемыми насущными потребностями края. В числе этих потребностей первое место занимала, конечно, цивилизация, или, как он сам определял это слово, «наука о том, колико каждому Российской империи доблестному сыну отечества быть твердым в бедствиях надлежит».



Полный этих смутных мечтаний, он явился в Глупов и прежде всего подвергнул строгому рассмотрению намерения и деяния своих предшественников. Но когда он взглянул на скрижали, то так и ахнул. Вереницею прошли перед ним: и Клементий, и Великанов, и Ламврокакис, и Баклан, и маркиз де Санглот, и Фердыщенко, но что делали эти люди, о чем они думали, какие задачи преследовали — вот этого-то именно и нельзя было определить ни под каким видом. Казалось, что весь этот ряд — не что иное, как сонное мечтание, в котором мелькают образы без лиц, в котором звенят какие-то смутные крики, похожие на отдаленное галденье захмелевшей толпы… Вот вышла из мрака одна тень, хлопнула: раз-раз! — и исчезла неведомо куда; смотришь, на место ее выступает уж другая тень, и тоже хлопает как попало, и исчезает… «Раззорю!», «не потерплю!» слышится со всех сторон, а что разорю, чего не потерплю — того разобрать невозможно. Рад бы посторониться, прижаться к углу, но ни посторониться, ни прижаться нельзя, потому что из всякого угла раздается все то же «раззорю!», которое гонит укрывающегося в другой угол и там, в свою очередь, опять настигает его. Это была какая-то дикая энергия, лишенная

всякого содержания, так что даже Бородавкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве ее. Один только штатский советник Двоекуров с выгодою выделялся из этой пестрой толпы администраторов, являл ум тонкий и проницательный и вообще выказывал себя продолжателем того преобразовательного дела, которым ознаменовалось начало восемнадцатого столетия в России. Его-то, конечно, и взял себе Бородавкин за образец.

Двоекуров совершил очень много. Он вымостил улицы: Дворянскую и Большую, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал об учреждении в Глупове академии. Но главная его заслуга состояла в том, что он ввел в употребление горчицу и лавровый лист. Это последнее действие до того поразило Бородавкина, что он тотчас же возымел дерзкую мысль поступить точно таким же образом и относительно прованского масла. Начались справки, какие меры были употреблены Двоекуровым, чтобы достигнуть успеха в затеянном деле, но так как архивные дела, по обыкновению, оказались сгоревшими (а быть может, и умышленно уничтоженными), то пришлось удовольствоваться изустными преданиями и рассказами.

— Много у нас всякого шуму было! — рассказывали старожилы. — И через солдат секли, и запросто секли… Многие даже в Сибирь через это самое дело ушли!

— Стало быть, были бунты? — спрашивал Бородавкин.

— Мало ли было бунтов! У нас, сударь, насчет этого такая примета: коли секут — так уж и знаешь, что бунт!

Из дальнейших расспросов оказывалось, что Двоекуров был человек настойчивый и, однажды задумав какое-нибудь предприятие, доводил его до конца. Действовал он всегда большими массами, то есть и усмирял, и расточал без остатка; но в то же время понимал, что одного этого средства недостаточно. Поэтому, независимо от мер общих, он, в течение нескольких лет сряду, непрерывно и неустанно делал сепаратные набеги на обывательские дома и усмирял каждого обывателя поодиночке. Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы и даже, по обычаю, выступят вперед на сходках так называемые «старики» (должно быть, «из молодых да ранние»). Каким образом они нарастали — это бы-

ла тайна, но тайну эту отлично постиг Двоекуров и потому розог не жалел. Как истинный администратор, он различал два сорта сечения: сечение без рассмотрения и сечение с рассмотрением, и гордился тем, что первый в ряду градоначальников ввел сечение с рассмотрением, тогда как все предшественники секли как попало и часто даже совсем не тех, кого следовало. И действительно, воздействуя разумно и беспрерывно, он добился результатов самых блестящих. В течение всего его градоначальничества глуповцы не только не садились за стол без горчицы, но даже развели у себя довольно обширные горчичные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли. «И процвела оная весь, яко крин сельный, посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы Российской и получая взамен оного драгоценные металлы и меха».

Но в 1770 году Двоекуров умер, и два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его преобразований, но даже, так сказать, загадили их. И что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они нимало не печалились упразднению начальственной цивилизации и даже как будто радовались. Горчицу перестали есть вовсе, а плантации перепахали,

засадили капустою и засеяли горохом. Одним словом, произошло то, что всегда случается, когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым. Даже летописец не без иронии упоминает об этом обстоятельстве: «Много лет выводил он (Двоекуров) хитроумное сие здание, а о том не догадался, что строит на песце». Но летописец, очевидно, и в свою очередь забывает, что в том-то собственно и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на «песце» строить, а завтра, когда оно рухнет, зачинать новое здание на том же «песце» воздвигать.

Таким образом, оказывалось, что Бородавкин поспел как раз кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на «песце» была доведена в нем почти до исступления. Дни и ночи он все выдумывал, что бы такое выстроить, чтобы оно вдруг, по выстройке, грохнулось и наполнило вселенную пылью и мусором. И так думал, и этак, но настоящим манером додуматься все-таки не мог. Наконец, за недостатком оригинальных мыслей, остановился на том, что буквально пошел по стопам своего знаменитого предшественника.

— Руки у меня связаны, — горько жаловался он глуповцам, — а то узнали бы вы у меня, где

раки зимуют!

Тут же кстати он доведался, что глуповцы, по упущению, совсем отстали от употребления горчицы, а потому на первый раз ограничился тем, что объявил это употребление обязательным; в наказание же за ослушание прибавил еще прованское масло. И в то же время положил в сердце своем: дотоле не класть оружия, доколе в городе останется хоть один недоумевающий.

Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.

— Что хошь с нами делай! — говорили одни. — Хошь — на куски режь; хошь — с кашей ешь, а мы не согласны!

— С нас, брат, не что возьмешь! — говорили другие. — Мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!

И упорно стояли при этом на коленах.

Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар тара-

кана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.

— Сломлю я эту энергию! — говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.

А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу, — как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут — как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.

И вдруг затрубила труба и забил барабан. Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих…

Так начался тот замечательный ряд событий, который описывает летописец под общим наименованием «войн за просвещение».

Первая война «за просвещение» имела, как

уже сказано выше, поводом горчицу и началась в 1780 году, то есть почти вслед за прибытием Бородавкина в Глупов.

Тем не менее Бородавкин сразу палить не решился: он был слишком педант, чтобы впасть в столь явную административную ошибку. Он начал действовать постепенно и с этою целью предварительно созвал глуповцев и стал их заманивать. В речи, сказанной по этому поводу, он довольно подробно развил перед обывателями вопрос о подспорьях вообще и о горчице как о подспорье в особенности; но оттого ли, что в словах его было более личной веры в правоту защищаемого дела, нежели действительной убедительности, или оттого, что он, по обычаю своему, не говорил, а кричал, — как бы то ни было, результат его убеждений был таков, что глуповцы испугались и опять всем обществом пали на колени.

«Было чего испугаться глуповцам, — говорит по этому случаю летописец, — стоит перед ними человек роста невеликого, из себя не дородный, слов не говорит, а только криком кричит».

— Поняли, старички? — обратился он к обеспамятевшим обывателям.

Толпа низко кланялась и безмолвствовала.

Натурально, это его пуще взорвало.

— Что я... на смерть, что ли, вас веду... ммерррзавцы!

Но едва раздался из уст его новый раскат, как глуповцы стремительно повскакали с коленей и разбежались во все стороны.

— Раззорю! — закричал он им вдогонку.

Весь этот день Бородавкин скорбел. Молча расхаживал он по залам градоначальнического дома и только изредка тихо произносил: «Подлецы!»

Более всего заботила его Стрелецкая слобода, которая и при предшественниках его отличалась самым непреоборимым упорством. Стрельцы довели энергию бездействия почти до утонченности. Они не только не являлись на сходки по приглашениям Бородавкина, но, завидев его приближение, куда-то исчезали, словно сквозь землю проваливались. Некого было убеждать, не у кого было ни о чем спросить. Слышалось, что кто-то где-то дрожит, но где дрожит и как дрожит — разыскать невозможно.

Между тем не могло быть сомнения, что в Стрелецкой слободе заключается источник всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина об этом крамольничьем гнезде. Явился проповедник, который перелагал фамилию «Бо-

родавкин» на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву *р*, то выйдет 666, то есть князь тьмы. Ходили по рукам полемические сочинения, в которых объяснялось, что горчица есть былие, выросшее из тела девки-блудницы, прозванной за свое распутство горькою, — оттого-де и пошла в мир «горчица». Даже сочинены были стихи, в которых автор добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобрительно отзывался о ее поведении. Внимая этим песнопениям и толкованиям, стрельцы доходили почти до восторженного состояния. Схватившись под руки, они бродили вереницей по улице и, дабы навсегда изгнать из среды своей дух робости, во все горло орали.

Бородавкин чувствовал, как сердце его, капля по капле, переполняется горечью. Он не ел, не пил, а только произносил сквернословия, как бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчице казалась до того простою и ясною, что неприятие ее нельзя было истолковать ничем иным, кроме злонамеренности. Сознание это было тем мучительнее, чем больше должен был употреблять Бородавкин усилий, чтобы обуздывать порывы страстной натуры своей.

— Руки у меня связаны, — повторял он, задум-

чиво покусывая темный ус свой, — а то бы я показал вам, где раки зимуют!

Но он не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии есть все-таки сечение, и это сознание подкрепляло его. В ожидании этого исхода он занимался делами и писал втихомолку устав «о нестеснении градоначальников законами». Первый и единственный параграф этого устава гласил так: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит».

Однако ж покуда устав еще утвержден не был, а следовательно, и от стеснений уклониться было невозможно. Через месяц Бородавкин вновь созвал обывателей и вновь закричал. Но едва успел он произнести два первых слога своего приветствия («об оных, стыда ради, умалчиваю», — оговаривается летописец), как глуповцы опять рассыпались, не успев даже встать на колени. Тогда только Бородавкин решился пустить в ход настоящую цивилизацию.

Ранним утром выступил он в поход и дал делу такой вид, как будто совершает простой военный променад. Утро было ясное, свежее, чуть-чуть морозное (дело происходило в половине сентября).

Солнце играло на касках и ружьях солдат; крыши домов и улицы были подернуты легким слоем инея; везде топились печи, и из окон каждого дома виднелось веселое пламя.

Хотя главною целью похода была Стрелецкая слобода, но Бородавкин хитрил. Он не пошел ни прямо, ни направо, ни налево, а стал маневрировать. Глуповцы высыпали из домов на улицу и громкими одобрениями поощряли эволюции искусного вождя.

— Слава Те Господи! кажется, забыл про горчицу! — говорили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню.

А Бородавкин все маневрировал да маневрировал и около полдён достиг до слободы Негодницы, где сделал привал. Тут всем участвующим в походе роздали по чарке водки и приказали петь песни, а ввечеру взяли в плен одну мещанскую девицу, отлучившуюся слишком далеко от ворот своего дома.

На другой день, проснувшись рано, стали отыскивать «языка». Делали все это серьезно, не моргнув. Привели какого-то еврея и хотели сначала повесить его, но потом вспомнили, что он совсем не для того требовался, и простили. Еврей,

положив руку под стегно[45], свидетельствовал, что надо идти сначала на слободу Навозную, а потом кружить по полю до тех пор, пока не явится урочище, называемое «Дунькиным вра́гом». Оттуда же, миновав три поверки, идти куда глаза глядят.

Так Бородавкин и сделал. Но не успели люди пройти и четверти версты, как почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни воды, ни неба — ничего не было видно. Потребовал Бородавкин к себе вероломного жида, чтоб повесить, но его уж и след простыл (впоследствии оказалось, что он бежал в Петербург, где в это время успел получить концессию на железную дорогу). Плутали таким образом среди белого дня довольно продолжительное время, и сделалось с людьми словно затмение, потому что Навозная слобода стояла въяве у всех на глазах, а никто ее не видал. Наконец спустились на землю действительные сумерки, и кто-то крикнул: грабят! Закричал какой-то солдатик спьяна, а люди замешались и, думая, что идут стрельцы, стали биться. Бились крепко всю ночь, бились не глядя, а как попало. Много тут было раненых, много и убиен-

---

[45] Notes: 45
Стегно — бедро.

ных. Только когда уж совсем рассвело, увидели, что бьются свои с своими же и что сцена этого недоразумения происходит у самой околицы Навозной слободы. Положили: убиенных похоронив, заложить на месте битвы монумент, а самый день, в который она происходила, почтить наименованием «слепорода» и в воспоминание об нем учредить ежегодное празднество с свистопляскою.

На третий день сделали привал в слободе Навозной; но тут, наученные опытом, уже потребовали заложников. Затем, переловив обывательских кур, устроили поминки по убиенным. Странно показалось слобожанам это последнее обстоятельство, что вот человек игру играет, а в то же время и кур ловит; но так как Бородавкин секрета своего не разглашал, то подумали, что так следует «по игре», и успокоились.

Но когда Бородавкин, после поминовения, приказал солдатикам вытоптать прилегавшее к слободе озимое поле, тогда обыватели призадумались.

— Ужли, братцы, всамделе такая игра есть? — говорили они промеж себя, но так тихо, что даже Бородавкин, зорко следивший за направлением умов, и тот ничего не расслышал.

На четвертый день, ни свет ни заря, отправились к «Дунькину вра́гу», боясь опоздать, потому что переход предстоял длинный и утомительный. Долго шли, и дорогой беспрестанно спрашивали у заложников: скоро ли? Велико было всеобщее изумление, когда вдруг, посреди чистого поля, аманаты[46] крикнули: здеся! И было, впрочем, чему изумиться: кругом не было никакого признака поселенья; далеко-далеко раскинулось голое место, и только вдали углублялся глубокий провал, в который, по преданию, скатилась некогда пушкарская девица Дунька, спешившая, в нетрезвом виде, на любовное свидание.

— Где ж слобода? — спрашивал Бородавкин у аманатов.

— Нету здесь слободы! — ответствовали аманаты, — была слобода, везде прежде слободы были, да солдаты все уничтожили!

Но словам этим не поверили и решили: сечь аманатов до тех пор, пока не укажут, где слобода. Но странное дело! чем больше секли, тем слабее становилась уверенность отыскать желанную слободу! Это было до того неожиданно, что Бородавкин растерзал на себе мундир и, подняв

---

[46] Notes: 46

Аманат — в восточных странах заложник.

правую руку к небесам, погрозил пальцем и сказал:

— Я вас!

Положение было неловкое; наступила темень, сделалось холодно и сыро, и в поле показались волки. Бородавкин ощутил припадок благоразумия и издал приказ: всю ночь не спать и дрожать.

На пятый день отправились обратно в Навозную слободу и по дороге вытоптали другое озимое поле. Шли целый день и только к вечеру, утомленные и проголодавшиеся, достигли слободы. Но там уже никого не застали. Жители, издали завидев приближающееся войско, разбежались, угнали весь скот и окопались в неприступной позиции. Пришлось брать с бою эту позицию, но так как порох был ненастоящий, то, как ни палили, никакого вреда, кроме нестерпимого смрада, сделать не могли.

На шестой день Бородавкин хотел было продолжать бомбардировку, но уже заметил измену. Аманатов ночью выпустили и многих настоящих солдат уволили вчистую и заменили оловянными солдатиками. Когда он стал спрашивать, на каком основании освободили заложников, ему сослались на какой-то регламент, в котором буд-

то бы сказано: «Аманата сечь, а будет которой уж высечен, и такого более суток отнюдь не держать, а выпущать домой на излечение». Волею-неволей Бородавкин должен был согласиться, что поступлено правильно, но тут же вспомнил про свой проект «о нестеснении градоначальников законами» и горько заплакал.

— А это что? — спросил он, указывая на оловянных солдатиков.

— Для легости, ваше благородие! — отвечали ему. — Провианту не просит, а маршировку и он исполнять может!

Пришлось согласиться и с этим. Заперся Бородавкин в избе и начал держать сам с собою военный совет. Хотелось ему наказать «навозных» за их наглость, но, с другой стороны, припоминалась осада Трои, которая длилась целых десять лет, несмотря на то что в числе осаждавших были Ахиллес и Агамемнон. Не лишения страшили его, не тоска о разлуке с милой супругой печалила, а то, что в течение этих десяти лет может быть замечено его отсутствие из Глупова, и притом без особенной для него выгоды. Вспомнился ему по этому поводу урок из истории, слышанный в детстве, и сильно его взволновал. «Несмотря на добродушие Менелая, — говорил учитель

истории, — никогда спартанцы не были столь счастливы, как во время осады Трои; ибо хотя многие бумаги оставались неподписанными, но зато многие же спины пребыли невыстеганными, и второе лишение с лихвою вознаградило за первое…»

К довершению всего, полились затяжные осенние дожди, угрожая испортить пути сообщения и прекратить подвоз продовольствия.

— И на кой черт я не пошел прямо на стрельцов! — с горечью восклицал Бородавкин, глядя из окна на увеличивавшиеся с минуты на минуту лужи. — В полчаса был бы уж там!

В первый раз он понял, что многоумие в некоторых случаях равносильно недоумию, и результатом этого сознания было решение: бить отбой, а из оловянных солдатиков образовать благонадежный резерв.

На седьмой день выступили чуть свет, но так как ночью дорожку размыло, то люди шли с трудом, а орудия вязли в расступившемся черноземе. Предстояло атаковать на пути гору Свистуху; скомандовали: в атаку! — передние ряды отважно бросились вперед, но оловянные солдатики за ними не последовали. И так как на лицах их, «ради поспешения», черты были нанесены лишь

в виде абриса и притом в большом беспорядке, то издали казалось, что солдатики иронически улыбаются. А от иронии до крамолы — один шаг.

— Трусы! — процедил сквозь зубы Бородавкин, но явно сказать это затруднился и вынужден был отступить от горы с уроном.

Пошли в обход, но здесь наткнулись на болото, которого никто не подозревал. Посмотрел Бородавкин на геометрический план выгона — везде все пашня, да по мокрому месту покос, да кустарнику мелкого часть, да камню часть, а болота нет, да и полно.

— Нет тут болота! врете вы, подлецы! марш! — скомандовал Бородавкин и встал на кочку, чтоб ближе наблюсти за переправой.

Полезли люди в трясину и сразу потопили всю артиллерию. Однако сами кое-как выкарабкались, выпачкавшись сильно в грязи. Выпачкался и Бородавкин, но ему было уж не до того. Взглянул он на погибшую артиллерию и, увидев, что пушки, до половины погруженные, стоят, обратив жерла к небу и как бы угрожая последнему расстрелянием, начал тужить и скорбеть.

— Сколько лет копил, берёг, холил! — роптал он. — Что я теперь делать буду! как без пушек буду править!

Войско было окончательно деморализировано. Когда вылезли из трясины, перед глазами опять открылась обширная равнина и опять без всякого признака жилья. По местам валялись человеческие кости и возвышались груды кирпича; все это свидетельствовало, что в свое время здесь существовала довольно сильная и своеобразная цивилизация (впоследствии оказалось, что цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урус-Кугуш-Кильдибаев), но с той поры прошло много лет, и ни один градоначальник не позаботился о восстановлении ее. По полю пробегали какие-то странные тени; до слуха долетали таинственные звуки. Происходило что-то волшебное, вроде того, что изображается в 3-м акте «Руслана и Людмилы», когда на сцену вбегает испуганный Фарлаф. Хотя Бородавкин был храбрее Фарлафа, но и он не мог не содрогнуться при мысли, что вот-вот навстречу выйдет злобная Наина…

Только на осьмой день, около полдён, измученная команда увидела стрелецкие высоты и радостно затрубила в рога. Бородавкин вспомнил, что великий князь Святослав Игоревич, прежде нежели побеждать врагов, всегда посылал сказать: иду на вы! — и, руководствуясь этим

примером, командировал своего ординарца к стрельцам с таким же приветствием.

На другой день, едва позолотило солнце верхи соломенных крыш, как уже войско, предводительствуемое Бородавкиным, вступало в слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол. Поп был древний и скорее способный поселять уныние, нежели вливать в душу храбрость.

— Где жители? — спрашивал Бородавкин, сверкая на попа глазами.

— Сейчас тут были! — шамкал губами поп.

— Как сейчас? куда же они бежали?

— Куда бежать? зачем от своих домов бежать? Чай, здесь где-нибудь от тебя схоронились!

Бородавкин стоял на одном месте и рыл ногами землю. Была минута, когда он начинал верить, что энергия бездействия должна восторжествовать.

— Надо было зимой поход объявить, — раскаивался он в сердце своем, — тогда бы они от меня не спрятались.

— Эй! кто тут! выходи! — крикнул он таким голосом, что оловянные солдатики — и те дрогнули.

Но слобода безмолвствовала, словно вымерла. Вырывались откуда-то вздохи, но таинственность, с которою они выходили из невидимых организмов, еще более раздражала огорченного градоначальника.

— Где они, бестии, вздыхают? — неистовствовал он, безнадежно озираясь по сторонам и видимо теряя всякую сообразительность. — Сыскать первую бестию, которая тут вздыхает, и привести ко мне!

Бросились искать, но как ни шарили, а никого не нашли. Сам Бородавкин ходил по улице, заглядывая во все щели, — нет никого! Это до того его озадачило, что самые несообразные мысли вдруг целым потоком хлынули в его голову.

«Ежели я теперича их огнем раззорю… нет, лучше голодом поморю!..» — думал он, переходя от одной несообразности к другой.

И вдруг он остановился, как пораженный, перед оловянными солдатиками.

С ними происходило что-то совсем необыкновенное. Постепенно, в глазах у всех, солдатики начали наливаться кровью. Глаза их, доселе неподвижные, вдруг стали вращаться и выражать гнев; усы, нарисованные вкривь и вкось, встали на свои места и начали шевелиться; губы, пред-

ставлявшие тонкую розовую черту, которая от бывших дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявляли намерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о нетерпении.

— Что скажете, служивые? — спросил Бородавкин.



— Избы… избы… ломать! — невнятно, но как-то мрачно произнесли оловянные солдатики.

Средство было отыскано.

Начали с крайней избы. С гиком бросились «оловянные» на крышу и мгновенно остервенились. Полетели вниз вязки соломы, жерди, деревянные спицы. Взвились вверх целые облака пыли.

— Тише! тише! — кричал Бородавкин, вдруг заслышав около себя какой-то стон.

Стонала вся слобода. Это был неясный, но сплошной гул, в котором нельзя было различить ни одного отдельного звука, но который всей своей массой представлял едва сдерживаемую боль сердца.

— Кто тут? выходи! — опять крикнул Бородавкин во всю мочь.

Слобода смолкла, но никто не выходил. «Чаяли стрельцы, — говорит летописец, — что новое сие изобретение (то есть усмирение посредством ломки домов), подобно всем прочим, одно мечтание представляет, но не долго пришлось им в сей сладкой надежде себя утешать».

— Катай! — произнес Бородавкин твердо.

Раздался треск и грохот; бревна, одно за другим, отделялись от сруба, и по мере того, как они

падали на землю, стон возобновлялся и возрастал. Через несколько минут крайней избы как не бывало, и «оловянные», ожесточившись, уже брали приступом вторую. Но когда спрятавшиеся стрельцы после короткого перерыва вновь услышали удары топора, продолжавшего свое разрушительное дело, то сердца их дрогнули. Выползли они все вдруг, и старые и малые, и мужеск и женск пол, и, воздев руки к небу, пали среди площади на колени. Бородавкин сначала было разбежался, но потом вспомнил слова инструкции: «При усмирениях не столько стараться об истреблении, сколько о вразумлении» — и притих. Он понял, что час триумфа уже наступил и что триумф едва ли не будет полнее, если в результате не окажется ни расквашенных носов, ни свороченных на сторону скул.

— Принимаете ли горчицу? — внятно спросил он, стараясь, по возможности, устранить из голоса угрожающие ноты.

Толпа безмолвно поклонилась до земли.

— Принимаете ли, спрашиваю я вас? — повторил он, начиная уж закипать.

— Принимаем! принимаем! — тихо гудела, словно шипела, толпа.

— Хорошо. Теперь сказывайте мне, кто промеж

вас память любезнейшей моей родительницы в стихах оскорбил?

Стрельцы позамялись; неладно им показалось выдавать того, кто в горькие минуты жизни был их утешителем; однако, после минутного колебания, решились исполнить и это требование начальства.

— Выходи, Федька! небось! выходи! — раздавалось в толпе.

Вышел вперед белокурый малый и стал перед градоначальником. Губы его подергивались, словно хотели сложиться в улыбку, но лицо было бледно, как полотно, и зубы тряслись.

— Так это ты? — захохотал Бородавкин и, немного отступя, словно желая осмотреть виноватого во всех подробностях, повторил: — Так это ты?

Очевидно, в Бородавкине происходила борьба. Он обдумывал, мазнуть ли ему Федьку по лицу или наказать иным образом. Наконец придумано было наказание, так сказать, смешанное.

— Слушай! — сказал он, слегка поправив Федькину челюсть. — Так как ты память любезнейшей моей родительницы обесславил, то ты же впредь каждый день должен сию драгоценную мне память в стихах прославлять и стихи те ко мне

приносить!

С этим словом он приказал дать отбой.

Бунт кончился; невежество было подавлено, и на место его водворено просвещение. Через полчаса Бородавкин, обремененный добычей, въезжал с триумфом в город, влача за собой множество пленников и заложников. И так как в числе их оказались некоторые военачальники и другие первых трех классов особы, то он приказал обращаться с ними ласково (выколов, однако, для верности глаза), а прочих сослать на каторгу.

В тот же вечер, запершись в кабинете, Бородавкин писал в своем журнале следующую отметку:

«Сего 17-го сентября, после трудного, но славного девятидневного похода, совершилось всерадостнейшее и вожделеннейшее событие. Горчица утверждена повсеместно и навсегда, причем не было произведено в расход ни единой капли крови».

«Кроме той, — иронически прибавляет летописец, — которая была пролита у околицы Навозной слободы и в память которой доднесь[47] празднуется торжество, именуемое свистопляскою...»

Очень может статься, что многое из расска-

---

[47] Notes: 47
Доднесь — до сего дня.

занного выше покажется читателю чересчур фантастическим. Какая надобность была Бородавкину делать девятидневный поход, когда Стрелецкая слобода была у него под боком и он мог прибыть туда через полчаса? Как мог он заблудиться на городском выгоне, который ему, как градоначальнику, должен быть вполне известен? Возможно ли поверить истории об оловянных солдатиках, которые будто бы не только маршировали, но под конец даже налились кровью?

Понимая всю важность этих вопросов, издатель настоящей летописи считает возможным ответить на них нижеследующее: история города Глупова прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще. Но этого мало. Бывают чудеса, в которых, по внимательном рассмотрении, можно подметить довольно яркое реальное основание. Все мы знаем предание о Бабе-яге-костяной-ноге, которая ездила в ступе и погоняла помелом, и относим эти поездки к числу чудес, созданных народною фантазией. Но никто не задается вопросом: почему же народная фантазия произвела именно этот, а не иной плод? Если б исследователи нашей старины обратили на этот предмет должное

внимание, то можно быть заранее уверенным, что открылось бы многое, что доселе находится под спудом тайны. Так, например, наверное обнаружилось бы, что происхождение этой легенды чисто административное и что Баба-яга была не кто иное, как градоправительница, или, пожалуй, посадница, которая, для возбуждения в обывателях спасительного страха, именно этим способом путешествовала по вверенному ей краю, причем забирала встречавшихся по дороге Иванушек и, возвратившись домой, восклицала: «Покатаюся, поваляюся, Иванушкина мясца поевши».

Кажется, этого совершенно достаточно, чтобы убедить читателя, что летописец находится на почве далеко не фантастической и что все рассказанное им о походах Бородавкина можно принять за документ вполне достоверный. Конечно, с первого взгляда может показаться странным, что Бородавкин девять дней сряду кружит по выгону; но не должно забывать, во-первых, что ему незачем было торопиться, так как можно было заранее предсказать, что предприятие его во всяком случае окончится успехом, и, во-вторых, что всякий администратор охотно прибегает к эволюциям, дабы поразить воображение обывателей. Если б можно было представить себе

так называемое исправление на теле без тех предварительных обрядов, которые ему предшествуют, как то: снимания одежды, увещаний со стороны лица исправляющего и испрошения прощения со стороны лица исправляемого, — что бы от него осталось? Одна пустая формальность, смысл которой был бы понятен лишь для того, кто ее испытывает! Точно то же следует сказать и о всяком походе, предпринимается ли он с целью покорения царств или просто с целью взыскания недоимок. Отнимите от него «эволюции» — что останется?

Нет, конечно, сомнения, что Бородавкин мог избежать многих весьма важных ошибок. Так, например, эпизод, которому летописец присвоил название «слепорода», — из рук вон плох. Но не забудем, что успех никогда не обходится без жертв и что если мы очистим остов истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только бóльшая или меньшая порция «убиенных». Кто эти «убиенные»? Правы они или виноваты и насколько? Каким образом они очутились в звании «убиенных»? — все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них не по ком было бы творить поминки.

Стало быть, остается неочищенным лишь вопрос об оловянных солдатиках; но и его летописец не оставляет без разъяснения. «Очень часто мы замечаем, — говорит он, — что предметы, по-видимому, совершенно неодушевленные (камню подобные), начинают ощущать вожделение, как только приходят в соприкосновение с зрелищами, неодушевленности их доступными». И в пример приводит какого-то ближнего помещика, который, будучи разбит параличом, десять лет лежал недвижим в кресле, но и за всем тем радостно мычал, когда ему приносили оброк…

Всех войн «за просвещение» было четыре. Одна из них описана выше; из остальных трех первая имела целью разъяснить глуповцам пользу от устройства под домами каменных фундаментов; вторая возникла вследствие отказа обывателей разводить персидскую ромашку[48], и третья, наконец, имела поводом разнесшийся слух об учреждении в Глупове академии. Вообще видно, что Бородавкин был утопист и что если б он пожил подольше, то наверное кончил бы тем, что или был бы сослан за вольномыслие в Сибирь,

[48] Notes: 48

Персидская ромашка — многолетнее растение, из которой делали «персидский порошок» — средство от насекомых, прежде всего клопов.

или выстроил бы в Глупове фаланстер.

Подробно описывать этот ряд блестящих подвигов нет никакой надобности, но нелишнее будет указать здесь на общий характер их.

В дальнейших походах со стороны Бородавкина замечается весьма значительный шаг вперед. Он с большею тщательностью подготовляет материалы для возмущений и с большею быстротою подавляет их. Самый трудный поход, имевший поводом слух о заведении академии, продолжался лишь два дня; остальные — не более нескольких часов. Обыкновенно Бородавкин, напившись утром чаю, кликал клич; сбегались оловянные солдатики, мгновенно наливались кровью и во весь дух бежали до места. К обеду Бородавкин возвращался домой и пел благодарственную песнь. Таким образом он достиг наконец того, что через несколько лет ни один глуповец не мог указать на теле своем места, которое не было бы высечено.

Со стороны обывателей, как и прежде, царствовало полнейшее недоразумение. Из рассказов летописца видно, что они и рады были не бунтовать, но никак не могли устроить это, ибо не знали, в чем заключается бунт. И в самом деле, Бородавкин опутывал их чрезвычайно ловко.

Обыкновенно он ничего порядком не разъяснял, а делал известными свои желания посредством прокламаций, которые секретно, по ночам, наклеивались на угловых домах всех улиц. Прокламации писались в духе нынешних объявлений от магазина Кача[49], причем крупными буквами печатались слова совершенно несущественные, а все существенное изображалось самым мелким шрифтом. Сверх того, допускалось употребление латинских названий; так, например, персидская ромашка называлась не персидской ромашкой, а «Pyrethrum roseum», иначе слюногон, слюногонка, жгунец, принадлежит к семейству «Compositas» и т. д. Из этого выходило следующее: грамотеи, которым обыкновенно поручалось чтение прокламаций, выкрикивали только те слова, которые были напечатаны прописными буквами, а прочие скрадывали. Как, например (см. прокламацию о персидской ромашке):

ИЗВЕСТНО

какое опустошение производят клопы, блохи и т. д.

НАКОНЕЦ НАШЛИ!!!

Предприимчивые люди вывезли с Дальнего Во-

---

[49] Notes: 49

Магазин Кача — известный универсальный магазин в Петербурге.

стока, и т. д.

Из всех этих слов народ понимал только: «известно» и «наконец нашли». И когда грамотеи выкрикивали эти слова, то народ снимал шапки, вздыхал и крестился. Ясно, что в этом не только не было бунта, а скорее исполнение предначертаний начальства. Народ, доведенный до вздыхания, — какого еще идеала можно требовать!

Стало быть, все дело заключалось в недоразумении, и это оказывается тем достовернее, что глуповцы даже и до сего дня не могут разъяснить значение слова «академия», хотя его-то именно и напечатал Бородавкин крупным шрифтом (см. в полном собрании прокламаций № 1089). Мало того: летописец доказывает, что глуповцы даже усиленно добивались, чтоб Бородавкин пролил свет в их темные головы, но успеха не получили, и не получили именно по вине самого градоначальника. Они нередко ходили всем обществом на градоначальнический двор и говорили Бородавкину:

— Развяжи ты нас, сделай милость! укажи нам конец!

— Прочь, буяны! — обыкновенно отвечал Бородавкин.

— Какие мы буяны! знать, не видывал ты, какие буяны бывают! Сделай милость, скажи!

Но Бородавкин молчал. Почему он молчал? потому ли, что считал непонимание глуповцев не более как уловкой, скрывавшей за собой упорное противодействие, или потому, что хотел сделать обывателям сюрприз, — достоверно определить нельзя. Но должно думать, что тут примешивалось отчасти и то и другое. Никакому администратору, ясно понимающему пользу предпринимаемой меры, никогда не кажется, чтоб эта польза могла быть для кого-нибудь неясною или сомнительною. С другой стороны, всякий администратор непременно фаталист и твердо верует, что, продолжая свой административный бег, он в конце концов все-таки очутится лицом к лицу с человеческим телом. Следовательно, если начать предотвращать эту неизбежную развязку предварительными разглагольствиями, то не значит ли это еще больше растравлять ее и придавать ей более ожесточенный характер? Наконец, всякий администратор добивается, чтобы к нему питали доверие, а какой наилучший способ выразить это доверие, как не беспрекословное исполнение того, чего не понимаешь?

Как бы то ни было, но глуповцы всегда узнава-

ли о предмете похода лишь по окончании его.

Но как ни казались блестящими приобретенные Бородавкиным результаты, в существе они были далеко не благотворны. Строптивость была истреблена — это правда, но в то же время было истреблено и довольство. Жители понурили головы и как бы захирели; нехотя они работали на полях, нехотя возвращались домой, нехотя садились за скудную трапезу и слонялись из угла в угол, словно все опостылело им.

В довершение всего, глуповцы насеяли горчицы и персидской ромашки столько, что цена на эти продукты упала до невероятности. Последовал экономический кризис, и не было ни Молинари, ни Безобразова[50], чтоб объяснить, что это-то и есть настоящее процветание. Не только драгоценных металлов и мехов не получали обыватели в обмен за свои продукты, но не на что было купить даже хлеба.

Однако до 1790 года дело все еще кой-как шло. С полной порции обыватели перешли на полпорции, но даней не задерживали, а к просвещению оказывали даже некоторое пристрастие.

---

[50] Notes: 50

Молинари Густав (1819–1912) — бельгийский экономист. *Безобразов Владимир Павлович* (1828–1889) — географ и экономист, соученик М. Е. Салтыкова по Лицею.

В 1790 году повезли глуповцы на главные рынки свои продукты, и никто у них ничего не купил: всем стало жаль клопов. Тогда жители перешли на четверть порции и задержали дани. В это же время, словно на смех, вспыхнула во Франции революция, и стало всем ясно, что «просвещение» полезно только тогда, когда оно имеет характер непросвещенный. Бородавкин получил бумагу, в которой ему рекомендовалось: «По случаю известного вам происшествия извольте прилежно смотреть, дабы неисправимое сие зло искореняемо было без всякого упущения».

Только тогда Бородавкин спохватился и понял, что шел слишком быстрыми шагами и совсем не туда, куда идти следует. Начав собирать дани, он с удивлением и негодованием увидел, что дворы пусты и что если встречались кой-где куры, то и те были тощие от бескормицы. Но, по обыкновению, он обсудил этот факт не прямо, а с своей собственной оригинальной точки зрения, то есть увидел в нем бунт, произведенный на сей раз уже не невежеством, а излишеством просвещения.

— Вольный дух завели! разжирели! — кричал он без памяти. — На французов поглядываете!

И вот начался новый ряд походов, — походов уже против просвещения. В первый поход

Бородавкин спалил слободу Навозную, во второй — разорил Негодницу, в третий — расточил Болото. Но подати всё задерживались. Наступила минута, когда ему предстояло остаться на развалинах одному с своим секретарем, и он деятельно приготовлялся к этой минуте. Но Провидение не допустило того. В 1798 году уже собраны были скоровоспалительные материалы для сожжения всего города, как вдруг Бородавкина не стало… «Всех расточил он, — говорит по этому случаю летописец, — так, что даже попов для напутствия его не оказалось. Вынуждены были позвать соседнего капитан-исправника, который и засвидетельствовал исшествие многомятежного духа его».

Эпоха увольнения от войн

В 1802 году пал Негодяев. Он пал, как говорит летописец, за несогласие с Новосильцевым и Строгоновым насчет конституций. Но, как кажется, это был только благовидный предлог, ибо едва ли даже можно предположить, чтоб Негодяев отказался от насаждения конституции, если б начальство настоятельно того потребовало. Негодяев принадлежал к школе так называемых «птенцов», которым было решительно все равно, что ни насаждать. Поэтому действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то в Гатчине истопником и, следовательно, до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало. Сверх того, начальство, по-видимому, убедилось, что войны за просвещение, обратившиеся потом в войны против просвещения, уже настолько изнурили Глупов, что почувствовалась потребность на некоторое время его вообще от войн освободить. Что предположение о конституциях представляло не более как слух, лишенный твердого основания, — это доказывается, во-первых, новейшими исследованиями по сему предмету,

а во-вторых, тем, что, на место Негодяева градоначальником был назначен «черкашенин» Микаладзе, который о конституциях едва ли имел понятие более ясное, нежели Негодяев.

Конечно, невозможно отрицать, что попытки конституционного свойства существовали; но, как кажется, эти попытки ограничивались тем, что квартальные настолько усовершенствовали свои манеры, что не всякого прохожего хватали за воротник. Это единственная конституция, которая предполагалась возможною при тогдашнем младенческом состоянии общества. Прежде всего необходимо было приучить народ к учтивому обращению и потом уже, смягчив его нравы, давать ему настоящие якобы права. С точки зрения теоретической такой взгляд, конечно, совершенно верен. Но, с другой стороны, не меньшего вероятия заслуживает и то соображение, что как ни привлекательна теория учтивого обращения но, взятая изолированно, она нимало не гарантирует людей от внезапного вторжения теории обращения неучтивого (как это и доказано впоследствии появлением на арене истории такой личности, как майор Угрюм-Бурчеев), и, следовательно, если мы действительно желаем утвердить учтивое обращение на прочном осно-

вании, то все-таки прежде всего должны снабдить людей настоящими якобы правами. А это, в свою очередь, доказывает, как шатки теории вообще и как мудро поступают те военачальники, которые относятся к ним с недоверчивостью.

Новый градоначальник понял это и потому поставил себе задачею привлекать сердца исключительно посредством изящных манер. Будучи в военном чине, он не обращал внимания на форму, а о дисциплине отзывался даже с горечью. Ходил всегда в расстегнутом сюртуке, из-под которого заманчиво виднелась снежной белизны пикейная жилетка и отложные воротнички. Охотно подавал подчиненным левую руку, охотно улыбался и не только не позволял себе ничего утверждать слишком резко, но даже любил при докладах употреблять выражения вроде: «Итак, вы изволили сказать», или: «Я имел уже честь доложить вам» и т. д. Только однажды, выведенный из терпения продолжительным противодействием своего помощника, он дозволил себе сказать: «Я уже имел честь подтверждать тебе, курицыну сыну…» — но тут же спохватился и произвел его в следующий чин. Страстный по природе, он с увлечением предавался дамскому обществу, и в этой страсти нашел себе преждевременную

гибель. В оставленном им сочинении «О благовидной господ градоначальников наружности» (см. далее, в оправдательных документах) он довольно подробно изложил свои взгляды на этот предмет, но, как кажется, не вполне искренно связал свои успехи у глуповских дам с какими-то политическими и дипломатическими целями. Вероятнее всего, ему было совестно, что он, как Антоний в Египте, ведет исключительно изнеженную жизнь, и потому он захотел уверить потомство, что иногда и самая изнеженность может иметь смысл административно-полицейский. Догадка эта подтверждается еще тем, что из рассказа летописца вовсе не видно, чтобы во время его градоначальствования производились частые аресты или чтоб кто-нибудь был нещадно бит, без чего, конечно, невозможно было бы обойтись, если б амурная деятельность его действительно была направлена к ограждению общественной безопасности. Поэтому почти наверное можно утверждать, что он любил амуры для амуров и был ценителем женских атуров[51] просто, без всяких политических целей; выдумал же эти последние лишь для ограждения себя

[51] Notes: 51
Атуры — украшения женского наряда, аксессуары.

перед начальством, которое, несмотря на свой несомненный либерализм, все-таки не упускало от времени до времени спрашивать: не пора ли начать войну? «Он же, — говорит по этому поводу летописец, — жалеючи сиротские слезы, всегда отвечал: не время, ибо не готовы еще собираемые известным мне способом для сего материалы. И, не собрав таковых, умре».

Как бы то ни было, но назначение Микаладзе было для глуповцев явлением в высшей степени отрадным. Предместник его, капитан Негодяев, хотя и не обладал так называемым «сущим» злонравием, но считал себя человеком убеждения (летописец везде вместо слова «убеждения» ставит слово «норов») и в этом качестве постоянно испытывал, достаточно ли глуповцы тверды в бедствиях. Результатом такой усиленной административной деятельности было то, что к концу его градоначальничества Глупов представлял беспорядочную кучу почерневших и обветшавших изб, среди которых лишь съезжий дом гордо высил к небесам свою каланчу. Не было ни еды настоящей, ни одёжи изрядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали лапы.

— Но как вы таким манером жить можете? —

спросил у обывателей изумленный Микаладзе.

— Так и живем, что настоящей жизни не имеем, — отвечали глуповцы, и при этом не то засмеялись, не то заплакали.

Понятно, что ввиду такого нравственного расстройства главная забота нового градоначальника была направлена к тому, чтобы прежде всего снять с глуповцев испуг. И надо сказать правду, что он действовал в этом смысле довольно искусно. Предпринят был целый ряд последовательных мер, которые исключительно клонились к упомянутой выше цели и сущность которых может быть формулирована следующим образом: 1) просвещение и сопряженные с оным экзекуции временно прекратить, и 2) законов не издавать. Результаты были получены с первого же раза изумительные. Не прошло месяца, как уже шерсть, которою обросли глуповцы, вылиняла вся без остатка, и глуповцы начали стыдиться наготы. Спустя еще один месяц они перестали сосать лапу, а через полгода в Глупове, после многих лет безмолвия, состоялся первый хоровод, на котором лично присутствовал сам градоначальник и потчевал женский пол печатными пряниками.

Такими-то мирными подвигами ознаменовал

себя черкашенин Микаладзе. Как и всякое выражение истинно плодотворной деятельности, управление его не было ни громко, ни блестяще, не отличалось ни внешними завоеваниями, ни внутренними потрясениями, но оно отвечало потребности минуты и вполне достигало тех скромных целей, которые предположило себе. Видимых фактов было мало, но следствия бесчисленны. «Мудрые мира сего, — восклицает по этому поводу летописец, — прилежно о сем помыслите! и да не смущаются сердца ваши при взгляде на шелепа и иные орудия, в коих, по высокоумному мнению вашему, якобы сила и свет просвещения замыкаются!»

По всем этим причинам издатель настоящей истории находит совершенно естественным, что летописец, описывая административную деятельность Микаладзе, не очень-то щедр на подробности. Градоначальник этот важен не столько как прямой деятель, сколько как первый зачинатель на том мирном пути, по которому чуть-чуть было не пошла глуповская цивилизация. Благотворная сила его действий была неуловима, ибо такие мероприятия, как рукопожатие, ласковая улыбка и вообще кроткое обращение, чувствуются лишь непосредствен-

но и не оставляют ярких и видимых следов в истории. Они не производят переворота ни в экономическом, ни в умственном положении страны, но ежели вы сравните эти административные проявления с такими, например, как обозвание управляемых курицыными детьми или беспрерывное их сечение, то должны будете сознаться, что разница тут огромная. Многие, рассматривая деятельность Микаладзе, находят ее не во всех отношениях безупречною. Говорят, например, что он не имел никакого права прекращать просвещение, — это так. Но, с другой стороны, если с просвещением фаталистически сопряжены экзекуции, то не требует ли благоразумие, чтоб даже и в таком очевидно полезном деле допускались краткие часы для отдохновения? И еще говорят, что Микаладзе не имел права не издавать законов, — и это, конечно, справедливо. Но, с другой стороны, не видим ли мы, что народы самые образованные наипаче почитают себя счастливыми в воскресные и праздничные дни, то есть тогда, когда начальники мнят себя от писания законов свободными? Пренебречь этими указаниями опыта едва ли возможно. Пускай рассказ летописца страдает недостатком ярких и осязательных фактов, — это не должно мешать

нам признать, что Микаладзе был первый в ряду глуповских градоначальников, который установил драгоценнейший из всех административных прецедентов — прецедент кроткого и бессквернословия. Положим, что прецедент этот не представлял ничего особенно твердого; положим, что в дальнейшем своем развитии он подвергался многим случайностям более или менее жестоким; но нельзя отрицать, что, будучи однажды введен, он уже никогда не умирал совершенно, а время от времени даже довольно вразумительно напоминал о своем существовании. Ужели же этого мало?



Одну имел слабость этот достойный правитель — это какое-то неудержимое, почти горячечное стремление к женскому полу. Летописец довольно подробно останавливается на этой особенности своего героя, но замечательно, что в рассказе его не видится ни горечи, ни озлобления. Один только раз он выражается так: «Много было от него порчи женам и девам глуповским» — и этим как будто дает понять, что, и по его мнению, все-таки было бы лучше, если б порчи не было. Но прямого негодования нигде и ни в чем не выказывается. Впрочем, мы не последуем за летописцем в изображении этой слабости, так как желающие познакомиться с нею могут почерпнуть все нужное из прилагаемого сочинения «О благовидной градоначальников наружности», написанного самим высокопоставленным автором. Справедливость требует, однако ж, сказать, что в сочинении этом пропущено одно довольно крупное обстоятельство, о котором упоминается в летописи. А именно: однажды Микаладзе забрался ночью к жене местного казначея, но едва успел отрешиться от уз (так называет летописец мундир), как был застигнут врасплох ревнивцем-мужем. Произошла баталия, во время которой Микаладзе не столько сражался, сколько

был сражаем. Но так как он вслед за тем умылся, то, разумеется, следов от бесчестья не осталось никаких. Кажется, это была единственная неудача, которую он потерпел в этом роде, и потому понятно, что он не упомянул об ней в своем сочинении. Это была такая ничтожная подробность в громадной серии многотрудных его подвигов по сей части, что не вызвала в нем даже потребности в стратегических соображениях, могущих обеспечить его походы на будущее время…

Микаладзе умер в 1806 году, от истощения сил.

Когда почва была достаточно взрыхлена учтивым обращением и народ отдохнул от просвещения, тогда, сама собой, стала на очередь потребность в законодательстве. Ответом на эту потребность явился статский советник Феофилакт Иринархович Беневоленский, друг и товарищ Сперанского по семинарии.

С самой ранней юности Беневоленский чувствовал непреоборимую наклонность к законодательству. Сидя на скамьях семинарии, он уже начертал несколько законов, между которыми наиболее замечательны следующие: «Всякий человек да имеет сердце сокрушенно»[52], «Всяка

[52] Notes: 52
Слова русского государственного деятеля М. М. Сперанского.

душа да трепещет» и «Всякий сверчок да познает соответствующий званию его шесток». Но чем более рос высокодаровитый юноша, тем непреоборимее делалась врожденная в нем страсть. Что из него должен во всяком случае образоваться законодатель — в этом никто не сомневался; вопрос заключался только в том, какого сорта выйдет этот законодатель, то есть напомнит ли он собой глубокомыслие и административную прозорливость Ликурга или просто будет тверд, как Дракон. Он сам чувствовал всю важность этого вопроса и в письме к «известному другу» (не скрывается ли под этим именем Сперанский?) следующим образом описывает свои колебания по этому случаю.

«Сижу я, — пишет он, — в унылом моем уединении и всеминутно о том мыслю, какие законы к употреблению наиболее благопотребны суть. Есть законы мудрые, которые хотя человеческое счастие устрояют (таковы, например, законы о повсеместном всех людей продовольствовании), но, по обстоятельствам, не всегда бывают полезны; есть законы немудрые, которые, ничьего счастья не устрояя, по обстоятельствам бывают, однако ж, благопотребны (примеров сему не привожу: сам знаешь!); и есть, наконец, законы

средние, не очень мудрые, но и не весьма немудрые, такие, которые, не будучи ни полезными, ни бесполезными, бывают, однако ж, благопотребны в смысле наилучшего человеческой жизни наполнения. Например, когда мы забываемся и начинаем мнить себя бессмертными, сколь освежительно действует на нас сие простое выражение: memento mori![53] Так точно и тут. Когда мы мним, что счастию нашему нет пределов, что мудрые законы не при нас писаны, а действию немудрых мы не подлежим, тогда являются на помощь законы средние, которых роль в том и заключается, чтоб напоминать живущим, что несть на земле дыхания, для которого не было бы своевременно написано хотя какого-нибудь закона. И поверишь ли, друг? чем больше я размышляю, тем больше склоняюсь в пользу законов средних. Они очаровывают мою душу, потому что это собственно даже не законы, а скорее, так сказать, *сумрак* законов. Вступая в их область, чувствуешь, что находишься в общении с легальностью, но в чем состоит это общение — не понимаешь. И все сие совершается помимо всякого размышления; ни о чем не думаешь,

[53] Notes: 53
Помни о смерти! *(лат.)*

ничего определенного не видишь, но в то же время чувствуешь какое-то беспокойство, которое кажется неопределенным, потому что ни на что в особенности не опирается. Это, так сказать, апокалипсическое письмо, которое может понять только тот, кто его получает. Средние законы имеют в себе то удобство, что всякий, читая их, говорит: какая глупость! а между тем всякий же неудержимо стремится исполнять их. Ежели бы, например, издать такой закон: „всякий да яст“, то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждения. Ты спросишь меня, друг: зачем же издавать такие законы, которые и без того всеми исполняются? На это отвечу: цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие — для того, чтобы законодатели не коснели в праздности…»

И так далее.

Таким образом, когда Беневоленский прибыл в Глупов, взгляд его на законодательство уж установился, и установился именно в том смысле, который всего более удовлетворял потребностям минуты. Стало быть, благополучие глуповцев, начатое черкашенином Микаладзе, не только

не нарушилось, но получило лишь пущее утверждение. Глупову именно нужен был «сумрак законов», то есть такие законы, которые, с пользою занимая досуги законодателей, никакого внутреннего касательства до посторонних лиц иметь не могут. Иногда подобные законы называются даже мудрыми, и, по мнению людей компетентных, в этом названии нет ничего ни преувеличенного, ни незаслуженного.

Но тут встретилось непредвиденное обстоятельство. Едва Беневоленский приступил к изданию первого закона, как оказалось, что он, как простой градоначальник, не имеет даже права издавать собственные законы. Когда секретарь доложил об этом Беневоленскому, он сначала не поверил ему. Стали рыться в сенатских указах, но хотя перешарили весь архив, а такого указа, который уполномочивал бы Бородавкиных, Двоекуровых, Великановых, Беневоленских и т. п. издавать собственного измышления законы, — не оказалось.

— Без закона все, что угодно, можно! — говорил секретарь. — Только вот законов писать нельзя-с!

— Странно! — молвил Беневоленский и в ту же минуту отписал по начальству о встреченном им

затруднении.

«Прибыл я в город Глупов, — писал он, — и хотя увидел жителей, предместником моим в тучное состояние приведенных, но в законах встретил столь великое оскудение, что обыватели даже различия никакого между законом и естеством не полагают. И тако, без явного светильника, в претемной ночи бродят. В сей крайности спрашиваю я себя: ежели кому из бродяг сих случится оступиться или в пропасть впасть, что их от такового падения остережет? Хотя же в Российской державе законами изобильно, но все таковые по разным делам разбрелись, и даже весьма уповательно, что большая их часть в бывшие пожары сгорела. И того ради, существенная видится в том нужда, дабы можно было мне, яко градоначальнику, издавать для скорости собственного моего умысла законы, хотя бы даже не первого сорта (о сем и помыслить не смею!), но второго или третьего. В сей мысли еще более меня утверждает то, что город Глупов, по самой природе своей, есть, так сказать, область второзакония, для которой нет даже надобности в законах отяготительных и многомысленных. В ожидании же милостивого на сие мое ходатайство разрешения, пребываю» и т. д.

Ответ на это представление последовал скоро.

«На представление, — писалось Беневоленскому, — о считанье города Глупова областью второзакония предлагается на рассуждение ваше следующее:

1) Ежели таковых областей, в коих градоначальники станут второго сорта законы сочинять, явится изрядное количество, то не произойдет ли от сего некоторого для архитектуры Российской державы повреждения?

И 2) Ежели будет предоставлено градоначальникам, яко градоначальникам, второго сорта законы сочинять, то не придется ли потом и сотским, яко сотским, таковые ж законы издавать предоставить, и какого те законы будут сорта?»

Беневоленский понял, что запрос этот заключает в себе косвенный отказ, и опечалился этим глубоко. Современники объясняют это огорчение тем, будто бы души его уже коснулся яд единовластия; но это едва ли так. Когда человек и без законов имеет возможность делать все, что угодно, то странно подозревать его в честолюбии за такое действие, которое не только не распространяет, но именно ограничивает эту возможность. Ибо закон, каков бы он ни был (даже такой, как, например: «всякий да яст» или «всяка душа да

трепещет»), все-таки имеет ограничивающую силу, которая никогда честолюбцам не по душе. Очевидно, стало быть, что Беневоленский был не столько честолюбец, сколько добросердечный доктринер, которому казалось предосудительным даже утереть себе нос, если в законах не формулировано ясно, что «всякий имеющий надобность утереть свой нос — да утрет».

Как бы то ни было, но Беневоленский настолько огорчился отказом, что удалился в дом купчихи Распоповой (которую уважал за искусство печь пироги с начинкой) и, чтобы дать исход пожиравшей его жажде умственной деятельности, с упоением предался сочинению проповедей. Целый месяц во всех городских церквах читали попы эти мастерские проповеди, и целый месяц вздыхали глуповцы, слушая их, — так чувствительно они были написаны! Сам градоначальник учил попов, как произносить их.

— Проповедник, — говорил он, — обязан иметь сердце сокрушенно и, следственно, главу слегка наклоненную набок. Глас не лаятельный, но томный, как бы воздыхающий. Руками не неистовствовать, но, утвердив первоначально правую руку близ сердца (сего истинного источника всех воздыханий), постепенно оную

отодвигать в пространство, а потом вспять к тому же источнику обращать. В патетических местах не выкрикивать и ненужных слов от себя не сочинять, но токмо воздыхать громчае.

А глуповцы между тем тучнели всё больше и больше, и Беневоленский не только не огорчался этим, но радовался. Ни разу не пришло ему на мысль: а что, кабы сим благополучным людям да кровь пустить? напротив того, наблюдая из окон дома Распоповой, как обыватели бродят, переваливаясь, по улицам, он даже задавал себе вопрос: не потому ли люди сии и благополучны, что никакого сорта законы не тревожат их? Однако ж последнее предположение было слишком горько, чтоб мысль его успокоилась на нем. Едва отрывал он взоры от ликующих глуповцев, как тоска по законодательству снова овладевала им.

— Я даже изобразить сего не в состоянии, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна, — обращался он к купчихе Распоповой, — что бы я такое наделал и как были бы сии люди против нынешнего благополучнее, если б мне хотя по одному закону в день издавать предоставлено было!

Наконец он не выдержал. В одну темную ночь, когда не только будочники, но и собаки спали, он вышел крадучись на улицу и во множестве

разбросал листочки, на которых был написан первый, сочиненный им для Глупова, закон. И хотя он понимал, что этот путь распубликования законов весьма предосудителен, но долго сдерживаемая страсть к законодательству так громко вопияла об удовлетворении, что перед голосом ее умолкли даже доводы благоразумия.

Закон был, видимо, написан второпях, а потому отличался необыкновенною краткостью. На другой день, идя на базар, глуповцы подняли с полу бумажки и прочитали следующее:

ЗАКОН 1-й

«Всякий человек да опасно ходит; откупщик же да принесет дары».

И только. Но смысл закона был ясен, и откупщик на другой же день явился к градоначальнику. Произошло объяснение; откупщик доказывал, что он и прежде был готов по мере возможности; Беневоленский же возражал, что он в прежнем неопределенном положении оставаться не может; что такое выражение, как «мера возможности», ничего не говорит ни уму, ни сердцу и что ясен только закон. Остановились на трех тысячах рублей в год и постановили считать эту цифру законною, до тех пор, однако ж, пока «обстоятельства перемены законам не сделают».

Рассказав этот случай, летописец спрашивает себя: была ли польза от такого закона? и отвечает на этот вопрос утвердительно. «Напоминанием об опасном хождении, — говорит он, — жители города Глупова нимало потревожены не были, ибо и до того, по самой своей природе, великую к таковому хождению способность имели и повсеминутно в оном упражнялись. Но откупщик пользу того узаконения ощутил подлинно, ибо когда преемник Беневоленского, Прыщ, вместо обычных трех тысяч потребовал против прежнего вдвое, то откупщик продерзостно отвечал: „Не могу, ибо по закону более трех тысяч давать не обязываюсь“. Прыщ же сказал: „И мы тот закон переменим“. И переменил».

Ободренный успехом первого закона, Беневоленский начал деятельно приготовляться к изданию второго. Плоды оказались скорые, и на улицах города, тем же таинственным путем, явился новый и уже более пространный закон, который гласил тако:

УСТАВ

О ДОБРОПОРЯДОЧНОМ ПИРОГОВ ПЕЧЕНИИ

1. Всякий да печет по праздникам пироги, не

возбраняя себе таковое печение и в будни.

2. Начинку всякий да употребляет по состоянию. Тако: поймав в реке рыбу — класть; изрубив намелко скотское мясо — класть же; изрубив капусту — тоже класть. Люди неимущие да кладут требуху.

Примечание. Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется.

3. По положении начинки и удобрении оной должным числом масла и яиц, класть пирог в печь и содержать в вольном духе, доколе не зарумянится.

4. По вынутии из печи всякий да возьмет в руку нож и, вырезав из середины часть, да принесет оную в дар.

5. Исполнивший сие да яст.

Глуповцы тем быстрее поняли смысл этого нового узаконения, что они издревле были приучены вырезывать часть своего пирога и приносить ее в дар. Хотя же в последнее время, при либеральном управлении Микаладзе, обычай этот, по упущению, не исполнялся, но они не роптали на его возобновление, ибо надеялись, что он еще теснее скрепит благожелательные отношения, существовавшие между ними и но-

вым градоначальником. Все наперерыв спешили обрадовать Беневоленского; каждый приносил лучшую часть, а некоторые дарили даже по целому пирогу.

С тех пор законодательная деятельность в городе Глупове закипела. Не проходило дня, чтоб не явилось нового подметного письма и чтобы глуповцы не были чем-нибудь обрадованы. Настал наконец момент, когда Беневоленский начал даже помышлять о конституции.

— Конституция, доложу я вам, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна, — говорил он купчихе Распоповой, — вовсе не такое уж пугало, как люди несмысленные о сем полагают. Смысл каждой конституции таков: всякий в дому своем благополучно да почивает! Что же тут, спрашиваю я вас, сударыня моя, страшного или презорного?[54]

И начал он обдумывать свое намерение, но чем больше думал, тем более запутывался в своих мыслях. Всего более его смущало то, что он не мог дать достаточно твердого определения слову: «права́». Слово «обязанности» он сознавал очень ясно, так что мог об этом предмете исписать

---

[54] Notes: 54
Презорное — постыдное, зазорное.

целые дести[55] бумаги, но «права́» — что такое «права́»? Достаточно ли было определить их, сказав: «всякий в дому своем благополучно да почивает»? не будет ли это чересчур уж кратко? А с другой стороны, если пуститься в разъяснения, не будет ли чересчур уж обширно и для самих глуповцев обременительно?

Сомнения эти разрешились тем, что Беневоленский, в виде переходной меры, издал «Устав о свойственном градоначальнику добросердечии», который, по обширности его, помещается в оправдательных документах.

— Знаю я, — говорил он по этому случаю купчихе Распоповой, — что истинной конституции документ сей в себе еще не заключает, но прошу вас, моя почтеннейшая, принять в соображение, что никакое здание, хотя бы даже то был куриный хлев, разом не завершается! По времени, выполним и остальное достолюбезное нам дело, а теперь утешимся тем, что возложим упование наше на Бога!

Тем не менее нет никакого повода сомневаться, что Беневоленский рано или поздно привел бы в исполнение свое намерение, но в это время над

---

[55] Notes: 55

Дести — мера счета бумаги, равная 24 листам.

ним уже нависли тучи. Виною всему был Бонапарт. Наступил 1811 год, и отношения России к Наполеону сделались чрезвычайно натянутыми. Однако ж слава этого нового «бича божия» еще не померкла и даже достигла Глупова. Там, между многочисленными его почитательницами (замечательно, что особенною приверженностью к врагу человечества отличался женский пол), самый горячий фанатизм выказывала купчиха Распопова.

— Уж как мне этого Бонапарта захотелось! — говаривала она Беневоленскому. — Кажется, ничего бы не пожалела, только бы глазком на него взглянуть!

Сначала Беневоленский сердился и даже называл речи Распоповой «дурьими», но так как Марфа Терентьевна не унималась, а все больше и больше приставала к градоначальнику: вынь да положь Бонапарта, то под конец он изнемог. Он понял, что не исполнить требование «дурьей породы» невозможно, и мало-помалу пришел даже к тому, что не находил в нем ничего предосудительного.

— Что же! пущай дурья порода натешится! — говорил он себе в утешение. — Кому от того убыток!

И вот он вступил в секретные сношения с Наполеоном…

Каким образом об этих сношениях было узнано — это известно одному Богу; но кажется, что сам Наполеон разболтал о том князю Куракину во время одного из своих petits levés[56]. И вот, в одно прекрасное утро, Глупов был изумлен, узнав, что им управляет не градоначальник, а изменник и что из губернии едет особенная комиссия ревизовать его измену.

Тут открылось все: и то, что Беневоленский тайно призывал Наполеона в Глупов, и то, что он издавал свои собственные законы. В оправдание свое он мог сказать только то, что никогда глуповцы в столь тучном состоянии не были, как при нем, но оправдание это не приняли или, лучше сказать, ответили на него так, что «правее бы он был, если б глуповцев совсем в отощание привел, лишь бы от издания нелепых своих строчек, кои продерзостно законами именует, воздержался».

Была теплая лунная ночь, когда к градоначальническому дому подвезли кибитку. Беневоленский твердою поступью сошел на крыльцо и

---

[56] Notes: 56

Частная встреча, неофициальный прием *(фр.)*. Князь Александр Борисович Куракин (1752–1818) перед войной 1812 года был русским послом в Париже.

хотел было поклониться на все четыре стороны, как с смущением увидел, что на улице никого нет, кроме двух жандармов. По обыкновению, глуповцы и в этом случае удивили мир своею неблагодарностью и как только узнали, что градоначальнику приходится плохо, так тотчас же лишили его своей популярности. Но как ни горька была эта чаша, Беневоленский испил ее с бодрым духом. Внятным и ясным голосом он произнес: «Бездельники!» — и, сев в кибитку, благополучно проследовал в тот край, куда Макар телят не гонял.

Так окончил свое административное поприще градоначальник, в котором страсть к законодательству находилась в непрерывной борьбе с страстью к пирогам. Изданные им законы в настоящее время, впрочем, действия не имеют.

Но счастию глуповцев, по-видимому, не предстояло еще скорого конца. На смену Беневоленскому явился подполковник Прыщ и привез с собою систему администрации еще более упрощенную.

Прыщ был уже не молод, но сохранился необыкновенно. Плечистый, сложенный кряжем, он всею своею фигурой так, казалось, и говорил: не смотрите на то, что у меня седые усы: я могу!

я еще очень могу! Он был румян, имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов; походка у него была деятельная и бодрая, жест быстрый. И все это украшалось блестящими штаб-офицерскими эполетами, которые так и играли на плечах при малейшем его движении.

По принятому обыкновению, он сделал рекомендательные визиты к городским властям и прочим знатным обоего пола особам, и при этом развил перед ними свою программу.

— Я человек простой-с, — говорил он одним, — и не для того сюда приехал, чтоб издавать законы-с. Моя обязанность наблюсти, чтобы законы были в целости и не валялись по столам-с. Конечно, и у меня есть план кампании, но этот план таков: отдохнуть-с!

Другим он говорил так:

— Состояние у меня, благодарение Богу, изрядное. Командовал-с; стало быть, не растратил, а умножил-с. Следственно, какие есть насчет этого законы — те знаю, а новых издавать не желаю. Конечно, многие на моем месте понеслись бы в атаку, а может быть, даже устроили бы бомбардировку, но я человек простой и утешения для себя в атаках не вижу-с!

Третьим высказывался так:

— Я не либерал и либералом никогда не бывал-с. Действую всегда прямо и потому даже от законов держусь в отдалении. В затруднительных случаях приказываю поискать, но требую одного: чтоб закон был старый. Новых законов не люблю-с. Многое в них пропускается, а о прочем и совсем не упоминается. Так я всегда говорил, так отозвался и теперь, когда отправлялся сюда. От новых, говорю, законов увольте, прочее же надеюсь исполнить в точности!

Наконец, четвертым он изображал себя в следующих красках:

— Про себя могу сказать одно: в сражениях не бывал-с, но в парадах закален даже сверх пропорции. Новых идей не понимаю. Не понимаю даже того, зачем их следует понимать-с.

Этого мало: в первый же праздничный день он собрал генеральную сходку глуповцев и перед нею формальным образом подтвердил свои взгляды на администрацию.

— Ну, старички, — сказал он обывателям, — давайте жить мирно. Не трогайте вы меня, а я вас не трону. Сажайте и сейте, ешьте и пейте, заводите фабрики и заводы — что же-с! все это вам же на пользу-с! По мне, даже монументы воздвигайте — я и в этом препятствовать не стану! Только

с огнем, ради Христа, осторожнее обращайтесь, потому что тут недолго и до греха. Имущества свои попалите, сами погорите — что хорошего!

Как ни избалованы были глуповцы двумя последними градоначальниками, но либерализм столь беспредельный заставил их призадуматься: нет ли тут подвоха? Поэтому некоторое время они осматривались, разузнавали, говорили шепотом и вообще «опасно ходили». Казалось несколько странным, что градоначальник не только отказывается от вмешательства в обывательские дела, но даже утверждает, что в этом-то невмешательстве и заключается вся сущность администрации.

— И законов издавать не будешь? — спрашивали они его с недоверчивостью.

— И законов не буду издавать — живите с Богом!

— То-то! уж ты сделай милость, не издавай! Смотри, как за это прохвосту-то (так называли они Беневоленского) досталось! Стало быть, коли опять за то же примешься, как бы и тебе и нам в ответ не попасть!

Но Прыщ был совершенно искренен в своих заявлениях и твердо решился следовать по избранному пути. Прекратив все дела, он ходил

по гостям, принимал обеды и балы и даже завел стаю борзых и гончих собак, с которыми травил на городском выгоне зайцев, лисиц, а однажды заполевал[57] очень хорошенькую мещаночку. Не без иронии отзывался он о своем предместнике, томившемся в то время в заточении.

— Филат Иринархович, — говорил, — больше на бумаге сулил, что обыватели при нем якобы благополучно в домах своих почивать будут, а я на практике это самое предоставлю... да-с!

И точно: несмотря на то что первые шаги Прыща были встречены глуповцами с недоверием, они не успели и оглянуться, как всего у них очутилось против прежнего вдвое и втрое. Пчела роилась необыкновенно, так что меду и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князе Олеге. Хотя скотских падежей не было, но кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностию, и за все получили чистыми ассигнациями. А поелику навоз производить стало всякому вольно, то и хлеба уродилось столько, что, кроме продажи,

---

[57] Notes: 57

Заполевать — добыть на охоте.

осталось даже на собственное употребление. «Не то что в других городах, — с горечью говорит летописец, — где железные дороги[58] не успевают перевозить дары земные, на продажу назначенные, жители же от бескормицы в отощание приходят. В Глупове в сию счастливую годину не токмо хозяин, но и всякий наймит ел хлеб настоящий, а не в редкость бывали и шти с приварком».

Прыщ смотрел на это благополучие и радовался. Да и нельзя было не радоваться ему, потому что всеобщее изобилие отразилось и на нем. Амбары его ломились от приношений, делаемых в натуре; сундуки не вмещали серебра и золота, а ассигнации просто валялись по полу.

Так прошел и еще год, в течение которого у глуповцев всякого добра явилось уже не вдвое или втрое, но вчетверо. Но по мере того как развивалась свобода, нарождался и исконный враг ее — анализ. С увеличением материального благосостояния приобретался досуг, а с приобретением досуга явилась способность исследовать и испытывать природу вещей. Так бывает всегда,

---

[58] Notes: 58

О железных дорогах тогда и помину не было, но это один из тех безвредных анахронизмов, каких очень много встречается в «Летописи». — *Изд.*

но глуповцы употребили эту «новоявленную у них способность» не для того, чтобы упрочить свое благополучие, а для того, чтоб оное подорвать.

Неокрепшие в самоуправлении, глуповцы начали приписывать это явление посредничеству какой-то неведомой силы. А так как на их языке неведомая сила носила название чертовщины, то и стали думать, что тут не совсем чисто и что, следовательно, участие черта в этом деле не может подлежать сомнению. Стали присматривать за Прыщом и нашли в его поведении нечто сомнительное. Рассказывали, например, что однажды кто-то застал его спящим на диване, причем будто бы тело его было кругом обставлено мышеловками. Другие шли далее и утверждали, что Прыщ каждую ночь уходит спать на ледник. Все это обнаруживало нечто таинственное, и хотя никто не спросил себя, какое кому дело до того, что градоначальник спит на леднике, а не в обыкновенной спальной, но всякий тревожился. Общие подозрения еще более увеличились, когда заметили, что местный предводитель дворянства с некоторого времени находится в каком-то неестественно-возбужденном состоянии и всякий раз, как встретится с градоначальником,

начинает кружиться и выделывать нелепые телодвижения.

Нельзя сказать, чтоб предводитель отличался особенными качествами ума и сердца; но у него был желудок, в котором, как в могиле, исчезали всякие куски. Этот не весьма замысловатый дар природы сделался для него источником живейших наслаждений. Каждый день с раннего утра он отправлялся в поход по городу и поднюхивал запахи, вылетавшие из обывательских кухонь. В короткое время обоняние его было до такой степени изощрено, что он мог безошибочно угадать составные части самого сложного фарша.

Уже при первом свидании с градоначальником предводитель почувствовал, что в этом сановнике таится что-то не совсем обыкновенное, а именно, что от него пахнет трюфелями. Долгое время он боролся с своею догадкою, принимая ее за мечту воспаленного съестными припасами воображения, но чем чаще повторялись свидания, тем мучительнее становились сомнения. Наконец он не выдержал и сообщил о своих подозрениях письмоводителю дворянской опеки Половинкину.

— Пахнет от него, — говорил он своему изумленному наперснику, — пахнет! Точно вот в

колбасной лавке!

— Может быть, они трюфельной помадой голову себе мажут-с? — усомнился Половинкин.

— Ну, это, брат, дудки! После этого каждый поросенок будет тебе в глаза лгать, что он не поросенок, а только поросячьими духами прыскается!

На первый раз разговор не имел других последствий, но мысль о поросячьих духах глубоко запала в душу предводителя. Впавши в гастрономическую тоску, он слонялся по городу, словно влюбленный, и, завидев где-нибудь Прыща, самым нелепым образом облизывался. Однажды, во время какого-то соединенного заседания, имевшего предметом устройство во время Масленицы усиленного гастрономического торжества, предводитель, доведенный до исступления острым запахом, распространяемым градоначальником, вне себя вскочил с своего места и крикнул: «Уксусу и горчицы!» И затем, припав к градоначальнической голове, стал ее нюхать.

Изумление лиц, присутствовавших при этой загадочной сцене, было беспредельно. Странным показалось и то, что градоначальник хотя и сквозь зубы, но довольно неосторожно сказал:

— Угадал, каналья!

И потом, спохватившись, с непринужденностию, очевидно притворною, прибавил:

— Кажется, наш достойнейший предводитель принял мою голову за фаршированную… ха, ха!

Увы! Это косвенное признание заключало в себе самую горькую правду!

Предводитель упал в обморок и вытерпел горячку, но ничего не забыл и ничему не научился. Произошло несколько сцен, почти неприличных. Предводитель юлил, кружился и наконец, очутившись однажды с Прыщом глаз на глаз, решился.

— Кусочек! — стонал он перед градоначальником, зорко следя за выражением глаз облюбованной им жертвы.

При первом же звуке столь определенно формулированной просьбы градоначальник дрогнул. Положение его сразу обрисовалось с той бесповоротной ясностью, при которой всякие соглашения становятся бесполезными. Он робко взглянул на своего обидчика и, встретив его полный решимости взор, вдруг впал в состояние беспредельной тоски.

Тем не менее он все-таки сделал слабую попытку дать отпор. Завязалась борьба; но предводитель вошел уже в ярость и не помнил себя. Глаза

его сверкали, брюхо сладостно ныло. Он задыхался, стонал, называл градоначальника «душкой», «милкой» и другими несвойственными этому сану именами; лизал его, нюхал и т. д. Наконец с неслыханным остервенением бросился предводитель на свою жертву, отрезал ножом ломоть головы и немедленно проглотил…



За первым ломтем последовал другой, потом третий, до тех пор, пока не осталось ни крохи…

Тогда градоначальник вдруг вскочил и стал обтирать лапками те места своего тела, которые предводитель полил уксусом. Потом он закружился на одном месте и вдруг всем корпусом грохнулся на пол.

На другой день глуповцы узнали, что у градоначальника их была фаршированная голова…

Но никто не догадался, что благодаря именно этому обстоятельству город был доведен до такого благосостояния, которому подобного не представляли летописи с самого его основания.

Поклонение мамоне и покаяние

Человеческая жизнь — сновидение, говорят философы-спиритуалисты, и если б они были вполне логичны, то прибавили бы: и история — тоже сновидение. Разумеется, взятые абсолютно, оба эти сравнения одинаково нелепы, однако нельзя не сознаться, что в истории действительно встречаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутною накипью, сквозь которую невозможно различить ни ясных типических черт, ни даже сколько-нибудь обособившихся явлений. Сбивчивые и неосмысленные события бессвязно следуют одно за другим, и люди, по-видимому, не преследуют никаких других целей, кроме защиты нынешнего дня. Попеременно они то трепещут, то торжествуют, и чем сильнее дает себя чувствовать унижение, тем жестче и мстительнее торжество. Источник, из которого вышла эта тревога, уже замутился; начала, во имя которых возникла борьба, стушевались; остает-

ся борьба для борьбы, искусство для искусства, изобретающее дыбу, хождение по спицам и т. д.

Конечно, тревога эта преимущественно сосредоточивается на поверхности; однако ж едва ли возможно утверждать, что и на дне в это время обстоит благополучно. Что происходит в тех слоях пучины, которые следуют непосредственно за верхним слоем и далее, до самого дна? пребывают ли они спокойными или и на них производит свое давление тревога, обнаружившаяся в верхнем слое? — с полною достоверностью определить это невозможно, так как вообще у нас еще нет привычки приглядываться к тому, что уходит далеко вглубь. Но едва ли мы ошибемся, сказавши, что давление чувствуется и там. Отчасти оно выражается в форме материальных ущербов и утрат, но преимущественно в форме более или менее продолжительной отсрочки общественного развития. И хотя результаты этих утрат с особенною горечью сказываются лишь впоследствии, однако ж можно догадываться, что и современники без особенного удовольствия относятся к тем давлениям, которые тяготеют над ними.

Одну из таких тяжких исторических эпох, вероятно, переживал Глупов в описываемое летописцем время. Собственная внутренняя жизнь

города спряталась на дно, на поверхность же выступили какие-то злостные эманации, которые и завладели всецело ареной истории. Искусственные примеси сверху донизу опутали Глупов, и ежели можно сказать, что в общей экономии его существования эта искусственность была небесполезна, то с не меньшею правдой можно утверждать и то, что люди, живущие под гнетом ее, суть люди не весьма счастливые. Претерпеть Бородавкина для того, чтоб познать пользу употребления некоторых злаков; претерпеть Урус-Кугуш-Кильдибаева для того, чтобы ознакомиться с настоящею отвагою, — как хотите, а такой удел не может быть назван ни истинно нормальным, ни особенно лестным, хотя, с другой стороны, и нельзя отрицать, что некоторые злаки действительно полезны, да и отвага, употребленная в свое время и в своем месте, тоже не вредит.

При таких условиях невозможно ожидать, чтобы обыватели оказали какие-нибудь подвиги по части благоустройства и благочиния или особенно успели по части наук и искусств. Для них подобные исторические эпохи суть годы учения, в течение которых они испытывают себя в одном: в какой мере они могут претерпеть. Такими

именно и представляет нам летописец своих сограждан. Из рассказа его видно, что глуповцы беспрекословно подчиняются капризам истории и не представляют никаких данных, по которым можно было бы судить о степени их зрелости, в смысле самоуправления; что, напротив того, они мечутся из стороны в сторону, без всякого плана, как бы гонимые безотчетным страхом. Никто не станет отрицать, что это картина не лестная, но иною она не может и быть, потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления. Историю этих ошеломлений летописец раскрывает перед нами с тою безыскусственностью и правдою, которыми всегда отличаются рассказы бытописателей-архивариусов. По моему мнению, это все, чего мы имеем право требовать от него. Никакого преднамеренного глумления в рассказе его не замечается; напротив того, во многих местах заметно даже сочувствие к бедным ошеломляемым. Уже один тот факт, что, несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости и заслуживает серьезного внима-

ния со стороны историка.

Не забудем, что летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни, которая и доселе считается стоящею как бы вне пределов истории. С одной стороны, его умственному взору представляется сила, подкравшаяся издалека и успевшая организоваться и окрепнуть, с другой — рассыпавшиеся по углам и всегда застигаемые врасплох людишки и сироты. Возможно ли какое-нибудь сомнение насчет характера отношений, которые имеют возникнуть из сопоставления стихий столь противоположных?

Что сила, о которой идет речь, отнюдь не выдуманная — это доказывается тем, что представление об ней даже положило основание целой исторической школе. Представители этой школы совершенно искренно проповедуют, что чем больше уничтожать обывателей, тем благополучнее они будут и тем блестящее будет сама история. Конечно, это мнение не весьма умное, но как доказать это людям, которые настолько в себе уверены, что никаких доказательств не слушают и не принимают? Прежде нежели начать доказывать, надобно еще заставить себя выслушать, а как это сделать, когда жалобщик самого себя не умеет достаточно убедить, что его

не следует истреблять?

— Говорил я ему: какой вы, сударь, имеете резон драться? а он только знай по зубам щелкает: вот тебе резон! вот тебе резон!

Такова единственно ясная формула взаимных отношений, возможная при подобных условиях. Нет резона драться, но нет резона и не драться; в результате виднеется лишь печальная тавтология, в которой оплеуха объясняется оплеухою. Конечно, тавтология эта держится на нитке, на одной только нитке, но как оборвать эту нитку? — в этом-то весь и вопрос. И вот само собою высказывается мнение: не лучше ли возложить упование на будущее? Это мнение тоже не весьма умное, но что же делать, если никаких других мнений еще не выработалось? И вот его-то, по-видимому, держались и глуповцы.

Уподобив себя вечным должникам, находящимся во власти вечных кредиторов, они рассудили, что на свете бывают всякие кредиторы: и разумные, и неразумные. Разумный кредитор помогает должнику выйти из стесненных обстоятельств и в вознаграждение за свою разумность получает свой долг. Неразумный кредитор сажает должника в острог или непрерывно сечет его и в вознаграждение не получает ничего. Рассудив

таким образом, глуповцы стали ждать, не сделаются ли все кредиторы разумными? И ждут до сего дня.

Поэтому я не вижу в рассказах летописца ничего такого, что посягало бы на достоинство обывателей города Глупова. Это люди, как и все другие, с тою только оговоркою, что природные их свойства обросли массой наносных атомов, за которою почти ничего не видно. Поэтому о действительных «свойствах» и речи нет, а есть речь только о наносных атомах. Было ли бы лучше или даже приятнее, если б летописец, вместо описания нестройных движений, изобразил в Глупове идеальное средоточие законности и права? Например, в ту минуту, когда Бородавкин требует повсеместного распространения горчицы, было ли бы для читателей приятнее, если б летописец заставил обывателей не трепетать перед ним, а с успехом доказывать несвоевременность и неуместность его затей?

Положа руку на сердце, я утверждаю, что подобное извращение глуповских обычаев было бы не только не полезно, но даже положительно неприятно. И причина тому очень проста: рассказ летописца в этом виде оказался бы *несогласным с истиною*.

Неожиданное усекновение головы майора Прыща не оказало почти никакого влияния на благополучие обывателей. Некоторое время, за оскудением градоначальников, городом управляли квартальные; но так как либерализм еще продолжал давать тон жизни, то и они не бросались на жителей, но учтиво прогуливались по базару и умильно рассматривали, который кусок пожирнее. Но даже и эти скромные походы не всегда сопровождались для них удачею, потому что обыватели настолько осмелились, что охотно дарили только требухой.

Последствием такого благополучия было то, что в течение целого года в Глупове состоялся всего один заговор, но и то не со стороны обывателей против квартальных (как это обыкновенно бывает), а, напротив того, со стороны квартальных против обывателей (чего никогда не бывает). А именно: мучимые голодом квартальные решились отравить в гостином дворе всех собак, дабы иметь в ночное время беспрепятственный вход в лавки. К счастью, покушение было усмотрено вовремя, и заговор разрешился тем, что самих же заговорщиков лишили на время установленной дачи требухи.

После того прибыл в Глупов статский советник

Иванов, но оказался столь малого роста, что не мог вмещать ничего пространного. Как нарочно, это случилось в ту самую пору, когда страсть к законодательству приняла в нашем отечестве размеры чуть-чуть не опасные; канцелярии кипели уставами, как никогда не кипели сказочные реки млеком и медом, и каждый устав весил отнюдь не менее фунта. Вот это-то обстоятельство именно и причинило погибель Иванова, рассказ о которой, впрочем, существует в двух совершенно различных вариантах. Один вариант говорит, что Иванов умер от испуга, получив слишком обширный сенатский указ, понять который он не надеялся. Другой вариант утверждает, что Иванов совсем не умер, а был уволен в отставку за то, что голова его, вследствие постепенного присыхания мозгов (от ненужности в их употреблении), перешла в зачаточное состояние. После этого он будто бы жил еще долгое время в собственном имении, где и удалось ему положить начало целой особи короткоголовых (микрокефалов), которые существуют и доднесь.


Куприянов 39.

Какой из этих двух вариантов заслуживает большего доверия — решить трудно; но справедливость требует сказать, что атрофирование столь важного органа, как голова, едва ли могло совершиться в такое короткое время. Однако ж, с другой стороны, не подлежит сомнению, что микрокефалы действительно существуют и что родоначальником их предание называет именно статского советника Иванова. Впрочем, для нас это вопрос второстепенный; важно же то, что глуповцы и во времена Иванова продолжали быть благополучными и что, следовательно, изъян, которым он обладал, послужил обывателям не во вред, а на пользу.

В 1815 году приехал на смену Иванову виконт дю Шарио, французский выходец. Париж был взят; враг человечества навсегда водворен на острове Св. Елены; «Московские ведомости» заявили, что с посрамлением врага задача их кончилась, и обещали прекратить свое существование; но на другой день взяли свое обещание назад и дали другое, которым обязывались прекратить свое существование лишь тогда, когда Париж будет взят вторично. Ликование было общее, а вместе со всеми ликовал и Глупов. Вспомнили про купчиху Распопову, как она, вместе с Беневоленским,

интриговала в пользу Наполеона, выволокли ее на улицу и разрешили мальчишкам дразнить. Целый день преследовали маленькие негодяи злосчастную вдову, называли ее Бонапартовной, антихристовой наложницей и проч., покуда наконец она не пришла в исступление и не начала прорицать. Смысл этих прорицаний объяснился лишь впоследствии, когда в Глупов прибыл Угрюм-Бурчеев и не оставил в городе камня на камне.

Дю Шарио был весел. Во-первых, его эмигрантскому сердцу было радостно, что Париж взят; во-вторых, он столько времени настоящим манером не едал, что глуповские пироги с начинкой показались ему райскою пищей. Наевшись досыта, он потребовал, чтоб ему немедленно указали место, где было бы можно passer son temps à faire des bêtises[59], и был отменно доволен, когда узнал, что в Солдатской слободе есть именно такой дом, какого ему желательно. Затем он начал болтать и уже не переставал до тех пор, покуда не был, по распоряжению начальства, выпровожен из Глупова за границу. Но так как он все-таки был сыном XVIII века, то в болтовне его нередко

---

[59] Notes: 59
Весело проводить время *(фр.)*.

прорывался дух исследования, который мог бы дать очень горькие плоды, если б он не был в значительной степени смягчен духом легкомыслия. Так, например, однажды он начал объяснять глуповцам права человека; но, к счастью, кончил тем, что объяснил права Бурбонов. В другой раз он начал с того, что убеждал обывателей уверовать в богиню Разума, и кончил тем, что просил признать непогрешимость папы. Все это были, однако ж, одни façons de parler[60]; и в сущности виконт готов был стать на сторону какого угодно убеждения или догмата, если имел в виду, что за это ему перепадет лишний четвертак.

Он веселился без устали, почти ежедневно устроивал маскарады, одевался дебардером[61], танцевал канкан и в особенности любил интриговать мужчин[62]. Мастерски пел он гривуазные песенки и уверял, что этим песням научил его граф д'Артуа (впоследствии французский король Карл X) во время пребывания в Риге. Ел сначала

---

[60] Notes: 60

Манера выражаться, фигура речи *(фр.).*

[61] Notes: 61

Дебардер — грузчик, носильщик.

[62] Notes: 62

В этом ничего нет удивительного, ибо летописец свидетельствует, что этот самый дю Шарио был впоследствии подвергнут исследованию и оказался женщиной. — *Изд.*

все, что попало, но когда отъелся, то стал употреблять преимущественно так называемую нéчисть, между которой отдавал предпочтение давленине и лягушкам. Но дел не вершил и в администрацию не вмешивался.

Это последнее обстоятельство обещало продлить благополучие глуповцев без конца; но они сами изнемогли под бременем своего счастья. Они забылись. Избалованные пятью последовательными градоначальничествами, доведенные почти до ожесточения грубою лестью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им по праву и что никто не в силах отнять его у них. Победа над Наполеоном еще более утвердила их в этом мнении, и едва ли не в эту самую эпоху сложилась знаменитая пословица: шапками закидаем! — которая впоследствии долгое время служила девизом глуповских подвигов на поле брани.

И вот последовал целый ряд прискорбных событий, которые летописец именует «бесстыжим глуповским неистовством», но которое гораздо приличнее назвать скоропреходящим глуповским баловством.

Начали с того, что стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обычаем. Обличения

того времени полны самых горьких указаний на этот печальный факт. «Было время, — гремели обличители, — когда глуповцы древних Платонов и Сократов благочестием посрамляли; ныне же не токмо сами Платонами сделались, но даже того горчае, ибо едва ли и Платон хлеб божий не в уста, а на пол метал, как нынешняя некая модная затея то делать повелевает». Но глуповцы не внимали обличителям и с дерзостью говорили: «Хлеб пущай свиньи едят, а мы свиней съедим — тот же хлеб будет!» И дю Шарио не только не возбранял подобных ответов, но даже видел в них возникновение какого-то духа исследования.

Почувствовавши себя на воле, глуповцы с какой-то яростью устремились по той покатости, которая очутилась под их ногами. Сейчас же они вздумали строить башню, с таким расчетом, чтоб верхний ее конец непременно упирался в небеса. Но так как архитекторов у них не было, а плотники были не ученые и не всегда трезвые, то довели башню до половины и бросили, и только, быть может, благодаря этому обстоятельству избежали смешения языков.

Но и этого показалось мало. Забыли глуповцы истинного Бога и прилепились к идолам. Вспомнили, что еще при Владимире Красном Солнышке

некоторые вышедшие из употребления боги были сданы в архив, бросились туда и вытащили двух: Перуна и Волоса. Идолы, несколько веков не знавшие ремонта, находились в страшном запущении, а у Перуна даже были нарисованы углем усы. Тем не менее глуповцам показались они так любы, что немедленно собрали они сходку и порешили так: знатным обоего пола особам кланяться Перуну, а смердам — приносить жертвы Волосу. Призвали и причетников[63] и требовали, чтоб они сделались кудесниками; но они ответа не дали и в смущении лишь трепетали воскрилиями[64]. Тогда припомнили, что в Стрелецкой слободе есть некто, именуемый «расстрига Кузьма» (тот самый, который, если читатель припомнит, задумывал при Бородавкине перейти в раскол), и послали за ним. Кузьма к этому времени совсем уже оглох и ослеп, но едва дали ему понюхать монету рубль, как он сейчас же на все согласился и начал выкрикивать что-то непонятное стихами Аверкиева из оперы

---

[63] Notes: 63

Причетник — низший церковнослужитель, читающий во время службы псалмы, пономарь, дьячок.

[64] Notes: 64

Воскрилия — подол, края одежды.

«Рогнеда»[65].

Дю Шарио смотрел из окна на всю эту церемонию и, держась за бока, кричал: «Sont-ils bêtes! dieux des dieux! sont-ils bêtes, ces moujiks de Gloupoff!»[66]

Развращение нравов развивалось не по дням, а по часам. Появились кокотки и кокодессы; мужчины завели жилетки с неслыханными вырезками, которые совершенно обнажали грудь; женщины устраивали сзади возвышения, имевшие прообразовательный смысл и возбуждавшие в прохожих вольные мысли. Образовался новый язык, получеловечий, полуобезьяний, но во всяком случае вполне негодный для выражения каких бы то ни было отвлеченных мыслей. Знатные особы ходили по улицам и пели: «A moi l'pompon»[67] или «La Vénus aux carottes»[68], смерды слонялись по кабакам и горланили камаринскую. Мнили, что во время этой гульбы

---

[65] Notes: 65
«Рогнеда» — опера А. Н. Серова.

[66] Notes: 66
«Какие дураки, клянусь Богом! Какие дураки эти глуповцы!» *(фр.)*

[67] Notes: 67
«Ко мне, мой помпончик» *(фр.)*.

[68] Notes: 68
«Венера с морковкой» *(фр.)*.

хлеб вырастет сам собой, и потому перестали возделывать поля. Уважение к старшим исчезло; агитировали вопрос, не следует ли по достижении людьми известных лет устранять их из жизни, но корысть одержала верх, и порешили на том, чтобы стариков и старух продать в рабство. В довершение всего, очистили какой-то манеж и поставили в нем «Прекрасную Елену»[69], пригласив в качестве исполнительницы девицу Бланш Гандон[70].

И за всем тем продолжали считать себя самым мудрым народом в мире.

В таком положении застал глуповские дела статский советник Эраст Андреевич Грустилов. Человек он был чувствительный, и когда говорил о взаимных отношениях двух полов, то краснел. Только что перед этим он сочинил повесть под названием «Сатурн, останавливающий свой бег в объятиях Венеры», в которой, по выражению критиков того времени, счастливо сочеталась нежность Апулея с игривостью Парни. Под именем Сатурна он изображал себя, под именем

---

[69] Notes: 69

«Прекрасная Елена» — оперетта Ж. Оффенбаха.

[70] Notes: 70

Бланш Гандон — французская певица, исполнительница шансонеток; гастролировала в Петербурге.

Венеры — известную тогда красавицу Наталью Кирилловну де Помпадур. «Сатурн, — писал он, — был обременен годами и имел согбенный вид, но еще мог некоторое совершить. Надо же, чтоб Венера, приметив сию в нем особенность, остановила на нем благосклонный свой взгляд…»

Но меланхолический вид (предтеча будущего мистицизма) прикрывал в нем много наклонностей несомненно порочных. Так, например, известно было, что, находясь при действующей армии провиантмейстером, он довольно непринужденно распоряжался казенною собственностью и облегчал себя от нареканий собственной совести только тем, что, взирая на солдат, евших затхлый хлеб, проливал обильные слезы. Известно было также, что и к мадам де Помпадур проник он отнюдь не с помощью какой-то «особенности», а просто с помощью денежных приношений, и при ее посредстве избавился от суда и даже получил высшее против прежнего назначение. Когда же Помпадурша была, «за слабое держание некоторой тайности», сослана в монастырь и пострижена под именем инокини Нимфодоры, то он первый бросил в нее камнем и написал «Повесть о некоторой многолюбивой жене», в которой делал очень ясные намеки на прежнюю

свою благодетельницу. Сверх того, хотя он робел и краснел в присутствии женщин, но под этою робостью таилось то пущее сластолюбие, которое любит предварительно раздражить себя и потом уже неуклонно стремится к начертанной цели. Примеров этого затаенного, но жгучего сластолюбия рассказывали множество. Таким образом, однажды, одевшись лебедем, он подплыл к одной купавшейся девице, дочери благородных родителей, у которой только и приданого было что красота, и в то время, когда она гладила его по головке, сделал ее на всю жизнь несчастною. Одним словом, он основательно изучил мифологию, и хотя любил прикидываться благочестивым, но в сущности был злейший идолопоклонник.

Глуповская распущенность пришлась ему по вкусу. При самом въезде в город он встретил процессию, которая сразу заинтересовала его. Шесть девиц, одетых в прозрачные хитоны, несли на носилках Перунов болван; впереди, в восторженном состоянии, скакала предводительша, прикрытая одними страусовыми перьями; сзади следовала толпа дворян и дворянок, между которыми виднелись почетнейшие представители глуповского купечества (мужики, мещане и краснорядцы победнее кланялись в это время Волосу). Дойдя до

площади, толпа остановилась. Перуна поставили на возвышение, предводительша встала на колени и громким голосом начала читать «Жертву вечернюю» г. Боборыкина.

— Что такое? — спросил Грустилов, высовываясь из кареты и кося исподтишка глазами на наряд предводительши.

— Перуновы именины справляют, ваше высокородие! — отвечали в один голос квартальные.

— А девочки… девочки… есть? — как-то томно спросил Грустилов.

— Весь синклит-с! — отвечали квартальные, сочувственно переглянувшись между собою.

Грустилов вздохнул и приказал следовать далее.

Остановившись в градоначальническом доме и осведомившись от письмоводителя, что недоимок нет, что торговля процветает, а земледелие с каждым годом совершенствуется, он задумался на минуту, потом помялся на одном месте, как бы затрудняясь выразить заветную мысль, но наконец каким-то неуверенным голосом спросил:

— Тетерева у вас водятся?

— Точно так-с, ваше высокородие!

— Я, знаете, мой почтеннейший, люблю иногда… Хорошо иногда посмотреть, как они… как в

природе ликованье этакое бывает…

И покраснел. Письмоводитель тоже на минуту смутился, однако ж сейчас же вслед за тем и нашелся.

— На что лучше-с! — отвечал он. — Только осмелюсь доложить вашему высокородию: у нас на этот счет даже лучше зрелища видеть можно-с!

— Гм… да?..

— У нас, ваше высокородие, при предместнике вашем, кокотки завелись, так у них в народном театре как есть настоящий ток устроен-с. Каждый вечер собираются-с, свищут-с, ногами перебирают-с…

— Любопытно взглянуть! — промолвил Грустилов и сладко задумался.

В то время существовало мнение, что градоначальник есть хозяин города, обыватели же суть как бы его гости. Разница между «хозяином» в общепринятом значении этого слова и «хозяином города» полагалась лишь в том, что последний имел право сечь своих гостей, что относительно хозяина обыкновенного приличиями не допускалось. Грустилов вспомнил об этом праве и задумался еще слаще.

— А часто у вас секут? — спросил он письмоводителя, не поднимая на него глаз.

— У нас, ваше высокородие, эта мода оставлена-с. Со времени Онуфрия Иваныча господина Негодяева даже примеров не было. Всё лаской-с.

— Ну-с, а я сечь буду… девочек!.. — прибавил он, внезапно покраснев.

Таким образом характер внутренней политики определился ясно. Предполагалось продолжать действия пяти последних градоначальников, усугубив лишь элемент гривуазности, внесенной виконтом дю Шарио, и сдобрив его, для вида, известным колоритом сантиментальности. Влияние кратковременной стоянки в Париже сказывалось повсюду. Победители, принявшие впопыхах гидру деспотизма за гидру революции и покорившие ее, были, в свою очередь, покорены побежденными. Величавая дикость прежнего времени исчезла без следа; вместо гигантов, сгибавших подковы и ломавших целковые, явились люди женоподобные, у которых были на уме только милые непристойности. Для этих непристойностей существовал особый язык. Любовное свидание мужчины с женщиной именовалось «ездою на остров любви»[71]; грубая терминология анатомии заменилась более утонченною;

[71] Notes: 71

«Езда в остров любви» — роман П. Тальмана в переводе В. К. Тредиаковского.

появились выражения вроде: «шаловливый мизантроп», «милая отшельница» и т. п.

Тем не менее, говоря сравнительно, жить было все-таки легко, и эта легкость в особенности приходилась по нутру так называемым смердам. Ударившись в политеизм, осложненный гривуазностью, представители глуповской интеллигенции сделались равнодушны ко всему, что происходило вне замкнутой сферы «езды на остров любви». Они чувствовали себя счастливыми и довольными и в этом качестве не хотели препятствовать счастию и довольству других. Во времена Бородавкиных, Негодяевых и проч. казалось, например, непростительною дерзостью, если смерд поливал свою кашу маслом. Не потому это была дерзость, чтобы от того произошел для кого-нибудь ущерб, а потому что люди, подобные Негодяеву, — всегда отчаянные теоретики и предполагают в смерде одну способность: быть твердым в бедствиях. Поэтому они отнимали у смерда кашу и бросали собакам. Теперь этот взгляд значительно изменился, чему, конечно, не в малой степени содействовало и размягчение мозгов — тогдашняя модная болезнь. Смерды воспользовались этим и наполняли свои желудки жирной кашей до крайних пределов. Им неиз-

вестна еще была истина, что человек не одной кашей живет, и поэтому они думали, что если желудки их полны, то это значит, что и сами они вполне благополучны. По той же причине они так охотно прилепились и к многобожию: оно казалось им более сподручным, нежели монотеизм. Они охотнее преклонялись перед Волосом или Ярилою, но в то же время мотали себе на ус, что если долгое время не будет у них дождя или будут дожди слишком продолжительные, то они могут своих излюбленных богов высечь, обмазать нечистотами и вообще сорвать на них досаду. И хотя очевидно, что материализм столь грубый не мог продолжительное время питать общество, но в качестве новинки он нравился и даже опьянял.

Все спешило жить и наслаждаться; спешил и Грустилов. Он совсем бросил городническое правление и ограничил свою административную деятельность тем, что удвоил установленные предместниками его оклады и требовал, чтобы они бездоимочно поступали в назначенные сроки. Все остальное время он посвятил поклонению Киприде в тех неслыханно-разнообразных формах, которые были выработаны цивилизацией того времени. Это беспечное отношение

к служебным обязанностям было, однако ж, со стороны Грустилова большою ошибкою.

Несмотря на то что в бытность свою провиантмейстером Грустилов довольно ловко утаивал казенные деньги, административная опытность его не была ни глубока, ни многостороння. Многие думают, что ежели человек умеет незаметным образом вытащить платок из кармана своего соседа, то этого будто бы уже достаточно, чтобы упрочить за ним репутацию политика или сердцеведца. Однако это ошибка. Воры-сердцеведцы встречаются чрезвычайно редко; чаще же случается, что мошенник даже самый грандиозный только в этой сфере и является замечательным деятелем, вне же пределов ее никаких способностей не выказывает. Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд. Но какими бы именами ни прикрывало себя ограбление, все-таки сфера грабителя останется совершенно другою, нежели сфера сердцеведца, ибо последний уловляет людей, тогда как первый уловляет только принадлежащие им бумажники и платки. Следовательно, ежели человек, произведший в свою пользу отчуждение на сумму в

несколько миллионов рублей, сделается впоследствии даже меценатом и построит мраморный палаццо, в котором сосредоточит все чудеса науки и искусства, то его все-таки нельзя назвать искусным общественным деятелем, а следует назвать только искусным мошенником.

Но в то время истины эти были еще неизвестны, и репутация сердцеведца утвердилась за Грустиловым беспрепятственно. В сущности, однако ж, это было не так. Если бы Грустилов стоял действительно на высоте своего положения, он понял бы, что предместники его, возведшие тунеядство в административный принцип, заблуждались очень горько и что тунеядство, как животворное начало, только тогда может считать себя достигающим полезных целей, когда оно концентрируется в известных пределах. Если тунеядство существует, то предполагается само собою, что рядом с ним существует и трудолюбие, — на этом зиждется вся наука политической экономии. Трудолюбие питает тунеядство, тунеядство же оплодотворяет трудолюбие — вот единственная формула, которую, с точки зрения науки, можно свободно прилагать ко всем явлениям жизни. Грустилов ничего этого не понимал. Он думал, что тунеядствовать могут все поголовно и что

производительные силы страны не только не иссякнут от этого, но даже увеличатся. Это было первое грубое его заблуждение.

Второе заблуждение заключалось в том, что он слишком увлекся блестящею стороною внутренней политики своих предшественников. Внимая рассказам о благосклонном бездействии майора Прыща, он соблазнился картиною общего ликования, бывшего результатом этого бездействия. Но он упустил из виду, во-первых, что народы даже самые зрелые не могут благоденствовать слишком продолжительное время, не рискуя впасть в грубый материализм, и, во-вторых, что собственно в Глупове, благодаря вывезенному из Парижа духу вольномыслия, благоденствие в значительной степени осложнялось озорством. Нет спора, что можно и даже должно давать народам случай вкушать от плода познания добра и зла, но нужно держать этот плод твердой рукою и притом так, чтобы можно было во всякое время отнять его от слишком лакомых уст.

Последствия этих заблуждений сказались очень скоро. Уже в 1815 году в Глупове был чувствительный недород, а в следующем году не родилось совсем ничего, потому что обыватели, развращенные постоянной гульбой, до того по-

надеялись на свое счастие, что, не вспахав земли, зря разбросали зерно по целине.

— И так, шельма, родит! — говорили они в чаду гордыни.

Но надежды их не сбылись, и когда поля весной освободились от снега, то глуповцы не без изумления увидели, что они стоят совсем голые. По обыкновению, явление это приписали действию враждебных сил и завинили богов за то, что они не оказали жителям достаточной защиты. Начали сечь Волоса, который выдержал наказание стоически, потом принялись за Ярилу, и говорят, будто бы в глазах его показались слезы. Глуповцы в ужасе разбежались по кабакам и стали ждать, что будет. Но ничего особенного не произошло. Был дождь и было вёдро, но полезных злаков на незасеянных полях не появилось.

Грустилов присутствовал на костюмированном балу (в то время у глуповцев была каждый день масленица), когда весть о бедствии, угрожавшем Глупову, дошла до него. По-видимому, он ничего не подозревал. Весело шутя с предводительшей, он рассказывал ей, что в скором времени ожидается такая выкройка дамских платьев, что можно будет по прямой линии видеть паркет, на котором стоит женщина. Потом завел речь о

прелестях уединенной жизни и вскользь заявил, что он и сам надеется когда-нибудь найти отдохновение в стенах монастыря.

— Конечно женского? — спросила предводительша, лукаво улыбаясь.

— Если вы изволите быть в нем настоятельницей, то я хоть сейчас готов дать обет послушания, — галантерейно отвечал Грустилов.

Но этому вечеру суждено было провести глубокую демаркационную черту во внутренней политике Грустилова. Бал разгорался; танцующие кружились неистово; в вихре развевающихся платьев и локонов мелькали белые, обнаженные, душистые плечи. Постепенно разыгрываясь, фантазия Грустилова умчалась наконец в надзвездный мир, куда он, по очереди, переселил вместе с собою всех этих полуобнаженных богинь, которых бюсты так глубоко уязвляли его сердце. Скоро, однако ж, и в надзвездном мире сделалось душно; тогда он удалился в уединенную комнату и, усевшись среди зелени померанцев и миртов, впал в забытье.

В эту самую минуту перед ним явилась маска и положила ему на плечо свою руку. Он сразу понял, что это — *она*. Она так тихо подошла к нему, как будто под атласным домино, довольно,

впрочем, явственно обличавшим ее воздушные формы, скрывалась не женщина, а сильф. По плечам рассыпались русые, почти пепельные кудри, из-под маски глядели голубые глаза, а обнаженный подбородок обнаруживал существование ямочки, в которой, казалось, свил свое гнездо амур. Все в ней было полно какого-то скромного и в то же время небезрасчетного изящества, начиная от духов violettes de Parme[72], которыми опрыскан был ее платок, и кончая щегольскою перчаткой, обтягивавшей ее маленькую аристократическую ручку. Очевидно, однако ж, что она находилась в волнении, потому что грудь ее трепетно поднималась, а голос, напоминавший райскую музыку, слегка дрожал.

— Проснись, падший брат! — сказала она Грустилову.

Грустилов не понял; он думал, что ей представилось, будто он спит, и в доказательство, что это ошибка, стал простирать руки.

— Не о теле, а о душе говорю я! — грустно продолжала маска. — Не тело, а душа спит… глубоко спит!

Тут только понял Грустилов, в чем дело, но так

---

[72] Notes: 72
Пармские фиалки *(фр.)*.

как душа его закоснела в идолопоклонстве, то слово истины, конечно, не могло сразу проникнуть в нее. Он даже заподозрил в первую минуту, что под маской скрывается юродивая Аксиньюшка, та самая, которая еще при Фердыщенке предсказала большой глуповский пожар и которая во время отпадения глуповцев в идолопоклонство одна осталась верною истинному Богу.

— Нет, я не та, которую ты во мне подозреваешь, — продолжала между тем таинственная незнакомка, как бы угадав его мысли, — я не Аксиньюшка, ибо недостойна облобызать даже прах ее ног. Я просто такая же грешница, как и ты!

С этими словами она сняла с лица своего маску.

Грустилов был поражен. Перед ним было прелестнейшее женское личико, какое когда-нибудь удавалось ему видеть. Случилось ему, правда, встретить нечто подобное в вольном городе Гамбурге, но это было так давно, что прошлое казалось как бы задернутым пеленою. Да; это именно те самые пепельные кудри, та самая матовая белизна лица, те самые голубые глаза, тот самый полный и трепещущий бюст; но как все это преобразилось в новой обстановке, как выступило вперед лучшими, интереснейшими своими

сторонами! Но еще более поразило Грустилова, что незнакомка с такою прозорливостью угадала его предположение об Аксиньюшке…

— Я — твое внутреннее слово! я послана объявить тебе свет Фавора, которого ты ищешь, сам того не зная! — продолжала между тем незнакомка. — Но не спрашивай, кто меня послал, потому что я и сама объявить о сем не умею!

— Но кто же ты? — вскричал встревоженный Грустилов.

— Я та самая юродивая дева, которую ты видел с потухшим светильником в вольном городе Гамбурге! Долгое время находилась я в состоянии томления, долгое время безуспешно стремилась к свету, но князь тьмы слишком искусен, чтобы разом упустить из рук свою жертву! Однако *там* мой путь уже был начертан! Явился здешний аптекарь Пфейфер и, вступив со мной в брак, увлек меня в Глупов; здесь я познакомилась с Аксиньюшкой — и задача просветления обозначилась передо мной так ясно, что восторг овладел всем существом моим. Но если бы ты знал, как жестока была борьба!

Она остановилась, подавленная скорбными воспоминаниями; он же алчно простирал руки, как бы желая осязать это непостижимое суще-

ство.

— Прими руки! — кротко сказала она. — Не осязанием, но мыслью ты должен прикасаться ко мне, чтобы выслушать то, что я должна тебе открыть!

— Но не лучше ли будет, ежели мы удалимся в комнату более уединенную? — спросил он робко, как бы сам сомневаясь в приличии своего вопроса.

Однако же она согласилась, и они удалились в один из тех очаровательных приютов, которые со времени Микаладзе устраивались для градоначальников во всех мало-мальски порядочных домах города Глупова. Что происходило между ними — это для всех осталось тайною; но он вышел из приюта расстроенный и с заплаканными глазами. *Внутреннее слово* подействовало так сильно, что он даже не удостоил танцующих взглядом и прямо отправился домой.

Происшествие это произвело сильное впечатление на глуповцев. Стали доискиваться, откуда явилась Пфейферша. Одни говорили, что она не более как интриганка, которая, с ведома мужа, задумала овладеть Грустиловым, чтобы вытеснить из города аптекаря Зальцфиша, делавшего Пфейферу сильную конкуренцию. Другие утверждали,

что Пфейферша еще в вольном городе Гамбурге полюбила Грустилова за его меланхолический вид и вышла замуж за Пфейфера единственно затем, чтобы соединиться с Грустиловым и сосредоточить на себе ту чувствительность, которую он бесполезно растрачивал на такие пустые зрелища, как токованье тетеревов и кокоток.

Как бы то ни было, нельзя отвергать, что это была женщина далеко не дюжинная. Из оставшейся после нее переписки видно, что она находилась в сношениях со всеми знаменитейшими мистиками и пиетистами того времени и что Лабзин, например, посвящал ей те избраннейшие свои сочинения, которые не предназначались для печати. Сверх того, она написала несколько романов, из которых в одном, под названием «Скиталица Доротея», изобразила себя в наилучшем свете. «Она была привлекательна на вид, — писалось в этом романе о героине, — но, хотя многие мужчины желали ее ласк, она оставалась холодною и как бы загадочною. Тем не менее душа ее жаждала непрестанно, и когда в этих поисках встретилась с одним знаменитым химиком (так называла она Пфейфера), то прилепилась к нему бесконечно. Но при первом же земном ощущении она поняла, что жажда ее

неудовлетворена…» и т. д.

Возвратившись домой, Грустилов целую ночь плакал. Воображение его рисовало греховную бездну, на дне которой метались черти. Были тут и кокотки, и кокодессы, и даже тетерева — и всё огненные. Один из чертей вылез из бездны и поднес ему любимое его кушанье, но едва он прикоснулся к нему устами, как по комнате распространился смрад. Но что всего более ужасало его — так это горькая уверенность, что не один он погряз, но в лице его погряз и весь Глупов.

— За всех ответить или всех спасти! — кричал он, цепенея от страха, — и, конечно, решился спасти.

На другой день, ранним утром, глуповцы были изумлены, услыхав мерный звон колокола, призывавший жителей к заутрене. Давным-давно уже не раздавался этот звон, так что глуповцы даже забыли об нем. Многие думали, что где-нибудь горит; но вместо пожара увидели зрелище более умилительное. Без шапки, в разодранном вицмундире, с опущенной долу головой и бия себя в перси[73], шел Грустилов впереди процессии, состоявшей, впрочем, лишь из чинов полицейской

---

[73] Notes: 73
Перси — грудь.

и пожарной команды. Сзади процессии следовала Пфейферша, без кринолина; с одной стороны ее конвоировала Аксиньюшка, с другой — знаменитый юродивый Парамоша, заменивший в любви глуповцев не менее знаменитого Архипушку, который сгорел таким трагическим образом в общий пожар (см. «Соломенный город»).

Отслушав заутреню, Грустилов вышел из церкви ободренный и, указывая Пфейферше на вытянувшихся в струнку пожарных и полицейских солдат («кои и во время глуповского беспутства втайне истинному Богу верны пребывали», присовокупляет летописец), сказал:

— Видя внезапное сих людей усердие, я в точности познал, сколь быстрое имеет действие сия вещь, которую вы, сударыня моя, внутренним словом справедливо именуете.

И потом, обращаясь к квартальным, прибавил:

— Дайте сим людям, за их усердие, по гривеннику!

— Рады стараться, ваше высокородие! — гаркнули в один голос полицейские и скорым шагом направились в кабак.

Таково было первое действие Грустилова после внезапного его обновления. Затем он отправился к Аксиньюшке, так как без ее нравственной под-

держки никакого успеха в дальнейшем ходе дела ожидать было невозможно. Аксиньюшка жила на самом краю города, в какой-то землянке, которая скорее похожа была на кротовью нору, нежели на человеческое жилище. С ней же, в нравственном сожитии, находился и блаженный Парамоша. Сопровождаемый Пфейфершей, Грустилов ощупью спустился по темной лестнице вниз и едва мог нащупать дверь. Зрелище, представившееся глазам его, было поразительное. На грязном голом полу валялись два полуобнаженные человеческие остова (это были сами блаженные, уже успевшие возвратиться с богомолья), которые бормотали и выкрикивали какие-то бессвязные слова и в то же время вздрагивали, кривлялись и корчились, словно в лихорадке. Мутный свет проходил в нору сквозь единственное крошечное окошко, покрытое слоем пыли и паутины; на стенах слоилась сырость и плесень. Запах был до того отвратительный, что Грустилов в первую минуту сконфузился и зажал нос. Прозорливая старушка заметила это.

— Духи царские! духи райские! — запела она пронзительным голосом. — Не надо ли кому духов?

И сделала при этом такое движение, что Грусти-

лов наверное поколебался бы, если б Пфейферша не поддержала его.

— Спит душа твоя… спит глубоко! — сказала она строго. — А еще так недавно ты хвалился своей бодростью!



— Спит душенька на подушечке… спит душенька на перинушке… а Боженька тук-тук! да по головке тук-тук! да по темечку тук-тук! — визжала блаженная, бросая в Грустилова щепками, землею и сором.

Парамоша лаял по-собачьи и кричал по-петушиному.

— Брысь, Сатана! петух запел! — бормотал он в промежутках.

— Маловерный! Вспомни внутреннее слово! — настаивала с своей стороны Пфейферша.

Грустилов ободрился.

— Матушка Аксинья Егоровна! извольте меня разрешить! — сказал он твердым голосом.

— Я и Егоровна, я и тараторовна! Ярило — мерзило! Волос — без волос! Перун — старый… Парамон — он умен! — провизжала блаженная, скорчилась и умолкла.

Грустилов озирался в недоумении.

— Это значит, что следует поклониться Парамону Мелентьичу! — подсказала Пфейферша.

— Батюшка Парамон Мелентьич! извольте меня разрешить! — поклонился Грустилов.

Но Парамоша некоторое время только корчился и икал.

— Ниже! ниже поклонись! — командовала

блаженная. — Не жалей спины-то! не твоя спина — Божья!

— Извольте меня, батюшка, разрешить! — повторил Грустилов, кланяясь ниже.

— Без працы не бенды кололацы! — пробормотал блаженный диким голосом — и вдруг вскочил.

Немедленно вслед за ним вскочила и Аксиньюшка, и начали они кружиться. Сперва кружились медленно и потихоньку всхлипывали; потом круги начали делаться быстрее и быстрее, покуда наконец не перешли в совершенный вихрь. Послышался хохот, визг, трели, всхлебывания, подобные тем, которые можно слышать только весной в пруду, дающем приют мириадам лягушек.

Грустилов и Пфейферша стояли некоторое время в ужасе, но наконец не выдержали. Сначала они вздрагивали и приседали, потом постепенно начали кружиться и вдруг завихрились и захохотали. Это означало, что наитие совершилось и просимое разрешение получено.

Грустилов возвратился домой усталый до изнеможения; однако ж он еще нашел в себе достаточно силы, чтобы подписать распоряжение о наиспешнейшей высылке из города аптекаря

Зальцфиша. Верные ликовали, а причетники, в течение многих лет питавшиеся одними негодными злаками, закололи барана, и мало того что съели его всего, не пощадив даже копыт, но долгое время скребли ножом стол, на котором лежало мясо, и с жадностью ели стружки, как бы опасаясь утратить хотя один атом питательного вещества. В тот же день Грустилов надел на себя вериги (впоследствии оказалось, впрочем, что это были просто помочи, которые дотоле не были в Глупове в употреблении) и подвергнул свое тело бичеванию.

«В первый раз сегодня я понял, — писал он по этому случаю Пфейферше, — что значат слова: *вкладце уязви мя,* которые вы сказали мне при первом свидании, дорогая сестра моя по духу! Сначала бичевал я себя с некоторою уклончивостью, но, постепенно разгораясь, позвал под конец денщика и сказал ему: „Хлещи!“ И что же? даже сие оказалось недостаточным, так что я вынужденным нашелся расковырять себе на невидном месте рану, но и от того не страдал, а находился в восхищении. Отнюдь не больно! Столь меня сие удивило, что я и доселе спрашиваю себя: полно, страдание ли это и не скрывается ли здесь какой-либо особливый вид плотоугодничества и

самовосхищения? Жду вас к себе, дорогая сестра моя по духу, дабы разрешить сей вопрос в совокупном рассмотрении».

Может показаться странным, каким образом Грустилов, будучи одним из гривуазнейших поклонников мамоны, столь быстро обратился в аскета. На это могу сказать одно: кто не верит в волшебные превращения, тот пусть не читает летописи Глупова. Чудес этого рода можно найти здесь даже более, чем нужно. Так, например, один начальник плюнул подчиненному в глаза, и тот прозрел. Другой начальник стал сечь неплательщика, думая преследовать в этом случае лишь воспитательную цель, и совершенно неожиданно открыл, что в спине у секомого зарыт клад[74]. Если факты, до такой степени диковинные, не возбуждают ни в ком недоверия, то можно ли удивляться превращению столь обыкновенному, как то, которое случилось с Грустиловым?

Но, с другой стороны, этот же факт объясняется и иным путем, более естественным. Есть указания, которые заставляют думать, что аскетизм Грустилова был совсем не так суров, как это можно предполагать с первого взгляда. Мы уже

[74] Notes: 74

Реальность этого факта подтверждается тем, что с тех пор сечение было признано лучшим способом для взыскания недоимок. — *Изд.*

видели, что так называемые вериги его были не более как помочи; из дальнейших же объяснений летописца усматривается, что и прочие подвиги были весьма преувеличены Грустиловым и что они в значительной степени сдабривались духовною любовью. Шелеп, которым он бичевал себя, был бархатный (он и доселе хранится в глуповском архиве); пост же состоял в том, что он к прежним кушаньям прибавил рыбу тюрбо, которую выписывал из Парижа на счет обывателей. Что же тут удивительного, что бичевание приводило его в восторг и что самые язвы казались восхитительными?

Между тем колокол продолжал в урочное время призывать к молитве, и число верных с каждым днем увеличивалось. Сначала ходили только полицейские, но потом, глядя на них, стали ходить и посторонние. Грустилов, с своей стороны, подавал пример истинного благочестия, плюя на капище Перуна каждый раз, как проходил мимо него. Может быть, так и разрешилось бы это дело исподволь, если б мирному исходу его не помешали замыслы некоторых беспокойных честолюбцев, которые уже и в то время были известны под именем «крайних».

Во главе партии состояли те же Аксиньюшка

и Парамоша, имея за собой целую толпу нищих и калек. У нищих единственным источником пропитания было прошение милостыни на церковных папертях; но так как древнее благочестие в Глупове на некоторое время прекратилось, то естественно, что источник этот значительно оскудел. Реформы, затеянные Грустиловым, были встречены со стороны их громким сочувствием; густою толпою убогие люди наполняли двор градоначальнического дома; одни ковыляли на деревяшках, другие ползали на четвериньках. Все славословили, но в то же время уже все единогласно требовали, чтобы обновление совершилось сию минуту и чтоб наблюдение за этим делом было возложено на них. И тут, как всегда, голод оказался плохим советчиком, а медленные, но твердые и дальновидные действия градоначальника подверглись превратным толкованиям. Напрасно льстил Грустилов страстям калек, высылая им остатки от своей обильной трапезы; напрасно объяснял он выборным от убогих людей, что постепенность не есть потворство, а лишь вящее упрочение затеянного предприятия, — калеки ничего не хотели слышать. Гневно потрясали они своими деревяшками и громко угрожали поднять знамя бунта.

Опасность предстояла серьезная, ибо для того, чтобы усмирять убогих людей, необходимо иметь гораздо больший запас храбрости, нежели для того, чтобы палить в людей, не имеющих изъянов. Грустилов понимал это. Сверх того, он уже потому чувствовал себя беззащитным перед демагогами, что последние, так сказать, считали его своим созданием и в этом смысле действовали до крайности ловко. Во-первых, они окружили себя целою сетью доносов, посредством которых до сведения Грустилова доводился всякий слух, к посрамлению его чести относящийся; во-вторых, они заинтересовали в свою пользу Пфейфершу, посулив ей часть так называемого посумного сбора (этим сбором облагалась каждая нищенская сумá; впоследствии он лег в основание всей финансовой системы города Глупова).

Пфейферша денно и нощно приставала к Грустилову, в особенности преследуя его перепискою, которая, несмотря на короткое время, представляла уже в объеме довольно обширный том. Основание ее писем составляли видения, содержание которых изменялось, смотря по тому, довольна или недовольна она была своим «духовным братом». В одном письме она видит его «ходящим по облаку» и утверждает, что не

только она, но и Пфейфер это видел; в другом усматривает его в геенне огненной, в сообществе с чертями всевозможных наименований. В одном письме развивает мысль, что градоначальники вообще имеют право на безусловное блаженство в загробной жизни по тому одному, что они градоначальники; в другом утверждает, что градоначальники обязаны обращать на свое поведение особенное внимание, так как в загробной жизни они против всякого другого подвергаются истязаниям вдвое и втрое. Все равно как папы или князья.

В данном случае письма ее имели характер угрожающий. «Спешу известить вас, — писала она в одном из них, — что́ я в сию ночь во сне видела. Стоите вы в темном и смрадном месте и привязаны к столбу, а привязки сделаны из змий и на груди (у вас) доска, на которой написано: сей есть ведомый покровитель нечестивых и агарян (sic). И бесы, собравшись, радуются, а праведные стоят в отдалении и, взирая на вас, льют слезы. Извольте сами рассмотреть, не видится ли тут какого не совсем выгодного для вас предзнаменования?»

Читая эти письма, Грустилов приходил в необычайное волнение. С одной стороны, природная

склонность к апатии, с другой, страх чертей — все это производило в его голове какой-то неслыханный сумбур, среди которого он путался в самых противоречивых предположениях и мероприятиях. Одно казалось ясным: что он тогда только будет благополучен, когда глуповцы поголовно станут ходить ко всенощной и когда инспектором-наблюдателем всех глуповских училищ будет назначен Парамоша.

Это последнее условие было в особенности важно, и убогие люди предъявляли его очень настойчиво. Развращение нравов дошло до того, что глуповцы посягнули проникнуть в тайну построения миров и открыто рукоплескали учителю каллиграфии, который, выйдя из пределов своей специальности, проповедовал с кафедры, что мир не мог быть сотворен в шесть дней. Убогие очень основательно рассчитали, что если это мнение утвердится, то вместе с тем разом рухнет все глуповское миросозерцание вообще. Все части этого миросозерцания так крепко цеплялись друг за друга, что невозможно было потревожить одну, чтобы не разрушить всего остального. Не вопрос о порядке сотворения мира тут важен, а то, что вместе с этим вопросом могло вторгнуться в жизнь какое-то совсем новое начало,

которое, наверное, должно было испортить всю кашу. Путешественники того времени единогласно свидетельствуют, что глуповская жизнь поражала их своею цельностью, и справедливо приписывают это счастливому отсутствию духа исследования. Если глуповцы с твердостию переносили бедствия самые ужасные, если они и после того продолжали жить, то они обязаны были этим только тому, что вообще всякое бедствие представлялось им чем-то совершенно от них не зависящим, а потому и неотвратимым. Самое крайнее, что дозволялось в виду идущей навстречу беды, — это прижаться куда-нибудь к сторонке, затаить дыхание и пропасть на все время, покуда беда будет кутить и мутить. Но и это уже считалось строптивостью; бороться же или открыто идти против беды — упаси боже! Стало быть, если допустить глуповцев рассуждать, то, пожалуй, они дойдут и до таких вопросов, как, например, действительно ли существует такое предопределение, которое делает для них обязательным претерпение даже такого бедствия, как, например, краткое, но совершенно бессмысленное градоправительство Брудастого (см. выше рассказ «Органчик»)? А так как вопрос этот длинный, а руки у них коротки, то очевидно,

что существование вопроса только поколеблет их твердость в бедствиях, но в положении существенного улучшения все-таки не сделает.

Но покуда Грустилов колебался, убогие люди решились действовать самостоятельно. Они ворвались в квартиру учителя каллиграфии Линкина, произвели в ней обыск и нашли книгу «Средства для истребления блох, клопов и других насекомых». С торжеством вытолкали они Линкина на улицу и, потрясая воздух радостными восклицаниями, повели его на градоначальнический двор. Грустилов сначала растерялся и, рассмотрев книгу, начал было объяснять, что она ничего не заключает в себе ни против религии, ни против нравственности, ни даже против общественного спокойствия. Но нищие ничего уже не слушали.

— Плохо ты, верно, читал! — дерзко кричали они градоначальнику и подняли такой гвалт, что Грустилов испугался и рассудил, что благоразумие повелевает уступить требованиям общественного мнения.

— Сам ли ты зловредную оную книгу сочинил? а ежели не сам, то кто тот заведомый вор и сущий разбойник, который таковое злодейство учинил? и как ты с тем вором знакомство свел? и от него

ли ту книжицу получил? и ежели от него, то зачем кому следует о том не объявил, но, забыв совесть, распутству его потакал и подражал? — так начал Грустилов свой допрос Линкину.

— Ни сам я тоя книжицы не сочинял, ни сочинителя оной в глаза не видывал, а напечатана она в столичном городе Москве, в университетской типографии, иждивением книгопродавцев Манухиных! — твердо отвечал Линкин.

Толпе этот ответ не понравился, да и вообще она ожидала не того. Ей казалось, что Грустилов, как только приведут к нему Линкина, разорвет его пополам — и дело с концом. А он, вместо того, разговаривает! Поэтому, едва градоначальник разинул рот, чтоб предложить второй вопросный пункт, как толпа загудела:

— Что ты с ним балы-то точишь! он в Бога не верит!

Тогда Грустилов в ужасе разодрал на себе вицмундир.

— Точно ли ты в Бога не веришь? — подскочил он к Линкину и по важности обвинения, не выждав ответа, слегка ударил его, в виде задатка, по щеке.

— Никому я о сем не объявлял, — уклонился Линкин от прямого ответа.

— Свидетели есть! свидетели! — гремела толпа.

Выступили вперед два свидетеля: отставной солдат Карапузов да слепенькая нищенка Маремьянушка. «И было тем свидетелям дано за ложное показание по пятаку серебром», — говорит летописец, который в этом случае явно становится на сторону угнетенного Линкина.

— Намеднись, а когда именно — не упомню, — свидетельствовал Карапузов, — сидел я в кабаке и пил вино, а неподалеку от меня сидел этот самый учитель и тоже пил вино. И выпивши он того вина довольно, сказал: все мы, что человеки, что скоты — всё едино; все помрем и все к чертовой матери пойдем!

— Но когда же… — заикнулся было Линкин.

— Стой! ты погоди пасть-то разевать! пущай сперва свидетель доскажет! — крикнула на него толпа.

— И будучи я приведен от тех его слов в соблазн, — продолжал Карапузов, — кротким манером сказал ему: «Как же, мол, это так, ваше благородие? ужели, мол, что человек, что скотина — все едино? и за что, мол, вы так нас порочите, что и места другого, кроме как у чертовой матери, для нас не нашли? Батюшки, мол,

наши духовные не тому нас учили — вот что!» Ну, он, это, взглянул на меня этак сыскоса: «Ты, говорит, колченогий (а у меня, ваше высокородие, точно что под Очаковом ногу унесло), в полиции, видно, служишь?» — взял шапку и вышел из кабака вон.

Линкин разинул рот, но это только пуще раздражило толпу.

— Да зажми ты ему пасть-то! — кричала она Грустилову. — Ишь речистый какой выискался!

Карапузова сменила Маремьянушка.

— Сижу я намеднись в питейном, — свидетельствовала она, — и тошно мне, слепенькой, стало; сижу этак-то и все думаю: куда, мол, нонче народ, против прежнего, гордее стал! Бога забыли, в посты скоромное едят, нищих не оделяют; смотри, мол, скоро и на солнышко прямо смотреть станут! Право. Только и подходит ко мне самый этот молодец: «Слепа, бабушка?» — говорит. «Слепенькая, мол, ваше высокое благородие». — «А отчего, мол, ты слепа?» — «От Бога, говорю, ваше высокое благородие». — «Какой тут Бог, от воспы, чай?» — это он-то все говорит. «А воспа-то, говорю, от кого же?» — «Ну да, от Бога, держи карман! Вы, говорит, в сырости да в нечистоте всю жизнь копаетесь, а Бог виноват!»

Маремьянушка остановилась и заплакала.

— И так это меня обидело, — продолжала она, всхлипывая, — уж и не знаю как! «За что же, мол, ты Бога-то обидел?» — говорю я ему. А он не то чтобы что, плюнул мне прямо в глаза: «Утрись, говорит, может, будешь видеть» — и был таков.

Обстоятельства дела выяснились вполне; но так как Линкин непременно требовал, чтобы была выслушана речь его защитника, то Грустилов должен был скрепя сердце исполнить его требование. И точно: вышел из толпы какой-то отставной подьячий и стал говорить. Сначала говорил он довольно невнятно, но потом вник в предмет и, к общему удивлению, вместо того чтобы защищать, стал обвинять. Это до того подействовало на Линкина, что он сейчас же не только сознался во всем, но даже много прибавил такого, чего никогда и не бывало.

— Смотрел я однажды у пруда на лягушек, — говорил он, — и был смущен диаволом. И начал себя бездельным обычаем спрашивать, точно ли один человек обладает душою и нет ли таковой у гадов земных! И, взяв лягушку, исследовал. И по исследовании нашел: точно, душа есть и у лягушки, токмо малая видом и не бессмертная.

Тогда Грустилов обратился к убогим и, сказав:

— Сами видите! — приказал отвести Линкина в часть.

К сожалению, летописец не рассказывает дальнейших подробностей этой истории. В переписке же Пфейферши сохранились лишь следующие строки об этом деле: «Вы, мужчины, очень счастливы; вы можете быть твердыми; но на меня вчерашнее зрелище произвело такое действие, что Пфейфер не на шутку встревожился и поскорей дал мне принять успокоительных капель». И только.

Но происшествие это было важно в том отношении, что если прежде у Грустилова еще были кой-какие сомнения насчет предстоящего ему образа действия, то с этой минуты они совершенно исчезли. Вечером того же дня он назначил Парамошу инспектором глуповских училищ, а другому юродивому, Яшеньке, предоставил кафедру философии, которую нарочно для него создал в уездном училище. Сам же усердно принялся за сочинение трактата «О восхищениях благочестивой души».

В самое короткое время физиономия города до того изменилась, что он сделался почти неузнаваем. Вместо прежнего буйства и пляски наступила могильная тишина, прерываемая лишь звоном

колоколов, которые звонили на все манеры: и во вся, и в одиночку, и с перезвоном. Капища запустели; идолов утопили в реке, а манеж, в котором давала представления девица Гандон, сожгли. Затем по всем улицам накурили смирною и ливаном, и тогда только обнадежились, что вражья сила окончательно посрамлена.

Но злаков на полях все не прибавлялось, ибо глуповцы от бездействия весело-буйственного перешли к бездействию мрачному. Напрасно они воздевали руки, напрасно облагали себя поклонами, давали обеты, постились, устраивали процессии — Бог не внимал мольбам. Кто-то заикнулся было сказать, что «как-никак, а придется в поле с сохою выйти», но дерзкого едва не побили каменьями и в ответ на его предложение утроили усердие.

Между тем Парамоша с Яшенькой делали свое дело в школах. Парамошу нельзя было узнать; он расчесал себе волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки мылом добела и в этом виде ходил по школам и громил тех, которые надеются на князя мира сего. Горько издевался он над суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пище телесной заботятся, а духовною небрегут, и приглашал всех удалиться в пустыню.

Яшенька, с своей стороны, учил, что сей мир, который мы думаем очима своима видети, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более как странники, из лона исходящие и в оное же лоно входящие. По мнению его, человеческие души, яко жито духовное, в некоей житнице сложены, и оттоль, в мере надобности, спущаются долу, дабы оное сонное видение вскорости увидети и по малом времени вспять в благожелаемую житницу благопоспешно возлететь. Существенные результаты такого учения заключались в следующем: 1) что работать не следует; 2) тем менее надлежит провидеть, заботиться и пещись, и 3) следует возлагать упование и созерцать — и ничего больше. Парамоша указывал даже, как нужно созерцать. «Для сего, — говорил он, — уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устреми взоры на пупок».

Аксиньюшка тоже не плошала, но била в баклуши неутомимо. Она ходила по домам и рассказывала, как однажды черт водил ее по мытарствам, как она первоначально приняла его за странника, но потом догадалась и сразилась с ним. Основные начала ее учения были те же, что у Парамоши и Яшеньки, то есть что

работать не следует, а следует созерцать. «И, главное, подавать нищим, потому что нищие не о мамоне пекутся, а о том, как бы душу свою спасти», — присовокупляла она, протягивая при этом руку. Проповедь эта шла столь успешно, что глуповские копейки дождем сыпались в ее карманы, и в скором времени она успела скопить довольно значительный капитал. Да и нельзя было не давать ей, потому что она всякому, не подающему милостыни, без церемонии плевала в глаза и, вместо извинения, говорила только: «Не взыщи!»

Но представителей местной интеллигенции даже эта суровая обстановка уже не удовлетворяла. Она удовлетворяла лишь внешним образом, но настоящего уязвления не доставляла. Конечно, они не высказывали этого публично и даже в точности исполняли обрядовую сторону жизни, но это была только внешность, с помощью которой они льстили народным страстям. Ходя по улицам с опущенными глазами, благоговейно приближаясь к папертям, они как бы говорили смердам: «Смотрите! и мы не гнушаемся общения с вами!» — но, в сущности, мысль их блуждала далече. Испорченные недавними вакханалиями политеизма и пресыщенные пряностями циви-

лизации, они не довольствовались просто верою, но искали каких-то «восхищений». К сожалению, Грустилов первый пошел по этому пагубному пути и увлек за собой остальных. Приметив на самом выезде из города полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась инвалидная команда, он устроил в нем сходбища, на которые по ночам собирался весь так называемый глуповский бомонд. Тут сначала читали критические статьи г. Н. Страхова[75], но так как они глупы, то скоро переходили к другим занятиям. Председатель вставал с места и начинал корчиться; примеру его следовали другие; потом, мало-помалу, все начинали скакать, кружиться, петь и кричать, и производили эти неистовства до тех пор, покуда, совершенно измученные, не падали ниц. Этот момент собственно и назывался «восхищением».

Мог ли продолжаться такой жизненный установ и сколько времени? — определительно отвечать на этот вопрос довольно трудно. Главное препятствие для его бессрочности представлял, конечно, недостаток продовольствия, как прямое следствие господствовавшего в то время

[75] Notes: 75

Страхов Николай Николаевич (1828–1896) — философ, литературный критик.

аскетизма; но, с другой стороны, история Глупова примерами совершенно положительными удостоверяет нас, что продовольствие совсем не столь необходимо для счастия народов, как это кажется с первого взгляда. Ежели у человека есть под руками говядина, то он, конечно, охотнее питается ею, нежели другими, менее питательными веществами; но если мяса нет, то он столь же охотно питается хлебом, а буде и хлеба недостаточно, то и лебедою. Стало быть, это вопрос еще спорный. Как бы то ни было, но безобразная глуповская затея разрешилась гораздо неожиданнее и совсем не от тех причин, которых влияние можно было бы предполагать самым естественным.

Дело в том, что в Глупове жил некоторый, не имеющий определенных занятий штаб-офицер, которому было случайно оказано пренебрежение. А именно, еще во времена политеизма, на именинном пироге у Грустилова, всем лучшим гостям подали уху стерляжью, а штаб-офицеру — разумеется, без ведома хозяина — досталась уха из окуней. Гость проглотил обиду («только ложка в руке его задрожала», говорит летописец), но в душе поклялся отомстить. Начались контры; сначала борьба велась глухо, но потом чем дальше, тем разгоралась все пуще и пуще. Вопрос об

ухе был забыт и заменился другими вопросами политического и теологического свойства, так что когда штаб-офицеру, из учтивости, предложили присутствовать при «восхищениях», то он наотрез отказался.

И был тот штаб-офицер доноситель…

Несмотря на то что он не присутствовал на собраниях лично, он зорко следил за всем, что там происходило. Скакание, кружение, чтение статей Страхова — ничто не укрывалось от его проницательности. Но он ни словом, ни делом не выразил ни порицания, ни одобрения всем этим действиям, а хладнокровно выжидал, покуда нарыв созреет. И вот эта вожделенная минута наконец наступила: ему попался в руки экземпляр сочиненной Грустиловым книги «О восхищениях благочестивой души»…

В одну из ночей кавалеры и дамы глуповские, по обыкновению, собрались в упраздненный дом инвалидной команды. Чтение статей Страхова уже кончилось, и собравшиеся начинали слегка вздрагивать; но едва Грустилов, в качестве председателя собрания, начал приседать и вообще производить предварительные действия, до восхищения души относящиеся, как снаружи послышался шум. В ужасе бросились сектаторы ко

всем наружным выходам, забыв даже потушить огни и устранить вещественные доказательства… Но было уже поздно.

У самого главного выхода стоял Угрюм-Бурчеев и вперял в толпу цепенящий взор…

Но что это был за взор… О, господи! что это был за взор!..

Подтверждение покаяния. Заключение

Он был ужасен.

Но он сознавал это лишь в слабой степени и с какою-то суровою скромностью оговаривался. «Идет некто за мной, — говорил он, — который будет еще ужаснее меня».

Он был ужасен; но, сверх того, он был краток и с изумительною ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, ни в порывах безумной ярости, которым были подвержены Брудастый, Негодяев и многие другие. Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и заменена непреклонностью, действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скрежетал зубами, не гоготал, не топал ногами, не заливался начальственно-язвительным смехом; казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода.

Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования и неизбежность их выполнения подтверждал устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжесть. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и непреодолимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом… То был взор светлый, как сталь, взор, совершенно свободный от мысли и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость — и ничего более.

Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построений. Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы, — вот идеалы, которые он знал и к осуществлению которых стремился. Его понятие о «долге» не шло далее всеобщего равенства перед шпицрутеном; его представление о «простоте» не переступало далее простоты зверя,

обличавшей совершенную наготу потребностей. Разума он не признавал вовсе и даже считал его злейшим врагом, опутывающим человека сетью обольщений и опасных привередничеств. Перед всем, что напоминало веселье или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтоб эти естественные проявления человеческой природы приводили его в негодование: нет, он просто-напросто не понимал их. Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а, подобно всякой другой бессознательно действующей силе природы, шел вперед, сметая с лица земли все, что не успевало посторониться с дороги. «Зачем?» — вот единственное слово, которым он выражал движения своей души.



Вовремя посторониться — вот все, что было нужно. Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок; вне этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить распоясавшись; он ничего не замечал; внутри района — можно было только маршировать. Если б глуповцы своевременно поняли это, им стоило только встать несколько в стороне и ждать. Но они сообразили это поздно и в первое время, по примеру всех начальстволюбивых народов, как нарочно совались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество вольных истязаний, которые, словно сетью, охватили существование обывателей, отсюда же — далеко не заслуженное название «сатаны», которое народная молва присвоила Угрюм-Бурчееву. Когда у глуповцев спрашивали, что послужило поводом для такого необычного эпитета, они ничего толком не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутые в струну дома свои, на разбитые перед этими домами палисадники, на форменные казакины, в которые однообразно были обмундированы все жители до одного, — и трепетные губы их шептали: сатана!

Сам летописец, вообще довольно благосклонный к градоначальникам, не может скрыть

смутного чувства страха, приступая к описанию действий Угрюм-Бурчеева. «Была в то время, — так начинает он свое повествование, — в одном из городских храмов картина, изображавшая мучения грешников в присутствии врага рода человеческого. Сатана представлен стоящим на верхней ступени адского трона, с повелительно простертою вперед рукою и с мутным взором, устремленным в пространство. Ни в фигуре, ни даже в лице врага человеческого не усматривается особливой страсти к мучительству, а видится лишь нарочитое упразднение естества. Упразднение сие произвело только одно явственное действие: повелительный жест, — и затем, сосредоточившись само в себе, перешло в окаменение. Но что весьма достойно примечания: как ни ужасны пытки и мучения, в изобилии по всей картине рассеянные, и как ни удручают душу кривлянья и судороги злодеев, для коих те муки приуготовлены, но каждому зрителю непременно сдается, что даже и сии страдания менее мучительны, нежели страдания сего подлинного изверга, который до того всякое естество в себе победил, что и на сии неслыханные истязания хладным и непонятливым оком взирать может». Таково начало летописного рассказа,

и хотя далее следует перерыв и летописец уже не возвращается к воспоминанию о картине, но нельзя не догадываться, что воспоминание это брошено здесь недаром.

В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками; взгляд чистый, без колебаний; нос сухой, спускающийся от лба почти в прямом направлении книзу; губы тонкие, бледные, опушенные подстриженною щетиной усов; челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая, с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпяченною вперед грудью и с длинными, мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке сочиненный Бородавкиным «Устав о неуклонном сечении», но, по-видимому, не читает его, а как

бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то уставами. Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель…

Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы (в идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако ж это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений…

Обыкновенно противу идиотов принимаются

известные меры, чтоб они, в неразумной стремительности, не все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только *простых* идиотов; когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, в жертву которой, в известные исторические моменты, кажется отданною жизнь… Там, где простой идиот расшибает себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в самой бесплодности или очевидном вреде этих злодеяний он не почерпает никаких для себя поучений. Ему нет дела ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем (он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь отражаться), а на чем-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи. Если бы вследствие усиленной идиотской деятельности даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрашил бы идиота. Кто знает, быть может, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изобража-

ет собой идеал человеческого общежития?

Вот это-то отвержденное и вполне успокоившееся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете Угрюм-Бурчеева. На лице его не видно никаких вопросов; напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски-невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? — это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не напасть именно на те, о которых идет речь. Может быть, это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а может быть, только о том, чтобы все люди имели грудь, выпяченную вперед на манер колеса. Ничего неизвестно. Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы ни стало будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более, то последствие такого положения может быть только одно: всеобщий панический страх.

Самый образ жизни Угрюм-Бурчеева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его наружностию. Он спал на голой земле и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо подушки клал под

голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам («причем бичевал себя не притворно, как предшественник его, Грустилов, а по точному разуму законов», прибавляет летописец).

Было у него и семейство; но покуда он градоначальствовал, никто из обывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома и что он самолично раз в день, через железную решетку, подавал им хлеб и воду. И действительно, когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то нагие и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей; сначала, увидев пар,

они фыркали и выказывали суеверный страх; но потом обручнели и с такою зверскою жадностию набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух.

Рассказывали, что возвышением своим Угрюм-Бурчеев обязан был совершенно особенному случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг встревожился мыслию, что никто из подчиненных не любит его.

— Любим, вашество! — уверяли подчиненные.

— Все вы так на досуге говорите, — настаивал на своем начальник, — а дойди до дела, так никто и пальцем для меня не пожертвует.

Мало-помалу, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла в голове ревнивого начальника, что он решился испытать своих подчиненных и кликнул клич.

— Кто хочет доказать, что любит меня, — глашал он, — тот пусть отрубит указательный палец правой руки своей!

Никто, однако ж, на клич не спешил; одни не выходили вперед, потому что были изнежены и знали, что порубление пальца сопряжено с болью; другие не выходили по недоразумению: не разобрав вопроса, думали, что начальник опрашивает, всем ли довольны, и, опасаясь, чтоб

их не сочли за бунтовщиков, по обычаю во весь рот зевали: «Рады стараться, ваше-е-е-ество-о!»

— Кто хочет доказать? выходи! не бойся! — повторил свой клич ревнивый начальник.

Но и на этот раз ответом было молчание или же такие крики, которые совсем не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побагровело, потом как-то грустно поникло.

— Сви…

Но не успел он кончить, как из рядов вышел простой, изнуренный шпицрутенами прохвост и велиим голосом возопил:

— Я хочу доказать!

С этим словом, положив палец на перекладину, он тупым тесаком раздробил его.

Сделавши это, он улыбнулся. Это был единственный случай во всей многоизбиенной его жизни, когда в лице его мелькнуло что-то человеческое.

Многие думали, что он совершил этот подвиг только ради освобождения своей спины от палок; но нет, у этого прохвоста созрела своего рода идея…

При виде раздробленного пальца, упавшего к ногам его, начальник сначала изумился, но потом пришел в умиление.

— Ты меня возлюбил, — воскликнул он, — а я тебя возлюблю сторицею!

И послал его в Глупов.

В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивелляторах вообще. Тем не менее нивелляторство существовало, и притом в самых обширных размерах. Были нивелляторы «хождения в струне», нивелляторы «бараньего рога», нивелляторы «ежовых рукавиц» и проч. и проч. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основы. Казалось, что ежели человека, ради сравнения с сверстниками, лишают жизни, то хотя лично для него, быть может, особливого благополучия от сего не произойдет, но для сохранения общественной гармонии это полезно и даже необходимо. Сами нивелляторы отнюдь не подозревали, что они — нивелляторы, а называли себя добрыми и благопопечительными устроителями, в мере усмотрения радеющими о счастии подчиненных и подвластных им лиц…

Такова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадронный

командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако ж, за честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего.

Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивелляторов этой школы. Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и притом с таким непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни взад, ни вперед, ни направо, ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества? — утвердительно отвечать на этот вопрос трудно. Скорее, однако ж, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не существовало. Лишь в позднейшие времена (почти на наших глазах) мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию, но нивелляторы старого закала, подобные Угрюм-Бурчееву, действовали в простоте души, единственно по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извилин. Угрюм-Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова. Не потому только, что он занимал эту должность в полку, но прохвост всем

своим существом, всеми помыслами. Прямая линия соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая — ему нечего было делать с краткостью, — а ради того, что по ней можно было весь век маршировать и ни до чего не домаршироваться. Виртуозность прямолинейности, словно ивовый кол, засела в его скорбной голове и пустила там целую непроглядную сеть корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах, всё шли, всё шли… Все они были снабжены одинаковыми физиономиями, все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало — все без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, Угрюм-Бурчеев, если можно так выразиться, перевертывался на другой бок и снова начинал другой такой же сон. Опять шли гуськом тени одна за другой, всё шли, всё шли…

Еще задолго до прибытия в Глупов он уже соста-

вил в своей голове целый систематический бред, в котором до последней мелочи были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На основании этого бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степень образцового.

Посредине — площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра, роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал — и темная занавесь, то есть конец свету. Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка — словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сажен ширины — не больше и не меньше; каждый дом имеет три окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут: барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце и

луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи.

В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков, причем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостию роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других — исключительно малорослые, или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, — размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как то: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклоне-

ний и проч. Присутственные места называются штабами, а служащие в них — писарями. Школ нет, и грамотности не полагается; наука чисел преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется. Праздников два: один весною, немедленно после таянья снегов, называется «Праздником неуклонности» и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой — осенью, называется «Праздником предержащих властей» и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке.

Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной.

Всякий дом есть не что иное, как *поселенная единица,* имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он особенно настаивал) и принадлежащая к десятку, носящему название *взвода*. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот — полк. Всех полков четыре, которые об-

разуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно *Город,* который из Глупова переименовывается в «вечно-достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича город *Непреклонск*». Над городом парит окруженный облаком градоначальник, или, иначе, сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и всем дает чувствовать свою власть. Около него… шпион!!

В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются; взрослые и подростки облекаются в единообразные одежды (по особым, апробованным градоначальником рисункам), подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетные сосут на скорую руку материнскую грудь; престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным словом; шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в «манеж для коленопреклонений», где наскоро прочитывают молитву;

потом направляют стопы в «манеж для телесных упражнений», где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой; наконец, идут в «манеж для принятия пищи», где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются на площади в каре и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются; сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю, — всё по команде. Землю пашут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностию. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем и через каждые пять минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм-Бурчеев, весь покрытый пóтом, весь преисполненный казарменным запахом, и затягивает:

Раз – первóй! раз – другой! —

а за ним все работающие подхватывают:

Ухнем!

Дубинушка, ухнем!

Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм-Бурчеев кричит: «Шабаш!» Опять повзводно строятся обыватели и направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через «манеж для принятия пищи» и получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова строятся и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закате всякий получает по новому куску хлеба и спешит домой лечь спать. Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон…

Ни Бога, ни идолов — ничего…

В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновенье не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми

людьми устраиваются не иначе как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивелляторство, упрощенное до определенной дачи черного хлеба, — вот сущность этой кантонистской фантазии…

Тем не менее когда Угрюм-Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянуло на темного прохвоста, задумавшего уловить вселенную. Страшная масса исполнительности, действующая как один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых, под бой барабана, двигаются по прямой линии люди, и всё идут, всё идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки — все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются и когда даль откроется… Что же это, однако, за даль? что скрывает она?

— Ка-за-р-рмы! — совершенно определительно подсказывало возбужденное до героизма воображение.

— Казар-р-мы! — в свою очередь, словно эхо,

вторил угрюмый прохвост и произносил при этом такую несосветимую клятву, что начальство чувствовало себя как бы опаленным каким-то таинственным огнем.

Управившись с Грустиловым и разогнав безумное скопище, Угрюм-Бурчеев немедленно приступил к осуществлению своего бреда.

Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта; улицы разбегались вкривь и вкось; дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг к другу, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что может значить слово «создавать» в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? — «Создавать» — это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу; это значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда глаза глядят. Именно так Угрюм-Бурчеев и поступил.

На другой же день по приезде он обошел весь город. Ни кривизна улиц, ни великое множество

закоулков, ни разбросанность обывательских хижин — ничто не остановило его. Ему было ясно одно: что перед глазами его дремучий лес и что следует с этим лесом распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, Угрюм-Бурчеев на минуту вперял в нее недоумевающий взор, но тотчас же выходил из оцепенения и молча делал жест вперед, как бы проектируя прямую линию. Так шел он долго, все простирая руку и проектируя, и только тогда, когда глазам его предстала река, он почувствовал, что с ним совершилось что-то необыкновенное.

Он позабыл… он ничего подобного не предвидел… До сих пор фантазия его шла все прямо, все по ровному месту. Она устраняла, рассекала и воздвигала моментально, не зная препятствий, а питаясь исключительно своим собственным содержанием. И вдруг… Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки. Она жила.

— Кто тут? — спросил он в ужасе.

Но река продолжала свой говор, и в этом го-

воре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили: «Хитер, прохвост, твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрей твоего будет». Да; это был тоже бред, или, лучше сказать, тут встали лицом к лицу два бреда: один, созданный лично Угрюм-Бурчеевым, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о совершенной своей независимости от первого.

— Зачем? — спросил, указывая глазами на реку, Угрюм-Бурчеев у сопровождавших его квартальных, когда прошел первый момент оцепенения.

Квартальные не поняли; но во взгляде градоначальника было нечто до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса.

— Река-с… навоз-с… — лепетали они как попало.

— Зачем? — повторил он испуганно и вдруг, как бы боясь углубляться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево кругом и пошел назад.

Судорожным шагом возвращался он домой и бормотал себе под нос:

— Уйму́! я ее уйму́!

Дома он через минуту уж решил дело по суще-

ству. Два одинаково великих подвига предстояли ему: разрушить город и устранить реку. Средства для исполнения первого подвига были обдуманы уже заранее; средства для исполнения второго представлялись ему неясно и сбивчиво. Но так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить прохвоста в неведении чего бы то ни было, то в этом случае невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном смысле было прочнее его.

Он не был ни технолог, ни инженер; но он был твердой души прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которою можно покорить мир. Он ничего не знал ни о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что стоит только указать: от сих мест до сих, — и на протяжении отмеренного пространства наверное возникнет материк, а затем по-прежнему, и направо и налево, будет продолжать течь река.

Остановившись на этой мысли, он начал готовиться.

В какой-то дикой задумчивости бродил он по улицам, заложив руки за спину и бормоча под нос невнятные слова. На пути встречались ему обыватели, одетые в самые разнообразные лох-

мотья, и кланялись в пояс. Перед некоторыми он останавливался, вперял непонятливый взор в лохмотья и произносил:

— Зачем?

И, снова впавши в задумчивость, продолжал путь далее.

Минуты этой задумчивости были самыми тяжелыми для глуповцев. Как оцепенелые, застывали они перед ним, не будучи в силах оторвать глаза от его светлого, как сталь, взора. Какая-то неисповедимая тайна скрывалась в этом взоре, и тайна эта тяжелым, почти свинцовым пологом нависла над целым городом.

Город приник; в воздухе чувствовались спертость и духота.

Он еще не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел *конец*. В этом убеждало беспрерывное мелькание идиота, носившего в себе тайну; в этом убеждало тихое рычание, исходившее из его внутренностей. Незримо ни для кого прокрался в среду обывателей смутный ужас и безраздельно овладел всеми. Все мыслительные силы сосредоточивались на загадочном идиоте и в мучительном беспокойстве кружились

в одном и том же волшебном круге, которого центром был *он*. Люди позабыли прошедшее и не задумывались о будущем. Нехотя исполняли они необходимые житейские дела, нехотя сходились друг с другом, нехотя жили со дня на день. К чему? — вот единственный вопрос, который ясно представлялся каждому при виде грядущего вдали идиота. Зачем жить, если жизнь навсегда отравлена представлением об идиоте? Зачем жить, если нет средств защитить взор от его ужасного вездесущия? Глуповцы позабыли даже взаимные распри и попрятались по углам в тоскливом ожидании…

Казалось, он и сам понимал, что конец наступил. Никакими текущими делами он не занимался, а в правление даже не заглядывал. Он порешил однажды навсегда, что старая жизнь безвозвратно канула в вечность и что, следовательно, незачем и тревожить этот хлам, который не имеет никакого отношения к будущему. Квартальные нравственно и физически истерзались; вытянувшись и затаивши дыхание, они становились на линии, по которой *он* проходил, и ждали, не будет ли приказаний; но приказаний не было. Он молча проходил мимо и не удостаивал их даже взглядом. Не стало в Глупове никакого суда:

ни милостивого, ни немилостивого, ни скорого, ни нескорого. На первых порах глуповцы, по старой привычке, вздумали было обращаться к нему с претензиями и жалобами друг на друга; но он даже не понял их.

— Зачем? — говорил он, с каким-то диким изумлением обозревая жалобщика с головы до ног.

В смятении оглянулись глуповцы назад и с ужасом увидели, что назади действительно ничего нет.

Наконец страшный момент настал. После недолгих колебаний он решил так: сначала разрушить город, а потом уже приступить и к реке. Очевидно, он еще надеялся, что река образумится сама собой.

За неделю до Петрова дня он объявил приказ: всем говеть. Хотя глуповцы всегда говели охотно, но, выслушавши внезапный приказ Угрюм-Бурчеева, смутились. Стало быть, и в самом деле предстоит что-нибудь решительное, коль скоро для принятия этого решительного потребны такие приготовления? Этот вопрос сжимал все сердца тоскою. Думали сначала, что *он* будет палить, но, заглянув на градоначальнический двор, где стоял пушечный снаряд, из которого обыкновенно палили в обывателей, убедились, что

пушки стоят незаряженные. Потом остановились на мысли, что будет произведена повсеместная «выемка», и стали готовиться к ней: прятали книги, письма, лоскутки бумаги, деньги и даже иконы — одним словом, все, в чем можно было усмотреть какое-нибудь «доказательство».

— Кто его знает, какой он веры? — шептались промеж себя глуповцы. — Может, и фармазон?

А *он* все маршировал по прямой линии, заложив руки за спину, и никому не объявлял своей тайны.

В Петров день все причастились, а многие даже соборовались накануне. Когда запели причастный стих, в церкви раздались рыдания, «больше же всех вопили голова и предводитель, опасаясь за многое имение свое». Затем, проходя от причастия мимо градоначальника, кланялись и поздравляли; но он стоял дерзостно и никому даже не кивнул головой. День прошел в тишине невообразимой. Стали люди разгавливаться, но никому не шел кусок в горло, и все опять заплакали. Но когда проходил мимо градоначальник (он в этот день ходил форсированным маршем), то поспешно отирали слезы и старались придать лицам беспечное и доверчивое выражение. Надежда не вся еще исчезла. Все думалось: вот

увидят начальники нашу невинность и простят…

Но Угрюм-Бурчеев ничего не увидел и ничего не простил.

«30-го июня, — повествует летописец, — на другой день празднованья памяти святых и славных апостолов Петра и Павла, был сделан первый приступ к сломке города». Градоначальник, с топором в руке, первый выбежал из своего дома и, как озаренный, бросился на городническое правление. Обыватели последовали примеру его. Разделенные на отряды (в каждом уже с вечера был назначен особый урядник и особый шпион), они разом на всех пунктах начали работу разрушения. Раздался стук топора и визг пилы; воздух наполнился криками рабочих и грохотом падающих на землю бревен; пыль густым облаком нависла над городом и затемнила солнечный свет. Все были налицо, все до единого: взрослые и сильные рубили и ломали; малолетные и слабосильные сгребали мусор и свозили его к реке. От зари до зари люди неутомимо преследовали задачу разрушения собственных жилищ, а на ночь укрывались в устроенных на выгоне бараках, куда было свезено и обывательское имущество. Они сами не понимали, что делают, и даже не вопро-

шали друг друга, точно ли это наяву происходит. Они сознавали только одно: что конец наступил и что за ними везде, везде следит непонятливый взор угрюмого идиота. Мельком, словно во сне, припоминались некоторым старикам примеры из истории, а в особенности из эпохи, когда градоначальствовал Бородавкин, который навел в город оловянных солдатиков и однажды, в минуту безумной отваги, скомандовал им: «Ломай!» Но ведь тогда все-таки была война, а теперь… без всякого повода… среди глубокого земского мира…

Угрюм-Бурчеев мерным шагом ходил среди всеобщего опустошения, и на губах его играла та же самая улыбка, которая озарила лицо его в ту минуту, когда он, в порыве начальстволюбия, отрубил себе указательный палец правой руки. Он был доволен, он даже мечтал. Мысленно он уже шел дальше простого разрушения. Он рассортировывал жителей по росту и телосложению; он разводил мужей с законными женами и соединял с чужими; он раскассировывал детей по семьям, соображаясь с положением каждого семейства; он назначал взводных, ротных и других командиров, избирал шпионов и т. д. Клятва, данная начальнику, наполовину уже

выполнена. Все начеку, все кипит, все готовы вынырнуть во всеоружии; остаются подробности, но и те давным-давно предусмотрены и решены. Какая-то сладкая восторженность пронизывала все существо угрюмого прохвоста и уносила его далеко, далеко.

В упоении гордости он вперял глаза в небо, смотрел на светила небесные, и, казалось, это зрелище приводило его в недоумение.

— Зачем? — бормотал он чуть слышно и долго-долго о чем-то думал и что-то соображал.

Что именно?

Через полтора или два месяца не оставалось уже камня на камне. Но по мере того, как работа опустошения приближалась к набережной реки, чело Угрюм-Бурчеева омрачалось. Рухнул последний, ближайший к реке дом; в последний раз звякнул удар топора, а река не унималась. По-прежнему она текла, дышала, журчала и извивалась; по-прежнему один берег ее был крут, а другой представлял луговую низину, на далекое пространство заливаемую в весеннее время водой. Бред продолжался.

Громадные кучи мусора, навоза и соломы уже были сложены по берегам и ждали только мания, чтобы исчезнуть в глубинах реки. Нахмурен-

ный идиот бродил между грудами и вел им счет, как бы опасаясь, чтоб кто-нибудь не похитил драгоценного материала. По временам он с уверенностию бормотал:

— Уйму́! я ее уйму́!

И вот вожделенная минута наступила. В одно прекрасное утро, созвавши будочников, он привел их к берегу реки, отмерил шагами пространство, указал глазами на течение и ясным голосом произнес:

— От сих мест — до сих!

Как ни были забиты обыватели, но и они восчувствовали. До сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного. Многие разинули рты, чтобы возроптать, но он даже не заметил этого колебания, а только как бы удивился, зачем люди мешкают.

— Гони! — скомандовал он будочникам, вскидывая глазами на колышущуюся толпу.

Борьба с природой восприяла начало.

Масса, с тайными вздохами ломавшая дома свои, с тайными же вздохами закопошилась в воде. Казалось, что рабочие силы Глупова сделались неистощимыми и что чем более заявляла себя бесстыжесть притязаний, тем растяжимее

становилась сумма орудий, подлежащих ее эксплуатации.

Много было наезжих людей, которые разоряли Глупов; одни — ради шутки, другие — в минуту грусти, запальчивости или увлечения; но Угрюм-Бурчеев был первый, который задумал разорить город серьезно. От зари до зари кишели люди в воде, вбивая в дно реки сваи и заваливая мусором и навозом пропасть, казавшуюся бездонною. Но слепая стихия шутя рвала и разметывала наносимый ценою нечеловеческих усилий хлам и с каждым разом все глубже и глубже прокладывала себе ложе. Щепки, навоз, солома, мусор — все уносилось быстриной в неведомую даль, и Угрюм-Бурчеев с удивлением, доходящим до испуга, следил «непонятливым» оком за этим почти волшебным исчезновением его надежд и намерений.

Наконец люди истомились и стали заболевать. Сурово выслушивал Угрюм-Бурчеев ежедневные рапорты десятников о числе выбывших из строя рабочих и, не дрогнув ни одним мускулом, командовал:

— Гони!

Появлялись новые партии рабочих, которые, как цвет папоротника, где-то таинственно нарас-

тали, чтобы немедленно же исчезнуть в пучине водоворота. Наконец привели и предводителя, который один в целом городе считал себя свободным от работ, и стали толкать его в реку. Однако предводитель пошел не сразу, но протестовал и сослался на какие-то права.

— Гони! — скомандовал Угрюм-Бурчеев.

Толпа загоготала. Увидев, как предводитель, краснея и стыдясь, засучивал штаны, она почувствовала себя бодрою и удвоила усилия.

Но тут встретилось новое затруднение: груды мусора убывали в виду всех, так что скоро нечего было валить в реку. Принялись за последнюю груду, на которую Угрюм-Бурчеев надеялся как на каменную гору. Река задумалась, забуровила дно, но через мгновение потекла веселее прежнего.

Однажды, однако, счастье улыбнулось ему. Собрав последние усилия и истощив весь запас мусора, жители принялись за строительный материал и разом двинули в реку целую массу его. Затем толпы с гиком бросились в воду и стали погружать материал на дно. Река всею массою вод хлынула на это новое препятствие и вдруг закрутилась на одном месте. Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание, словно миллионы неведомых гадин разом пустили свой

шип из водяных хлябей. Затем все смолкло; река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне.

К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все еще прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул; казалось, что где-то рушатся целые деревни и там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, бревна, плоты, обломки изб и, достигнув плотины, с треском сталкивались друг с другом, ныряли, опять выплывали и сбивались в кучу в одном месте. Разумеется, Угрюм-Бурчеев ничего этого не предвидел, но, взглянув на громадную массу вод, он до того просветлел, что даже получил дар слова и стал хвастаться.

— Тако да видят людие! — сказал он, думая попасть в господствовавший в то время фотиевско-аракчеевский тон; но потом, вспомнив, что он все-таки не более как прохвост, обратился к будочникам и приказал согнать городских попов:

— Гони!

Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности

и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, — вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль…



То же произошло и с Угрюм-Бурчеевым. Едва увидел он массу воды, как в голове его уже утвердилась мысль, что у него будет свое собственное море. И так как за эту мысль никто не угрожал ему шпицрутенами, то он стал развивать ее дальше и дальше. Есть море — значит, есть и флоты: во-первых, разумеется, военный, потом торговый. Военный флот то и дело бомбардирует; торговый — перевозит драгоценные грузы. Но так как Глупов всем изобилует и ничего, кроме розог и административных мероприятий, не потребляет, другие же страны, как то: село Недоедово, деревня Голодаевка и проч., суть совершенно голодные и притом до чрезмерности жадные, то естественно, что торговый баланс всегда склоняется в пользу Глупова. Является великое изобилие звонкой монеты, которую, однако ж, глуповцы презирают и бросают в навоз, а из навоза секретным образом выкапывают ее евреи и употребляют на исходатайствование железнодорожных концессий.

И что ж! — все эти мечты рушились на другое же утро. Как ни старательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, как ни охраняли они ее неприкосновенность в течение целой ночи, измена уже успела проникнуть в ряды их.

Едва успев продрать глаза, Угрюм-Бурчеев тот-

час же поспешил полюбоваться на произведение своего гения, но, приблизившись к реке, встал как вкопанный. Произошел новый бред. Луга обнажились; остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах точь-в-точь как за день тому назад.

Некоторое время Угрюм-Бурчеев безмолвствовал. С каким-то странным любопытством следил он, как волна плывет за волною, сперва одна, потом другая, и еще, и еще… И все это куда-то стремится и где-то, должно быть, исчезает…

Вдруг он пронзительно замычал и порывисто повернулся на каблуке.

— Напра-во круг-гом! за мной! — раздалась команда.

Он решился. Река не захотела уйти от него — он уйдет от нее. Место, на котором стоял старый Глупов, опостылело ему. Там не повинуются стихии, там овраги и буераки на каждом шагу преграждают стремительный бег; там воочию совершаются волшебства, о которых не говорится ни в регламентах, ни в сепаратных предписаниях начальства. Надо бежать!

Скорым шагом удалялся он прочь от города, а за ним, понурив головы и едва поспевая, следовали

обыватели. Наконец, к вечеру, он пришел. Перед глазами его расстилалась совершенно ровная низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры — везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред точь-в-точь совпадавший с тем бредом, который гнездился в его голове…

— Здесь! — крикнул он ровным, беззвучным голосом.

Строился новый город на новом месте, но одновременно с ним выползало на свет что-то иное, чему еще не было в то время придумано названия и что лишь в позднейшее время сделалось известным под довольно определенным названием «дурных страстей» и «неблагонадежных элементов». Неправильно было бы, впрочем, полагать, что это «иное» появилось тогда в первый раз; нет, оно уже имело свою историю…

Еще во времена Бородавкина летописец упоминает о некотором Ионке Козыре, который после продолжительных странствий по теплым морям и кисельным берегам возвратился в родной город и привез с собой собственного сочинения книгу под названием «Письма к другу о водворении на земле добродетели». Но так как биография

этого Ионки составляет драгоценный материал для истории русского либерализма, то читатель, конечно, не посетует, если она будет рассказана здесь с некоторыми подробностями.

Отец Ионки, Семен Козырь, был простой мусорщик, который, воспользовавшись смутными временами, нажил себе значительное состояние. В краткий период безначалия (см. «Сказание о шести градоначальницах»), когда в течение семи дней шесть градоначальниц вырывали друг у друга кормило правления, он, с изумительною для глуповца ловкостью, перебегал от одной партии к другой, причем так искусно заметал следы свои, что законная власть ни минуты не сомневалась, что Козырь всегда оставался лучшею и солиднейшею поддержкой ее. Пользуясь этим ослеплением, он сначала продовольствовал войска Ираидки, потом войска Клементинки, Амальки, Нельки и, наконец, кормил крестьянскими лакомствами Дуньку-толстопятую и Матренку-ноздрю. За все это он получал деньги по справочным ценам, которые сам же сочинял, а так как для Мальки, Нельки и прочих время было горячее и считать деньги некогда, то расчеты кончались тем, что он запускал руку в мешок и таскал оттуда пригоршнями.

Ни помощник градоначальника, ни неустрашимый штаб-офицер — никто ничего не знал об интригах Козыря, так что когда приехал в Глупов подлинный градоначальник, Двоекуров, и началась разборка «оного нелепого и смеха достойного глуповского смятения», то за Семеном Козырем не только не было найдено ни малейшей вины, но, напротив того, оказалось, что это «подлинно достойнейший и благопоспешительнейший к подавлению революций гражданин».

Двоекурову Семен Козырь полюбился по многим причинам. Во-первых, за то, что жена Козыря, Анна, пекла превосходнейшие пироги; во-вторых, за то, что Семен, сочувствуя просветительным подвигам градоначальника, выстроил в Глупове пивоваренный завод и пожертвовал сто рублей для основания в городе академии; в-третьих, наконец, за то, что Козырь не только не забывал ни Симеона-Богоприимца, ни Гликерии-девы (дней тезоименитства градоначальника и супруги его), но даже праздновал им дважды в год.

Долго памятен был указ, которым Двоекуров возвещал обывателям об открытии пивоваренного завода и разъяснял вред водки и пользу пива. «Водка, — говорилось в том указе, — не токмо не вселяет веселонравия, как многие полагают, но,

при довольном употреблении, даже отклоняет от оного и порождает страсть к убивству. Пива же можно кушать сколько угодно и без всякой опасности, ибо оное не печальные мысли внушает, а токмо добрые и веселые. А потому советуем и приказываем: водку кушать только перед обедом, но и то из малой рюмки; в прочее же время безопасно кушать пиво, которое ныне в весьма превосходном качестве и не весьма дорогих цен из заводов 1-й гильдии купца Семена Козыря отпущается». Последствия этого указа были для Козыря бесчисленны. В короткое время он до того процвел, что начал уже находить, что в Глупове ему тесно, а «нужно-де мне, Козырю, вскорости в Петербурге быть, а тамо и ко двору явиться».

Во время градоначальствования Фердыщенки Козырю посчастливилось еще больше, благодаря влиянию ямщичихи Аленки, которая приходилась ему внучатой сестрой. В начале 1766 года он угадал голод и стал заблаговременно скупать хлеб. По его наущению Фердыщенко поставил у всех застав полицейских, которые останавливали возы с хлебом и гнали их прямо на двор к скупщику. Там Козырь объявлял, что платит за хлеб «по такции», и ежели между продавцами возникали сомнения, то недоумевающих отправ-

лял в часть.

Но как пришло это баснословное богатство, так оно и улетучилось. Во-первых, Козырь не поладил с Домашкой-стрельчихой, которая заняла место Аленки. Во-вторых, побывав в Петербурге, Козырь стал хвастаться; князя Орлова звал Гришей, а о Мамонове и Ермолове[76] говорил, что они умом коротки, что он, Козырь, «много им насчет национальной политики толковал, да мало они поняли».

В одно прекрасное утро, нежданно-негаданно, призвал Фердыщенко Козыря и повел к нему такую речь.

— Правда ли, — говорил он, — что ты, Семен, светлейшего Римской империи князя Григория Григорьевича Орлова Гришкою величал и, ходючи по кабакам, перед всякого звания людьми за приятеля себе выдавал?

Козырь замялся.

— И на то у меня свидетели есть, — продолжал Фердыщенко таким тоном, который не дозволял усомниться, что он подлинно знает, что говорит.

Козырь побледнел.

— И я тот твой бездельный поступок, по благо-

---

[76] Notes: 76

Перечисляются фавориты Екатерины II — Г. Г. Орлов, А. М. Дмитриев-Мамонов, А. П. Ермолов.

душию своему, прощаю! — вновь начал Фердыщенко. — А которое ты имение награбил, и то имение твое отписываю я, бригадир, на себя. Ступай и молись Богу.

И точно: в тот же день отписал бригадир на себя Козыреву движимость и недвижимость, подарив, однако, виновному хижину на краю города, чтобы было где душу спасти и себя прокормить.

Больной, озлобленный, всеми забытый, доживал Козырь свой век и на закате дней вдруг почувствовал прилив «дурных страстей» и «неблагонадежных элементов». Стал проповедывать, что собственность есть мечтание, что только нищие да постники взойдут в Царствие Небесное, а богатые да бражники будут лизать раскаленные сковороды и кипеть в смоле. Причем, обращаясь к Фердыщенке (тогда было на этот счет просто: грабили, но правду выслушивали благодушно), прибавлял:

— Вот и ты, чертов угодник, в аду с братцем своим Сатаной калеными угольями трапезовать станешь, а я, Семен, тем временем на лоне Авраамлем почивать буду.

Таков был первый глуповский демагог.

Ионы Козыря не было в Глупове, когда отца его постигла страшная катастрофа. Когда он возвра-

тился домой, все ждали, что поступок Фердыщенки приведет его, по малой мере, в негодование; но он выслушал дурную весть спокойно, не выразив ни огорчения, ни даже удивления. Это была довольно развитая, но совершенно мечтательная натура, которая вполне безучастно относилась к существующему факту и эту безучастность восполняла большою дозою утопизма. В голове его мелькал какой-то рай, в котором живут добродетельные люди, делают добродетельные дела и достигают добродетельных результатов. Но все это именно только мелькало, не укладываясь в определенные формы и не идя далее простых и не вполне ясных афоризмов. Самая книга «О водворении на земле добродетели» была не что иное, как свод подобных афоризмов, не указывавших и даже не имевших целью указать на какие-либо практические применения. Ионе приятно было сознавать себя добродетельным, а, конечно, еще было бы приятнее, если б и другие тоже сознавали себя добродетельными. Это была потребность его мягкой, мечтательной натуры; это же обусловливало для него и потребность пропаганды. Сожительство добродетельных с добродетельными, отсутствие зависти, огорчений и забот, кроткая беседа, тишина, умеренность — вот иде-

алы, которые он проповедовал, ничего не зная о способах их осуществления.

Несмотря на свою расплывчивость, учение Козыря приобрело, однако ж, столько прозелитов в Глупове, что градоначальник Бородавкин счел нелишним обеспокоиться этим. Сначала он вытребовал к себе книгу «О водворении на земле добродетели» и освидетельствовал ее; потом вытребовал и самого автора для освидетельствования.

— Чёл я твою, Ионкину, книгу, — сказал он, — и от многих написанных в ней злодейств был приведен в омерзение.

Ионка казался изумленным. Бородавкин продолжал:

— Мнишь ты всех людей добродетельными сделать, а про то позабыл, что добродетель не от тебя, а от Бога, и от Бога же всякому человеку пристойное место указано.

Ионка изумлялся все больше и больше этому приступу и не столько со страхом, сколько с любопытством ожидал, к каким Бородавкин придет выводам.

— Ежели есть на свете клеветники, тати, злодеи и душегубцы (о чем и в указах неотступно публикуется), — продолжал градоначальник, — то

с чего же тебе, Ионке, на ум взбрело, чтоб им не быть? и кто тебе такую власть дал, чтобы всех сих людей от природных их званий отставить и зауряд с добродетельными людьми в некоторое смеха достойное место, тобою «раем» продерзостно именуемое, включить?

Ионка разинул было рот для некоторых разъяснений, но Бородавкин прервал его:

— Погоди. И ежели все люди «в раю» в песнях и плясках время препровождать будут, то кто же, по твоему, Ионкину, разумению, землю пахать станет? и, вспахавши, сеять? и, посеявши, жать? и, собравши плоды, оными господ дворян и прочих чинов людей довольствовать и питать?

Опять разинул рот Ионка, и опять Бородавкин удержал его порыв.

— Погоди. И за те твои бессовестные речи судил я тебя, Ионку, судом скорым, и присудили тако: книгу твою, изодрав, растоптать (говоря это, Бородавкин изодрал и растоптал), с тобой же самим, яко с растлителем добрых нравов, по предварительной отдаче на поругание, поступить, как мне, градоначальнику, заблагорассудится.

Таким образом, Ионой Козырем начался мартиролог глуповского либерализма.

Разговор этот происходил утром в празднич-

ный день, а в полдень вывели Ионку на базар и, дабы сделать вид его более омерзительным, надели на него сарафан (так как в числе последователей Козырева учения было много женщин), а на груди привесили дощечку с надписью: *бабник и прелюбодей*. В довершение всего квартальные приглашали торговых людей плевать на преступника, что и исполнялось. К вечеру Ионки не стало.

Таков был первый дебют глуповского либерализма. Несмотря, однако ж, на неудачу, «дурные страсти» не умерли, а образовали традицию, которая переходила преемственно из поколения в поколение и при всех последующих градоначальниках. К сожалению, летописцы не предвидели страшного распространения этого зла в будущем, а потому, не обращая должного внимания на происходившие перед ними факты, заносили их в свои тетрадки с прискорбною краткостью. Так, например, при Негодяеве упоминается о некоем дворянском сыне Ивашке Фарафонтьеве, который был посажен на цепь за то, что говорил хульные слова, а слова те в том состояли, что «всем-де людям в еде равная потреба настоит, и кто-де ест много, пускай делится с тем, кто ест мало». «И, сидя на цепи, Ивашка умре», — при-

бавляет летописец. Другой пример случился при Микаладзе, который хотя был сам либерал, но, по страстности своей натуры, а также по новости дела, не всегда мог воздерживаться от заушений[77]. Во время его управления городом тридцать три философа были рассеяны по лицу земли за то, что «нелепым обычаем говорили: трудящийся да яст; нетрудящийся же да вкусит от плодов безделия своего». Третий пример был при Беневоленском, когда был «подвергнут расспросным речам» дворянский сын Алешка Беспятов за то, что к укору градоначальнику, любившему заниматься законодательством, утверждал: «худы-де те законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои и без письма в естестве у каждого человека нерукотворно написаны». И он тоже «от расспросных речей да с испугу и с боли умре». После Беспятова либеральный мартиролог временно прекратился. Прыщ и Иванов были глупы; дю Шарио же был и глуп, и, кроме того, сам заражен либерализмом. Грустилов, в первую половину своего градоначальствования, не только не препятствовал, но даже покровительствовал либерализму, потому что смешивал его с вольным обращением,

[77] Notes: 77
Заушение — затрещина.

к которому от природы имел непреодолимую склонность. Только впоследствии, когда блаженный Парамоша и юродивенькая Аксиньюшка взяли в руки бразды правления, либеральный мартиролог вновь воспринял начало в лице учителя каллиграфии Линкина, доктрина которого, как известно, состояла в том, что «все мы, что человеки, что скоты, — все помрем и все к чертовой матери пойдем». Вместе с Линкиным чуть было не попались впросак два знаменитейшие философа того времени, Фунич и Мерзицкий, но вовремя спохватились и начали, вместе с Грустиловым, присутствовать при «восхищениях» (см. «Поклонение мамоне и покаяние»). Поворот Грустилова дал либерализму новое направление, которое можно назвать центробежно-центростремительно-неисповедимо-завиральным. Но это был все-таки либерализм, а потому и он успеха иметь не мог, ибо уже наступила минута, когда либерализма не требовалось вовсе. Не требовалось совсем, ни под каким видом, ни в каких формах, ни даже в форме нелепости, ни даже в форме восхищения начальством.

Восхищение начальством! что значит восхищение начальством? Это значит такое оным восхищение, которое в то же время допускает и

возможность оным невосхищения! А отсюда до революции — один шаг!

Со вступлением в должность градоначальника Угрюм-Бурчеева либерализм в Глупове прекратился вовсе, а потому и мартиролог не возобновлялся. «Будучи выше меры обременены телесными упражнениями, — говорит летописец, — глуповцы, с устатку, ни о чем больше не мыслили, кроме как о выпрямлении согбенных работой телес своих». Таким образом продолжалось все время, покуда Угрюм-Бурчеев разрушал старый город и боролся с рекою. Но по мере того как новый город приходил к концу, телесные упражнения сокращались, а вместе с досугом из-под пепла возникало и пламя измены…

Дело в том, что по окончательном устройстве города последовал целый ряд празднеств. Во-первых, назначен был праздник по случаю переименования города из Глупова в Непреклонск; во-вторых, последовал праздник в воспоминание побед, одержанных бывшими градоначальниками над обывателями; и, в-третьих, по случаю наступления осеннего времени, сам собой подошел праздник «предержащих властей». Хотя, по первоначальному проекту Угрюм-Бурчеева, праздники должны были отличаться от буд-

ней только тем, что в эти дни жителям вместо работ предоставлялось заниматься усиленной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплошал. Бессонная ходьба по прямой линии до того сокрушила его железные нервы, что, когда затих в воздухе последний удар топора, он едва успел крикнуть «шабаш!» — как тут же повалился на землю и захрапел, не сделав даже распоряжения о назначении новых шпионов.

Изнуренные, обруганные и уничтоженные, глуповцы после долгого перерыва в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга — и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история, были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? — ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Урус-Кугуш-Кильдибаевы, Негодяевы, Бородавкины и, в довершение позора, этот ужасный, этот бесславный прохвост! И все это глушило, грызло, рвало зубами — во имя чего? Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесслав-

ном идиоте, который, с топором в руке, пришел неведомо откуль и с неисповедимою наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему…

А он между тем неподвижно лежал на самом солнечном припеке и тяжело храпел. Теперь он был у всех на виду; всякий мог свободно рассмотреть его и убедиться, что это подлинный идиот — и ничего более.

Когда он разрушал, боролся со стихиями, предавал огню и мечу, еще могло казаться, что в нем олицетворяется что-то громадное, какая-то всепокоряющая сила, которая, независимо от своего содержания, может поражать воображение; теперь, когда он лежал поверженный и изнеможенный, когда ни на ком не тяготел его исполненный бесстыжества взор, делалось ясным, что это «громадное», это «всепокоряющее» — не что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ.

Как ни запуганы были умы, но потребность освободить душу от обязанности вникать в таинственный смысл выражения «курицын сын» была настолько сильна, что изменила и самый взгляд на значение Угрюм-Бурчеева. Это был уже значительный шаг вперед в деле преуспе-

яния «неблагонадежных элементов». Прохвост проснулся, но взор его уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей, а простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, что делается по сторонам, с каждым днем приобретало все больший и больший авторитет. Но это раздражало еще сильнее. Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимою. Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам и что при таком обороте жизнь сделается возможною и даже, пожалуй, спокойною. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным в виду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ.

«Он» даст какое-то счастие! «Он» скажет им: я вас разорил и оглушил, а теперь позволю вам быть счастливыми! И они выслушают эту речь хладнокровно! они воспользуются его дозволением и будут счастливы! Позор!!!

А Угрюм-Бурчеев все маршировал и все смотрел прямо, отнюдь не подозревая, что под самым его носом кишат дурные страсти и чуть-чуть не

воочию выплывают на поверхность неблагонадежные элементы. По примеру всех благопопечительных благоустроителей, он видел только одно: что мысль, так долго зревшая в его заскорузлой голове, наконец осуществилась, что он подлинно обладает прямою линией и может маршировать по ней сколько угодно. Затем, имеется ли на этой линии что-нибудь живое и может ли это «живое» ощущать, мыслить, радоваться, страдать, способно ли оно, наконец, из «благонадежного» обратиться в «неблагонадежное» — все это не составляло для него даже вопроса…

Раздражение росло тем сильнее, что глуповцы все-таки обязывались выполнять все запутанные формальности, которые были заведены Угрюм-Бурчеевым. Чистились, подтягивались, проходили через все манежи, строились в каре, разводились по работам и проч. Всякая минута казалась удобною для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременною. Происходили беспрерывные совещания по ночам; там и сям прорывались одиночные случаи нарушения дисциплины; но все это было как-то до такой степени разрозненно, что в конце концов могло, самою медленностью процесса, возбудить подозрительность даже в таком убежденном идиоте,

как Угрюм-Бурчеев.

И точно, он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как с наступлением сумерек какие-то тени бродили по городу и исчезали неведомо куда и как с рассветом дня те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней сряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи, но суеверный страх удерживал его. Как истинный прохвост, он боялся чертей и ведьм.

И вот однажды появился по всем поселенным единицам приказ, возвещавший о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу…

Но здесь я должен сознаться, что тетрадки, которые заключали в себе подробности этого дела, неизвестно куда утратились. Поэтому я нахожусь вынужденным ограничиться лишь передачею развязки этой истории, и то благодаря тому, что листок, на котором она описана, случайно уцелел.

«Через неделю (после чего?), — пишет летописец, — глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами; из

этих туч нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч. Полное гнева, *оно* неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя *оно* было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. *Оно* близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло… глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца.

Оно пришло…

В эту торжественную минуту Угрюм-Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес:

— Придет…

Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе.

История прекратила течение свое».

Конец

Оправдательные документы

I. Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем

СОЧИНИЛ ГЛУПОВСКИЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК ВАСИЛИСК БОРОДАВКИН[78]

Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало единомыслие. Чтобы они, так сказать, по всему лицу земли едиными устами. О вреде градоначальнического многомыслия распространюсь кратко. Какие суть градоначальниковы права и обязанности? — Права сии суть: чтобы злодеи трепетали, а прочие чтобы повиновались. Обязанности суть: чтобы употреблять меры кротости, но не упускать из вида и

---

[78] Notes: 78

Сочинение это составляет детскую тетрадку в четвертую долю листа; читать рукопись очень трудно, потому что правописание ее чисто варварское. Например, слово «чтоб» везде пишется «штоб» и даже «штоп», слово «когда» пишется «кахда» и проч. Но это-то и делает рукопись драгоценною, ибо доказывает, что она вышла несомненно и непосредственно из-под пера глубокомысленного администратора и даже не была на просмотре у его секретаря. Это доказывает также, что в прежние времена от градоначальников требовали не столько блестящего правописания, сколько глубокомыслия и природной склонности к философическим упражнениям. — *Издатель.*

мер строгости. Сверх того, поощрять науки. В сих кратких чертах заключается недолгая, но и не легкая градоначальническая наука. Размыслим кратко, что из сего произойти может?

«Чтобы злодеи трепетали» — прекрасно! Но кто же сии злодеи? Очевидно, что при многомыслии по сему предмету может произойти великая в действиях неурядица. Злодеем может быть вор, но это злодей, так сказать, третьестепенный; злодеем называется убийца, но и это злодей лишь второй степени, наконец, злодеем может быть вольнодумец — это уже злодей настоящий, и притом закоренелый и нераскаянный. Из сих трех сортов злодеев, конечно, каждый должен трепетать, но в равной ли мере? Нет, не в равной. Вору следует предоставить трепетать менее, нежели убийце; убийце же менее, нежели безбожному вольнодумцу. Сей последний должен всегда видеть пред собой пронзительный градоначальнический взор и оттого трепетать беспрерывно. Теперь, ежели мы допустим относительно сей материи в градоначальниках многомыслие, то, очевидно, многое выйдет наоборот, а именно: безбожники будут трепетать умеренно, воры же и убийцы всеминутно и прежестоко. И таким образом упразднится здравая административная

экономия и нарушится величественная административная стройность!

Но последуем далее. Выше сказано: «прочие чтобы повиновались» — но кто же сии «прочие»? Очевидно, здесь разумеются обыватели вообще; однако же и в сем общем наименовании необходимо различать: во-первых, благородное дворянство, во-вторых, почтенное купечество и, в-третьих, земледельцев и прочий подлый народ. Хотя бесспорно, что каждый из сих трех сортов обывателей обязан повиноваться, но нельзя отрицать и того, что каждый из них может употребить при этом свой особенный, ему свойственный манер. Например, дворянин повинуется благородно и вскользь предъявляет резоны; купец повинуется с готовностью и просит принять хлеб-соль; наконец, подлый народ повинуется просто и, чувствуя себя виноватым, раскаивается и просит прощения. Что будет, ежели градоначальник в сии оттенки не вникнет, а особливо ежели он подлому народу предоставит предъявлять резоны? Страшусь сказать, но опасаюсь, что в сем случае градоначальническое многомыслие может иметь последствия не только вредные, но и с трудом исправимые!

Рассказывают следующее. Один озабоченный

градоначальник, вошед в кофейную, спросил себе рюмку водки и, получив желаемое вместе с медною монетою в сдачу, монету проглотил, а водку вылил себе в карман. Вполне сему верю, ибо при градоначальнической озабоченности подобные пагубные смешения весьма возможны. Но при этом не могу не сказать: вот как градоначальники должны быть осторожны в рассмотрении своих собственных действий!

Последуем еще далее. Выше я упомянул, что у градоначальников, кроме прав, имеются еще и обязанности. «Обязанности»! — о, сколь горькое это для многих градоначальников слово! Но не будем, однако ж, поспешны, господа мои любезные сотоварищи! размыслим зрело, и, может быть, мы увидим, что, при благоразумном употреблении, даже горькие вещества могут легко превращаться в сладкие! Обязанности градоначальнические, как уже сказано, заключаются в употреблении мер кротости, без пренебрежения, однако, мерами строгости. В чем выражаются меры кротости? Меры сии преимущественно выражаются в приветствиях и пожеланиях. Обыватели, а в особенности подлый народ, великие до сего охотники; но при этом необходимо, чтобы градоначальник был в мундире и имел открытую

физиономию и благосклонный взгляд. Нелишнее также, чтобы на лице играла улыбка. Мне неоднократно случалось в сем триумфальном виде выходить к обывательским толпам, и когда я звучным и приятным голосом восклицал: «Здорово, ребята!» — то, ручаюсь честью, немного нашлось бы таких, кои не согласились бы по первому моему приветливому знаку броситься в воду и утопиться, лишь бы снискать благосклонное мое одобрение. Конечно, я никогда сего не требовал, но, признаюсь, такая на всех лицах видная готовность всегда меня радовала. Таковы суть меры кротости. Что же касается до мер строгости, то они всякому, даже не бывшему в кадетских корпусах, довольно известны. Стало быть, распространяться об них не стану, а прямо приступлю к описанию способов применения тех и других мероприятий.

Прежде всего замечу, что градоначальник никогда не должен действовать иначе как чрез посредство мероприятий. Всякое его действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд суть такие же меры внутренней политики, как и экзекуция. Обыватель *всегда* в чем-нибудь виноват и потому *всегда* же надлежит на порочную его

волю воздействовать. В сем-то смысле первою мерою воздействия и должна быть мера кротости. Ибо, ежели градоначальник, выйдя из своей квартиры, прямо начнет палить, то он достигнет лишь того, что перепалит всех обывателей и, как древний Марий, останется на развалинах один с письмоводителем. Таким образом, употребив первоначально меру кротости, градоначальник должен прилежно смотреть, оказала ли она надлежащий плод, и когда убедится, что оказала, то может уйти домой; когда же увидит, что плода нет, то обязан, нимало не медля, приступить к мерам последующим. Первым действием в сем смысле должен быть суровый вид, от коего обыватели мгновенно пали бы на колени. При сем: речь должна быть отрывистая, взор обещающий дальнейшие распоряжения, походка неровная, как бы судорожная. Но если и затем толпа будет продолжать упорствовать, то надлежит: набежав с размаху, вырвать из оной одного или двух человек, под наименованием зачинщиков, и, отступя от бунтовщиков на некоторое расстояние, немедля распорядиться. Если же и сего недостаточно, то надлежит: отделив из толпы десятых и признав их состоящими на правах зачинщиков, распорядиться подобно как с первыми. По большей части,

сих мероприятий (особенно если они употреблены благовременно и быстро) бывает достаточно; однако может случиться и так, что толпа, как бы окоченев в своей грубости и закоренелости, коснеет в ожесточении. Тогда надлежит палить.

Итак, вот какое существует разнообразие в мероприятиях и какая потребна мудрость в уловлении всех оттенков их. Теперь представим себе, что может произойти, если относительно сей материи будет существовать пагубное градоначальническое многомыслие? А вот что: в одном городе градоначальник будет довольствоваться благоразумными распоряжениями, а в другом, соседнем, другой градоначальник, при тех же обстоятельствах, будет уже палить. А так как у нас все на слухý, то подобное отсутствие единомыслия может в самих обывателях поселить резонное недоумение и даже многомыслие. Конечно, обыватели должны быть всегда готовы к перенесению всякого рода мероприятий, но при сем они не лишены некоторого права на их постепенность. В крайнем случае они могут даже требовать, чтобы с ними первоначально распорядились и только потом уже палили. Ибо, как я однажды сказал, ежели градоначальник будет палить без расчета, то со временем ему

даже не с кем будет распорядиться… И таким образом вновь упразднится административная экономия и вновь нарушится величественная административная стройность.

И еще я сказал: градоначальник обязан насаждать науки. Это так. Но и в сем разе необходимо дать себе отчет: какие науки? Науки бывают разные; одни трактуют об удобрении полей, о построении жилищ человеческих и скотских, о воинской доблести и непреоборимой твердости — сии суть полезные; другие, напротив, трактуют о вредном франмасонском и якобинском вольномыслии, о некоторых, якобы природных человеку, понятиях и правах, причем касаются даже строения мира — сии суть вредные. Что будет, ежели один градоначальник примется насаждать первые науки, а другой — вторые? Во-первых, последний будет за сие предан суду и чрез то лишится права на пенсию; во-вторых, и для самих обывателей будет от того не польза, а вред. Ибо, встретившись где-либо на границе, обыватель одного города будет вопрошать об удобрении полей, а обыватель другого города, не вняв вопрошающего, будет отвечать ему о естественном строении миров. И таким образом, поговорив между собой, разойдутся.

Следственно, необходимость и польза градоначальнического единомыслия очевидны. Развив сию материю в надлежащей полноте, приступим к рассуждению о средствах к ее осуществлению.

Для сего предлагаю кратко:

1) Учредить особливый воспитательный градоначальнический институт. Градоначальники, как особливо обреченные, должны и воспитание получить особливое. Следует градоначальников от сосцов материнских отлучать и воспитывать не обыкновенным материнским млеком, а млеком указов Правительствующего сената и предписаний начальства. Сие есть истинное млеко градоначальниково, и напитавшийся им тверд будет в единомыслии и станет ревниво и строго содержать свое градоначальство. При сем: прочую пищу давать умеренную, от употребления вина воздерживать безусловно, в нравственном же отношении внушать ежечасно, что взыскание недоимок есть первейший градоначальника долг и обязанность. Для удовлетворения воображения допускать картинки. Из наук преподавать три: а) арифметику, как необходимое пособие при взыскании недоимок; б) науку о необходимости очищать улицы от навоза; и в) науку о постепенности мероприятий. В рекреационное время

занимать чтением начальственных предписаний и анекдотов из жизни доблестных администраторов. При такой системе можно сказать наперед: а) что градоначальники будут крепки и б) что они не дрогнут.

2) Издавать надлежащие руководства. Сие необходимо в видах устранения некоторых гнусных слабостей. Хотя и вскормленный суровым градоначальническим млеком, градоначальник устроен, однако же, яко и человеки и, следовательно, имеет некоторые естественные надобности. Одна из сих надобностей — и преимущественнейшая — есть привлекательный женский пол. Нельзя довольно изъяснить, сколь она настоятельна и сколь много от нее ущерба для казны происходит. Есть градоначальники, кои вожделеют ежемгновенно и, находясь в сем достойном жалости виде, оставляют резолюции городнического правления по целым месяцам без утверждения. Надлежит, чтобы упомянутые выше руководства от сей пагубной надобности градоначальников предостерегали и сохраняли супружеское их ложе в надлежащей опрятности. Вторая весьма пагубная слабость есть приверженность градоначальников к утонченному столу и изрядным винам. Есть градоначальни-

ки, кои до того объедаются присылаемыми от купцов стерлядями, что в скором времени тучнеют и делаются к предписаниям начальства весьма равнодушными. Надлежит и в сем случае освежать градоначальников руководительными статьями, а в крайности — даже пригрозить градоначальническим суровым млеком. Наконец, третья и самая гнусная слаб… (Здесь рукопись на несколько строк прерывается, ибо автор, желая засыпать написанное песком, залил, по ошибке, чернилами. Сбоку приписано: «Сие место залито чернилами, по ошибке».)

3) Устраивать от времени до времени секретные в губернских городах градоначальнические съезды. На съездах сих занимать их чтением градоначальнических руководств и освежением в их памяти градоначальнических наук. Увещевать быть твердыми и не взирать.

и 4) Ввести систему градоначальнического единонаграждения. Но материя сия столь обширна, что об ней надеюсь говорить особо.

Утвердившись таким образом в самом центре, единомыслие градоначальническое неминуемо повлечет за собой и единомыслие всеобщее. Всякий обыватель, уразумев, что градоначальники: а) распоряжаются единомысленно, б) палят так-

же единомысленно, — будет единомысленно же и изготовляться к восприятию сих мероприятий. Ибо от такого единомыслия некуда будет им деваться. Не будет, следственно, ни свары, ни розни, а будут распоряжения и пальба повсеместная.

В заключение скажу несколько слов о градоначальническом единовластии и о прочем. Сие также необходимо, ибо без градоначальнического единовластия невозможно и градоначальническое единомыслие. Но на сей счет мнения существуют различные. Одни, например, говорят, что градоначальническое единовластие состоит в покорении стихий. Один градоначальник мне лично сказывал: какие, брат, мы с тобой градоначальники! У меня солнце каждый день на востоке встает, и я не могу распорядиться, чтобы оно вставало на западе! Хотя слова сии принадлежат градоначальнику подлинно образцовому, но я все-таки похвалить их не могу. Ибо желать следует только того, что к достижению возможно; ежели же будешь желать недостижимого, как, например, укрощения стихий, прекращения течения времени и подобного, то сим градоначальническую власть не токмо не возвысишь, а наипаче сконфузишь. Посему о градоначальническом единовластии следует

трактовать совсем не с точки зрения солнечного восхода или иных враждебных стихий, а с точки зрения заседателей, советников и секретарей различных ведомств, правлений и судов. По моему мнению, все сии лица суть вредные, ибо они градоначальнику в его, так сказать, непрерывном административном беге лишь поставляют препоны…

Здесь прерывается это замечательное сочинение. Далее следуют лишь краткие заметки, вроде: «проба пера», «попка дурак», «рапорт», «рапорт», «рапорт» и т. п.

II. О благовидной всех градоначальников наружности

СОЧИНИЛ ГРАДОНАЧАЛЬНИК КНЯЗЬ КСАВЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ МИКАЛАДЗЕ[79]

Необходимо, дабы градоначальник имел наружность благовидную. Чтоб был не тучен и не скареден, рост имел не огромный, но и не слишком малый, сохранял пропорциональность во всех частях тела и лицом обладал чистым, не

[79] Notes: 79

Рукопись эта занимает несколько страничек в четвертую долю листа; хотя правописание ее довольно правильное, но справедливость требует сказать, что автор писал по линейкам. — *Издатель.*

обезображенным ни бородавками, ни (от чего Боже сохрани!) злокачественными сыпями. Глаза у него должны быть серые, способные по обстоятельствам выражать и милосердие, и суровость. Нос надлежащий. Сверх того, он должен иметь мундир.

Излишняя тучность, точно так же как и излишняя скаредность, равно могут иметь неприятные последствия. Я знал одного градоначальника, который хотя и отлично знал законы, но успеха не имел, потому что от туков, во множестве скопленных в его внутренностях, задыхался. Другого градоначальника я знал весьма тощего, который тоже не имел успеха, потому что едва появился в своем городе, как сразу же был прозван от обывателей одною из тощих фараоновых коров, и затем уже ни одно из его распоряжений действительной силы иметь не могло. Напротив того, градоначальник не тучный, но и не тощий, хотя бы и не был сведущ в законах, всегда имеет успех. Ибо он бодр, свеж, быстр и всегда готов.

То, что сказано выше о тучности и скаредности, применяется и к градоначальническому росту. Истинный сей рост — между 6-ю и 8-ю вершками. Поразительны примеры, представляемые неисполнением сего на первый взгляд ничтож-

ного правила. Мне лично известны таковых три. В одной из приволжских губерний градоначальник был роста трех аршин с вершком, и что же? — прибыл в тот город малого роста ревизор, вознегодовал, повел подкопы и достиг того, что сего, впрочем, достойного человека предали суду. В другой губернии столь же рослый градоначальник страдал необыкновенной величины солитером. Наконец, третий градоначальник имел столь малый рост, что не мог вмещать пространных законов и от натуги у́мре. Таким образом, все трое пострадали по причине непоказанного роста.

Сохранение пропорциональности частей тела также немаловажно, ибо гармония есть первейший закон природы. Многие градоначальники обладают длинными руками и за это со временем отрешаются от должностей; многие отличаются особливым развитием иных оконечностей или же уродливою их малостью и от того кажутся смешными или зазорными. Сего всемерно избегать надлежит, ибо ничто так не подрывает власть, как некоторая выдающаяся или заметная для всех гнусность.

Чистое лицо украшает не только градоначальника, но и всякого человека. Сверх того, оно

оказывает многочисленные услуги, из коих первая — доверие начальства. Кожа гладкая без изнеженности, вид смелый без дерзости, физиономия открытая без наглости — все сие пленяет начальство, особливо если градоначальник стоит, подавшись корпусом вперед и как бы устремляясь. Малейшая бородавка может здесь нарушить гармонию и сообщить градоначальнику вид продерзостный. Вторая услуга, оказываемая чистым лицом, есть любовь подчиненных. Когда лицо чисто и притом освежается омовениями, то кожа становится столь блестящею, что делается способною отражать солнечные лучи. Сей вид для подчиненных бывает весьма приятен.

Голос обязан иметь градоначальник ясный и далеко слышный; он должен помнить, что градоначальнические легкие созданы для отдания приказаний. Я знал одного градоначальника, который, приготовляясь к сей должности, нарочно поселился на берегу моря и там во всю мочь кричал. Впоследствии этот градоначальник усмирил одиннадцать больших бунтов, двадцать девять средних возмущений и более полусотни малых недоразумений. И все сие с помощью одного своего далеко слышного голоса.

Теперь о мундире. Вольнодумцы, конечно,

могут (под личною, впрочем, за сие ответственностью) полагать, что пред лицом законов естественных все равно, кованая ли кольчуга или кургузая кучерская поддевка облекают начальника, но в глазах людей опытных и серьезных материя сия всегда будет пользоваться особливым пред всеми другими предпочтением. Почему так? а потому, господа вольнодумцы, что при отправлении казенных должностей мундир, так сказать, предшествует человеку, а не наоборот. Я, конечно, не хочу этим выразить, что мундир может действовать и распоряжаться независимо от содержащегося в нем человека, но, кажется, смело можно утверждать, что при блестящем мундире даже худосочные градоначальники — и те могут быть на службе терпимы. Посему, находя, что все ныне существующие мундиры лишь в слабой степени удовлетворяют этой важной цели, я полагал бы необходимым составить специальную на сей предмет комиссию, которой и препоручить начертать план градоначальнического мундира. С своей стороны, я предвижу возможность подать следующую мысль: коле́т[80] из серебряного глазета, сзади страусовые перья,

[80] Notes: 80
Колет — короткий кавалерийский мундир.

спереди панцирь от кованого золота, штаны глазетовые же и на голове литого золота шишак, увенчанный перьями. Кажется, что, находясь в сем виде, каждый градоначальник в самом скором времени все дела приведет в порядок.

Все сказанное выше о благовидности градоначальников получит еще большее значение, если мы припомним, сколь часто они обязываются иметь секретное обращение с женским полом. Все знают пользу, от сего проистекающую, но и за всем тем сюжет этот далеко не исчерпан. Ежели я скажу, что через женский пол опытный администратор может во всякое время знать все сокровенные движения управляемых, то этого одного уже достаточно, чтобы доказать, сколь важен этот административный метод. Не один дипломат открывал сим способом планы и замыслы неприятелей и через то делал их непригодными; не один военачальник с помощью этой же методы выигрывал сражения или своевременно обращался в бегство. Я же, с своей стороны, изведав это средство на практике, могу засвидетельствовать, что не дальше как на сих днях благодаря оному раскрыл слабые действия одного капитан-исправника, который и был, вследствие того, представлен мною к увольне-

нию от должности.

Затем нелишнее, кажется, будет еще сказать, что, пленяя нетвердый женский пол, градоначальник должен искать уединения и отнюдь не отдавать сих действий своих в жертву гласности или устности. В сем приятном уединении он, под видом ласки или шутливых манер, может узнать много такого, что для самого расторопного сыщика не всегда бывает доступно. Так, например, если сказанная особа — жена ученого, можно узнать, какие понятия имеет ее муж о строении миров, о предержащих властях и т. д. Вообще же необходимым последствием такой любознательности бывает то, что градоначальник в скором времени приобретает репутацию сердцеведца…

Изобразив изложенное выше, я чувствую, что исполнил свой долг добросовестно. Элементы градоначальнического естества столь многочисленны, что, конечно, одному человеку обнять их невозможно. Поэтому и я не хвалюсь, что все обнял и изъяснил. Но пускай одни трактуют о градоначальнической строгости, другие — о градоначальническом единомыслии, третьи — о градоначальническом везде-первоприсутствии; я же, рассказав, что знаю о градоначальнической благовидности, утешаю себя тем,

Что тут и моего хоть капля меду есть...[81]

III. Устав о свойственном градоправителю добросердечии

СОЧИНИЛ ГРАДОНАЧАЛЬНИК БЕНЕВОЛЕНСКИЙ

1. Всякий градоправитель да будет добросердечен.

2. Да памятует градоправитель, что одною строгостью, хотя бы оная была стократ сугуба, ни голода людского утолить, ни наготы человеческой одеть не можно.

3. Всякий градоправитель приходящего к нему из обывателей да выслушает; который же, не выслушав, зачнет кричать, а тем паче бить — и тот будет кричать и бить втуне.

4. Всякий градоправитель, видящий обывателя, занимающегося делом своим, да оставит его при сем занятии беспрепятственно.

5. Всякий да содержит в уме своем, что ежели обыватель временно прегрешает, то оный же еще того более полезных деяний соделывать может.

---

[81] Notes: 81
Из басни И. А. Крылова «Орел и пчела».

6. Посему: ежели кто из обывателей прегрешит, то не тотчас такового усекновению предавать, но прилежно рассматривать, не простирается ли и на него российских законов действие и покровительство.

7. Да памятует градоправитель, что не от кого иного слава Российской империи украшается, а прибытки казны умножаются, как от обывателя.

8. Посему: казнить, расточать или иным образом уничтожать обывателей надлежит с осмотрительностью, дабы не умалился от таковых расточений Российской империи авантаж и не произошло для казны ущерба.

9. Буде который обыватель не приносит даров, то всемерно исследовать, какая тому непринесению причина, и если явится оскудение, то простить, а явится нерадение или упорство, напоминать и вразумлять, доколе не будет исправен.

10. Всякий обыватель да потрудится; потрудившись же, да вкусит отдохновение. Посему: человека гуляющего или мимоидущего за воротник не имать и в съезжий дом не сажать.

11. Законы издавать добрые, человеческому естеству приличные; противоестественных же законов, а тем паче невнятных и к исполнению неудобных, не публиковать.

12. На гуляньях и сборищах народных — людей не давить; напротив того, сохранять на лице благосклонную усмешку, дабы веселящиеся не пришли в испуг.

13. В пище и питии никому препятствия не полагать.

14. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития.

15. В остальном поступать по произволению.

1869–1870



Господа Головлевы



Семейный суд

Однажды бурмистр из дальней вотчины, Антон Васильев, окончив барыне Арине Петровне Головлевой доклад о своей поездке в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян[82] и уже получив от нее разрешение идти в людскую, вдруг как-то таинственно замялся на месте, словно бы за ним было еще какое-то слово и дело, о котором он и решался и не решался доложить.

Арина Петровна, которая насквозь понимала не только малейшие телодвижения, но и тайные помыслы своих приближенных людей, немедленно обеспокоилась.

— Что еще? — спросила она, смотря на бурмистра в упор.

— Все-с, — попробовал было отвильнуть Антон Васильев.

— Не ври! еще есть! по глазам вижу!

Антон Васильев, однако ж, не решался ответить и продолжал переступать с ноги на ногу.

---

[82] Notes: 82

То есть крепостных крестьян, занятых на отхожих промыслах и имеющих временные паспорта.

— Сказывай, какое еще дело за тобой есть? — решительным голосом прикрикнула на него Арина Петровна. — Говори! не виляй хвостом… сума́ переметная!

Арина Петровна любила давать прозвища людям, составлявшим ее административный и домашний персонал. Антона Васильева она прозвала «переметной сумо́й» не за то, чтоб он в самом деле был когда-нибудь замечен в предательстве, а за то, что был слаб на язык. Имение, которым он управлял, имело своим центром значительное торговое село, в котором было большое число трактиров. Антон Васильев любил попить чайку в трактире, похвастаться всемогуществом своей барыни и во время этого хвастовства незаметным образом провирался. А так как у Арины Петровны постоянно были в ходу различные тяжбы, то частенько случалось, что болтливость доверенного человека выводила наружу барынины военные хитрости прежде, нежели они могли быть приведены в исполнение.

— Есть, действительно… — пробормотал наконец Антон Васильев.

— Что? что такое? — взволновалась Арина Петровна.

Как женщина властная и притом в сильной

степени одаренная творчеством, она в одну минуту нарисовала себе картину всевозможных противоречий и противодействий и сразу так усвоила себе эту мысль, что даже побледнела и вскочила с кресла.

— Степан Владимирыч дом-то в Москве продали… — доложил бурмистр с расстановкой.

— Ну?

— Продали-с.

— Почему? как? не мни! сказывай!

— За долги… так нужно полагать! Известно, за хорошие дела продавать не станут.

— Стало быть, полиция продала? суд?

— Стало быть, что так. Сказывают, в восьми тысячах с аукциона дом-то пошел.

Арина Петровна грузно опустилась в кресло и уставилась глазами в окно. В первые минуты известие это, по-видимому, отняло у нее сознание. Если б ей сказали, что Степан Владимирыч кого-нибудь убил, что головлевские мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину или что крепостное право рушилось, — и тут она не была бы до такой степени поражена. Губы ее шевелились, глаза смотрели куда-то вдаль, но ничего не видели. Она не приметила даже, что в это самое время девчонка Дуняшка ринулась

было с разбега мимо окна, закрывая что-то передником, и вдруг, завидев барыню, на мгновение закружилась на одном месте и тихим шагом поворотила назад (в другое время этот поступок вызвал бы целое следствие). Наконец она, однако, опамятовалась и произнесла:

— Какова потеха!

После чего опять последовало несколько минут грозового молчания.

— Так ты говоришь, полиция за восемь тысяч дом-то продала? — переспросила она.

— Так точно.

— Это — родительское-то благословение! Хорош… мерзавец!

Арина Петровна чувствовала, что, ввиду полученного известия, ей необходимо принять немедленное решение, но ничего придумать не могла, потому что мысли ее путались в совершенно противоположных направлениях. С одной стороны, думалось: «Полиция продала! ведь не в одну же минуту она продала! чай, опись была, оценка, вызовы к торгам? Продала за восемь тысяч, тогда как она за этот самый дом два года тому назад собственными руками двенадцать тысяч, как одну копейку, выложила! Кабы знать да ведать, можно бы и самой за восемь-то тысяч

с аукциона приобрести!» С другой стороны, приходило на мысль и то: «Полиция за восемь тысяч продала! Это — родительское-то благословение! Мерзавец! за восемь тысяч родительское благословение спустил!»

— От кого слышал? — спросила наконец она, окончательно остановившись на мысли, что дом уже продан и что, следовательно, надежда приобрести его за дешевую цену утрачена для нее навсегда.

— Иван Михайлов, трактирщик, сказывал.

— А почему он вовремя меня не предупредил?

— Поопасился, стало быть.

— Поопасился! вот я ему покажу: «поопасился»! Вызвать его из Москвы, и как явится — сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить! «Поопасился»!

Хотя крепостное право было уже на исходе, но еще существовало. Не раз случалось Антону Васильеву выслушивать от барыни самые своеобразные приказания, но настоящее ее решение было до того неожиданно, что даже и ему сделалось не совсем ловко. Прозвище «сума́ переметная» невольно ему при этом вспомнилось. Иван Михайлов был мужик обстоятельный, об котором и в голову не могло прийти, чтобы над

ним могла стрястись какая-нибудь беда. Сверх того, это был его приятель душевный и кум — и вдруг его в солдаты, ради того только, что он, Антон Васильев, как сумá переметная, не сумел язык за зубами попридержать!

— Простите… Ивана-то Михайлыча! — заступился было он.

— Ступай… потатчик! — прикрикнула на него Арина Петровна, но таким голосом, что он и не подумал упорствовать в дальнейшей защите Ивана Михайлова.

Но прежде, нежели продолжать мой рассказ, я попрошу читателя поближе познакомиться с Ариной Петровной Головлевой и семейным ее положением.

* * *

Арина Петровна — женщина лет шестидесяти, но еще бодрая и привыкшая жить на всей своей воле. Держит она себя грозно; единолично и бесконтрольно управляет обширным головлевским имением, живет уединенно, расчетливо, почти скупо, с соседями дружбы не водит, местным властям доброхотствует, а от детей требует, чтоб они были в таком у нее послушании, чтобы при каждом поступке спрашивали себя: что-то об

этом маменька скажет? Вообще имеет характер самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочем, немало способствует и то, что во всем головлевском семействе нет ни одного человека, со стороны которого она могла бы встретить себе противодействие. Муж у нее — человек легкомысленный и пьяненький (Арина Петровна охотно говорит об себе, что она — ни вдова, ни мужняя жена); дети частью служат в Петербурге, частью — пошли в отца и, в качестве «постылых», не допускаются ни до каких семейных дел. При этих условиях Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, так что, говоря по правде, даже от семейной жизни совсем отвыкла, хотя слово «семья» не сходит с ее языка и, по наружности, всеми ее действиями исключительно руководят непрестанные заботы об устройстве семейных дел.

Глава семейства, Владимир Михайлыч Головлев, еще смолоду был известен своим безалаберным и озорным характером, и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и деловитостью, никогда ничего симпатичного не представлял. Он вел жизнь праздную и бездельную, чаще всего запирался у себя в кабинете, подражал пению скворцов, петухов и т. д. и за-

нимался сочинением так называемых «вольных стихов». В минуты откровенных излияний он хвастался тем, что был другом Баркова и что последний будто бы даже благословил его на одре смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего мужа, называла их паскудством и паясничаньем, а так как Владимир Михайлыч собственно для того и женился, чтобы иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов, то понятно, что размолвки не заставили долго ждать себя. Постепенно разрастаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились, со стороны жены, полным и презрительным равнодушием к мужу-шуту, со стороны мужа — искреннею ненавистью к жене, ненавистью, в которую, однако ж, входила значительная доля трусости. Муж называл жену «ведьмою» и «чертом», жена называла мужа — «ветряною мельницей» и «бесструнной балалайкой». Находясь в таких отношениях, они пользовались совместною жизнью в продолжение с лишком сорока лет, и никогда ни тому, ни другой не приходило в голову, чтобы подобная жизнь заключала в себе что-либо противоестественное. С течением времени озорливость Владимира Михайлыча не только не уменьшилась, но даже приобрела еще более злостный

характер. Независимо от стихотворных упражнений в барковском духе, он начал попивать и охотно подкарауливал в коридоре горничных девок. Сначала Арина Петровна отнеслась к этому новому занятию своего мужа брезгливо и даже с волнением (в котором, однако ж, больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность), но потом махнула рукой и наблюдала только за тем, чтоб девки-поганки не носили барину ерофеича. С тех пор, сказавши себе раз навсегда, что муж ей не товарищ, она все внимание свое устремила исключительно на один предмет: на округление головлевского имения, и действительно, в течение сорокалетней супружеской жизни успела удесятерить свое состояние. С изумительным терпением и зоркостью подкарауливала она дальние и ближние деревни, разузнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекунскому совету[83] и всегда как снег на голову являлась на аукционах. В круговороте этой фанатической погони за благоприобретением Владимир Михайлыч все дальше и дальше уходил на задний план, а наконец и совсем одичал. В минуту, когда начинается этот рассказ,

[83] Notes: 83
Опекунский совет выдавал ссуды под залог имений.

это был уже дряхлый старик, который почти не оставлял постели, а ежели изредка и выходил из спальной, то единственно для того, чтоб просунуть голову в полурастворенную дверь жениной комнаты, крикнуть: «Черт!» — и опять скрыться.

Немного более счастлива была Арина Петровна и в детях. У нее была слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в детях что-нибудь, кроме лишней обузы. Она только тогда дышала свободно, когда была одна со своими счетами и хозяйственными предприятиями, когда никто не мешал ее деловым разговорам с бурмистрами, старостами, ключницами и т. д. В ее глазах дети были одною из тех фаталистических жизненных обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе протестовать, но которые тем не менее не затрогивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства. Детей было четверо: три сына и дочь. О старшем сыне и об дочери она даже говорить не любила; к младшему сыну была более или менее равнодушна и только среднего, Порфишу, не то чтоб любила, а словно побаивалась.

Степан Владимирыч, старший сын, об кото-

ром преимущественно идет речь в настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки-балбеса и Степки-озорника. Он очень рано попал в число «постылых» и с детских лет играл в доме роль не то парии, не то шута. К несчастью, это был даровитый малый, слишком охотно и быстро воспринимавший впечатления, которые вырабатывала окружающая среда. От отца он перенял неистощимую проказливость, от матери — способность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря первому качеству, он скоро сделался любимцем отца, что еще больше усилило нелюбовь к нему матери. Часто, во время отлучек Арины Петровны по хозяйству, отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова, читали стихи вольного содержания и судачили, причем в особенности доставалось «ведьме», то есть Арине Петровне. Но «ведьма» словно чутьем угадывала их занятия; неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избиение Степки-балбеса. Но Степка не унимался; он был нечувствителен ни к побоям, ни к увещаниям и через полчаса опять принимался куролесить. То косынку у девки Анютки

изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог (Арина Петровна, из экономии, держала детей впроголодь), который, впрочем, тут же разделит с братьями.

— Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна. — Убью — и не отвечу! И царь меня не накажет за это!

Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, повадливый до буффонства, не знающий чувства меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно: пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.

Двадцати лет Степан Головлев кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтоб не пропасть с голода; во-вторых, в нем не оказывалось ни малейшего позыва к труду, а взамен того гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способности к передраз-

ниванью; в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и pique-assiette'a[84] и, благодаря своей податливости на всякую штуку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация. Ставши однажды на эту почву, он естественно тяготел все ниже и ниже, так что к концу 4-го курса вышутился окончательно. Тем не меньше, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, он выдержал экзамен с успехом и получил степень кандидата.

Когда он явился к матери с дипломом, Арина Петровна только пожала плечами и промолвила: дивлюсь! Затем, продержав с месяц в деревне, отправила его в Петербург, назначив на прожиток по сту рублей ассигнациями в месяц. Начались скитания по департаментам и канцеляриям. Протекций у него не было, охоты пробить дорогу личным трудом — никакой. Праздная мысль

---

[84] Notes: 84
Нахлебника *(фр.)*.

молодого человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрократические испытания вроде докладных записок и экстрактов из дел оказывались для нее непосильными. Четыре года бился Головлев в Петербурге и наконец должен был сказать себе, что надежда устроиться когда-нибудь выше канцелярского чиновника для него не существует. В ответ на его сетования Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами: «Я зараньше в сем была уверена» — и кончавшееся приказанием явиться в Москву. Там, в совете излюбленных крестьян, было решено определить Степку-балбеса в надворный суд[85], поручив его надзору подьячего, который исстари ходатайствовал по головлевским делам. Что делал и как вел себя Степан Владимирыч в надворном суде — неизвестно, но через три года его уже там не было. Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю меру: она «выбросила сыну кусок», который, впрочем, в то же время должен был изображать собою и «родительское благословение». Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила двенадцать тысяч рублей.

---

[85] Notes: 85

Надворный суд — учреждение для разбора гражданских и уголовных дел, касающихся собственности.

В первый раз в жизни Степан Головлев вздохнул свободно. Дом обещал давать тысячу рублей серебром дохода, и сравнительно с прежним эта сумма представлялась ему чем-то вроде заправского благосостояния. Он с увлечением поцеловал у маменьки ручку («то-то же, смотри у меня, балбес! не жди больше ничего!» — молвила при этом Арина Петровна) и обещал оправдать оказанную ему милость. Но увы! он так мало привык обращаться с деньгами, так нелепо понимал размеры действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень ненадолго. В какие-нибудь четыре-пять лет он прогорел окончательно и был рад-радехонек поступить в качестве заместителя в ополчение, которое в это время формировалось[86]. Ополчение, впрочем, дошло только до Харькова, как был заключен мир, и Головлев опять вернулся в Москву. Его дом был уже в это время продан. На нем был ополченский мундир, довольно, однако ж, потертый, на ногах — сапоги навыпуск, и в кармане — сто рублей денег. С этим капиталом он поднялся было на спекуляцию, то есть стал играть в карты, и

[86] Notes: 86

В 1855 году во время Крымской войны (1853–1856) было объявлено всеобщее ополчение; не желавшие воевать дворяне могли нанимать себе «заместителей».

невдолге проиграл всё. Тогда он принялся ходить по зажиточным крестьянам матери, жившим в Москве своим хозяйством; у кого обедал, у кого выпрашивал четвертку табаку, у кого по мелочи занимал. Но наконец наступила минута, когда он, так сказать, очутился лицом к лицу с глухой стеной. Ему было уже под сорок, и он вынужден был сознаться, что дальнейшее бродячее существование для него не по силам. Оставался один путь — в Головлево.

После Степана Владимирыча старшим членом головлевского семейства была дочь, Анна Владимировна, о которой Арина Петровна тоже не любила говорить.

Дело в том, что на Аннушку Арина Петровна имела виды, а Аннушка не только не оправдала ее надежд, но вместо того на весь уезд учинила скандал. Когда дочь вышла из института, Арина Петровна поселила ее в деревне, в чаянье сделать из нее дарового домашнего секретаря и бухгалтера, а вместо того Аннушка в одну прекрасную ночь бежала из Головлева с корнетом Улановым и повенчалась с ним.

— Так, без родительского благословения, как собаки, и повенчались! — сетовала по этому случаю Арина Петровна. — Да хорошо еще, что кругом

налоя-то муженек обвел! Другой бы попользовался — да и был таков! Ищи его потом да свищи!

И с дочерью Арина Петровна поступила столь же решительно, как и с постылым сыном: взяла и «выбросила ей кусок». Она отделила ей капитал в пять тысяч и деревнюшку в тридцать душ с упало́ю усадьбой, в которой изо всех окон дуло и не было ни одной живой половицы. Года через два молодые капитал прожили, и корнет неизвестно куда бежал, оставив Анну Владимировну с двумя дочерьми-близнецами: Аннинькой и Любинькой. Затем и сама Анна Владимировна через три месяца скончалась, и Арина Петровна волей-неволей должна была приютить круглых сирот у себя. Что́ она и исполнила, поместив малюток во флигеле и приставив к ним кривую старуху Палашку.

— У Бога милостей много, — говорила она при этом, — сиротки хлеба не бог знает что́ съедят, а мне на старости лет — утешение! Одну дочку Бог взял — двух дал!

И в то же время писала к сыну Порфирию Владимирычу: «Как жила твоя сестрица беспутно, так и умерла, покинув мне на шею своих двух щенков…»

Вообще, как ни циничным может показаться

это замечание, но справедливость требует сознаться, что оба эти случая, по поводу которых произошло «выбрасывание кусков», не только не произвели ущерба в финансах Арины Петровны, но косвенным образом даже способствовали округлению головлевского имения, сокращая число пайщиков в нем. Ибо Арина Петровна была женщина строгих правил и, раз «выбросивши кусок», уже считала покончеными все свои обязанности относительно постылых детей. Даже при мысли о сиротах-внучках ей никогда не представлялось, что со временем придется что-нибудь уделить им. Она старалась только как можно больше выжать из маленького имения, отделенного покойной Анне Владимировне, и откладывать выжатое в опекунский совет. Причем говорила:

— Вот и для сирот денежки прикапливаю, а что они прокормлением да уходом стоят — ничего уж с них не беру! За мою хлеб-соль, видно, Бог мне заплатит!

Наконец, младшие дети, Порфирий и Павел Владимирычи, находились на службе в Петербурге: первый — по гражданской части, второй — по военной. Порфирий был женат, Павел — холостой.

Порфирий Владимирыч известен был в семействе под тремя именами: Иудушки, кровопивушки и откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какою-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваньям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя: яд или сыновнюю почтительность.

— И сама понять не могу, что у него за глаза такие, — рассуждала она иногда сама с собою, — взглянет — ну, словно вот петлю закидывает. Так вот и поливает ядом, так и подманивает!

И припомнились ей при этом многознаменательные подробности того времени, когда она еще была «тяжела» Порфишей. Жил у них тогда в доме некоторый благочестивый и прозорливый

старик, которого называли Порфишей-блаженненьким и к которому она всегда обращалась, когда желала что-либо провидеть в будущем. И вот этот-то самый старец, когда она спросила его, скоро ли последуют роды и кого-то Бог даст ей, сына или дочь, — ничего прямо ей не ответил, но три раза прокричал петухом и вслед за тем пробормотал:

— Петушок, петушок! востер ноготок! Петух кричит, наседке грозит; наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет!

И только. Но через три дня (вот оно — три раза-то прокричал!) она родила сына (вот оно — петушок-петушок!), которого и назвали Порфирием, в честь старца-провидца…

Первая половина пророчества исполнилась; но что могли означать таинственные слова: «Наседка — ку-дах-тах-тах, да поздно будет»? — вот об этом-то и задумывалась Арина Петровна, взглядывая из-под руки на Порфишу, покуда тот сидел в своем углу и смотрел на нее своим загадочным взглядом.

А Порфиша продолжал себе сидеть кротко и бесшумно и все смотрел на нее, смотрел до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его подергивались слезою. Он как

бы провидел сомнения, шевелившиеся в душе матери, и вел себя с таким расчетом, что самая придирчивая подозрительность — и та должна была признать себя безоружною перед его кротостью. Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у ней на глазах, словно говорил: «Смотри на меня! Я ничего не утаиваю! Я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». И как ни сильно говорила в ней уверенность, что Порфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтоб передать его ласковому сыну, несмотря на то что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго.

Совершенную противоположность с Порфирием Владимирычем представлял брат его, Павел Владимирыч. Это было полнейшее олицетворение человека, лишенного каких бы то ни было поступков. Еще мальчиком он не выказывал ни малейшей склонности ни к ученью, ни к играм, ни к общительности, но любил жить особняком, в отчуждении от людей. Забьется, бывало, в угол, надуется и начнет фантазировать. Представ-

ляется ему, что он толокна наелся, что от этого ноги сделались у него тоненькие и он не учится. Или — что он не Павел-дворянский сын, а Давыдка-пастух, что на лбу у него выросла болона́[87], как и у Давыдки, что он арапником[88] щелкает и не учится. Поглядит-поглядит, бывало, на него Арина Петровна, и так и раскипятится ее материнское сердце.

— Ты что как мышь на крупу надулся! — не утерпит, прикрикнет она на него. — Или уж с этих пор в тебе яд-то действует! нет того, чтобы к матери подойти: маменька, мол, приласкайте меня, душенька!

Павлуша покидал свой угол и медленными шагами, словно его в спину толкали, приближался к матери.

— Маменька, мол, — повторял он каким-то неестественным для ребенка басом, — приласкайте меня, душенька!

— Пошел с моих глаз… тихоня! ты думаешь, что забьешься в угол, так я и не понимаю? Насквозь тебя понимаю, голубчик! все твои планы-прожекты как на ладони вижу!

---

[87] Notes: 87
Болона — здесь: шишка, опухоль.

[88] Notes: 88
Арапник — охотничий бич, кнут.

И Павел тем же медленным шагом отправлялся назад и забивался опять в свой угол.

Шли годы, и из Павла Владимирыча постепенно образовывалась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, из которой в конечном результате получается человек, лишенный поступков. Может быть, он был добр, но никому добра не сделал; может быть, был и неглуп, но во всю жизнь ни одного умного поступка не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его гостеприимство; он охотно тратил деньги, но ни полезного, ни приятного результата от этих трат ни для кого никогда не происходило; он никого никогда не обидел, но никто этого не вменял ему в достоинство; он был честен, но не слыхали, чтоб кто-нибудь сказал: ка́к честно поступил в таком-то случае Павел Головлев! В довершение всего он нередко огрызался против матери и в то же время боялся ее как огня. Повторяю: это был человек угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствие поступков — и ничего больше.

В зрелом возрасте различие характеров обоих братьев всего резче высказалось в их отношениях к матери. Иудушка каждую неделю аккуратно слал к маменьке обширное послание, в котором пространно уведомлял ее о всех подробностях

петербургской жизни и в самых изысканных выражениях уверял в бескорыстной сыновней преданности. Павел писал редко и кратко, а иногда даже загадочно, словно клещами вытаскивал из себя каждое слово. «Деньги столько-то и на такой-то срок, бесценный друг маменька, от доверенного вашего, крестьянина Ерофеева, получил, — уведомлял, например, Порфирий Владимирыч, — а за присылку оных, для употребления на мое содержание, согласно вашему, милая маменька, соизволению, приношу чувствительнейшую благодарность и с нелицемерною сыновнею преданностью целую ваши ручки. Об одном только грущу и сомнением мучусь: не слишком ли утруждаете вы драгоценное ваше здоровье непрерывными заботами об удовлетворении не только нужд, но и прихотей наших?! Не знаю, как брат, а я»… и т. д. А Павел, по тому же поводу, выражался: «Деньги столько-то на такой-то срок, дражайшая родительница, получил, и, по моему расчету, следует мне еще шесть с полтиной дополучить, в чем и прошу вас меня почтеннейше извинить». Когда Арина Петровна посылала детям выговоры за мотовство (это случалось нередко, хотя серьезных поводов и не было), то Порфиша всегда с смирением покорялся

этим замечаниям и писал: «Знаю, милый дружок маменька, что вы несете непосильные тяготы ради нас, недостойных детей ваших; знаю, что мы очень часто своим поведением не оправдываем ваших материнских об нас попечений и, что всего хуже, по свойственному человекам заблуждению, даже забываем о сем, в чем и приношу вам искреннее сыновнее извинение, надеясь со временем от порока сего избавиться и быть в употреблении присылаемых вами, бесценный друг маменька, на содержание и прочие расходы денег осмотрительным». А Павел отвечал так: «Дражайшая родительница! хотя вы долгов за меня еще не платили, но выговор в названии меня мотом беспрепятственно принимаю, в чем и прошу чувствительнейше принять уверение». Даже на письмо Арины Петровны, с извещением о смерти сестрицы Анны Владимировны, оба брата отозвались различно. Порфирий Владимирыч писал: «Известие о кончине любезной сестрицы и доброй подруги детства Анны Владимировны поразило мое сердце скорбию, каковая скорбь еще более усилилась при мысли, что вам, милый друг маменька, посылается еще новый крест в лице двух сирот-малюток. Ужели еще недостаточно, что вы, общая наша благодетельница, во

всем себе отказываете и, не щадя своего здоровья, все силы к тому направляете, дабы обеспечить свое семейство не только нужным, но и излишним? Право, хоть и грешно, но иногда невольно поропщешь. И единственное, по моему мнению, для вас, родная моя, в настоящем случае, убежище — это сколь можно чаще припоминать, что вытерпел сам Христос». Павел же писал: «Известие о кончине сестры, погибшей жертвою, получил. Впрочем, надеюсь что Всевышний успокоит ее в своих сенях, хотя сие и неизвестно».

Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей и все старалась угадать, который из них ей злодеем будет. Прочтет письмо Порфирия Владимирыча, и кажется, что вот он-то и есть самый злодей.

— Ишь ведь как пишет! ишь как языком-то вертит! — восклицала она. — Недаром Степка-балбес Иудушкой его прозвал! Ни одного-то ведь слова верного нет! Всё-то он лжет! и «милый дружок маменька», и про тягости-то мои, и про крест-то мой… ничего он этого не чувствует!

Потом примется за письмо Павла Владимирыча, и опять чудится, что вот он-то и есть ее будущий злодей.

— Глуп-глуп, а смотри, как исподтишка мать

козыряет! «В чем и прошу чувствительнейше принять уверение...», милости просим! Вот я тебе покажу, что значит «чувствительнейше принимать уверение»! Выброшу тебе кусок, как Степке-балбесу, — вот ты и узнаешь тогда, как я понимаю твои «уверения»!

И в заключение из ее материнской груди вырывался поистине трагический вопль:

— И для кого я всю эту прорву коплю! для кого я припасаю! ночей недосыпаю, куска недоедаю... для кого?!

Таково было семейное положение Головлевых в ту минуту, когда бурмистр Антон Васильев доложил Арине Петровне о промотании Степкой-балбесом «выброшенного куска», который, ввиду дешевой его продажи, получал уже сугубое значение «родительского благословения».

* * *

Арина Петровна сидела в спальной и не могла прийти в себя. Что-то такое шевелилось у нее внутри, в чем она не могла отдать себе ясного отчета. Участвовала ли тут каким-то чудом явившаяся жалость к постылому, но все-таки сыну или говорило одно нагое чувство оскорбленного самовластия — этого не мог бы определить

самый опытный психолог: до такой степени перепутывались и быстро сменялись в ней все чувства и ощущения. Наконец из общей массы накопившихся представлений яснее других выделилось опасение, что «постылый» опять сядет ей на шею.

«Анютка щенков своих навязала, да вот еще балбес…» — рассчитывала она мысленно.

Долго просидела она таким образом, не молвив ни слова и смотря в окно в одну точку. Принесли обед, до которого она почти не коснулась; пришли сказать: барину водки пожалуйте! — она, не глядя, швырнула ключ от кладовой. После обеда она ушла в образную, велела засветить все лампадки и затворилась, предварительно заказав истопить баню. Все это были признаки, которые несомненно доказывали, что барыня «гневается», и потому в доме все вдруг смолкло, словно умерло. Горничные ходили на цыпочках; ключница Акулина совалась как помешанная: назначено было после обеда варенье варить, и вот пришло время, ягоды вычищены, готовы, а от барыни ни приказу, ни отказу нет; садовник Матвей пришел было с вопросом, не пора ли персики обирать, но в девичьей так на него цыкнули, что он немедленно отретировался.

Помолившись Богу и вымывшись в баньке, Арина Петровна почувствовала себя несколько умиротворенною и вновь потребовала Антона Васильева к ответу.

— Ну а что же балбес делает? — спросила она.

— Москва велика — и в год ее всю не исходить!

— Да ведь, чай, пить, есть надо?

— Около своих мужичков прокармливаются. У кого пообедают, у кого на табак гривенничек выпросят.

— А кто позволил давать?

— Помилуйте, сударыня! Мужички разве обижаются! Чужим неимущим подают, а уж своим господам отказать!

— Вот я им ужо… подавальщикам! Сошлю балбеса к тебе в вотчину, и содержите его всем обществом на свой счет!

— Вся ваша власть, сударыня.

— Что? что ты такое сказал?

— Вся, мол, ваша власть, сударыня. Прикажете, так и прокормим!

— То-то… прокормим! ты у меня говори, да не заговаривайся!

Молчание. Но Антон Васильев недаром получил от барыни прозвище переметной сумы. Он не вытерпливает и вновь начинает топтаться на

месте, сгорая желанием нечто доложить.

— Да еще какой прокурат! — наконец произносит он. — Сказывают, как из похода-то воротился, сто рублей денег с собой принес. Не велики деньги сто рублей, а и на них бы сколько-нибудь прожить можно…

— Ну?

— Поправиться, вишь, полагал, в аферу пустился…

— Говори, не мни!

— В немецкое, чу, собрание[89] свез. Думал дурака найти в карты обыграть, ан, заместо того, сам на умного попался. Он было и наутек, да в прихожей, сказывают, задержали. Что было денег — все обрали!

— Чай, и бокам досталось?

— Было всего. На другой день приходит к Ивану Михайлычу, да сам же и рассказывает. И даже удивительно это: смеется… веселый! словно бы его по головке погладили!

— Ништо ему! лишь бы ко мне на глаза не показывался!

— А надо полагать, что так будет.

— Что́ ты! да я его на порог к себе не пущу!

---

[89] Notes: 89

По-видимому, Немецкий клуб, существовавший в Москве с начала XIX века.

— Не иначе, что так будет, — повторяет Антон Васильев, — и Иван Михайлыч сказывал, что он проговаривался: шабаш! говорит, пойду к старухе хлеб всухомятку есть! Да ему, сударыня, коли по правде сказать, и деваться-то, окроме здешнего места, некуда. По своим мужичкам долго в Москве не находится. Одежа тоже нужна, спокой…

Вот этого-то именно и боялась Арина Петровна, это-то именно и составляло суть того неясного представления, которое бессознательно тревожило ее. «Да, он явится, ему некуда больше идти — этого не миновать! Он будет здесь, вечно у нее на глазах, клятой, постылый, забытый! Для чего же она выбросила ему в то время „кусок“? Она думала, что, получивши „что следует“, он канул в вечность, — ан он возрождается! Он придет, будет требовать, будет всем мозолить глаза своим нищенским видом. И надо будет удовлетворять его требованиям, потому что он человек наглый, готовый на всякое буйство. „Его“ не спрячешь под замок; „он“ способен и при чужих явиться в отребье, способен произвести дебош, бежать к соседям и рассказать им вся сокровенная головлевских дел. Сослать его разве в Суздаль-мо-

настырь?[90] — Но кто ж его знает, полно, есть ли еще этот Суздаль-монастырь, и в самом ли деле он для того существует, чтоб освобождать огорченных родителей от лицезрения строптивых детей? Сказывают еще, что смирительный дом есть… да ведь смирительный дом — ну, как ты его туда, экого сорокалетнего жеребца, приведешь?» Одним словом, Арина Петровна совсем растерялась при одной мысли о тех невзгодах, которые грозят взбудоражить ее мирное существование с приходом Степки-балбеса.

— Я его к тебе в вотчину пришлю! корми на свой счет! — пригрозилась она бурмистру. — Не на вотчинный счет, а на собственный свой!

— За что так, сударыня?

— А за то, что не каркай. Кра! кра! «Не иначе, что так будет»… пошел с моих глаз долой… ворона!

Антон Васильев повернул было налево кругом, но Арина Петровна вновь остановила его.

— Стой! погоди! так это верно, что он в Головлево лыжи навострил? — спросила она.

— Стану ли я, сударыня, лгать! Верно говорил: к старухе пойду хлеб всухомятку есть!

— Вот я ему покажу ужо, какой для него у ста-

---

[90] Notes: 90

То есть Спасо-Евфимиевский мужской монастырь в городе Суздале Владимирской губернии.

рухи хлеб припасен!

— Да что, сударыня, недолго он у вас наживет!

— А что такое?

— Да кашляет оченно сильно… за левую грудь все хватается… Не заживется!

— Этакие-то, любезный, еще дольше живут! и нас всех переживет! Кашляет да кашляет — что ему, жеребцу долговязому, делается! Ну, да там посмотрим. Ступай теперь: мне нужно распоряжение сделать.

Весь вечер Арина Петровна думала и наконец-таки надумала: созвать семейный совет для решения балбесовой участи. Подобные конституционные замашки не были в ее нравах, но на этот раз она решилась отступить от преданий самодержавия, дабы решением всей семьи оградить себя от нареканий добрых людей. В исходе предстоящего совещания она, впрочем, не сомневалась и потому с легким духом села за письма, которыми предписывалось Порфирию и Павлу Владимирычам немедленно прибыть в Головлево.

* * *

Покуда все это происходило, виновник кутерьмы, Степка-балбес, уж подвигался из Москвы по

направлению к Головлеву. Он сел в Москве, у Рогожской, в один из так называемых «дележанов», в которых в былое время езжали, да и теперь еще кой-где ездят мелкие купцы и торгующие крестьяне, направляясь в свое место в побывку. «Дележан» ехал по направлению к Владимиру, и тот же сердобольный трактирщик Иван Михайлыч вез на свой счет Степана Владимирыча, взявши для него место и уплачивая за его харчи в продолжение всей дороги.

— Так уж вы, Степан Владимирыч, так и сделайте: на повертке слезьте, да пешком, как есть в костюме — так и отъяви́тесь к маменьке! — условливался с ним Иван Михайлыч.

— Так, так, так! — подтверждал и Степан Владимирыч. — Много ли от повертки — пятнадцать верст пешком пройти! мигом отхватаю! В пыли, в навозе — так и явлюсь!

— Увидит маменька в костюме-то — может, и пожалеет!

— Пожалеет, как не пожалеть! Мать — ведь она старуха добрая!

Степану Головлеву нет еще сорока лет, но по наружности ему никак нельзя дать меньше пятидесяти. Жизнь до такой степени истрепала его, что не оставила на нем никакого признака

дворянского сына, ни малейшего следа того, что и он был когда-то в университете и что и к нему тоже было обращено воспитательное слово науки. Это — чрезмерно длинный, нечесаный, почти немытый малый, худой от недостатка питания, с впалою грудью, с длинными, загребистыми руками. Лицо у него распухшее, волосы на голове и бороде растрепанные, с сильною проседью, голос громкий, но сиплый, простуженный, глаза навыкате и воспаленные, частью от непомерного употребления водки, частью от постоянного нахождения на ветру. На нем ветхая и совершенно затасканная серая ополченка, галуны с которой содраны и проданы на выжигу[91]; на ногах — стоптанные, порыжелые и заплатанные сапоги навыпуск; из-за распахнутой ополченки виднеется рубашка, почти черная, словно вымазанная сажей, — рубашка, которую он с истинно ополченским цинизмом сам называет «блошни́цею». Смотрит он исподлобья, угрюмо, но эта угрюмость не выражает внутреннего недовольства, а есть следствие какого-то смутного беспокойства, что вот-вот еще минута, и он, как червяк, подох-

[91] Notes: 91

Выжига — здесь: чистое серебро, которое остается по сожжении прядeного или тканого серебра (*галун* — нашивка на форменной одежды из тесьмы, шитой серебром).

нет с голоду.

Говорит он без умолку, без связи перескакивая с одного предмета на другой; говорит и тогда, когда Иван Михайлыч слушает его, и тогда, когда последний засыпает под музыку его говора. Ему ужасно неловко сидеть. В «дележане» поместилось четыре человека, а потому приходится сидеть, скрючивши ноги, что уже на протяжении трех-четырех верст производит невыносимую боль в коленках. Тем не менее, несмотря на боль, он постоянно говорит. Облака пыли врываются в боковые отверстия повозки; по временам заползают туда косые лучи солнца, и вдруг, словно полымем, обожгут всю внутренность «дележана», а он все говорит.

— Да, брат, тяпнул-таки я на своем веку горя, — рассказывает он, — пора и на боковую! Не объем же ведь я ее, а куска-то хлеба, чай, как не найтись! Ты как, Иван Михайлыч, об этом думаешь?

— У маменьки вашей много кусков!

— Только не про меня — так, что ли, хочешь сказать? Да, дружище, деньжищ у нее — целая прорва, а для меня пятака медного жаль! И ведь всегда-то она меня, ведьма, ненавидела! За что? Ну да теперь, брат, шалишь! с меня взятки-то гладки, я и за горло возьму! Выгнать меня взду-

мает — не пойду! Есть не даст — сам возьму! Я, брат, отечеству послужил — теперь мне всякий помóчь обязан! Одного боюсь: табаку не будет давать — скверность!

— Да, уж с табачком, видно, проститься придется!

— Так я бурмистра[92] за бока! может лысый черт и подарить барину!

— Подарить, отчего не подарить! А ну, как она, маменька-то ваша, и бурмистру запретит?

— Ну, тогда я уж совсем мат; только одна роскошь у меня и осталась от прежнего великолепия — это табак! Я, брат, как при деньгах был, в день по четвертке Жукова выкуривал![93]

— Вот и с водочкой тоже проститься придется!

— Тоже скверность. А мне водка даже для здоровья полезна — мокроту разбивает. Мы, брат, как походом под Севастополь шли — еще до Серпухова не дошли, а уж по ведру на брата вышло!

— Чай, очунели?

— Не помню. Кажется, что-то было. Я, брат, вплоть до Харькова дошел, а хоть убей — ничего не помню. Помню только, что и деревнями шли,

---

[92] Notes: 92
Бурмистр — управляющий имением.

[93] Notes: 93
То есть табак фабрики В. Г. Жукова.

и городами шли, да еще, что в Туле откупщик[94] нам речь говорил. Прослезился, подлец! Да, тяпнула-таки в ту пору горя наша матушка-Русь православная! Откупщики, подрядчики, приемщики — как только Бог спас!

— А вот маменьке вашей так и тут барышок вышел. Из нашей вотчины больше половины ратников домой не вернулось, так за каждого, сказывают, зачетную рекрутскую квитанцию[95] нынче выдать велят. Ан она, квитанция-то, в казне с лишком четыреста стоит.

— Да, брат, у нас мать — умница! Ей бы министром следовало быть, а не в Головлеве пенки с варенья снимать! Знаешь ли что! Несправедлива она ко мне была, обидела она меня, — а я ее уважаю! Умна как черт, вот что главное! Кабы не она — что бы мы теперь были? Были бы при одном Головлеве — сто одна душа с половиной! А она — посмотри, какую чертову пропасть она накупила!

— Будут ваши братцы при капитале!

---

[94] Notes: 94

Откупщик — купец, за деньги приобретший право на какой-нибудь род государственных доходов, налогов.

[95] Notes: 95

Государство продавало рекрутские зачетные квитанции, которые могли быть предъявлены при очередном рекрутском наборе и давали возможность (как и откуп) не служить в армии.

— Будут. Вот я так ни при чем останусь — это верно! Да, вылетел, брат, я в трубу! А братья будут богаты, особливо Кровопивушка. Этот без мыла в душу влезет. А впрочем, он ее, старую ведьму, со временем порешит; он и именье, и капитал из нее высосет — я на эти дела провидец! Вот Павел-брат — тот душа-человек! он мне табаку потихоньку пришлет — вот увидишь! Как приеду в Головлево — сейчас ему цидулу[96]: так и так, брат любезный, — успокой! Э-э-эх, эхма! вот кабы я богат был!

— Что ж бы вы сделали?

— Во-первых, сейчас бы тебя озолотил…

— Меня зачем же! Вы об себе, а я и так, по милости вашей маменьки, доволен.

— Ну нет — это, брат, ата́нде![97] — я бы тебя главнокомандующим надо всеми имениями сделал! Да, друг, накормил, обогрел ты служивого — спасибо тебе! Кабы не ты, понтировал бы я теперь пешедралом до дома предков моих! И вольную бы тебе сейчас в зубы, и все бы перед

---

[96] Notes: 96

Цидула — записка, письмецо.

[97] Notes: 97

Атанде (*фр.* attendez — подождите) — термин из карточных игр, означающий «подождите, не делайте ставок»; переносное значение — «довольно, хватит с вас» *(разг.)*.

тобой мои сокровища открыл — пей, ешь и веселись! А ты как обо мне полагал, дружище?

— Нет, уж про меня вы, сударь, оставьте. Что бы еще-то вы сделали, кабы богаты были?

— Во-вторых, сейчас бы штучку себе завел. В Курске ходил я к владычице молебен служить, так одну видел… ах, хороша штучка! Веришь ли, ни одной-то минуты не было, чтоб она спокойно на месте постояла!

— А может, она бы в штучки-то и не пошла?

— А деньги на что! презренный металл на что? Мало ста тысяч — двести бери! Я, брат, коли при деньгах, ничего не пожалею, только чтоб в свое удовольствие пожить! Я, признаться сказать, ей и в ту пору через ефрейтора три целковеньких посулил — пять, бестия, запросила!

— А пяти-то, видно, не случилось?

— И не знаю, брат, как сказать. Говорю тебе: все словно как во сне видел. Может, она даже и была у меня, да я забыл. Всю дорогу, целых два месяца — ничего не помню! А с тобой, видно, этого не случалось?

Но Иван Михайлыч молчит. Степан Владимирыч вглядывается и убеждается, что спутник его мерно кивает головой и по временам, когда касается носом чуть не колен, как-то нелепо

вздрагивает и опять начинает кивать в такт.

— Эхма! — говорит он. — Уж и укачало тебя! на боковую просишься! Разжирел ты, брат, на чаях да на харчах-то трактирных! А у меня так и сна нет! нет у меня сна — да и шабаш! Чтó бы теперь, однако ж, какую бы штукенцию предпринять! Разве вот от плода сего виноградного…

Головлев озирается кругом и удостоверяется, что и прочие пассажиры спят. У купца, который рядом с ним сидит, голову об перекладину колотит, а он все спит. И лицо у него сделалось глянцевое, словно лаком покрыто, и мухи кругом рот облепили.

«А что, если б всех этих мух к нему в хайлó препроводить — то-то бы, чай, небо с овчинку показалось!» — вдруг осеняет Головлева счастливая мысль, и он уже начинает подкрадываться к купцу рукой, чтобы привести свой план в исполнение, но на половине пути что-то припоминает и останавливается.

— Нет, полно проказничать — баста! Спите, други, и почивайте! А я покуда… и куда это он полштоф засунул? Ба! вот он, голубчик! Полезай, полезай сюда! Спаси, Го-о-споди, люди твоя! — запевает он вполголоса, вынимая посудину из холщовой сумки, прикрепленной сбоку кибитки,

и прикладывая ко рту горлышко. — Ну вот, теперь ладно! тепло сделалось! Или еще? Нет, ладно… до станции-то верст двадцать еще будет, успею натенькаться… или еще? Ах, прах ее побери, эту водку! Увидишь полштоф — так и подманивает! Пить скверно, да и не пить нельзя — потому сна нет! Хоть бы сон, черт его возьми, сморил меня!

Булькнув еще несколько глотков из горлышка, он засовывает полштоф на прежнее место и начинает набивать трубку.

— Важно! — говорит он. — Сперва выпили, а теперь трубочки покурим! Не даст, ведьма, мне табаку, не даст — это он верно сказал. Есть-то даст ли? Объедки, чай, какие-нибудь со стола посылать будет! Эхма! были и у нас денежки — и нет их! Был человек — и нет его! Так-то вот и все на сем свете! сегодня ты и сыт и пьян, живешь в свое удовольствие, трубочку покуриваешь…

А завтра – где ты, человек?[98]

Однако надо бы и закусить что-нибудь. Пьешь-пьешь, словно бочка с изъяном, а закусить путем не закусишь. А доктора сказывают, что питье тогда на пользу, когда при нем и закуска бла-

---

[98] Notes: 98
Из оды Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).

гопотребная есть, как говорил преосвященный Смарагд, когда мы через Обоянь проходили. Через Обоянь ли? А черт его знает, может, и через Кромы! Не в том, впрочем, дело, а как бы закуски теперь добыть. Помнится, что он в мешочек колбасу и три французских хлеба положил! Небось икорки пожалел купить! Ишь ведь как спит, какие песни носом выводит! Чай, и провизию-то под себя сгреб!

Он шарит кругом себя и ничего не нашаривает.

— Иван Михайлыч! а Иван Михайлыч! — окликает он.

Иван Михайлыч просыпается и с минуту словно не понимает, каким образом он очутился vis-à-vis с барином.

— А меня только что было сон заводить начал! — наконец говорит он.

— Ничего, друг, спи! Я только спросить, где у нас тут мешок с провизией спрятан?

— Поесть захотелось? да ведь прежде, чай, выпить надо!

— И то дело! где у тебя полштоф-то?

Выпивши, Степан Владимирыч принимается за колбасу, которая оказывается твердою как камень, соленою, как сама соль, и облеченною в

такой прочный пузырь, что нужно прибегнуть к острому концу ножа, чтобы проткнуть его.

— Белорыбицы бы теперь хорошо, — говорит он.

— Уж извините, сударь, совсем из памяти вон. Все утро помнил, даже жене говорил: беспременно напомни об белорыбице — и вот, словно грех случился!

— Ничего, и колбасы поедим. Походом шли — не то едали. Вот папенька рассказывал: англичанин с англичанином об заклад побился, что дохлую кошку съест — и съел!

— Тсс… съел?

— Съел. Только тошнило его после! Ромом вылечился. Две бутылки залпом выпил — как рукой сняло. А то еще один англичанин об заклад бился, что целый год одним сахаром питаться будет.

— Выиграл?

— Нет, двух суток до году не дожил — околел! Да ты что ж сам-то! водочки бы долбанул?

— Сроду не пивал.

— Чаем одним наливаешься? Нехорошо, брат; оттого и брюхо у тебя растет. С чаем надобно тоже осторожно: чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой. Чай мокро́ту накопляет, а водка разбивает. Так, что ли?

— Не знаю; вы люди ученые, вам лучше знать.

— То-то. Мы как походом шли — с чаями-то да с кофеями нам некогда было возиться. А водка — святое дело: отвинтил манерку, налил, выпил — и шабаш. Скоро уж больно нас в ту пору гнали, так скоро, что я дней десять не мывшись был!

— Много вы, сударь, трудов приняли!

— Много не много, а попробуй попонтируй-ко по столбовой! Ну да вперед-то идти все-таки нешто́ было: жертвуют, обедами кормят, вина вволю. А вот как назад идти — чествовать-то уж и перестали!

Головлев с усилием грызет колбасу и наконец прожевывает один кусок.

— Солоненька, брат, колбаса-то! — говорит он. — Впрочем, я неприхотлив! Мать-то ведь тоже разносолами потчевать не станет: щец тарелку да каши чашку — вот и всё!

— Бог милостив! Может, и пирожка в праздничек пожалует!

— Ни чаю, ни табаку, ни водки — это ты верно сказал. Говорят, она нынче в дураки играть любить стала — вот разве это? Ну, позовет играть и напоит чайком. А уж насчет прочего — ау, брат!

На станции остановились часа на четыре кормить лошадей. Головлев успел покончить с

полуштофом, и его разбирал сильный голод. Пассажиры ушли в избу и расположились обедать. Побродив по двору, заглянув на задворки и в ясли к лошадям, вспугнувши голубей и даже попробовавши заснуть, Степан Владимирыч наконец убеждается, что самое лучшее для него — это последовать за прочими пассажирами в избу. Там, на столе, уже дымятся щи, и в сторонке, на деревянном лотке, лежит большой кус говядины, которую Иван Михайлыч крошит на мелкие куски. Головлев садится несколько поодаль, закуривает трубку и долгое время не знает, как поступить относительно своего насыщения.

— Хлеб да соль, господа! — наконец говорит он. — Щи-то, кажется, жирные?

— Ничего щи! — отзывается Иван Михайлыч. — Да вы бы, сударь, и себе спросили!

— Нет, я только к слову, сыт я!

— Чего сыты! Колбасы кусок съели, а с ее, с проклятой, еще пуще живот пучит. Кушайте-ка! вот я велю в сторонке для вас столик накрыть — кушайте на здоровье! Хозяюшка! накрой барину в сторонке — вот так!

Пассажиры молча приступают к еде и только загадочно переглядываются между собой. Головлев догадывается, что его «проникли», хотя

он, не без нахальства, всю дорогу разыгрывал барина и называл Ивана Михайлыча своим казначеем. Брови у него насуплены, табачный дым так и валит изо рта. Он готов отказаться от еды, но требования голода до того настоятельны, что он как-то хищно набрасывается на поставленную перед ним чашку щей и мгновенно опоражнивает ее. Вместе с сытостью возвращается к нему и самоуверенность, и он, как ни в чем не бывало, говорит, обращаясь к Ивану Михайлычу:

— Ну, брат казначей, ты уж и расплачивайся за меня, а я пойду на сеновал с Храповицким поговорить!

Переваливаясь, отправляется он на сенник и на этот раз, так как желудок у него обременен, засыпает богатырским сном. В пять часов он опять уже на ногах. Видя, что лошади стоят у пустых яслей и чешутся мордами об края их, он начинает будить ямщика.

— Дрыхнет, каналья! — кричит он. — Нам к спеху, а он приятные сны видит!

Так идет дело до станции, с которой дорога повертывает на Головлево. Только тут Степан Владимирыч несколько остепеняется. Он явно упадает духом и делается молчаливым. На этот раз уж Иван Михайлыч ободряет его и паче всего

убеждает бросить трубку.

— Вы, сударь, как будете к усадьбе подходить, трубку-то в крапиву бросьте! после найдете!

Наконец лошади, долженствующие везти Ивана Михайлыча дальше, готовы. Наступает момент расставания.

— Прощай, брат! — говорит Головлев дрогнувшим голосом, целуя Ивана Михайлыча. — Заест она меня!

— Бог милостив! вы тоже не слишком пугайтесь!

— Заест! — повторяет Степан Владимирыч таким убежденным тоном, что Иван Михайлыч невольно опускает глаза.

Сказавши это, Головлев круто поворачивает по направлению проселка и начинает шагать, опираясь на суковатую палку, которую он перед тем срезал от дерева.

Иван Михайлыч некоторое время следит за ним и потом бросается ему вдогонку.

— Вот что, барин, — говорит он, нагоняя его, — давеча, как ополченку вашу чистил, так три целковеньких в боковом кармане видел — не оброните как-нибудь ненароком!

Степан Владимирыч, видимо, колеблется и не знает, как ему поступить в этом случае. Наконец

он протягивает Ивану Михайлычу руку и говорит сквозь слезы:

— Понимаю… служивому на табак… благодарю! А что касается до того… заест она меня, друг любезный! вот помяни мое слово — заест!

Головлев окончательно поворачивается лицом к проселку, и через пять минут уже далеко мелькает его серый ополченский картуз, то исчезая, то вдруг появляясь из-за чащи лесной поросли. Время стоит еще раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман вьется над проселком, едва пропуская лучи только что показавшегося на горизонте солнца; трава блестит; воздух напоен запахами ели, грибов и ягод; дорога идет зигзагами по низменности, в которой кишат бесчисленные стада птиц. Но Степан Владимирыч ничего не замечает: все легкомыслие вдруг соскочило с него, и он идет, словно на Страшный суд. Одна мысль до краев переполняет все его существо: еще три-четыре часа — и дальше идти уже некуда. Он припоминает свою старую головлевскую жизнь, и ему кажется, что перед ним растворяются двери сырого подвала, что как только он перешагнет за порог этих дверей, так они сейчас захлопнутся, — и тогда все кончено. Припоминаются и другие подробности, хотя

непосредственно до него не касающиеся, но несомненно характеризующие головлевские порядки. Вот дяденька Михаил Петрович (в просторечии «Мишка-буян»), который тоже принадлежал к числу «постылых» и которого дедушка Петр Иваныч заточил к дочери в Головлево, где он жил в людской и ел из одной чашки с собакой Трезоркой. Вот тетенька Вера Михайловна, которая из милости жила в головлевской усадьбе у братца Владимира Михайлыча и которая умерла «от умеренности», потому что Арина Петровна корила ее каждым куском, съедаемым за обедом, и каждым поленом дров, употребляемых для отопления ее комнаты. То же самое приблизительно предстоит пережить и ему. В воображении его мелькает бесконечный ряд безрассветных дней, утопающих в какой-то зияющей серой пропасти, — и он невольно закрывает глаза. Отныне он будет один на один с злою старухою, и даже не злою, а только оцепеневшею в апатии властности. Эта старуха заест его, заест не мучительством, а забвением. Не с кем молвить слова, некуда бежать — везде она, властная, цепенящая, презирающая. Мысль об этом неотвратимом будущем до такой степени всего его наполнила тоской, что он остановился около дерева и несколько времени бился об него

головой. Вся его жизнь, исполненная кривлянья, бездельничества, буффонства, вдруг словно осветилась перед его умственным оком. Он идет теперь в Головлево, он знает, что ожидает там его, и все-таки идет, и не может не идти. Нет у него другой дороги. Самый последний из людей может что-нибудь для себя сделать, может добыть себе хлеба — он один *ничего не может*. Эта мысль словно впервые проснулась в нем. И прежде ему случалось думать о будущем и рисовать себе всякого рода перспективы, но это были всегда перспективы дарового довольства и никогда — перспективы труда. И вот теперь ему предстояла расплата за тот угар, в котором бесследно потонуло его прошлое. Расплата горькая, выражавшаяся в одном ужасном слове: заест!

Было около десяти часов утра, когда из-за леса показалась белая головлевская колокольня.

Лицо Степана Владимирыча побледнело, руки затряслись: он снял картуз и перекрестился. Вспомнилась ему евангельская притча о блудном сыне, возвращающемся домой, но он тотчас же понял, что, в применении к нему, подобные воспоминания составляют только одно обольщение. Наконец он отыскал глазами поставленный близ дороги межевой столб и очутился на головлев-

ской земле, на той постылой земле, которая родила его постылым, вскормила постылым, выпустила постылым на все четыре стороны и теперь, постылого же, вновь принимает его в свое лоно. Солнце стояло уже высоко и беспощадно палило бесконечные головлевские поля. Но он бледнел все больше и больше и чувствовал, что его начинает знобить.

Наконец он дошел до погоста, и тут бодрость окончательно оставила его. Барская усадьба смотрела из-за деревьев так мирно, словно в ней не происходило ничего особенного; но на него ее вид произвел действие Медузиной головы. Там чудился ему гроб. Гроб! гроб! гроб! — повторял он бессознательно про себя. И не решился-таки идти прямо в усадьбу, а зашел прежде к священнику и послал его известить о своем приходе и узнать, примет ли его маменька.



Попадья при виде его закручинилась и захлопотала об яичнице; деревенские мальчишки столпились вокруг него и смотрели на барина изумленными глазами; мужики, проходя мимо, молча снимали шапки и как-то загадочно взглядывали на него; какой-то старик-дворовый даже подбежал и попросил у барина ручку поцеловать. Все понимали, что перед ними постылый, который пришел в постылое место, пришел навсегда, и нет для него отсюда выхода, кроме как ногами вперед на погост. И всем делалось в одно и то же время и жалко, и жутко.

Наконец поп пришел и сказал, что «маменька готовы принять» Степана Владимирыча. Через десять минут он был уже *там*. Арина Петровна встретила его торжественно-строго и смерила с ног до головы ледяным взглядом; но никаких бесполезных упреков не позволила себе. И в комнаты не допустила, а так на девичьем крыльце свиделась и рассталась, приказав проводить молодого барина через другое крыльцо к папеньке. Старик дремал в постели, покрытой белым одеялом, в белом колпаке, весь белый, словно мертвец. Увидевши его, он проснулся и идиотски захохотал.

— Что, голубчик! попался к ведьме в лапы! —

крикнул он, покуда Степан Владимирыч целовал его руку. Потом крикнул петухом, опять захохотал и несколько раз сряду повторил: — Съест! съест! съест!

— Съест! — словно эхо, откликнулось и в его душе.

Предвидения его оправдались. Его поместили в особой комнате того флигеля, в котором помещалась и контора. Туда принесли ему белье из домашнего холста и старый папенькин халат, в который он и облачился немедленно. Двери склепа растворились, пропустили его и — захлопнулись.

* * *

Потянулся ряд вялых, безóбразных дней, один за другим утопающих в серой, зияющей бездне времени. Арина Петровна не принимала его; к отцу его тоже не допускали. Дня через три бурмистр Финогей Ипатыч объявил ему от маменьки «положение», заключавшееся в том, что он будет получать стол и одежду и, сверх того, по фунту Фалера[99] в месяц. Он выслушал маменькину

[99] Notes: 99

Известный в то время табачный фабрикант, конкурировавший с Жуковым. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

волю и только заметил:

— Ишь ведь, старая! Пронюхала, что Жуков два рубля, а Фалер рубль девяносто стоит, — и тут десять копеечек ассигнациями в месяц утянула! Верно, нищему на мой счет подать собиралась!

Признаки нравственного отрезвления, появившиеся было в те часы, покуда он приближался проселком к Головлеву, вновь куда-то исчезли. Легкомыслие опять вступило в свои права, а вместе с тем последовало и примирение с «маменькиным положением». Будущее, безнадежное и безвыходное, однажды блеснувшее его уму и наполнившее его трепетом, с каждым днем все больше и больше заволакивалось туманом и наконец совсем перестало существовать. На сцену выступил насущный день, с его цинической наготою, и выступил так назойливо и нагло, что всецело заполнил все помыслы, все существо. Да и какую роль может играть мысль о будущем, когда течение всей жизни бесповоротно и в самых малейших подробностях уже решено в уме Арины Петровны?

Целыми днями шагал он взад и вперед по отведенной комнате, не выпуская трубки изо рта и напевая кой-какие обрывки песен, причем церковные напевы неожиданно сменялись

разухабистыми, и наоборот. Когда в конторе находился налицо земский[100], то он заходил к нему и высчитывал доходы, получаемые Ариной Петровной.

— И куда она экую прорву деньжищ девает! — удивлялся он, досчитываясь до цифры с лишком в восемьдесят тысяч на ассигнации. — Братьям, я знаю, не ахти сколько посылает, сама живет скаредно, отца солеными полотками[101] кормит… В ломбард! больше некуда! как в ломбард кладет.

Иногда в контору приходил и сам Финогей Ипатыч с оброками, и тогда на конторском столе раскладывались по пачкам те самые деньги, на которые так разгорались глаза у Степана Владимирыча.

— Ишь пропасть какая деньжищ! — восклицал он. — И все-то к ней в хайло уйдут! нет того, чтоб сыну пачечку уделить! на, мол, сын мой, в горести находящийся! вот тебе на вино и на табак!

И затем начинались бесконечные и исполненные цинизма разговоры с Яковом-земским о том, какими бы средствами сердце матери так смяг-

---

[100] Notes: 100

Земский — старший писарь при помещичьей «вотчинной» конторе или при бурмистре.

[101] Notes: 101

Полоток — половина соленой, вяленой или копченой птицы.

чить, чтоб она души в нем не чаяла.

— В Москве у меня мещанин знакомый был, — рассказывал Головлев, — так он «слово» знал… Бывало, как не захочет ему мать денег дать, он это «слово» и скажет… И сейчас это всю ее корчить начнет, руки, ноги — словом, всё!

— Порчу, стало быть, какую ни на есть пущал! — догадывался Яков-земский.

— Ну, уж там как хочешь разумей, а только истинная это правда, что такое «слово» есть. А то еще один человек сказывал: возьми, говорит, живую лягушку и положи ее в глухую полночь в муравейник; к утру муравьи ее всю объедят, останется одна косточка; вот эту косточку ты возьми, и покуда она у тебя в кармане — что хочешь у любой бабы проси, ни в чем тебе отказу не будет.

— Что ж, это хоть сейчас сделать можно!

— То-то, брат, что сперва проклятие на себя наложить нужно! Кабы не это… то-то бы ведьма мелким бесом передо мной заплясала.

Целые часы проводились в подобных разговорах, но средств все-таки не обреталось. Всё — либо проклятие на себя наложить приходилось, либо душу черту продать. В результате ничего другого не оставалось, как жить на «маменькином положении», поправляя его некоторыми произ-

вольными поборами с сельских начальников, которых Степан Владимирыч поголовно обложил данью в свою пользу в виде табаку, чаю и сахару. Кормили его чрезвычайно плохо. Обыкновенно приносили остатки маменькинова обеда, а так как Арина Петровна была умеренна до скупости, то естественно, что на его долю оставалось немного. Это было в особенности для него мучительно, потому что с тех пор, как вино сделалось для него запретным плодом, аппетит его быстро усилился. С утра до вечера он голодал и только об том и думал, как бы наесться. Подкарауливал часы, когда маменька отдыхала, бегал в кухню, заглядывал даже в людскую и везде что-нибудь нашаривал. По временам садился у открытого окна и поджидал, не проедет ли кто. Ежели проезжал мужик из своих, то останавливал его и облагал данью: яйцом, ватрушкой и т. д.

Еще при первом свидании Арина Петровна в коротких словах выяснила ему полную программу его житья-бытья.

— Покуда — живи, — сказала она, — вот тебе угол в конторе, пить-есть будешь с моего стола, а на прочее — не погневайся, голубчик! Разносолов у меня отроду не бывало, а для тебя и пода́вно заводить не стану. Вот братья ужо приедут: какое

положение они промежду себя для тебя присоветуют — так я с тобой и поступлю. Сама на душу греха брать не хочу, как братья решат — так тому и быть!

И вот теперь он с нетерпением ждал приезда братьев. Но при этом он совсем не думал о том, какое влияние будет иметь этот приезд на дальнейшую его судьбу (по-видимому, он решил, что об этом и думать нечего), а загадывал только, привезет ли ему брат Павел табаку, и сколько именно.

«А может, и денег отвалит! — прибавлял он мысленно. — Порфишка-кровопивец — тот не даст, а Павел… Скажу ему: дай, брат, служивому на вино… даст! как, чай, не дать!»

Время проходило, и он не замечал его. Это была абсолютная праздность, которою он, однако, почти не тяготился. Только по вечерам было скучно, потому что земский уходил часов в восемь домой, а для него Арина Петровна не отпускала свечей, на том основании, что по комнате взад и вперед шагать и без свечей можно. Но он и к этому скоро привык и даже полюбил темноту, потому что в темноте сильнее разыгрывалось воображение и уносило его далеко из постылого Головлева. Одно его тревожило: сердце у него неспокойно было и

как-то странно трепыхалось в груди, в особенности когда он ложился спать. Иногда он вскакивал с постели, словно ошеломленный, и бегал по комнате, держась рукой за левую сторону груди.

«Эх, кабы околеть! — думалось ему при этом. — Нет ведь, не околею! А может быть...»

Но когда однажды утром земский таинственно доложил ему, что ночью братцы приехали, — он невольно вздрогнул и изменился в лице. Что-то ребяческое вдруг в нем проснулось; хотелось бежать поскорее в дом, взглянуть, как они одеты, какие постланы им постели и есть ли у них такие же дорожные несессеры, как он видел у одного ополченского капитана; хотелось послушать, как они будут говорить с маменькой, подсмотреть, что будут им подавать за обедом. Словом сказать, хотелось и еще раз приобщиться к той жизни, которая так упорно отметала его от себя, броситься к матери в ноги, вымолить ее прощение и потом, на радостях, пожалуй, съесть и упитанного тельца. Еще в доме было все тихо, а он уже сбегал к повару на кухню и узнал, что к обеду заказано: на горячее щи из свежей капусты, небольшой горшок, да вчерашний суп разогреть велено, на холодное — полоток соленый да сбоку две пары котлеточек, на жаркое — баранину да сбоку че-

тыре бекасика, на пирожное — малиновый пирог со сливками.

— Вчерашний суп, полоток и баранина — это, брат, постылому! — сказал он повару. — Пирога, я полагаю, мне тоже не дадут!

— Это как будет угодно маменьке, сударь.

— Эхма! А было время, что и я дупелей едал! едал, братец! Однажды с поручиком Гремыкиным даже на пари побился, что сряду пятнадцать дупелей съем, — и выиграл! Только после этого целый месяц смотреть без отвращения на них не мог!

— А теперь и опять бы покушали?

— Не даст! А чего бы, кажется, жалеть! Дупель — птица вольная: ни кормить ее, ни смотреть за ней — сама на свой счет живет! И дупель некупленный, и баран некупленный — а вот поди ж ты! знает, ведьма, что дупель вкуснее баранины, — ну и не даст! Сгноит, а не даст! А на завтрак что заказано?

— Печенка заказана, грибы в сметане, со́чни…

— Ты бы хоть соченька мне прислал… постарайся, брат!

— Надо постараться. А вы вот что, сударь. Ужо, как завтракать братцы сядут, пришлите сюда земского: он вам парочку соченьков за пазухой

пронесет.

Все утро прождал Степан Владимирыч, не придут ли братцы, но братцы не шли. Наконец, часов около одиннадцати, принес земский два обещанные сочня и доложил, что братцы сейчас отзавтракали и заперлись с маменькой в спальной.

* * *

Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удрученная горем. Две девки поддерживали ее под руки; седые волосы прядями выбились из-под белого чепца, голова понурилась и покачивалась из стороны в сторону, ноги едва волочились. Вообще она любила в глазах детей разыграть роль почтенной и удрученной матери и в этих случаях с трудом волочила ноги и требовала, чтобы ее поддерживали под руки девки. Степка-балбес называл такие торжественные приемы — архиерейским служением, мать — архиерейшею, а девок Польку и Юльку — архиерейшинами жезлоносицами. Но так как был уже второй час ночи, то свидание произошло без слов. Молча подала она детям руку для целования, молча перецеловала и перекрестила их, и когда Порфирий Владимирыч изъявил

готовность хоть весь остаток ночи прокалякать с милым другом маменькой, то махнула рукой, сказав:

— Ступайте! отдохните с дороги! не до разговоров теперь, завтра поговорим.

На другой день, утром, оба сына отправились к папеньке ручку поцеловать, но папенька ручки не дал. Он лежал на постели с закрытыми глазами и, когда вошли дети, крикнул:

— Мытаря судить приехали?.. вон, фарисеи… вон!

Тем не менее Порфирий Владимирыч вышел из папенькинова кабинета взволнованный и заплаканный, а Павел Владимирыч, как «истинно бесчувственный идол», только ковырял пальцем в носу.

— Не хорош он у вас, добрый друг маменька! ах как не хорош! — воскликнул Порфирий Владимирыч, бросаясь на грудь к матери.

— Разве очень сегодня слаб?

— Уж так слаб! так слаб! Не жилец он у вас!

— Ну, поскрипит еще!

— Нет, голубушка, нет! И хотя ваша жизнь никогда не была особенно радостна, но как подумаешь, что столько ударов зараз… право, даже удивляешься, как это вы силу имеете переносить

эти испытания!

— Что ж, мой друг, и перенесешь, коли Господу Богу угодно! знаешь, в Писании-то что сказано: тяготы друг другу носите, — вот и выбрал меня Он, батюшко, чтоб семейству своему тяготы носить!

Арина Петровна даже глаза зажмурила: так это хорошо ей показалось, что все живут на всем на готовеньком, у всех-то все припасено, а она одна — целый-то день мается да всем тяготы носит.

— Да, мой друг! — сказала она после минутного молчания. — Тяжеленько-таки мне на старости лет! Припасла я детям на свой пай — пора бы и отдохнуть! Шутка сказать — четыре тысячи душ! этакой-то махиной управлять в мои лета! за всяким ведь погляди! всякого уследи! да походи, да побегай! Хоть бы эти бурмистры да управители наши: ты не гляди, что он тебе в глаза смотрит! одним-то глазом он на тебя, а другим — в лес норовит! Самый это народ… маловерный! Ну, а ты что, — прервала она вдруг, обращаясь к Павлу, — в носу ковыряешь?

— Мне что ж! — огрызнулся Павел Владимирыч, обеспокоенный в самом разгаре своего занятия.

— Как что! все же отец тебе — можно бы и пожалеть!

— Что ж — отец! Отец как отец… как всегда! Де-

сять лет он такой! Всегда вы меня притесняете!

— Зачем мне тебя притеснять, друг мой, я мать тебе! Вот Порфиша: и приласкался, и пожалел — все как след доброму сыну сделал, а ты и на мать-то путем посмотреть не хочешь, все исподлобья да сбоку, словно она — не мать, а ворог тебе! Не укуси, сделай милость!

— Да что же я…

— Постой! помолчи минутку! дай матери слово сказать! Помнишь ли, что в заповеди-то сказано: чти отца твоего и матерь твою — и благо ти будет… стало быть, ты «блага»-то себе не хочешь?

Павел Владимирыч молчал и смотрел на мать недоумевающими глазами.

— Вот видишь, ты и молчишь, — продолжала Арина Петровна, — стало быть, сам чувствуешь, что блохи за тобой есть. Ну, да уж бог с тобой! Для радостного свидания, оставим этот разговор. Бог, мой друг, все видит, а я… ах, как давно я тебя насквозь понимаю! Ах, детушки, детушки! вспомните мать, как в могилке лежать будет, вспомните — да поздно уж будет!

— Маменька! — вступился Порфирий Владимирыч. — Оставьте эти черные мысли! оставьте!

— Умирать, мой друг, всем придется! — сентенциозно произнесла Арина Петровна. — Не

черные это мысли, а самые, можно сказать… божественные! Хирею я, детушки, ах как хирею! Ничего-то во мне прежнего не осталось — слабость да хворость одна! Даже девки-поганки заметили это — и в ус мне не дуют! Я слово — они два! я слово — они десять! Одну только угрозу и имею на них, что молодым господам, дескать, пожалуюсь! Ну, иногда и попритихнут!

Подали чай, потом завтрак, в продолжение которых Арина Петровна все жаловалась и умилялась сама над собой. После завтрака она пригласила сыновей в свою спальную.

Когда дверь была заперта на ключ, Арина Петровна немедленно приступила к делу, по поводу которого был созван семейный совет.

— Балбес-то ведь явился! — начала она.

— Слышали, маменька, слышали! — отозвался Порфирий Владимирыч не то с иронией, не то с благодушием человека, который только что сытно покушал.

— Пришел, словно и дело сделал, словно так и следовало: сколько бы, мол, я ни кутил, ни мутил, у старухи-матери всегда про меня кусок хлеба найдется! Сколько я в своей жизни ненависти от него видела! сколько от одних его буффонств да каверзов мучения вытерпела! Что я в ту пору

трудов приняла, чтоб его на службу-то втереть! — и все как с гуся вода! Наконец билась-билась, думаю: господи! да коли он сам об себе радеть не хочет — неужто я обязана из-за него, балбеса долговязого, жизнь свою убивать! Дай, думаю, выкину ему кусок, авось свой грош в руки попадет — постепеннее будет! И выкинула. Сама и дом-то для него высмотрела, сама собственными руками, как одну копейку, двенадцать тысячек серебром денег выложила! И что ж! не прошло после того и трех лет — ан он и опять у меня на шее повис! Долго ли мне надругательства-то эти переносить?

Порфиша вскинул глазами в потолок и грустно покачал головою, словно бы говорил: «а-а-ах! дела! дела! и нужно же милого друга маменьку так беспокоить! сидели бы все смирно, ладком да мирком — ничего бы этого не было, и маменька бы не гневалась… а-а-ах, дела, дела!» Но Арине Петровне, как женщине, не терпящей, чтобы течение ее мыслей было чем бы то ни было прерываемо, движение Порфиши не понравилось.

— Нет, ты погоди головой-то вертеть, — сказала она, — ты прежде выслушай! Каково мне было узнать, что он родительское-то благословение, словно обглоданную кость, в помойную

яму выбросил? Каково мне было чувствовать, что я, с позволения сказать, ночей недосыпала, куска недоедала, а он — на-тко! Словно вот взял, купил на базаре бирюльку — не занадобилась, и выкинул ее за окно! Это родительское-то благословение!

— Ах, маменька! Это такой поступок! такой поступок! — начал было Порфирий Владимирыч, но Арина Петровна опять остановила его.

— Стой! погоди! когда я прикажу, тогда свое мнение скажешь! И хоть бы он меня, мерзавец, предупредил! Виноват, мол, маменька, так и так — не воздержался! Я ведь и сама, кабы вовремя, сумела бы за бесценок дом-то приобрести! Не сумел недостойный сын пользоваться — пусть попользуются достойные дети! Ведь он, шутя-шутя, дом-то, пятнадцать процентов в год интересу принесет! Может быть, я бы ему за это еще тысячку рублей на бедность выкинула! А то — на-тко! сижу здесь, ни сном, ни делом не вижу, а он уж и распорядился! Двенадцать тысяч собственными руками за дом выложила, а он его с аукциона в восьми тысячах спустил!

— А главное, маменька, что он с родительским благословением так низко поступил! — поспешил скороговоркой прибавить Порфирий

Владимирыч, словно опасаясь, чтоб маменька вновь не прервала его.

— И это, мой друг, да и то. У меня, голубчик, деньги-то не шальные; я не танцами да курантами[102] приобретала их, а хребтом да потом. Я как богатства-то достигала? Как за папеньку-то я шла, у него только и было что Головлево, сто одна душа, да в дальних местах, где двадцать, где тридцать — душ с полтораста набралось! А у меня, у самой-то — и всего ничего! И ну-тко, при таких-то средствах, какую махину выстроила! Четыре-то тысячи душ — их ведь не скроешь! И хотела бы в могилку с собой унести, да нельзя! Как ты думаешь, легко мне они, эти четыре тысячи душ, достались? Нет, друг мой любезный, так нелегко, так нелегко, что, бывало, ночью не спишь — все тебе мерещится, как бы так дельцо умненько обделать, чтоб до времени никто и пронюхать об нем не мог! Да чтобы кто-нибудь не перебил, да чтобы копеечки лишненькой не истратить! И чего я не попробовала! и слякоть-то, и распутицу-то, и гололедицу-то — всего отведала! Это уж в последнее время я в тарантасах роскошничать начала, а в первое-то время соберут, бывало, те-

[102] Notes: 102
Куранты — плутни, проделки.

лежонку крестьянскую, кибитчонку кой-какую на нее навяжут, пару лошадочек запрягут — и я плетусь, трюх-трюх до Москвы! Плетусь, а сама все думаю: а ну, как кто-нибудь именье-то у меня перебьет! Да и в Москву приедешь, у Рогожской на постоялом остановишься, вони да грязи — все я, друзья мои, вытерпела! На извозчика, бывало, гривенника жаль — на своих на двоих от Рогожской до Солянки пру! Даже дворники — и те дивятся: барыня, говорят, ты молоденькая и с достатком, а такие труды на себя принимаешь! А я все молчу да терплю. И денег-то у меня в первый раз всего тридцать тысяч на ассигнации было — папенькины кусочки дальние, душ со сто, продала, — да с этою-то суммой и пустилась я, шутка сказать, тысячу душ покупать! Отслужила у Иверской молебен, да и пошла на Солянку счастья попытать. И что ж ведь! Словно видела заступница мои слезы горькие — оставила-таки имение за мной! И чудо какое: как я тридцать тысяч, окроме казенного долга, надавала, так словно вот весь аукцион перерезала! Прежде и галдели и горячились, а тут и надбавлять перестали, и стало вдруг тихо-тихо кругом. Встал это присутствующий, поздравляет меня, а я ничего не понимаю! Стряпчий тут был, Иван Николаич,

подошел ко мне: с покупочкой, говорит, сударыня, а я словно вот столб деревянный стою! И как ведь милость-то Божия велика! Подумайте только: если б, при таком моем исступлении, вдруг кто-нибудь на озорство крикнул: тридцать пять тысяч даю! — ведь я, пожалуй, в беспамятстве-то и все сорок надавала бы! А где бы я их взяла?!

Арина Петровна много раз уже рассказывала детям эпопею своих первых шагов на арене благоприобретения, но, по-видимому, она и доднесь[103] не утратила в их глазах интереса новизны. Порфирий Владимирыч слушал маменьку, то улыбаясь, то вздыхая, то закатывая глаза, то опуская их, смотря по свойству перипетий, через которые она проходила. А Павел Владимирыч даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку.

— А вы, чай, думаете, даром состояние-то матери досталось! — продолжала Арина Петровна. — Нет, друзья мои! даром-то и прыщ на носу не вскочит: я после первой-то покупки в горячке шесть недель вылежала! Вот теперь и судите: каково мне видеть, что после таких-то, можно

---

[103] Notes: 103
Доднесь — до сего дня.

сказать, истязаний трудовые мои денежки, ни дай ни вынеси за что, в помойную яму выброшены!

Последовало минутное молчание. Порфирий Владимирыч готов был ризы на себе разодрать, но опасался, что в деревне, пожалуй, не́кому починить их будет; Павел Владимирыч, как только кончилась «сказка» о благоприобретении, сейчас же опустился, и лицо его приняло прежнее апатичное выражение.

— Так вот я затем вас и призвала, — вновь начала Арина Петровна, — судите вы меня с ним, со злодеем! Как вы скажете, так и будет! Его осу́дите — он будет виноват, меня осудите — я виновата буду. Только уж я себя злодею в обиду не дам! — прибавила она совсем неожиданно.

Порфирий Владимирыч почувствовал, что праздник на его улице наступил, и разошелся соловьем. Но, как истинный кровопивец, он не приступил к делу прямо, а начал с околичностей.

— Если вы позволите мне, милый друг маменька, выразить мое мнение, — сказал он, — то вот оно в двух словах: дети обязаны повиноваться родителям, слепо следовать указаниям их, покоить их в старости — вот и все. Что такое дети,

милая маменька? Дети — это любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая последней тряпкой, которую они на себе имеют, — все принадлежит родителям. Поэтому родители могут судить детей; дети же родителей — никогда. Обязанность детей — чтить, а не судить. Вы говорите: судите меня с ним! Это великодушно, милая маменька, велли-ко-лепно! Но можем ли мы без страха даже подумать об этом, мы, от первого дня рождения облагодетельствованные вами с головы до ног? Воля ваша, но это будет святотатство, а не суд! Это будет такое святотатство, такое святотатство…

— Стой! погоди! коли ты говоришь, что не можешь меня судить, так оправь меня, а его осуди! — прервала его Арина Петровна, которая вслушивалась и никак не могла разгадать: какой такой подвох у Порфишки-кровопивца в голове засел.

— Нет, голубушка маменька, и этого не могу! Или, лучше сказать, не смею и не имею права. Ни оправлять, ни обвинять — вообще судить не могу. Вы — мать, вам одним известно, как с нами, вашими детьми, поступать. Заслужили мы — вы наградите нас, провинились — накажите. Наше дело — повиноваться, а не критиковать. Если б

вам пришлось даже и переступить, в минуту родительского гнева, меру справедливости — и тут мы не смеем роптать, потому что пути Провидения скрыты от нас. Кто знает? Может быть, это и нужно так! Так-то и здесь: брат Степан поступил низко, даже можно сказать, черно́, но определить степень возмездия, которое он заслуживает за свой поступок, можете вы одни!

— Стало быть, ты отказываешься? Выпутывайтесь, мол, милая маменька, как сами знаете!

— Ах, маменька, маменька! и не грех это вам! Ах-ах-ах! Я говорю: как вам угодно решить участь брата Степана, так пусть и будет — а вы… ах, какие вы черные мысли во мне предполагаете!

— Хорошо. Ну а ты как? — обратилась Арина Петровна к Павлу Владимирычу.

— Мне что ж! Разве вы меня послушаетесь? — заговорил Павел Владимирыч словно сквозь сон, но потом неожиданно захрабрился и продолжал: — Известно, виноват… на куски рвать… в ступе истолочь… вперед известно… мне что ж!

Пробормотавши эти бессвязные слова, он остановился и с разинутым ртом смотрел на мать, словно сам не верил ушам своим.

— Ну, голубчик, с тобой — после! — холодно оборвала его Арина Петровна. — Ты, я вижу, по

Степкиным следам идти хочешь… ах, не ошибись, мой друг! Покаешься после — да поздно будет!

— Я что ж! Я ничего!.. Я говорю: как хотите! что же тут… непочтительного? — спасовал Павел Владимирыч.

— После, мой друг, после с тобой поговорим. Ты думаешь, что офицер, так и управы на тебя не найдется! Найдется, голубчик, ах как найдется! Так, значит, вы оба от судбища отказываетесь?

— Я, милая маменька…

— И я тоже. Мне что! По мне, пожалуй, хоть на куски…

— Да замолчи, Христа ради… недобрый ты сын! — (Арина Петровна понимала, что имела право сказать «негодяй», но, ради радостного свидания, воздержалась.) — Ну, ежели вы отказываетесь, то приходится мне уж собственным судом его судить. И вот какое мое решение будет: попробую и еще раз добром с ним поступить: отделю ему папенькину вологодскую деревнюшку, велю там флигелечек небольшой поставить — и пусть себе живет, вроде как убогого, на прокормлении у крестьян!

Хотя Порфирий Владимирыч и отказался от суда над братом, но великодушие маменьки так поразило его, что он никак не решился скрыть

от нее опасные последствия, которые влекла за собой сейчас высказанная мера.

— Маменька, — воскликнул он, — вы больше чем великодушны! Вы видите перед собой поступок… ну, самый низкий, черный поступок… и вдруг все забыто, все прощено! Веллли-ко-лепно. Но извините меня… боюсь я, голубушка, за вас! Как хотите меня судите, а на вашем месте… я бы так не поступил!

— Это почему?

— Не знаю… Может быть, во мне нет этого великодушия… этого, так сказать, материнского чувства… Но все как-то сдается: а что, ежели брат Степан, по свойственной ему испорченности, и с этим вторым вашим родительским благословением поступит точно так же, как и с первым?

Оказалось, однако, что соображение это уж было в виду у Арины Петровны, но что в то же время существовала и другая сокровенная мысль, которую и пришлось теперь высказать.

— Вологодское-то именье ведь папенькино, родовое, — процедила она сквозь зубы, — рано или поздно все-таки придется ему из папенькинова имения часть выделять.

— Понимаю я это, милый друг маменька…

— А коли понимаешь, так, стало быть, пони-

маешь и то, что, выделивши ему вологодскую-то деревню, можно обязательство с него стребовать, что он от папеньки отделен и всем доволен?

— Понимаю и это, голубушка маменька. Большую вы тогда, по доброте вашей, ошибку сделали! Надо было тогда, как вы дом покупали, — тогда надо было обязательство с него взять, что он в папенькино именье не вступщик!

— Что делать! не догадалась!

— Тогда он, на радостях-то, какую угодно бумагу бы подписал! А вы, по доброте вашей… ах, какая это ошибка была! такая ошибка! такая ошибка!

— «Ах» да «ах» — ты бы в ту пору, ахало, ахал, как время было. Теперь ты все готов матери на голову свалить, а чуть коснется до дела — тут тебя и нет! А впрочем, не об бумаге и речь: бумагу, пожалуй, я и теперь сумею от него вытребовать. Папенька-то не сейчас, чай, умрет, а до тех пор балбесу тоже пить-есть надо. Не выдаст бумаги — можно и на порог ему указать: жди папенькиной смерти! Нет, я все-таки знать желаю: тебе не нравится, что я вологодскую деревнюшку хочу ему отделить?

— Промотает он ее, голубушка! дом промотал — и деревню промотает!

— А промотает, так пусть на себя и пеняет!

— К вам же ведь он тогда придет!

— Ну нет, это дудки! И на порог к себе его не пущу! Не только хлеба — воды ему, постылому, не вышлю! И люди меня за это не осудят, и Бог не накажет. На-тко! дом прожил, имение прожил — да разве я крепостная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать? Чай, у меня и другие дети есть!

— И все-таки к вам он придет. Наглый ведь он, голубушка маменька!

— Говорю тебе: на порог не пущу! Что ты, как сорока, заладил: «придет» да «придет» — не пущу!

Арина Петровна умолкла и уставилась глазами в окно. Она и сама смутно понимала, что вологодская деревнюшка только временно освободит ее от «постылого», что в конце концов он все-таки и ее промотает и опять придет к ней и что, *как мать*, она *не может* отказать ему в угле, но мысль, что ее ненавистник останется при ней навсегда, что он, даже заточенный в контору, будет, словно привидение, ежемгновенно преследовать ее воображение, — эта мысль до такой степени давила ее, что она невольно всем телом вздрагивала.

— Ни за что! — крикнула она наконец, стукнув кулаком по столу и вскакивая с кресла.

А Порфирий Владимирыч смотрел на милого друга маменьку и скорбно покачивал в такт головою.

— А ведь вы, маменька, гневаетесь! — наконец произнес он таким умильным голосом, словно собирался у маменьки брюшко пощекотать.

— А по-твоему, в пляс, что ли, я пуститься должна?

— А-а-ах! а что в Писании насчет терпенья-то сказано? В терпении, сказано, стяжите души ваши! в терпении — вот как! Бог-то, вы думаете, не видит? Нет, он все видит, милый друг маменька! Мы, может быть, и не подозреваем ничего, сидим вот: и так прикинем, и этак примерим, — а он там уж и решил: дай, мол, пошлю я ей испытание! А-а-ах! а я-то думал, что вы, маменька, паинька!

Но Арина Петровна очень хорошо поняла, что Порфишка-кровопивец только петлю закидывает, и потому окончательно рассердилась.

— Шутовку ты, что ли, из меня сделать хочешь! — прикрикнула она на него. — Мать об деле говорит, а он — скоморошничает! Нечего зубы-то мне заговаривать! сказывай, какая твоя мысль! В Головлеве, что ли, его, у матери на шее, оставить хочешь?

— Точно так, маменька, если милость ваша

будет. Оставить его на том же положении, как и теперь, да и бумагу насчет наследства от него вытребовать.

— Так… так… знала я, что ты это присоветуешь. Ну хорошо. Положим, что сделается по-твоему. Как ни несносно мне будет ненавистника моего всегда подле себя видеть, — ну да видно, пожалеть обо мне некому. Молода была — крест несла, а старухе и подавно от креста отказываться не след. Допустим это, будем теперь об другом говорить. Покуда мы с папенькой живы — ну и он будет жить в Головлеве, с голоду не помрет. А потом как?

— Маменька! друг мой! Зачем же черные мысли?

— Черные ли, белые ли — подумать все-таки надо. Не молоденькие мы. Поколеем оба — что с ним тогда будет?

— Маменька! да неужто ж вы на нас, ваших детей, не надеетесь? в таких ли мы правилах вами были воспитаны?

И Порфирий Владимирыч взглянул на нее одним из тех загадочных взглядов, которые всегда приводили ее в смущение.

— Закидывает! — откликнулось в душе ее.

— Я, маменька, бедному-то еще с большею

радостью помогу! богатому что! Христос с ним! у богатого и своего довольно! А бедный — знаете ли, что Христос про бедного-то сказал!

Порфирий Владимирыч встал и поцеловал у маменьки ручку.

— Маменька! позвольте мне брату два фунта табаку подарить! — попросил он.

Арина Петровна не отвечала. Она смотрела на него и думала: неужто он в самом деле такой кровопивец, что брата родного на улицу выгонит?

— Ну, делай как знаешь! В Головлеве так в Головлеве ему жить! — наконец сказала она. — Окружил ты меня кругом! опутал! начал с того: как вам, маменька, будет угодно! а под конец заставил-таки меня под свою дудку плясать! Ну, только слушай ты меня! Ненавистник он мне, всю жизнь он меня казнил да позорил, а наконец и над родительским благословением моим надругался, а все-таки, если ты его за порог выгонишь или в люди заставишь идти — нет тебе моего благословения! Нет, нет и нет! Ступайте теперь оба к нему! чай, он и буркалы-то свои проглядел, вас высматриваючи!

Сыновья ушли, а Арина Петровна встала у окна и следила, как они, ни слова друг другу не говоря, переходили через красный двор к конторе. Пор-

фиша беспрестанно снимал картуз и крестился: то на церковь, белевшуюся вдали, то на часовню, то на деревянный столб, к которому была прикреплена кружка для подаяний. Павлуша, по-видимому, не мог оторвать глаз от своих новых сапогов, на кончике которых так и переливались лучи солнца.

— И для кого я припасала! ночей недосыпала, куска недоедала… для кого? — вырвался из груди ее вопль.

* * *

Братцы уехали; головлевская усадьба запустела. С усиленною ревностью принялась Арина Петровна за прерванные хозяйственные занятия; притихла стукотня поварских ножей на кухне, но зато удвоилась деятельность в конторе, в амбарах, кладовых, погребах и т. д. Лето-припасуха приближалось к концу; шло варенье, соленье, приготовление впрок; отовсюду стекались запасы на зиму, из всех вотчин возами привозилась бабья натуральная повинность: сушеные грибы, ягоды, яйца, овощи и проч. Все это мерялось, принималось и присовокуплялось к запасам прежних годов. Недаром у головлевской барыни была выстроена целая линия погребов, кладовых

и амбаров; все они были полным-полнехоньки, и немало было в них порченого материала, к которому приступить нельзя было, ради гнилого запаха. Весь этот материал сортировался к концу лета, и та часть его, которая оказывалась ненадежною, сдавалась в застольную.

— Огурчики-то еще хороши, только сверху немножко словно поослизли, припахивают, ну, да уж пусть дворовые полакомятся, — говорила Арина Петровна, приказывая оставить то ту, то другую кадку.

Степан Владимирыч удивительно освоился с своим новым положением. По временам ему до страсти хотелось «дерябнуть», «куликнуть» и вообще «закатиться» (у него, как увидим дальше, были даже деньги для этого), но он с самоотвержением воздерживался, словно рассчитывая, что «самое время» еще не наступило. Теперь он был ежеминутно занят, ибо принимал живое и суетливое участие в процессе припасания, бескорыстно радуясь и печалясь удачам и неудачам головлевского скопидомства. В каком-то азарте пробирался он от конторы к погребам, в одном халате, без шапки, хоронясь от матери позади деревьев и всевозможных клетушек, загромождавших красный двор (Арина Петровна, впрочем,

не раз замечала его в этом виде, и закипало-таки ее родительское сердце, чтоб Степку-балбеса хорошенько осадить, но, по размышлении, она махнула на него рукой), и там с лихорадочным нетерпением следил, как разгружались подводы, приносились с усадьбы банки, бочонки, кадушки, как все это сортировалось и наконец исчезало в зияющей бездне погребов и кладовых. В большей части случаев он оставался доволен.



— Сегодня рыжиков из Дубровина привезли две телеги — вот, брат, так рыжики! — в восхищении сообщал он земскому. — А мы уж думали, что на зиму без рыжиков останемся! Спасибо, спасибо дубровинцам! молодцы дубровинцы! выручили!

Или:

— Сегодня мать карасей в пруду наловить велела — ах, хороши старики! Больше чем в пол-аршина есть! Должно быть, мы всю эту неделю карасями питаться будем!

Иногда, впрочем, и печалился:

— Огурчики-то, брат, нынче не удались! Коряевые да с пятнами — нет настоящего огурца, да и шабаш! Видно, прошлогодними будем питаться, а нынешние — в застольную, больше некуда!

Но вообще хозяйственная система Арины Петровны не удовлетворяла его.

— Сколько, брат, она добра перегноила — страсть! Таскали нынче, таскали: солонину, рыбу, огурцы — все в застольную велела отдать! Разве это дело? разве расчет таким образом хозяйство вести! Свежего запасу пропасть, а она и не прикоснется к нему, покуда всей старой гнили не приест!

Уверенность Арины Петровны, что со Степки-балбеса какую угодно бумагу без труда стребовать

можно, оправдалась вполне. Он не только без возражений подписал все присланные ему матерью бумаги, но даже хвастался в тот же вечер земскому:

— Сегодня, брат, я всё бумаги подписывал. Отка́зные всё — чист теперь! Ни плошки, ни ложки — ничего теперь у меня нет, да и впредь не предвидится! Успокоил старуху!

С братьями он расстался мирно и был в восторге, что теперь у него целый запас табаку. Конечно, он не мог воздержаться, чтоб не обозвать Порфишу кровопивушкой и Иудушкой, но выражения эти совершенно незаметно утонули в целом потоке болтовни, в которой нельзя было уловить ни одной связной мысли. На прощанье братцы расщедрились и даже дали денег, причем Порфирий Владимирыч сопровождал свой дар следующими словами:

— Маслица в лампадку занадобится или Богу свечечку поставить захочется — ан деньги-то и есть! Так-то, брат! Живи-ко, брат, тихо да смирно — и маменька будет тобой довольна, и тебе будет покойно, и всем нам весело и радостно. Мать — ведь она добрая, друг!

— Добрая-то добрая, — согласился и Степан Владимирыч, — только вот солониной протухлой

кормит!

— А кто виноват? кто над родительским благословением надругался? — сам виноват, сам именьице-то спустил! А именьице-то какое было: кругленькое, превыгодное, пречудесное именьице! Вот кабы ты повел себя скромненько да ладненько, ел бы ты и говядинку, и телятинку, а не то так и соусцу бы приказал. И всего было бы у тебя довольно: и картофельцу, и капустки, и горошку… Так ли, брат, я говорю?

Если б Арина Петровна слышала этот диалог, наверно, она не воздержалась бы, чтоб не сказать: ну, затарантила таранта! Но Степка-балбес именно тем и счастлив был, что слух его, так сказать, не задерживал посторонних речей. Иудушка мог говорить сколько угодно и быть вполне уверенным, что ни одно его слово не достигнет по назначению.

Одним словом, Степан Владимирыч проводил братьев дружелюбно и не без самодовольства показал Якову-земскому две двадцатипятирублевые бумажки, очутившиеся в его руке после прощания.

— Теперь, брат, мне надолго станет! — сказал он. — Табак у нас есть, чаем и сахаром мы обеспечены, только вина недоставало — захотим, и

вино будет! Впрочем, покуда еще придержусь — времени теперь нет, на погреб бежать надо! Не присмотри крошечку — мигом растащат! А видела, брат, она меня, видела, ведьма, как я однажды около застольной по стенке пробирался. Стоит это у окна, смотрит, чай, на меня да думает: то-то я огурцов не досчитываюсь, — ан вот оно что!

Но вот наконец и октябрь на дворе: полились дожди, улица почернела и сделалась непроходимою. Степану Владимирычу некуда было выйти, потому что на ногах у него были заношенные папенькины туфли, на плечах старый папенькин халат. Безвыходно сидел он у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи. Там, среди серых испарений осени, словно черные точки, проворно мелькали люди, которых не успела сломить летняя страда. Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, в которой летние ликующие тоны заменились непрерывающимися осенними сумерками. Овины курились за полночь, стук цепов унылою дробью разносился по всей окрестности. В барских ригах тоже шла молотьба, и в конторе поговаривали, что вряд ли ближе Масленицы управиться со всей массой господского хлеба. Все глядело сумрачно, сонно,

все говорило об угнетении. Двери конторы уже не были отперты настежь, как летом, и в самом ее помещении плавал сизый туман от испарений мокрых полушубков.

Трудно сказать, какое впечатление производила на Степана Владимирыча картина трудовой деревенской осени и даже сознавал ли он в ней страду, продолжающуюся среди месива грязи, под непрерывным ливнем дождя; но достоверно, что серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в разверзнувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облаков. С утра, чуть брезжил свет, уж весь горизонт был сплошь обложен ими; облака стояли словно застывшие, очарованные; проходил час, другой, третий, а они всё стояли на одном месте, и даже незаметно было ни малейшей перемены ни в колере, ни в очертаниях их. Вон это облако, что пониже и почернее других: и давеча оно имело разорванную форму (точно поп в рясе с распростертыми врозь руками), отчетливо выступавшую на белесоватом фоне верхних облаков, — и теперь, в полдень, сохранило ту же форму. Правая рука, правда, покороче сдела-

лась, зато левая безобразно вытянулась, и льет из нее, льет так, что даже на темном фоне неба обозначилась еще более темная, почти черная полоса. Вон и еще облако подальше: и давеча оно громадным косматым комом висело над соседней деревней Нагловкой и, казалось, угрожало задушить ее — и теперь тем же косматым комом на том же месте висит, а лапы книзу протянуло, словно вот-вот спрыгнуть хочет. Облака, облака и облака — так весь день. Часов около пяти после обеда совершается метаморфоза: окрестность постепенно заволакивается и наконец совсем пропадает. Сначала облака исчезнут и все затянутся безразличной черной пеленою; потом куда-то пропадет лес и Нагловка; за нею утонет церковь, часовня, ближний крестьянский поселок, фруктовый сад, и только глаз, пристально следящий за процессом этих таинственных исчезновений, еще может различать стоящую в нескольких саженях барскую усадьбу. В комнате уж совсем темно; в конторе еще сумерничают, не зажигают огня; остается только ходить, ходить, ходить без конца. Болезненная истома сковывает ум; во всем организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется беспричинное, невыразимое утомление; одна только мысль мечется, сосет и

давит — и эта мысль: гроб! гроб! гроб! Вон эти точки, что давеча мелькали на темном фоне грязи, около деревенских гумен, — их эта мысль не гнетет, и они не погибнут под бременем уныния и истомы: они ежели и не борются прямо с небом, то, по крайней мере, барахтаются, что-то устраивают, ограждают, ухичивают. Стоит ли ограждать и ухичивать то, над устройством чего они день и ночь выбиваются из сил, — это не приходило ему на ум, но он сознавал, что даже и эти безымянные точки стоят неизмеримо выше его, что он и барахтаться не может, что ему нечего ни ограждать, ни ухичивать.

Вечера он проводил в конторе, потому что Арина Петровна по-прежнему не отпускала для него свечей. Несколько раз просил он через бурмистра, чтоб прислали ему сапоги и полушубок, но получил ответ, что сапогов для него не припасено, а вот наступят заморозки, то будут ему выданы валенки. Очевидно, Арина Петровна намеревалась буквально выполнить свою программу: содержать постылого в такой мере, чтоб он только не умер с голоду. Сначала он ругал мать, но потом словно забыл об ней; сначала он что-то припоминал, потом перестал и припоминать. Даже свет свечей, зажженных в конторе, и тот

опостылел ему, и он затворялся в своей комнате, чтобы остаться один на один с темнотою. Впереди у него был только один ресурс, которого он покуда еще боялся, но который с неудержимою силой тянул его к себе. Этот ресурс — напиться и позабыть. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться в волну забвения до того, чтоб и выкарабкаться из нее было нельзя. Все увлекало его в эту сторону: и буйные привычки прошлого, и насильственная бездеятельность настоящего, и больной организм с удушливым кашлем, с несносною, ничем не вызываемою одышкой, с постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконец он не выдержал.

— Сегодня, брат, надо ночью штоф припасти, — сказал он однажды земскому голосом, не предвещавшим ничего доброго.

Сегодняшний штоф привел за собой целый последовательный ряд новых, и с этих пор он аккуратно каждую ночь напивался. В девять часов, когда в конторе гасили свет и люди расходились по своим логовищам, он ставил на стол припасенный штоф с водкой и ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью. Не сразу приступал он к водке, а словно подкрадывался к ней. Кругом все засыпало мертвым сном; только

мыши скреблись за отставшими от стен обоями да часы назойливо чикали в конторе. Снявши халат, в одной рубашке, сновал он взад и вперед по жарко натопленной комнате, по временам останавливался, подходил к столу, нашаривал в темноте штоф и вновь принимался за ходьбу. Первые рюмки он выпивал с прибаутками, сладострастно всасывая в себя жгучую влагу; но мало-помалу биение сердца учащалось, голова загоралась — и язык начинал бормотать что-то несвязное. Притупленное воображение силилось создать какие-то образы, помертвелая память пробовала прорваться в область прошлого, но образы выходили разорванные, бессмысленные, а прошлое не откликалось ни единым воспоминанием, ни горьким, ни светлым, словно между ним и настоящей минутой раз навсегда встала плотная стена. Перед ним было только настоящее в форме наглухо запертой тюрьмы, в которой бесследно потонула и идея пространства, и идея времени. Комната, печь, три окна в наружной стене, деревянная скрипучая кровать и на ней тонкий притоптанный тюфяк, стол с стоящим на нем штофом — ни до каких других горизонтов мысль не додумывалась. Но по мере того, как убывало содержание штофа, по мере того,

как голова распалялась, — даже и это скудное чувство настоящего становилось не под силу. Бормотанье, имевшее вначале хоть какую-нибудь форму, окончательно разлагалось; зрачки глаз, усиливаясь различить очертания тьмы, безмерно расширялись, самая тьма наконец исчезала, и взамен ее являлось пространство, наполненное фосфорическим блеском. Это была бесконечная пустота, мертвая, не отличающаяся ни единым жизненным звуком, зловеще-лучезарная. Она следовала за ним по пятам, за каждым оборотом его шагов. Ни стен, ни окон, ничего не существовало; одна безгранично тянущаяся, светящаяся пустота. Ему становилось страшно; ему нужно было заморить в себе чувство действительности до такой степени, чтоб даже пустоты этой не было. Еще несколько усилий — и он был у цели. Спотыкающиеся ноги из стороны в сторону носили онемевшее тело, грудь издавала не бормотанье, а хрип, самое существование как бы прекращалось. Наступало то странное оцепенение, которое, нося на себе все признаки отсутствия сознательной жизни, вместе с тем несомненно указывало на присутствие какой-то особенной жизни, развивавшейся независимо от каких бы то ни было условий. Стоны за стонами вырывались из груди,

нимало не нарушая сна; органический недуг продолжал свою разъедающую работу, не причиняя, по-видимому, физических болей.

Утром он просыпался со светом, и вместе с ним просыпались: тоска, отвращение, ненависть. Ненависть без протеста, ничем не обусловленная, ненависть к чему-то неопределенному, не имеющему образа. Воспаленные глаза бессмысленно останавливаются то на одном, то на другом предмете и долго и пристально смотрят; руки и ноги дрожат; сердце то замрет, словно вниз покатится, то начнет колотить с такою силой, что рука невольно хватается за грудь. Ни одной мысли, ни одного желания. Перед глазами печка, и мысль до того переполняется этим представлением, что не принимает никаких других впечатлений. Потом окно заменило печку, как окно, окно, окно… Не нужно ничего, ничего, ничего не нужно. Трубка набивается и закуривается машинально и недокуренная опять выпадает из рук; язык что-то бормочет, но, очевидно, только по привычке. Самое лучшее: сидеть и молчать, молчать и смотреть в одну точку. Хорошо бы опохмелиться в такую минуту; хорошо бы настолько поднять температуру организма, чтобы хотя на короткое время ощутить присутствие жизни, но

днем ни за какие деньги нельзя достать водки. Нужно дожидаться ночи, чтобы опять дорваться до тех блаженных минут, когда земля исчезает из-под ног и вместо четырех постылых стен перед глазами открывается беспредельная светящаяся пустота.

Арина Петровна не имела ни малейшего понятия о том, как «балбес» проводит время в конторе. Случайный проблеск чувства, мелькнувший было в разговоре с кровопивцем Порфишкой, погас мгновенно, так что она и не заметила. С ее стороны не было даже систематического образа действия, а было простое забвение. Она совсем потеряла из виду, что подле нее, в конторе, живет существо, связанное с ней кровными узами, существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни. Как сама она, раз войдя в колею жизни, почти машинально наполняла ее одним и тем же содержанием, так, по мнению ее, должны были поступать и другие. Ей не приходило на мысль, что самый характер жизненного содержания изменяется сообразно с множеством условий, так или иначе сложившихся, и что, наконец, для одних (и в том числе для нее) содержание это представляет нечто излюбленное, добровольно избранное, а для других — постылое и невольное.

Поэтому, хотя бурмистр неоднократно докладывал ей, что Степан Владимирыч «нехорош», но доклады эти проскальзывали мимо ушей, не оставляя в ее уме никакого впечатления. Многомного если она отвечала на них стереотипною фразой:

— Небось отдышится, еще нас с тобой переживет! Что ему, жеребцу долговязому, делается! Кашляет! иной сряду тридцать лет кашляет, и все равно что с гуся вода!

Тем не менее, когда ей однажды утром доложили, что Степан Владимирыч ночью исчез из Головлева, она вдруг пришла в себя. Немедленно разослала весь дом на поиски и лично приступила к следствию, начав с осмотра комнаты, в которой жил постылый. Первое, что поразило ее, — это стоявший на столе штоф, на дне которого еще плескалось немного жидкости и который впопыхах не догадались убрать.

— Это что? — спросила она, как бы не понимая.

— Стало быть… занимались, — отвечал, заминаясь, бурмистр.

— Кто доставал? — начала было она, но потом спохватилась и, затаив свой гнев, продолжала осмотр.

Комната была грязна, черна, заслякощена

так, что даже ей, не знавшей и не признававшей никаких требований комфорта, сделалось неловко. Потолок был закопчен, обои на стенах треснули и во многих местах висели клочьями, подоконники чернели под густым слоем табачной золы, подушки валялись на полу, покрытом липкою грязью, на кровати лежала скомканная простыня, вся серая от насевших на нее нечистот. В одном окне зимняя рама была выставлена или, лучше сказать, выдрана, и самое окно оставлено приотворенным: этим путем, очевидно, и исчез постылый. Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворе стоял уж ноябрь в начале, но осень в этот год была особенно продолжительна, и морозы еще не наступали. И дорога, и поля — все стояло черное, размокшее, невылазное. Как он прошел? куда? И тут же ей вспомнилось, что на нем ничего не было, кроме халата да туфлей, из которых одна была найдена под окном, и что всю прошлую ночь, как на грех, не переставаючи шел дождь.

— Давненько-таки я у вас здесь, голубчики, не бывала! — молвила она, вдыхая в себя вместо воздуха какую-то отвратительную смесь сивухи,

тютюна[104] и прокислых овчин.

Весь день, покуда люди шарили по лесу, она простояла у окна, с тупым вниманием вглядываясь в обнаженную даль. Из-за балбеса да такая кутерьма! — ей казалось, что это какой-то нелепый сон. Говорила тогда, что надо его в вологодскую деревню сослать, — так нет, лебезит проклятый Иудушка: оставьте, маменька, в Головлеве! — вот и купайся теперь с ним! Жил бы он там заглазно, как хотел, — и Христос бы с ним! Свое дело сделала: один кусок промотал — другой выбросила! А другой бы промотал — ну и не погневайся, батюшка! Бог — и тот на ненасытную утробу не напасется! И все бы у нас было смирно да мирно, а теперь — легко ли штуку какую удрал! ищи его по лесу да свищи! Хорошо еще, как живого в дом привезут — ведь с пьяных-то глаз и в петлю угодить недолго! Взял веревку, зацепил за сук, обмотал кругом шеи, да и был таков! Мать ночей недосыпала, куска недоедала, а он, на-тко, какую моду выдумал — вешаться вздумал. И добро бы худо ему было, есть-пить бы не давали, работой бы изнуряли — а то слонялся целый день взад и вперед по комнате, как оглашенный, ел

---

[104] Notes: 104
Тютюн — табак.

да пил, ел да пил! Другой бы не знал, чем мать отблагодарить, а он вешаться вздумал — вот так одолжил сынок любезный!

Но на этот раз предположения Арины Петровны относительно насильственной смерти балбеса не оправдались. К вечеру в виду Головлева показалась кибитка, запряженная парой крестьянских лошадей, и подвезла беглеца к конторе. Он находился в полубесчувственном состоянии, весь избитый, порезанный, с посинелым и распухшим лицом. Оказалось, что за ночь он дошел до дубровинской усадьбы, отстоявшей в двадцати верстах от Головлева.

Целые сутки после того он проспал, на другие — проснулся. По обыкновению, он начал шагать назад и вперед по комнате, но к трубке не прикоснулся, словно позабыл, и на все вопросы не проронил ни одного слова. С своей стороны, Арина Петровна настолько восчувствовала, что чуть было не приказала перевести его из конторы в барский дом, но потом успокоилась и опять оставила балбеса в конторе, приказавши вымыть и почистить его комнату, переменить постельное белье, повесить на окнах шторы и проч. На другой день вечером, когда ей доложили, что Степан Владимирыч проснулся, она велела позвать его

в дом к чаю и даже отыскала ласковые тоны для объяснения с ним.

— Ты куда ж это от матери уходил? — начала она. — Знаешь ли, как ты мать-то обеспокоил? Хорошо еще, что папенька ни об чем не узнал, — каково бы ему было при его-то положении?

Но Степан Владимирыч, по-видимому, остался равнодушным к материнской ласке и уставился неподвижными, стеклянными глазами на сальную свечку, как бы следя за нагаром, который постепенно образовывался на фитиле.

— Ах, дурачок, дурачок! — продолжала Арина Петровна все ласковее и ласковее. — Хоть бы ты подумал, какая через тебя про мать слава пойдет! Ведь завистников-то у ней — слава богу! и невесть что наплетут! Скажут, что и не кормила-то, и не одевала-то… ах, дурачок, дурачок!

То же молчание, и тот же неподвижный, бессмысленно устремленный в одну точку взор.

— И чем тебе худо у матери стало! Одет ты и сыт — слава богу! И теплехонько тебе, и хорошохонько… чего бы, кажется, искать! Скучно тебе, так не прогневайся, друг мой, — на то и деревня! Веселиев да балов у нас нет — и все сидим по углам да скучаем! Вот я и рада была бы поплясать да песни попеть — ан посмотришь на улицу,

и в церковь-то Божию в этакую мóкреть ехать охоты нет!

Арина Петровна остановилась в ожидании, что балбес хоть что-нибудь промычит; но балбес словно окаменел. Сердце мало-помалу закипает в ней, но она все еще сдерживается.

— А ежели ты чем недоволен был — кушанья, может быть, недостало или из белья там, — разве не мог ты матери откровенно объяснить? Маменька, мол, душенька, прикажите печеночки или там ватрушечки изготовить — неужто мать в куске-то отказала бы тебе? Или вот хоть бы и винца — ну, захотелось тебе винца, ну, и Христос с тобой! Рюмка, две рюмки — неужто матери жалко? А то на-тко: у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело!

Но напрасны были все льстивые слова: Степан Владимирыч не только не расчувствовался (Арина Петровна надеялась, что он ручку у ней поцелует) и не обнаружил раскаяния, но даже как будто ничего не слыхал.

С этих пор он безусловно замолчал. По целым дням ходил по комнате, наморщив угрюмо лоб, шевеля губами и не чувствуя усталости. Временами останавливался, как бы желая что-то выразить, но не находил слова. По-видимому, он

не утратил способности мыслить; но впечатления так слабо задерживались в его мозгу, что он тотчас же забывал их. Поэтому неудача в отыскании нужного слова не вызывала в нем даже нетерпения. Арина Петровна с своей стороны думала, что он непременно подожжет усадьбу.

— Целый день молчит! — говорила она. — Ведь думает же, балбес, об чем-нибудь, покуда молчит! вот помяните мое слово, ежели он усадьбы не спалит!

Но балбес просто совсем не думал. Казалось, он весь погрузился в безрассветную мглу, в которой нет места не только для действительности, но и для фантазии. Мозг его вырабатывал нечто, но это нечто не имело отношения ни к прошедшему, ни к настоящему, ни к будущему. Словно черное облако окутало его с головы до ног, и он всматривался в него, в него одного, следил за его воображаемыми колебаниями и по временам вздрагивал и словно оборонялся от него. В этом загадочном облаке потонул для него весь физический и умственный мир…

В декабре того же года Порфирий Владимирыч получил от Арины Петровны письмо следующего содержания:

«Вчера утром постигло нас новое, ниспослан-

ное от Господа испытание: сын мой, а твой брат, Степан, скончался. Еще с вечера накануне был здоров совершенно и даже поужинал, а наутро найден в постеле мертвым — такова сей жизни скоротечность! И что всего для материнского сердца прискорбнее: так, без напутствия, и оставил сей суетный мир, дабы устремиться в область неизвестного.

Сие да послужит нам всем уроком: кто семейными узами небрежет — всегда должен для себя такого конца ожидать. И неудачи в сей жизни, и напрасная смерть, и вечные мучения в жизни следующей — все из сего источника происходит. Ибо как бы мы ни были высокоумны и даже знатны, но ежели родителей не почитаем, то оные как раз и высокоумие, и знатность нашу в ничто обратят. Таковы правила, кои всякий живущий в сем мире человек затвердить должен, а рабы, сверх того, обязаны почитать господ. Впрочем, несмотря на сие, все почести отшедшему в вечность были отданы сполна, яко сыну. Покров из Москвы выписали, а погребение совершал известный тебе отец архимандрит соборне. Сорокоусты же и поминовения и поднесь совершаются, как следует по христианскому обычаю. Жаль сына, но роптать не смею и вам, дети мои, не советую.

Ибо кто может сие знать? — мы здесь ропщем, а его душа в горних увеселяется!»

По-родственному

Жаркий июльский полдень. На дубровинской барской усадьбе словно все вымерло. Не только досужие, но и рабочие люди разбрелись по углам и улеглись в тень. Собаки раскинулись под навесом громадной ивы, стоящей посреди красного двора, и слышно, как они хлопают зубами, ловя в полусне мух. Даже деревья стоят понурые и неподвижные, точно замученные. Все окна как в барском доме, так и в людских отворены настежь. Жар так и окачивает сверху горячей волной; земля, покрытая коротенькой, опаленной травою, пылает; нестерпимый свет, словно золотистою дымкой, задернул окрестность, так что с трудом можно различать приметы. И барский дом, когда-то выкрашенный серой краской, а теперь побелевший, и маленький палисадник перед домом, и березовая роща, отделенная от усадьбы проезжей дорогой, и пруд, и крестьянский поселок, и ржаное поле, начинающееся сейчас за околицей, — все тонет в светящейся мгле. Всякие запахи, начиная с благоуханий цветущих лип и кончая миазмами скотного двора, густою массой стоят в воздухе. Ни звука. Только с кухни

доносится дробное отбивание поварских ножей, предвещающее неизменную окрошку и битки за обедом.

Внутри господского дома царствует бесшумная тревога. Старуха барыня и две молодые девушки сидят в столовой и, не притрогиваясь к вязанью, брошенному на столе, словно застыли в ожидании. В девичьей две женщины занимаются приготовлением горчичников и примочек, и мерное звяканье ложек, подобно крику сверчка, прорезывается сквозь общее оцепенение. В коридоре осторожно двигаются девчонки на босу ногу, перебегая по лестнице из антресолей в девичью и обратно. По временам сверху раздается крик: «Что ж горчичники! заснули? а?» — и вслед за тем стрелой промчится девчонка из девичьей. Наконец слышится скрип тяжелых шагов по лестнице, и в столовую входит полковой доктор. Доктор — человек высокий, широкоплечий, с крепкими, румяными щеками, которые так и прыщут здоровьем. Голос у него звонкий, походка твердая, глаза светлые и веселые, губы полные, сочные, вид открытый. Это жуир[105] в полном смысле слова, несмотря на свои пятьдесят лет,

[105] Notes: 105

Жуир (от *фр.* jouir — наслаждаться) — беззаботный человек, ищущий удовольствий.

жуир, который и прежде не отступал, и долго еще не отступит ни перед какой попойкой, ни перед каким объедением. Одет по-летнему, щеголем, в пикейный сюртучок необычайной белизны, украшенный светлыми гербовыми пуговицами. Он входит, причмокивая губами и присасывая языком.

— Вот что, голубушка, принеси-ка ты нам водочки да закусить что-нибудь! — отдает он приказание, останавливаясь в дверях, ведущих в коридор.

— Ну что? как? — тревожно спрашивает старуха барыня.

— У Бога милостей без конца, Арина Петровна! — отвечает доктор.

— Как же это? стало быть…

— Да так же. Денька два-три протянет, а потом — шабаш!

Доктор делает многозначительный жест рукою и вполголоса мурлыкает: *«Кувырком, кувырком, ку-выр-ком по-ле-тит!»*

— Как же это так? лечили-лечили доктора — и вдруг!

— Какие доктора?

— Земский наш да вот городовой приезжал.

— Доктора!! кабы ему месяц назад заволоку[106] здоровенную соорудить — был бы жив!

— Неужто ж так-таки ничего и нельзя?

— Сказал: у Бога милостей много, а больше ничего прибавить не могу.

— А может быть, и подействует?

— Что подействует?

— А вот, что теперь… горчичники эти…

— Может быть-с.

Женщина, в черном платье и в черном платке, приносит поднос, на котором стоят графин с водкой и две тарелки, с колбасой и икрой. При появлении ее разговор смолкает. Доктор наливает рюмку, высматривает ее на свет и щелкает языком.

— За ваше здоровье, маменька! — говорит он, обращаясь к старухе барыне и проглатывая водку.

— На здоровье, батюшка!

— Вот от этого самого Павел Владимирыч и погибает в цвете лет — от водки от этой! — говорит доктор, приятно морщась и тыкая вилкой в кружок колбасы.

---

[106] Notes: 106

Заволока — способ лечения нарывов, при котором в воспаленное место с помощью иглы вводили тесьму (заволоку), чтобы она вобрала в себя гной.

— Да, много через нее людей пропадает.

— Не всякий эту жидкость вместить может — оттого! А так как мы вместить можем, то и повторим! Ваше здоровье, сударыня!

— Кушайте, кушайте! вам — ничего!

— Мне — ничего! у меня и легкие, и почки, и печенка, и селезенка — всё в исправности! Да, бишь! вот что, — обращается он к женщине в черном платье, которая приостановилась у дверей, словно прислушиваясь к барскому разговору, — что у вас нынче к обеду готовлено?

— Окрошка, да битки, да цыплята на жаркое, — отвечает женщина, как-то кисло улыбаясь.

— А рыба соленая у вас есть?

— Как, сударь, рыбы не быть! осетрина есть, севрюжина… Найдется рыбы — довольно!

— Так скомандуй ты нам к обеду ботвиньи с осетринкой… звенышко, знаешь, да пожирнее! как тебя: Улитушкой, что ли, звать?

— Улитой, сударь, люди зовут.

— Ну так живо, Улитушка, живо!

Улитушка уходит; на минуту водворяется тяжелое молчание. Арина Петровна встает с своего места и высматривает в дверь, точно ли Улитушка ушла.

— Насчет сироток-то говорили ли вы ему, Ан-

дрей Осипыч? — спрашивает она доктора.

— Разговаривал-с.

— Ну и что ж?

— Все одно и то же-с. Вот как выздоровею, говорит, непременно и духовную и векселя напишу.

Молчание, еще более тяжелое, водворяется в комнате. Девицы берут со стола канвовые работы, и руки их с заметною дрожью выделывают шов за швом; Арина Петровна как-то безнадежно вздыхает; доктор ходит по комнате и насвистывает: *«Кувырком, ку-вы-ы-рком!»*

— Да вы бы хорошенько ему сказали!

— Чего еще лучше: подлец, говорю, будешь, ежели сирот не обеспечишь. Да, мамашечка, опростоволосились вы! Кабы месяц тому назад вы меня позвали, я бы и заволоку ему соорудил, да и насчет духовной постарался бы… А теперь все Иудушке, законному наследнику, достанется… непременно!

— Бабушка! что ж это такое будет! — почти сквозь слезы жалуется старшая из девиц. — Что ж это дядя с нами делает!

— Не знаю, милая, не знаю. Вот даже насчет себя не знаю. Сегодня — здесь, а завтра — уж и не знаю где… Может быть, Бог приведет где-нибудь в сарайчике ночевать, а может быть, и у мужичка

в избе!

— Господи! какой этот дядя глупый! — восклицает младшая из девиц.

— А вы бы, молодая особа, язычок-то на привязи придержали! — замечает доктор и, обращаясь к Арине Петровне, прибавляет: — Да что ж вы сами, мамашечка! сами бы уговорить его попробовали!

— Нет, нет, нет! Не хочет! даже видеть меня не хочет! Намеднись сунулась было я к нему: напутствовать, что ли, меня пришли? говорит.

— Я думаю, что это все больше Улитушка… она его против вас настраивает.

— Она! именно она! И все Порфишке-кровопивцу передает! Сказывают, что у него и лошади в хомутах целый день стоят, на случай, ежели брат отходить начнет! И представьте, на днях она даже мебель, вещи, посуду — все переписала: на случай, дескать, чтобы не пропало чего! Это она нас-то, нас-то воровками представить хочет!

— А вы бы ее по-военному… Кувырком, знаете, кувырком…

Но не успел доктор развить свою мысль, как в комнату вбежала вся запыхавшаяся девчонка и испуганным голосом крикнула:

— К барину! доктора барин требует!

* * *

Семейство, которое выступает на сцену в настоящем рассказе, уже знакомо нам. Старуха барыня — не кто иная, как Арина Петровна Головлева; умирающий владелец дубровинской усадьбы — ее сын, Павел Владимирыч; наконец, две девушки, Аннинька и Любинька, — дочери покойной Анны Владимировны Улановой, той самой, которой некогда Арина Петровна «выбросила кусок». Прошло не больше десяти лет с тех пор, как мы видели их, а положения действующих лиц до того изменились, что не осталось и следа тех искусственных связей, благодаря которым головлевская семья представлялась чем-то вроде неприступной крепости. Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незаметно, что она, сама не понимая, как это случилось, сделалась соучастницею и даже явным двигателем этого разрушения, настоящею душою которого был, разумеется, Порфишка-кровопивец.

Из бесконтрольной и бранчивой обладательницы головлевских имений Арина Петровна сделалась скромною приживалкой в доме младшего сына, приживалкой праздною и не имеющею

никакого голоса в хозяйственных распоряжениях. Голова ее поникла, спина сгорбилась, глаза потухли, поступь сделалась вялою, порывистость движений пропала. От нечего делать она научилась на старости лет вязанию, но и оно не спорится у ней, потому что мысль ее постоянно где-то витает, — где? — она и сама не всегда разберет, но, во всяком случае, не около вязальных спиц. Посидит, повяжет несколько минут — и вдруг руки сами собой опустятся, голова откинется на спинку кресел, и начнет она припоминать… Припоминает, припоминает, покуда старческая дремота не охватит всего старческого существа. Или встанет и начнет бродить по комнатам и все чего-то ищет, куда-то заглядывает, словно женщина, которая всю жизнь была в ключах и не понимает, где и как она их потеряла.

Первый удар властности Арины Петровны был нанесен не столько отменой крепостного права, сколько теми приготовлениями, которые предшествовали этой отмене. Сначала простые слухи, потом дворянские собрания с их адресами, потом губернские комитеты, потом редакционные комиссии — все это изнуряло, поселяло смуту. Воображение Арины Петровны, и без того богатое творчеством, рисовало ей целые массы

пустяков. То вдруг вопрос представится: как это я Агашку звать буду? чай, Агафьюшкой… а может, и Агафьей Федоровной величать придется! То представится: ходит она по пустому дому, а людишки в людскую забрались и жрут! Жрать надоест — под стол бросают! То покажется, что заглянула она в погреб, а там Юлька с Фешкой так-то за обе щеки уписывают, так-то уписывают! Хотела было она реприманд им сделать — и поперхнулась. «Как ты им что-нибудь скажешь! теперь они вольные, на них, поди, и суда нет!»

Как ни ничтожны такие пустяки, но из них постепенно созидается целая фантастическая действительность, которая втягивает в себя всего человека и совершенно парализует его деятельность. Арина Петровна как-то вдруг выпустила из рук бразды правления и в течение двух лет только и делала, что с утра до вечера восклицала:

— Хоть бы одно что-нибудь — пан либо пропал! а то: первый призыв! второй призыв! ни богу свеча, ни черту кочерга!

В это время, в самый развал комитетов, умер и Владимир Михайлыч. Умер присмиренный, умиротворенный, отрекшись от Баркова и всех дел его. Последние слова его были:

— Благодарю моего Бога, что не допустил меня,

наряду с холопами, предстать перед лицо свое!

Слова эти глубоко запечатлелись в восприимчивой душе Арины Петровны, и смерть мужа, вместе с фантасмагориями будущего, наложили какой-то безнадежный колорит на весь головлевский обиход. Как будто и старый головлевский дом, и все живущие в нем — все разом собралось умереть.

Порфирий Владимирыч, по немногим жалобам, вылившимся в письмах Арины Петровны, с изумительной чуткостью отгадал сумятицу, овладевшую ее помыслами. Арина Петровна уже не выговаривала и не учительствовала в письмах, но больше всего уповала на Божию помощь, «которая, по нынешнему легковерному времени, и рабов не оставляет, а тем паче тех, кои по достаткам своим надежнейшей опорой для церкви и ее украшения были». Иудушка инстинктом понял, что ежели маменька начинает уповать на Бога, то это значит, что в ее существовании кроется некоторый изъян. И он воспользовался этим изъяном с свойственною ему лукавою ловкостью.

Перед самым концом эмансипационного дела он совсем неожиданно посетил Головлево и нашел Арину Петровну унывающею, почти

измученною.

— Что? как? что в Петербурге поговаривают? — был первый ее вопрос по окончании взаимных приветствий.

Порфиша потупился и сидел молча.

— Нет, ты в мое положение войди, — продолжала Арина Петровна, поняв из молчания сына, что хорошего ждать нечего, — теперь у меня одних поганок в девичьей тридцать штук сидит — как с ними поступить? Ежели они на моем иждивении останутся — чем я их кормить стану? Теперь у меня и капустки, и картофельцу, и хлебца — всего довольно, ну и питаемся понемногу! Картофельцу нет — велишь капустки сварить; капустки нет — огурчиками извернешься! А ведь тогда я сама за всем на базар побеги, да за все денежки заплати, да купи, да подай — где на этакую ораву напасешься!

Порфиша глядел милому другу маменьке в глаза и горько улыбался в знак сочувствия.

— Ежели же их на все на четыре стороны выпустят: бегите, мол, милые, вытаращивши глаза! — ну, уж не знаю! Не знаю! не знаю! не знаю, что из этого выйдет!

Порфиша ухмыльнулся, как будто ему и самому очень уж смешно показалось, «что из этого

выйдет».

— Нет, ты не смейся, мой друг! Это дело так серьезно, так серьезно, что разве уж Господь им разуму прибавит, — ну, тогда… Скажу хоть бы про себя: ведь и я не огрызок: как-никак, а и меня пристроить ведь надобно. Как тут поступить? Ведь мы какое воспитание-то получили? Потанцевать, да попеть, да гостей принять — что я без поганок-то без своих делать буду? Ни я подать, ни принять, ни сготовить для себя — ничего ведь я, мой друг, не могу!

— Бог милостив, маменька!

— Был милостив, мой друг, а нынче нет! Милостив, милостив, а тоже с расчетцем: были мы хороши — и нас Царь Небесный жаловал; стали дурны — ну и не прогневайтесь! Уж я что думаю: не бросить ли все за добра ума. Право! выстрою себе избушку около папенькиной могилки, да и буду жить да поживать!

Порфирий Владимирыч навострил уши; на губах его показалась слюна.

— А имениями кто же распоряжаться будет? — возразил он осторожно, словно закидывая удочку.

— Не погневайтесь, и сами распорядитесь! Слава богу — припасла! Не все мне одной тяготы

носить…

Арина Петровна вдруг словно споткнулась и подняла голову. В глаза ее бросилось осклабляющееся, слюнявое лицо Иудушки, все словно маслом подернутое, все проникнутое каким-то плотоядным внутренним сиянием.

— Да ты никак уж хоронить меня собрался! — сухо заметила она. — Не рано ли, голубчик! не ошибись!

Таким образом, на первый раз дело кончилось ничем. Но есть разговоры, которые, раз начавшись, уже не прекращаются. Через несколько часов Арина Петровна вновь возвратилась к прерванной беседе.

— Уеду к Сергию-Троице, — мечтала она, — разделю имение, куплю на посаде домичек — и заживу!

Но Порфирий Владимирыч, искушенный давешним опытом, на этот раз смолчал.

— Прошлого года, как еще покойник папенька был жив, — продолжала мечтать Арина Петровна, — сидела я у себя в спаленке одна и вдруг слышу, словно мне кто шепчет: съезди к чудотворцу! съезди к чудотворцу! съезди к чудотворцу!.. да ведь до трех раз! Я этак, знаешь, обернулась — нет никого! Однако думаю: ведь это — видение мне!

Что ж, говорю, коли моя вера угодна Богу — я готова! И только что я это выговорила, как вдруг это в комнате… такое благоухание! такое благоухание разлилось! Разумеется, сейчас же велела укладываться, а к вечеру уж в дороге была!

У Арины Петровны даже слезы на глазах выступили. Иудушка воспользовался этим, чтоб поцеловать у маменьки ручку, причем позволил себе даже обнять ее за талию.

— Вот теперь вы — паинька! — сказал он. — Ах! хорошо, голубушка, коли кто с Богом в ладу живет! И он к Богу с молитвой, и Бог к нему с помощью. Так-то, добрый друг маменька!

— Постой! Я еще не все досказала! Приезжаю я на другой день вечером в посад, и прямо — к угоднику. А там всенощная; поют, свечки горят, благоухание от кадил — и не знаю, где я, на земле или на небеси! Пошла я от всенощной к иеромонаху Ионе и говорю: чтой-то, ваше высокопреподобие, больно у вас сегодня хорошо в храме! А он мне: «Чего, сударыня! ведь нынче отцу Аввакуму видение за всенощной было! Только что начал он руки на молитву заводить — смотрит, ан в самом куполе свет, и голубь на него смотрит!» Вот с этих пор я себе и положила: какова пора ни мера, а конец жизни у Сергия-Троицы пожить!

— А об нас-то кто позаботится! об детях-то ваших кто похлопочет? Ах, маменька, маменька!

— Ну, не маленькие, и сами об себе помыслите! А я… удалюсь я с Аннушкиными сиротками к чудотворцу и заживу у него под крылышком! Может быть, и из них у которой-нибудь явится желание Богу послужить, так тут и Хотьков[107] рукой подать! Куплю себе домичек, огородец вскопаю; капустки, картофельцу — всего у меня довольно будет!

Несколько дней сряду велся этот праздный разговор; несколько раз делала Арина Петровна самые смелые предположения, брала их назад и опять делала, но наконец довела дело до такой точки, что и отступить уж было нельзя. Не далее как через полгода после Иудушкиной побывки положение дел было следующее: Арина Петровна не уехала ни к Сергию-Троице, ни в домик у могилки мужа, а имение разделила, оставив при себе только капитал. При этом Порфирию Владимирычу была выделена лучшая часть, а Павлу Владимирычу — похуже.

---

[107] Notes: 107

То есть Покровский-Хотьков девичий монастырь в Дмитровском уезде Московской губернии.

* * *

Арина Петровна осталась по-прежнему в Головлеве, причем, разумеется, не обошлось без семейной комедии. Иудушка пролил слезы и умолил доброго друга маменьку управлять его имением безотчетно, получать с него доходы и употреблять по своему усмотрению, «а что вы мне, голубушка, из доходов уделите, я всем, даже малостью, буду доволен». Напротив того, Павел поблагодарил мать холодно («точно укусить хотел»), тотчас же вышел в отставку («так, без материнского благословения, как оглашенный, и выскочил на волю!») и поселился в Дубровине.

С этих пор на Арину Петровну нашло затмение. Тот внутренний образ Порфишки-кровопивца, который она когда-то с такою редкою проницательностью угадывала, вдруг словно туманом задернулся. Казалось, она ничего больше не понимала, кроме того, что, несмотря на раздел имения и освобождение крестьян, она по-прежнему живет в Головлеве и по-прежнему ни перед кем не отчитывается. Тут же, под боком, живет другой сын — но какая разница! Тогда как Порфиша и себя, и семью — все вверил маменькиному усмотрению, Павел не только ни об чем с ней не

советуется, но даже при встречах как-то сквозь зубы говорит!

И чем больше затмевался ее рассудок, тем больше раскипалось в ней сердце ревностью к ласковому сыну. Порфирий Владимирыч ничего у ней не просил — она сама шла навстречу его желаниям. Мало-помалу она начала находить недостатки в фигуре головлевских дач. В таком-то месте чужая земля врезывалась в дачу — хорошо было бы эту землю прикупить; в таком-то месте можно бы хуторок отдельный устроить, да покосцу мало, и тут, по смежности, и покосец продажный есть — ах, хорош покос! Арина Петровна увлекалась и как мать, и как хозяйка, желающая выставить во всем блеске свои способности перед ласковым сыном. Но Порфирий Владимирыч словно в непроницаемую скорлупу схоронился. Напрасно Арина Петровна соблазняла его покупками — на все ее предложения приобрести такой-то лесок или такой-то покосец он неизменно отвечал: «Я, добрый друг маменька, и тем доволен, что вы, по милости вашей, мне пожаловали».

Ответы эти только разжигали Арину Петровну. Увлекаясь, с одной стороны, хозяйственными задачами, с другой — полемическими сообра-

жениями относительно «подлеца Павлушки», который жил подле и знать ее не хотел, она совершенно утратила представление о своих действительных отношениях к Головлеву. Прежняя горячка приобретения с новою силою овладела всем ее существом, но приобретения уже не за свой собственный счет, а за счет любимого сына. Головлевское имение разрослось, округлилось и зацвело.

И вот, в ту самую минуту, когда капитал Арины Петровны до того умалился, что сделалось почти невозможным самостоятельное существование на проценты с него, Иудушка, при самом почтительном письме, прислал ей целый тюк форм счетоводства, которые должны были служить для нее руководством на будущее время при составлении годовой отчетности. Тут, рядом с главными предметами хозяйства, стояли: малина, крыжовник, грибы и т. д. По всякой статье был особенный счет приблизительно следующего содержания:

К 18** году состояло кустов малины 00

К сему поступило вновь посаженных 00

С наличного числа кустов собрано ягод 00 п. 00 ф. 00 зол.

Из сего числа:

Вами, милый друг маменька, употреблено 00

п. 00 ф. 00 зол.

Израсходовано на варенье для дома

Его Превосходительства

Порфирия Владимирыча Головлева 0 п. 00 ф. 00 зол.

Дано мальчику N в награду за добронравие 1 ф.

Продано простому народу на лакомство 00 п. 00 ф. 00 зол.

Сгнило, по неимению в виду покупщиков,

а равно и от других причин 00 п. 00 ф. 00 зол.

И т. д. И т. д.

Примечание. В случае, ежели урожай отчетного года менее против прошлого года, то здесь должны быть объясняемы причины сего, как то: засуха, дожди, град и проч.

Арина Петровна так и ахнула. Во-первых, ее поразила скупость Иудушки: она никогда и не слыхивала, чтоб крыжовник мог составлять в Головлеве предмет отчетности, а он, по-видимому, на этом предмете всего больше и настаивал; во-вторых, она очень хорошо поняла, что все эти формы не что иное, как конституция, связывающая ее по рукам и по ногам.

Кончилось дело тем, что после продолжительной полемической переписки Арина Петровна, оскорбленная и негодующая, перебралась в Дуб-

ровино, а вслед за тем и Порфирий Владимирыч вышел в отставку и поселился в Головлеве.

С этих пор для старухи начался ряд мутных дней, посвященных насильственному покою. Павел Владимирыч, как человек, лишенный поступков, был как-то особенно придирчив в отношении к матери. Он принял ее довольно сносно, то есть обязался кормить и поить ее и сирот-племянниц, но под двумя условиями: во-первых, не ходить к нему на антресоли, а во-вторых — не вмешиваться в распоряжения по хозяйству. Последнее условие в особенности волновало Арину Петровну. Всем в доме Павла Владимирыча заправляли: во-первых, ключница Улитушка, женщина ехидная и уличенная в секретной переписке с кровопивцем Порфишкой, и, во-вторых, бывший папенькин камердинер Кирюшка, ничего не смысливший в полеводстве и ежедневно читавший Павлу Владимирычу холуйского свойства поучения. Оба крали немилосердно. Сколько раз болело сердце Арины Петровны при виде господствовавшего в доме расхищения! сколько раз порывалась она предупредить, раскрыть сыну глаза насчет чая, сахару, масла! Всего этого выходили массы, и неоднократно Улитушка, нимало не стесняясь

присутствием старухи барыни, даже в глазах ее, прятала в карман целые пригоршни сахару. Арина Петровна видела все это и должна была оставаться безмолвной свидетельницей расхищения. Потому что едва разевала она рот, чтобы заметить что-нибудь, как Павел Владимирыч в ту же минуту ее осаживал.

— Маменька, — говорил он, — надобно, чтоб кто-нибудь один в доме распоряжался! Это не я говорю, все так поступают. Я знаю, что мои распоряжения глупые, ну и пусть будут глупые. А ваши распоряжения умные — ну и пусть будут умные! Умны вы, даже очень умны, а Иудушка все-таки без угла вас оставил!

К довершению всего Арина Петровна сделала ужасное открытие: Павел Владимирыч пил. Страсть эта въелась в него крадучись, благодаря деревенскому одиночеству, и наконец получила то страшное развитие, которое должно было привести к неизбежному концу. В первое время, когда в доме поселилась мать, он как будто еще совестился; довольно часто сходил с антресолей вниз и разговаривал с матерью. Замечая, как путается его язык, Арина Петровна долго думала, что это происходит от глупости. Она не любила, когда он приходил «разговаривать», и считала эти

разговоры большим для себя притеснением. В самом деле, он постоянно и как-то нелепо роптал. То дождя по целым неделям нет, то вдруг такой зарядит, словно с цепи сорвется; то жук одолел, все деревья в саду обглодал; то крот появился, все луга изрыл. Все это представляло неистощимый источник для ропота. Сойдет, бывало, с антресолей, сядет против матери и начнет:

— Кругом тучи ходят — Головлево далеко ли? у кровопивца вчера проливной был! — а у нас нет да и нет! Ходят тучки, похаживают кругом — и хоть бы те капля на наш пай!

Или:

— Ишь льет-поливает! рожь только что зацвела, а он знай поливает! Половину сена уж сгноили, а он прыскает да попрыскивает! Головлево далеко ли? кровопивец давно с поля убрался, а мы сиди-посиди! Придется скотину зимой гнилым сеном кормить!

Молчит-молчит Арина Петровна, слушая глупые речи, но иногда не вытерпит и молвит:

— Ты бы побольше руки сложа сидел!

Не успеет она это вымолвить, как Павел Владимирыч уже и взбеленился:

— А вы что ж мне прикажете делать? В Головлево дождик, что ли, перевести?

— Не дождик, а вообще…

— Нет, вы скажите, что, по-вашему, делать мне нужно? Не «вообще», а прямо… Климат, что ли, я для вас переменить должен? Вот в Головлеве: нужен был дождик — и был дождик; не нужно дождя — и нет его! Ну и растет там все… А у нас все напротив! вот посмотрим, как-то вы станете разговаривать, как есть нечего будет!

— Стало быть, Божья воля такова…

— Так вы та́к и говорите, что Божья воля! А то «вообще» — вот какое объяснение нашли!

Иногда дело доходило до того, что он даже собственностью отягощался.

— И зачем только это Дубровино мне досталось? — жаловался он. — Что в нем?

— Чем же Дубровино не усадьба! земля хорошая, всего довольно… И что тебе вдруг вздумалось!

— А то и вздумалось, что по нынешнему времени совсем собственности иметь не надо! Деньги — это так! Деньги взял, положил в карман и удрал с ними! А недвижимость эта…

— Да что ж это за время такое за особенное, что уж и собственности иметь нельзя?

— А такое время, что вы вот газет не читаете, а я читаю. Нынче адвокаты везде пошли — вот и понимайте. Узнает адвокат, что у тебя собствен-

ность есть, — и почнет кружить!

— Как же он тебя кружить будет, коль скоро у тебя праведные документы есть?

— Так и будет кружить, как кружат. Или вот Порфишка-кровопивец: наймет адвоката, а тот и будет тебе повестку за повесткой присылать!

— Что ты! не бессудная, чай, земля?

— Оттого и будет повестки присылать, что не бессудная. Кабы бессудная была, и без повесток бы отняли, а теперь с повестками. Вон у товарища моего, у Горлопятова, дядя умер, а он возьми да сдуру и прими после него наследство! Наследства-то оказался грош, а долгов — на сто тысяч: векселя, да все фальшивые. Вот и судят его третий год сряду: сперва дядино имение обрали, а потом и его собственное с аукциону продали! Вот тебе и собственность!

— Неужто такой закон есть?

— Кабы не было закона — не продали бы. Стало быть, всякий закон есть. У кого совести нет, для того все законы открыты, а у кого есть совесть, для того и закон закрыт. Поди, отыскивай его в книге-то!

Арина Петровна всегда уступала в этих спорах. Не раз ее подмывало крикнуть: вон с моих глаз, подлец! но подумает-подумает, да и смолчит.

Только разве про себя поропщет:

— Господи! и в кого я этаких извергов уродила! Один — кровопивец, другой — блаженный какой-то! Для кого я припасала! ночей недосыпала, куска недоедала… для кого?!

И чем больше овладевал Павлом Владимирычем запой, тем фантастичнее и, так сказать, внезапнее становились его разговоры. Наконец Арина Петровна начала замечать, что тут есть что-то неладное. Например: с утра в шкапчик в столовой ставится полный графин водки, а к обеду уж ни капли в нем нет. Или: сидит она в гостиной и слышит какой-то таинственный скрип, происходящий в столовой около заветного шкапчика; крикнет: кто там? — и слышит, что чьи-то шаги быстро, но осторожно удаляются по направлению к антресолям.

— Матушки! да никак он у вас пьет? — спросила она однажды Улитушку.

— Занимаются-с, — отвечала та, язвительно улыбаясь.

Убедившись, что мать отгадала его, Павел Владимирыч окончательно перестал церемониться. В одно прекрасное утро шкапчик совсем исчез из столовой, и на вопрос Арины Петровны, куда он девался, Улитушка отвечала:

— На антресоли перенести приказали; там им свободнее заниматься будет.

Действительно, на антресолях графинчики следовали друг за другом с изумительной быстротой. Уединившись с самим собой, Павел Владимирыч возненавидел общество живых людей и создал для себя особенную, фантастическую действительность. Это был целый глупо-героический роман, с превращениями, исчезновениями, внезапными обогащениями, роман, в котором главными героями были: он сам и кровопивец Порфишка. Он сам не сознавал вполне, как глубоко залегла в нем ненависть к Порфишке. Он ненавидел его всеми помыслами, всеми внутренностями, ненавидел беспрестанно, ежеминутно. Словно живой, метался перед ним этот паскудный образ, а в ушах раздавалось слезно-лицемерное пустословие Иудушки, пустословие, в котором звучала какая-то сухая, почти отвлеченная злоба ко всему живому, не подчиняющемуся кодексу, созданному преданием лицемерия. Павел Владимирыч пил и припоминал. Припоминал все обиды и унижения, которые ему приходилось вытерпеть, благодаря претензии Иудушки на главенство в доме. В особенности же припоминал раздел имения, рассчитывал каждую копейку,

сравнивал каждый клочок земли — и ненавидел. В разгоряченном вином воображении создавались целые драмы, в которых вымещались все обиды и в которых обидчиком являлся уже он, а не Иудушка. То будто выиграл он двести тысяч и приезжает сообщить об этом Порфишке (целая сцена с разговорами), у которого от зависти даже перекосило лицо. То будто умер дедушка (опять сцена с разговорами, хотя никакого дедушки не было), ему оставил миллион, а Порфишке-кровопивцу — шиш. То будто он изобрел средство делаться невидимкой и через это получил возможность творить Порфишке такие пакости, от которых тот начинает стонать. В изобретении этих проказ он был неистощим, и долго нелепый хохот оглашал антресоли, к удовольствию Улитушки, спешившей уведомить о происходящем братца Порфирия Владимирыча.

Он ненавидел Иудушку и в то же время боялся его. Он знал, что глаза Иудушки источают чарующий яд, что голос его, словно змей, заползает в душу и парализует волю человека. Поэтому он решительно отказался от свиданий с ним. Иногда кровопивец приезжал в Дубровино, чтобы поцеловать ручку у доброго друга маменьки (он выгнал ее из дому, но почтительности не

прекращал), — тогда Павел Владимирыч запирал антресоли на ключ и сидел взаперти все время, покуда Иудушка калякал с маменькой.

Таким образом шли дни за днями, покуда наконец Павел Владимирыч не очутился лицом к лицу с смертным недугом.

* * *

Доктор переночевал «для формы» и на другой день, рано утром уехал в город. Оставляя Дубровино, он высказал прямо, что больному остается жить не больше двух дней и что теперь поздно думать об каких-нибудь «распоряжениях», потому что он и фамилии путем подписать не может.

— Подпишет он вам «обмокни» — потом и с судом, пожалуй, не разделаетесь, — прибавил он, — ведь Иудушка хоть и очень маменьку уважает, а дело о подлоге все-таки начнет, и ежели по закону мамашеньку в места не столь отдаленные ушлют, так ведь он только молебен в путь шествующим отслужит!

Арина Петровна целое утро ходила как в отупении. Попробовала было встать на молитву — не внушит ли что Бог? — но и молитва на ум не шла, даже язык как-то не слушался. Начнет: *Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей,* и вдруг, сама

не знает как, съедет на *от лукавого*. «Очисти! очисти!» — машинально лепечет язык, а мысль так и летает: то на антресоли заглянет, то на погреб зайдет («сколько добра по осени было — всё растащили!»), то начнет что-то припоминать — далекое-далекое. Всё сумерки какие-то, и в этих сумерках люди, много людей, и все они копошатся, стараются, припасают. *Блажен муж… блажен муж… яко кадило… научи мя… научи мя…* Но вот и язык мало-помалу смяк, глаза смотрят на образа и не видят; рот раскрыт широко, руки сложены на поясе, и вся она стоит неподвижно, словно застыла.

Наконец она села и заплакала. Слезы так и лились из потухших глаз по старческим засохшим щекам, задерживаясь в углублениях морщин и капая на замасленный ворот старой ситцевой блузы. Это было что-то горькое, полное безнадежности и вместе с тем бессильно-строптивое. И старость, и немощи, и беспомощность положения — все, казалось, призывало ее к смерти, как к единственному примиряющему исходу, но в то же время замешивалось и прошлое с его властностью, довольством и простором, и воспоминания этого прошлого так и впивались в нее, так и притягивали ее к земле. «Умереть бы!» — мелькало

в ее голове, а через мгновенье то же слово сменялось другим: «Пожить бы!» Она не вспоминала ни о Иудушке, ни об умирающем сыне — оба они словно перестали существовать для нее. Ни об ком она не думала, ни на кого не негодовала, никого не обвиняла; она даже забыла, есть ли у нее капитал и достаточен ли он, чтоб обеспечить ее старость. Тоска, смертная тоска охватила все ее существо. Тошно! горько! — вот единственное объяснение, которое она могла бы дать своим слезам. Эти слезы пришли издалека; капля по капле копились они с той самой минуты, как она выехала из Головлева и поселилась в Дубровине. Ко всему, что теперь предстояло, она была уж приготовлена, все она ожидала и предвидела, но ей никогда как-то не представлялось с такою ясностью, что этому ожиданному и предвиденному должен наступить конец. И вот теперь этот конец наступил, конец, полный тоски и безнадежного одиночества. Всю-то жизнь она что-то устраивала, над чем-то убивалась, а оказывается, что убивалась над призраком. Всю жизнь слово «семья» не сходило у нее с языка; во имя семьи она одних казнила, других награждала; во имя семьи она подвергала себя лишениям, истязала себя, изуродовала всю свою жизнь — и вдруг

выходит, что семьи-то именно у нее и нет!

«Господи! да неужто ж и у всех так!» — вертелось у нее в голове.

Она сидела, опершись головой на руку и обратив обмоченное слезами лицо навстречу поднимающемуся солнцу, как будто говорила ему: видь! Она не стонала и не кляла, а только потихоньку всхлипывала, словно захлебывалась слезами. И в то же время на душе у ней так и горело:

— Нет никого! нет никого! нет! нет! нет!

Но вот иссякли и слезы. Умывши лицо, она без цели побрела в столовую, но тут девицы осадили ее новыми жалобами, которые на этот раз показались ей как-то особенно назойливыми.

— Что ж это, бабушка, будет! неужто ж мы так без ничего и останемся? — роптала Аннинька.

— Какой этот дядя глупый! — вторила ей Любинька.

Около полудня Арина Петровна решилась проникнуть к умирающему сыну. Осторожно, чуть ступая, взошла она по лестнице и ощупью отыскала впотьмах двери, ведущие в комнаты. На антресолях царствовали сумерки; окна занавешены были зелеными шторами, сквозь которые чуть-чуть пробивался свет; давно не возобновля-

емая атмосфера комнат пропиталась противною смесью разнородных запахов, в составлении которой участвовали и ягоды, и пластыри, и лампадное масло, и те особенные миазмы, присутствие которых прямо говорит о болезни и смерти. Комнат было всего две; в первой сидела Улитушка, чистила ягоды и с ожесточением сдувала мух, которые шумным роем вились над ворохами крыжовника и нахально садились ей на нос и на губы. Сквозь полуотворенную дверь из соседней комнаты не переставая доносился сухой и короткий кашель, от времени до времени разрешающийся мучительною экспекторацией. Арина Петровна остановилась в нерешительной позе, вглядываясь в сумерки и как бы выжидая, что предпримет Улитушка в виду ее прихода. Но Улитушка даже не шевельнулась, словно была уже слишком уверена, что всякая попытка подействовать на больного останется бесплодною. Только сердитое движение скользнуло по ее губам, и Арине Петровне послышалось произнесенное шепотом слово: черт.

— Ты бы, голубушка, вниз пошла! — обратилась Арина Петровна к Улитушке.

— Это еще что за новости! — огрызнулась последняя.

— Мне с Павлом Владимирычем говорить нужно. Ступай!

— Помилуйте, сударыня! как же я их оставлю? А ежели что вдруг случится — ни подать, ни принять.

— Что там? — раздалось глухо из спальной.

— Прикажи, мой друг, Улите уйти. Мне с тобой переговорить нужно.

На этот раз Арина Петровна действовала настолько настойчиво, что осталась победительницей. Она перекрестилась и вошла в комнату. Около внутренней стены, подальше от окон, стояла постель больного. Он лежал на спине, покрытый белым одеялом, и почти бессознательно дымил папироской. Несмотря на табачный дым, мухи с каким-то ожесточением налетали на него, так что он беспрестанно то той, то другой рукой проводил около лица. Это были руки до такой степени бессильные, лишенные мускулов, что ясно представляли очертания кости, почти одинаково узкой от кисти до плеча. Голова его как-то безнадежно прильнула к подушке, лицо и все тело горели в сухом жару. Большие, круглые глаза ввалились и смотрели беспредметно, как бы чего-то искали; нос вытянулся и заострился, рот был полуоткрыт. Он не кашлял, но дышал с

такою силой, что, казалось, вся жизненная энергия сосредоточилась в его груди.

— Ну что? как ты сегодня себя чувствуешь? — спросила Арина Петровна, опускаясь в кресло у его ног.

— Ничего… завтра… то бишь сегодня… когда это лекарь у нас был?

— Сегодня был лекарь.

— Ну, значит, завтра…

Больной заметался, как бы силясь припомнить слово.

— Встать можно будет? — подсказала Арина Петровна. — Дай Бог, мой друг, дай Бог!

Оба замолкли на минуту. Арине Петровне хотелось сказать что-то, но для того, чтоб сказать, нужно было разговаривать. Вот этого-то именно разговора и не могла она никогда найти, когда была с глазу на глаз с Павлом Владимирычем.

— Иудушка… живет? — спросил наконец сам больной.

— Что ему делается! живет да поживает.

— Чай, думает: вот братец Павел умрет — и еще, по милости Божией, именьице мне достанется!

— И все когда-нибудь умрем, и после всех именья пойдут… законным наследникам…

— Только не кровопивцу. Собакам выброшу,

а не ему!

Случай выходил отличный; сам Павел Владимирыч заговаривал. Арина Петровна не преминула воспользоваться этим.

— Надо бы подумать об этом, мой друг! — сказала она словно мимоходом, не глядя на сына и рассматривая на свет руки, точно они составляли в эту минуту главный предмет ее внимания.

— Об чем, «об этом»?

— А вот хоть бы насчет того, если ты не желаешь, чтоб брату именье твое осталось…

Больной молчал. Только глаза его неестественно расширились, и лицо все больше и больше рдело.

— Можно бы, друг мой, и то в соображение взять, что у тебя племянницы-сироты есть, — какой у них капитал? Ну и мать тоже… — продолжала Арина Петровна.

— Все Иудушке спустить успели?

— Как бы то ни было… знаю, что сама виновата… Да ведь и не бог знает, какой грех… Думала тоже, что сын… Да и тебе бы можно не попомнить этого матери.

Молчание.

— Что же! скажи хоть что-нибудь!

— А вы как скоро собираетесь меня хоронить?

— Не хоронить, а все-таки… И прочие христиане… Не все сейчас умирают, а вообще…

— То-то «вообще»! Вы всегда «вообще»! Думаете, что я и не вижу!

— Что же ты видишь, мой друг?

— А то и вижу, что вы меня за дурака считаете! Ну, и положим, что я дурак, и пусть буду дурак! зачем же приходите к дураку? и не приходите! и не беспокойтесь!

— Я и не беспокоюсь; я только вообще… что всякому человеку предел жизни положен…

— Ну и ждите!

Арина Петровна понурила голову и раздумывала. Она очень хорошо видела, что дело ее стоит плохо, но безнадежность будущего до того терзала ее, что даже очевидность не могла убедить в бесплодности дальнейших попыток.

— Не знаю, за что ты меня ненавидишь! — произнесла она наконец.

— Нисколько… я вас… нисколько! Я даже очень… Помилуйте! вы нас так вели… всех ровно…

Он говорил это порывисто, захлебываясь; в звуках голоса слышался какой-то надорванный и в то же время торжествующий хохот; в глазах показались искры; плечи и ноги беспокойно

вздрагивали.

— Может, я и в самом деле чем-нибудь провинилась, так уж прости, Христа ради!

Арина Петровна встала и поклонилась, коснувшись рукой до земли. Павел Владимирыч закрыл глаза и не отвечал.

— Положим, что насчет недвижимости… Это точно, что в теперешнем твоем положении нечего и думать, чтобы распоряжения делать… Порфирий — законный наследник, ну пускай ему недвижимость и достается… А движимость, а капитал как? — решилась прямо объясниться Арина Петровна.

Павел Владимирыч вздрогнул, но молчал. Очень возможно, что при слове «капитал» он совсем не об инсинуациях Арины Петровны помышлял, а просто ему подумалось: вон и сентябрь на дворе, проценты получать надобно… шестьдесят семь тысяч шестьсот на пять помножить да на два потом разделить — сколько это будет?

— Ты, может быть, думаешь, что я смерти твоей желаю, так разуверься, мой друг! Ты только живи, а мне, старухе, и горюшка мало! Что мне! мне и тепленько, и сытенько у тебя, и даже ежели из сладенького чего-нибудь захочется — все у меня есть! Я только насчет того говорю, что у христиан

обычай такой есть, чтобы в ожидании предбудущей жизни…

Арина Петровна остановилась, словно искала подходящего слова.

— Присных своих обеспечивать, — докончила она, смотря в окно.

Павел Владимирыч лежал неподвижно и потихоньку откашливался, ни одним движением не выказывая, слушает он или нет. По-видимому, причитания матери надоели ему.

— Капитал-то можно бы при жизни из рук в руки передать, — молвила Арина Петровна, как бы вскользь бросая предположение и вновь принимаясь рассматривать на свет свои руки.

Больной чуть-чуть дрогнул, но Арина Петровна не заметила этого и продолжала:

— Капитал, мой друг, и по закону к перемещению допускается. Потому это вещь наживная: вчера он был, сегодня — нет его. И никто в нем отчета не может спрашивать — кому хочу, тому и отдаю.

Павел Владимирыч вдруг как-то зло засмеялся.

— Палочкина историю, должно быть, вспомнили! — зашипел он. — Тот тоже из рук в руки жене капитал отдал, а она с любовником убежала!

— У меня, мой друг, любовников нет!

— Так без любовника убежите… с капиталом!

— Как ты, однако, меня понимаешь!

— Никак я вас не понимаю… Вы на весь свет меня дураком прославили — ну и дурак я! И пусть буду дурак! Смотрите, какие штуки-фигуры придумали — капитал им из рук в руки передай! А сам что? — в монастырь, что ли, прикажете мне спасаться идти да оттуда глядеть, как вы моим капиталом распоряжаться будете?

Он выговорил все это залпом, злобствуя и волнуясь, и затем совсем изнемог. В продолжение по крайней мере четверти часа после того он кашлял во всю мочь, так что было даже удивительно, что этот жалкий человеческий остов еще заключает в себе столько силы. Наконец он отдышался и закрыл глаза.

Арина Петровна потерянно оглядывалась кругом. До сих пор ей все как-то не верилось, теперь она окончательно убедилась, что всякая новая попытка убедить умирающего может только приблизить день торжества Иудушки. Иудушка так и мелькал перед ее глазами. Вот он идет за гробом, вот отдает брату последнее Иудино лобзание, и две паскудные слезинки вытекли из его глаз. Вот и гроб опустили в землю: «Прррощай, брат!» — восклицает Иудушка, подергивая губа-

ми, закатывая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести, и вслед за тем обращается вполоборота к Улитушке и говорит: кутью-то, кутью-то не забудьте в дом взять! да на чистенькую скатертцу поставьте… братца опять в доме помянуть! Вот кончился и поминальный обед, во время которого Иудушка без устали говорит с батюшкой об добродетелях покойного и встречает со стороны батюшки полное подтверждение этих похвал. «Ах, брат! брат! не захотел ты с нами пожить!» — восклицает он, выходя из-за стола и протягивая руку ладонью вверх под благословение батюшки. Вот наконец все, слава богу, наелись и даже выспались после обеда; Иудушка расхаживает хозяином по комнатам дома, принимает вещи, заносит в опись и по временам подозрительно взглядывает на мать, ежели в чем-нибудь встречает сомнение.

Все эти неизбежные сцены будущего так и метались перед глазами Арины Петровны. И как живой звенел в ее ушах маслянисто-пронзительный голос Иудушки, обращенный к ней:

— А помните, маменька, у брата золотенькие запоночки были… хорошенькие такие, еще он их по праздникам надевал… и куда только эти запоночки девались — ума приложить не могу!

* * *

Не успела Арина Петровна сойти вниз, как на бугре у дубровинской церкви показалась коляска, запряженная четверней. В коляске, на почетном месте, восседал Порфирий Головлев без шапки и крестился на церковь; против него сидели два его сына: Петенька и Володенька. У Арины Петровны так и захолонуло сердце: «Почуяла Лиса Патрикевна, что мертвечиной пахнет!» — подумалось ей; девицы тоже струсили и как-то беспомощно жались к бабушке. В доме, до сих пор тихом, вдруг поднялась тревога: захлопали двери, забегали люди, раздались крики: барин едет! барин едет! — и все население усадьбы разом высыпало на крыльцо. Одни крестились, другие просто стояли в выжидательном положении, но все, очевидно, сознавали, что то, что до сих пор происходило в Дубровине, было лишь временное, что только теперь наступает настоящее, заправское, с заправским хозяином во главе. Многим из старых, заслуженных дворовых выдавалась при «прежнем» барине месячина[108];

[108] Notes: 108

Месячина — содержание крестьян, выдававшееся помесячно продуктами питания.

многие держали коров на барском сене, имели огороды и вообще жили «свободно»; всех, естественно, интересовал вопрос, оставит ли «новый» барин старые порядки или заменит их новыми, головлевскими.

Иудушка между тем подъехал и по сделанной ему встрече уже заключил, что в Дубровине дело идет к концу. Не торопясь вышел он из коляски, замахал руками на дворовых, бросившихся барину к ручке, потом сложил обе руки ладонями внутрь и начал медленно взбираться по лестнице, шепотом произнося молитву. Лицо его в одно и то же время выражало и скорбь, и твердую покорность. Как человек, он скорбел; как христианин — роптать не осмеливался. Он молился «о ниспослании», но больше всего уповал и покорялся воле Провидения. Сыновья, в паре, шли сзади его. Володенька передразнивал отца, то есть складывал руки, закатывал глаза и шевелил губами; Петенька наслаждался представлением, которое давал брат. За ними, безмолвной гурьбой, следовал кортеж дворовых.

Иудушка поцеловал маменьку в ручку, потом в губы, потом опять в ручку; потом потрепал милого друга за талию и, грустно покачав головою, произнес:

— А вы всё унываете! Нехорошо это, друг мой! ах, как нехорошо! А вы бы спросили себя: что, мол, Бог на это скажет? — Скажет: вот я в премудрости своей все к лучшему устрояю, а она ропщет! Ах, маменька! маменька!

Потом перецеловал обеих племянниц и с тою же пленительною родственностью в голосе сказал:

— И вы, стрекозы, туда же в слезы! чтоб у меня этого не было! Извольте сейчас улыбаться — и дело с концом!

И он затопал на них ногами или, лучше сказать, делал вид, что топает, но, в сущности, только благосклонно шутил.

— Посмотрите на меня! — продолжал он. — Как брат — я скорблю! Не раз, может быть, и всплакнул… Жаль брата, очень, даже до слез жаль… Всплакнешь, да и опомнишься: а Бог-то на что! Неужто Бог хуже нашего знает, как и что? Поразмыслишь эдак — и ободришься. Так-то и всем поступать надо! И вам, маменька, и вам, племяннушки, и вам… всем! — обратился он к прислуге. — Посмотрите на меня, каким я молодцом хожу!

И он с тою же пленительностью представил из себя «молодца», то есть выпрямился, отставил

одну ногу, выпятил грудь и откинул назад голову. Все улыбнулись, но кисло как-то, словно всякий говорил себе: ну, пошел теперь паук паутину ткать!

Окончив представление в зале, Иудушка перешел в гостиную и вновь поцеловал у маменьки ручку.

— Так так-то, милый друг маменька! — сказал он, усаживаясь на диване. — Вот и брат Павел…

— Да, и Павел… — потихоньку отозвалась Арина Петровна.

— Да, да, да… раненько бы! раненько! Ведь я, маменька, хоть и бодрюсь, а в душе тоже… очень-очень об брате скорблю! Не любил меня брат, крепко не любил, — может, за это Бог и посылает ему!

— В этакую минуту можно бы и забыть про это! Старые-то дрязги оставить надо…

— Я, маменька, давно позабыл! Я только к слову говорю: не любил меня брат, а за что — не знаю! Уж я ли, кажется… и так и сяк, и прямо и стороной, и «голубчик» и «братец» — пятится от меня, да и шабаш! Ан Бог-то взял да невидимо к своему пределу и приурочил!

— Говорю тебе: нечего поминать об этом! Человек на ладан уж дышит!

— Да, маменька, великая это тайна — смерть! Не ве́сте ни дня, ни часа — вот это какая тайна! Вот он все планы планировал, думал, уж так высоко, так высоко стоит, что и рукой до него не достанешь, а Бог-то разом, в одно мгновение, все его мечтания опроверг. Теперь бы он, может, и рад грешки свои поприкрыть — ан они уж в книге живота записаны значатся. А из этой, маменька, книги, что там записано, не скоро выскоблишь!

— Чай, раскаянье-то приемлется!

— Желаю! от души брату желаю! Не любил он меня, а я — желаю! Я всем добра желаю! и ненавидящим, и обидящим — всем! Несправедлив он был ко мне — вот Бог болезнь ему послал, не я, а Бог! А много он, маменька, страдает?

— Так себе… Ничего. Доктор был, даже надежду подал, — солгала Арина Петровна.

— Ну, вот как хорошо! Ничего, мой друг! не огорчайтесь! может быть, и отдышится! Мы-то здесь об нем сокрушаемся да на Создателя ропщем, а он, может быть, сидит себе тихохонько на постельке да Бога за исцеленье благодарит!

Эта мысль до того понравилась Иудушке, что он даже полегоньку хихикнул.

— А ведь я к вам, маменька, погостить приехал, — продолжал он, словно делая маменьке

приятный сюрприз, — нельзя, голубушка… по-родственному! Не ровен случай — все же, как брат… и утешить, и посоветовать, и распорядиться… ведь вы позволите?

— Какие я позволения могу давать! сама здесь гостья!

— Ну так вот что, голубушка. Так как сегодня у нас пятница, так уж вы прикажете, если ваша такая милость будет, мне постненького к обеду изготовить. Рыбки там, что ли, солененькой, грибков, капустки — мне ведь немного нужно! А я между тем по-родственному… на антресоли к брату поплетусь — может быть, и успею. Не для тела, так для души что-нибудь полезное сделаю. А в его положении душа-то, пожалуй, поважнее. Тело-то мы, маменька, микстурками да припарочками подправить можем, а для души лекарства поосновательнее нужны.

Арина Петровна не возражала. Мысль о непредотвратимости «конца» до такой степени охватила все ее существо, что она в каком-то оцепенении присматривалась и прислушивалась ко всему, что происходило кругом нее. Она видела, как Иудушка, покрякивая, встал с дивана, как он сгорбился, зашаркал ногами (он любил иногда притвориться немощным: ему казалось, что так

почтеннее); она понимала, что внезапное появление кровопивца на антресолях должно глубоко взволновать больного и, может быть, даже ускорить развязку; но после волнений этого дня на нее напала такая усталость, что она чувствовала себя точно во сне.

Покуда это происходило, Павел Владимирыч находился в неописанной тревоге. Он лежал на антресолях совсем один и в то же время слышал, что в доме происходит какое-то необычное движение. Всякое хлопанье дверьми, всякий шаг в коридоре отзывались чем-то таинственным. Некоторое время он звал и кричал во всю мочь, но, убедившись, что крики бесполезны, собрал все силы, приподнялся на постели и начал прислушиваться. После общей беготни, после громкого говора голосов вдруг наступила мертвая тишина. Что-то неизвестное, страшное обступило его со всех сторон. Дневной свет сквозь опущенные гардины лился скупо, и так как в углу, перед образом, теплилась лампадка, то сумерки, наполнявшие комнату, казались еще темнее и гуще. В этот таинственный угол он и уставился глазами, точно в первый раз его поразило нечто в этой глубине. Образ в золоченом окладе, в который непосредственно ударяли лучи лампадки, с ка-

кою-то изумительной яркостью, словно что-то живое, выступал из тьмы; на потолке колебался светящийся кружок, то вспыхивая, то бледнея, по мере того как усиливалось или слабело пламя лампадки. Внизу господствовал полусвет, на общем фоне которого дрожали тени. На той же стене, около освещенного угла, висел халат, на котором тоже колебались полосы света и тени, вследствие чего казалось, что он движется. Павел Владимирыч всматривался-всматривался, и ему почудилось, что там, в этом углу, все вдруг задвигалось. Одиночество, беспомощность, мертвая тишина — и посреди этого тени, целый рой теней. Ему казалось, что эти тени идут, идут, идут… В неописанном ужасе, раскрыв глаза и рот, он глядел в таинственный угол и не кричал, а стонал. Стонал глухо, порывисто, точно лаял. Он не слыхал ни скрипа лестницы, ни осторожного шарканья шагов в первой комнате — как вдруг у его постели выросла ненавистная фигура Иудушки. Ему померещилось, что он вышел оттуда, из этой тьмы, которая сейчас в его глазах так таинственно шевелилась; что там есть и еще, и еще… тени, тени, тени без конца! Идут, идут…

— Зачем? откуда? кто пустил? — инстинктивно крикнул он, бессильно опускаясь на подушку.

Иудушка стоял у постели, всматривался в больного и скорбно покачивал головой.

— Больно? — спросил он, сообщая своему голосу ту степень елейности, какая только была в его средствах.

Павел Владимирыч молчал и бессмысленными глазами уставился в него, словно усиливался понять. А Иудушка тем временем приблизился к образу, встал на колени, умилился, сотворил три земных поклона, встал и вновь очутился у постели.

— Ну, брат, вставай! Бог милости прислал! — сказал он, садясь в кресло, таким радостным тоном, словно и в самом деле «милость» у него в кармане была.

Павел Владимирыч наконец понял, что перед ним не тень, а сам кровопивец во плоти. Он както вдруг съежился, как будто знобить его начало. Глаза Иудушки смотрели светло, по-родственному, но больной очень хорошо видел, что в этих глазах скрывается «петля», которая вот-вот сейчас выскочит и захлестнет ему горло.

— Ах, брат, брат! — какая ты бяка сделался! — продолжал подшучивать по-родственному Иудушка. — А ты возьми да и прибодрись! Встань да и побеги! Труском-труском — пусть-ка, мол,

маменька полюбуется, какими мы молодцами стали! Фу-ты! ну-ты!

— Иди, кровопивец, вон! — отчаянно крикнул больной.

— А-а-ах! брат, брат! Я к тебе с лаской да с утешением, а ты… какое ты слово сказал! А-а-ах, грех какой! И как это язык у тебя, дружок, повернулся, чтоб этакое слово родному брату сказать! Стыдно, голубчик, даже очень стыдно! Постой-ка, я лучше подушечку тебе поправлю!

Иудушка встал и ткнул в подушку пальцем.

— Вот так, — продолжал он, — вот теперь славно! Лежи себе хорошохонько — хоть до завтрева поправлять не нужно.



— Уйди… ты!

— Ах, как болезнь-то, однако, тебя испортила! Даже характер в тебе — и тот какой-то строптивый стал! Уйди да уйди — ну как я уйду! Вот тебе испить захочется — я водички подам; вон лампадка не в исправности — я и лампадочку поправлю, маслица деревянненького подолью. Ты полежишь, я посижу; тихо да смирно — и не увидим, как время пройдет!

— Уйди, кровопивец!

— Вот ты меня бранишь, а я за тебя Богу помолюсь. Я ведь знаю, что ты это не от себя, а болезнь в тебе говорит. Я, брат, привык прощать — я всем прощаю. Вот и сегодня — еду к тебе, встретился по дороге мужичок и что-то сказал. Ну и что ж! и Христос с ним! он же свой язык осквернил! А я… да не только я не рассердился, а даже перекрестил его — право!

— Ограбил… мужика?..

— Кто? я-то! Нет, мой друг, я не граблю; это разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую. Лошадь его в своем лугу поймал — ну и ступай, голубчик, к мировому![109]

---

[109] Notes: 109

Мировой — участковый мировой судья, который единолично разбирал незначительные гражданские иски и мелкие уголовные преступления.

Коли скажет мировой, что травить чужие луга дозволяется, — и бог с ним! А скажет, что травить не дозволяется, — нечего делать! штраф пожалуйте! По закону я, голубчик, по закону!

— Иуда! предатель! мать по миру пустил!

— И опять-таки скажу: хочешь сердись, хочешь не сердись, а не дело ты говоришь! И если б я не был христианин, я бы тоже… попретендовать за это на тебя мог!

— Пустил, пустил, пустил… мать по миру!

— Ну перестань же, перестань! Вот я Богу помолюсь: может быть, ты и попокойнее будешь…

Как ни сдерживал себя Иудушка, но ругательства умирающего до того его проняли, что даже губы у него искривились и побелели. Тем не менее лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию. С последними словами он действительно встал на колени и с четверть часа воздевал руки и шептал. Исполнивши это, он возвратился к постели умирающего с лицом успокоенным, почти ясным.

— А ведь я, брат, об деле с тобой поговорить приехал, — сказал он, усаживаясь в кресло, — ты меня вот бранишь, а я об душе твоей думаю. Скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз

утешение принял?

— Господи! да что ж это… уведите его! Улитка! Агашка! кто тут есть? — стонал больной.

— Ну-ну-ну! успокойся, голубчик! знаю, что ты об этом говорить не любишь! Да, брат, всегда ты дурным христианином был и теперь таким же остаешься. А не худо бы, ах как бы не худо в такую минуту об душе-то подумать! Ведь душа-то наша… ах как с ней осторожно обращаться нужно, мой друг! Церковь-то что нам предписывает? Приносите, говорит, моления, благодарения… А еще: христианския кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны — вот что, мой друг! Послать бы тебе теперь за батюшкой, да искренно, с раскаяньем… Ну-ну! не буду! не буду! А право бы, так…

Павел Владимирыч лежал весь багровый и чуть не задыхался. Если б он мог в эту минуту разбить себе голову, он, несомненно, сделал бы это.

— Вот и насчет имения — может быть, ты уж и распорядился? — продолжал Иудушка. — Хорошенькое, очень хорошенькое именьице у тебя — нечего сказать. Земля даже лучше, чем в Головлеве: с песочком суглиночек-то! Ну и капитал у тебя… я ведь, брат, ничего не знаю. Знаю

только, что ты крестьян на выкуп отдал[110], а что и как — никогда я этим не интересовался. Вот и сегодня; еду к тебе и говорю про себя: должно быть, у брата Павла капитал есть! а впрочем, думаю, если и есть у него капитал, так уж, наверное, он насчет его распоряжение сделал!

Больной отвернулся и тяжело вздыхал.

— Не сделал? ну и тем лучше, мой друг! По закону — оно даже справедливее. Ведь не чужим, а своим же присным достанется. Я вот на что́ уж хил — одной ногой в могиле стою! а все-таки думаю: зачем же мне распоряжение делать, коль скоро закон за меня распорядиться может. И ведь как это хорошо, голубчик! Ни свары, ни зависти, ни кляуз… закон!

Это было ужасно. Павлу Владимирычу почудилось, что он заживо уложен в гроб, что он лежит словно скованный, в летаргическом сне, не может ни одним членом пошевельнуть и выслушивает, как кровопивец ругается над телом его.

— Уйди… ради Христа… уйди! — начал он наконец молить своего мучителя.

— Ну-ну-ну! успокойся! уйду! Знаю, что ты меня не любишь… стыдно, мой друг, очень стыдно

---

[110] Notes: 110

Речь идет об освобождении крестьян при условии выкупа ими себя и земли (надела).

родного брата не любить! Вот я так тебя люблю! И детям всегда говорю: хоть брат Павел и виноват передо мной, а я его все-таки люблю! Так ты, значит, не делал распоряжений — и прекрасно, мой друг! Бывает, впрочем, иногда, что и при жизни капитал растащат, особенно кто без родных, один… ну да уж я поприсмотрю… А? что? надоел я тебе? Ну-ну, так и быть, уйду! Дай только Богу помолюсь!

Он встал, сложил ладони и наскоро пошептал:

— Прощай, друг! не беспокойся! Почивай себе хорошохонько, — может, и даст Бог! А мы с маменькой потолкуем да поговорим — может быть, что и попридумаем! Я, брат, постненького себе к обеду изготовить просил… рыбки солененькой, да грибков, да капустки — так ты уж меня извини! Что? или опять надоел? Ах, брат, брат!.. ну-ну, уйду, уйду! Главное, мой друг, не тревожься, не волнуй себя — спи себе да почивай! Хрр… хрр… — шутливо поддразнил он в заключение, решаясь наконец уйти.

— Кровопивец! — раздалось ему вслед таким пронзительным криком, что даже он почувствовал, что его словно обожгло.

* * *

Покуда Порфирий Владимирыч растабарывает на антресолях, внизу бабушка Арина Петровна собрала вокруг себя молодежь (не без цели что-нибудь выведать) и беседует с нею.

— Ну, ты как? — обращается она к старшему внучку, Петеньке.

— Ничего, бабушка, вот на будущий год в офицеры выйду.

— Выйдешь ли? который уж ты год обещаешь! Экзамены, что ли, у вас трудные — бог тебя знает!

— Он, бабушка, на последних экзаменах из «Начатков»[111] срезался. Батюшка спрашивает: что есть Бог? Он: Бог есть Дух… и есть Дух… и Святому Духу…

— Ах, бедный ты, бедный! как же это ты так? Вот они, сироты, — и то, чай, знают!

— Еще бы! Бог есть Дух невидимый… — спешит блеснуть своими познаниями Аннинька.

— Его же никто же не виде нигде же, — перебивает Любинька.

— Всеведущий, всеблагий, всемогущий, везде-

---

[111] Notes: 111

«Начатки» — начальный учебник по Закону Божию.

сущий, — продолжает Аннинька.

— Камо пойду от Духа Твоего и от лица Твоего камо бежу? аще взыду на небо — тамо еси, аще сниду во ад — тамо еси…

— Вот и ты бы так отвечал — с эполетами теперь был бы. А ты, Володя, что с собой думаешь?

Володя багровеет и молчит.

— Тоже, видно: «и Святому Духу»! Ах, детки, детки! На вид какие вы шустрые, а никак науку преодолеть не можете. И добро бы отец у вас баловник был… что, как он теперь с вами?

— Все то же, бабушка.

— Колотит? А я ведь слышала, что он перестал драться-то?

— Меньше, а все-таки… А главное, надоедает уж очень.

— Этого я что-то уж и не понимаю. Как это отец надоедать может?

— Очень, бабушка, надоедает. Ни уйти без спросу нельзя, ни взять что-нибудь… совсем подлость!

— А вы бы спрашивались! язык-то, чай, не отвалится!

— Нет уж. С ним только заговори, он потом и не отвяжется. Постой да погоди, потихоньку да полегоньку… уж очень, бабушка, скучно он

разговаривает!

— Он, бабушка, за нами у дверей подслушивает. Только на днях его Петенька и накрыл…

— Ах вы, проказники! Что ж он?

— Ничего. Я ему говорю: это не дело, папенька, у дверей подслушивать; пожалуй, недолго и нос вам расквасить! А он: ну-ну! ничего, ничего! я, брат, яко тать в нощи!

— Он, бабушка, на днях яблоко в саду поднял да к себе в шкапик и положил, а я взял да и съел. Так он потом искал его, искал, всех людей к допросу требовал…

— Что это! скуп, что ли, он очень сделался?

— Нет, и не скуп, а так как-то… пустяками все занимается. Бумажки прячет, паданцев ищет…

— Он всякое утро проскомидию у себя в кабинете служит, а потом нам по кусочку просвиры дает… черствой-пречерствой! Только мы однажды с ним штуку сделали: подсмотрели, где у него просвиры лежат, надрезали в просвире дно, вынули мякиш да чухонского масла и положили!..

— Однако ж, вы тоже… головорезы!

— Нет, вы представьте на другой день его удивленье! Просвира, да еще с маслом!

— Чай, на порядках досталось вам!

— Ничего… Только целый день плевался и

все словно про себя говорил: шельмы! Ну, мы, разумеется, на свой счет не приняли. А ведь он, бабушка, вас боится!

— Чего меня бояться… не пугало, чай!

— Боится — это верно; думает, что вы проклянете его. Он этих проклятиев — страх как трусит!

Арина Петровна задумывается. Сначала ей приходит на мысль: что, ежели и в самом деле… прокляну? Так-таки возьму да и прокляну… ппроклиннаю!! Потом на смену этой мысли поступает другой, более насущный вопрос: что-то Иудушка? какие-то проделки он там, наверху, проделывает? так, чай, и извивается! Наконец ее осеняет счастливая мысль.

— Володя, — говорит она, — ты, голубчик, легонький! сходил бы потихоньку да подслушал бы, что у них *там*?

— С удовольствием, бабушка.

Володенька на цыпочках направляется к дверям и исчезает в них.

— Как это вы к нам сегодня надумали? — начинает Арина Петровна допрашивать Петеньку.

— Мы, бабушка, давно собирались, а сегодня Улитушка прислала с нарочным[112] сказать,

---

[112] Notes: 112

Нарочный — человек, отправленный с каким-либо поручением.

что доктор был и что не нынче, так завтра дядя непременно умереть должен.

— Ну а насчет наследства… был у вас разговор?

— Мы, бабушка, целый день всё об наследствах говорим. Он все рассказывает, как прежде, еще до дедушки было… даже Горюшкино, бабушка, помнит. Вот, говорит, кабы у тетеньки Варвары Михайловны детей не было — нам бы Горюшкино-то принадлежало! И дети-то, говорит, бог знает от кого — ну, да не нам других судить! У ближнего сучок в глазу видим, а у себя и бревна не замечаем… так-то, брат!

— Ишь ведь какой! Замужем, чай, тетенька-то была; коли что и было — все муж прикрыл!

— Право, бабушка! И всякий раз, как мы мимо Горюшкина едем, всякий-то раз он эту историю поднимает! И бабушка Наталья Владимировна, говорит, из Горюшкина взята была — по всем бы правам ему в головлевском роде быть должно; ан папенька, покойник, за сестрою в приданое отдал! А дыни, говорит, какие в Горюшкине росли! По двадцати фунтов весу — вот какие дыни!

— Уж в двадцать фунтов! чтой-то я об таких не слыхивала! Ну а насчет Дубровина какие его предположения?

— Тоже в этом роде. Арбузы да дыни… пустяки

всё! В последнее время, впрочем, все спрашивал: а как вы, детки, думаете, велик у брата Павла капитал? Он, бабушка, уж давно все вычислил: и выкупной ссуды[113] сколько, и когда имение в опекунский совет заложено[114], и сколько долгу уплачено… Мы и бумажку видели, на которой он вычисления делал, только мы ее, бабушка, унесли… Мы его, бабушка, этой бумажкой чуть с ума не свели! Он ее в стол положит, а мы возьмем да в шкап переложим; он в шкапу на ключ запрет, а мы подберем ключ да в просвиры засунем… Раз он в баню мыться пошел, — смотрит, а на полке бумажка лежит!

— Веселье у вас там!

Возвращается Володенька; все глаза устремляются на него.

— Ничего не слыхать, — сообщает он шепотом, — только и слышно, что отец говорит: безболезненны, непостыдны, мирны, а дядя ему: уйди, кровопивец!

— А насчет «распоряжения»… не слыхал?

— Кажется, было что-то, да не разобрал… Очень

---

[113] Notes: 113

Выкупную ссуду правительство выплачивало помещикам при освобождении крестьян от крепостной зависимости.

[114] Notes: 114

Опекунский совет выдавал ссуды под залог имений.

уж, бабушка, плотно отец дверь захлопнул. Жужжит — и только. А потом дядя вдруг как крикнет: «У-уй-дди!» Ну, я поскорей-поскорей, да и сюда!

— Хоть бы сиротам… — тоскует в раздумье Арина Петровна.

— Уж если отцу достанется, он, бабушка, никому ничего не даст, — удостоверяет Петенька, — я даже так думаю, что он и нас-то наследства лишит.

— Не в могилу же с собой унесет?

— Нет, а какое-нибудь средство выдумает. Он намеднись недаром с попом поговаривал: а что, говорит, батюшка, если бы Вавилонскую башню выстроить — много на это денег потребуется?

— Ну, это он так… может, из любопытства…

— Нет, бабушка, проект у него какой-то есть. Не на Вавилонскую башню, так в Афон пожертвует, а уж нам не даст!

— А большое, бабушка, у отца имение будет, когда дядя умрет? — любопытствует Володенька.

— Ну, это еще Богу известно, кто прежде кого умрет.

— Нет, бабушка, отец наверно рассчитывает. Давеча, только мы до дубровинской ямы доехали, он даже картуз снял, перекрестился: слава богу, говорит, опять по своей земле поедем!

— Он, бабушка, все уж распределил. Лесок увидал: вот, говорит, кабы на хозяина — ах, хорош бы был лесок! Потом на покосец посмотрел: ай да покосец! смотри-ка, смотри-ка, стогов-то что наставлено! тут прежде конный заводец был.

— Да-да… и лесок и покосец — все ваше, голубчики, будет! — вздыхает Арина Петровна. — Батюшки! да никак на лестнице-то скрипнуло!

— Тише, бабушка, тише! Это он… яко тать в нощи… у дверей подслушивает.

Наступает молчание; но тревога оказывается ложною. Арина Петровна вздыхает и шепчет про себя: ах, детки, детки! Молодые люди в упор глядят на сироток, словно пожрать их хотят; сиротки молчат и завидуют.

— А вы, кузина, мамзель Лотар видели? — заговаривает Петенька.

Аннинька и Любинька взглядывают друг на друга, точно спрашивают, из истории это или из географии.

— В «Прекрасной Елене»…[115] она на театре Елену играет.

— Ах да… Елена… это Парис? «Будучи прекрасен и молод, он разжег сердца богинь»… Знаем!

---

[115] Notes: 115
«Прекрасная Елена» — оперетта Ж. Оффенбаха.

знаем! — обрадовалась Любинька.

— Это, это самое и есть. А как она: cas-ca-ader, caas-ca-der выделывает… прелесть!

— У нас давеча доктор все «кувырком» пел.

— «Кувырком» — это покойная Лядова… вот, кузина, прелесть-то была! Когда умерла, так тысячи две человек за гробом шли… думали, что революция будет!

— Да ты об театрах, что ли, болтаешь? — вмешивается Арина Петровна. — Так им, мой друг, не по театрам ездить, а в монастырь…

— Вы, бабушка, все нас в монастыре похоронить хотите! — жалуется Аннинька.

— А вы, кузина, вместо монастыря-то в Петербург укатите! Мы вам там все покажем!

— У них, мой друг, не удовольствия на уме должны быть, а божественное, — продолжает наставительно Арина Петровна.

— Мы их, бабушка, в Сергиеву пустынь на лихаче прокатим — вот и божественное будет!

У сироток даже глазки разгорелись и кончики носиков покраснели при этих словах.

— А как, говорят, поют у Сергия! — восклицает Аннинька.

— Сем уж, кузина, возьмите. *Трисвятую песнь припевающе* — даже отец так не споет. А потом

мы бы вас по всем трем Подьяческим покатали.

— Мы бы вас, кузина, всему-всему научили! В Петербурге ведь таких, как вы, барышень очень много: ходят да каблучками постукивают.

— Разве что этому научите! — вступается Арина Петровна. — Уж оставьте вы их, Христа ради… учители! Тоже учить собрались… наукам, должно быть! Вот я с ними, как Павел умрет, в Хотьков уеду… и так-то мы там заживем!

— А вы всё сквернословите! — вдруг раздалось в дверях.

Посреди разговора, никто и не слыхал, как подкрался Иудушка, яко тать в нощи. Он весь в слезах, голова поникла, лицо бледно, руки сложены на груди, губы шепчут. Некоторое время он ищет глазами образа, наконец находит и с минуту возносит свой дух.

— Плох! ах как плох! — наконец восклицает он, обнимая милого друга маменьку.

— Неужто уж так?

— Очень-очень дурен, голубушка… а помните, каким он прежде молодцом был!

— Ну, когда же молодцом… что-то я этого не помню!

— Ах нет, маменька, не говорите! Всегда он… я как сейчас помню, как он из корпуса вышел:

стройный такой, широкоплечий, кровь с молоком… Да-да! Так-то, мой друг маменька! Все мы под Богом ходим! сегодня и здоровы, и сильны, и пожить бы, и пожуировать бы, и сладенького скушать, а завтра…

Он махнул рукой и умилился.

— Поговорил ли он, по крайней мере?

— Мало, голубушка; только и молвил: прощай, брат! А ведь он, маменька, чувствует! чувствует, что ему плохо приходится!

— Будешь, батюшка, чувствовать, как грудь-то ходуном ходит!

— Нет, маменька, я не об том. Я об прозорливости; прозорливость, говорят, человеку дана; который человек умирает — всегда тот зараньше чувствует. Вот грешникам — тем в этом утешенье отказано.

— Ну-ну! об «распоряжении» не говорил ли чего?

— Нет, маменька. Хотел он что-то сказать, да я остановил. Нет, говорю, нечего об распоряжениях разговаривать! Что ты мне, брат, по милости своей, оставишь, я всему буду доволен, а ежели и ничего не оставишь — и даром за упокой помяну! А как ему, маменька, пожить-то хочется! так хочется! так хочется!

— И всякому пожить хочется!

— Нет, маменька, вот я об себе скажу. Ежели Господу Богу угодно призвать меня к себе — хоть сейчас готов!

— Хорошо, как к Богу, а ежели к Сатане угодишь?

В таком духе разговор длится и до обеда, и во время обеда, и после обеда. Арине Петровне даже на стуле не сидится от нетерпения. По мере того как Иудушка растабарывает, ей все чаще и чаще приходит на мысль: а что, ежели… прокляну? Но Иудушка даже и не подозревает того, что в душе матери происходит целая буря; он смотрит так ясно и продолжает себе потихоньку да полегоньку притеснять милого друга маменьку своей безнадежною канителью. «Прокляну! прокляну! прокляну!» — все решительнее да решительнее повторяет про себя Арина Петровна.

* * *

В комнатах пахнет ладаном, по дому раздается протяжное пение, двери отворены настежь, желающие поклониться покойному приходят и уходят. При жизни никто не обращал внимания на Павла Владимирыча, со смертью его — всем сделалось жалко. Припоминали, что он «никого

не обидел», «никому грубого слова не сказал», «ни на кого не взглянул косо». Все эти качества, казавшиеся прежде отрицательными, теперь представлялись чем-то положительным, и из неясных обрывков обычного похоронного празднословия вырисовывался тип «доброго барина». Многие в чем-то раскаивались, сознавались, что по временам пользовались простотою покойного в ущерб ему, — да ведь кто же знал, что этой простоте так скоро конец настанет? Жила-жила простота, думали, что ей и веку не будет, а она вдруг… А была бы жива простота — и теперь бы ее накаливали: накаливай, робята! что дуракам в зубы смотреть! Один мужичок принес Иудушке три целковых и сказал:

— Должок за мной покойному Павлу Владимирычу был. Записок промежду нас не было — так вот!

Иудушка взял деньги, похвалил мужичка и сказал, что он эти три целковых на маслице для «неугасимой» отдаст.

— И ты, дружок, будешь видеть, и все будут видеть, а душа покойного радоваться будет. Может, он что-нибудь и вымолит *там* для тебя! Ты и не ждешь — ан вдруг тебе Бог счастье пошлет!

Очень возможно, что в мирской оценке качеств

покойного неясно участвовало и сравнение. Иудушку не любили. Не то чтобы его нельзя было обойти, а очень уж он пустяки любил, надоедал да приставал. Даже земельные участки немногие решались у него кортомить, потому что он сдаст участок, да за каждый лишний запаханный или закошенный вершок, за каждую пропущенную минуту в уплате денег сейчас начнет съемщика по судам таскать. Многих он так-то затаскал и сам ничего не выиграл (его привычку кляузничать так везде знали, что, почти не разбирая дел, отказывали в его претензиях), и народ волокитами да прогулами разорил. «Не купи двора, а купи соседа», говорит пословица, а у всех на знати, каков сосед головлевский барин. Нужды нет, что мировой тебя оправит, он тебя своим судом, сатанинским, изведет. И так как злость (даже не злость, а скорее нравственное окостенение), прикрытая лицемерием, всегда наводит какой-то суеверный страх, то новые «соседи» (Иудушка очень приветливо называет их «соседушками») боязливо кланялись в пояс, проходя мимо кровопивца, который весь в черном стоял у гроба с сложенными ладонями и воздетыми вверх глазами.

Покуда покойник лежал в доме, домашние

ходили на цыпочках, заглядывали в столовую (там, на обеденном столе, был поставлен гроб), качали головами, шептались. Иудушка притворялся чуть живым, шаркал по коридору, заходил к «покойничку», умилялся, поправлял на гробе покров и шептался с становым приставом, который составлял описи и прикладывал печати. Петенька и Володенька суетились около гроба, ставили и зажигали свечки, подавали кадило и проч. Аннинька и Любинька плакали и сквозь слезы тоненькими голосами подпевали дьячкам на панихидах. Дворовые женщины, в черных коленкоровых платьях, утирали передниками раскрасневшиеся от слез носы.

Арина Петровна, тотчас же, как последовала смерть Павла Владимирыча, ушла в свою комнату и заперлась там. Ей было не до слез, потому что она сознавала, что сейчас же должна была на что-нибудь решиться. Оставаться в Дубровине она и не думала… «Ни за что!» — следовательно, предстояло одно: ехать в Погорелку, имение сирот, то самое, которое некогда представляло «кусок», выброшенный ею непочтительной дочери Анне Владимировне. Принявши это решение, она почувствовала себя облегченною, как будто Иудушка вдруг и навсегда потерял всякую власть

над нею. Спокойно пересчитала пятипроцентные билеты (капиталу оказалось: своего пятнадцать тысяч да столько же сиротского, ею накопленного) и спокойно же сообразила, сколько нужно истратить денег, чтоб привести погорелковский дом в порядок. Затем немедленно послала за погорелковским старостой, отдала нужные приказания насчет найма плотников и присылки в Дубровино подвод за ее и сиротскими пожитками, велела готовить тарантас (в Дубровине стоял ее *собственный* тарантас, и она имела *доказательства,* что он ее соб*ственный*) и начала укладываться. К Иудушке она не чувствовала ни ненависти, ни расположения: ей просто сделалось противно с ним дело иметь. Даже ела она неохотно и мало, потому что с нынешнего дня приходилось есть уже не Павлово, а Иудушкино. Несколько раз Порфирий Владимирыч заглядывал в ее комнату, чтоб покалякать с милым другом маменькой (он очень хорошо понимал ее приготовления к отъезду, но делал вид, что ничего не замечает), но Арина Петровна не допускала его.

— Ступай, мой друг, ступай! — говорила она. — Мне некогда.

Через три дня у Арины Петровны все было уже

готово к отъезду. Отстояли обедню, отпели и схоронили Павла Владимирыча. На похоронах все произошло точно так, как представляла себе Арина Петровна в то утро, как Иудушке приехать в Дубровино. Именно так крикнул Иудушка: «Прощай, брат!» — когда опускали гроб в могилу, именно так же обратился он вслед за тем к Улитушке и торопливо сказал:

— Кутью-то! кутью-то не позабудьте взять! да в столовой на чистенькую скатертцу поставьте… чай, и в доме братца помянуть придется!

К обеду, который, по обычаю, был подан сейчас, как пришли с похорон, были приглашены три священника (в том числе отец благочинный) и дьякон. Дьячкам была устроена особая трапеза в прихожей. Арина Петровна и сироты вышли в дорожном платье, но Иудушка и тут сделал вид, что не замечает. Подойдя к закуске, Порфирий Владимирыч попросил отца благочинного благословить яствие и питие, затем налил себе и духовным отцам по рюмке водки, умилился и произнес:

— Новопреставленному! вечная память! Ах, брат, брат, оставил ты нас! а кому бы, кажется, и пожить, как не тебе. Дурной ты, брат! нехороший!

Сказал, перекрестился и выпил. Потом опять перекрестился и проглотил кусочек икры, опять перекрестился — и балычка отведал.

— Кушайте, батюшка, — убеждал он отца благочинного, — все это запасы покойного братца! любил покойник покушать! И сам хорошо кушал, а еще больше других любил угостить! Ах, брат, брат! оставил ты нас! Нехороший ты, брат, недобрый!

Словом сказать, так зарапортовался, что даже позабыл об маменьке. Только тогда вспомнил, когда уж рыжичков зачерпнул и совсем было собрался ложку в рот отправить.

— Маменька! голубчик! — всполошился он. — А я-то, простофиля, уписываю — ах, грех какой! Маменька! закусочки! рыжичков-то, рыжичков! Дубровинские ведь рыжички-то знаменитые!

Но Арина Петровна только безмолвно кивнула головой в ответ и не двинулась. Казалось, она с любопытством к чему-то прислушивалась. Как будто какой-то свет пролился у ней перед глазами, и вся эта комедия, к повторению которой она с малолетства привыкла, в которой сама всегда участвовала, вдруг показалась ей совсем новою, невиданною.

Обед начался с родственных пререканий. Иу-

душка настаивал, чтобы маменька на хозяйское место села; Арина Петровна отказывалась.

— Нет, ты здесь хозяин — ты и садись, куда тебе хочется! — сухо проговорила она.

— Вы хозяйка! вы, маменька, везде хозяйка! и в Головлеве, и в Дубровине — везде! — убеждал Иудушка.

— Нет уж! садись! Где мне хозяйкой Бог приведет быть, там я и сама сяду, где вздумается! а здесь ты хозяин — ты и садись!

— Так мы вот что сделаем! — умилился Иудушка. — Мы хозяйский-то прибор незанятым оставим! Как будто брат здесь невидимо с нами сотрапезует… он хозяин, а мы гостями будем!

Так и сделали. Покуда разливали суп, Иудушка, выбрав приличный сюжет, начинает беседу с батюшками, преимущественно, впрочем, обращая речь к отцу благочинному.

— Вот многие нынче в бессмертие души не верят… а я верю! — говорит он.

— Уж это разве отчаянные какие-нибудь!.. — отвечает отец благочинный.

— Нет, и не отчаянные, а наука такая есть. Будто бы человек сам собою… Живет это, и вдруг — умер!

— Очень уж много этих наук нынче разве-

лось — поубавить бы! Наукам верят, а в Бога не верят. Даже мужики — и те в ученые норовят.

— Да, батюшка, правда ваша. Хотят, хотят в ученые попасть. У меня вот нагловские: есть нечего, а намеднись приговор написали, училище открывать хотят… ученые!

— Против всего нынче науки пошли. Против дождя — наука, против вёдра — наука. Прежде бывало попросту: придут да молебен отслужат — и даст Бог. Вёдро нужно — вёдро Господь пошлет; дождя нужно — и дождя у Бога не занимать стать. Всего у Бога довольно. А с тех пор как по науке начали жить — словно вот отрезало: все пошло безо времени. Сеять нужно — засуха, косить нужно — дождик!

— Правда ваша, батюшка, святая ваша правда. Прежде, как Богу-то чаще молились, и земля лучше родила. Урожаи-то были не нынешние, сам-четверт да сам-пят, — сторицею давала земля. Вот маменька, чай, помнит? Помните, маменька? — обращается Иудушка к Арине Петровне с намерением и ее вовлечь в разговор.

— Не слыхала, чтоб в нашей стороне… Ты, может, об Ханаанской земле читал — там, сказывают, действительно это бывало, — сухо отзывается Арина Петровна.

— Да, да, да, — говорит Иудушка, как бы не слыша замечания матери, — в Бога не верят, бессмертия души не признают… а жрать хотят!

— Именно, только бы жрать бы да пить бы! — вторит отец благочинный, засучивая рукава своей рясы, чтобы положить на тарелку кусок поминального пирога.

Все принимаются за суп; некоторое время только и слышится, как лязгают ложки об тарелки да фыркают попы, дуя на горячую жидкость.

— А вот католики, — продолжает Иудушка, переставая есть, — так те хотя бессмертия души и не отвергают, но, взамен того, говорят, будто бы душа не прямо в ад или в рай попадает, а на некоторое время… в среднее какое-то место поступает.

— И это опять неосновательно.

— Как бы вам сказать, батюшка… — задумывается Порфирий Владимирыч, — коли начать говорить с точки зрения…

— Нечего об пустяках и говорить. Святая церковь как поет? Поет: в месте злачнем, в месте прохладнем, иде же несть ни печали, ни воздыхания… Об каком же тут «среднем» месте еще разговаривать!

Иудушка, однако ж, не вполне соглашается и

хочет кой-что возразить. Но Арина Петровна, которую начинает уж коробить от этих разговоров, останавливает его.

— Ну уж, ешь, ешь… богослов! и суп, чай, давно простыл! — говорит она и, чтобы переменить разговор, обращается к отцу благочинному: — С рожью-то, батюшка, убрались?

— Убрался, сударыня; нынче рожь хороша, а вот яровые — не обещают! Овсы зерна не успели порядком налить, а уж мешаться начали. Ни зерна, ни соломы ожидать нельзя.

— Везде нынче на овсы жалуются! — вздыхает Арина Петровна, следя за Иудушкой, как он вычерпывает ложкой остатки супа.

Подают другое кушанье: ветчину с горошком. Иудушка пользуется этим случаем, чтоб возобновить прерванный разговор.

— Вот жиды этого кушанья не едят, — говорит он.

— Жиды — пакостники, — отзывается отец благочинный, — их за это свиным ухом дразнят.

— Однако ж, вот и татары… Какая-нибудь причина этому да есть…

— И татары тоже пакостники — вот и причина.

— Мы конины не едим, а татары — свининой

брезгают. Вот в Париже, сказывают, крыс во время осады ели.

— Ну, те — французы!

Таким образом идет весь обед. Подают карасей в сметане — Иудушка объясняет:

— Кушайте, батюшка! Это караси особенные: покойный братец их очень любил!

Подают спаржу — Иудушка говорит:

— Вот это так спаржа! В Петербурге за этакую спаржу рублик серебрецом платить надо. Покойный братец сам за нею ухаживал! Вон она, бог с ней, толстая какая!

У Арины Петровны так и кипит сердце: целый час прошел, а обед только в половине. Иудушка словно нарочно медлит: поест, потом положит ножик и вилку, покалякает, потом опять поест и опять покалякает. Сколько раз в былое время Арина Петровна крикивала за это на него: да ешь же, прости господи, сатана! — да, видно, он позабыл маменькины наставления. А может быть, и не позабыл, а нарочно делает, мстит. А может быть, даже и не мстит сознательно, а так нутро его, от природы ехидное, играет. Наконец подали жаркое; в ту самую минуту, как все встали и отец дьякон затянул «о блаженном успении», — в коридоре поднялась возня, послышались крики,

которые совсем уничтожили эффект заупокойного возгласа.

— Что там за шум! — крикнул Порфирий Владимирыч. — В кабак, что ли, забрались?

— Не кричи, сделай милость! Это я… это мои сундуки перетаскивают, — отозвалась Арина Петровна и не без иронии прибавила: — Будешь, что ли, осматривать?

Все вдруг смолкли, даже Иудушка не нашелся и побледнел. Он, впрочем, сейчас же сообразил, что надо как-нибудь замять неприятную апострофу матери, и, обратясь к отцу благочинному, начал:

— Вот тетерев, например… В России их множество, а в других странах…

— Да ешь, Христа ради: нам ведь двадцать пять верст ехать; надо засветло поспевать, — прервала его Арина Петровна. — Петенька! поторопи там, голубчик, чтоб пирожное подавали!

Несколько минут длилось молчание. Порфирий Владимирыч живо доел свой кусок тетерьки и сидел бледный, постукивая ногой в пол и вздрагивая губами.

— Обижаете вы меня, добрый друг маменька! крепко вы меня обижаете! — наконец произносит он, не глядя, впрочем, на мать.

— Кто тебя обидит! И чем это я так… крепко

тебя обидела?

— Очень-очень обидно… так обидно! так обидно! В такую минуту… уезжать! Всё жили да жили… и вдруг… И наконец, эти сундуки… осмотр… Обидно!

— Уж коли ты хочешь все знать, так я могу и ответ дать. Жила я тут, покуда сын Павел был жив; умер он — я и уезжаю. А что касается до сундуков, так Улитка давно за мной по твоему приказанью следит. А по мне, лучше прямо сказать матери, что она в подозрении состоит, нежели, как змея, из-за чужой спины на нее шипеть.

— Маменька! друг мой! да вы… да я… — простонал Иудушка.

— Будет! — не дала ему продолжать Арина Петровна. — Я высказалась.

— Но чем же, друг мой, я мог…

— Говорю тебе: я высказалась — и оставь. Отпусти меня, ради Христа, с миром. Тарантас, чу, готов.

Действительно, на дворе раздались бубенчики и стук подъезжающего экипажа. Арина Петровна первая встала из-за стола, за ней поднялись и прочие.

— Ну, теперь присядемте на минутку, да и в путь! — сказала она, направляясь в гостиную.

Посидели, помолчали, а тем временем Иудушка совсем уж успел оправиться.

— А не то пожили бы, маменька, в Дубровине… посмотрите-ка, как здесь хорошо! — сказал он, глядя матери в глаза с ласковостью провинившегося пса.

— Нет, мой друг, будет! не хочу я тебе на прощание неприятного слова сказать… а нельзя мне здесь оставаться! Нé у чего! Батюшка! помолимтесь!

Все встали и помолились; затем Арина Петровна со всеми перецеловалась, всех благословила… по-родственному и, тяжело ступая ногами, направилась к двери. Порфирий Владимирыч, во главе всех домашних, проводил ее до крыльца, но тут при виде тарантаса его смутил бес любомудрия. «А тарантас-то ведь братцев!» — блеснуло у него в голове.

— Так увидимся, добрый друг маменька! — сказал он, подсаживая мать и искоса поглядывая на тарантас.

— Коли Бог велит… отчего же и не увидеться!

— Ах, маменька, маменька! проказница вы — право! Велите-ка тарантас-то отложить, да с Богом на старое гнездышко… Право! — лебезил Иудушка.

Арина Петровна не отвечала; она совсем уж уселась и крестное знамение даже сотворила, но сиротки что-то медлили.

А Иудушка между тем поглядывал да поглядывал на тарантас.

— Так тарантас-то, маменька, как же? вы сами доставите или прислать за ним прикажете? — наконец не выдержал он.

Арина Петровна даже затряслась вся от негодования.

— Тарантас — мой! — крикнула она таким болезненным криком, что всем сделалось и неловко и совестно. — Мой! мой! мой тарантас! Я его… у меня доказательства… свидетели есть! А ты… а тебя… ну, да уж подожду… посмотрю, что дальше от тебя будет! Дети! долго ли?

— Помилуйте, маменька, я ведь не в претензии… Если б даже тарантас был дубровинский…

— Мой тарантас, мой! Не дубровинский, а мой! не смей говорить… слышишь?

— Слушаю, маменька… Так вы, голубушка, не забывайте нас… попросту, знаете, без затей! Мы к вам, вы к нам… по-родственному!

— Сели, что ли? трогай! — крикнула Арина Петровна, едва сдерживая себя.

Тарантас дрогнул и покатился мелкой рысцой

по дороге. Иудушка стоял на крыльце, махал платком и, покуда тарантас не скрылся совсем из виду, кричал ему вслед:

— По-родственному! Мы к вам, вы к нам… по-родственному!

Семейные итоги

Никогда не приходило Арине Петровне на мысль, что может наступить минута, когда она будет представлять собой «лишний рот», — и вот эта минута подкралась, и подкралась именно в такую пору, когда она в первый раз в жизни практически убедилась, что нравственные и физические ее силы подорваны. Такие минуты всегда приходят внезапно; хотя человек, быть может, уж давно надломлен, но все-таки еще перемогается и стоит, — и вдруг откуда-то сбоку наносится последний удар. Подстеречь этот удар, сознать его приближение очень трудно; приходится просто и безмолвно покориться ему, ибо это тот самый удар, который недавнего бодрого человека мгновенно и безапелляционно превращает в развалину.

Тяжело было положение Арины Петровны, когда она, разорвавши с Иудушкой, поселилась в Дубровине, но тогда она, по крайней мере, знала, что Павел Владимирыч хоть и косо смотрит на ее вторжение, но все-таки он человек достаточный, для которого лишний кусок не много значит. Теперь дело приняло совсем иной оборот: она

стояла во главе такого хозяйства, где все «куски» были на счету. А она знала цену этим «кускам», ибо, проведя всю жизнь в деревне, в общении с крестьянским людом, вполне усвоила себе крестьянское представление об ущербе, который наносит «лишний рот» хозяйству, и без того уже скудному.

Тем не менее первое время по переселении в Погорелку она еще бодрилась, хлопотливо устраивалась на новом месте и выказывала прежнюю ясность хозяйственных соображений. Но хозяйство в Погорелке было суетливое, мелочное, требовало ежеминутного личного присмотра, и хотя сгоряча ей показалось, что достигнуть точного учета там, где из полушек составляются гроши, а из грошей гривенники, не составляет никакой мудрости, однако скоро она должна была сознаться, что это убеждение ошибочное. Мудрости действительно не было, но и не было ни прежней охоты, ни прежних сил. К тому же дело происходило осенью, в самый разгар хозяйственных итогов, а между тем время стояло ненастное и полагало невольный предел усердию Арины Петровны. Явились старческие немощи, не дозволявшие выходить из дома, настали длинные, тоскливые осенние вечера, осуждавшие на

фаталистическую праздность. Старуха волновалась и рвалась, но ничего не могла сделать.

С другой стороны, она не могла не заметить, что и с сиротами делается что-то неладное. Они вдруг заскучали и опустили головы. Какие-то смутные планы будущего волновали их — планы, в которых представления о труде шли вперемежку с представлениями об удовольствиях, конечно самого невинного свойства. Тут были и воспоминания об институте, в котором они воспитывались, и вычитанные урывками мысли о людях труда, и робкая надежда с помощью институтских связей ухватиться за какую-то нить и при ее пособии войти в светлое царство человеческой жизни. Над всей этой смутностью тем не менее господствовала одна щемящая и очень определенная мысль: во что бы ни стало уйти из постылой Погорелки. И вот в одно прекрасное утро Анниньку и Любиньку объявили бабушке, что долее оставаться в Погорелке не могут и не хотят. Что это ни на что не похоже, что они в Погорелке никого не видят, кроме попа, который к тому же постоянно, при свидании с ними, почему-то заговаривает о девах, погасивших свои светильники, и что вообще — «так нельзя». Девицы говорили резко, ибо боялись бабушки, и тем

больше напускали на себя храбрости, чем больше ждали с ее стороны гневной вспышки и отпора. Но, к удивлению, Арина Петровна выслушала их сетования не только без гнева, но даже не выказав поползновения к бесплодным поучениям, на которые так торовата бессильная старость. Увы! это была уж не та властная женщина, которая во времена оны с уверенностью говаривала: «Уеду в Хотьков и внучат с собой возьму». И не одно старческое бессилие участвовало в этой перемене, но и понимание чего-то лучшего, более справедливого. Последние удары судьбы не просто смирили ее, но еще осветили в ее умственном кругозоре некоторые уголки, в которые мысль ее, по-видимому, никогда дотоле не заглядывала. Она поняла, что в человеческом существе кроются известные стремления, которые могут долго дремать, но, раз проснувшись, уже неотразимо влекут человека туда, где прорезывается луч жизни, тот отрадный луч, появление которого так давно подстерегали глаза среди безнадежной мглы настоящего. И, раз поняв законность подобного стремления, она уже была бессильна противодействовать ему. Правда, она отговаривала внучек от их намерения, но слабо, без убеждения; она беспокоилась насчет ожидающего их будущего, тем более что

сама не имела никаких связей в так называемом свете, но в то же время чувствовала, что разлука с девушками есть дело должное, неизбежное. Что с ними будет? — этот вопрос вставал перед ней назойливо и ежеминутно; но ведь ни этим вопросом, ни даже более страшными не удержишь того, кто рвется на волю. А девушки только об том и твердили, чтоб вырваться из Погорелки. И действительно, после немногих колебаний и отсрочек, сделанных в угоду бабушке, уехали.

С отъездом сирот погорелковский дом окунулся в какую-то безнадежную тишину. Как ни сосредоточенна была Арина Петровна по природе, но близость человеческого дыхания производила и на нее успокоительное действие. Проводивши внучек, она, может быть, в первый раз почувствовала, что от ее существа что-то оторвалось и что она разом получила какую-то безграничную свободу, до того безграничную, что она уже ничего не видела перед собой, кроме пустого пространства. Чтоб как-нибудь скрыть в собственных глазах эту пустоту, она распорядилась немедленно заколотить парадные комнаты и мезонин, в котором жили сироты («кстати, и дров меньше выходить будет», — думала она при этом), а для себя отделила всего две комнаты, из которых в одной

помещался большой киот с образами, а другая представляла в одно и то же время спальную, кабинет и столовую. Прислугу тоже ради экономии распустила, оставив при себе только старую, едва таскающую ноги ключницу Афимьюшку да одноглазую солдатку Марковну, которая готовила кушанье и стирала белье. Но все эти предосторожности помогли мало: ощущение пустоты не замедлило проникнуть и в те две комнаты, в которых она думала отгородиться от него. Беспомощное одиночество и унылая праздность — вот два врага, с которыми она очутилась лицом к лицу и с которыми отныне обязывалась коротать свою старость. А вслед за ними не заставила себя ждать и работа физического и нравственного разрушения, работа тем более жестокая, чем меньше отпора дает ей праздная жизнь.

Дни чередовались днями с тем удручающим однообразием, которым так богата деревенская жизнь, если она не обставлена ни комфортом, ни хозяйственным трудом, ни материалом, дающим пищу для ума. Независимо от внешних причин, делавших личный хозяйственный труд недоступным, Арине Петровне и внутренне сделалась противною та грошовая суета, которая застигла ее под конец жизни. Может быть, она бы и пере-

могла свое отвращение, если б была в виду цель, которая оправдывала бы ее усилия, но именно цели-то и не было. Всем она опостылела, надоела, и ей всё и все опостылели, надоели. Прежняя лихорадочная деятельность вдруг уступила место сонливой праздности, а праздность, мало-помалу, развратила волю и привела за собой такие наклонности, о которых, конечно, и во сне не снилось Арине Петровне за несколько месяцев тому назад. Из крепкой и сдержанной женщины, которую никто не решался даже назвать старухой, получилась развалина, для которой не существовало ни прошлого, ни будущего, а существовала только минута, которую предстояло прожить.

Днем она большею частью дремала. Сядет в кресло перед столом, на котором разложены вонючие карты, и дремлет. Потом вздрогнет, проснется, взглянет в окно и долго без всякой сознательной мысли не отрывает глаз от расстилающейся без конца дали. Погорелка была печальная усадьба. Она стояла, как говорится, на тычке, без сада, без тени, без всяких признаков какого бы то ни было комфорта. Даже палисадника впереди не было. Дом был одноэтажный, словно придавленный, и весь почерневший от времени и непогод; сзади расположены были

немногочисленные службы, тоже приходившие в ветхость; а кругом стлались поля, поля без конца; даже лесу на горизонте не было видно. Но так как Арина Петровна с детства почти безвыездно жила в деревне, то эта бедная природа не только не казалась ей унылою, но даже говорила ее сердцу и пробуждала остатки чувств, которые в ней теплились. Лучшая часть ее существа жила в этих нагих и бесконечных полях, и взоры инстинктивно искали их во всякое время. Она вглядывалась в полевую даль, вглядывалась в эти измокшие деревни, которые в виде черных точек пестрели там и сям на горизонте; вглядывалась в белые церкви сельских погостов, вглядывалась в пестрые пятна, которые бродячие в лучах солнца облака рисовали на равнине полей, вглядывалась в этого неизвестного мужика, который шел между полевых борозд, а ей казалось, что он словно застыл на одном месте. Но при этом она ни об чем не думала, или, лучше сказать, у нее были мысли до того разорванные, что ни на чем не могла остановиться на более или менее продолжительное время. Она только глядела, глядела до тех пор, пока старческая дремота не начинала вновь гудеть в ушах и не заволакивала туманом и поля, и церкви, и деревни, и бредущего вдали мужика.

Иногда она, по-видимому, припоминала; но память прошлого возвращалась без связи, в форме обрывков. Внимание ни на чем не могло сосредоточиться и беспрерывно перебегало от одного далекого воспоминания к другому. По временам, однако ж, ее поражало что-нибудь особенное, не радость — на радости прошлое ее было до жестокости скупо, — а обида какая-нибудь, горькая, непереносная. Тогда внутри ее словно загоралось, тоска заползала в сердце, и слезы подступали к глазам. Она начинала плакать, плакала тяжко, с болью, плакала так, как плачет жалкая старость, у которой слезы льются точно под тяжестью кошмара. Но покуда слезы лились, бессознательная мысль продолжала свое дело и, незаметно для Арины Петровны, отвлекала ее от источника, породившего печальное настроение, так что через несколько минут старуха и сама с удивлением спрашивала себя, что такое случилось с нею.

Вообще она жила, как бы не участвуя лично в жизни, а единственно в силу того, что в этой развалине еще хоронились какие-то забытые концы, которые надлежало собрать, учесть и подвести итоги. Покуда эти концы были еще налицо, жизнь шла своим чередом, заставляя развалину производить все внешние отправления, какие

необходимы для того, чтоб это полусонное существование не рассыпалось в прах.



Но ежели дни проходили в бессознательной дремоте, то ночи были положительно мучительны. Ночью Арина Петровна *боялась*; боялась воров, привидений, чертей — словом, всего, что составляло продукт ее воспитания и жизни. А защита против всего этого была плохая, потому что, кроме ветхой прислуги, о которой было сказано выше, ночной погорелковский штат весь воплощался в лице хроменького мужичка Федосеюшки, который за два рубля в месяц приходил с села сторожить по ночам господскую усадьбу и обыкновенно дремал в сенцах, выходя в урочные часы, чтоб сделать несколько ударов в чугунную доску. Хотя же на скотном дворе и жило несколько работников и работниц, но скотная изба отстояла от дома саженях в двадцати, и вызвать оттуда кого-нибудь было делом далеко не легким.

Есть что-то тяжелое, удручающее в бессонной деревенской ночи. Часов с девяти или много-много с десяти жизнь словно прекращается и наступает тишина, наводящая страх. И делать нечего, да и свечей жаль — поневоле приходится лечь спать. Афимьюшка, как только сняли со стола самовар, по привычке, приобретенной еще при крепостном праве, постелила войлок попе-

рек двери, ведущей в барынину спальную; затем почесалась, позевала и, как только повалилась на пол, так и замерла. Марковна возилась в девичьей несколько долее и все что-то бормотала, кого-то ругала; но вот наконец и она притихла, и через минуту уж слышно, как она поочередно то храпит, то бредит. Сторож несколько раз звякнул в доску, чтоб заявить о своем присутствии, и умолк надолго. Арина Петровна сидит перед нагоревшей сальной свечой и пробует разогнать сон пасьянсом; но едва принимается она за раскладывание карт, как дремота начинает одолевать ее. «Того и гляди еще пожар со сна наделаешь!» — говорит она сама с собой и решается лечь в кровать. Но едва успела она утонуть в пуховиках, как приходит другая беда: сон, который целый вечер так и манил, так и ломал, вдруг совсем исчез. В комнате и без того натоплено; из открытого душника жар так и валит, а от пуховиков атмосфера делается просто нестерпимою. Арина Петровна ворочается с боку на бок, и хочется ей покликать кого-нибудь, и знает она, что на ее клич никто не придет. Загадочная тишина царит вокруг — тишина, в которой настороженное ухо умеет отличить целую массу звуков. То хлопнуло где-то, то раздался вдруг

вой, то словно кто-то прошел по коридору, то пролетело по комнате какое-то дуновение и даже по лицу задело. Лампадка горит перед образом и светом своим сообщает предметам какой-то обманчивый характер, точно это не предметы, а только очертания предметов. Рядом с этим сомнительным светом является другой, выходящий из растворенной двери соседней комнаты, где перед киотом зажжено четыре или пять лампад. Этот свет желтым четырехугольником лег на полу, словно врезался в мрак спальной, не сливаясь с ним. Всюду тени, колеблющиеся, беззвучно движущиеся. Вот мышь заскреблась за обоями; «Шт, паскудная!» — крикнет на нее Арина Петровна, и опять все смолкнет. Опять тени, опять неизвестно откуда берущийся шепот. В чуткой, болезненной дремоте проходит бóльшая часть ночи, и только к утру сон настоящим образом вступает в свои права. А в шесть часов Арина Петровна уж на ногах, измученная бессонной ночью.

Ко всем этим причинам, достаточно обрисовывающим жалкое существование, которое вела Арина Петровна, присоединялись еще две: скудость питания и неудобства помещения. Ела она мало и дурно, вероятно думая этим наверстать ущерб, производимый в хозяйстве недостаточно-

стью надзора. Что же касается до помещения, то погорелковский дом был ветх и сыр, а комната, в которой заперлась Арина Петровна, никогда не освежалась и по целым неделям оставалась неубранною. И вот среди этой полной беспомощности, среди отсутствия всякого комфорта и ухода приближалась дряхлость.

Но чем больше она дряхлела, тем сильнее сказывалось в ней желание жизни. Или, лучше сказать, не столько желание жизни, сколько желание «полакомиться», сопряженное с совершенным отсутствием идеи смерти. Прежде она боялась смерти, теперь — как будто совсем позабыла о ней. И так как ее жизненные идеалы немногим разнились от идеалов любого крестьянина, то и представление о «хорошем житье», которым она себя обольщала, было довольно низменного свойства. Все, в чем она отказывала себе в течение жизни, — хороший кусок, покой, беседа с живыми людьми — все это сделалось предметом самых упорных помышлений. Все наклонности завзятой приживалки — празднословие, льстивая угодливость ради подачки, прожорливость — росли с изумительной быстротой. Она питалась дома людскими щами с несвежей солониной — и в это время мечтала о

головлевских запасах, о карасях, которые водились в дубровинских прудах, о грибах, которыми полны были головлевские леса, о птице, которая откармливалась в Головлеве на скотном дворе. «Супцу бы теперь с гусиным потрохом или рыжичков бы в сметане», — мелькало в ее голове, мелькало до того живо, что даже углы губ у нее опускались. Ночью она ворочалась с боку на бок, замирая от страха при каждом шорохе, и думала: «Вот в Головлеве и запоры крепкие, и сторожа верные, стучат себе да постукивают в доску, не уставаючи, — спи себе, как у Христа за пазушкой!» Днем ей по целым часам приходилось ни с кем не вымолвить слова, и во время этого невольного молчания само собой приходило на ум: вот, в Головлеве — там людно, там есть и душу с кем отвести! Словом сказать, ежеминутно припоминалось Головлево, и, по мере этих припоминаний, оно делалось чем-то вроде светозарного пункта, в котором сосредоточивалось «хорошее житье».

И чем чаще смущалось воображение представлением о Головлеве, тем сильнее развращалась воля и тем дальше уходили вглубь недавние кровные обиды. Русская женщина, по самому складу ее воспитания и жизни, слишком легко мирится с участью приживалки, а потому и Арина Пет-

ровна не минула этой участи, хотя, казалось, все ее прошлое предостерегало и оберегало ее от этого ига. Не сделай она «в то время» ошибки, не отдели сыновей, не доверься Иудушке, она была бы и теперь брюзгливой и требовательной старухой, которая заставляла бы всех смотреть из ее рук. Но так как ошибка была сделана бесповоротно, то переход от брюзжаний самодурства к покорности и льстивости приживалки составлял только вопрос времени. Покуда силы сохраняли остатки прежней крепости, переход не выказывался наружу, но как только она себя сознала безвозвратно осужденною на беспомощность и одиночество, так тотчас же в душу начали заползать все поползновения малодушия и малопомалу окончательно развратили и без того уже расшатанную волю. Иудушка, который, в первое время приезжая в Погорелку, встречал там лишь самый холодный прием, вдруг перестал быть ненавистным. Старые обиды забылись как-то само собой, и Арина Петровна первая сделала шаг к сближению.

Началось с выпрашиваний. Из Погорелки являлись к Иудушке гонцы — сначала редко, потом чаще и чаще. То рыжичков в Погорелке не родилось, то огурчики от дождей вышли с пят-

нышками, то индюшки, по нынешнему вольному времени, переколели, «да приказал бы ты, сердечный друг, карасиков в Дубровине половить, в коих и покойный сын Павел старухе матери никогда не отказывал». Иудушка морщился, но открыто выражать неудовольствие не решался. Жаль ему было карасей, но он пуще всего боялся, что мать его проклянет. Он помнил, как она раз говорила: приеду в Головлево, прикажу открыть церковь, позову попа и закричу: «Проклинаю!» — и это воспоминание останавливало его от многих пакостей, на которые он был великий мастер. Но, выполняя волю «доброго друга маменьки», он все-таки вскользь намекал своим окружающим, что всякому человеку положено нести от Бога крест и что это делается не без цели, ибо, не имея креста, человек забывается и впадает в разврат. Матери же писал так: «Огурчиков, добрый друг маменька, по силе возможности, посылаю; что же касается до индюшек, то, сверх пущенных на племя, остались только петухи, кои для вас, по огромности их и ограниченности вашего стола, будут бесполезны. А не угодно ли вам будет пожаловать в Головлево разделить со мною убогую трапезу: тогда мы одного из сих тунеядцев (именно тунеядцы, ибо мой повар Матвей преискусно

оных каплунит) велим зажарить и всласть с вами, дражайший друг, покушаем».

С этих пор Арина Петровна зачастила в Головлево. Отведывала с Иудушкой и индюшек, и уток; спала всласть и ночью, и после обеда и отводила душу в бесконечных разговорах о пустяках, на которые Иудушка был тороват по природе, а она сделалась тороватою вследствие старости. Даже и тогда не прекратила посещений, когда до нее дошло, что Иудушка, наскучив продолжительным вдовством, взял к себе в экономки девицу из духовного звания, именем Евпраксию. Напротив того, узнав об этом, она тотчас же поехала в Головлево и, не успев еще вылезти из экипажа, с каким-то ребяческим нетерпением кричала Иудушке: «А ну-ка, ну, старый греховодник! кажи мне, кажи свою кралю!» Целый этот день она провела в полном удовольствии, потому что Евпраксеюшка сама служила ей за обедом, сама постелила для нее постель после обеда, а вечером она играла с Иудушкой и его кралей в дураки. Иудушка тоже был доволен такой развязкой и в знак сыновней благодарности велел при отъезде Арины Петровны в Погорелку положить ей в тарантас между прочим фунт икры, что было уже высшим знаком уважения, ибо икра — предмет

не свой, а купленный. Этот поступок так тронул старуху, что она не вытерпела и сказала:

— Ну, вот за это спасибо! И Бог тебя, милый дружок, будет любить за то, что мать на старости лет покоишь да холишь. По крайности, приеду ужо в Погорелку — не скучно будет. Всегда я икорку любила — вот и теперь по милости твоей полакомлюсь!

* * *

Прошло лет пять со времени переселения Арины Петровны в Погорелку. Иудушка как засел в своем родовом Головлеве, так и не двигается оттуда. Он значительно постарел, вылинял и потускнел, но шильничает, лжет и пустословит еще пуще прежнего, потому что теперь у него почти постоянно под руками добрый друг маменька, которая ради сладкого старушечьего куска сделалась обязательной слушательницей его пустословия.

Не надо думать, что Иудушка был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ. Нет, ежели он и был лицемер, то лицемер чисто русского пошиба, то есть просто человек, лишен-

ный всякого нравственного мерила и не знающий иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Он был невежествен без границ, сутяга, лгун, пустослов и, в довершение всего, боялся черта. Все это такие отрицательные качества, которые отнюдь не могут дать прочного материала для действительного лицемерия.

Во Франции лицемерие вырабатывается воспитанием, составляет, так сказать, принадлежность «хороших манер» и почти всегда имеет яркую политическую или социальную окраску. Есть лицемеры религии, лицемеры общественных основ, собственности, семейства, государственности, а в последнее время народились даже лицемеры «порядка». Ежели этого рода лицемерие и нельзя назвать убеждением, то, во всяком случае, это — знамя, кругом которого собираются люди, которые находят расчет полицемерить именно тем, а не иным способом. Они лицемерят сознательно, в смысле своего знамени, то есть и сами знают, что они лицемеры, да, сверх того, знают, что это и другим небезызвестно. В понятиях француза-буржуа вселенная есть не что иное, как обширная сцена, где дается бесконечное театральное представление, в котором один лицемер подает реплику другому.

Лицемерие — это приглашение к приличию, к декоруму, к красивой внешней обстановке, и, что всего важнее, лицемерие — это узда. Не для тех, конечно, которые лицемерят, плавая в высотах общественных эмпиреев, а для тех, которые нелицемерно кишат на дне общественного котла. Лицемерие удерживает общество от разнузданности страстей и делает последнюю привилегией лишь самого ограниченного меньшинства. Пока разнузданность страстей не выходит из пределов небольшой и плотно организованной корпорации, она не только безопасна, но даже поддерживает и питает традиции изящества. Изящное погибло бы, если б не существовало известного числа cabinets particuliers[116], в которых оно культивируется в минуты, свободные от культа официального лицемерия. Но разнузданность становится положительно опасною, как только она делается общедоступною и соединяется с предоставлением каждому свободы предъявлять свои требования и доказывать их законность и естественность. Тогда возникают новые общественные наслоения, которые стремятся ежели не совсем вытеснить старые, то, по крайней мере,

[116] Notes: 116
Отдельных кабинетов *(фр.)*.

в значительной степени ограничить их. Спрос на cabinets particuliers до того увеличивается, что наконец возникает вопрос: не проще ли, на будущее время, совсем обходиться без них? Вот от этих-то нежелательных возникновений и вопросов и оберегает дирижирующие классы французского общества то систематическое лицемерие, которое, не довольствуясь почвою обычая, переходит на почву легальности и из простой черты нравов становится законом, имеющим характер принудительный.

На этом законе уважения к лицемерию основан, за редкими исключениями, весь современный французский театр. Герои лучших французских драматических произведений, то есть тех, которые пользуются наибольшим успехом именно за необыкновенную реальность изображаемых в них житейских пакостей, всегда улучат под конец несколько свободных минут, чтоб подправить эти пакости громкими фразами, в которых объявляется святость и сладости добродетели. Адель может в продолжение четырех актов всячески осквернять супружеское ложе, но в пятом она непременно во всеуслышание заявит, что семейный очаг есть единственное убежище, в котором французскую женщину ожидает сча-

стие. Спросите себя: что было бы с Аделью, если б авторам вздумалось продолжить свою пьесу еще на пять таких же актов, и вы можете безошибочно ответить на этот вопрос, что в продолжение следующих четырех актов Адель опять будет осквернять супружеское ложе, а в пятом опять обратится к публике с тем же заявлением. Да и нет надобности делать предположения, а следует только из Théâtre Français отправиться в Gymnase, оттуда в Vaudeville или в Variétés, чтоб убедиться, что Адель везде одинаково оскверняет супружеское ложе и везде же под конец объявляет, что это-то ложе и есть единственный алтарь, в котором может священнодействовать честная француженка. Это до такой степени въелось в нравы, что никто даже не замечает, что тут кроется самое дурацкое противоречие, что правда жизни является рядом с правдою лицемерия и обе идут рука об руку, до того перепутываясь между собой, что становится затруднительным сказать, которая из этих двух правд имеет более прав на признание.

Мы, русские, не имеем сильно окрашенных систем воспитания. Нас не муштруют, из нас не вырабатывают будущих поборников и пропагандистов тех или других общественных основ,

а просто оставляют расти, как крапива растет у забора. Поэтому между нами очень мало лицемеров и очень много лгунов, пустосвятов и пустословов. Мы не имеем надобности лицемерить ради каких-нибудь общественных основ, ибо никаких таких основ не знаем и ни одна из них не прикрывает нас. Мы существуем совсем свободно, то есть прозябаем, лжем и пустословим сами по себе, без всяких основ.

Следует ли по этому случаю радоваться или соболезновать — судить об этом не мое дело. Думаю, однако ж, что если лицемерие может внушить негодование и страх, то беспредметное лганье способно возбудить докуку и омерзение. А потому самое лучшее — это, оставив в стороне вопрос о преимуществах лицемерия сознательного перед бессознательным или наоборот, запереться и от лицемеров, и от лгунов.

Итак, Иудушка не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов. Запершись в деревне, он сразу почувствовал себя на свободе, ибо нигде, ни в какой иной сфере его наклонности не могли бы найти себе такого простора, как здесь. В Головлеве он ниоткуда не встречал не только прямого отпора, но даже малейшего косвенного ограничения, которое заставило бы его подумать:

вот, дескать, и напакостил бы, да людей совестно. Ничье суждение не беспокоило, ничей нескромный взгляд не тревожил, — следовательно, не было повода и самому себя контролировать. Безграничная неряшливость сделалась господствующею чертою его отношений к самому себе. Давным-давно влекла его к себе эта полная свобода от каких-либо нравственных ограничений, и ежели он еще раньше не переехал на житье в деревню, то единственно потому, что боялся праздности. Проведя более тридцати лет в тусклой атмосфере департамента, он приобрел все привычки и вожделения закоренелого чиновника, не допускающего, чтобы хотя одна минута его жизни оставалась свободною от переливания из пустого в порожнее. Но, вглядевшись в дело пристальнее, он легко пришел к убеждению, что мир делового бездельничества настолько подвижен, что нет ни малейшего труда перенести его куда угодно, в какую угодно сферу. И действительно, как только он поселился в Головлеве, так тотчас же создал себе такую массу пустяков и мелочей, которую можно было не переставая переворачивать, без всякого опасения когда-нибудь исчерпать ее. С утра он садился за письменный стол и принимался за занятия; во-первых, усчи-

тывал скотницу, ключницу, приказчика, сперва на один манер, потом на другой; во-вторых, завел очень сложную отчетность, денежную и материальную: каждую копейку, каждую вещь заносил в двадцати книгах, подводил итоги, то терял полкопейки, то целую копейку лишнюю находил. Наконец брался за перо и писал жалобы к мировому судье и к посреднику. Все это не только не оставляло ни одной минуты праздной, но даже имело все внешние формы усидчивого, непосильного труда. Не на праздность жаловался Иудушка, а на то, что не успевал всего переделать, хотя целый день корпел в кабинете, не выходя из халата. Груды тщательно подшитых, но не обревизованных рапортичек постоянно валялись на его письменном столе, и в том числе целая годовая отчетность скотницы Феклы, деятельность которой с первого раза показалась ему подозрительной и которую он тем не менее никак не мог найти свободную минуту учесть.

Всякая связь с внешним миром была окончательно порвана. Он не получал ни книг, ни газет, ни даже писем. Один сын его, Володенька, кончил самоубийством, с другим, Петенькой, он переписывался коротко и лишь тогда, когда посылал деньги. Густая атмосфера невежественности,

предрассудков и кропотливого переливания из пустого в порожнее царила кругом него, и он не ощущал ни малейшего поползновения освободиться от нее. Даже о том, что Наполеон III уже не царствует, он узнал лишь через год после его смерти, от станового пристава, но и тут не выразил никакого особенного ощущения, а только перекрестился, пошептал: «Царство небесное!» — и сказал:

— А как был горд! Фу-ты! Ну-ты! И то нехорошо, и другое неладно! Цари на поклон к нему ездили, принцы в передней дежурили! Ан Бог-то взял, да в одну минуту все его мечтания ниспроверг!

Собственно говоря, он не знал даже, что делается у него в хозяйстве, хотя с утра до вечера только и делал, что считал да учитывал. В этом отношении он имел все качества закоренелого департаментского чиновника. Представьте себе столоначальника[117], которому директор, под веселую руку, сказал бы: «Любезный друг! для моих соображений необходимо знать, сколько Россия может ежегодно производить картофеля, — так потрудитесь сделать подробное вычисление!» Встал ли бы в тупик столоначальник перед

[117] Notes: 117

Столоначальник — чиновник, возглавлявший низшую структурную часть в государственных учреждениях.

подобным вопросом? Задумался ли бы он, по крайней мере, над приемами, которые предстоит употребить для выполнения заказанной ему работы? Нет, он поступил бы гораздо проще: начертил бы карту России, разлиновал бы ее на совершенно равные квадратики, доискался бы, какое количество десятин представляет собой каждый квадратик, потом зашел бы в мелочную лавочку, узнал, сколько сеется на каждую десятину картофеля и сколько *средним числом* получается, и в заключение, при помощи Божией и первых четырех правил арифметики, пришел бы к результату, что Россия *при благоприятных условиях* может производить картофелю столько-то, а *при неблагоприятных условиях* — столько-то. И работа эта не только удовлетворила бы его начальника, но, наверное, была бы помещена в сто втором томе каких-нибудь «Трудов».

Даже экономку он выбрал себе как раз подходящую к той обстановке, которую создал. Девица Евпраксия была дочь дьячка при церкви Николы в Капельках и представляла во всех отношениях чистейший клад. Она не обладала ни быстротой соображения, ни находчивостью, ни даже расторопностью, но взамен того была работяща, безответна и не предъявляла почти никаких тре-

бований. Даже тогда, когда он «приблизил» ее к себе, — и тут она спросила только: «можно ли ей, когда захочется, кваску холодненького без спросу испить?» — так что сам Иудушка умилился ее бескорыстию и немедленно отдал в ее распоряжение, сверх кваса, две кадушки моченых яблоков, уволив ее от всякой по этим статьям отчетности. Наружность ее тоже не представляла особенной привлекательности для любителя, но в глазах человека неприхотливого и знающего, что ему нужно, была вполне удовлетворительна. Лицо широкое, белое, лоб узкий, обрамленный желтоватыми негустыми волосами, глаза крупные, тусклые, нос совершенно прямой, рот стертый, подернутый тою загадочною, словно куда-то убегающей улыбкой, какую можно встретить на портретах, писанных доморощенными живописцами. Вообще ничего выдающегося, кроме разве спины, которая была до того широка и могуча, что у человека самого равнодушного невольно поднималась рука, чтобы, как говорится, «дать девке разá» между лопаток. И она знала это и не обижалась, так что когда Иудушка в первый раз слегка потрепал ее по жирному загривку, то она только лопатками передернула.

Среди этой тусклой обстановки дни проходили

за днями, один как другой, без всяких перемен, без всякой надежды на вторжение свежей струи. Только приезд Арины Петровны несколько оживлял эту жизнь, и надо сказать правду, что ежели Порфирий Владимирыч поначалу морщился, завидев вдали маменькину повозку, то с течением времени он не только привык к ее посещениям, но и полюбил их. Они удовлетворяли его страсти к пустословию, ибо ежели он находил возможным пустословить один на один с самим собою по поводу разнообразных счетов и отчетов, то пустословить с добрым другом маменькой было для него еще поваднее. Собравшись вместе, они с утра до вечера говорили и не могли наговориться. Говорили обо всем: о том, какие прежде бывали урожаи и какие нынче бывают; о том, как прежде живали помещики и как нынче живут; о том, что соль, что ли, прежде лучше была, а только нет нынче прежнего огурца.

Эти разговоры имели то преимущество, что текли, как вода, и без труда забывались; следовательно, их можно было возобновлять без конца с таким же интересом, как будто они только сейчас в первый раз пущены в ход. При этих разговорах присутствовала и Евпраксеюшка, которую Арина Петровна так полюбила, что ни на шаг

не отпускала от себя. Иногда, наскучив беседою, все трое садились за карты и засиживались до поздней ночи, играя в дураки. Пробовали учить Евпраксеюшку в вист с болваном, но она не поняла. Громадный головлевский дом словно оживал в такие вечера. Во всех окнах светились огни, мелькали тени, так что проезжий мог думать, что тут и невесть какое веселье затеялось. Самовары, кофейники, закуски целый день не сходили со стола. И сердце Арины Петровны веселилось и играло, и загащивалась она, вместо одного дня, дня на три и на четыре. И даже, уезжая в Погорелку, уже заранее придумывала повод, чтоб как-нибудь поскорее вернуться к соблазнам головлевского «хорошего житья».

* * *

Ноябрь в исходе, земля на неоглядное пространство покрыта белым саваном. На дворе ночь и метелица; резкий, холодный ветер буровит снег, в одно мгновение наметает сугробы, захлестывает все, что попадется на пути, и всю окрестность наполняет воплем. Село, церковь, ближний лес — все исчезло в снежной мгле, крутящейся в воздухе; старинный головлевский сад могуче гудит. Но в барском доме светло, тепло

и уютно. В столовой стоит самовар, вокруг которого собрались: Арина Петровна, Порфирий Владимирыч и Евпраксеюшка. В сторонке поставлен ломберный стол, на котором брошены истрепанные карты. Из столовой открытые двери ведут, с одной стороны, в образну́ю, всю залитую огнем зажженных лампад; с другой — в кабинет барина, в котором тоже теплится лампадка перед образом. В жарко натопленных комнатах душно, пахнет деревянным маслом и чадом самоварного угля. Евпраксея, усевшись против самовара, перемывает чашки и вытирает их полотенцем. Самовар так и заливается: то загудит во всю мочь, то словно засыпать начнет и пронзительно засопит. Клубы пара вырываются из-под крышки и окутывают туманом чайник, уже с четверть часа стоящий на конфорке. Сидящие беседуют.

— А ну-ко, сколько ты раз сегодня дурой осталась? — спрашивает Арина Петровна Евпраксеюшку.

— Не осталась бы, кабы сама не поддалась. Вам же удовольствие сделать хочу, — отвечает Евпраксеюшка.

— Сказывай. Видела я, какое ты удовольствие чувствовала, как я давеча под тебя тройками да пятерками подваливала. Я ведь не Порфирий

Владимирыч: тот тебя балует, все с одной да с одной ходит, а мне, матушка, не из чего.

— Да еще бы вы плутовали!

— Вот уж этого греха за мной не водится!

— А кого я давеча поймала? кто семерку треф с восьмеркой червей за пару спустить хотел? Уж это я сама видела, сама уличила!

Говоря это, Евпраксеюшка встает, чтоб снять с самовара чайник, и поворачивается к Арине Петровне спиной.

— Эк у тебя спина какая… Бог с ней! — невольно вырывается у Арины Петровны.

— Да, у нее спина… — машинально отзывается Иудушка.

— Спина да спина… бесстыдники! И что моя спина вам сделала!

Евпраксеюшка смотрит направо и налево и улыбается. Спина — это ее конек. Давеча даже старик Савельич, повар, и тот, загляделся и сказал: ишь ты спина! ровно плита! И она не пожаловалась на него Порфирию Владимирычу.

Чашки поочередно наливаются чаем, и самовар начинает утихать. А метель разыгрывается пуще и пуще; то целым снежным ливнем ударит в стекла окон, то каким-то невыразимым плачем прокатится вдоль печного борова.

— Метель-то, видно, взаправду взялась, — замечает Арина Петровна, — визжит да повизгивает!

— Ну и пущай повизгивает. Она повизгивает, а мы здесь чаек попиваем — так-то, друг мой маменька! — отзывается Порфирий Владимирыч.

— Ах, нехорошо теперь в поле, коли кого этакая милость Божья застанет!

— Кому нехорошо, а нам горюшка мало. Кому темненько да холодненько, а нам и светлехонько, и теплехонько. Сидим да чаек попиваем. И с сахарцем, и со сливочками, и с лимонцем. А захотим с ромцом, и с ромцом будем пить.

— Да, коли ежели теперича…

— Позвольте, маменька. Я говорю: теперича в поле очень нехорошо. Ни дороги, ни тропочки — все замело. Опять же волки. А у нас здесь и светленько, и уютненько, и ничего мы не боимся. Сидим мы здесь да посиживаем, ладком да мирком. В карточки захотелось поиграть — в карточки поиграем; чайку захотелось попить — чайку попьем. Сверх нужды пить не станем, а сколько нужно, столько и выпьем. А отчего это так? Оттого, милый друг маменька, что милость Божья не оставляет нас. Кабы не он, Царь Небесный, может, и мы бы теперь в поле плутали, и было бы нам и темненько, и холодненько… В зи-

пунишечке каком-нибудь, кушачок плохонький, лаптишечки…

— Чтой-то уж и лаптишечки! Чай, тоже в дворянском званье родились? какие ни есть, а все-таки сапожнишки носим!

— А знаете ли вы, маменька, отчего мы в дворянском званье родились? А все оттого, что милость Божья к нам была. Кабы не она, и мы сидели бы теперь в избушечке, да горела бы у нас не свечечка, а лучинушка, а уж насчет чайку да кофейку — об этом и думать бы не смели! Сидели бы; я бы лаптишечки ковырял, вы бы щец там каких-нибудь пустеньких поужинать сбирали, Евпраксеюшка бы красно ткала… А может быть, на беду, десятский еще с подводой бы выгнал…

— Ну, и десятский в этакую пору с подводой не нарядит!

— Как знать, милый друг маменька! А вдруг полки идут! Может быть, война или возмущение — чтоб были полки в срок на местах! Вон, намеднись, становой сказывал мне, Наполеон Третий помер, — наверное, теперь французы куролесить начнут! Натурально, наши сейчас вперед — ну и давай, мужичок, подводку! Да в стыть, да в метель, да в бездорожицу — ни на что не посмотрят: поезжай, мужичок, коли началь-

ство велит! А нас с вами покамест еще поберегут, с подводой не выгонят!

— Это что и говорить! велика для нас милость Божия!

— А я что же говорю? Бог, маменька, — все. Он нам и дровец для тепла, и провизийцы для пропитания — все он. Мы-то думаем, что всё сами, на свои деньги приобретаем, а как посмотрим, да поглядим, да сообразим — ан все Бог. И коли он не захочет, ничего у нас не будет. Я вот теперь хотел бы апельсинчиков, и сам бы поел, и милого дружка маменьку угостил бы, и всем бы по апельсинчику дал, и деньги у меня есть, чтоб апельсинчиков купить, взял бы вынул — давай! Ан Бог говорит: тпру! вот я и сижу: филозóв без огурцов[118].

Все смеются.

— Рассказывайте! — отзывается Евпраксеюшка. — Вот у меня дяденька пономарем у Успенья в Песочном был; уж как, кажется, был к Богу усерден — мог бы Бог что-нибудь для него сделать! — а как застигла его в поле метелица — все равно замерз.

— И я про то же говорю. Коли захочет Бог — за-

---

[118] Notes: 118

«Филозов без огурцов» — заключительные слова басни Крылова «Огородник и философ».

мерзнет человек, не захочет — жив останется. Опять и про молитву надо сказать: есть молитва угодная и есть молитва неугодная. Угодная достигает, а неугодная — все равно, что она есть, что ее нет. Может, дяденькина-то молитва неугодная была — вот она и не достигла.

— Помнится, я в двадцать четвертом году в Москву ездила — еще в ту пору я Павлом была тяжела, — так ехала я в декабре месяце в Москву…

— Позвольте, маменька. Вот я об молитве кончу. Человек обо всем молится, потому что ему всего нужно. И маслица нужно, и капустки нужно, и огурчиков — ну, словом, всего. Иногда даже чего и не нужно, а он все, по слабости человеческой, просит. Ан Богу-то сверху виднее. Ты у него маслица просишь, а он тебе капустки либо лучку даст; ты об вёдрышке да об тепленькой погодке хлопочешь, а он тебе дождичка да с градцем пошлет. И должен ты это понимать и не роптать. Вот мы в прошлом сентябре всё морозцев у Бога просили, чтоб озими у нас не подопрели, ан Бог морозцу не дал — ну и сопрели наши озими.

— Еще как сопрели-то! — соболезнует Арина Петровна. — В Новинках у мужиков все озимое поле хоть брось. Придется весной перепахивать да яровым засевать.

— То-то вот и есть. Мы здесь мудрствуем да лукавим, и так прикинем, и этак примерим, а Бог разом, в один момент, все наши планы-соображения в прах обратит. Вы, маменька, что-то хотели рассказать, что с вами в двадцать четвертом году было?

— Что такое! ни́што уж я позабыла! Должно быть, все об ней же, об милости Божьей. Не помню, мой друг, не помню.

— Ну, Бог даст, в другое время вспомните. А покуда там на дворе кутит да мутит, вы бы, милый друг, вареньица покушали. Это вишенки, головлевские! Евпраксеюшка сама варила.

— И то ем. Вишенки-то мне, признаться, теперь в редкость. Прежде, бывало, частенько-таки лакомливалась ими, ну а теперь… Хороши у тебя в Головлеве вишни, сочные, крупные; вот в Дубровине как ни старались разводить — всё несладки выходят. Да ты, Евпраксеюшка, французской-то водки клала в варенье?

— Как не класть! как вы учили, так и делала. Да вот я об чем хотела спросить: вы как огурцы солите, кладете кардамону?

Арина Петровна на некоторое время задумывается и даже руками разводит:

— Не помню, мой друг; кажется, прежде я кар-

дамону клала. Теперь — не кладу: теперь какое мое соленье! а прежде клала… даже очень хорошо помню, что клала! Да вот домой приеду, в рецептах пороюсь, не найду ли. Я ведь, как в силах была, все примечала да записывала. Где что понравится, я сейчас все выспрошу, запишу на бумажку да дома и пробую. Я один раз такой секрет, такой секрет достала, что тысячу рублей давали — не открывает тот человек, да и дело с концом! А я ключнице четвертачок сунула — она мне все до капли пересказала!

— Да, маменька, в свое время вы таки были… министр!

— Министр не министр, а могу Бога благодарить: не растранжирила, а присовокупила. Вот и теперь поедаю от трудов своих праведных: вишни-то в Головлеве ведь я развела!

— И спасибо вам за это, маменька, большое спасибо! Вечное спасибо и за себя, и за потомков — вот как!

Иудушка встает, подходит к маменьке и целует у ней ручку.

— И тебе спасибо, что мать покоишь! Да, хороши у тебя запасы, очень хороши!

— Что у нас за запасы! вот у вас бывали запасы, так это так. Сколько одних погребов было, и нигде

ни одного местечка пустого!

— Бывали и у меня запасы — не хочу солгать, никогда не была бездомовницей. А что касается до того, что погребов было много, так ведь тогда и колесо большое было, ртов-то вдесятеро против нынешнего было. Одной дворни сколько — всякому припаси да всякого накорми. Тому огурчика, тому кваску — понемножку да помаленьку, — ан, смотришь, и многонько всего изойдет.

— Да, хорошее было время. Всего тогда много было. И хлеба, и фруктов — всего в изобилии!

— Навозу копили больше — оттого и родилось.

— Нет, маменька, и не от этого. А было Божье благословение — вот отчего. Я помню, однажды папенька из саду яблоко апорт принес, так все даже удивились: на тарелке нельзя было уместить.

— Этого не помню. Вообще знаю, что были яблоки хорошие, а чтобы такие были, в тарелку величиной, — этого не помню. Вот карася в двадцать фунтов в дубровинском пруде в ту коронацию[119] изловили — это точно, что было.

— И караси, и фрукты — все тогда крупное было. Я помню, арбузы Иван-садовник выводил — вот какие!

---

[119] Notes: 119
Имеется в виду коронация Николая I (1826).

Иудушка сначала оттопыривает руки, потом скругляет их, причем делает вид, что никак не может обхватить.

— Бывали и арбузы. Арбузы, скажу тебе, друг мой, к году бывают. Иной год их и много, и они хороши, другой год и немного, и невкусные, а в третий год и совсем ничего нет. Ну и то еще надо сказать: что где поведется. Вон у Григорья Александрыча, в Хлебникове, ничего не родилось — ни ягод, ни фруктов, ничего. Одни дыни. Только уж и дыни бывали!

— Стало быть, ему на дыни милость Божья была!

— Да, уж конечно. Без Божьей милости нигде не обойдешься, никуда от нее не убежишь!

Арина Петровна уж выпила две чашки и начинает поглядывать на ломберный стол. Евпраксеюшка тоже так и горит нетерпением сразиться в дураки. Но планы эти расстроиваются по милости самой Арины Петровны, потому что она внезапно что-то припоминает.

— А ведь у меня новость есть, — объявляет она, — письмо вчера от сироток получила.

— Молчали-молчали, да и откликнулись. Видно, туго пришлось, денег просят?

— Нет, не просят. Вот полюбуйся.

Арина Петровна достает из кармана письмо и отдает Иудушке, который читает:

«Вы, бабушка, больше нам ни индюшек, ни кур не посылайте. Денег тоже не посылайте, а копите на проценты. Мы не в Москве, а в Харькове, поступили на сцену в театр, а летом по ярмаркам будем ездить. Я, Аннинька, в „Периколе“ добютировала, а Любинька в „Анютиных глазках“[120]. Меня несколько раз вызывали, особенно после сцены, где Перикола выходит навеселе и поет: *я гото-ова, готова, готооова!* Любинька тоже очень понравилась. Жалованья мне директор положил по сту рублей в месяц и бенефис в Харькове, а Любиньке по семидесяти пяти в месяц и бенефис летом, на ярмарке. Кроме того, подарки бывают от офицеров и от адвокатов. Только адвокаты иногда фальшивые деньги дают, так нужно быть осторожной. И вы, милая бабушка, всем в Погорелке пользуйтесь, а мы туда никогда не приедем и даже не понимаем, как там можно жить. Вчера первый снег выпал, и мы с здешними адвокатами на тройках ездили; один на Плеваку похож — чудо, как хорош! Поставил на голову стакан с шампанским и плясал трепака — пре-

[120] Notes: 120

«Перикола» — оперетта Ж. Оффенбаха; *«Барская спесь и Анютины глазки»* — водевиль, переделанный с французского Д. Т. Ленским.

лесть как весело! Другой — не очень собой хорош, вроде петербургского Языкова[121]. Представьте, расстроил себе воображение чтением „Собрания лучших русских песен и романсов“ и до того ослаб, что даже в суде падает в обморок. И так почти каждый день проводим то с офицерами, то с адвокатами. Катаемся, в лучших ресторанах обедаем, ужинаем и ничего не платим. А вы, бабушка, ничего в Погорелке не жалейте, и что там растет: хлеб, цыплят, грибы — всё кушайте. Мы бы и капитал с удово…

Прощайте, приехали наши кавалеры, опять на тройках кататься зовут. Милка! божественная! прощайте!

Аннинька. И я тоже — Любинька».

— Тьфу! — отплевывается Иудушка, возвращая письмо.

Арина Петровна сидит задумавшись и некоторое время не отвечает.

— Вы им, маменька, ничего еще не отвечали?

— Нет еще, и письмо-то вчера только получила; с тем и поехала к вам, чтобы показать, да вот за тем да за сем чуть было не позабыла.

— Не отвечайте. Лучше.

---

[121] Notes: 121

Плевако Федор Никифорович (1842–1909) — адвокат и судебный оратор. *Языков Александр Иванович* (1841–1886) — известный юрист, поэт.

— Как же я не отвечу? Ведь я им отчетом обязана. Погорелка-то ихняя.

Иудушка тоже задумывается; какой-то зловещий план мелькает в его голове.

— А я все об том думаю, как они себя соблюдут в вертепе-то этом? — продолжает между тем Арина Петровна. — Ведь это такое дело, что тут только раз оступись — потом уж чести-то девичьей и не воротишь! Ищи ее потом да свищи!

— Очень им она нужна! — огрызается Иудушка.

— Как бы то ни было… Для девушки это даже, можно сказать, первое в жизни сокровище… Кто потом эдакую-то за себя возьмет?

— Нынче, маменька, и без мужа все равно что с мужем живут. Нынче над предписаниями-то религии смеются. Дошли до куста, под кустом обвенчались — и дело в шляпе. Это у них гражданским браком называется.

Иудушка вдруг спохватывается, что ведь и он находится в блудном сожительстве с девицей духовного звания.

— Конечно, иногда по нужде… — поправляется он, — коли ежели человек в силах и притом вдовый… по нужде и закону перемена бывает!

— Что говорить! В нужде и кулик соловьем

свищет. И святые в нужде согрешали, не то что мы, грешные!

— Так вот оно и есть. На вашем месте, знаете ли, что бы я сделал?

— Посоветуй, мой друг, скажи.

— Я бы от них полную доверенность на Погорелку вытребовал.

Арина Петровна пугливо взглядывает на него.

— Да у меня и то полная доверенность на управление есть, — произносит она.

— Не на одно управление. А так, чтобы и продать, и заложить, и, словом, чтоб всем можно было по своему усмотрению распорядиться…

Арина Петровна опускает глаза в землю и молчит.

— Конечно, это такой предмет, что надо его обдумать. Подумайте-ка, маменька! — настаивает Иудушка.

Но Арина Петровна продолжает молчать. Хотя вследствие старости, сообразительность у нее значительно притупела, но ей все-таки как-то не по себе от инсинуаций Иудушки. И боится-то она Иудушки: жаль ей тепла, и простора, и изобилия, которые царствуют в Головлеве, и в то же время сдается, что недаром он об доверенности заговорил, что это он опять новую петлю накидывает.

Положение делается настолько натянутым, что она начинает уже внутренно бранить себя, зачем ее дернуло показывать письмо. К счастью, Евпраксеюшка является на выручку.

— Что ж! будем, что ли, в карты-то играть? — спрашивает она.

— Давай! давай! — спешит ответить Арина Петровна и живо выскакивает из-за чая. Но по дороге к ломберному столу ее посещает новая мысль. — А ты знаешь ли, какой сегодня день? — обращается она к Порфирию Владимирычу.

— Двадцать третье ноября, маменька, — с недоумением отвечает Иудушка.

— Двадцать третье-то двадцать третье, да помнишь ли ты, что двадцать третьего-то ноября случилось? Про панихидку-то небось позабыл?

Порфирий Владимирыч бледнеет и крестится.

— Ах, господи! вот так беда! — восклицает он. — Да так ли? точно ли? позвольте-ка, я в календаре посмотрю.

Через несколько минут он приносит календарь и отыскивает в нем вкладной лист, на котором написано:

«23 ноября. Память кончины милого сына Владимира.

Покойся, милый прах, до радостного утра!

и моли Бога за твоего Папу, который в сей день будет неуклонно творить по тебе поминовение и с литургиею».

— Вот тебе и на! — произносит Порфирий Владимирыч. — Ах, Володя, Володя! не добрый ты сын! дурной! Видно, не молишься Богу за папу, что он даже память у него отнял! как же быть-то с этим, маменька?

— Не бог знает что случилось — и завтра панихидку отслужишь. И панихидку, и обеденку — всё справим. Все я, старая да беспамятная, виновата. С тем и ехала, чтобы напомнить, да все дорогой и растеряла.

— Ах, грех какой! Хорошо еще, что лампадки в образной зажжены. Точно ведь свыше что меня озарило. Ни праздник у нас сегодня, ни что — просто с Введеньева дня лампадки зажжены, — только подходит ко мне давеча Евпраксеюшка, спрашивает: «Лампадки-то боковые тушить, что ли?» А я, точно вот толкнуло меня, подумал эдак с минуту и говорю: не тронь! Христос с ними, пускай погорят! Ан вон оно что!

— И то хорошо, хоть лампадочки погорели! И то для души облегчение! Ты где садишься-то? опять, что ли, под меня ходить будешь или крале своей станешь мирволить?

— Да уж я и не знаю, маменька, мне можно ли…

— Чего не можно! Садись! Бог простит! не нарочно ведь, не с намерением, а от забвения. Это и с праведниками случалось! Завтра вот чем свет встанем, обеденку отстоим, панихидочку отслужим — все как следует сделаем. И его душа будет радоваться, что родители да добрые люди об нем вспомнили, и мы будем покойны, что свой долг выполнили. Так-то, мой друг. А горевать не след — это я всегда скажу: первое, гореваньем сына не воротишь, а второе — грех перед Богом!

Иудушка урезонивается этими словами и целует у маменьки руку, говоря:

— Ах, маменька, маменька! золотая у вас душа — право! Кабы не вы — ну что б я в эту минуту делал! Ну, просто пропал бы! как есть, растерялся бы, пропал!

Порфирий Владимирыч делает распоряжение насчет завтрашней церемонии, и все садятся за карты. Сдают раз, сдают другой, Арина Петровна горячится и негодует на Иудушку за то, что он ходит под Евпраксеюшку все с одной. В промежутках сдач Иудушка предается воспоминаниям о погибшем сыне.

— А какой ласковый был! — говорит он. — Ни-

чего, бывало, без позволения не возьмет. Бумажки нужно — можно, папа, бумажки взять? — Возьми, мой друг! Или не будете ли, папа, такой добренький, сегодня карасиков в сметане к завтраку заказать? — Изволь, мой друг! Ах, Володя! Володя! Всем ты был пайка, только тем не пайка, что папку оставил!

Проходит еще несколько туров; опять воспоминания.

— И что такое с ним вдруг случилось — и сам не понимаю! Жил хорошохонько да смирнехонько, жил да поживал, меня радовал — чего бы, кажется, лучше! вдруг — бац! Ведь грех-то, представьте, какой! подумайте только об этом, маменька, на что человек посягнул! на жизнь свою, на дар Отца Небесного! Из-за чего? зачем? чего ему недоставало? Денег, что ли? Жалованья я, кажется, никогда не задерживаю; даже враги мои и те про меня этого не скажут. Ну а ежели маловато показалось — так не прогневайся, друг! У папы денежки тоже вот где сидят! Коли мало денег — умей себя сдерживать. Не все сладенького, не все с сахарцом, часком и с кваском покушай! Так-то, брат! Вот папа твой, и надеялся он давеча денежек получить, ан приказчик пришел: терпенковские крестьяне оброка не платят. — Ну,

нечего делать, написал к мировому прошение! Ах, Володя, Володя! Нет, не пайка ты, бросил папку! Сиротой оставил!

И чем живее идет игра, тем обильнее и чувствительнее делаются воспоминания.

— И какой умный был! Помню я такой случай. Лежит он в кори — лет не больше семи ему было, — только подходит к нему покойница Саша, а он ей и говорит: мама! мама! ведь правда, что крылышки только у ангелов бывают? Ну, та и говорит: да, только у ангелов. Отчего же, говорит, у папы, как он сюда сейчас входил, крылышки были?

Наконец разыгрывается какая-то гомерическая игра. Иудушка остается дураком с целыми восемью картами на руках, в числе которых козырные туз, король и дама. Поднимается хохот, подтрунивание, и всему этому благосклонно вторит сам Иудушка. Но среди общего разгара веселости Арина Петровна вдруг стихает и прислушивается.

— Стойте! не шумите! кто-то едет! — говорит она.

Иудушка с Евпраксеюшкой тоже прислушиваются, но без результата.

— Говорю вам: едут! Вона… чу! ветром сюда

вдруг подуло… Чу! едет! и даже близко!

Вновь начинают вслушиваться и, действительно, слышат какое-то далекое позвякивание, то доносимое, то относимое ветром. Проходит минут пять, и колокольчик слышится уже явственно, а вслед за ним и голоса на дворе.

— Молодой барин Петр Порфирьич приехали! — доносится из передней.

Иудушка встал и застыл на месте, бледный как полотно.

* * *

Петенька вошел как-то вяло, поцеловал у отца руку, потом соблюл тот же церемониал относительно бабушки, поклонился Евпраксеюшке и сел. Это был малый лет двадцати пяти, довольно красивой наружности, в дорожной офицерской форме. Вот все, что можно сказать про него, да и сам Иудушка едва ли знал что-нибудь больше. Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было даже назвать натянутыми: совсем как бы ничего не существовало. Иудушка знал, что есть человек, значащийся по документам его сыном, которому он обязан в известные сроки посылать условленное, то есть им же самим определенное жалованье, и от которого,

взамен того, он имеет право требовать почтения и повиновения. Петенька, с своей стороны, знал, что есть у него отец, который может его во всякое время притеснить. Он довольно охотно ездил в Головлево, особливо с тех пор, как вышел в офицеры, но не потому, чтобы находил удовольствие беседовать с отцом, а просто потому, что всякого человека, не отдавшего себе никакого отчета в жизненных целях, как-то инстинктивно тянет в *свое место*. Но теперь он, очевидно, приехал по нужде, по принуждению, вследствие чего он не выразил даже ни одного из тех знаков радостного недоумения, которыми обыкновенно ознаменовывает всякий блудный дворянский сын свой приезд в родное место.

Петенька был неразговорчив. На все восклицания отца: вот так сюрприз! ну, брат, одолжил! а я-то сижу да думаю: кого это, прости господи, по ночам носит? — ан вот он кто! и т. д. — он отвечал или молчанием, или принужденною улыбкою. А на вопрос: и как это тебе вдруг вздумалось? — отвечал даже сердечно: так вот, вздумалось и приехал.

— Ну, спасибо тебе! спасибо! вспомнил про отца! обрадовал! Чай, и про бабушку-старушку вспомнил?

— И про бабушку вспомнил.

— Стой! да тебе, может быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по брате Володеньке?

— Да, и про это вспомнилось.

В таком тоне разговор длился с полчаса, так что нельзя было понять, взаправду ли отвечает Петенька или только отделывается. Поэтому как ни вынослив был Иудушка относительно равнодушия своих детей, однако и он не выдержал и заметил:

— Да, брат, неласков ты! нельзя сказать, чтоб ты ласковый сын был!

Смолчи на этот раз Петенька, прими папенькино замечание с кротостью, а еще лучше — поцелуй у папеньки ручку и скажи ему: извините меня, добренький, папенька! я ведь с дороги, устал! — и все бы обошлось благополучно. Но Петенька поступил совсем как неблагодарный.

— Каков есть! — ответил он так грубо, словно хотел сказать: да отвяжись ты от меня, сделай милость!

Тогда Порфирию Владимирычу сделалось так больно, так больно, что и он уж не нашел возможным молчать.

— Кажется, как я об вас заботился! — сказал он с горечью. — Даже и здесь сидишь, а все думаешь:

как бы получше да поскладнее, да чтобы всем было хорошохонько да уютненько, без нужды да без горюшка… А вы всё от меня прочь да прочь!

— Кто же… *вы*?

— Ну, ты… да, впрочем, и покойник, царство ему небесное, был такой же…

— Что ж! я вам очень благодарен!

— Никакой я от вас благодарности не вижу! Ни благодарности, ни ласки — ничего!

— Характер неласковый — вот и все. Да вы что всё во множественном говорите? один уж умер…

— Да, умер, Бог наказал. Бог непокорных детей наказывает. И все-таки я его помню. Он непокорен был, а я его помню. Вот завтра обеденку отстоим и панихидку отслужим. Он меня обидел, а я все-таки свой долг помню. Господи ты боже мой! да что ж это нынче делается! Сын к отцу приехал и с первого же слова уже фыркает! Так ли мы в наше время поступали! Бывало, едешь в Головлево-то, да за тридцать верст все твердишь: помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! Да вот маменька живой человек — она скажет! А нынче… не понимаю! не понимаю!

— И я не понимаю. Приехал я смирно, поздоровался с вами, ручку поцеловал, теперь сижу, вас не трогаю, пью чай, а коли дадите ужинать — и

поужинаю. С чего вы всю эту историю подняли?

Арина Петровна сидит в своем кресле и вслушивается. И сдается ей, что она все ту же знакомую повесть слышит, которая давно, и не запомнит она когда, началась. Закрылась было совсем эта повесть, да вот и опять, нет-нет, возьмет да и раскроется на той же странице. Тем не менее она понимает, что подобная встреча между отцом и сыном не обещает ничего хорошего, и потому считает долгом вмешаться в распрю и сказать примирительное слово.

— Ну-ну, петухи индейские! — говорит она, стараясь придать своему поучению шутливый тон. — Только что свиделись, а уж и разодрались! Так и наскакивают друг на дружку, так и наскакивают! Смотри, сейчас перья полетят! Ах-ах-ах! горе какое! А вы, молодцы, смирненько посидите да ладком между собою поговорите, а я, старуха, послушаю да полюбуюсь на вас! Ты, Петенька, — уступи! Отцу, мой друг, всегда нужно уступить, потому что он — отец! Ежели иной раз и горько́нько что от отца покажется, а ты прими с готовностью, да с покорностью, да с почтением, потому что ты — сын! Может, из горького-то да вдруг сладкое сделается — вот ты и в выигрыше! А ты, Порфирий Владимирыч, — снизойди! Он —

сын, человек молодой, неженный. Он семьдесят пять верст по ухабам да по сугробам проехал: и устал, и иззяб, и уснуть ему хочется! Вот чай-то уж кончили, вели-ка подавать ужинать, да и на покой! Так-то, други мои! Разбредемся все по своим местам, помолимся, ан сердце-то у нас и пройдет. И все какие у нас дурные мысли были — все сном Бог прогонит! А завтра ранехонько встанем да об покойнике помолимся. Обеденку отстоим, панихидку отслушаем, а потом, как воротимся домой, и побеседуем. И всякий, отдохнувши, свое дело по порядку, как следует, расскажет. Ты, Петенька, про Петербург, а ты, Порфирий, про деревенское свое житье. А теперь поужинаем — и с Богом, на боковую!

Это увещание оказывает свое действие не потому, чтобы оно заключало что-нибудь действительно убедительное, а потому что Иудушка и сам видит, что он зарапортовался, что лучше как-нибудь миром покончить день. Поэтому он встает с своего места, целует у маменьки ручку, благодарит «за науку» и приказывает подавать ужинать. Ужин проходит сурово и молчаливо.

Столовая опустела, все разошлись по своим комнатам. Дом мало-помалу стихает, и мертвая тишина ползет из комнаты в комнату и наконец

дополз доползает до последнего убежища, в котором дольше прочих закоулков упорствовала обрядовая жизнь, то есть до кабинета головлевского барина. Иудушка наконец покончил с поклонами, которые он долго-долго отсчитывал перед образами, и тоже улегся в постель.

Лежит Порфирий Владимирыч в постели, но не может сомкнуть глаз. Чует он, что приезд сына предвещает что-то не совсем обыкновенное, и уже заранее в голове его зарождаются всевозможные пустословные поучения. Поучения эти имеют то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы для них тоже не требуется: они накапливаются в голове в виде отрывочных афоризмов и появляются на свет божий по мере того, как наползают на язык. Тем не менее, как только случается в жизни какой-нибудь казус, выходящий из ряда обыкновенных, так в голове поднимается такая суматоха от наплыва афоризмов, что даже сон не может умиротворить ее.

Не спится Иудушке: целые массы пустяков обступили его изголовье и давят его. Собственно говоря, загадочный приезд Петеньки не особенно

волнует его, ибо, что бы ни случилось, Иудушка уже ко *всему* готов заранее. Он знает, что *ничто* не застанет его врасплох и *ничто* не заставит сделать какое-нибудь отступление от той сети пустых и насквозь прогнивших афоризмов, в которую он закутался с головы до ног. Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир, в его глазах, есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия. Уж на что было больше горя, когда Володя покончил с собой, а он и тут устоял. Это была очень грустная история, продолжавшаяся целых два года. Целых два года Володя перемогался; сначала выказывал гордость и решимость не нуждаться в помощи отца; потом ослаб, стал молить, доказывать, грозить… И всегда встречал в ответ готовый афоризм, который представлял собой камень, поданный голодному человеку. Сознавал ли Иудушка, что это камень, а не хлеб, или не сознавал — это вопрос спорный; но, во всяком случае, у него ничего другого не было, и он подавал свой камень, как единственное, что он мог дать. Когда Володя застрелился, он отслужил по нем панихиду, записал в календаре день его смерти и обещал и на будущее время каждогодно 23-го ноября служить панихиду «и с литургиею».

Но когда, по временам, даже и в нем поднимался какой-то тусклый голос, который бормотал, что все-таки разрешение семейного спора самоубийством — вещь по малой мере подозрительная, тогда он выводил на сцену целую свиту готовых афоризмов, вроде «Бог непокорных детей наказывает», «гордым Бог противится» и проч. — и успокоивался.

Вот и теперь. Нет сомнения, что с Петенькой случилось что-то недоброе, но, что бы ни случилось, он, Порфирий Головлев, должен быть выше этих случайностей. Сам запутался — сам и распутывайся; умел кашу заварить — умей ее и расхлебывать; любишь кататься — люби и саночки возить. Именно так; именно это самое он и скажет завтра, об чем бы ни сообщил ему сын. А что, ежели и Петенька, подобно Володе, откажется принять камень вместо хлеба? Что, ежели и он… Иудушка отплевывается от этой мысли и приписывает ее наваждению лукавого. Он переворачивается с боку на бок, усиливается уснуть и не может. Только что начнет заводить его сон — вдруг: и рад бы до неба достать, да руки коротки! или: по одежке протягивай ножки… вот я… вот ты… прытки вы очень, а знаешь пословицу: поспешность потребна только блох ловить?

Обступили кругом пустяки, ползут, лезут, давят. И не спит Иудушка под бременем пустословия, которым он надеется завтра утолить себе душу.

Не спится и Петеньке, хотя дорога порядком-таки изломала его. Есть у него дело, которое может разрешиться только здесь, в Головлеве, но такое это дело, что и невесть как за него взяться. По правде говоря, Петенька отлично понимает, что дело его безнадежное, что поездка в Головлево принесет только лишние неприятности, но в том-то и штука, что есть в человеке какой-то темный инстинкт самосохранения, который пересиливает всякую сознательность и который так и подталкивает: испробуй все до последнего! Вот он и приехал, да, вместо того чтоб закалить себя и быть готовым перенести все, чуть было с первого шагу не разругался с отцом. Что-то будет из этой поездки? совершится ли чудо, которое должно превратить камень в хлеб, или не совершится?

Не прямее ли было бы взять револьвер и приставить его к виску: господа! я недостоин носить ваш мундир! я растратил казенные деньги! и потому сам себе произношу справедливый и строгий суд! Бац — и все кончено! Исключается из списков *умерший* поручик Головлев! Да, это было бы решительно и… красиво. Товарищи сказали

бы: ты был несчастен, ты увлекался, но… ты был *благородный* человек! Но он, вместо того чтобы сразу поступить *таким образом,* довел дело до того, что поступок его стал всем известен, — и вот его отпустили на определенный срок с тем, чтобы в течение его растрата была непременно пополнена. А потом — вон из полка. И для достижения этой-то цели, в конце которой стоял позорный исход только что начатой карьеры, он поехал в Головлево, поехал с полной уверенностью получить камень вместо хлеба!

А может быть, что-нибудь и будет?! Ведь случается же… Вдруг нынешнее Головлево исчезнет и на месте его очутится новое Головлево, с новою обстановкой, в которой он… Не то чтобы отец… умрет — зачем? — а так… вообще, будет новая «обстановка»… А может быть, и бабушка — ведь у ней деньги есть! Узнает, что беда впереди, — и вдруг даст! На, скажет, поезжай скорее, покуда срок не прошел! И вот он едет, торопит ямщиков, насилу поспевает на станцию — и является в полк как раз за два часа до срока! Молодец Головлев! — говорят товарищи, — руку, благородный молодой человек! и пусть отныне все будет забыто! И он не только остается в полку по-прежнему, но производится сначала в штабс-капитаны, потом в

капитаны, делается полковым адъютантом (казначеем он уж был) и, наконец, в день полкового юбилея…

Ах! поскорее бы эта ночь прошла! Завтра… ну, завтра пусть будет, что будет! Но что он должен будет завтра выслушать… ах, чего только он не выслушает! Завтра… но для чего же завтра? ведь есть и еще целый день впереди… Ведь он выговорил себе два дня собственно для того, чтобы иметь время убедить, растрогать… Черта с два! убедишь тут, растрогаешь! Нет уж…

Тут мысли его окончательно путаются и постепенно, одна за другой, утопают в сонной мгле. Через четверть часа головлевская усадьба всецело погружается в тяжкий сон.

На другой день, рано утром, весь дом уже на ногах. Все поехали в церковь, кроме, впрочем, Петеньки, который остался дома под предлогом, что устал с дороги. Наконец отслушали обедню и панихиду и воротились домой. Петенька, по обыкновению, подошел к руке отца, но Иудушка подал руку боком, и все заметили, что он даже не перекрестил сына. Напились чаю, поели поминальной кутьи; Иудушка ходил мрачный, шаркал ногами, избегал разговоров, вздыхал, беспрестанно складывал руки, в знак умной молитвы,

и совсем не глядел на сына. С своей стороны, и Петенька ежился и молча курил папироску за папироской. Вчерашнее натянутое положение не только не улучшилось за ночь, но приняло такие резкие тоны, что Арина Петровна серьезно обеспокоилась и решилась разведать у Евпраксеюшки, не случилось ли чего-нибудь.

— Что такое сделалось? — спросила она. — Что они с утра словно вороги друг на друга смотрят?

— А я почем знаю? разве я в ихние дела вхожу! — отгрызнулась Евпраксея.

— Уж не ты ли? Может, и внучек к тебе пристает?

— Чего ко мне приставать! Просто давеча подкараулил меня в коридоре, а Порфирий Владимирыч и увидели!

— Н-да, так вот оно что!

И действительно, несмотря на крайность своего положения, Петенька отнюдь не оставил присущего ему легкомыслия. И он тоже загляделся на могучую спину Евпраксеюшки и решился ей высказать это. С этой собственно целью он и в церковь не поехал, надеясь, что и Евпраксея, в качестве экономки, останется дома. И вот, когда в доме все стихло, он накинул на плечи шинель и притаился в коридоре. Прошла минута, другая,

хлопнула дверь, ведущая из сеней в девичью, и в конце коридора показалась Евпраксея, держа в руках поднос, на котором лежал теплый сдобный крендель к чаю. Но не успел еще Петенька вытянуть ее хорошенько между лопатками, не успел произнести: вот это так спина! — как дверь из столовой отворилась, и в ней показался отец.

— Ежели ты сюда пакостничать, мерзавец, приехал, так я тебя с лестницы велю сбросить! — произнес Иудушка каким-то бесконечно злым голосом.

Разумеется, Петенька в один момент стушевался.

Он не мог, однако ж, не понять, что утреннее происшествие было не из таких, чтобы благоприятно подействовать на его фонды. Поэтому он решился молчать и отложить объяснение до завтра. Но в то же время он не только ничего не делал, чтоб унять раздражение отца, но, напротив того, вел себя самым неосмотрительным и дурацким образом. Не переставая курил папироски, не обращая никакого внимания на то, что отец усиленно отмахивался от облаков дыма, которыми он наполнил комнату. Затем поминутно кидал умильно-дурацкие взоры на Евпраксеюшку, которая под влиянием их как-то

вкось улыбалась, что тоже замечал Иудушка.

День потянулся вяло. Попробовала было Арина Петровна в дураки с Евпраксеюшкой сыграть, но ничего из этого не вышло. Не игралось, не говорилось, даже пустяки как-то не шли на ум, хотя у всех были в запасе целые непочатые углы этого добра. Насилу пришел обед, но и за обедом все молчали. После обеда Арина Петровна собралась было в Погорелку, но Иудушку даже испугало это намерение доброго друга маменьки.

— Христос с вами, голубушка! — воскликнул он. — Что ж, одного, что ли, вы меня оставить хотите, с глазу на глаз с этим… дурным сыном? Нет, нет! и не думайте! не пущу!

— Да что такое? случилось, что ли, что-нибудь промежду вас! сказывай! — спросила она его.

— Нет, покамест еще ничего не случилось, но вы увидите… Нет, вы уж не оставьте меня! пусть уж при вас… Это недаром! недаром он прикатил… Так если что случится — уж вы будьте свидетельницей!

Арина Петровна покачала головой и решилась остаться.

После обеда Порфирий Владимирыч удалился спать, услав предварительно Евпраксеюшку на село к попу; Арина Петровна, отложив отъезд в

Погорелку, тоже ушла в свою комнату и, усевшись в кресло, дремала. Петенька счел это время самым благоприятным, чтоб попытать счастья у бабушки, и отправился к ней.

— Что ты? в дурачки, что ли, с старухой поиграть пришел? — встретила его Арина Петровна.

— Нет, бабушка, я к вам за делом.

— Ну, рассказывай, говори.

Петенька с минуту помялся на месте и вдруг брякнул:

— Я, бабушка, казенные деньги проиграл.

У Арины Петровны даже в глазах потемнело от неожиданности.

— И много? — спросила она перепуганным голосом, глядя на него остановившимися глазами.

— Три тысячи.

Последовала минута молчания; Арина Петровна беспокойно смотрела из стороны в сторону, точно ждала, не явится ли откуда к ней помощь.

— А ты знаешь ли, что за это и в Сибирь недолго попасть? — наконец произнесла она.

— Знаю.

— Ах, бедный ты, бедный!

— Я, бабушка, у вас хотел взаймы попросить… я хороший процент заплачу.

Арина Петровна совсем испугалась.

— Что ты, что ты! — заметалась она. — Да у меня и денег, только на гроб да на поминовенье осталось! И сыта я только по милости внучек, да вот чем у сына полакомлюсь! Нет, нет, нет! Ты уж меня оставь! Сделай милость, оставь! Знаешь что, ты бы у папеньки попросил!

— Нет, уж что! от железного попа да каменной просвиры ждать! Я, бабушка, на вас надеялся!

— Что ты! что ты! да я бы с радостью, только какие же у меня деньги! и денег у меня таких нет! А ты бы к папеньке обратился, да с лаской, да с почтением! вот, мол, папенька, так и так: виноват, мол, по молодости, проштрафился… Со смешком да с улыбочкой, да ручку поцелуй, да на коленки встань, да поплачь — он это любит, — ну и развяжет папенька мошну для милого сынка.

— А что вы думаете! сделать разве? Стойте-ка! стойте! а что, бабушка, если б вы ему сказали: коли не дашь денег — прокляну! Ведь он этого давно боится, проклятья-то вашего.

— Ну, ну, зачем проклинать! Попроси и так. Попроси, мой друг! Ведь ежели отцу и лишний разок поклонишься, так ведь голова не отвалится: отец он! Ну и он с своей стороны увидит… сделай-ка это! право!

Петенька ходит подбоченившись взад и вперед,

словно обдумывает; наконец останавливается и говорит:

— Нет уж. Все равно — не даст. Что бы я ни делал, хоть бы лоб себе разбил кланявшись — все одно не даст. Вот кабы вы проклятием пригрозили… Так как же мне быть-то, бабушка?

— Не знаю, право. Попробуй — может, и смягчишь. Как же ты это, однако ж, такую себе волю дал: легко ли дело, казенные деньги проиграл? научил тебя, что ли, кто-нибудь?

— Так вот, взял да и проиграл. Ну, коли у вас своих денег нет, так из сиротских дайте!

— Что ты? опомнись! как я могу сиротские деньги давать? Нет, уж сделай милость, уволь ты меня! не говори ты со мной об этом, ради Христа!

— Так не хотите? Жаль. А я бы хороший процент дал. Пять процентов в месяц хотите? нет? ну, через год капитал на капитал?

— И не соблазняй ты меня! — замахала на него руками Арина Петровна. — Уйди ты от меня, ради Христа! еще папенька неравно услышит, скажет, что я же тебя возмутила! Ах ты, господи! Я, старуха, отдохнуть хотела, даже задремала совсем, а он вон с каким делом пришел!

— Ну, хорошо. Я уйду. Стало быть, нельзя? Прекрасно-с. По-родственному. Из-за трех тысяч

рублей внук в Сибирь должен пойти! Напутственный-то молебен отслужить не забудьте!

Петенька хлопнул дверью и ушел. Одна из его легкомысленных надежд лопнула — что теперь предпринять? Остается одно: во всем открыться отцу. А может быть… Может быть, что-нибудь…

«Пойду сейчас и покончу разом! — говорил он себе. — Или нет! Нет, зачем же сегодня… Может быть, что-нибудь… да, впрочем, что же такое может быть? Нет, лучше завтра… Все-таки, хоть нынче день… Да, лучше завтра. Скажу — и уеду».

На том и покончил, что завтра — всему конец…

После объяснения с бабушкой вечер потянулся еще вялее. Даже Арина Петровна притихла, узнавши действительную причину приезда Петеньки. Иудушка пробовал было заигрывать с маменькой, но, видя, что она об чем-то задумывается, замолчал. Петенька тоже ничего не делал, только курил. За ужином Порфирий Владимирыч обратился к нему с вопросом:

— Да скажешь ли ты наконец, зачем ты сюда пожаловал?

— Завтра скажу, — угрюмо ответил Петенька.

* * *

Петенька встал рано после почти совсем бессонной ночи. Все та же раздвоенная мысль преследовала его — мысль, начинавшаяся надеждой: может быть, и даст! и неизменно кончавшаяся вопросом: и зачем я сюда приехал? Может быть, он не понимал своего отца, но, во всяком случае, он не знал за ним ни одного чувства, ни одной слабой струны, за которую предстояла бы возможность ухватиться и эксплуатируя которую можно было бы чего-нибудь достигнуть. Он чувствовал только одно: что в присутствии отца он находится лицом к лицу с чем-то неизъяснимым, неуловимым. Незнание, с какого конца подойти, с чего начать речь, порождало ежели не страх, то, во всяком случае, беспокойство. И так шло с самого детства. Всегда, с тех пор как он начал себя помнить, дело было поставлено так, что лучше казалось совсем отказаться от какого-нибудь предположения, нежели поставить его в зависимость от решения отца. Так было и теперь. С чего он начнет? как начнет? что скажет?.. Ах, зачем только он приехал?

Им овладела тоска. Тем не менее он понял, что впереди оставалось только несколько часов и

что, следовательно, надо же что-нибудь делать. Набравшись напускной решимости, застегнувши сюртук и пошептавши что-то на ходу, он довольно твердым шагом направился к отцовскому кабинету.

Иудушка стоял на молитве. Он был набожен и каждый день охотно посвящал молитве несколько часов. Но он молился не потому, что любил Бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с Ним, а потому, что боялся черта и надеялся, что Бог избавит его от лукавого. Он знал множество молитв и в особенности отлично изучил технику молитвенного стояния. То есть знал, когда нужно шевелить губами и закатывать глаза, когда следует складывать руки ладонями внутрь и когда держать их воздетыми, когда надлежит умиляться и когда стоять чинно, творя умеренные крестные знамения. И глаза и нос его краснели и увлажнялись в определенные минуты, на которые указывала ему молитвенная практика. Но молитва не обновляла его, не просветляла его чувства, не вносила никакого луча в его тусклое существование. Он мог молиться и проделывать все нужные телодвижения — и в то же время смотреть в окно и замечать, не идет ли кто без спросу в погреб и т. д. Это была совершен-

но особенная, частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсем независимо от общей жизненной формулы.

Когда Петенька вошел в кабинет, Порфирий Владимирыч стоял на коленях с воздетыми руками. Он не переменил своего положения, а только подрыгал одной рукой в воздухе в знак того, что еще не время. Петенька расположился в столовой, где уже был накрыт чайный прибор, и стал ждать. Эти полчаса показались ему вечностью, тем более что он был уверен, что отец заставляет его ждать нарочно. Напускная твердость, которою он вооружился, мало-помалу стала уступать место чувству досады. Сначала он сидел смирно, потом принялся ходить взад и вперед по комнате и наконец стал что-то насвистывать, вследствие чего дверь кабинета приотворилась и оттуда послышался раздраженный голос Иудушки:

— Кто хочет свистать, тот может для этого на конюшню идти!

Немного погодя Порфирий Владимирыч вышел, одетый весь в черном, в чистом белье, словно приготовленный к чему-то торжественному. Лицо у него было светлое, умиленное, дышащее смирением и радостью, как будто он сейчас только «сподобился». Он подошел к сыну, перекрестил

и поцеловал его.

— Здравствуй, друг! — сказал он.

— Здравствуйте!

— Каково почивал? постельку хорошо ли постлали? клопиков, блошек не чувствовал ли?

— Благодарю вас. Спал.

— Ну, спал — так и слава богу. У родителей только и можно слатенько поспать. Это уж я по себе знаю: как ни хорошо, бывало, устроишься в Петербурге, а никогда так сладко не уснешь, как в Головлеве. Точно вот в колыбельке тебя покачивает. Так как же мы с тобой: попьем чайку, что ли, сначала, или ты сейчас что-нибудь сказать хочешь?

— Нет, лучше теперь поговорим. Мне через шесть часов уехать надо, так, может быть, и обдумать кой-что время понадобится.

— Ну, ладно. Только я, брат, говорю прямо: никогда я не обдумываю. У меня всегда ответ готов. Коли ты правильного чего просишь — изволь! никогда я ни в чем правильном не откажу. Хоть и трудненько иногда, и не по силам, а ежели правильно — не могу отказать! Натура такая. Ну а ежели просишь неправильно — не прогневайся! Хоть и жалко тебя — а откажу! У меня, брат, вывертов нет! Я весь тут, на ладони. Ну, пойдем,

пойдем в кабинет! Ты поговоришь, а я послушаю! Послушаем, послушаем, что такое!

Когда оба вошли в кабинет, Порфирий Владимирыч оставил дверь слегка приотворенною и затем ни сам не сел, ни сына не посадил, а начал ходить взад и вперед по комнате. Словно он инстинктивно чувствовал, что дело будет щекотливое и что объясняться об таких предметах на ходу гораздо свободнее. И выражение лица скрыть удобнее, и прекратить объяснение, ежели оно примет слишком неприятный оборот, легче. А с помощью приотворенной двери и на свидетелей можно сослаться, потому что маменька с Евпраксеюшкой, наверное, не замедлят явиться к чаю в столовую.

— Я, папенька, казенные деньги проиграл, — разом и как-то тупо высказался Петенька.

Иудушка ничего не сказал. Только можно было заметить, как дрогнули у него губы. И вслед за тем он, по обыкновению, начал шептать.

— Я проиграл три тысячи, — пояснил Петенька, — и ежели послезавтра их не внесу, то могут произойти очень неприятные для меня последствия.

— Что ж, внеси! — любезно молвил Порфирий Владимирыч.

Несколько туров отец и сын сделали молча. Петенька хотел объясняться дальше, но чувствовал, что у него захватило горло.

— Откуда же я возьму деньги? — наконец выговорил он.

— Я, любезный друг, твоих источников не знаю. На какие ты источники рассчитывал, когда проигрывал в карты казенные деньги, — из тех и плати.

— Вы сами очень хорошо знаете, что в подобных случаях люди об источниках забывают!

— Ничего я, мой друг, не знаю. Я в карты никогда не игрывал — только вот разве с маменькой в дурачки сыграешь, чтоб потешить старушку. И пожалуйста, ты меня в эти грязные дела не впутывай, а пойдем-ка лучше чайку попьем. Попьем да посидим, может, и поговорим об чем-нибудь, только уж, ради Христа, не об этом.

И Иудушка направился было к двери, чтобы юркнуть в столовую, но Петенька остановил его.

— Позвольте, однако ж, — сказал он, — надобно же мне как-нибудь выйти из этого положения!

Иудушка усмехнулся и посмотрел Петеньке в лицо.

— Надо, голубчик! — согласился он.

— Так помогите же!

— А это… это уж другой вопрос. Что надобно как-нибудь выйти из этого положения — это так, это ты правду сказал. А как выйти — это уж не мое дело!

— Но почему же вы не хотите помочь?

— А потому, во-первых, что у меня нет денег для покрытия твоих дрянных дел, а во-вторых — и потому, что вообще это до меня не касается. Сам напутал — сам и выпутывайся. Любишь кататься — люби и саночки возить. Так-то, друг. Я ведь и давеча с того начал, что ежели ты просишь правильно…

— Знаю, знаю. Много у вас на языке слов…

— Постой, попридержи свои дерзости, дай мне досказать. Что это не одни слова — это я тебе сейчас докажу… Итак, я тебе давеча сказал: если ты будешь просить должного, дельного — изволь, друг! всегда готов тебя удовлетворить! Но ежели ты приходишь с просьбой не дельною — извини, брат! На дрянные дела у меня денег нет, нет и нет! И не будет — ты это знай! И не смей говорить, что это одни «слова», а понимай, что эти слова очень близко граничат с делом.

— Подумайте, однако ж, что со мной будет!

— А что Богу угодно, то и будет, — отвечал Иудушка, слегка воздевая руки и искоса поглядывая

на образ.

Отец и сын опять сделали несколько туров по комнате. Иудушка шел нехотя, словно жаловался, что сын держит его в плену. Петенька, подбоченившись, следовал за ним, кусая усы и нервно усмехаясь.

— Я — последний сын у вас, — сказал он, — не забудьте об этом!

— У Иова, мой друг, Бог и все взял, да он не роптал, а только сказал: Бог дал, Бог и взял — твори, Господи, волю свою! Так-то, брат!

— То Бог взял, а вы сами у себя отнимаете. Володя…

— Ну, ты, кажется, пошлости начинаешь говорить!

— Нет, это не пошлости, а правда… Всем известно, что Володя…

— Нет, нет, нет! Не хочу я твои пошлости слушать! Да и вообще — довольно. Что надо было высказать, то ты высказал. Я тоже ответ тебе дал. А теперь пойдем и будем чай пить. Посидим да поговорим, потом поедим, выпьем на прощанье — и с Богом. Видишь, как Бог для тебя милостив! И погодка унялась, и дорожка поглаже стала. Полегоньку да помаленьку, трюх да трюх — и не увидишь, как доплетешься до станции!

— Послушайте! наконец, я прошу вас! ежели у вас есть хоть капля чувства…

— Нет, нет, нет! не будем об этом говорить! Пойдем в столовую: маменька, поди, давно без чаю соскучилась. Не годится старушку заставлять ждать.

Иудушка сделал крутой поворот и почти бегом направился к двери.

— Хоть уходите, хоть не уходите, я этого разговора не оставлю! — крикнул ему вслед Петенька. — Хуже будет, как при свидетелях начнем разговаривать!

Иудушка воротился назад и встал прямо против сына.

— Что тебе от меня, негодяй, нужно… сказывай! — спросил он взволнованным голосом.

— Мне нужно, чтоб вы заплатили те деньги, которые я проиграл.

— Никогда!!

— Так это ваше последнее слово?

— Видишь? — торжественно воскликнул Иудушка, указывая пальцем на образ, висевший в углу. — Это видишь? Это папенькино благословение… Так вот я при нем тебе говорю: никогда!!

И он решительным шагом вышел из кабинета.

— Убийца! — пронеслось вдогонку ему.

* * *

Арина Петровна сидит уже за столом, и Евпраксеюшка делает все приготовления к чаю. Старуха задумчива, молчалива и даже как будто стыдится Петеньки. Иудушка, по обычаю, подходит к ее ручке, и, по обычаю же, она машинально крестит его. Потом, по обычаю, идут вопросы, все ли здоровы, хорошо ли почивали, на что следуют обычные односложные ответы.

Уже накануне вечером она была скучна. С тех пор как Петенька попросил у нее денег и разбудил в ней воспоминание о «проклятии», она вдруг впала в какое-то загадочное беспокойство, и ее неотступно начала преследовать мысль: а что, ежели прокляну? Узнавши утром, что в кабинете началось объяснение, она обратилась к Евпраксеюшке с просьбой:

— Поди-ка, сударка, подслушай потихоньку у дверей, что они там говорят!

Но Евпраксеюшка хотя и подслушала, но была настолько глупа, что ничего не поняла.

— Так, промежду себя разговаривают! Не очень кричат! — объяснила она, возвратившись.

Тогда Арина Петровна не вытерпела и сама отправилась в столовую, куда тем временем и

самовар был уже подан. Но объяснение уж приходило к концу; слышала она только, что Петенька возвышает голос, а Порфирий Владимирыч словно зудит в ответ.

«Зудит! именно зудит! — вертелось у нее в голове, — вот и тогда он так же зудел! и как это я в то время не поняла!»

Наконец оба, и отец и сын, появились в столовую. Петенька был красен и тяжело дышал; глаза у него смотрели широко, волосы на голове растрепались, лоб был усеян мелкими каплями пота. Напротив, Иудушка вошел бледный и злой; хотел казаться равнодушным, но, несмотря на все усилия, нижняя губа его дрожала. Насилу мог он выговорить обычное утреннее приветствие милому другу маменьке.

Все заняли свои места вокруг стола; Петенька сел несколько поодаль, отвалился на спинку стула, положил ногу на ногу и, закуривая папироску, иронически посматривал на отца.

— Вот, маменька, и погодка у нас унялась, — начал Иудушка, — какое вчера смятение было, ан Богу стоило только захотеть — вот у нас тишь да гладь да божья благодать! так ли, друг мой?

— Не знаю; не выходила я из дому сегодня.

— А мы кстати дорогого гостя провожаем, —

продолжал Иудушка, — я давеча еще где-где встал, посмотрел в окно — ан на дворе тихо да спокойно, точно вот ангел Божий пролетел и в одну минуту своим крылом все это возмущение усмирил!

Но никто даже не ответил на ласковые Иудушкины слова; Евпраксеюшка шумно пила с блюдечка чай, дуя и отфыркиваясь; Арина Петровна смотрела в чашку и молчала; Петенька, раскачиваясь на стуле, продолжал посматривать на отца с таким иронически вызывающим видом, точно вот ему больших усилий стоит, чтоб не прыснуть со смеха.

— Теперича, ежели Петенька и не шибко поедет, — опять начал Порфирий Владимирыч, — и тут к вечеру легко до станции железной дороги поспеет. Лошади у нас свои, не мученные, часика два в Муравьеве покормят — мигом домчат. А там — фиюю! пошла машина погромыхивать! Ах, Петька! Петька! недобрый ты! остался бы ты здесь с нами, погостил бы — право! И нам было бы веселее, да и ты бы — смотри, как бы ты здесь в одну неделю поправился!

Но Петенька все продолжает раскачиваться на стуле и посматривать на отца.

— Ты что на меня все смотришь? — закипает

наконец Иудушка. — Узоры, что ли, видишь?



— Смотрю, жду, что еще от вас будет!

— Ничего, брат, не высмотришь! как сказано, так и будет. Я своего слова не изменю!

Наступает минута молчания, в продолжение которой явственно раздается шепот:

— Иудушка!

Порфирий Владимирыч несомненно слышал эту апострофу (он даже побледнел), но делает вид, что восклицание до него не относится.

— Ах, детки, детки! — говорит он. — И жаль вас, и хотелось бы приласкать да приголубить вас, да, видно, нечего делать — не судьба! Сами вы от родителей бежите, свои у вас завелись друзья-приятели, которые дороже для вас и отца с матерью. Ну, и нечего делать! Подумаешь-подумаешь — и покоришься. Люди вы молодые, а молодому, известно, приятнее с молодым побыть, чем со стариком-ворчуном! Вот и смиряешь себя, и не ропщешь; только и просишь Отца Небесного: твори, Господи, волю свою!

— Убийца! — вновь шепчет Петенька, но уже так явственно, что Арина Петровна со страхом смотрит на него. Перед глазами ее что-то вдруг пронеслось, словно тень Степки-балбеса.

— Ты про кого это говоришь? — спрашивает Иудушка, весь дрожа от волнения.

— Так, про одного знакомого.

— То-то! так ты так и говори! Ведь Бог знает, что у тебя на уме: может быть, ты из присутствующих кого-нибудь так честишь!

Все смолкают; стаканы с чаем стоят нетронутыми. Иудушка тоже откидывается на спинку стула и нервно покачивается. Петенька, видя, что всякая надежда потеряна, ощущает что-то вроде предсмертной тоски и под влиянием ее готов идти до крайних пределов. И отец и сын с какою-то неизъяснимою улыбкой смотрят друг другу в глаза. Как ни вышколил себя Порфирий Владимирыч, но близится минута, когда и он не в состоянии будет сдерживаться.

— Ты бы лучше за добра ума уехал! — наконец высказывается он. — Да!

— И то уеду.

— Чего ждать-то! Я вижу, что ты на ссору лезешь, а я ни с кем ссориться не хочу. Живем мы здесь тихо да смирно, без ссор да без свар — вот бабушка-старушка здесь сидит, хоть бы ее ты посовестился! Ну, зачем ты к нам приехал?

— Я вам говорил зачем.

— А коли затем только, так напрасно трудился. Уезжай, брат! Эй, кто там? велите-ка для молодого барина кибитку закладывать. Да цыпленочка

жареного, да икорки, да еще там чего-нибудь… яичек, что ли… в бумажку заверните. На станции, брат, и закусишь, покуда лошадей подкормят. С Богом!

— Нет! я еще не поеду. Я еще в церковь пойду, попрошу панихиду по убиенном рабе Божием, Владимире, отслужить.

— По самоубийце, то есть…

— Нет, по убиенном.

Отец и сын смотрят друг на друга во все глаза. Так и кажется, что оба сейчас вскочат. Но Иудушка делает над собой нечеловеческое усилие и оборачивается со стулом лицом к столу.

— Удивительно, — говорит он надорванным голосом, — у-ди-ви-тель-но!

— Да, по убиенном! — грубо настаивает Петенька.

— Кто же его убил? — любопытствует Иудушка, по-видимому все-таки надеясь, что сын опомнится.

Но Петенька, нимало не смущаясь, выпаливает как из пушки:

— Вы!!

— Я?!

Порфирий Владимирыч не может прийти в себя от изумления. Он торопливо поднимается

со стула, обращается лицом к образу и начинает молиться.

— Вы! вы! вы! — повторяет Петенька.

— Ну вот! ну, слава богу! вот теперь полегче стало, как помолился! — говорит Иудушка, вновь присаживаясь к столу. — Ну, постой! погоди! хоть мне, как отцу, можно было бы и не входить с тобой в объяснения, — ну да уж пусть будет так! Стало быть, по-твоему, я убил Володеньку?

— Да, вы!

— А по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в Головлеве, а он — в Петербурге. При чем же я тут мог быть? как мог я его за семьсот верст убить?

— Уж будто вы и не понимаете?

— Не понимаю… видит Бог, не понимаю!

— А кто Володю без копейки оставил? кто ему жалованье прекратил? кто?

— Те-те-те! так зачем он женился против желанья отца?

— Да ведь вы же позволили?

— Кто? я? Христос с тобой! Никогда я не позволял! Нникогда!

— Ну да, то есть вы и тут по своему обыкновению поступили. У вас ведь каждое слово десять значений имеет; поди угадывай!

— Никогда я не позволял! Он мне в то время написал: хочу, папа, жениться на Лидочке. Понимаешь: «хочу», а не «прошу позволения». Ну и я ему ответил: коли *хочешь* жениться, так женись, я препятствовать не могу! Только всего и было.

— Только всего и было, — поддразнивает Петенька, — а разве это не позволение?

— То-то, что нет. Я что сказал? я сказал: не могу препятствовать — только и всего. А позволяю или не позволяю — это другой вопрос. Он у меня позволения и не просил, он прямо написал: *хочу,* папа, жениться на Лидочке, — ну и я насчет позволения умолчал. *Хочешь* жениться — ну и Христос с тобой! женись, мой друг, хоть на Лидочке, хоть на разлидочке — я препятствовать не могу!

— А только без куска хлеба оставить можете. Так вы бы так и писали: не нравится, дескать, мне твое намерение, а потому, хоть я тебе не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтоб ты больше не рассчитывал на денежную помощь от меня. По крайней мере, тогда было бы ясно.

— Нет, этого я никогда не позволю себе сделать! Чтоб я стал употреблять в дело угрозы совершеннолетнему сыну — никогда!! У меня такое правило, что я никому не препятствую! Захотел жениться — женись! Ну а насчет по-

следствий — не погневайся! Сам должен был предусматривать — на то и ум тебе от Бога дан. А я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь. И не только сам не вмешиваюсь, да не прошу, чтоб и другие в мои дела вмешивались. Да, не прошу, не прошу, не прошу и даже… запрещаю! Слышишь ли, дурной, непочтительный сын, — за-пре-щаю!

— Запрещайте, пожалуй! всем ртов не замажете!

— И хоть бы он раскаялся! хоть бы он понял, что отца обидел! Ну сделал пошлость — ну и раскайся! Попроси прощения! простите, мол, душенька папенька, что вас огорчил! А то на-тко!

— Да ведь он писал вам; он объяснял, что ему жить нечем, что дольше ему терпеть нет сил…

— С отцом не объясняются-с. У отца прощения просят — вот и все.

— И это было. Он так был измучен, что и прощенья просил. Все было, все!

— А хоть бы и так — опять-таки он не прав. Попросил раз прощенья, видит, что папа не прощает, — и в другой раз попроси!

— Ах, вы!

Сказавши это, Петенька вдруг перестает качаться на стуле, оборачивается к столу и облокачивается на него обеими руками.

— Вот и я… — чуть слышно произносит он.

Лицо его постепенно искажается.

— Вот и я… — повторяет он, разражаясь истерическими рыданиями.

— А кто ж вино…

Но Иудушке не удалось покончить свое поучение, ибо в эту самую минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Во время описанной сейчас перестрелки об Арине Петровне словно позабыли. Но она отнюдь не оставалась равнодушной зрительницей этой семейной сцены. Напротив того, с первого же взгляда можно было заподозрить, что в ней происходит что-то не совсем обыкновенное и что, может быть, настала минута, когда перед умственным ее оком предстали во всей полноте и наготе итоги ее собственной жизни. Лицо ее оживилось, глаза расширились и блестели, губы шевелились, как будто хотели сказать какое-то слово — и не могли. И вдруг, в ту самую минуту, когда Петенька огласил столовую рыданиями, она грузно поднялась с своего кресла, протянула вперед руку, и из груди ее вырвался вопль:

— Прро-кли-ннааааю!

Племяннушка

Иудушка так-таки и не дал Петеньке денег, хотя, как добрый отец, приказал в минуту отъезда положить ему в повозку и курочки, и телятинки, и пирожок. Затем он, несмотря на стужу и ветер, самолично вышел на крыльцо проводить сына, справился, ловко ли ему сидеть, хорошо ли он закутал себе ноги, и, возвратившись в дом, долго крестил окно в столовой, посылая заочное напутствие повозке, увозившей Петеньку. Словом, весь обряд выполнил как следует, по-родственному.

— Ах, Петька, Петька, — говорил он, — дурной ты сын! нехороший! Ведь вот что набедокурил… ах-ах-ах! И что бы, кажется, жить потихоньку да полегоньку, смирненько да ладненько, с папкой да бабушкой-старушкой — так нет! Фу-ты! ну-ты! У нас свой царь в голове есть! своим умом проживем! Вот и ум твой! Ах, горе какое вышло!

Но ни один мускул при этом не дрогнул на его деревянном лице, ни одна нота в его голосе не прозвучала чем-нибудь похожим на призыв блудному сыну. Да, впрочем, никто и не слыхал его слов, потому что в комнате находилась одна Арина Петровна, которая под влиянием только

что испытанного потрясения как-то разом потеряла всякую жизненную энергию и сидела за самоваром, раскрыв рот, ничего не слыша и без всякой мысли глядя вперед.

Затем жизнь потекла по-прежнему, исполненная праздной суеты и бесконечного пустословия…

Вопреки ожиданиям Петеньки, Порфирий Владимирыч вынес материнское проклятие довольно спокойно и ни на волос не отступил от тех решений, которые, так сказать, всегда готовые сидели в его голове. Правда, он слегка побледнел и бросился к матери с криком:

— Маменька! душенька! Христос с вами! успокойтесь, голубушка! Бог милостив! все устроится!

Но слова эти были скорее выражением тревоги за мать, нежели за себя. Выходка Арины Петровны была так внезапна, что Иудушка не догадался даже притвориться испуганным. Еще накануне маменька была к нему милостива, шутила, играла с Евпраксеюшкой в дурачки — очевидно, стало быть, что ей только что-нибудь на минуту помстилось, а преднамеренного, «настоящего» не было ничего. Действительно, он очень боялся маменькинова проклятия, но представлял его се-

бе совершенно иначе. В праздном его уме на этот случай целая обстановка сложилась: образа, зажженные свечи, маменька стоит среди комнаты, страшная, с почерневшим лицом… и проклинает! Потом: гром, свечи потухли, завеса разодралась, тьма покрыла землю, а вверху, среди туч, виднеется разгневанный лик Иеговы, освещенный молниями. Но так как ничего подобного не случилось, то значит, что маменька просто сблажила, показалось ей что-нибудь — и больше ничего. Да и не с чего было ей «настоящим образом» проклинать, потому что в последнее время у них не было даже предлогов для столкновения. С тех пор как он заявил сомнение насчет принадлежности маменьке тарантаса (Иудушка соглашался внутренно, что *тогда* он был виноват и заслуживал проклятия), воды утекло много; Арина Петровна смирилась, а Порфирий Владимирыч только и думал об том, как бы успокоить доброго друга маменьку.

«Плоха старушка, ах как плоха! временем даже забываться уж начала! — утешал он себя. — Сядет, голубушка, в дураки играть — смотришь, ан она дремлет!»

Справедливость требует сказать, что ветхость Арины Петровны даже тревожила его. Он еще

не приготовился к утрате, ничего не обдумал, не успел сделать надлежащие выкладки: сколько было у маменьки капитала при отъезде из Дубровина, сколько капитал этот мог приносить в год доходу, сколько она могла из этого дохода тратить и сколько присовокупить. Словом сказать, не проделал еще целой массы пустяков, без которых он всегда чувствовал себя застигнутым врасплох.

«Старушка крепóнька, — мечталось ему иногда, — не проживет она *всего* — где прожить! В то время, как она нас отделяла, хороший у нее капитал был! Разве сироткам чего не передала ли — да нет, и сироткам не много даст! Есть у старушки деньги, есть!»

Но мечтания эти покуда еще не представляли ничего серьезного и улетучивались, не задерживаясь в его мозгу. Масса обыденных пустяков и без того была слишком громадна, чтоб увеличивать ее еще новыми, в которых покамест не настояло насущной потребности. Порфирий Владимирыч все откладывал да откладывал и только после внезапной сцены проклятия спохватился, что пора начинать.

Катастрофа наступила, впрочем, скорее, нежели он предполагал. На другой день после отъезда

Петеньки Арина Петровна уехала в Погорелку и уже не возвращалась в Головлево. С месяц она провела в совершенном уединении, не выходя из комнаты и редко-редко позволяя себе промолвить слово даже с прислугою. Вставши утром, она по привычке садилась к письменному столу, по привычке же начинала раскладывать карты, но никогда почти не доканчивала и словно застывала на месте с вперенными в окно глазами. Что она думала и даже думала ли об чем-нибудь — этого не разгадал бы самый проницательный знаток сокровеннейших тайн человеческого сердца. Казалось, она хотела что-то вспомнить, хоть, например, то, каким образом она очутилась здесь, в этих стенах, и — не могла. Встревоженная ее молчанием, Афимьюшка заглядывала в комнату, поправляла в кресле подушки, которыми она была обложена, пробовала заговорить об чем-нибудь, но получала только односложные и нетерпеливые ответы. Раза с два в течение этого времени приезжал в Погорелку Порфирий Владимирыч, звал маменьку в Головлево, пытался распалить ее воображение представлением об рыжичках, карасиках и прочих головлевских соблазнах, но она только загадочно улыбалась на его предложения.

Одним утром она, по обыкновению, собралась встать с постели и не могла. Она не ощущала никакой особенной боли, ни на что не жаловалась, а просто не могла встать. Ее даже не встревожило это обстоятельство, как будто оно было в порядке вещей. Вчера сидела еще у стола, была в силах бродить — нынче лежит в постели, «неможется». Ей даже покойнее чувствовалось. Но Афимьюшка всполошилась и, потихоньку от барыни, послала гонца к Порфирию Владимирычу.

Иудушка приехал рано утром на другой день; Арине Петровне было уж значительно хуже. Обстоятельно расспросил он прислугу, что маменька кушала, не позволила ли себе чего лишненького, но получил ответ, что Арина Петровна уже с месяц почти ничего не ест, со вчерашнего дня и вовсе отказалась от пищи. Потужил Иудушка, помахал руками и, как добрый сын, прежде чем войти к матери, погрелся в девичьей у печки, чтоб не охватило больную холодным воздухом. И, кстати (у него насчет покойников какой-то дьявольский нюх был), тут же начал распоряжаться. Расспросил насчет попа, дома ли он, чтоб, в случае надобности, можно было сейчас же за ним послать, справился, где стоит маменькин ящик с бумагами, заперт ли он, и, успокоившись

насчет существенного, призвал кухарку и велел приготовить обедать для себя.

— Мне немного надо! — говорил он. — Курочка есть? — ну, сущцу из курочки сварите! Может быть, солонинка есть — солонинки кусочек приготовьте! Жарковца какого-нибудь… вот я и сыт!

Арина Петровна лежала, распростершись навзничь на постели, с раскрытым ртом и тяжело дыша. Глаза ее смотрели широко; одна рука выбилась из-под заячьего одеяла и застыла в воздухе. Очевидно, она прислушивалась к шороху, который произвел приезд сына, а может быть, до нее долетали и самые приказания, отдаваемые Иудушкой. Благодаря опущенным шторам в комнате царствовали сумерки. Светильни догорали на дне лампадок, и слышно было, как они трещали от прикосновения с водою. Воздух был тяжел и смраден; духота от жарко натопленных печей, от чада, распространяемого лампадками, и от миазмов стояла невыносимая. Порфирий Владимирыч, в валеных сапогах, словно змей, проскользнул к постели матери; длинная и сухощавая его фигура загадочно колебалась, охваченная сумерками. Арина Петровна следила за ним не то испуганными, не то удивленными глазами и жалась под одеялом.

— Это я, маменька, — сказал он, — что это как вы развинтились сегодня! ах-ах-ах! То́-то мне нынче не спалось; всю ночь вот так и поталкивало: дай, думаю, проведаю, как-то погорелковские друзья поживают! Утром сегодня встал, сейчас это кибиточку, парочку лошадушек — и вот он-он!

Порфирий Владимирыч любезно хихикнул, но Арина Петровна не отвечала и все больше и больше жалась под одеялом.

— Ну, Бог милостив, маменька! — продолжал Иудушка. — Главное, в обиду себя не давайте! Плюньте на хворость, встаньте с постельки да пройдитесь молодцом по комнате! вот так!

Порфирий Владимирыч встал со стула и показал, как молодцы прохаживаются по комнате.

— Да постойте, дайте-ка я шторку подниму да посмотрю на вас! Э! да вы молодец молодцом, голубушка! Стоит только подбодриться, да Богу помолиться, да прифрантиться — хоть сейчас на бал! Дайте-ка, вот я вам святой водицы богоявленской привез, откушайте-ка!

Порфирий Владимирыч вынул из кармана пузырек, отыскал на столе рюмку, налил и поднес больной. Арина Петровна сделала было движение, чтоб поднять голову, но не могла.

— Сирот бы… — простонала она.

— Ну вот, уж и сиротки понадобились! Ах, маменька, маменька! Как это вы вдруг… на-тко! Капельку прихворнули — и уж духом упали! Все будет! и к сироткам эстафету пошлем, и Петьку из Питера выпишем — все чередом сделаем! Не к спеху ведь; мы с вами еще поживем! да еще как поживем-то! Вот лето настанет — в лес по грибы вместе пойдем: по малину, по ягоду, по черну смородину! А не то — так в Дубровино карасей ловить поедем! Запряжем старика-савраску в длинные дроги, потихоньку да полегоньку, трюх-трюх, сядем и поедем!

— Сирот бы… — повторила Арина Петровна тоскливо.

— Приедут и сиротки. Дайте срок — всех скличем, все приедем. Приедем да кругом вас и обсядем. Вы будете наседка, а мы цыплятки… цып-цып-цып! Все будет, коли вы будете паинька. А вот за это вы уж не паинька, что хворать вздумали. Ведь вот вы что, проказница, затеяли… ах-ах-ах! чем бы другим пример подавать, а вы вот как! Нехорошо, голубушка! ах, нехорошо!

Но как ни старался Порфирий Владимирыч и шуточками и прибауточками подбодрить милого друга маменьку, силы ее падали с каждым часом. Послали в город нарочного за лекарем, и так как

больная продолжала тосковать и звать сироток, то Иудушка собственноручно написал Аннинькe и Любиньке письмо, в котором сравнивал их поведение с своим, себя называл христианином, а их — неблагодарными. Ночью лекарь приехал, но было уже поздно. Арину Петровну, как говорится, в один день «сварило». Часу в четвертом ночи началась агония, а в шесть часов утра Порфирий Владимирыч стоял на коленах у постели матери и вопил:

— Маменька! друг мой! благословите!

Но Арина Петровна не слыхала. Открытые глаза ее тускло смотрели в пространство, словно она старалась что-то понять и не понимала.

Иудушка тоже не понимал. Он не понимал, что открывавшаяся перед его глазами могила уносила последнюю связь его с живым миром, последнее живое существо, с которым он мог делить прах, наполнявший его. И что отныне этот прах, не находя истока, будет накопляться в нем до тех пор, пока окончательно не задушит его.

С обычною суетливостью окунулся он в бездну мелочей, сопровождающих похоронный обряд. Служил панихиды, заказывал сорокоусты, толковал с попом, шаркал ногами, переходя из комнаты в комнату, заглядывал в столовую, где

лежала покойница, крестился, воздевал глаза к небу, вставал по ночам, неслышно подходил к двери, вслушивался в монотонное чтение псаломщика и проч. Причем был приятно удивлен, что даже особенных издержек для него по этому случаю не предстояло, потому что Арина Петровна еще при жизни отложила сумму на похороны, расписав очень подробно, сколько и куда следует употребить.

Схоронивши мать, Порфирий Владимирыч немедленно занялся приведением в известность ее дел. Разбирая бумаги, он нашел до десяти разных завещаний (в одном из них она называла его «непочтительным»); но все они были писаны еще в то время, когда Арина Петровна была властною барыней, и лежали неоформленными, в виде проектов. Поэтому Иудушка остался очень доволен, что ему не привелось даже покривить душой, объявляя себя единственным законным наследником оставшегося после матери имущества. Имущество это состояло из капитала в пятнадцать тысяч рублей и из скудной движимости, в числе которой был и знаменитый тарантас, едва не послуживший яблоком раздора между матерью и сыном. Арина Петровна тщательно отделяла свои счеты от опекунских, так что сра-

зу можно было видеть, что́ принадлежит ей и что́ — сироткам. Иудушка немедленно заявил себя где следует наследником, опечатал бумаги, относящиеся до опеки, роздал прислуге скудный гардероб матери; тарантас и двух коров, которые, по описи Арины Петровны, значились под рубрикой «мои», отправил в Головлево и затем, отслуживши последнюю панихиду, отправился восвояси.

— Ждите владелиц, — говорил он людям, собравшимся в сенях, чтоб проводить его, — приедут — милости просим! не приедут — как хотят! Я, с своей стороны, все сделал; счеты по опеке привел в порядок, ничего не скрыл, не утаил — все у всех на глазах делал. Капитал, который после маменьки остался, принадлежит мне — по закону; тарантас и две коровы, которые я в Головлево отправил, — тоже мои, по закону. Может быть, даже кой-что из моего *здесь* осталось — ну да бог с ним! сироткам и Бог велел подавать! Жаль маменьку! добрая была старушка! пе́чная! Вот и об вас, об прислуге, позаботилась, гардероб свой вам оставила! Ах, маменька, маменька! нехорошо вы это, голубушка, сделали, что нас сиротами покинули! Ну, да уж если так Богу угодно, то и мы святой его воле покоряться должны! Только бы вашей душе

было хорошо, а об нас… что уж об нас думать!

За первой могилой скоро последовала и другая.

К истории сына Порфирий Владимирыч отнесся довольно загадочно. Газет он не получал, ни с кем в переписке не состоял и потому сведений о процессе, в котором фигурировал Петенька, ниоткуда иметь не мог. Да вряд ли он и желал что-нибудь знать об этом предмете. Вообще это был человек, который пуще всего сторонился от всяких тревог, который по уши погряз в тину мелочей самого паскудного самосохранения и которого существование, вследствие этого, нигде и ни на чем не оставило после себя следов. Таких людей довольно на свете, и все они живут особняком, не умея и не желая к чему-нибудь приютиться, не зная, что ожидает их в следующую минуту, и лопаясь под конец, как лопаются дождевые пузыри. Нет у них дружеских связей, потому что для дружества необходимо существование общих интересов; нет и деловых связей, потому что даже в мертвом деле бюрократизма они выказывают какую-то уж совершенно нестерпимую мертвенность. Тридцать лет сряду Порфирий Владимирыч толкался и мелькал в департаменте; потом в одно прекрасное утро

исчез — и никто не заметил этого. Поэтому он узнал об участи, постигшей сына, последний, когда весть об этом распространилась уже между дворовыми. Но и тут притворился, что ничего не знает, так что когда Евпраксеюшка заикнулась однажды упомянуть об Петеньке, то Иудушка замахал на нее руками и сказал:

— Нет, нет, нет! и не знаю, и не слыхал, и слышать не хочу! Не хочу я его грязных дел знать!

Но наконец узнать все-таки привелось. Пришло от Петеньки письмо, в котором он уведомлял о своем предстоящем отъезде в одну из дальних губерний и спрашивал, будет ли папенька высылать ему содержание в новом его положении. Весь день после этого Порфирий Владимирыч находился в видимом недоумении, сновал из комнаты в комнату, заглядывал в образную, крестился и охал. К вечеру, однако ж, собрался с духом и написал:

«Преступный сын Петр!

Как верный подданный, обязанный чтить законы, я не должен был бы даже отвечать на твое письмо. Но как отец, причастный человеческим слабостям, не могу, из чувства сострадания, отказать в благом совете детищу, ввергнувшему себя, по собственной вине, в пучину зол. Итак,

вот вкратце мое мнение по сему предмету. Наказание, коему ты подвергся, тяжко, но вполне тобою заслужено — такова первая и самая главная мысль, которая отныне всегда должна тебе в твоей новой жизни сопутствовать. А все остальные прихоти и даже воспоминания об оных ты должен оставить, ибо в твоем положении все сие может только раздражать и побуждать к ропоту. Ты уже вкусил от горьких плодов высокоумия, попробуй же вкусить и от плодов смирения, тем более что ничего другого для тебя в будущем не предстоит. Не ропщи на наказание, ибо начальство даже не наказывает тебя, но преподает лишь средства к исправлению. Благодарить за сие и стараться загладить содеянное — вот об чем тебе непрестанно думать надлежит, а не о роскошном препровождении времени, коего, впрочем, я и сам, никогда не быв под судом, не имею. Последуй же сему совету благоразумия и возродись для новой жизни, возродись совершенно, довольствуясь тем, что начальство, по милости своей, сочтет нужным тебе назначить. А я, с своей стороны, буду неустанно молить подателя всех благ о ниспослании тебе твердости и смирения, и даже в сей самый день, как пишу сии строки, был в церкви и воссылал о сем горячие мольбы. Затем

благословляю тебя на новый путь и остаюсь

негодующий, но все еще любящий отец твой Порфирий Головлев».

Неизвестно, дошло ли до Петеньки это письмо; но не дальше как через месяц после его отсылки Порфирий Владимирыч получил официальное уведомление, что сын его, не доехавши до места ссылки, слег в одном из попутных городков в больницу и умер.

Иудушка очутился один, но сгоряча все-таки еще не понял, что с этой новой утратой он уже окончательно пущен в пространство, лицом к лицу с одним своим пустословием. Это случилось вскоре после смерти Арины Петровны, когда он был весь поглощен в счеты и выкладки. Он перечитывал бумаги покойной, усчитывал всякий грош, отыскивал связь этого гроша с опекунскими грошами, не желая, как он говорил, ни себе присвоить чужого, ни своего упустить. Среди этой сутолоки ему даже не представлялся вопрос, для чего он все это делает и кто воспользуется плодами его суеты? С утра до вечера корпел он за письменным столом, критикуя распоряжения покойной и даже фантазируя, так что за хлопотами мало-помалу запустил и счеты по собственному хозяйству.

И все в доме стихло. Прислуга, и прежде предпочитавшая ютиться в людских, почти совсем бросила дом, а являясь в господские комнаты, ходила на цыпочках и говорила шепотом. Чувствовалось что-то выморочное и в этом доме, и в этом человеке, что-то такое, что наводит невольный и суеверный страх. Сумеркам, которые и без того окутывали Иудушку, предстояло сгущаться с каждым днем все больше и больше.

* * *

Потом, когда спектакли прекратились, приехала в Головлево Аннинька и объявила, что Любинька не могла ехать вместе с нею, потому что еще раньше законтрактовалась на весь Великий пост и вследствие этого отправилась в Ромны, Изюм, Кременчуг и проч., где ей предстояло давать концерты и пропеть весь каскадный репертуар.

В течение короткой артистической карьеры Аннинька значительно выровнялась. Это была уже не прежняя наивная, малокровная и несколько вялая девушка, которая в Дубровине и в Погорелке, неуклюже покачиваясь и потихоньку попевая, ходила из комнаты в комнату, словно не зная, где найти себе место. Нет, это была девица

вполне определившаяся, с резкими и даже развязными манерами, по первому взгляду на которую можно было без ошибки заключить, что она за словом в карман не полезет. Наружность ее тоже изменилась и довольно приятно поразила Порфирия Владимирыча. Перед ним явилась рослая и статная женщина, с красивым румяным лицом, с высокою, хорошо развитою грудью, с серыми глазами навыкате и с отличнейшей пепельной косой, которая тяжело опускалась на затылок, — женщина, которая, по-видимому, проникнута была сознанием, что она-то и есть та самая «Прекрасная Елена», по которой суждено вздыхать господам офицерам. Ранним утром приехала она в Головлево и тотчас же уединилась в особенную комнату, откуда явилась в столовую к чаю в великолепном шелковом платье, шумя треном и очень искусно маневрируя им среди стульев. Иудушка хотя и любил своего Бога паче всего, но это не мешало ему иметь вкус к красивым, а в особенности к крупным женщинам. Поэтому он сначала перекрестил Анниньку, потом как-то особенно отчетливо поцеловал ее в обе щеки и при этом так странно скосил глаза на ее грудь, что Аннинька чуть заметно улыбнулась.

Сели за чай; Аннинька подняла обе руки кверху

и потянулась.

— Ах, дядя, как у вас скучно здесь! — начала она, слегка позевывая.

— Вот-на! не успела повернуться — уж и скучно показалось! А ты поживи с нами — тогда и увидим: может, и весело покажется! — ответил Порфирий Владимирыч, которого глаза вдруг подернулись масленым отблеском.

— Нет, неинтересно! Что у вас тут? Снег кругом, соседей нет… Полк, кажется, у вас здесь стоит?

— И полк стоит, и соседи есть, да, признаться, меня это не интересует. А впрочем, ежели…

Порфирий Владимирыч взглянул на нее, но не докончил, а только крякнул. Может быть, он и с намерением остановился, хотел раззадорить ее женское любопытство; во всяком случае, прежняя, едва заметная улыбка вновь скользнула на ее лице. Она облокотилась на стол и довольно пристально взглянула на Евпраксеюшку, которая, вся раскрасневшись, перетирала стаканы и тоже исподлобья взглядывала на нее своими большими, мутными глазами.

— Это моя новая экономка… усердная! — молвил Порфирий Владимирыч.

Аннинька чуть заметно кивнула головой и потихоньку замурлыкала: ah! ah! que j'aime…

que j'aime… les mili-mili-mili-taires![122] — причем поясница ее как-то сама собой вздрагивала. Воцарилось молчание, в продолжение которого Иудушка, смиренно опустив глаза, помаленьку прихлебывал чай из стакана.

— Скука! — опять зевнула Аннинька.

— Скука да скука! заладила одно! Вот погоди, поживи… Ужó велим саночки заложить — катайся, сколько душе угодно.

— Дядя! отчего вы в гусары не пошли?

— А оттого, мой друг, что всякому человеку свой предел от Бога положен. Одному — в гусарах служить, другому — в чиновниках быть, третьему — торговать, четвертому…

— Ах да! четвертому, пятому, шестому… я и забыла! И все это Бог распределяет… так ведь?

— Что ж, и Бог! над этим, мой друг, смеяться нечего! Ты знаешь ли, чтó в Писании-то сказано: без воли Божьей…

— Это насчет вóлоса? — знаю и это! Но вот беда: нынче все шиньоны носят, а это, кажется, не предусмотрено! Кстати: посмотрите-ка, дядя, какая у меня чудесная коса… Не правда ли, хороша?

---

[122] Notes: 122
Ах! ах! как я люблю… как я люблю вое… вое… военных! *(фр.)*

Порфирий Владимирыч приблизился (почему-то на цыпочках) и подержал косу в руке. Евпраксеюшка тоже потянулась вперед, не выпуская из рук блюдечка с чаем, и сквозь стиснутый в зубах сахар процедила:

— Шильон, чай?

— Нет, не шиньон, а собственные мои волосы. Я когда-нибудь их перед вами распущу, дядя!

— Да, хороша коса, — похвалил Иудушка и как-то погано распустил при этом губы; но потом спохватился, что, по-настоящему, от подобных соблазнов надобно отплевываться, и присовокупил: — Ах, егоза! егоза! все у тебя косы да шлейфы на уме, а об настоящем-то, об главном-то и не догадаешься спросить?

— Да, об бабушке… Ведь она умерла?

— Скончалась, мой друг! и как еще скончалась-то! Мирно, тихо, никто и не слыхал! Вот уж именно непостыдныя кончины живота своего удостоилась! Обо всех вспомнила, всех благословила, призвала священника, причастилась… И так это вдруг спокойно, так спокойно ей сделалось! Даже сама, голубушка, это высказала: что это, говорит, как мне вдруг хорошо! И представь себе: только что она это высказала — вдруг начала вздыхать! Вздохнула раз, другой, тре-

тий — смотрим, ее уж и нет!

Иудушка встал, поворотился лицом к образу, сложил руки ладонями внутрь и помолился. Даже слезы у него на глазах выступили: так хорошо он солгал! Но Аннинька, по-видимому, была не из чувствительных. Правда, она задумалась на минуту, но совсем по другому поводу.

— А помните, дядя, — сказала она, — как она меня с сестрой, маленьких, кислым молоком кормила? Не в последнее время… в последнее время она отличная была… а тогда, когда она еще богата была?

— Ну-ну, что́ старое поминать! Кислым молоком кормили, а вишь какую, бог с тобой, выпоили! На могилку-то поедешь, что ли?

— Поедем, пожалуй!

— Только знаешь ли что! ты бы сначала очистилась!

— Как это… очистилась?

— Ну, все-таки… актриса… ты думаешь, бабушке это легко было? Так прежде, чем на могилку-то ехать, обеденку бы тебе отстоять, очиститься бы! Вот я завтра пораньше велю отслужить, а потом и с Богом!

Как ни нелепо было Иудушкино предложение, но Аннинька все-таки на минуту смешалась. Но

вслед за тем она сдвинула сердито брови и резко сказала:

— Нет, я так… я сейчас пойду!

— Не знаю, как хочешь! а мой совет такой: отстояли бы завтра обеденку, напились бы чайку, приказали бы пару лошадушек в кибиточку заложить и покатили бы вместе. И ты бы очистилась, и бабушкиной бы душе…

— Ах, дядя, какой вы, однако, глупенький! Бог знает, какую чепуху несете, да еще настаиваете!

— Что? не понравилось? Ну, да уже не взыщи — я, брат, прямик! Неправды не люблю, а правду и другим выскажу, и сам выслушаю! Хоть и не по шерстке иногда правда, хоть и горьконько — а все ее выслушаешь! И должно выслушать, потому что она — правда. Так-то, мой друг! Ты вот поживи-ка с нами да по-нашему — и сама увидишь, что так-то лучше, чем с гитарой с ярмарки на ярмарку переезжать.

— Бог знает, что вы, дядя, говорите! с гитарой!

— Ну, не с гитарой, а около того. С торбаном, что ли. Впрочем, ведь ты меня первая обидела, глупым назвала, а мне, старику, и пода́вно можно правду тебе высказать.

— Хорошо, пусть будет правда; не будем об этом говорить. Скажите, пожалуйста, после бабушки

осталось наследство?

— Как не остаться! Только законный наследник-то был налицо!

— То есть вы… И тем лучше. Она у вас здесь, в Головлеве похоронена?

— Нет, в своем приходе, подле Погорелки, у Николы на Вопле. Сама пожелала.

— Так я поеду. Можно у вас, дядя, лошадей нанять?

— Зачем нанимать? свои лошади есть! Ты, чай, не чужая! Племяннушка… племяннушкой мне приходишься! — всхлопотался Порфирий Владимирыч, осклабляясь «по-родственному». — Кибиточку… парочку лошадушек — слава те господи! не пустодомом живу! Да не поехать ли и мне вместе с тобой! И на могилке бы побывали, и в Погорелку бы заехали! И туда бы заглянули, и там бы посмотрели, и поговорили бы, и подумали бы, что́ и как… Хорошенькая ведь у вас усадьбица, полезные в ней местечки есть!

— Нет, я уж одна… зачем вам? Кстати: ведь и Петенька тоже умер?

— Умер, дружок, умер и Петенька. И жалко мне его, с одной стороны, даже до слез жалко, а с другой стороны — сам виноват! Всегда он был к отцу непочтителен — вот Бог за это и наказал!

А уж ежели что Бог в премудрости своей устроил, так нам с тобой переделывать не приходится!

— Понятное дело, не переделаем. Только я вот об чем думаю: как это вам, дядя, жить не страшно?

— А чего мне страшиться? видишь, сколько у меня благодати кругом? — Иудушка обвел рукою, указывая на образа. — И тут благодать, и в кабинете благодать, а в образной так настоящий рай! Вон сколько у меня заступников!

— Все-таки… Всегда вы один… страшно!

— А страшно, так встану на колени, помолюсь — и все как рукой снимет! Да и чего бояться? днем — светло, а ночью у меня везде, во всех комнатах, лампадки горят! С улицы, как стемнеет, словно бал кажет! А какой у меня бал! Заступники да угодники Божии — вот и весь мой бал!

— А знаете ли: ведь Петенька-то перед смертью писал к нам.

— Что ж! как родственник. И за то спасибо, что хоть родственные чувства не потерял!

— Да, писал. Уж после суда, когда решение вышло. Писал, что он три тысячи проиграл и вы ему не дали. Ведь вы, дядя, богатый?

— В чужом кармане, мой друг, легко деньги считать. Иногда нам кажется, что у человека золотые горы, а поглядеть да посмотреть, так у него на

маслице да на свечечку — и то не его, а Богово!

— Ну мы, стало быть, богаче вас. И от себя сложились, и кавалеров наших заставили подписаться — шестьсот рублей собрали и послали ему.

— Какие же это «кавалеры»?

— Ах, дядя! да ведь мы… актрисы! вы сами же сейчас предлагали мне «очиститься»!

— Не люблю я, когда ты так говоришь!

— Что ж делать! Лю́бите или не лю́бите, а что сделано, того не переделаешь. Ведь, по-вашему, и тут Бог!

— Не кощунствуй, по крайней мере. Все можешь говорить, а кощунствовать… не позволяю! Куда же вы деньги послали?

— Не помню. В городок какой-то… Он сам назначил.

— Не знаю. Кабы были деньги, я должен бы после смерти их получить! Не истратил же он всех разом! Не знаю, ничего я не получил. Смотрители-лишки да конвойные, чай, воспользовались!

— Да ведь мы и не требуем — это так, к слову сказалось. А все-таки, дядя, страшно: как это так — из-за трех тысяч человек пропал!

— То-то, что не из-за трех тысяч. Это нам так кажется, что из-за трех тысяч, — вот мы и твердим:

три тысячи! три тысячи! А Бог…

Иудушка совсем уж было расходился, хотел объяснить во всей подробности, как Бог… Провидение… невидимыми путями… и все такое… Но Аннинька бесцеремонно зевнула и сказала:

— Ах, дядя! скука какая у вас!

На этот раз Порфирий Владимирыч серьезно обиделся и замолчал. Долго ходили они рядом взад и вперед по столовой: Аннинька зевала. Порфирий Владимирыч в каждом углу крестился. Наконец доложили, что поданы лошади, и началась обычная комедия родственных проводов. Головлев надел шубу, вышел на крыльцо, расцеловался с Аннинькой, кричал на людей: ноги-то! ноги-то теплее закутывайте! или кутéйки-то! кутéйки-то взяли ли? ах, не забыть бы! — и крестил при этом воздух.

Съездила Аннинька на могилку к бабушке, попросила воплинского батюшку панихидку отслужить, и когда дьячки уныло затянули вечную память, то поплакала. Картина, среди которой совершалась церемония, была печальная. Церковь, при которой схоронили Арину Петровну, принадлежала к числу бедных; штукатурка местами обвалилась и обнажила большими заплатами кирпичный остов; колокол звонил слабо и глу-

хо; риза на священнике обветшала. Глубокий снег покрывал кладбище, так что нужно было разгребать дорогу лопатами, чтоб дойти до могилы; памятника еще не существовало, а стоял простой белый крест, на котором даже надписи никакой не значилось. Погост стоял уединенно, в стороне от всякого селения; неподалеку от церкви ютились почерневшие избы священника и причетников, а кругом во все стороны стлалась сиротливая снежная равнина, на поверхности которой по местам торчал какой-то хворост. Крепкий мартовский ветер носился над кладбищем, беспрестанно захлестывая ризу на священнике и относя в сторону пение причетников.

— И кто бы, сударыня, подумал, что под сим скромным крестом, при бедной нашей церкви, нашла себе успокоение богатейшая некогда помещица здешнего уезда! — сказал священник по окончании литии.

При этих словах Аннинька и еще поплакала. Ей вспомнилось: *где стол был яств — там гроб стоит*[123], и слезы так и лились. Потом она пошла к батюшке в хату, напилась чаю, побеседовала с матушкой, опять вспомнила: *и бледна смерть на*

---

[123] Notes: 123
Из оды Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского».

всех глядит — и опять много и долго плакала.

В Погорелку не было дано знать о приезде барышни, и потому там даже комнат в доме не истопили. Анниньку, не снимая шубы, прошла по всем комнатам и остановилась на минуту только в спальной бабушки и в образной. В бабушкиной комнате стояла ее постель, на которой так и лежала неубранная груда замасленных пуховиков и несколько подушек без наволочек. На письменном столе валялись разбросанные лоскутья бумаги; пол был не метен, и густой слой пыли покрывал все предметы. Анниньку присела в кресло, в котором сиживала бабушка, и задумалась. Сначала явились воспоминания прошлого, потом на смену им пришли представления настоящего. Первые проходили в виде обрывков, мимолетно и не задерживаясь; вторые оседали плотно. Давно ли рвалась она на волю, давно ли Погорелка казалась ей постылою — и вот теперь вдруг ее сердце переполнило какое-то болезненное желание пожить в этом постылом месте. Тихо здесь; неуютно, неприглядно, но тихо, так тихо, словно все кругом умерло. Воздуху много и простору: вон оно, поле, — так бы и побежала. Без цели, без оглядки, только чтоб дышалось сильнее, чтоб грудь саднило. А *там,* в этой полукочевой

среде, из которой она только что вырвалась и куда опять *должна* возвратиться, — что ее ждет? и что она оттуда вынесла? — Воспоминание о пропитанных вонью гостиницах, об вечном гвалте, несущемся из общей столовой и из биллиардной, о нечесаных и немытых половых, об репетициях среди царствующих на сцене сумерек, среди полотняных, раскрашенных кулис, до которых дотронуться гнусно, на сквозном ветру, на сырости... Вот и только! А потом: офицеры, адвокаты, цинические речи, пустые бутылки, скатерти, залитые вином, облака дыма, и гвалт, гвалт, гвалт! И что они говорили ей! с каким цинизмом к ней прикасались!.. Особливо тот, усатый, с охрипшим от перепоя голосом, с воспаленными глазами, с вечным запахом конюшни... ах, что он говорил! Аннинька при этом воспоминании даже вздрогнула и зажмурила глаза. Потом, однако ж, очнулась, вздохнула и перешла в образную. В киоте стояло уже немного образов, только те, которые *несомненно* принадлежали ее матери, а остальные, бабушкины, были вынуты и увезены Иудушкой в качестве наследника в Головлево. Образовавшиеся вследствие этого пустые места смотрели словно выколотые глаза. И лампад не было — все взял Иудушка; только

один желтого воска огарок сиротливо ютился, забытый в крохотном жестяном подсвечнике.

— Они и киотку хотели было взять, все доискивались — точно ли она барышнина приданая была? — донесла Афимьюшка.

— Что ж? и пусть бы брал. А что́, Афимьюшка, бабушка долго перед смертью мучилась?

— Не то чтобы очень, всего с небольшим сутки лежали. Так, словно сами собой извелись. Ни больны настоящим манером не были, ничто́! Ничего почесть и не говорили, только про вас с сестрицей раза с два помянули.

— Образа́-то, стало быть, Порфирий Владимирыч увез?

— Он увез. Собственные, говорит, маменькины образа́. И тарантас к себе увез, и двух коров. Все, стало быть, из барыниных бумаг усмотрел, что не ваши были, а бабенькины. Лошадь тоже одну оттягать хотел, да Федулыч не отдал: наша, говорит, эта лошадь, старинная погорелковская, — ну, оставил, побоялся.

Походила Аннинька и по двору, заглянула в службы, на гумно, на скотный двор. Там, среди навозной топи, стоял «оборотный капитал»: штук двадцать тощих коров да три лошади. Велела принести хлеба, сказав при этом: я заплачу! — и

каждой корове дала по кусочку. Потом скотница попросила барышню в избу, где был поставлен на столе горшок с молоком, а в углу у печки, за низенькой перегородкой из досок, ютился новорожденный теленок. Аннинька поела молочка, побежала к теленочку, сгоряча поцеловала его в морду, но сейчас же брезгливо вытерла губы, говоря, что морда у теленка противная, вся в каких-то слюнях. Наконец вынула из портмоне три желтеньких бумажки, раздала старым слугам и стала сбираться.

— Что ж вы будете делать? — спросила она, усаживаясь в кибитку, старика Федулыча, который в качестве старосты следовал за барышней с скрещенными на груди руками.

— А что нам делать! жить будем! — просто ответил Федулыч.

Анниньке опять взгрустнулось: ей показалось, что слова Федулыча звучат иронией. Она постояла-постояла на месте, вздохнула и сказала:

— Ну, прощайте!

— А мы было думали, что вы к нам вернетесь! с нами поживете! — молвил Федулыч.

— Нет уж… что! Все равно… живите!

И опять слезы полились у нее из глаз, и все при этом тоже заплакали. Как-то странно это выхо-

дило: вот и ничего, казалось, ей не жаль, даже помянуть не́чем — а она плачет. Да и они: ничего не было сказано выходящего из ряда будничных вопросов и ответов, а всем сделалось тяжело, «жалко». Посадили ее в кибитку, укутали и все разом глубоко вздохнули.

— Счастливо! — раздалось за ней, когда повозка тронулась.

Ехавши мимо погоста, она вновь велела остановиться и одна, без причта, пошла по расчищенной дороге к могиле. Уже порядком стемнело, и в домах церковников засветились огни. Она стояла, ухватившись одной рукой за надгробный крест, но не плакала, а только пошатывалась. Ничего особенного она не думала, никакой определенной мысли не могла формулировать, а горько ей было, всем существом горько. И не над бабушкой, а над самой собой горько. Бессознательно пошатываясь и наклоняясь, она простояла тут с четверть часа, и вдруг ей представилась Любинька, которая, быть может, в эту самую минуту соловьем разливается в каком-нибудь Кременчуге, среди развеселой компании…

Ah! ah! que j'aime, que j'aime!
Que j'aime les mili-mili-taires!

Она чуть не упала. Бегом добежала до повозки, села и велела как можно скорее ехать в Головлево.

* * *

Аннинька воротилась к дяде скучная, тихая. Впрочем, это не мешало ей чувствовать себя несколько голодною (дяденька, впопыхах, даже курочки с ней не отпустил), и она была очень рада, что стол для чая был уж накрыт. Разумеется, Порфирий Владимирыч не замедлил вступить в разговор.

— Ну что, побывала?

— Побывала.

— И на могилке помолилась? панихидку отслужила?

— Да, и панихидку.

— Священник-то, стало быть, дома был?

— Конечно был; кто же бы панихиду служил!

— Да, да… И дьячки оба были? вечную память пропели?

— Пропели.

— Да. Вечная память! вечная память покойнице! Пе́чная старушка, родственная была!

Иудушка встал со стула, обратился лицом к образам и помолился.

— Ну а в Погорелке ка́к застала? благополучно?

— Право, не знаю. Кажется, все на своем месте стоит.

— То-то «кажется»! Нам всегда «кажется», а посмотришь да поглядишь — и тут криве́нько, и там гнилé нько… Вот так-то мы и об чужих состояниях понятие себе составляем: «кажется»! все «кажется»! А впрочем, хорошенькая у вас усадьбица; преудобно вас покойница маменька устроила, немало даже из собственных средств на усадьбу употребила… Ну, да ведь сиротам не грех и помочь!

Слушая эти похвалы, Анниньку не выдержала, чтоб не подразнить сердобольного дяденьку.

— А вы зачем, дядя, из Погорелки двух коров увели? — спросила она.

— Коров? каких это коров? Это Чернавку да Приведе́нку, что ли? Так ведь они, мой друг, маменькины были!

— А вы — ее законный наследник? Ну что ж! и владейте! Хотите, я вам еще теленочка велю прислать?

— Вот-вот-вот! ты уж и раскипятилась! А ты дело говори. Как, по-твоему, чьи коровы были?

— А я почем знаю! в Погорелке стояли!

— А я знаю, у меня доказательства есть, что коровы маменькины. Собственный ее руки я реестр отыскал, там именно сказано: «мои».

— Ну, оставим. Не стоит об этом говорить.

— Вот лошадь в Погорелке есть, лысенькая такая — ну, об этой верного сказать не могу. Кажется, будто бы маменькина лошадь, а впрочем — не знаю! А чего не знаю, об том и говорить не могу!

— Оставим это, дядя.

— Нет, зачем оставлять! Я, брат, — прямик, я всякое дело начистоту вести люблю! Да отчего и не поговорить! Своего всякому жалко: и мне жалко, и тебе жалко — ну и поговорим! А коли говорить будем, так скажу тебе прямо: мне чужого не надобно, но и своего я не отдам. Потому что хоть вы мне и не чужие, а все-таки.

— И образа даже взяли! — опять не воздержалась Аннинька.

— И образа взял, и все взял, что мне, как законному наследнику, принадлежит.

— Теперь киот-то весь словно в дырах…

— Что ж делать! И перед таким помолись! Богу ведь не киот, а молитва твоя нужна! Коли ты искренно приступаешь, так и перед плохенькими образами молитва твоя дойдет! А коли ты только

так: болты-болты! да по сторонам поглядеть, да книксен сделать — так и хорошие образа тебя не спасут!

Тем не менее Иудушка встал и возблагодарил Бога за то, что у него «хорошие» образа́.

— А ежели не нравится старый киот — новый вели сделать. Или другие образа на место вынутых поставь. Прежние — маменька-покойница наживала да устроивала, а новые — ты уж сама наживи!

Порфирий Владимирыч даже хихикнул: так это рассуждение казалось ему резонно и просто.

— Скажите, пожалуйста, что же мне теперь делать предстоит? — спросила Аннинька.

— А вот погоди. Сначала отдохни, да понежься, да поспи. Побеседуем да посудим, и так посмотрим, и этак прикинем — может быть, вдвоем что-нибудь и выдумаем!

— Мы совершеннолетние, кажется?

— Да-с, совершеннолетние-с. Можете сами и действиями своими, и имением управлять!

— Слава богу, хоть это!

— Честь имеем поздравить-с!

Порфирий Владимирыч встал и полез целоваться.

— Ах, дядя, какой вы странный! все целуетесь!

— Отчего же и не поцеловаться! Не чужая ты мне — племяннушка! Я, мой друг, по-родственному! Я для родных всегда готов! Будь хоть троюродный, хоть четвероюродный, — я всегда…

— Вы лучше скажите, что мне делать? в город, что ли, надобно ехать? хлопотать?

— И в город поедем, и похлопочем — все в свое время сделаем. А прежде — отдохни, поживи! Слава богу! не в трактире, а у родного дяди живешь! И поесть, и чайку попить, и вареньицем полакомиться — всего вдоволь есть! А ежели кушанье какое не понравится — другого спроси! Спрашивай, требуй! Щец не захочется — супцу подать вели! Котлеточек, уточки, поросеночка… Евпраксеюшку за бока бери!.. А кстати, Евпраксеюшка! вот я поросеночком-то похвастался, а хорошенько и сам не знаю, есть ли у нас?

Евпраксеюшка, державшая в это время перед ртом блюдечко с горячим чаем, утвердительно повела носом воздух.

— Ну, вот видишь! и поросеночек есть! Всего, значит, чего душенька захочет, того и проси! Так-то!

Иудушка опять потянулся к Анниньке и по-родственному похлопал ее рукой по коленке, причем, конечно, невзначай, слегка позамешкал-

ся, так что сиротка инстинктивно отодвинулась.

— Но ведь мне ехать надо, — сказала она.

— Об том-то я и говорю. Потолкуем да поговорим, а потом и поедем. Благословясь да Богу помолясь, а не так как-нибудь: прыг да шмыг! Поспешишь — людей насмешишь! Спешат-то на пожар, а у нас, слава богу, не горит! Вот Любиньке — той на ярмарку спешить надо, а тебе что! Да вот я тебя еще что спрошу: ты в Погорелке, что ли, жить будешь?

— Нет, в Погорелке мне не́зачем.

— И я тоже хотел тебе сказать. Поселись-ко у меня. Будем жить да поживать — еще как заживем-то!

Говоря это, Иудушка глядел на Анниньку такими маслеными глазами, что ей сделалось неловко.

— Нет, дядя, я не поселюсь у вас. Скучно.

— Ах, глупенькая, глупенькая! И что тебе эта скука далась! Скучно да скучно, а чем скучно — и сама, чай, не скажешь! У кого, мой друг, дело есть, да кто собой управлять умеет — тот никогда скуки не знает. Вот я, например: не вижу, как и время летит! В будни — по хозяйству: там посмотришь, тут поглядишь, туда сходишь, побеседуешь, посудишь — смотришь, ан день и

прошел! А в праздник — в церковь! Так-то и ты! Поживи с нами — и тебе дело найдется, а дела нет — с Евпраксеюшкой в дурачки садись или саночки вели заложить — катай да покатывай! А лето настанет — по грибы в лес поедем! на траве чай станем пить!

— Нет, дядя, напрасно вы и предлагаете!

— Право бы, пожила.

— Нет. А вот что: устала я с дороги, так спать нельзя ли мне лечь?

— И баиньки можно. И кроватка у меня готова для тебя, и все как следует. Хочется тебе баиньки — почивай, Христос с тобой! А все-таки ты об этом подумай: куда бы лучше, кабы ты с нами в Головлеве осталась!

* * *

Аннинька провела ночь беспокойно. Нервная блажь, которая застигла ее в Погорелке, продолжалась. Бывают минуты, когда человек, который дотоле только *существовал,* вдруг начинает понимать, что он не только воистину *живет,* но что в его жизни есть даже какая-то язва. Откуда она взялась, каким образом и когда именно образовалась — в большей части случаев он хорошо себе не объясняет и чаще всего приписывает

происхождение язвы совсем не тем причинам, которые в действительности ее обусловили. Но для него оценка факта даже не нужна: достаточно и того, что язва существует. Действие такого внезапного откровения, будучи для всех одинаково мучительным, в дальнейших практических результатах видоизменяется, смотря по индивидуальным темпераментам. Одних сознание обновляет, воодушевляет решимостью начать новую жизнь на новых основаниях; на других оно отражается лишь преходящею болью, которая не произведет в будущем никакого перелома к лучшему, но в настоящем высказывается даже болезненнее, нежели в том случае, когда встревоженной совести, вследствие принятых решений, все-таки представляются хоть некоторые просветы в будущем.

Анниньку не принадлежала к числу таких личностей, которые в сознании своих язв находят повод для жизненного обновления, но тем не менее, как девушка неглупая, она отлично понимала, что между теми смутными мечтами о трудовом хлебе, которые послужили ей исходным пунктом для того, чтобы навсегда покинуть Погорелку, и положением провинциальной актрисы, в котором она очутилась, существует целая без-

дна. Вместо тихой жизни труда она нашла бурное существование, наполненное бесконечными кутежами, наглым цинизмом и беспорядочною, ни к чему не приводящею суетою. Вместо лишений и суровой внешней обстановки, с которыми она когда-то примирялась, ее встретило относительное довольство и роскошь, об которых она, однако ж, не могла теперь вспоминать без краски на лице. И вся эта перестановка как-то незаметно для нее самой случилась: шла она куда-то в хорошее место, но вместо одной двери попала в другую. Желания ее были действительно очень скромные. Сколько раз, бывало, сидя в Погорелке на мезонине, она видела себя в мечтах серьезною девушкой, трудящейся, алчущей образовать себя, с твердостью переносящей нужду и лишения, ради идеи блага (правда, что слово «благо» едва ли имело какое-нибудь определенное значение); но едва она вышла на широкую дорогу самодеятельности, как сама собою сложилась такая практика, которая сразу разбила в прах всю мечту. Серьезный труд не приходит сам собой, а дается только упорному исканию и подготовке, ежели и не полной, то хотя до известной степени помогающей исканию. Но требованиям этим не отвечали ни темперамент, ни воспитание Анниньки. Темпе-

рамент ее вовсе не отличался страстностью, а только легко раздражался; материал же, который дало ей воспитание и с которым она собралась войти в трудовую жизнь, был до такой степени несостоятелен, что не мог послужить основанием ни для какой серьезной профессии. Воспитание это было, так сказать, институтско-опереточное, в котором перевес брала едва ли не оперетка. Тут в хаотическом беспорядке перемешивались и задача о летящем стаде гусей, и па с шалью, и проповедь Петра Пикардского, и проделки Елены Прекрасной, и ода к Фелице, и чувство признательности к начальникам и покровителям благородных девиц. В этом беспорядочном винегрете (вне которого она с полным основанием могла назвать себя tabula rasa) трудно было даже разобраться, а не то что исходную точку найти. Не любовь к труду пробуждала такая подготовка, а любовь к светскому обществу, желание быть окруженной, выслушивать любезности кавалеров и вообще погрузиться в шум, блеск и вихрь так называемой светской жизни.

Если бы она следила за собой пристальнее, то даже в Погорелке, в те минуты, когда в ней еще только зарождались проекты трудовой жизни, когда она видела в них нечто вроде освобожде-

ния из плена египетского, — даже и тогда она могла бы изловить себя в мечтах не столько работающею, сколько окруженною обществом единомыслящих людей и коротающею время в умных разговорах. Конечно, и люди этих мечтаний были умные, и разговоры их — честные и серьезные, но все-таки на сцене первенствовала праздничная сторона жизни. Бедность была опрятная, лишения свидетельствовали только об отсутствии излишеств. Поэтому, когда на деле мечты о трудовом хлебе разрешились тем, что ей предложили занять опереточное амплуа́ на подмостках одного из провинциальных театров, то, несмотря на контраст, она колебалась недолго. Наскоро освежила она институтские сведения об отношениях Елены к Менелаю, дополнила их некоторыми биографическими подробностями из жизни великолепного князя Тавриды[124] и решила, что этого было совершенно достаточно, чтобы воспроизводить «Прекрасную Елену» и «Отрывки из Герцогини Герольштейнской»[125] в губернских городах и на ярмарках. При этом для очистки совести она припоминала, что один

[124] Notes: 124
Г. А. Потемкин-Таврический.

[125] Notes: 125
«Герцогиня Герольштейнская» — оперетта Ж. Оффенбаха.

студент, с которым она познакомилась в Москве, на каждом шагу восклицал: святое искусство! — и тем охотнее сделала эти слова девизом своей жизни, что они приличным образом развязывали ей руки и придавали хоть какой-нибудь наружный декорум ее вступлению на стезю, к которой она инстинктивно рвалась всем своим существом.

Жизнь актрисы взбудоражила ее. Одинокая, без руководящей подготовки, без сознанной цели, с одним только темпераментом, жаждущим шума, блеска и похвал, она скоро увидела себя кружащеюся в каком-то хаосе, в котором толпилось бесконечное множество лиц, без всякой связи сменявших одно другое. Это были лица разнообразнейших характеров и убеждений, так что самые мотивы для сближения с тем или другим отнюдь не могли быть одинаковыми. Тем не менее и тот, и другой, и третий давно составляли ее круг, из чего должно было заключить, что тут, собственно говоря, не могло быть и речи об мотивах. Ясно, стало быть, что ее жизнь сделалась чем-то вроде въезжего дома, в ворота которого мог стучаться каждый, кто сознавал себя веселым, молодым и обладающим известными материальными средствами. Ясно, что тут дело шло совсем не об том, чтобы подбирать себе

общество по душе, а об том, чтобы примоститься к какому бы то ни было обществу, лишь бы не изнывать в одиночестве. В сущности, «святое искусство» привело ее в помойную яму, но голова ее сразу так закружилась, что она не могла различить этого. Ни немытые рожи коридорных, ни захватанные, покрытые слизью декорации, ни шум, вонь и гвалт гостиниц и постоялых дворов, ни цинические выходки поклонников — ничто не отрезвляло ее. Она не замечала даже, что постоянно находится в обществе одних мужчин и что между нею и другими женщинами, имеющими *постоянное положение*, легла какая-то непреодолимая преграда…

Отрезвил на минуту приезд в Головлево.

С утра, почти с самой минуты приезда, ее уж что-то мутило. Как девушка впечатлительная, она очень быстро проникалась новыми ощущениями и не менее быстро применялась ко всяким положениям. Поэтому, с приездом в Головлево, она вдруг почувствовала себя «барышней». Припомнила, что у нее есть что-то свое: свой дом, свои могилы, и захотелось ей опять увидеть прежнюю обстановку, опять подышать тем воздухом, из которого она так недавно без оглядки бежала. Но впечатление это немедленно же должно

было разбиться при столкновении с действительностью, встретившеюся в Головлеве. В этом отношении ее можно было уподобить тому человеку, который с приветливым выражением лица входит в общество давно не виденных им людей и вдруг замечает, что к его приветливости все относятся как-то загадочно. Погано скошенные на ее бюст глаза Иудушки сразу напомнили ей, что позади у нее уже образовался своего рода скарб, с которым не так-то легко рассчитаться. И когда, после наивных вопросов погорелковской прислуги, после назидательных вздохов воплинского батюшки и его попадьи и после новых поучений Иудушки, она осталась одна, когда она проверила на досуге впечатления дня, то ей сделалось уже совсем несомненно, что прежняя «барышня» умерла навсегда, что отныне она только актриса жалкого провинциального театра и что положение русской актрисы очень недалеко отстоит от положения публичной женщины.

До сих пор она жила как во сне. Обнажалась в «Прекрасной Елене», являлась пьяною в «Периколе», пела всевозможные бесстыдства в «Отрывках из Герцогини Герольштейнской» и даже жалела, что на театральных подмостках не принято представлять «la chose» и «l'amour», воображая

себе, как бы она обольстительно вздрагивала поясницей и шикарно вертела хвостом. Но ей никогда не приходило в голову вдумываться в то, что она делает. Она об том только старалась, чтоб все выходило у ней «мило», «с шиком» и в то же время нравилось офицерам расквартированного в городе полка. Но что это такое и какого сорта ощущения производят в офицерах ее вздрагиванья — она об этом себя не спрашивала. Офицеры представляли в городе решающую публику, и ей было известно, что от них зависел ее успех. Они вторгались за кулисы, бесцеремонно стучались в двери ее уборной, когда она была еще полуодета, называли ее уменьшительными именами — и она смотрела на все это как на простую формальность, род неизбежной обстановки ремесла, и спрашивала себя только об том — «мило» или «не мило» выдерживает она в этой обстановке свою роль? Но ни тела своего, ни души она покуда еще не сознавала публичными. И вот теперь, когда она на минуту опять почувствовала себя «барышней», ей вдруг сделалось как-то невыносимо мерзко. Как будто с нее сняли все покровы до последнего и всенародно вывели ее обнаженною; как будто все эти подлые дыхания, зараженные запахами вина и конюшни, разом охватили ее;

как будто она на всем своем теле почувствовала прикосновение потных рук, слюнявых губ и блуждание мутных, исполненных плотоядной животненности глаз, которые бессмысленно скользят по кривой линии ее обнаженного тела, словно требуют от него ответа: что такое «la chose»?

Куда идти? где оставить этот скарб, который надавливал ее плечи? Вопрос этот безнадежно метался в ее голове, но именно только метался, не находя и даже не ища ответа. Ведь и это был своего рода сон: и прежняя жизнь была сон, и теперешнее пробуждение — тоже сон. Огорчилась девочка, расчувствовалась — вот и все. Пройдет. Бывают минуты хорошие, бывают и горькие — это в порядке вещей. Но и те и другие только скользят, а отнюдь не изменяют однажды сложившегося хода жизни. Чтоб дать последней другое направление, необходимо много усилий, потребна не только нравственная, но и физическая храбрость. Это почти то же, что самоубийство. Хотя перед самоубийством человек проклинает свою жизнь, хотя он положительно знает, что для него смерть есть свобода, но орудие смерти все-таки дрожит в его руках, нож скользит по горлу, пистолет, вместо того чтоб бить прямо в

лоб, бьет ниже, уродует. Так-то и тут, но еще труднее. И тут предстоит убить свою прежнюю жизнь, но, убив ее, самому остаться живым. То «ничто», которое в заправском самоубийстве достигается мгновенным спуском курка, — тут, в этом особом самоубийстве, которое называется «обновлением», достигается целым рядом суровых, почти аскетических усилий. И достигается все-таки «ничто», потому что нельзя же назвать нормальным существование, которого содержание состоит из одних усилий над собой, из лишений и воздержаний. У кого воля изнежена, кто уже подточен привычкою легкого существования — у того голова закружится от одной перспективы подобного «обновления». И инстинктивно, отворачивая голову и зажмуривая глаза, стыдясь и обвиняя себя в малодушии, он все-таки опять пойдет по утоптанной дороге. Ах! великая вещь — жизнь труда! Но с нею сживаются только сильные люди да те, которых осудил на нее какой-то проклятый прирожденный грех. Только таких он не пугает. Первых — потому, что, сознавая смысл и ресурсы труда, они умеют отыскивать в нем наслаждение; вторых — потому, что для них труд есть прежде всего прирожденное обязательство, а потом и привычка.

Анниньке даже на мысль не приходило основаться в Погорелке или в Головлеве, и в этом отношении ей большую помощь оказала та деловая почва, на которую ее поставили обстоятельства и которой она инстинктивно не покидала. Ей был дан отпуск, и она уже заранее распределила все время его и назначила день отъезда из Головлева. Для людей слабохарактерных те внешние грани, которые обставляют жизнь, значительно облегчают бремя ее. В затруднительных случаях слабые люди инстинктивно жмутся к этим граням и находят в них для себя оправдание. Так именно поступила и Аннинька: она решилась как можно скорее уехать из Головлева, и ежели дядя будет приставать, то оградить себя от этих приставаний необходимостью явиться в назначенный срок.

Проснувшись на другой день утром, она прошлась по всем комнатам громадного головлевского дома. Везде было пустынно, неприютно, пахло отчуждением, выморочностью. Мысль поселиться в этом доме без срока окончательно испугала ее. «Ни за что! — твердила она в каком-то безотчетном волнении. — Ни за что!»

* * *

Порфирий Владимирыч и на другой день встретил ее с обычной благосклонностью, в которой никак нельзя было различить — хочет ли он приласкать человека или намерен высосать из него кровь.

— Ну что, торопыга, выспалась? куда-то теперь торопиться будешь? — пошутил он.

— И то, дядя, тороплюсь; ведь я в отпуску, надобно на срок поспевать.

— Это опять скоморошничать? не пущу!

— Пускайте или не пускайте — сама уеду!

Иудушка грустно покачал головой.

— А бабушка-покойница что скажет? — спросил он тоном ласкового укора.

— Бабушка и при жизни знала. Да что это, дядя, за выражения у вас? вчера с гитарой меня по ярмаркам посылали, сегодня об скоморошничестве разговор завели? Слышите! я не хочу, чтоб вы так говорили!

— Эге! видно, правда-то кусается! А вот я так люблю правду! По мне, ежели правда…

— Нет, нет! не хочу я, не хочу! ни правды, ни неправды мне вашей не надо! Слышите! не хочу я, чтоб вы так выражались!

— Ну-ну! раскипятилась? пойдем-ка, стрекоза, за добра ума, чай пить! Самовар-то уж, чай, давно хр-хр… да зз-зз… на столе делает.

Порфирий Владимирыч шуткой да смешком хотел изгладить впечатление, произведенное словом «скоморошничать», и в знак примирения даже потянулся к племяннице, чтоб обнять ее за талию, но Анниньке все это показалось до того глупым, почти гнусным, что она брезгливо уклонилась от ожидавшей ее ласки.

— Я вам серьезно повторяю, дядя, что мне надо торопиться! — сказала она.

— А вот пойдем, сначала чайку попьем, а потом и поговорим!

— Да почему же непременно после чаю? почему нельзя до чаю поговорить?

— А потому что потому. Потому что все чередом делать надо. Сперва одно, потом — другое, сперва чайку попьем да поболтаем, а потом и об деле переговорим. Все успеем.

Перед таким непреоборимым пустословием оставалось только покориться. Стали пить чай, причем Иудушка самым злостным образом длил время, помаленьку прихлебывая из стакана, крестясь, похлопывая себя по ляжке, калякая об покойнице маменьке и проч.

— Ну вот, теперь и поговорим, — сказал он наконец, — ты долго ли намерена у меня погостить?

— Да больше недели мне нельзя. В Москве еще побывать надо.

— Неделя, мой друг, большое дело; и много дела можно в неделю сделать, и мало дела — как взяться.

— Мы, дядя, лучше больше сделаем.

— Об том-то я и говорю. И много можно сделать, и мало. Иногда много хочешь сделать, а выходит мало, а иногда будто и мало делается, ан смотришь, с Божьею помощью, все дела незаметно прикончил. Вот ты спешишь, в Москве тебе побывать, вишь, надо, а зачем, коли тебя спросить, — ты и сама путем не сумеешь ответить. А по-моему, вместо Москвы-то, лучше бы это время на дело употребить.

— В Москву мне необходимо, потому что я хочу попытать, нельзя ли нам на тамошнюю сцену поступить. А что касается до дела, так ведь вы сами же говорите, что в неделю можно много дела наделать.

— Смотря по тому, как возьмешься, мой друг. Ежели возьмешься как следует — все у тебя пойдет и ладно и плавно; а возьмешься не так, как следует, — ну, и застрянет дело, в долгий ящик

оттянется.

— Так вы меня поруководите, дядя!

— То-то вот и есть. Как нужно, так «вы меня поруководите, дядя!», а не нужно — так и скучно у дяди, и поскорее бы от него уехать! Что, небось неправда?

— Да вы только скажите, что мне делать нужно?

— Стой, погоди! Так вот я и говорю: как нужен дядя — он и голубчик, и миленький, и душенька, а не нужен — сейчас ему хвост покажут! А нет того, чтоб спроситься у дяди: ка́к, мол, вы, дяденька-голубчик, полагаете, можно мне в Москву съездить?

— Какой вы, дядя, странный! Ведь мне в Москве необходимо быть, а вы вдруг скажете, что нельзя?

— А скажу: нельзя — и посиди! Не посторонний сказал, дядя сказал — можно и послушаться дядю. Ах, мой друг, мой друг! Еще хорошо, что у вас дядя есть, — все же и пожалеть об вас, и остановить вас есть кому! А вот как у других — нет никого! Ни их пожалеть, ни остановить — одни растут! Ну и бывает с ними… всякие случайности в жизни бывают, мой друг!

Аннинька хотела было возразить, однако поня-

ла, что это значило бы только подливать масла в огонь, и смолчала. Она сидела и безнадежно смотрела на расходившегося Порфирия Владимирыча.

— Вот я давно хотел тебе сказать, — продолжал между тем Иудушка, — не нравится мне, куда как не нравится, что вы по этим… по ярмаркам ездите! Хоть тебе и не́любо, что я об гитарах говорил, а все-таки…

— Да ведь мало сказать: не нравится! Надобно на какой-нибудь выход указать!

— Живи у меня — вот тебе и выход!

— Ну нет… это… ни за что!

— Что так?

— А то, что нечего мне здесь делать. Что у вас делать! Утром встать — чай пить идти, за чаем думать: вот завтракать подадут! за завтраком — вот обедать накрывать будут! за обедом — скоро ли опять чай? А потом ужинать и спать… умрешь у вас.

— И все, мой друг, так делают. Сперва чай пьют, потом, кто привык завтракать, — завтракают, а вот я не привык завтракать — и не завтракаю; потом обедают, потом вечерний чай пьют, а наконец, и спать ложатся. Что же! кажется, в этом ни смешного, ни предосудительного нет! Вот,

если б я…

— Ничего предосудительного, только не по мне.

— Вот если б я кого-нибудь обидел, или осудил, или дурно об ком-нибудь высказался — ну, тогда точно! можно бы и самого себя за это осудить! А то чай пить, завтракать, обедать… Христос с тобой! да и ты, как ни прытка, а без пищи не проживешь!

— Ну да, все это хорошо, да только не по мне!

— А ты не все на свой аршин меряй — и об старших подумай! «По мне» да «не по мне» — разве можно так говорить! А ты говори: «по-Божьему» или «не по-Божьему» — вот это будет дельно, вот это будет так! Коли ежели у нас в Головлеве не по-Божьему, ежели мы против Бога поступаем, грешим, или ропщем, или завидуем, или другие дурные дела делаем — ну, тогда мы действительно виноваты и заслуживаем, чтоб нас осуждали. Только и тут еще надобно доказать, что мы точно не по-Божьему поступаем. А то на-тко! «не по мне!» Да скажу теперича хоть про себя — мало ли что не по мне! Не по мне вот, что ты так со мной разговариваешь да родственную мою хлеб-соль хаешь, — однако я сижу, молчу! Дай, думаю, я ей тихим манером почувствовать дам, — может

быть, она и сама собой образумится! Может быть, покуда я шуточкой да усмешечкой на твои выходки отвечаю, ан ангел-то твой хранитель и наставит тебя на путь истинный! Ведь мне не за себя, а за тебя обидно! А-а-ах, мой друг, как это нехорошо! И хоть бы я что-нибудь тебе дурное сказал или дурно против тебя поступил, или обиду бы какую-нибудь ты от меня видела — ну, тогда бог бы с тобой! Хоть и велит Бог от старшего даже поучение принять — ну, да уж если я тебя обидел, бог с тобой! сердись на меня! А то сижу я смирнехонько да тихохонько, сижу, ничего не говорю, только думаю, как бы получше да поудобнее, чтобы всем на радость да на утешение — а ты! фу-ты, ну-ты! — вот ты на мои ласки какой ответ даешь! А ты не сразу все выговаривай, друг мой, а сначала подумай, да Богу помолись, да попроси Его вразумить себя! И вот коли ежели…

Порфирий Владимирыч разглагольствовал долго, не переставая. Слова бесконечно тянулись одно за другим, как густая слюна. Анниньку с безотчетным страхом глядела на него и думала: как это он не захлебнется? Однако так-таки и не сказал дяденька, что ей предстоит делать по случаю смерти Арины Петровны. И за обедом пробовала она ставить этот вопрос, и за вечерним чаем, но

всякий раз Иудушка начинал тянуть какую-то постороннюю канитель, так что Анниньке не рада была, что и возбудила разговор, и об одном только думала: когда же все это кончится?

После обеда, когда Порфирий Владимирыч отправился спать, Анниньке осталась один на один с Евпраксеюшкой, и ей вдруг припала охота вступить в разговор с дяденькиной экономкой. Ей захотелось узнать, почему Евпраксеюшке не страшно в Головлеве и что дает ей силу выдерживать потоки пустопорожних слов, которые с утра до вечера извергали дяденькины уста.

— Скучно вам, Евпраксеюшка, в Головлеве?

— Чего нам скучать? мы не господá!

— Все же… всегда вы одни… ни развлечений, ни удовольствий у вас — ничего!

— Каких нам удовольствий надо! Скучно — так в окошко погляжу. Я и у папеньки, у Николы в Капельках жила, немного веселости-то видела!

— Все-таки дома, я полагаю, вам было лучше. Товарки были, друг к другу в гости ходили, играли…

— Что уж!

— А с дядей… Говорит он все что-то скучное и долго как-то. Всегда он так?

— Всегда, цельный день так говорят.

— И вам не скучно?

— Мне что! Я ведь не слушаю!

— Нельзя же совсем не слушать. Он может заметить это, обидеться.

— А почем он знает! Я ведь смотрю на него. Он говорит, а я смотрю да этим временем про свое думаю.

— Об чем же вы думаете?

— Обо всем думаю. Огурцы солить надо — об огурцах думаю, в город за чем посылать надо — об этом думаю. Что по домашности требуется — обо всем думаю.

— Стало быть, вы хоть и вместе живете, а на самом-то деле все-таки одни?

— Да почéсть что одна. Иногда разве вечером вздумает в дураки играть — ну, играем. Да и тут: середь самой игры остановятся, сложат карты и начнут говорить. А я смотрю. При покойнице, при Арине Петровне, веселее было. При ней он лишнее-то говорить побаивался; нет-нет да и остановит старуха. А нынче ни на что не похоже, какую волю над собой взял!

— Вот видите ли: ведь это, Евпраксеюшка, страшно! Страшно, когда человек говорит и не знаешь, зачем он говорит, что говорит и кончит ли когда-нибудь. Ведь страшно? неловко ведь?

Евпраксеюшка взглянула на нее, словно ее впервые озарила какая-то удивительная мысль.

— Не вы одни, — сказала она, — многие у нас их за это не любят.

— Вот как!

— Да. Хоть бы лакеи — ни один долго ужиться у нас не может; почесть каждый месяц меняем. Приказчики тоже. И всё из-за этого.

— Надоедает?

— Тиранит. Пьяницы — те живут, потому что пьяница не слышит. Ему хоть в трубу труби — у него все равно голова как горшком прикрыта. Так опять беда: *они* пьяниц не любят.

— Ах, Евпраксеюшка, Евпраксеюшка! а он еще меня в Головлеве жить уговаривает!

— А что ж, барышня, вы бы и заправду с нами пожили! может быть, они бы и посовестились при вас!

— Ну нет! слуга покорная! ведь у меня терпенья недостанет в глаза ему смотреть!

— Что и говорить! вы — господа! у вас своя воля! Однако, чай, воля-воля, а тоже и по чужой дудочке подплясывать приходится!

— Еще как часто-то!

— То-то и я думала! А я вот еще что хотела вас спросить: хорошо в актрисах служить?

— Свой хлеб — и то хорошо.

— А правда ли, Порфирий Владимирыч мне сказывали: будто бы актрис чужие мужчины за́все за талию держат?

Анниньку на минуту вспыхнула.

— Порфирий Владимирыч не понимает, — ответила она раздражительно, — оттого и несет чепуху. Он даже того различить не может, что на сцене происходит игра, а не действительность.

— Ну, однако! То-то и он, Порфирий-то Владимирыч… Как увидел вас, даже губы распустил: «племяннушка» да «племяннушка»! — как и путный! А у самого бесстыжие глаза так и бегают!

— Евпраксеюшка! зачем вы глупости говорите!

— Я-то? мне — что! Поживете — сами увидите! А мне что! Откажут от места — я опять к батюшке уйду. И то ведь скучно здесь; правду вы это сказали.

— Чтоб я могла здесь остаться, это вы напрасно даже предполагаете. А вот, что скучно в Головлеве — это так. И чем дольше вы будете здесь жить, тем будет скучнее.

Евпраксеюшка слегка задумалась, потом зевнула и сказала:

— Я когда у батюшки жила, тоща́я-претоща́я была. А теперь — ишь какая! печь печью сдела-

лась! Скука-то, стало быть, впрок идет!

— Все равно долго не выдержите. Вот помяните мое слово, не выдержите.

На этом разговор кончился. К счастью, Порфирий Владимирыч не слышал его — иначе он получил бы новую и благодарную тему, которая, несомненно, освежила бы бесконечную канитель его нравоучительных разговоров.

Целых два дня еще мучил Порфирий Владимирыч Анниньку. Все говорил: вот потерпи да погоди! потихоньку да полегоньку! благословясь да Богу помолясь! и проч. Совсем ее истомил. Наконец, на пятый день собрался-таки в город, хотя и тут нашел средство истерзать племянницу. Она уж стояла в передней в шубе, а он, словно назло, целый час проклажался. Одевался, умывался, хлопал себя по ляжкам, крестился, ходил, сидел, отдавал приказания вроде: «так так-то, брат!» или: «так ты уж тово… смотри, брат, как бы чего не было!». Вообще поступал так, как бы оставлял Головлево не на несколько часов, а навсегда. Замаявши всех: и людей и лошадей, полтора часа стоявших у подъезда, он наконец убедился, что у него самого пересохло в горле от пустяков, и решился ехать.

В городе все дело покончилось, покуда лошади

ели овес на постоялом дворе. Порфирий Владимирыч представил отчет, по которому оказалось, что сиротского капитала, по день смерти Арины Петровны, состояло без малого двадцать тысяч рублей в пятипроцентных бумагах. Затем просьба о снятии опеки вместе с бумагами, свидетельствовавшими о совершеннолетии сирот, была принята, и тут же последовало распоряжение об упразднении опекунского управления и о сдаче имения и капиталов владелицам. В тот же день вечером Аннинька подписала все бумаги и описи, изготовленные Порфирием Владимирычем, и наконец свободно вздохнула.

Остальные дни Аннинька провела в величайшей ажитации. Ей хотелось уехать из Головлева немедленно, сейчас же, но дядя на все ее порывания отвечал шуточками, которые, несмотря на добродушный тон, скрывали за собой такое дурацкое упорство, какого никакая человеческая сила сломить не в состоянии.

— Сама сказала, что неделю поживешь, — ну и поживи! — говорил он. — Что тебе! не за квартиру платить — и без платы милости просим! И чайку попить, и покушать — все, чего тебе вздумается, все будет!

— Да ведь мне, дядя, необходимо! — отпраши-

валась Анниньку.

— Тебе не сидится, а я лошадок не дам! — шутил Иудушка. — Не дам лошадок, и сиди у меня в плену! Вот неделя пройдет — ни слова не скажу! Отстоим обеденку, поедим на дорожку, чайку попьем, побеседуем… Наглядимся друг на друга — и с Богом! Да вот что! не съездить ли тебе опять на могилку в Воплино? Все бы с бабушкой простилась, — может, покойница и благой бы совет тебе подала!

— Пожалуй! — согласилась Анниньку.

— Так мы вот как сделаем: в среду раненько здесь обеденку отслушаем да на дорожку пообедаем, а потом мои лошадки довезут тебя до Погорелки, а оттуда до Двориков уж на своих, на погорелковских лошадках поедешь. Сама помещица! свои лошадки есть!

Приходилось смириться. Пошлость имеет громадную силу; она всегда застает свежего человека врасплох, и, в то время как он удивляется и осматривается, она быстро опутывает его и забирает в свои тиски. Всякому, вероятно, случалось, проходя мимо клоаки, не только зажимать нос, но и стараться не дышать; точно такое же насилие должен делать над собой человек, когда вступает в область, насыщенную празднословием и пош-

лостью. Он должен притупить в себе зрение, слух, обоняние, вкус; должен победить всякую восприимчивость, одеревенеть. Только тогда миазмы пошлости не задушат его. Аннинька поняла это, хотя и поздно; во всяком случае, она решилась предоставить дело своего освобождения из Головлева естественному ходу вещей. Иудушка до того победил ее непреоборимостью своего празднословия, что она не смела даже уклониться, когда он обнимал ее и по-родственному гладил по спине, приговаривая: вот теперь ты паинька! Она невольно каждый раз вздрагивала, когда чувствовала, что костлявая и слегка трепещущая рука его ползет по ее спине, но от дальнейших выражений гадливости ее удерживала мысль: господи! хоть бы через неделю-то отпустил! К счастию для нее, Иудушка был малый небрезгливый, и хотя, быть может, замечал ее нетерпеливые движения, но помалчивал. Очевидно, он придерживался той теории взаимных отношений полов, которая выражается пословицей: люби не люби, да почаще взглядывай!

Наконец наступил нетерпеливо ожиданный день отъезда. Аннинька поднялась чуть не в шесть часов утра, но Иудушка все-таки упредил ее. Он уже совершил обычное молитвенное

стояние и, в ожидании первого удара церковного колокола, в туфлях и халатном сюртуке слонялся по комнатам, заглядывал, подслушивал и проч. Очевидно, он был ажитирован[126] и при встрече с Анниньку как-то искоса взглянул на нее. На дворе уже было совсем светло, но время стояло скверное. Все небо было покрыто сплошными темными облаками, из которых сыпалась весенняя изморозь — не то дождь, не то снег; на почерневшей дороге поселка виднелись лужи, предвещавшие зажоры в поле; сильный ветер дул с юга, обещая гнилую оттепель; деревья обнажились от снега и беспорядочно покачивали из стороны в сторону своими намокшими голыми вершинами; господские службы почернели и словно ослизли. Порфирий Владимирыч подвел Анниньку к окну и указал рукой на картину весеннего возрождения.

— Уж ехать ли, по́лно? — спросил он. — Не остаться ли?

— Ах, нет, нет! — испуганно вскрикнула она. — Это… это… пройдет!

— Вряд ли. Ежели ты в час выедешь, то вряд ли раньше семи до Погорелки доедешь. А ночью раз-

---

[126] Notes: 126
Ажитирован (от *фр.* agiter) — сильно взволнован, возбужден.

ве можно в теперешнюю ростепель ехать — все равно придется в Погорелке ночевать.

— Ах, нет! я и ночью, я сейчас же поеду… я ведь, дядя, храбрая! да и зачем же дожидаться до часу? Дядя! голубчик! позвольте мне теперь уехать!

— А бабенька что скажет? Скажет: вот так внучка, приехала, попрыгала и даже благословиться у меня не захотела!

Порфирий Владимирыч остановился и замолчал. Некоторое время он семенил ногами на одном месте и то взглядывал на Анниньку, то опускал глаза. Очевидно, он решался и не решался что-то высказать.

— Постой-ка, я тебе что-то покажу! — наконец решился он и, вынув из кармана свернутый листок почтовой бумаги, подал его Анниньке. — На-тко, прочти!

Аннинька прочла:

«Сегодня я молился и просил Боженьку, чтоб он оставил мне мою Анниньку. И Боженька мне сказал: возьми Анниньку за полненькую тальицу и прижми ее к своему сердцу».

— Так, что ли? — спросил он, слегка побледнев.

— Фу, дядя! какие гадости! — ответила она, растерянно смотря на него.

Порфирий Владимирыч побледнел еще больше

и, произнеся сквозь зубы: «Видно, нам гусаров нужно!», перекрестился и, шаркая туфлями, вышел из комнаты.

Через четверть часа он, однако ж, возвратился как ни в чем не бывало и уж шутил с Аннинькой.

— Так как же? — говорил он. — В Воплино отсюда заедешь? с старушкой, бабенькой, проститься хочешь? простись! простись, мой друг! Это ты хорошее дело затеяла, что про бабеньку вспомнила! Никогда не нужно родных забывать, а особливо таких родных, которые, можно сказать, душу за нас полагали!

Отслушали обедню с панихидой, поели в церкви кутьи, потом домой приехали, опять кутьи поели и сели за чай. Порфирий Владимирыч, словно назло, медленнее обыкновенного прихлебывал чай из стакана и мучительно растягивал слова, разглагольствуя в промежутке двух глотков. К десяти часам, однако ж, чай кончился, и Аннинька взмолилась:

— Дядя! теперь мне можно ехать?

— А покушать? отобедать-то на дорожку? Неужто ж ты думала, что дядя так тебя и отпустит! И ни-ни! и не думай! Этого и в заводе в Головлеве не бывало! Да маменька-покойница на глаза бы

меня к себе не пустила, если б знала, что я родную племяннушку без хлеба-соли в дорогу отпустил! И не думай этого! и не воображай!

Опять пришлось смириться. Прошло, однако ж, полтора часа, а на стол и не думали накрывать. Все разбрелись; Евпраксеюшка, гремя ключами, мелькала на дворе, между кладовой и погребом; Порфирий Владимирыч толковал с приказчиком, изнуряя его беспутными приказаниями, хлопая себя по ляжкам и вообще ухищряясь как-нибудь затянуть время. Анниньку ходила одна взад и вперед по столовой, поглядывая на часы, считая свои шаги, а потом секунды: раз, два, три… По временам она смотрела на улицу и убеждалась, что лужи делаются все больше и больше.

Наконец застучали ложки, ножи, тарелки; лакей Степан пришел в столовую и кинул скатерть на стол. Но, казалось, частица праха, наполнявшего Иудушку, перешла и в него. Еле-еле он передвигал тарелками, дул в стаканы, смотрел через них на свет. Ровно в час сели за стол.

— Вот ты и едешь! — начал Порфирий Владимирыч разговор, приличествующий проводам.

Перед ним стояла тарелка с супом, но он не прикасался к ней и до того умильно смотрел на Анниньку, что даже кончик носа у него по-

краснел. Аннинька торопливо глотала ложку за ложкой. Он тоже взялся за ложку и уж совсем было погрузил ее в суп, но сейчас же опять положил на стол.

— Уж ты меня, старика, прости! — зудил он. — Ты вот на почтовых суп скушала, а я — на долгих ем. Не люблю я с Божьим даром небрежно обращаться. Нам хлеб для поддержания существования нашего дан, а мы его зря разбрасываем, — видишь, ты сколько накрошила? Да и вообще я все люблю основательно да осмотревшись делать — крепче выходит. Может быть, тебя это сердит, что я за столом через обруч — или как это там у вас называется — не прыгаю; ну да что ж делать! и посердись, ежели тебе так хочется! Посердишься-посердишься, да и простишь! И ты не все молода будешь, не все через обручи будешь скакать, и в тебе когда-нибудь опытцу прибавится — вот тогда ты и скажешь: а дядя-то, пожалуй, прав был! Так-то, мой друг. Теперь, может быть, ты слушаешь меня да думаешь: фяка-дядя! старый ворчун дядя! А как поживешь с мое — другое запоешь, скажешь: пай-дядя! добру меня учил!

Порфирий Владимирыч перекрестился и проглотил две ложки супу. Сделавши это, он опять положил ложку в тарелку и опрокинулся на

спинку стула в знак предстоящего разговора.

«Кровопийца!» — так и вертелось на языке у Анниньки. Но она сдержалась, быстро налила себе стакан воды и залпом его выпила. Иудушка словно нюхом отгадывал, что в ней происходит.

— Что! не нравится! — что ж, хоть и не нравится, а ты все-таки дядю послушай! Вот я уж давно с тобой насчет этой твоей поспешности поговорить хотел, да все недосужно было. Не люблю я в тебе эту поспешность: легкомыслие в ней видно, нерассудительность. Вот и в ту пору вы зря от бабушки уехали — и огорчить старушку не посовестились! — а зачем?

— Ах, дядя! зачем вы об этом вспоминаете! ведь это уж сделано! С вашей стороны это даже нехорошо!

— Постой! я не об том, хорошо или нехорошо, а об том, что хотя дело и сделано, но ведь его и переделать можно. Не только мы грешные, а и Бог свои действия переменяет: сегодня пошлет дождичка, а завтра вёдрышка даст! А! ну-тко! ведь не бог же знает какое сокровище — театр! Ну-тко! решись-ка!

— Нет, дядя! оставьте это! прошу вас!

— А еще тебе вот что скажу: нехорошо в тебе твое легкомыслие, но еще больше мне не

нравится то, что ты так легко к замечаниям старших относишься. Дядя добра тебе желает, а ты говоришь: оставьте! Дядя к тебе с лаской да с приветом, а ты на него фыркаешь! А между тем знаешь ли ты, кто тебе дядю дал? Ну-ко, скажи, кто тебе дядю дал?

Аннинька взглянула на него с недоумением.

— Бог тебе дядю дал — вот кто! Бог! Кабы не Бог, была бы ты теперь одна, не знала бы, как с собою поступить, и какую просьбу подать, и куда подать, и чего на эту просьбу ожидать. Была бы ты словно в лесу; один бы тебя обидел, другой бы обманул, а третий и просто-напросто посмеялся бы над тобой! А как дядя-то у тебя есть, так мы, с Божьей помощью, в один день все твое дело вокруг пальца повернули. И в город съездили, и в опеке побывали, и просьбу подали, и резолюцию получили! Так вот оно, мой друг, что дядя-то значит!

— Да я и благодарна вам, дядя!

— А коли благодарна дяде, так не фыркай на него, а слушайся. Добра тебе дядя желает, хоть иногда тебе и кажется…

Аннинька едва могла владеть собой. Оставалось еще одно средство отделаться от дядиных поучений: притвориться, что она, хоть в прин-

ципе, принимает его предложение остаться в Головлеве.

— Хорошо, дядя, — сказала она, — я подумаю. Я сама понимаю, что жить одной, вдали от родных, не совсем удобно… Но, во всяком случае, теперь я решиться ни на что не могу. Надо подумать.

— Ну видишь ли, вот ты и поняла. Да чего же тут думать! Велим лошадей распрячь, чемоданы твои из кибитки вынуть — вот и думанье все!

— Нет, дядя, вы забываете, что у меня есть сестра!

Неизвестно, убедил ли этот аргумент Порфирия Владимирыча, или вся сцена эта была ведена им только для прилику, и он сам хорошенько не знал, точно ли ему нужно, чтоб Аннинька осталась в Головлеве, или совсем это не нужно, а просто блажь в голову на минуту набрела. Но, во всяком случае, обед после этого пошел поживее. Аннинька со всем соглашалась, на все давала такие ответы, которые не допускали никакой придирки для пустословия. Тем не менее часы показывали уж половину третьего, когда обед кончился. Аннинька выскочила из-за стола, словно все время в паровой ванне высидела, и подбежала к дяде, чтоб попрощаться с ним.

Через десять минут Иудушка, в шубе и в медвежьих сапогах, провожал уж ее на крыльцо и самолично наблюдал, как усаживали барышню в кибитку.

— С горы-то полегче — слышишь! Да и в Сенькине на косогоре — смотри не вывали! — приказывал он кучеру.

Наконец Анниньку укутали, усадили и застегнули фартук у кибитки.

— А то бы осталась! — еще раз крикнул ей Иудушка, желая, чтоб и при собравшихся челядинцах все обошлось как следует, по-родственному. — По крайней мере, приедешь, что ли? говори!

Но Аннинька чувствовала себя уже свободною, и ей вдруг захотелось пошкольничать. Она высунулась из кибитки и, отчеканивая каждое слово, отвечала:

— Нет, дядя, не приеду! Страшно с вами!

Иудушка сделал вид, что не слышит, но губы у него побелели.

* * *

Освобождение из головлевского плена до такой степени обрадовало Анниньку, что она ни разу даже не остановилась на мысли, что позади

ее, в бессрочном плену, остается человек, для которого с ее отъездом порвалась всякая связь с миром живых. Она думала только об себе: что она вырвалась и что теперь ей хорошо. Влияние этого ощущения свободы было так сильно, что когда она вновь посетила воплинское кладбище, то в ней уже не замечалось и следа той нервной чувствительности, которую она обнаружила при первом посещении бабушкиной могилы. Спокойно отслушала она панихиду, без слез поклонилась могиле и довольно охотно приняла предложение священника откушать у него в хате чашку чая.

Обстановка, в которой жил воплинский батюшка, была очень убогая. В единственной чистой комнате дома, которая служила приемною, царствовала какая-то унылая нагота; по стенам было расставлено с дюжину крашеных стульев, обитых волосяной материей, местами значительно продранной, и стоял такой же диван с выпяченной спинкой, словно грудь у генерала дореформенной школы; в одном из простенков виднелся простой стол, покрытый загаженным сукном, на котором лежали исповедные книги прихода, и из-за них выглядывала чернильница с воткнутым в нее пером; в восточном углу

висел киот с родительским благословением и с зажженною лампадкой; под ним стояли два сундука с матушкиным приданым, покрытые серым, выцветшим сукном. Обоев на стенах не было; посередине одной стены висело несколько полинявших дагеротипных портретов преосвященных. В комнате пахло как-то странно, словно она издавна служила кладбищем для тараканов и мух. Сам священник, хотя человек еще молодой, значительно потускнел в этой обстановке. Жидкие беловатые волосы повисли на его голове прямыми прядями, как ветви на плакучей иве; глаза, когда-то голубые, смотрели убито; голос вздрагивал, бородка обострилась; шалоновая[127] ряска худо запахивалась спереди и висела как на вешалке. Попадья, женщина тоже молодая, от ежегодных родов казалась еще более изнуренною, нежели муж.

Тем не меньше Аннинька не могла не заметить, что даже эти забытые, изнуренные и бедные люди относятся к ней не так, как к настоящей прихожанке, а скорее с сожалением, как к заблудшей овце.

— У дяденьки побывали? — начал батюшка,

[127] Notes: 127

Шалоновый — из шалона, тонкой шерстяной ткани (по названию города шалон во Франции).

осторожно принимая чашку чая с подноса у попадьи.

— Да, почти с неделю прожила.

— Теперь Порфирий Владимирыч главный помещик по всей нашей округе сделались — нет их сильнее. Только удачи им в жизни как будто не видится. Сперва один сынок помер, потом и другой, а наконец, и родительница. Удивительно, как это они вас не упросили в Головлеве поселиться.

— Дядя предлагал, да я сама не осталась.

— Что ж так?

— Да лучше, как на свободе живешь.

— Свобода, сударыня, конечно, дело не худое, но и она не без опасностей бывает. А ежели при этом иметь в предмете, что вы Порфирию Владимирычу ближайшей родственницей, а следственно, и прямой всех его имений наследницей доводитесь, то можно бы, мнится, насчет свободы несколько и постеснить себя.

— Нет, батюшка, свой хлеб лучше. Как-то легче живется, как чувствуешь, что никому не обязан.

Батюшка тускло взглянул на нее, как будто хотел спросить: да ты, полно, знаешь ли, что такое «свой хлеб»? — но посовестился и только робко запахнул полы своей ряски.

— А много ли вы жалованья в актрисах-то получаете? — вступила в разговор попадья.

Батюшка окончательно обробел и даже заморгал в сторону попадьи. Он так и ждал, что Аннинька обидится. Но Аннинька не обиделась и без всякой ужимки ответила:

— Теперь я получаю полтораста рублей в месяц, а сестра — сто. Да бенефисы нам даются. В год-то тысяч шесть обе получим.

— Что ж так сестрице меньше дают? достоинством, что ли, они хуже? — продолжала любопытствовать матушка.

— Нет, а жанр у сестры другой. У меня голос есть, я пою — это публике больше нравится, а у сестры голос послабее — она в водевилях играет.

— Стало быть, и там тоже: кто попом, кто дьяконом, а кто и в дьячках служит?

— Впрочем, мы поровну делимся; у нас уж сначала так было условлено, чтоб деньги пополам делить.

— По-родственному? Чего же лучше, коли по-родственному? А сколько это, поп, будет? шесть тысяч рублей, ежели на месяцá разделить, сколько это будет?

— По пятисот целковых в месяц, а на двух раз-

делить — по двести по пятидесяти.

— Вона что денег-то! Нам бы и в год не прожить. А что я еще хотела вас спросить: правда ли, что с актрисами обращаются, словно бы они не настоящие женщины?

Поп совсем было всполошился и даже полы рясы распустил; но, увидев, что Анниньку относится к вопросу довольно равнодушно, подумал: «Эге! да ее, видно, и в самом деле не прошибешь!» — и успокоился.

— То есть как же это, не настоящие женщины? — спросила Анниньку.

— Ну, да вот будто целуют их, обнимают, что ли… Даже будто, когда и не хочется, и тогда они должны…

— Не целуют, а делают вид, что целуют. А об том, хочется или не хочется, — об этом и речи в этих случаях не может быть, потому что все делается по пьесе: как в пьесе написано, так и поступают.

— Хоть и по пьесе, а все-таки… Иной с слюнявым рылом лезет, на него и глядеть-то претит, а ты губы ему подставлять должна!

Анниньку невольно заалелась; в воображении ее вдруг промелькнуло слюнявое лицо храброго ротмистра Папкова, которое именно «лезло», и

увы! даже не «по пьесе» лезло!

— Вы совсем не так представляете себе, как оно на сцене происходит! — сказала она довольно сухо.

— Конечно, мы в театрах не бывали, а все-таки, чай, со всячинкой там бывает. Частенько-таки мы с попом об вас, барышня, разговариваем; жалеем мы вас, даже очень жалеем.

Аннинька молчала; священник сидел и пощипывал бородку, словно решался и сам сказать свое слово.

— Впрочем, сударыня, и во всяком звании и приятности, и неприятности бывают, — наконец высказался он, — но человек, по слабости своей, первыми восхищается, а последние старается позабыть. Для чего позабыть? а именно для того, сударыня, дабы и сего последнего напоминовения о долге и добродетельной жизни, по возможности, не иметь перед глазами.

И потом, вздохнув, присовокупил:

— А главное, сударыня, сокровище свое надлежит соблюсти!

Батюшка учительно взглянул на Анниньку; матушка уныло покачала головой, как бы говоря: где уж!

— И вот это-то сокровище, мнится, в актерском

звании соблюсти — дело довольно сумнительное, — продолжал батюшка.

Анниньку не знала, что и сказать на эти слова. Мало-помалу ей начинало казаться, что разговор этих простодушных людей о «сокровище» совершенно одинакового достоинства с разговорами господ офицеров «расквартированного в здешнем городе полка» об «la chose». Вообще же, она убедилась, что и здесь, как у дяденьки, видят в ней явление совсем особенное, к которому хотя и можно отнестись снисходительно, но в некотором отдалении, дабы «не замараться».

— Отчего у вас, батюшка, церковь такая бедная? — спросила она, чтоб переменить разговор.

— Нé с чего ей богатой быть — оттого и бедна. Помещики все по службам разъехались, а мужичкам подняться нé из чего. Да их и всех-то с небольшим двести душ в приходе!

— Вот колокол у нас чересчур уж плох! — вздохнула матушка.

— И колокол, и прочее все. Колокол-то у нас, сударыня, всего пятнадцать пудов весит, да и тот, на грех, раскололся. Не звонит, а шумит както — даже предосудительно. Покойница Арина Петровна пообещались было новый соорудить, и ежели были бы они живы, то и мы, всеконечно,

были бы теперь при колоколе.

— Вы бы дяде сказали, что бабушка обещала!

— Говорил, сударыня, и он, надо правду сказать, довольно-таки благосклонно докуку мою выслушал. Только ответа удовлетворительного не мог мне дать: не слыхал, вишь, от маменьки ничего! никогда, вишь, покойница об этом ему не говаривала! А ежели бы, дескать, слышал, то беспременно бы волю ее исполнил!

— Когда, чай, не слыхать! — молвила попадья. — Вся округа знает, а он не слыхал!

— Вот мы и живем таким родом. Прежде хоть в надежде были, а нынче и совсем без надежды остаемся. Иногда служить не́ на чем: ни просфор, ни красного вина. А об себе уж и не говорим.

Аннинька хотела встать и проститься, но на столе появился новый поднос, на котором стояли две тарелки, одна с рыжиками, другая с кусочками икры, и бутылка мадеры.

— Посидите! не обессудьте! откушайте!

Аннинька повиновалась, на́скоро проглотила два рыжичка, но отказалась от мадеры.

— Вот об чем я еще хотела вас спросить, — говорила между тем попадья, — в приходе у нас девушка одна есть, лыщевского дворового дочка; так она в Петербурге у одной актрисы в услуже-

нье была. Хорошо, говорит, в актрисах житье, только билет каждый месяц выправлять надо… правда ли это?

Анниньку смотрела во все глаза и не понимала.

— Это для свободности, — пояснил батюшка, — а впрочем, думается, что она неправду говорит. Напротив, я слышал, что многие актрисы даже пенсии от казны за службу удостоиваются.

Анниньку убедилась, что чем дальше в лес, тем больше дров, и стала окончательно прощаться.

— А мы было думали, что вы теперь из актристо выйдете? — продолжала приставать попадья.

— Зачем же?

— Все-таки. Вы — барышня. Теперь совершенные лета получили, имение свое есть — чего лучше!

— Ну, и после дяденьки вы же прямая наследница, — присовокупил батюшка.

— Нет, я здесь жить не буду.

— А мы-то как надеялись! Всё промежду себя говорили: непременно наши барышни в Погорелке жить будут! А летом у нас здесь даже очень хорошо: в лес по грибы ходить можно! — соблазняла матушка.

— У нас грибов и не в дождливое лето — очень

довольно! — вторил ей батюшка.

Наконец Анниньку уехала. По приезде в Погорелку первым ее словом было: лошадей! пожалуйста, поскорее лошадей! Но Федулыч только плечами передернул в ответ на эту просьбу.

— Чего «лошадей»! Мы еще и не кормили их! — брюзжал он.

— Да отчего ж, наконец! Ах, боже мой! точно все сговорились!

— Сговорились и есть. Как не сговориться, коли всякому видимо, что в ростепель ночью ехать нельзя. Все равно в поле, в зажоре просидите — так, по-нашему, лучше уж дома!

Бабенькины апартаменты были вытоплены. В спальной стояла совсем приготовленная постель, а на письменном столе пыхтел самовар; Афимьюшка оскребала на дне старинной бабенькиной шкатулочки остатки чая, сохранившиеся после Арины Петровны. Покуда настаивался чай, Федулыч, скрестивши руки, лицом к барышне, держался у двери, а по обеим сторонам стояли скотница и Марковна в таких позах, как будто сейчас, по первому манию руки, готовы были бежать куда глаза глядят.

— Чай-то еще бабенькин, — первый начал разговор Федулыч, — от покойницы на донышке

остался. Порфирий Владимирыч и шкатулочку собрались было увезти, да я не согласился. Может быть, барышни, говорю, приедут, так чайку испить захочется, покуда своим разживутся. Ну, ничего! еще пошутил: ты, говорит, старый плут, сам выпьешь! смотри, говорит, шкатулочку-то после в Головлево доставь! Гляди, завтра же за нею пришлет!

— Напрасно вы ему тогда не отдали.

— Зачем отдавать — у него и своего чаю много. А теперь, по крайности, мы после вас попьем. Да вот что, барышня: вы нас Порфирию Владимирычу, что ли, препоручите?

— И не думала.

— Так-с. А мы было давеча бунтовать собрались. Коли ежели, думаем, нас к головлевскому барину под начало отдадут, так все в отставку проситься будем.

— Что так? неужто дядя так страшен?

— Не очень страшен, а тиранит, слов не жалеет. Словами-то он сгноить человека может.

Аннинька невольно улыбнулась. Именно гной какой-то просачивался сквозь разглагольствования Иудушки! Не простое пустословие это было, а язва смердящая, которая непрестанно точила из себя гной.

— Ну а с собой-то вы как же, барышня, решили? — продолжал допытываться Федулыч.

— То есть, что же я должна с собой «решить»? — слегка смешалась Аннинька, предчувствуя, что ей и здесь придется выдержать разглагольствия о «сокровище».

— Так неужто же вы из актерок не выйдете?

— Нет… то есть я еще об этом не думала… Но что же дурного в том, что я, как могу, свой хлеб достаю?

— Что хорошего! по ярмаркам с торбаном ездить! пьяниц утешать! Чай, вы — барышня!

Аннинька ничего не ответила, только брови насупила. В голове ее мучительно стучал вопрос: господи! да когда же я отсюда уеду!

— Разумеется, вам лучше знать, как над собой поступить, а только мы было думали, что вы к нам возворотитесь. Дом у нас теплый, просторный — хоть в горелки играй! очень хорошо покойница бабенька его устроила! Скучно сделалось — санки запряжем, а летом — в лес по грибы ходить можно!

— У нас здесь всякие грибы есть: и рыжички, и волнушечки, и груздочки, и подосиннички — страсть сколько! — соблазнительно прошамкала Афимьюшка.

Анниньку облокотилась обеими руками на стол и старалась не слушать.

— Сказывала тут девка одна, — бесчеловечно настаивал Федулыч, — в Петербурге она в услуженье жила, так говорила, будто все ахтерки — белетные. Каждый месяц должны в части белет представлять!

Анниньку словно обожгло: целый день она всё *эти* слова слышит!

— Федулыч! — с криком вырвалось у нее. — Что я вам сделала? неужели вам доставляет удовольствие оскорблять меня?

С нее было довольно. Она чувствовала, что ее душит, что еще одно слово — и она не выдержит.

Недозволенные семейные радости

Однажды, незадолго до катастрофы с Петенькой, Арина Петровна, гостя в Головлеве, заметила, что Евпраксеюшка словно бы поприпухла. Воспитанная в практике крепостного права, при котором беременность дворовых девок служила предметом подробных и не лишенных занимательности исследований и считалась чуть не доходною статьею, Арина Петровна имела на этот счет взгляд острый и безошибочный, так что для нее достаточно было остановить глаза на туловище Евпраксеюшки, чтобы последняя, без слов и в полном сознании виновности, отвернула от нее свое загоревшееся полымем лицо.

— Ну-тка, ну-тка, сударка! смотри на меня! тяжела? — допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу; но в голосе ее не слышалось укоризны, а напротив, он звучал шутливо, почти весело, словно пахнуло на нее старым, хорошим времечком.

Евпраксеюшка не то стыдливо, не то самодовольно безмолвствовала, и только пуще и пуще алели ее щеки под испытующим взглядом Арины Петровны.

— То-то! еще вчера я смотрю — поджимаешься ты! Ходит, хвостом вертит — словно и путевая! Да ведь меня, брат, хвостами-то не обманешь! Я на пять верст вперед ваши девичьи штуки вижу! Ветром, что ли, надуло? с которых пор? Признавайся! сказывай!

Последовал подробный допрос и не менее подробное объяснение. Когда замечены первые признаки? имеется ли на примете бабушка-повитушка? знает ли Порфирий Владимирыч об ожидающей его радости? бережет ли себя Евпраксеюшка, не поднимает ли чего тяжелого? и т. д. Оказалось, что Евпраксеюшка беременна уж пятый месяц; что бабушки-повитушки на примете покуда еще нет; что Порфирию Владимирычу хотя и было докладывано, но он ничего не сказал, а только сложил руки ладонями внутрь, пошептал губами и посмотрел на образ в знак того, что все от Бога и он, Царь Небесный, сам обо всем промыслит; что, наконец, Евпраксеюшка однажды не остереглась, подняла самовар и в ту же минуту почувствовала, что внутри у нее что-то словно оборвалось.

— Однако, оглашенные вы, как я на вас посмотрю! — тужила Арина Петровна, выслушавши эти признания. — Придется, видно, мне самой в это

дело взойти! На-тко, пятый месяц беременна, а у них даже бабушки-повитушки на примете нет! Да ты хоть бы Улитке, глупая, показалась!

— И то собиралась, да барин Улитушку-то не очень…

— Вздор, сударыня, вздор! Там, провинилась ли, нет ли Улитка перед барином — это само собой! а тут этакой случай — а он на́-поди! Что нам, целоваться, что ли, с ней? Нет, неминучее дело, что мне самой придется в это дело вступиться!

Арина Петровна хотела было взгрустнуть, пользуясь этим случаем, что вот и до сих пор, даже на старости лет, ей приходится тяготы носить; но предмет разговора был так привлекателен, что она только губами чмокнула и продолжала:

— Ну, сударка, теперь только распоясывайся! Любо было кататься — попробуй-ка саночки повозить! Попробуй! попробуй! Я вот трех сынов да дочку вырастила, да пятерых детей маленькими схоронила — я знаю! Вот они где у нас, мужчинки-то, сидят! — прибавила она, ударяя себя кулаком по затылку.

И вдруг ее словно озарило.

— Батюшки! да никак еще под постный день! Постой, погоди! сосчитаю!

Начали по пальцам считать, сочли раз, другой,

третий — выходило именно как раз под постный день.

— Ну, так, так! это — святой-то человек! Ужо, погоди, подразню его! Молитвенник-то наш! в какую рюху попал! подразню! не я буду, если не подразню! — шутила старушка.

Действительно, в тот же день, за вечерним чаем, Арина Петровна в присутствии Евпраксеюшки подшучивала над Иудушкой:

— Смиренник-то наш! смотри, какую штуку удрал! Уж, и взаправду, не ветром ли крале-то твоей надуло? Ну, брат, удивил!

Иудушка сначала брезгливо пожимался при маменькиных шуточках, но, убедившись, что Арина Петровна говорит «по-родственному», «всей душой», — и сам мало-помалу повеселел.

— Проказница вы, маменька! право, проказница! — шутил и он в свою очередь; но, впрочем, по своему обыкновению, отнесся к предмету семейного разговора уклончиво.

— Чего «проказница»! серьезно об этом переговорить надо! Ведь это — какое дело-то! «Тайна» тут — вот я тебе что скажу! Хоть и не настоящим манером, а все-таки… Нет, надо очень, да и как еще очень об этом деле поразмыслить! Ты как думаешь: здесь, что ли, ей рожать велишь или в

город повезешь?

— Не знаю я, маменька, ничего я, душенька, не знаю! — уклонялся Порфирий Владимирыч. — Проказница вы! право, проказница!

— Ну, так постой же, сударка! Ужо мы с тобой на прохладе об этом деле потолкуем! И как, и что — все подробно определим! А то ведь эти мужчинки — им бы только прихоть свою исполнить, а потом отдувайся наша сестра за них, как знает!

Сделавши свое открытие, Арина Петровна почувствовала себя как рыба в воде. Целый вечер проговорила она с Евпраксеюшкой и наговориться не могла. Даже щеки у ней разгорелись, и глаза как-то по-юношески заблестели.

— Ведь это, сударка, как бы ты думала? — ведь это… Божественное! — настаивала она. — Потому что хоть и не тем порядком, а все-таки настоящим манером… Только ты у меня смотри! Ежели да под постный день — Боже тебя сохрани! засмею тебя! и со свету сгоню!

Призвали на совет и Улитушку. Сначала об настоящем деле поговорили, что и как, не нужно ли промывательное поставить или моренковой мазью живот потереть, потом опять обратились к излюбленной теме и начали по пальцам рассчитывать — и все выходило именно как раз на

постный день! Евпраксеюшка алела как маков цвет, но не отнекивалась, а ссылалась на подневольное свое положение.

— Мне что ж! — говорила она. — Мое дело — как «они» хотят! Коли ежели барин прикажут — может ли наша сестра против их приказаньев идти!

— Ну, ну, тихоня! не лебези хвостом! — шутила Арина Петровна. — Сама, чай…

Словом сказать, женщины занялись этим делом всласть. Арина Петровна целый ряд случаев из своего прошлого вспомнила и, разумеется, не преминула повествовать об них. Сначала рассказала про свои личные беременности. Как она Степкой-балбесом мучилась, как, будучи беременной Павлом Владимирычем, ездила на перекладной в Москву, чтоб дубровинского аукциона не упустить, да потом из-за этого на тот свет чуть-чуть не отправилась, и т. д., и т. д. Все ро́ды были чем-нибудь замечательны; одни только достались легко — это были роды Иудушки.

— Просто даже вот ни на эстолько тягости не чувствовала! — говорила она. — Сижу, бывало, и думаю: господи! да неужто я тяжела! И как настало время, прилегла я этак на минуточку на кровать, и уж сама не знаю как — вдруг раз-

решилась! Самый это легкий для меня сын был! Самый, самый легкий!

Потом начались рассказы про дворовых девок: скольких она сама «заставала», скольких выслеживала при помощи доверенных лиц, и преимущественно Улитушки. Старческая память с изумительною отчетливостью хранила эти воспоминания. Во всем ее прошлом, сером, всецело поглощенном мелким и крупным скопидомством, сослеживание вожделеющих дворовых девок было единственным романическим элементом, затрогивавшим какую-то живую струну.

Это была своего рода беллетристика в скучном журнале, в котором читатель ожидает встретиться с исследованиями о сухих туманах, и о месте погребения Овидия — и вдруг вместо того читает: *Вот мчится тройка удалая…* Развязки нехитрых романов девичьей обыкновенно бывали очень строгие и даже бесчеловечные (виновную выдавали замуж в дальнюю деревню, непременно за мужика-вдовца, с большим семейством; виновного — разжаловывали в скотники или отдавали в солдаты); но воспоминания об этих развязках как-то стерлись (память культурных людей относительно прошлого их поведения вообще снисходительна), а самый процесс со-

слеживания «амурной интриги» так и мелькал до сих пор перед глазами, словно живой. Да и немудрено! этот процесс, во времена о́ны, велся с таким же захватывающим интересом, с каким нынче читается фельетонный роман, в котором автор, вместо того чтоб сразу увенчать взаимное вожделение героев, на самом патетическом месте ставит точку и пишет: *продолжение впредь*.

— Немало я таки с ними мученьев приняла! — повествовала Арина Петровна. — Иная до последней минуты перемогается, лебезит — все надеется обмануть! Ну, да меня, голубушка, не перехитришь! я сама на этих делах зубы съела! — прибавляла она почти сурово, словно грозясь кому-то.

Наконец следовали рассказы из области беременностей, так сказать, политических, относительно которых Арина Петровна являлась уже не карательницей, а укрывательницей и потаковщицей.

Так, например, у папеньки Петра Иваныча, дряхлого семидесятилетнего старика, тоже «сударка» была и тоже оказалась вдруг с прибылью, и нужно было, по высшим соображениям, эту прибыль от старика утаить. А она, Арина Петровна, как на грех, была в ту пору в ссоре с братцем

Петром Петровичем, который тоже, ради каких-то политических соображений, беременность эту сслеживал и хотел старику глаза насчет «сударки» открыть.

— И как бы ты думала! почти на глазах у папеньки мы всю эту механику выполнили! Спит, голубчик, у себя в спаленке, а мы рядышком орудуем! Да шепотком, да на цыпочках! Сама я, собственными руками, и рот-то ей зажимала, чтоб не кричала, и белье-то собственными руками убирала, а сынок-то ее — прехорошенький, здоровенький такой родился! — и того, села на извозчика, да в воспитательный спровадила! Так что братец, как через неделю узнал, только ахнул: ну, сестра!

Была и еще политическая беременность: с сестрицей Варварой Михайловной дело случилось. Муж у нее в поход под турка уехал[128], а она возьми да и не остерегись! Прискакала как угорелая в Головлево — спасай, сестра!

— Ну, мы хоть в то время в контрах промежду себя были, однако я и виду ей не подала: честь честью ее приняла, утешила, успокоила, да под видом гощенья так это дело кругленько обделала,

---

[128] Notes: 128
Речь идет о войне с Турцией в 1828–1829 гг.

что муж и в могилу ушел — ничего не знал!

Так повествовала Арина Петровна, и, надо сказать правду, редкий рассказчик находил себе таких внимательных слушателей. Евпраксеюшка старалась не проронить слова, как будто бы перед ней проходили воочию перипетии какой-то удивительной волшебной сказки; что же касается до Улитушки, то она, как соучастница бóльшей части рассказываемого, только углами губ причмокивала.

Улитушка тоже расцвела и отдохнула. Тревожная была ее жизнь. С юных лет сгорала она холопским честолюбием и во сне и наяву бредила, как бы господам послужить да над своим братом покомандовать, — и все неудачно. Только что занесет, бывало, ногу на ступеньку повыше, ан ее оттуда словно невидимая сила какая шарахнет и опять втопчет в самую преисподнюю. Всеми качествами полезной барской слуги обладала она в совершенстве: была ехидна, злоязычна и всегда готова на всякое предательство, но в то же время страдала какою-то неудержимой повадливостью, которая всю ее ехидность обращала в ничто. В былое время Арина Петровна охотно пользовалась ее услугой, когда нужно было секретное расследование по девичьей сделать или вообще

сомнительное дело какое-нибудь округлить, но никогда не ценила ее заслуги и не допускала ни до какой солидной должности. Вследствие этого Улитка и жаловалась, и языком язвила; но на жалобы ее не обращалось внимания, потому что всем было ведомо, что Улитка — девка злая, сейчас тебя в преисподнюю проклянет, а через минуту, помани ее только пальцем, — она и опять прибежит, станет на задних лапках служить. Так и промыкалась она, куда-то все выбиваясь и никогда ничего не успевая достигнуть, до тех пор, пока исчезновение крепостного права окончательно не положило предела ее холопскому честолюбию.

В молодости ее был даже случай, который подавал ей надежды очень серьезные. В одну из своих побывок в Головлеве Порфирий Владимирыч свел с ней связь и даже, как гласило головлевское предание, имел от нее ребенка, за что и состоял долгое время под гневом у маменьки Арины Петровны. Поддерживалась ли эта связь впоследствии, при дальнейших наездах Иудушки в отчий дом, — неизвестно; но во всяком случае, когда Порфирий Владимирыч собрался в Головлево совсем на жительство, мечтаниям Улитушки пришлось рухнуть самым обидным образом.

Немедленно по приезде Иудушки она кинулась к нему с целым ворохом сплетен, в которых Арина Петровна обвинялась чуть не в мошенничестве; но «барин» сплетни выслушал благосклонно, а на Улитку взглянул все-таки холодно и прежней ее «заслуги» не попомнил. Обманутая в расчетах и обиженная, Улитушка перекинулась в Дубровино, где братец Павел Владимирыч, из ненависти к братцу Порфирию Владимирычу, охотно принял ее и даже сделал экономкою. Тут ее фонды как будто поправились. Павел Владимирыч сидел на антресолях и выпивал рюмку за рюмкой, а она с утра до вечера бойко бегала по кладовым и погребам, гремела ключами, громко язычничала и даже завела какие-то контры с Ариной Петровной, которую чуть не сжила со свету.

Но Улитушка слишком любила всякие предательства, чтобы в тишине пользоваться выпавшим на ее долю хорошим житьем. Это было то самое время, когда Павел Владимирыч испивал уже настолько, что можно было с известными надеждами относиться к исходу этого беспробудного пьянства. Порфирий Владимирыч понял, что в таком положении дела Улитушка представляет неоцененный клад, — и вновь поманил ее пальцем. Ей было дано из Головлева приказа-

ние — не отходить ни на шаг от облюбованной жертвы, ни в чем ей не противоречить, даже в ненависти к братцу Порфирию Владимирычу, а только всеми мерами устранять вмешательство Арины Петровны. Это было одно из тех родственных злодейств, на которые Иудушка не то чтоб решался по зрелом размышлении, а как-то само собой проделывал, как самую обыкновенную затею. Излишне было бы говорить, что Улитушка выполнила поручение в точности. Павел Владимирыч не переставал ненавидеть брата, но чем больше он ненавидел, тем больше пил и тем меньше становился способен выслушивать какие-либо замечания Арины Петровны насчет «распоряжения». Каждое движение умирающего, каждое его слово немедленно делались известными в Головлеве, так что Иудушка мог с полным знанием дела определить минуту, когда ему следует выйти из-за кулис и появиться на сцену настоящим господином созданного им положения. И он воспользовался этим, то есть нагрянул в Дубровино именно тогда, когда оно, так сказать, само отдалось ему в руки.

За эту услугу Порфирий Владимирыч подарил Улитушке шерстяной материи на платье, но до себя все-таки не допустил. Опять шарахнулась

Улитушка с высоты величия в преисподнюю, и на этот раз, казалось, так, что уж никто на свете ее никогда не поманит пальцем.

В виде особенной милости за то, что она «за братцем в последние минуты ходила», Иудушка отделил ей угол в избе, где вообще ютились оставшиеся по упразднении крепостного права заслуженные дворовые. Там Улитушка окончательно смирилась, так что когда Порфирий Владимирыч облюбовал Евпраксеюшку, то она не только не выказала никакой строптивости, но даже первая пришла к «бариновой сударке» на поклон и поцеловала ее в плечико.

И вдруг, в ту минуту, когда она уже сама сознавала себя забытою и заброшенною, — ей опять посчастливилось: Евпраксеюшка забеременела. Вспомнили, что где-то в людской избе ютится «золотой человек», и поманили его пальцем. Правда, не сам «барин» поманил, но и того уж достаточно, что он не попрепятствовал. Улитушка ознаменовала свое вступление в господский дом тем, что взяла у Евпраксеюшки из рук самовар и с форсом и несколько избочась принесла его в столовую, где в то время сидел и Порфирий Владимирыч. И «барин» — не сказал ни слова. Ей показалось, что он даже улыбнулся, когда в другой раз, с тем

же самоваром в руках, она встретила его в коридоре и еще издали закричала:

— Барин! посторонись — ожгу!

Призванная Ариной Петровной на семейный совет, Улитушка некоторое время кобенилась и не хотела сесть. Но когда Арина Петровна ласково на нее прикрикнула:

— Садись-ко! садись! нечего штуки-фигуры выкидывать! Царь всех нас ровными сделал — садись! — то и она села, сначала смирнехонько, а потом и язык распустила.

Эта женщина тоже припоминала. Много всякого гною скопилось в ее памяти из прежней крепостной практики. Независимо от выполнения деликатных поручений по предмету сслеживания девичьих вожделений, Улитушка состояла в головлевском доме в качестве аптекарши и лекарки. Сколько она поставила в своей жизни горчичников, рожков и в особенности клистиров! Ставила она клистиры и старому барину Владимиру Михайлычу, и старой барыне Арине Петровне, и молодым барчукам всем до единого — и сохранила об этом самые благодарные воспоминания. И вот теперь для этих воспоминаний представилось почти неоглядное поле…

Головлевский дом как-то таинственно оживился. Арина Петровна то и дело наезжала из Погорелки к «доброму сыну», и под ее надзором деятельно шли приготовления, которым покуда не давалось еще названия. После вечернего чая все три женщины забирались в Евпраксеюшкину комнату, лакомились домашним вареньем, играли в дураки и до поздних петухов предавались воспоминаниям, от которых «сударка» по временам шибко алела. Всякий самый ничтожный случай служил поводом к новым и новым рассказам. Подаст Евпраксеюшка вареньица малинового — Арина Петровна расскажет, как она, будучи беременна дочкой Сонькой, даже запаху малины выносить не могла.

— Только в дом принесут — я уж и слышу, что ее принесли! Так вот благим матом и кричу: вон! вон ее, проклятую, несите! А после, как выпросталась, — и опять ничего! и опять полюбила!

Принесет Евпраксеюшка икорки закусить — Арина Петровна и насчет икорки случай вспомнит.

— А вот с икоркой у меня случай был — так именно диковинный! В ту пору я — с месяц ли, с два ли я только что замуж вышла — и вдруг так ли мне этой икры захотелось, вынь да положь!

Заберусь это, бывало, потихоньку в кладовую и все ем, все ем! Только и говорю я своему благоверному: что, мол, это, Владимир Михайлыч, значит, что я все икру ем? А он этак улыбнулся и говорит: «Да ведь ты, мой друг, тяжела!» И точно, ровно через девять месяцев после того я и выпросталась, Степку-балбеса родила!

Порфирий Владимирыч между тем продолжал с прежнею загадочностью относиться к беременности Евпраксеюшки и даже ни разу не высказался определенно относительно своей прикосновенности к этому делу. Весьма естественно, что это стесняло женщин, мешало их излияниям, и потому Иудушку почти совсем обросили и без церемонии гнали вон, когда он заходил вечером на огонек в Евпраксеюшкину комнату.

— Ступай-ка, ступай, молодец! — весело говорила Арина Петровна. — Ты свое дело сделал, теперь наше, женское дело наступило! На нашей улице праздник!

Иудушка смиренно удалялся, и хотя при этом не упускал случая попенять доброму другу маменьке, что она сделалась к нему немилостива, но в глубине души был очень доволен, что его не тревожат и что Арина Петровна приняла горячее участие в затруднительном для него обстоятель-

стве. Если б этого участия не было — бог знает, что бы ему пришлось предпринять, чтобы смять это пакостное дело, при одном воспоминании о котором он ежился и отплевывался. А теперь, благодаря опытности Арины Петровны и ловкости Улитушки, он надеялся, что «беда» пройдет без огласки и что ему самому, быть может, придется узнать о результате ее, когда уже все совсем будет кончено.

* * *

Расчеты Порфирия Владимирыча, однако ж, не оправдались. Сначала случилась катастрофа с Петенькой, а невдолге за нею последовала и смерть Арины Петровны. Приходилось расплачиваться самолично, и притом без всякой надежды на какую-нибудь паскудную комбинацию. Нельзя было отослать Евпраксеюшку, яко непотребную, к родным, потому что благодаря вмешательству Арины Петровны дело зашло слишком далеко и было у всех на знати́. На усердие Улитушки тоже надежда была плоха, потому что хоть она и ловкая девка, но ежели ей довериться, то, пожалуй, и от судебного следователя потом не убережешься. В первый раз в жизни Иудушка серьезно и искренно возроптал на свое одиночество, в первый

раз смутно понял, что окружающие люди — не просто пешки, годные только на то, чтоб морочить их.

«И что бы ей стоило крошечку погодить, — сетовал он втихомолку на милого друга маменьку, — устроила бы все как следует, умнехонько да смирнехонько — и Христос бы с ней! Пришло время умирать — делать нечего! жалко старушку, да коли так Богу угодно, и слезы наши, и доктора, и лекарства наши, и мы все — всё против воли Божией бессильно! Пожила старушка, попользовалась! И сама барыней век прожила, и детей господами оставила! Пожила, и будет!»

И, по обыкновению, суетливая его мысль, не любившая задерживаться на предмете, представляющем какие-нибудь практические затруднения, сейчас же перекидывалась в сторону, к предмету более легкому, по поводу которого можно было празднословить бессрочно и беспрепятственно.

«И как ведь скончалась-то, именно только праведники такой кончины удостоиваются! — лгал он самому себе, сам, впрочем, не понимая, лжет он или говорит правду. — Без болезни, без смуты… так! Вздохнула — смотрим, а ее уж и нет! Ах, маменька, маменька! И улыбочка на лице, и румянчик… И ручка сложена, как будто благосло-

вить хочет, и глазки закрыла… адье!»

И вдруг, в самом разгаре жалостливых слов, опять словно кольнет его. Опять эта пакость… тьфу! тьфу! тьфу! Ну что бы стоило маменьке крошечку повременить! И всего-то с месяц, а может быть, и меньше осталось — так вот на́-поди!

Некоторое время пробовал было он и на вопросы Улитушки так же отнекиваться, как отнекивался перед милым другом маменькой: не знаю! ничего я не знаю! Но к Улитушке, как бабе наглой и притом же почувствовавшей свою силу, не так-то легко было подойти с подобными приемами.

— Я, что ли, знаю! я, что ли, кузов-то строила! — на первых же порах обрезала она его так, что он понял, что отныне расчеты на счастливое соединение роли прелюбодея с ролью постороннего наблюдателя результатов собственного прелюбодеяния окончательно рухнули для него.

Беда надвигалась все ближе и ближе, беда неминучая, почти осязаемая! Она преследовала его ежеминутно и, что всего хуже, парализовала его пустомыслие. Он употреблял всевозможные усилия, чтоб смять представление об ней, утопить его в потоке праздных слов, но это удавалось ему только отчасти. Пробовал он как-нибудь

спрятаться за непререкаемость законов высшего произволения и, по обыкновению, делал из этой темы целый клубок, который бесконечно разматывал, припутывая сюда и притчу о волосе, с человеческой головы не падающем, и легенду о здании, на песце строимом; но в ту самую минуту, когда праздные мысли беспрепятственно скатывались одна за другой в какую-то загадочную бездну, когда бесконечное разматывание клубка уж казалось вполне обеспеченным, — вдруг, словно из-за угла, врывалось одно слово и сразу обрывало нитку. Увы! это слово было «прелюбодеяние» и обозначало такое действие, в котором Иудушка и перед самим собой сознаться не хотел.

И вот, когда, после тщетных попыток забыть и убить, делалось наконец ясным, что он пойман, — на него нападала тоска. Он принимался ходить по комнате, ни об чем не думая, а только ощущая, что внутри у него сосет и дрожит.

Это была совсем новая узда, которую в первый раз в жизни узнало его праздномыслие. До сих пор, в какую бы сторону ни шла его пустопорожняя фантазия, повсюду она встречала лишенное границ пространство, на протяжении которого складывались всевозможные комбинации. Даже

погибель Володьки, Петьки, даже смерть Арины Петровны не затрудняли его праздномыслия. Это были факты обыкновенные, общепризнанные, для оценки которых существовала и обстановка общепризнанная, искони обусловленная. Панихиды, сорокоусты, поминальные обеды и проч. — все это он, по обычаю, отбыл как следует и всем этим, так сказать, оправдал себя и перед людьми, и перед Провидением. Но прелюбодеяние… это что же такое? Ведь это — обличение целой жизни, это — обнаружение ее внутренней лжи! Хотя и прежде его разумели кляузником, положим даже — «кровопивцем», но во всей этой людской мóлви было так мало юридической подкладки, что он мог с полным основанием возразить: докажи! И вдруг теперь… прелюбодей! Прелюбодей уличенный, несомненный (он даже *мер* никаких, по милости Арины Петровны (ах, маменька! маменька!), не принял, даже солгать не успел), да еще и «под постный день»… тьфу!.. тьфу! тьфу!

В этих внутренних собеседованиях с самим собою, как ни запутано было их содержание, замечалось даже что-то похожее на пробуждение совести. Но представлялся вопрос: пойдет ли Иудушка дальше по этому пути, или же пусто-

мыслие и тут сослужит ему обычную службу и представит новую лазейку, благодаря которой он, как и всегда, успеет выйти сухим из воды?

Покуда Иудушка изнывал таким образом под бременем пустоутробия, в Евпраксеюшке мало-помалу совершался совсем неожиданный внутренний переворот. Ожидание материнства, по-видимому, разрешило умственные узы, связывавшие ее. До сих пор она ко всему относилась безучастно, а на Порфирия Владимирыча смотрела как на «барина», к которому у ней существовали подневольные отношения. Теперь она впервые что-то поняла, нечто вроде того, что у нее свое дело есть, в котором она — «сама большая» и где помыкать ею безвозбранно нельзя. Вследствие этого даже выражение ее лица, обыкновенно тупое и нескладное, как-то осмыслилось и засветилось.

Смерть Арины Петровны была первым фактом в ее полубессознательной жизни, который подействовал на нее отрезвляющим образом. Как ни своеобразны были отношения старой барыни к предстоящему материнству Евпраксеюшки, но все-таки в них просвечивало несомненное участие, а не одна паскудно-гадливая уклончивость, которая встречалась со стороны Иудушки. Поэто-

му Евпраксеюшка начала видеть в Арине Петровне что-то вроде засту́пы, как бы подозревая, что впереди готовится на нее какое-то нападение. Предчувствие этого нападения преследовало ее тем упорнее, что оно не было освещено сознанием, а только наполняло все ее существо постоянною тоскливою смутой. Мысль была недостаточно сильна, чтоб указать прямо, откуда придет нападение и в чем оно будет состоять; но инстинкты уже были настолько взбудоражены, что при виде Иудушки чувствовался безотчетный страх. Да, оно придет оттуда! — отзывалось во всех сердечных ее тайниках, — оттуда, из этого наполненного прахом гроба, к которому она доселе была приставлена, как простая наймитка, и который каким-то чудом сделался отцом и властелином ее ребенка! Чувство, которое пробуждалось в ней при этой последней мысли, было похоже на ненависть и даже непременно перешло бы в ненависть, если б не находило для себя отвлечения в участии Арины Петровны, которая добродушной своей болтовней не давала ей времени задуматься.

Но вот Арина Петровна сначала удалилась в Погорелку, а наконец и совсем угасла. Евпраксеюшке сделалось совсем жутко. Тишина, в

которую погрузился головлевский дом, нарушалась только шуршаньем, возвещавшим, что Иудушка, крадучись и подобравши полы халата, бродит по коридору и подслушивает у дверей. Изредка кто-нибудь из челядинцев набежит со двора, хлопнет дверью в девичьей, и опять изо всех углов так и ползет тишина. Тишина мертвая, наполняющая существо суеверною, саднящею тоской. А так как Евпраксеюшка в это время была уже на сносях, то для нее не существовало даже ресурса хозяйственных хлопот, которые в былое время настолько утомляли ее физически, что она к вечеру ходила уже как сонная. Пробовала было она приласкаться к Порфирию Владимирычу, но попытки эти каждый раз вызывали краткие, но злобные сцены, которые даже на ее неразвитую натуру действовали мучительно. Поэтому приходилось сидеть сложа руки и думать, то есть тревожиться. А поводы для тревоги с каждым днем становились все больше и больше, потому что смерть Арины Петровны развязала руки Улитушке и ввела в головлевский дом новый элемент сплетен, сделавшихся отныне единственным живым делом, на котором отдыхала душа Иудушки.

Улитушка поняла, что Порфирий Владимирыч трусит и что в этой пустоутробной и изолгав-

шейся натуре трусость очень близко граничит с ненавистью. Сверх того, она отлично знала, что Порфирий Владимирыч не способен не только на привязанность, но даже и на простое жаленье; что он держит Евпраксеюшку лишь потому, что благодаря ей домашний обиход идет не сбиваясь с однажды намеченной колеи. Заручившись этими несложными данными, Улитушка имела полную возможность ежеминутно питать и лелеять то чувство ненависти, которое закипало в душе Иудушки каждый раз, когда что-нибудь напоминало ему о предстоящей «беде».

В скором времени целая сеть сплетен опутала Евпраксеюшку со всех сторон. Улитушка то и дело «докладывала» барину. То придет пожалуется на безрассудное распоряжение домашнею провизией.

— Чтой-то, барин, как у вас добра много выходит! Давеча пошла я на погреб за солониной; думаю, давно ли другую кадку зачали — смотрю, ан ее там куска с два ли, с три ли на донышке лежит!

— Неужто? — уставлялся в нее глазами Иудушка.

— Кабы не сама своими глазами видела — не поверила бы! Даже удивительно, куда этакая

прорва идет! Масла, круп, огурцов — всего! У других господ кашу-то людям с гусиным жиром дают — таковские! — а у нас — все с маслом, да все с чухонскиим!

— Неужто? — почти пугался Порфирий Владимирыч.

То придет и невзначай о барском белье доложит:

— Вы бы, баринушка, остановили Евпраксеюшку-то. Конечно, дело ее — девичье, непривычное, а вот хоть бы насчет белья… Целые вороха она этого белья извела на простыни да на пеленки, а белье-то все тонкое.

Порфирий Владимирыч только сверкнет глазами в ответ, но вся его пустая утроба так и повернется при этих словах.

— Известно, младенца своего жалеет! — продолжает Улитушка медоточивым голосом. — Думает, и невесть что случилось… прынец народится! А между прочиим, мог бы он, младенец-то, и на посконных[129] простыньках уснуть… в ихним звании!

Иногда она даже попросту поддразнивала Иудушку.

---

[129] Notes: 129

Посконный — сшитый из посконины (домотканого холста).

— А что я вас хотела, баринушка, спросить, — начинала она, — как вы насчет младенца-то располагаете? сынком, что ли, своим его сделаете или, по примеру прочиих, в воспитательный…

Но Порфирий Владимирыч в самом начале прерывал вопрос таким мрачным взглядом, что Улитушка умолкала.

И вот, посреди закипавшей со всех сторон ненависти, все ближе и ближе надвигалась минута, когда появление на свет крошечного, плачущего «раба Божия» должно было разрешить чем-нибудь царствовавшую в головлевском доме нравственную сумятицу и в то же время увеличить собой число прочих плачущих «рабов Божиих», населяющих вселенную.

* * *

Седьмой час вечера. Порфирий Владимирыч успел уже выспаться после обеда и сидит у себя в кабинете, исписывая цифирными выкладками листы бумаги. На этот раз его занимает вопрос: сколько было бы у него теперь денег, если б маменька Арина Петровна подаренные ему при рождении дедушкой Петром Иванычем, на зубок, сто рублей ассигнациями не присвоила себе, а положила бы вкладом в ломбард на имя малолет-

него Порфирия? Выходит, однако, немного: всего восемьсот рублей ассигнациями.



— Положим, что капитал и небольшой, — праздномыслит Иудушка, — а все-таки хорошо, когда знаешь, что про черный день есть. Занадобилось — и взял. Ни у кого не попросил, никому не поклонился — сам взял, свое, кровное, дедушкой подаренное! Ах, маменька! маменька! и как это вы, друг мой, так, очертя голову, действовали!

Увы! Порфирий Владимирыч уже успокоился от тревог, которые еще так недавно парализовали его праздномыслие. Своеобразные проблески совести, пробужденные затруднениями, в которые его поставили беременность Евпраксеюшки и нежданная смерть Арины Петровны, мало-помалу затихли. Пустомыслие сослужило и тут свою обычную службу, и Иудушке в конце концов удалось-таки, с помощью неимоверных усилий, утопить представление о «беде» в бездне праздных слов. Нельзя сказать, чтоб он сознательно на что-нибудь решился, но как-то сама собой вдруг вспомнилась старая, излюбленная формула: «Ничего я не знаю! ничего я не позволяю и ничего не разрешаю!» — к которой он всегда прибегал в затруднительных обстоятельствах, и очень скоро положила конец внутренней сумятице, временно взволновавшей его. Теперь он уж смотрел на предстоящие роды как на дело, до него не относя-

щееся, а потому и самому лицу своему постарался сообщить выражение бесстрастное и непроницаемое. Он почти игнорировал Евпраксеюшку и даже не называл ее по имени, а ежели случалось иногда спросить об ней, то выражался так: «А что *та*… все еще больна?» Словом сказать, оказался настолько сильным, что даже Улитушка, которая в школе крепостного права довольно-таки понаторела в науке сердцеведения, поняла, что бороться с таким человеком, который на все готов и на все согласен, совершенно нельзя.

Головлевский дом погружен в тьму; только в кабинете у барина, да еще в дальней боковушке, у Евпраксеюшки, мерцает свет. На Иудушкиной половине царствует тишина, прерываемая щелканьем на счетах да шуршаньем карандаша, которым Порфирий Владимирыч делает на бумаге цифирные выкладки. И вдруг, среди общего безмолвия, в кабинет врывается отдаленный, но раздирающий стон. Иудушка вздрагивает; губы его моментально трясутся; карандаш делает неподлежащий штрих.

— Сто двадцать один рубль да двенадцать рублей десять копеек… — шепчет Порфирий Владимирыч, усиливаясь заглушить неприятное впечатление, произведенное стоном.

Но стоны повторяются чаще и чаще и делаются наконец беспокойными. Работа становится настолько неудобною, что Иудушка оставляет письменный стол. Сначала он ходит по комнате, стараясь не слышать; но любопытство мало-помалу берет верх над пустоутробием. Потихоньку приотворяет он дверь кабинета, просовывает голову в тьму соседней комнаты и в выжидательной позе прислушивается.

«Ахти! никак и лампадку перед иконой „Утоли моя печали“ засветить позабыли!» — мелькает у него в голове.

Но вот послышались в коридоре чьи-то ускоренные, тревожные шаги. Порфирий Владимирыч поспешно юркнул головой опять в кабинет, осторожно притворил дверь и на цыпочках рысцой подошел к образу. Через секунду он уже был «при всей форме», так что когда дверь распахнулась и Улитушка вбежала в комнату, то она застала его стоящим на молитве со сложенными руками.

— Как бы Евпраксеюшка-то у нас Богу душу не отдала! — сказала Улитушка, не побоявшись нарушить молитвенное стояние Иудушки.

Но Порфирий Владимирыч даже не обернулся к ней, а только поспешнее обыкновенного зашевелил губами и вместо ответа помахал одной

рукой в воздухе, словно отмахиваясь от назойливой мухи.

— Что рукою-то дрыгаете! плоха, говорю, Евпраксеюшка, того гляди помрет! — грубо настаивала Улитушка.

На сей раз Иудушка обернулся, но лицо у него было такое спокойное, елейное, как будто он только что, в созерцании Божества, отложил всякое житейское попечение и даже не понимает, по какому случаю могут тревожить его.

— Хоть и грех, по молитве, бранить, но как человек не могу не попенять: сколько раз я просил не тревожить меня, когда я на молитве стою! — сказал он приличествующим молитвенному настроению голосом, позволив себе, однако, покачать головой в знак христианской укоризны. — Ну что еще такое у вас там?

— Чему больше быть: Евпраксеюшка мучится, разродиться не может! точно в первый раз слышите… ах, вы! хоть бы взглянули!

— Что же смотреть! доктор я, что ли? совет, что ли, дать могу? Да и не знаю я, никаких я ваших дел не знаю! Знаю, что в доме больная есть, а чем больна и отчего больна — об этом и узнавать, признаться, не любопытствовал! Вот за батюшкой послать, коли больная трудна, — это

я присоветовать могу! Пошлете за батюшкой, вместе помолитесь, лампадочки у образов засветите… а после мы с батюшкой чайку попьем!

Порфирий Владимирыч был очень доволен, что он в эту решительную минуту так категорически выразился. Он смотрел на Улитушку светло и уверенно, словно говорил: а ну-тка, опровергни теперь меня! Даже Улитушка не нашлась ввиду этого благодушия.

— Пришли бы! взглянули бы! — повторила она в другой раз.

— Не приду, потому что ходить незачем. Кабы за делом, я бы и без зова твоего пошел. За пять верст нужно по делу идти — за пять верст пойду; за десять верст нужно — и за десять верст пойду! И морозец на дворе, и метелица, а я все иду да иду! Потому знаю: дело есть, нельзя не идти!

Улитушке думалось, что она спит и в сонном видении сам Сатана предстал перед нею и разглагольствует.

— Вот за попом послать, это — так. Это дельно будет. Молитва — ты знаешь ли, что об молитвето в Писании сказано? Молитва — *недугующих исцеление* — вот что сказано! Так ты так и распорядись! Пошлите за батюшкой, помолитесь вместе… и я в это же время помолюсь! Вы там, в

образной, помолитесь, а я здесь, у себя, в кабинете, у Бога милости попрошу… Общими силами: вы там, я тут — смотришь, ан молитва-то и дошла!

Послали за батюшкой, но, прежде нежели он успел прийти, Евпраксеюшка, в терзаниях и муках, уж разрешилась. Порфирий Владимирыч мог догадаться по беготне и хлопанью дверьми, которые вдруг поднялись в стороне девичьей, что случилось что-нибудь решительное. И действительно, через несколько минут в коридоре вновь послышались торопливые шаги, и вслед за тем в кабинет на всех парусах влетела Улитушка, держа в руках крохотное существо, завернутое в белье.

— На-тко те! Погляди-тко те! — возгласила она торжественным голосом, поднося ребенка к самому лицу Порфирия Владимирыча.

Иудушку на мгновение словно бы поколебало, даже корпус его пошатнулся вперед, и в глазах блеснула какая-то искорка. Но это было именно только на одно мгновение, потому что вслед за тем он уже брезгливо отвернул свое лицо от младенца и обеими руками замахал в его сторону.

— Нет, нет! боюсь я их… не люблю! ступай… ступай! — лепетал он, выражая всем лицом своим бесконечную гадливость.

— Да вы хоть бы спросили: мальчик или девочка? — увещевала его Улитушка.

— Нет, нет… и незачем… и не мое это дело! Ваши это дела, а я не знаю… Ничего я не знаю, и знать мне не нужно… Уйди от меня, ради Христа! уйди!

Опять сонное видение, и опять Сатана… Улитушку даже взорвало.

— А вот я возьму да на диван вам и брошу… нянчитесь с ним! — пригрозила она.

Но Иудушка был не такой человек, которого можно было пронять. В то время когда Улитушка произносила свою угрозу, он уже повернулся лицом к образам и скромно воздевал руками. Очевидно, он просил Бога простить всем: и тем, «иже ведением и неведением», и тем, «иже словом, и делом, и помышлением», а за себя благодарил, что он — не тать, и не мздоимец, и не прелюбодей и что Бог, по милости своей, укрепил его на стезе праведных. Даже нос у него вздрагивал от умиления, так что Улитушка, наблюдавшая за ним, плюнула и ушла.

— Вот одного Володьку Бог взял — другого Володьку дал! — как-то совсем некстати сорвалось у него с мысли; но он тотчас же подметил эту неожиданную игру ума и мысленно проговорил: «Тьфу! тьфу! тьфу!»

Пришел и батюшка, попел и покадил. Иудушка слышал, как дьячок тянул: «Заступница усердная!» — и сам разохотился — подтянул дьячку. Опять прибежала Улитушка, крикнула в дверь:

— Володимером назвали!

Странное совпадение этого обстоятельства с недавнею аберрацией мысли, тоже напоминавшей о погибшем Володьке, умилило Иудушку. Он увидел в этом Божеское произволение и, на этот раз уже не отплевываясь, сказал самому себе:

— Вот и слава богу! одного Володьку Бог взял, другого — дал! Вот оно, Бог-то! В одном месте теряешь, думаешь, что и не найдешь, — ан Бог-то возьмет да в другом месте сторицей вознаградит!

Наконец доложили, что самовар подан и батюшка ожидает в столовой. Порфирий Владимирыч окончательно стих и умилился. Отец Александр действительно уже сидел в столовой, в ожидании Порфирия Владимирыча. Головлевский батюшка был человек политичный и старавшийся придерживаться в сношениях с Иудушкой светского тона; но он очень хорошо понимал, что в господской усадьбе еженедельно и под большие праздники совершаются всенощные бдения, а сверх того, каждое 1-е число служится молебен и

что все это доставляет причту не менее ста рублей в год дохода. Кроме того, ему небезызвестно было, что церковная земля еще не была надлежащим образом отмежевана и что Иудушка не раз, проезжая мимо поповского луга, говаривал: «Ах, хорош лужок!» Поэтому в светское обращение батюшки примешивалась и немалая доля «страха иудейска», который выражался в том, что батюшка при свиданиях с Порфирием Владимирычем старался приводить себя в светлое и радостное настроение, хотя бы и не имел повода таковое ощущать, и когда последний в разговоре позволял себе развивать некоторые ереси относительно путей Провидения, предбудущей жизни и прочего, то, не одобряя их прямо, видел, однако, в них не кощунство или богохульство, но лишь свойственное дворянскому званию дерзновение ума.

Когда Иудушка вошел, батюшка торопливо благословил его и еще торопливее отдернул руку, словно боялся, что кровопивец укусит ее. Хотел было он поздравить своего духовного сына с новорожденным Владимиром, но подумал, как-то еще отнесется к этому обстоятельству сам Иудушка, и остерегся.

— Мжица на дворе ныне, — начал батюшка, — по народным приметам, в коих, впрочем,

частицею и суеверие примечается, оттепель таковая погода предзнаменует.

— А может быть, и мороз; мы загадываем про оттепель — а Бог возьмет да морозцу пошлет! — возразил Иудушка, хлопотливо и даже почти весело присаживаясь к чайному столу, за которым на сей раз хозяйничал лакей Прохор.

— Это точно, что человек нередко в мечтании своем стремится недосягаемая досягнуть и к недоступному доступ найти. А вследствие того, или повод для раскаяния, или и самую скорбь для себя обретает.

— А потому и надо нам от гаданий да от заглядываний подальше себя держать, а быть довольными тем, что Бог пошлет. Пошлет Бог тепла — мы теплу будем рады; пошлет Бог морозцу — и морозцу милости просим! Велим пожарче печечки натопить, а которые в путь шествуют, те в шубки покрепче завернутся — вот и тепленько нам будет!

— Справедливо!

— Многие нынче любят кругом да около ходить: и то не так, и другое не по-ихнему, и третье вот этак бы сделать, а я этого не люблю. И сам не загадываю, и в других не похвалю. Высокоумие это — вот я какой взгляд на такие попытки

имею!

— И это справедливо.

— Мы все здесь — странники; я так на себя и смотрю! Вот чайку попить, закусить что-нибудь легонькое… это нам дозволено! Потому Бог нам тело и прочие части дал… Этого и правительство нам не воспрещает: кушать кушайте, а язык за зубами держите!

— И опять-таки вполне справедливо! — крякнул батюшка и от внутреннего ликования стукнул об блюдечко донышком опорожненного стакана.

— Я так рассуждаю, что ум дан человеку не для того, чтоб испытывать неизвестное, а для того, чтоб воздерживаться от грехов. Вот ежели я, например, чувствую плотскую немощь или смущение и призываю на помощь ум: укажи, мол, пути, как мне ту немощь побороть, — вот тогда я поступаю правильно! Потому что в этих случаях ум действительно пользу оказать может.

— А больше все-таки вера, — слегка поправил батюшка.

— Вера — сама по себе, а ум сам по себе. Вера на цель указывает, а ум — пути изыскивает. Туда толкнется, там постучится… блуждает, а между тем и полезное что-нибудь отыщет. Вот лекарства разные, травы целебные, пластыри, декокты —

все это ум изобретает и открывает. Но надобно, чтоб все было согласно с верою — на пользу, а не на вред.

— И против этого возразить ничего не могу!

— Я, батя, книжку одну читал, так там именно сказано: услугами ума, ежели оный верою направляется, отнюдь не следует пренебрегать, ибо человек без ума в скором времени делается игралищем страстей. А я даже так думаю, что и первое грехопадение человеческое оттого произошло, что дьявол, в образе змия, рассуждение человеческое затмил.

Батюшка на это не возражал, но и от похвалы воздержался, потому что не мог себе еще уяснить, к чему склоняется Иудушкина речь.

— Часто мы видим, что люди не только впадают в грех мысленный, но и преступления совершают — и всё через недостаток ума. Плоть искушает, а ума нет — вот и летит человек в пропасть. И сладенького-то хочется, и веселенького, и приятненького, а в особенности ежели женский пол… ка́к тут без ума убереги́сь! А коли ежели у меня есть ум, я взял канфарки или маслица; там потер, в другом месте подсыпал — смотришь, искушение-то с меня как рукой сняло!

Иудушка замолчал, как бы выжидая, что скажет

на это батюшка, но батюшка все еще недоумевал, к чему клонится Иудушкина речь, и потому только крякнул и без всякого резона сказал:

— Вот у меня на дворе куры… Суетятся, по случаю солноворота; бегают, мечутся, места нигде сыскать не могут…

— И все оттого, что ни у птиц, ни у зверей, ни у пресмыкающих — ума нет. Птица — это что такое? Ни у ней горя, ни заботушки — летает себе! Вот давеча смотрю в окно: копаются воробьи носами в навозе — и будет с них! А человеку — этого мало!

— Однако в иных случаях и Писание на птиц небесных указывает!

— В иных случаях — это так. В тех случаях, когда и без ума вера спасает, — тогда птицам подражать нужно. Вот Богу молиться, стихи сочинять…

Порфирий Владимирыч умолк. Он был болтлив по природе, и, в сущности, у него так и вертелось на языке происшествие дня. Но, очевидно, не созрела еще форма, в которой приличным образом могли быть выражены разглагольствия по этому предмету.

— Птицам ум не нужен, — наконец сказал он, — потому что у них соблазнов нет. Или, луч-

ше сказать, есть соблазны, да никто с них за это не взыскивает. У них все натуральное: ни собственности нет, за которой нужно присмотреть, ни законных браков нет, а следовательно, нет и вдовства. Ни перед Богом, ни перед начальством они в ответе не состоят: один у них начальник — петух!

— Петух! петух! это так точно! он у них — вроде как султан турецкий!

— А человек все так сам для себя устроил, что ничего у него натурального нет, а потому ему и ума много нужно. И самому чтобы в грех не впасть, и других бы в соблазн не ввести. Так ли, батя?

— Истинная это правда. И Писание советует соблазняющее око истребить.

— Это ежели буквально понимать, а можно, и не истребляя ока, так устроить, чтобы оно не соблазнялось. К молитве чаще обращаться, озлобление телесное усмирять. Вот я, например: и в поре́, и нельзя сказать, чтоб хил… Ну и прислуга у меня женская есть… а мне и горюшка мало! Знаю, что без прислуги нельзя, — ну и держу! И мужскую прислугу держу, и женскую — всякую! Женская прислуга тоже в хозяйстве нужна. На погреб сходить, чайку налить, насчет закусоч-

ки распорядиться… ну и Христос с ней! Она свое дело делает, я — свое… вот мы и поживаем!

Говоря это, Иудушка старался смотреть батюшке в глаза, батюшка тоже, с своей стороны, старался смотреть в глаза Иудушке. Но, к счастью, между ними стояла свечка, так что они могли вволю смотреть друг на друга и видеть только пламя свечи.

— А притом, я и так еще рассуждаю: ежели с прислугой в короткие отношения войти — непременно она командовать в доме начнет. Пойдут это дрязги да непорядки, перекоры да грубости: ты слово, а она — два… А я от этого устраняюсь.

У батюшки даже в глазах зарябило: до того пристально он смотрел на Иудушку. Поэтому, и чувствуя, что светские приличия требуют, чтобы собеседник хоть от времени до времени вставлял слово в общий разговор, он покачал головой и произнес:

— Тсс…

— А ежели при этом еще так поступать, как другие… вот как соседушка мой, господин Анпетов, например, или другой соседушка, господин Утробин… так и до греха недалеко. Вон у господина Утробина: никак с шесть человек этой пакости во дворе копается… А я этого не хочу. Я говорю так:

коли Бог у меня моего ангела-хранителя отнял — стало быть, так его святой воле угодно, чтоб я вдовцом был. А ежели я, по милости Божьей, вдовец, то, стало быть, должен вдоветь честно и ложе свое нескверно содержать. Так ли, батя?

— Тяжко, сударь!

— Сам знаю, что тяжко, и все-таки исполняю. Кто говорит: тяжко! а я говорю: чем тяжче, тем лучше, только бы Бог укрепил! Не всем сладенького да легонького — надо кому-нибудь и для Бога потрудиться! *Здесь* себя сократишь — *там* получишь! *Здесь* — «трудом» это называется, а *там* — заслугой зовется! Справедливо ли я говорю?

— Уж на что же справедливее!

— Тоже и об заслугах надо сказать. И они неравные бывают. Одна заслуга — большая, а другая заслуга — малая! А ты как бы думал!

— Как же возможно! Большая ли заслуга или малая!

— Так вот оно на мое и выходит. Коли человек держит себя аккуратно: не срамословит, не суесловит, других не осуждает, коли он притом никого не огорчил, ни у кого ничего не отнял… ну, и насчет соблазнов этих вел себя осторожно — так и совесть у того человека завсегда покойна

будет. И ничто к нему не пристанет, никакая грязь! А ежели кто из-за угла и осудит его, так, по моему мнению, такие осуждения даже в расчет принимать не следует. Плюнуть на них — и вся недолга!

— В сих случаях христианские правила прощение преимущественнее рекомендуют!

— Ну, или простить! Я всегда так и делаю: коли меня кто осуждает, я его прощу, да еще Богу за него помолюсь! И ему хорошо, что за него молитва до Бога дошла, да и мне хорошо: помолился, да и забыл!

— Вот это правильно: ничто так не облегчает души, как молитва! И скорби, и гнев, и даже болезнь — все от нее, как тьма нощная от солнца, бежит!

— Ну вот и слава богу! И всегда так вести себя нужно, чтобы жизнь наша, словно свеча в фонаре, вся со всех сторон видна была… И осуждать меньше будут — потому не за что! Вот хоть бы мы: посидели, поговорили, побеседовали — кто же может нас за это осудить? А теперь пойдем да Богу помолимся, а потом и баиньки. А завтра опять встанем… так ли, батюшка?

Иудушка встал и с шумом отодвинул свой стул, в знак окончания собеседования. Батюшка, с

своей стороны, тоже поднялся и занес было руку для благословения; но Порфирий Владимирыч, в виде особого на сей раз расположения, поймал его руку и сжал ее в обеих своих.

— Так Владимиром, батюшка, назвали? — сказал он, печально качая головой в сторону Евпраксеюшкиной комнаты.

— В честь святаго и равноапостольного князя Владимира, сударь.

— Ну и слава богу! Прислуга она усердная, верная, а вот насчет ума — не взыщите! Оттого и впадают они… в пре-лю-бо-де-яние!

* * *

Весь следующий день Порфирий Владимирыч не выходил из кабинета и молился, прося себе у Бога вразумления. На третий день он вышел к утреннему чаю не в халате, как обыкновенно, а одетый по-праздничному в сюртук, как он всегда делал, когда намеревался приступить к чему-нибудь решительному. Лицо у него было бледно, но дышало душевным просветлением; на губах играла блаженная улыбка: глаза смотрели ласково, как бы всепрощающе; кончик носа, вследствие молитвенного угобжения, слегка покраснел. Он молча выпил свои три стакана

чаю и в промежутках между глотками шевелил губами, складывал руки и смотрел на образ, как будто все еще, несмотря на вчерашний молитвенный труд, ожидал от него скорой помощи и предстательства. Наконец, пропустив последний глоток, потребовал к себе Улитушку и встал перед образом, дабы еще раз подкрепить себя божественным собеседованием, а в то же время и Улите наглядно показать, что то, что имеет произойти вслед за сим, — дело не его, а Богово. Улитушка, впрочем, с первого же взгляда на лицо Иудушки поняла, что в глубине его души решено предательство.

— Вот я и Богу помолился! — начал Порфирий Владимирыч и в знак покорности его святой воле опустил голову и развел руками.

— И распрекрасное дело! — ответила Улитушка, но в голосе ее звучала такая несомненная проницательность, что Иудушка невольно поднял на нее глаза.

Она стояла перед ним в обыкновенной своей позе, одну руку положив поперек груди, другую — уперши в подбородок; но по лицу ее так и светились искорки смеха. Порфирий Владимирыч слегка покачал головой, в знак христианской укоризны.

— Небось Бог милости прислал? — продолжала Улитушка, не смущаясь предостерегательным движением своего собеседника.

— Все-то ты кощунствуешь! — не выдержал Иудушка. — Сколько раз я и лаской, и шуточкой старался тебя от этого остеречь, а ты все свое! Злой у тебя язык… ехидный!

— Ничего я, кажется… Обыкновенно, коли Богу помолились, значит Бог милости прислал!

— То-то вот «кажется»! А ты не все, что тебе «кажется», зря болтай; иной раз и помолчать умей! Я об деле, а она — «кажется»!

Улитушка только переступила с ноги на ногу, вместо ответа, как бы выражая этим движением, что все, что Порфирий Владимирыч имеет сказать ей, давным-давно ей известно и переизвестно.

— Ну так слушай же ты меня, — начал Иудушка, — молился я Богу, и вчера молился, и сегодня, и все выходит, что как-никак, а надо нам Володьку пристроить!

— Известно, надо пристроить! Не щенок — в болото не бросишь!

— Стой, погоди! дай мне слово сказать… язва ты, язва! Ну! Так вот я и говорю: как-никак, а надо Володьку пристроить. Первое дело, Евпрак-

сеюшку пожалеть нужно, а второе дело — и его человеком сделать.

Порфирий Владимирыч взглянул на Улитушку, вероятно ожидая, что вот-вот она всласть с ним покалякает, но она отнеслась к делу совершенно просто и даже цинически.

— Мне, что ли, в воспитательный-то везти? — спросила она, смотря на него в упор.

— Ах-ах! — вступился Иудушка. — Уж ты и решила… тарантá егоровна! Ах, Улитка, Улитка! все-то у тебя на уме прыг да шмыг! все бы тебе поболтать да поегозить! А почему ты знаешь: может, я и не думаю об воспитательном? Может, я так… другое что-нибудь для Володьки придумал?

— Что ж, и другое что — и в этом худого нет!

— Вот я и говорю: хоть, с одной стороны, и жалко Володьку, а с другой стороны, коли порассудить да поразмыслить — ан выходит, что дома его держать нам не приходится!

— Известное дело! что люди скажут? скажут: откуда, мол, в головлевском доме чужой мальчишечка проявился?

— И это, да еще и то: пользы для него никакой дома не будет. Мать молода — баловать будет; я старый, хотя и сбоку припека, а за верную службу матери… туда же, пожалуй! Нет-нет — да и

снизойдешь. Где бы за проступок посечь малого, а тут, за тем да за сем… да и слез бабьих, да крику не оберешься — ну, и махнешь рукой! Так ли?

— Справедливо это. Надоест.

— А мне хочется, чтоб все у нас хорошохонько было. Чтоб из него, из Володьки-то, со временем настоящий человек вышел. И Богу слуга, и царю — подданный. Коли ежели Бог его крестьянством благословит, так чтобы землю работать умел… Косить там, пахать, дрова рубить — всего чтобы понемножку. А ежели ему в другое звание судьба будет, так чтобы ремесло знал, науку… Оттуда, слышь, и в учителя некоторые попадают!

— Из воспитательного-то? прямо генералами делают!

— Генералами не генералами, а все-таки… Может, и знаменитый какой-нибудь человек из Володьки выйдет! А воспитывают их там — отлично! Это уж я сам знаю! Кроватки чистенькие, мамки здоровенькие, рубашечки на детушках беленькие, рожочки, сосочки, пеленочки… словом, все!

— Чего лучше… для незаконных!

— А ежели он и в деревню в питомцы попадет — что ж, и Христос с ним! К трудам приучаться с малолетства будет, а ведь труд — та же молитва!

Вот мы — мы настоящим манером молимся! встанем перед образом, крестное знамение творим, и ежели наша молитва угодна Богу, то он подает нам за нее! А мужичок — тот трудится! Иной и рад бы настоящим манером помолиться, да ему вряд и в праздник поспеть. А Бог все-таки видит его труды — за труды ему подает, как нам за молитву. Не всем в палатах жить да по балам прыгать — надо кому-нибудь и в избеночке курненькой пожить, за землицей-матушкой походить да похолить ее! А счастье-то — еще бабушка надвое сказала — где оно? Иной и в палатах, и в неженье живет, да через золото слезы льет, а другой и в соломку зароется, хлебца с кваском покушает, а на душе-то у него рай! Так, что ли, я говорю?

— Чего лучше, как рай на душе!

— Так мы вот как с тобой, голубушка, сделаем. Возьми-ка ты проказника Володьку, заверни его тепленько да уютненько, да и скатай с ним живым манером в Москву. Кибиточку я распоряжусь снарядить для вас крытенькую, лошадочек парочку прикажу заложить, а дорога у нас теперь гладкая, ровная: ни ухабов, ни выбоин — кати да покатывай! Только ты у меня смотри: чтоб все честь честью было. По-моему, по-головлевски… как *я* люблю! Сосочка чтобы чистенькая, рожо-

чек… рубашоночек, простынек, свивальничков, пеленочек, одеяльцев — всего чтобы вдоволь было! Бери! командуй! а не дадут, так меня, старого, за бока бери — мне жалуйся! А в Москву приедешь — на постоялом остановись. Харчи там, самоварчик, чайку — требуй! Ах, Володька, Володька! вот грех какой случился! И жаль расстаться с тобой, а делать, брат, нечего! Сам после пользу увидишь, сам будешь благодарить!

Иудушка слегка воздел руками и потрепетал губами, в знак умной молитвы. Но это не мешало ему исподлобья взглядывать на Улитушку и подмечать язвительные мелькания, которыми подергивалось лицо ее.

— Ты что? сказать что-нибудь хочешь? — спросил он ее.

— Ничего я. Известно, мол: будет благодарить, коли благодетелев своих отыщет.

— Ах ты, дурная, дурная! да разве мы без билета его туда отдадим! А ты билетец возьми! По билетцу-то мы и сами его как раз отыщем! Вот выхолят, выкормят, уму-разуму научат, а мы с билетцем и тут как тут: пожалуйте молодца нашего, Володьку-проказника, назад! С билетцем-то мы его со дна морского выудим… Так ли я говорю?

Но Улитушка ничего не ответила на вопрос;

только язвительные мелькания на лице ее выступили еще резче прежнего. Порфирий Владимирыч не выдержал.

— Язва ты, язва! — сказал он. — Дьявол в тебе сидит, черт… тьфу! тьфу! тьфу! Ну, будет. Завтра, чуть свет, возьмешь ты Володьку, да скорехонько, чтоб Евпраксеюшка не слыхала, и отправляйтесь с Богом в Москву. Воспитательный-то знаешь?

— Важивала, — однословно ответила Улитушка, как бы намекая на что-то в прошлом.

— А важивала — так тебе и книги в руки. Стало быть, и входы, и выходы — все должно быть тебе известно. Смотри же, помести его, да начальников низéнько попроси — вот так!

Порфирий Владимирыч встал и поклонился, коснувшись рукою земли.

— Чтоб ему хорошо там было! не как-нибудь, а настоящим бы манером! Да билетец, билетец-то выправь. Не забудь! По билету мы его после везде отыщем! А на расходы я тебе две двадцатипятирублевеньких отпущу. Знаю ведь я, все знаю! И там сунуть придется, и в другом месте барашка в бумажке подарить… Ахти, грехи наши, грехи! Все мы люди, все человеки, все сладенького да хорошенького хотим! Вот и Володька наш! Кажется, велик ли, и всего с ноготок, а поди-ка, сколько уж

денег стоит!

Сказавши это, Иудушка перекрестился и низенько поклонился Улитушке, молчаливо рекомендуя ей не оставить проказника Володьку своими попечениями. Будущее приблудной семьи было устроено самым простым способом.

* * *

На другое утро после этого разговора, покуда молодая мать металась в жару и бреду, Порфирий Владимирыч стоял перед окном в столовой, шевелил губами и крестил стекло. С красного двора выезжала рогожная кибитка, увозившая Володьку. Вот она поднялась на горку, поравнялась с церковью, повернула налево и скрылась в деревне. Иудушка сотворил последнее крестное знамение и вздохнул.

«Вот батя намеднись про оттепель говорил, — сказал он самому себе, — ан Бог-то морозцу вместо оттепели послал! Морозцу, да еще какого! Так-то и всегда с нами бывает! Мечтаем мы, воздушные за́мки строим, умствуем, думаем и Бога самого перемудрить — а Бог возьмет да в одну минуту все наше высокоумие в ничто обратит!»

Выморочный

Агония Иудушки началась с того, что ресурс празднословия, которым он до сих пор так охотно злоупотреблял, стал видимо сокращаться. Все вокруг него опустело: одни перемерли, другие — ушли. Даже Аннинька, несмотря на жалкую будущность кочующей актрисы, не соблазнилась головлевскими привольями. Оставалась одна Евпраксеюшка, но независимо от того, что это был ресурс очень ограниченный, и в ней произошла какая-то порча, которая не замедлила пробиться наружу и раз навсегда убедить Иудушку, что красные дни прошли для него безвозвратно.

До сих пор Евпраксеюшка была до такой степени беззащитна, что Порфирий Владимирыч мог угнетать ее без малейших опасений. Благодаря крайней неразвитости ума и врожденной дряблости характера, она даже не чувствовала этого угнетения. Покуда Иудушка срамословил, она безучастно смотрела ему в глаза и думала совсем о другом. Но теперь она вдруг нечто поняла, и ближайшим результатом пробудившейся способности понимания явилось внезапное, еще не сознанное, но злое и непобедимое отвращение.

Очевидно, пребывание в Головлеве погорелковской барышни не прошло бесследно для Евпраксеюшки. Хотя последняя и не могла дать себе отчета, какого рода боли вызвали в ней случайные разговоры с Аннинькой, но внутренно она почувствовала себя совершенно взбудораженною. Прежде ей никогда не приходило в голову спросить себя, зачем Порфирий Владимирыч как только встретит живого человека, так тотчас же начинает опутывать его целою сетью словесных обрывков, в которых ни за что уцепиться невозможно, но от которых делается невыносимо тяжело; теперь ей стало ясно, что Иудушка, в строгом смысле, не разговаривает, а «тиранит» и что, следовательно, не лишнее его «осадить», дать почувствовать, что и ему пришла пора «честь знать». И вот она начала вслушиваться в его бесконечные словоизлияния и действительно только одно в них и поняла: что Иудушка пристает, досаждает, зудит.

«Вот барышня говорила, будто он и сам не знает, зачем говорит, — рассуждала она сама с собою, — нет, в нем это злость действует! Знает он, который человек против него защиты не имеет, — ну и вертит им, как ему любо!»

Впрочем, это было еще второстепенное обсто-

ятельство. Главным образом действие приезда Анниньки в Головлево выразилось в том, что он взбунтовал в Евпраксеюшке инстинкты ее молодости. До сих пор эти инстинкты как-то тупо тлели в ней, теперь — они горячо и привязчиво вспыхнули. Многое она поняла из того, к чему прежде относилась совсем безучастно. Вот, например: почему же нибудь да не согласилась Аннинька остаться в Головлеве, так-таки напрямик и сказала: страшно! Почему так? — а потому просто, что она молода, что ей «жить хочется». Вот и она, Евпраксеюшка, тоже молода… Да, молода! Это только так кажется, будто молодость в ней жиром заплыла — нет, временем куда тоже шибко она сказывается! И зовет и манит; то замрет, то опять вспыхнет. Думала она, что и с Иудушкой дело обойдется, а теперь вот… «Ах ты, гнилушка старая! ишь ведь как обошел!» Хорошо бы теперича с дружком пожить, да с настоящим, с молоденьким! Обнялися бы, завалилися, стал бы милый дружок целовать-миловать, ласковые слова на ушко говорить: ишь, мол, ты белая да рассыпчатая! «Ах, кикимора проклятая! нашел ведь чем — костями своими старыми прельстить! Смотри, чай, и у погорелковской барышни молодчик есть! Беспременно есть! То-то она подобрала

хвосты да удрала. А тут вот сиди в четырех стенах, жди, пока ему, старому, в голову вступит!..»

Разумеется, Евпраксеюшка не сразу заявила о своем бунте, но, однажды вступивши на этот путь, уже не останавливалась. Отыскивала прицепки, припоминала прошлое, и, между тем как Иудушка даже не подозревал, что внутри ее зреет какая-то темная работа, она молчаливо, но ежеминутно разжигала себя до ненависти. Сперва явились общие жалобы, вроде «чужой век заел»; потом наступила очередь для сравнений. «Вот, в Мазулине Палагеюшка у барина в экономках живет: сидит руки скламши да в шелковых платьях ходит. Ни она на скотный, ни на погреб — сидит у себя в покойчике да бисером вяжет!» И все эти обиды и протесты заканчивались одним общим воплем:

— Уж как же у меня теперича против тебя, распостылого, сердце разожглось! Ну так разожглось! так разожглось!

К этому главному поводу присоединился и еще один, который был в особенности тем дорог, что мог послужить отличнейшею прицепкою для вступления в борьбу. А именно: воспоминание о родах и об исчезновении сына Володьки.

В то время, когда произошло это исчезновение,

Евпраксеюшка отнеслась к этому факту как-то тупо. Порфирий Владимирыч ограничился тем, что объявил ей об отдаче новорожденного в добрые руки, а чтобы утешить, подарил ей новый шалевый платок. Затем все опять заплыло и пошло по-старому. Евпраксеюшка даже рьянее прежнего окунулась в тину хозяйственных мелочей, словно хотела на них сорвать неудавшееся свое материнство. Но продолжало ли потихоньку теплиться материнское чувство в Евпраксеюшке, или просто ей блажь в голову вступила, во всяком случае, воспоминание о Володьке вдруг воскресло. И воскресло в ту самую минуту, когда на Евпраксеюшку повеяло чем-то новым, свободным, вольным, когда она почувствовала, что есть иная жизнь, сложившаяся совсем иначе, нежели в стенах головлевского дома. Понятно, что придирка была слишком хороша, чтоб не воспользоваться ею.

— Ишь ведь, что сделал! — разжигала она себя. — Робенка отнял! словно щенка в омуте утопил!

Мало-помалу мысль эта овладела ею всецело. Она и сама поверила какому-то страстному желанию вновь соединиться с ребенком, и чем назойливее разгоралось это желание, тем больше

и больше силы приобретала ее досада против Порфирия Владимирыча.

— По крайности, теперь хоть забава бы у меня была! Володя! Володюшка! рожоный мой! Где-то ты? чай, к паневнице в деревню спихнули! Ах, пропасти на вас нет, господа вы проклятые! Наделают робят, да и забросят, как щенят в яму: никто, мол, не спросит с нас! Лучше бы мне в ту пору ножом себя по горлу полыхнуть, нечем ему, охаверникy, над собой надругаться давать!

Явилась ненависть, желание досадить, изгадить жизнь, извести; началась несноснейшая из всех войн — война придирок, поддразниваний, мелких уколов. Но именно только такая война и могла сломить Порфирия Владимирыча.

* * *

Однажды, за утренним чаем, Порфирий Владимирыч был очень неприятно изумлен. Обыкновенно он в это время источал из себя целые массы словесного гноя, а Евпраксеюшка, с блюдечком чая в руке, молча внимала ему, зажав зубами кусок сахару и от времени до времени фыркая. И вдруг, только что начал он развивать мысль (к чаю в этот день был подан теплый, свежеиспеченный хлеб), что хлеб бывает разный: видимый,

который мы *едим* и через это тело свое поддерживаем, и невидимый, духовный, который мы *вкушаем,* и тем стяжаем себе душу, как Евпраксеюшка самым бесцеремонным образом перебила его разглагольствия.

— Сказывают, в Мазулине Палагеюшка хорошо живет! — начала она, обернувшись всем корпусом к окну и развязно покачивая ногами, сложенными одна на другую.

Иудушка слегка вздрогнул от неожиданности, но на первый раз, однако, не придал этому случаю особенного значения.

— И ежели мы долго не едим хлеба видимого, — продолжал он, — то чувствуем голод телесный; если же продолжительное время не вкушаем хлеба духовного…

— Палагеюшка, слышь, в Мазулине хорошо живет! — вновь перебила его Евпраксеюшка, и на этот раз уже, очевидно, неспроста.

Порфирий Владимирыч вскинул на нее изумленные глаза, но все-таки воздержался от выговора, словно бы почуял что-то недоброе.

— А хорошо живет Палагеюшка — так и Христос с ней! — кротко молвил он в ответ.

— Ейный-то господин, — продолжала колобродить Евпраксеюшка, — никаких неприятностев

ей не делает, ни работой не принуждает, а между прочим, завсе в шелковых платьях водит!

Изумление Порфирия Владимирыча росло. Речи Евпраксеюшки были до такой степени ни с чем не сообразны, что он даже не нашелся что предпринять в данном случае.

— И на всякий день у нее платья разные, — словно во сне бредила Евпраксеюшка, — на сегодня одно, на завтра другое, а на праздник особенное. И в церкву в коляске четверней ездят: сперва она, потом господин. А поп, как увидит коляску, трезвонить начинает. А потом она у себя в своей комнате сидит. Коли господину желательно с ней время провести, господина у себя принимает, а не то так с девушкой, с горничной ейной, разговаривает или бисером вяжет!

— Ну так что ж? — очнулся наконец Порфирий Владимирыч.

— Об том-то я и говорю, что Палагеюшкино житье очень уж хорошо!

— А твое небось худо житье? Ах-ах-ах, какая ты, однако ж… ненасытная!

Смолчи на этот раз Евпраксеюшка, Порфирий Владимирыч, конечно, разразился бы целым потоком бездельных слов, в котором бесследно потонули бы все дурацкие намеки, возмутив-

шие правильное течение его празднословия. Но Евпраксеюшка, по-видимому, и намерения не имела молчать.

— Что говорить! — огрызнулась она. — И мое житье не худое! В затрапезах не хожу, и то слава те господи! В прошлом году за два ситцевых платья по пяти рублей отдали… расшиблись!

— А шерстяное-то платье позабыла? а платок-то недавно кому купили? ах-ах-ах!

Вместо ответа Евпраксеюшка уперлась в стол рукой, в которой держала блюдечко, и метнула в сторону Иудушки косой взгляд, исполненный такого глубокого презрения, что ему с непривычки сделалось жутко.

— А ты знаешь ли, как Бог за неблагодарность-то наказывает? — как-то нерешительно залепетал он, надеясь, что хоть напоминание о Боге сколько-нибудь образумит неизвестно с чего взбаламутившуюся бабу. Но Евпраксеюшка не только не пронялась этим напоминанием, но тут же на первых словах оборвала его.

— Нечего! нечего зубы-то заговаривать! нечего на Бога указывать! — сказала она. — Не маленькая! Будет! повластвовали! потиранили!

Порфирий Владимирыч замолчал. Налитой стакан с чаем стоял перед ним почти остывший,

но он даже не притрогивался к нему. Лицо его побледнело, губы слегка вздрагивали, как бы усиливаясь сложиться в усмешку, но без успеха.

— А ведь это — Анюткины штуки! это она, ехидная, натравила тебя! — наконец произнес он, сам, впрочем, не отдавая себе ясного отчета в том, что говорит.

— Какие же это штуки?

— Да вот, что ты разговаривать-то со мной начала… Она! она научила! Некому другому, как ей! — волновался Порфирий Владимирыч. — Смотритка-те, ни с того ни с сего вдруг шелковых платьев захотелось! Да ты знаешь ли, бесстыдница, кто из вашего званья в шелковых-то платьях ходит?

— Скажите, так буду знать!

— Да просто самые… ну, самые беспутные, те только ходят!

Но Евпраксеюшка даже этим не усовестилась, но, напротив того, с какою-то наглою резонностью ответила:

— Не знаю, почему они беспутные… Известно, господа требуют… Который господин нашу сестру на любовь с собой склонил… ну и живет она, значит… с им! И мы с вами не молебны, чай, служим, а тем же, чем и мазулинский барин, занимаемся.

— Ах ты… тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирий Владимирыч даже помертвел от неожиданности. Он смотрел во все глаза на взбунтовавшуюся наперсницу, и целая масса праздных слов так и закипала у него в груди. Но в первый раз в жизни он смутно заподозрил, что бывают случаи, когда и праздным словом убить человека нельзя.

— Ну, голубушка! с тобой, я вижу, сегодня не сговорить! — сказал он, вставая из-за стола.

— И сегодня не сговорите, и завтра не сговорите… никогда! Будет! повластвовали! Наслушалась я довольно; послушайте теперь вы, каковы мои слова будут!

Порфирий Владимирыч бросился было на нее с сжатыми кулаками, но она так решительно выпятила вперед свою грудь, что он внезапно опешил. Оборотился лицом к образу, воздел руки, потрепетал губами и тихим шагом побрел в кабинет.

Весь этот день ему было не по себе. Он еще не имел определенных опасений за будущее, но уже одно то волновало его, что случился такой факт, который совсем не входил в обычное распределение его дня, и что факт этот прошел безнаказанно. Даже к обеду он не вышел, а притворился больным и скромненько, притворно

ослабевшим голосом попросил принести ему поесть в кабинет.

Вечером, после чаю, который, в первый раз в жизни, прошел совершенно безмолвно, он встал, по обыкновению, на молитву; но напрасно губы его шептали обычное последование на сон грядущий: возбужденная мысль даже внешним образом отказывалась следить за молитвой. Какое-то дрянное, но неотступное беспокойство овладело всем его существом, а ухо невольно прислушивалось к слабеющим отголоскам дня, еще раздававшимся то там, то сям, в разных углах головлевского дома. Наконец, когда пронесся где-то за стеной последний отчаянный зевок и вслед за тем все вдруг стихло, словно окунулось куда-то глубоко на дно, он не выдержал. Бесшумно крадучись, побрел он вдоль коридора и, подойдя к Евпраксеюшкиной комнате, приложил к двери ухо, чтоб подслушать. Евпраксеюшка была одна, и слышно было только, как она, зевая, произносит: «Господи! Спас милостивый! Успленья матушка!» — и в то же время горстью чешет себе поясницу. Порфирий Владимирыч попробовал взяться за ручку двери замка́, но дверь была заперта.

— Евпраксеюшка! ты здесь? — окликнул он.

— Здесь, да не про вас! — огрызнулась она так грубо, что Иудушке осталось молча отретироваться в кабинет.

На другой день последовал другой разговор. Евпраксеюшка, как нарочно, выбирала время утреннего чая для уязвления Порфирия Владимирыча. Словно она чутьем чуяла, что все его бездельничества распределены с такою точностью, что нарушенное утро причиняло беспокойство и боль уже на целый день.

— Посмотрела бы я, хоть бы глазком бы полюбовалась, как некоторые люди живут! — начала она как-то загадочно.

Порфирия Владимирыча всего передернуло. «Начинается!» — подумал он, но смолчал и ждал, что дальше будет.

— Право! с дружком с милыим да с молоденькиим! Ходят по комнатам парочкой да друг на дружку любуются! Ни он словом бранным ее не попрекнет, ни она против его. «Душенька моя» да «друг мой», только и разговора у них! Мило! благородно!

Эта материя была особенно ненавистна для Порфирия Владимирыча. Хотя он и допускал прелюбодеяние в размерах строгой необходимости, но все-таки считал любовное времяпрепровож-

дение бесовским искушением. Однако он и на этот раз смалодушничал, тем больше что ему хотелось чаю, который уж несколько минут прел на конфорке, а Евпраксеюшка и не думала наливать его.

— Конечно, из нашей сестры много глупых бывает, — продолжала она, нахально раскачиваясь на стуле и барабаня рукой по столу, — иную так осетит, что она из-за ситцевого платья на все готова, а другая и просто, безо всего, себя потеряет!.. Квасу, говорит, огурцов, пей-ешь, сколько хочется! Нашли чем прельстить!

— Так неужто ж из интереса одного… — рискнул робко заметить Порфирий Владимирыч, следя глазами за чайником, из которого уже начинал валить пар.

— Кто говорит: из-за интереса из-за одного? уж не я ли интересанткой сделалась! — вдруг кинулась в сторону Евпраксеюшка. — Куска, видно, стало жалко! Куском попрекать стали?

— Я не попрекаю, а так говорю: не из одного, говорю, интереса люди…

— То-то «говорю»! Вы говорите, да не заговаривайтесь! Ишь ты! из интересу я служу! а позвольте спросить, какой такой интерес я у вас нашла? Окромя́ квасу да огурцов…

— Ну, не один квас да огурцы… — не удержался, увлекся, в свою очередь, Порфирий Владимирыч.

— Что ж, сказывайте! сказывайте, что еще?

— А кто к Николе каждый месяц четыре мешка муки посылает?

— Ну-с, четыре мешка! еще чего нет ли?

— Круп, масла постного… словом, всего…

— Ну, круп, масла постного… уж для родителев-то жалко стало! Ах, вы!

— Я не говорю, что жалко, а вот ты…

— Я же виновата сделалась! Мне куска без попреков съесть не дадут, да я же виновата состою!

Евпраксеюшка не выдержала и залилась слезами. А чай между тем прел да прел на конфорке, так что Порфирий Владимирыч не на шутку встревожился. Поэтому он перемог себя, тихонько подсел к Евпраксеюшке и потрепал ее по спине:

— Ну, добро, наливай-ка чай… чего разрюмилась!

Но Евпраксеюшка еще раза два-три всхлипнула, надула губы и уперлась мутными глазами в пространство.

— Вот ты сейчас об молоденьких говорила, — продолжал он, стараясь придать своему голосу ласкающую интонацию, — что́ ж, ведь и мы то-

во… не перестарки, чай, тоже!

— Нашли чего! отстаньте от меня!

— Право-ну! Да я… знаешь ли ты… когда я в департаменте служил, так за меня директор дочь свою выдать хотел!

— Протухлая, видно, была… кособокая какая-нибудь!

— Нет, как следует девица… а как она *не шей ты мне, матушка* пела! так пела! так пела!

— Она-то пела, да подпеватель-то был плохой!

— Нет, я, кажется…

Порфирий Владимирыч недоумевал. Он не прочь был даже поподличать, показать, что и он может в парочке пройтись. В этих видах он начал как-то нелепо раскачиваться всем корпусом и даже покусился обнять Евпраксеюшку за талию, но она грубо уклонилась от его протянутых рук и сердито крикнула:

— Говорю честью: уйди, домовой! не то кипятком ошпарю! И чаю мне вашего не надо! ничего не надо! Ишь что вздумали — куском попрекать начали! Уйду я отсюда! вот те Христос, уйду!

И она действительно ушла, хлопнув дверью и оставив Порфирия Владимирыча одного в столовой.

Иудушка был совсем озадачен. Он начал было

сам наливать себе чай, но руки его до того дрожали, что потребовалась помощь лакея.

— Нет, этак нельзя! надо как-нибудь это устроить... сообразить! — шептал он, в волнении расхаживая взад и вперед по столовой.

Но именно ни «устроить», ни «сообразить» он ничего не был в состоянии. Мысль его до того привыкла перескакивать от одного фантастического предмета к другому, нигде не встречая затруднений, что самый простой факт обыденной действительности заставал его врасплох. Едва начинал он «соображать», как целая масса пустяков обступала его со всех сторон и закрывала для мысли всякий просвет на действительную жизнь. Лень какая-то обуяла его, общая умственная и нравственная анемия. Так и тянуло его прочь от действительной жизни на мягкое ложе призраков, которые он мог перестанавливать с места на место, одни пропускать, другие выдвигать, словом, распоряжаться, как ему хочется.

И опять целый день провел он в полном одиночестве, потому что Евпраксеюшка на этот раз уже ни к обеду, ни к вечернему чаю не явилась, а ушла на целый день на село к попу в гости и возвратилась только поздно вечером. Даже заняться ничем он не мог, потому что и пустяки

на время как будто оставили его. Одна безвыходная мысль тиранила: надо как-нибудь устроить, надо! Ни праздных выкладок он не мог делать, ни стоять на молитве. Он чувствовал, что к нему приступает какой-то недуг, которого он покуда еще не может определить. Не раз останавливался он перед окном, думая, к чему-нибудь приковать колеблющуюся мысль, чем-нибудь развлечь себя, и все напрасно. На дворе начиналась весна, но деревья стояли голые, даже свежей травы еще не показывалось. Вдали виднелись черные поля, по местам испещренные белыми пятнами снега, еще державшегося в низких местах и ложбинах. Дорога сплошь чернела грязью и сверкала лужами. Но все это представлялось ему словно сквозь сетку. Около мокрых служб царствовало полнейшее безлюдье, хотя везде все двери были настежь; в доме тоже никого докликаться было нельзя, хотя до слуха беспрестанно долетали какие-то звуки вроде отдаленного хлопанья дверьми. Вот бы теперь невидимкой оборотиться хорошо да подслушать, что об нем хамово отродье говорит! Понимают ли подлецы его милости или, может быть, за его же добро да его же судачат? Ведь им хоть с утра до вечера в хайло-то пихай, все мало, все как с гуся вода! Давно ли, кажется, новую

кадку с огурцами начали, а уж… Но только что он начал забываться на этой мысли, только что начинал соображать, сколько в кадке может быть огурцов и сколько следует, при самом широком расчете, положить огурцов на человека, как опять в голове мелькнул луч действительности и разом перевернул вверх дном все его расчеты.

«Ишь ты ведь! даже не спросилась — ушла!» — думалось ему, покуда глаза бродили в пространстве, усиливаясь различить поповский дом, в котором, по всем вероятиям, в эту минуту соловьем разливалась Евпраксеюшка.

Но вот и обед подали; Порфирий Владимирыч сидит за столом один и как-то вяло хлебает пустой суп (он терпеть не мог суп без ничего, но *она* сегодня нарочно велела именно такой сварить).

«Чай, и попу-то до смерти тошно, что она к нему напросилась, — думается ему, — все же лишний кусок подать надо! И щец, и кашки… а для гостьи, пожалуй, и жарковца какого-нибудь…»

Опять фантазия его разыгрывается, опять он начинает забываться, словно сон его заводит. Сколько лишних ложек щец пойдет? сколько кашки? и что поп с попадьей говорят по случаю прихода Евпраксеюшки? как они промежду себя ругают ее… Все это, и кушанья, и речи, так и ме-

чется у него, словно живое, перед глазами.

— Поди, из чашки так все вместе и хлебают! Ушла, сумела, где себе найти лакомство! на дворе слякоть, грязь — долго ли до беды! Придет ужо, хвосты обтрепанные принесет… ах ты, гадина! именно гадина! Да, надо, надобно как-нибудь…

На этой фразе мысль неизменно обрывалась. После обеда лег он, по обыкновению, заснуть, но только измучился, проворочавшись с боку на бок. Евпраксеюшка пришла домой уж тогда, когда стемнело, и так прокралась в свой угол, что он и не заметил. Приказывал он людям, чтоб непременно его предупредили, когда она воротится, но и люди, словно стакнулись, смолчали. Попробовал он опять толкнуться к ней в комнату, но и на этот раз нашел дверь запертою.

На третий день, утром, Евпраксеюшка хотя и явилась к чаю, но заговорила еще грознее и шибче.

— Где-то Володюшка мой теперь? — начала она, притворно давая своему голосу слезливый тон.

Порфирий Владимирыч совсем помертвел при этом вопросе.

— Хоть бы глазком на него взглянула, как он, родимый, там мается! А то, пожалуй, и помер уж… право!

Иудушка трепетно шевелил губами, шепча молитву.

— У нас все не как у людей! Вот у мазулинского господина Палагеюшка дочку родила — сейчас ее в батист-дикос нарядили, постельку розовенькую для ей устроили… Одной мамке сколько сарафанов да кокошников надарили! А у нас… э-эх… вы!

Евпраксеюшка круто повернула голову к окну и шумно вздохнула.

— Правду говорят, что все господа проклятые! Народят детей — и забросят в болото, словно щенят! И горюшка им мало! И ответа ни перед кем не дадут, словно и Бога на них нет! Волк — и тот этого не сделает!

У Порфирия Владимирыча так и вертело все нутро. Он долго перемогал себя, но наконец не выдержал и процедил сквозь зубы:

— Однако… новые моды у тебя завелись! уж третий день сряду я твои разговоры слушаю!

— Что ж, и моды! Моды — так моды! не все вам одним говорить — можно, чай, и другим слово вымолвить! Право-ну! Ребенка прижили — и что с ним сделали! В деревне, чай, у бабы в избе сгноили! ни призору за ним, ни пищи, ни одежи… лежит, поди, в грязи да соску прокислую сосет!

Она прослезилась и концом шейного платка

утерла глаза.

— Вот уж правду погорелковская барышня сказала, что страшно с вами. Страшно и есть. Ни удовольствия, ни радости, одни только каверзы… В тюрьме арестанты лучше живут. По крайности, если б у меня теперича ребенок был — все бы я забаву какую ни на есть видела. А то на-тко! был ребенок — и того отняли!

Порфирий Владимирыч сидел на месте и как-то мучительно мотал головой, точно его и в самом деле к стене прижали. По временам из груди его даже вырывались стоны.

— Ах, тяжело! — наконец произнес он.

— Не́чего «тяжело»! сама себя раба бьет, коли плохо жнет! Право, съезжу я в Москву, хоть глазком на Володьку взгляну! Володька! Володенька! ми-и-илый! Барин! съезжу-ка, что ли, я в Москву?

— Незачем! — глухо отозвался Порфирий Владимирыч.

— Ан съезжу! и не спрошусь ни у кого, и никто запретить мне не может! Потому, я — мать!

— Какая ты мать! Ты девка гулящая — вот ты кто! — разразился наконец Порфирий Владимирыч. — Сказывай, что тебе от меня надобно?

К этому вопросу Евпраксеюшка, по-видимому,

не приготовилась. Она уставилась в Иудушку глазами и молчала, словно размышляя, чего ей в самом деле надобно?

— Вот как! уж девкой гулящей звать стали! — вскрикнула она, заливаясь слезами.

— Да! девка гулящая! девка, девка! тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирий Владимирыч окончательно вышел из себя, вскочил с места и почти бегом выбежал из столовой.

Это была последняя вспышка энергии, которую он позволил себе. Затем он как-то быстро осунулся, отупел и струсил, тогда как приставаньям Евпраксеюшки и конца не было видно. У ней была в распоряжении громадная сила — упорство тупоумия, и так как эта сила постоянно била в одну точку: досадить, изгадить жизнь, то по временам она являлась чем-то страшным. Мало-помалу арена столовой сделалась недостаточною для нее; она врывалась в кабинет и там настигала Иудушку (прежде она и подумать не посмела бы войти туда, когда барин «занят»). Придет, сядет к окну, упрется посоловелыми глазами в пространство, почешется лопатками об косяк и начнет колобродить. В особенности же пришлась ей по сердцу одна тема для разговоров — тема,

в основании которой лежала угроза оставить Головлево. В сущности, она никогда серьезно об этом не думала и даже была бы очень изумлена, если б ей вдруг предложили возвратиться в родительский дом; но она догадывалась, что Порфирий Владимирыч пуще всего боится, чтоб она не ушла. Приговаривалась она к этому предмету всегда помаленьку, окольными путями. Помолчит, почешет в ухе и вдруг словно бы что вспомнит.

— Сегодня у Николы, поди, блины пекут!

Порфирий Владимирыч при этом вступлении зеленеет от злости. Перед этим он только что начал очень сложное вычисление — на какую сумму он может продать в год молока, ежели все коровы в окру́ге примрут, а у него одного, с Божьею помощью, не только останутся невредимы, но даже будут давать молока против прежнего вдвое. Однако, ввиду прихода Евпраксеюшки и поставленного ею вопроса о блинах, он оставляет свою работу и даже усиливается улыбнуться.

— Отчего же там блины пекут? — спрашивает он, осклабляясь всем лицом своим. — Ах, батюшки, да ведь и в самом деле, родительская сегодня! а я-то, ротозей, и позабыл! Ах, грех какой! маменьку-то покойницу и помянуть будет нечем!

— Поела бы я блинков… родительских!

— А кто ж тебе не велит! распорядись! Кухарку Марьюшку за бока! а не то так Улитушку! Ах, хорошо Улитка блины печет!

— Может, она и другим чем на вас потрафила? — язвит Евпраксеюшка.

— Нет, грех сказать, хорошо, даже очень хорошо Улитка блины печет! Легкие, мягкие — ай, поешь!

Порфирий Владимирыч хочет шуточкой да смешком развлечь Евпраксеюшку.

— Поела бы я блинов, да не головлевских, а родительских! — кобенится она.

— И за этим у нас дело не станет! Архипушку-кучера за бока! вели парочку лошадушек заложить, кати себе да покатывай!

— Нет уж! что уж! попалась птица в западню… сама глупа была! Кому меня, этакую-то, нужно? Сами гулящей девкой недавно назвали… чего уж!

— Ах-ах-ах! и не стыдно тебе напраслину на меня говорить! А ты знаешь ли, как Бог-то за напраслину наказывает?

— Назвали, прямо так-таки гулящей и назвали! вот и образ тут, при нем, при батюшке! Ах, распостылое мне это Головлево! сбегу я отсюда!

право, сбегу!

Говоря это, Евпраксеюшка ведет себя совершенно непринужденно: раскачивается на стуле, копается в носу, почесывается. Очевидно, она разыгрывает комедию, дразнит.

— Я, Порфирий Владимирыч, вам что-то хотела сказать, — продолжает она колобродить, — ведь мне домой надобно!

— Погостить, что ли, к отцу с матерью собралась?

— Нет, я совсем. Останусь, значит, у Николы.

— Что так? обиделась чем-нибудь?

— Нет, не обиделась, а так… надо же когда-нибудь… Да и скучно у вас… инда страшно! В доме-то словно все вымерло! Людишки — вольница, всё по кухням да по людским прячутся, сиди в целом доме одна; еще зарежут, того гляди! Ночью спать ляжешь — изо всех углов шепоты ползут!

Однако проходили дни за днями, а Евпраксеюшка и не думала приводить в исполнение свою угрозу. Тем не менее действие этой угрозы на Порфирия Владимирыча было очень решительное. Он вдруг как-то понял, что, несмотря на то что с утра до вечера изнывал в так называемых трудах, он, собственно говоря, ровно ничего не делал и мог бы остаться без обеда, не иметь ни

чистого белья, ни исправного платья, если б не было чьего-то глаза, который смотрел за тем, чтоб его домашний обиход не прерывался. До сих пор он как бы не чувствовал жизни, не понимал, что она имеет какую-то обстановку, которая созидается не сама собой. Весь его день шел однажды заведенным порядком; все в доме группировалось лично около него и ради него; все делалось в свое время; всякая вещь находилась на своем месте — словом сказать, везде царствовала такая неизменная точность, что он даже не придавал ей никакого значения. Благодаря этому порядку вещей, он мог на всей своей воле предаваться и празднословию и праздномыслию, не опасаясь, чтобы уколы действительной жизни когда-нибудь вывели его на свежую воду. Правда, что вся эта искусственная махинация держалась на волоске; но человеку, постоянно погруженному в самого себя, не могло и в голову прийти, что этот волосок есть нечто очень тонкое, легко рвущееся. Ему казалось, что жизнь установилась прочно, навсегда… И вдруг все это должно рушиться, рушиться в один миг, по одному дурацкому слову: нет уж! что уж! уйду! Иудушка совершенно растерялся. Что, ежели она в самом деле уйдет? — думалось ему. И он мысленно начинал строить

всевозможные нелепые комбинации, с целью как-нибудь удержать ее, и даже решался на такие уступки в пользу бунтующей Евпраксеюшкиной младости, которые ему никогда бы прежде и в голову не пришли.

— Тьфу! тьфу! тьфу! — отплевывался он, когда возможность столкновения с кучером Архипушкой или с конторщиком Игнатом представлялась ему во всей обидной наготе своей.

Скоро, однако ж, он убедился, что страх его насчет ухода Евпраксеюшки был по малой мере неоснователен, и вслед за тем существование его как-то круто вступило в новый и совершенно для него неожиданный фазис. Евпраксеюшка не только не уходила, но даже заметно приутихла с своими приставаниями. Взамен того она совершенно бросила Порфирия Владимирыча. Наступил май, пришли красные дни, и она уж почти совсем не являлась в дом. Только по постоянному хлопанью дверей Иудушка догадывался, что она за чем-нибудь прибежала к себе в комнату, с тем чтобы вслед за тем опять исчезнуть. Вставая утром, он не находил на обычном месте своего платья и должен был вести продолжительные переговоры, чтобы получить чистое белье, чай и обед ему подавали то спозаранку,

то слишком поздно, причем прислуживал полупьяный лакей Прохор, который являлся к столу в запятнанном сюртуке и от которого вечно воняло какою-то противной смесью рыбы и водки.

Тем не менее Порфирий Владимирыч уж и тому был рад, что Евпраксеюшка оставляла его в покое. Он примирялся даже с беспорядком, лишь бы знать, что в доме все-таки есть некто, кто этот беспорядок держит в своих руках. Его страшила не столько безурядица, сколько мысль о необходимости личного вмешательства в обстановку жизни. С ужасом представлял он себе, что может наступить минута, когда ему самому придется распоряжаться, приказывать, надсматривать. В предвидении этой минуты он старался подавить в себе всякий протест, закрывал глаза на наступавшее в доме безначалие, стушевывался, молчал. А на барском дворе между тем шла ежедневная открытая гульба. С наступлением тепла головлевская усадьба, дотоле степенная и даже угрюмая, оживилась. Вечером все население дворовых, и заштатные, и состоящие на действительной службе, и стар, и млад — все высыпа́ло на улицу. Пели песни, играли на гармонике, хохотали, взвизгивали, бегали в горелки. На Игнате-конторщике появилась ярко-красная

рубаха и какая-то неслыханно узенькая жакетка, борты которой совсем не закрывали его молодецки выпяченной груди. Архип-кучер самовольно завладел выездною шелковой рубашкой и плисовой безрукавкой и, очевидно, соперничал с Игнатом в планах насчет сердца Евпраксеюшки. Евпраксеюшка бегала между ними и, словно шальная, кидалась то к одному, то к другому. Порфирий Владимирыч боялся взглянуть в окно, чтоб не сделаться свидетелем любовной сцены; но не слышать не мог. По временам в ушах его раздавался звук полновесного удара: это кучер Архипушка всей пятерней дал разá Евпраксеюшке, гоняясь за нею в горелках (и она не рассердилась, а только присела слегка); по временам до него доносился разговор:

— Евпраксея Никитишна! а Евпраксея Никитишна! — взывает пьяненький Прохор с барского крыльца.

— Чего надобно?

— Ключ от чаю пожалуйте, барин чаю просят!

— Подождет… кикимора!

* * *

В короткое время Порфирий Владимирыч совсем одичал. Весь обычный ход его жизни был

взбудоражен и извращен, но он как-то уж перестал обращать на это внимание. Он ничего не требовал от жизни, кроме того, чтоб его не тревожили в его последнем убежище — в кабинете. Насколько он прежде был придирчив и надоедлив в отношениях к окружающим, настолько же теперь сделался боязлив и угрюмо-покорен. Казалось, всякое общение с действительной жизнью прекратилось для него. Ничего бы не слышать, никого бы не видеть — вот чего он желал. Евпраксеюшка могла целыми днями не показываться в доме, людишки могли сколько хотели вольничать и бездельничать на дворе — он ко всему относился безучастно, как будто ничего не было. Прежде, если б конторщик позволил себе хотя малейшую неаккуратность в доставлении рапортичек о состоянии различных отраслей хозяйственного управления, он наверное истиранил бы его поучениями; теперь — ему по целым неделям приходилось сидеть без рапортичек, и он только изредка тяготился этим, а именно, когда ему нужна была цифра для подкрепления каких-нибудь фантастических расчетов. Зато в кабинете, один на один с самим собою, он чувствовал себя полным хозяином, имеющим возможность праздномыслить сколько душе

угодно. Подобно тому как оба брата его умерли, одержимые запоем, так точно и он страдал тою же болезнью. Только это был запой иного рода — запой праздномыслия. Запершись в кабинете и засевши за письменный стол, он с утра до вечера изнывал над фантастической работой: строил всевозможные несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом.



В этом омуте фантастических действий и образов главную роль играла какая-то болезненная жажда стяжания. Хотя Порфирий Владимирыч и всегда вообще был мелочен и наклонен к кляузе, но, благодаря его практической нелепости, никаких прямых выгод лично для него от этих наклонностей не получалось. Он надоедал, томил, тиранил (преимущественно самых беззащитных людей, которые, так сказать, сами напрашивались на обиду), но и сам чаще всего терял от своей затейливости. Теперь эти свойства всецело перенеслись на отвлеченную, фантастическую почву, где уже не имелось места ни для отпора, ни для оправданий, где не было ни сильных, ни слабых, где не существовало ни полиции, ни мировых судов (или, лучше сказать, существовали, но единственно в видах ограждения его, Иудушкиных, интересов) и где, следовательно, он мог свободно опутывать целый мир сетью кляуз, притеснений и обид.

Он любил мысленно вымучить, разорить, обездолить, пососать кровь. Перебирал, одну за другой, все отрасли своего хозяйства: лес, скотный двор, хлеб, луга и проч., и на каждой созидал узорчатое здание фантастических притеснений, сопровождаемых самыми сложными расчетами,

куда входили и штрафы, и ростовщичество, и общие бедствия, и приобретение ценных бумаг, — словом сказать, целый запутанный мир праздных помещичьих идеалов. А так как тут все зависело от произвольно предполагаемых переплат или недоплат, то каждая переплаченная или недоплаченная копейка служила поводом для переделки всего здания, которое таким образом видоизменялось до бесконечности. Затем, когда утомленная мысль уже не в силах была следить с должным вниманием за всеми подробностями спутанных выкладок по операциям стяжания, он переносил арену своей фантазии на вымыслы более растяжимые. Припоминал все столкновения и пререкания, какие случались у него с людьми не только в недавнее время, но и в самой отдаленной молодости, и разработывал их с таким расчетом, что всегда из всякого столкновения выходил победителем. Он мстил мысленно своим бывшим сослуживцам по департаменту, которые опередили его по службе и растравили его самолюбие настолько, что заставили отказаться от служебной карьеры; мстил однокашникам по школе, которые некогда пользовались своею физической силой, чтоб дразнить и притеснять его; мстил соседям по имению, которые давали отпор

его притязаниям и отстаивали свои права; мстил слугам, которые когда-нибудь сказали ему грубое слово или просто не оказали достаточной почтительности; мстил маменьке Арине Петровне за то, что она просадила много денег на устройство Погорелки, денег, которые, «по всем правам», следовали ему; мстил братцу Степке-балбесу за то, что он прозвал его Иудушкой; мстил тетеньке Варваре Михайловне за то, что она, в то время когда уж никто этого не ждал, вдруг народила детей «с бору да с сосенки», вследствие чего сельцо Горюшкино навсегда ускользнуло из головлевского рода. Мстил живым, мстил мертвым.

Фантазируя таким образом, он незаметно доходил до опьянения; земля исчезала у него из-под ног, за спиной словно вырастали крылья. Глаза блестели, губы тряслись и покрывались пеной, лицо бледнело и принимало угрожающее выражение. И по мере того как росла фантазия, весь воздух кругом него населялся призраками, с которыми он вступал в воображаемую борьбу.

Существование его получило такую полноту и независимость, что ему ничего не оставалось желать. Весь мир был у его ног, разумеется, тот немудреный мир, который был доступен его скудному миросозерцанию. Каждый простей-

ший мотив он мог варьировать бесконечно, за каждый мог по нескольку раз приниматься сызнова, разработывая всякий раз на новый манер. Это был своего рода экстаз, ясновидение, нечто подобное тому, что происходит на спиритических сеансах. Ничем не ограничиваемое воображение создает мнимую действительность, которая, вследствие постоянного возбуждения умственных сил, претворяется в конкретную, почти осязаемую. Это — не вера, не убеждение, а именно умственное распутство, экстаз. Люди обесчеловечиваются; их лица искажаются, глаза горят, язык произносит непроизвольные речи, тело производит непроизвольные движения.

Порфирий Владимирыч был счастлив. Он плотно запирал окна и двери, чтоб не слышать, спускал шторы, чтоб не видеть. Все обычные жизненные отправления, которые прямо не соприкасались с миром его фантазии, он делал на скорую руку, почти с отвращением. Когда пьяненький Прохор стучался в дверь его комнаты, докладывая, что подано кушать, он нетерпеливо вбегал в столовую, наперекор всем прежним привычкам, спеша съедал свои три перемены кушанья и опять скрывался в кабинет. Даже в манерах у него при столкновении с живыми

людьми явилось что-то отчасти робкое, отчасти глупо-насмешливое, как будто он в одно и то же время и боялся, и вызывал. Утром он спешил встать как можно раньше, чтобы сейчас же приняться за работу. Молитвенное стояние сократил; слова молитвы произносил безучастно, не вникая в их смысл; крестные знамения и воздеяния рук творил машинально, неотчетливо. Даже представление об аде и его мучительных возмездиях (за каждый грех — возмездие особенное), по-видимому, покинуло его.

А Евпраксеюшка между тем млела в чаду плотского вожделения. Гарцуя в нерешимости между конторщиком Игнатом и кучером Архипушкой и в то же время кося глазами на краснорожего плотника Илюшу, который с целой артелью подрядился вывесить господский погреб, она ничего не замечала, что делается в барском доме. Она думала, что барин какую-нибудь «новую комедию» разыгрывает, и немало веселых слов было произнесено по этому поводу в дружеской компании почувствовавших себя на свободе людишек. Но однажды, как-то случайно, зашла она в столовую в то время, когда Иудушка наскоро доедал кусок жареного гуся, и вдруг ей сделалось жутко.

Порфирий Владимирыч сидел в засаленном

халате, из которого местами выбивалась уж вата; он был бледен, нечесан, оброс какой-то щетиной вместо бороды.

— Баринушка! что такое? что случилось? — бросилась она к нему в испуге.

Но Порфирий Владимирыч только глупо-язвительно улыбнулся в ответ на ее восклицание, словно хотел сказать: а ну-ка, попробуй теперь меня чем-нибудь уязвить!

— Баринушка! да что такое? Говорите! что случилось? — повторила она.

Он встал, уставил в нее исполненный ненависти взгляд и с расстановкою произнес:

— Если ты, девка распутная, еще когда-нибудь… в кабинет ко мне… Убью!

* * *

Благодаря этой случайности существование Порфирия Владимирыча с внешней стороны изменилось к лучшему. Не чувствуя никаких материальных помех, он свободно отдался своему одиночеству, так что даже не видал, как прошло лето. Август уж перевалил на вторую половину; дни сократились; на дворе непрерывно сеял мелкий дождь; земля взмокла; деревья стояли понуро, роняя на землю пожелтевшие листья.

На дворе и около людской царствовала невозмутимая тишина; дворовые ютились по своим углам, частию вследствие хмурой погоды, частию вследствие того, что догадались, что с барином происходит что-то неладное. Евпраксеюшка окончательно очнулась; забыла и о шелковых платьях, и о милых дружках, и по целым часам сидела в девичьей на ларе, не зная, как ей быть и что предпринять. Пьяненький Прохор дразнил ее, что она извела барина, опоила его и что не миновать ей за это по Владимирке погулять.

А Иудушка между тем сидит запершись у себя в кабинете и мечтает. Ему еще лучше, что на дворе свежее сделалось; дождь, без устали дребезжащий в окна его кабинета, наводит на него полудремоту, в которой еще свободнее, шире развертывается его фантазия. Он представляет себя невидимкою и в этом виде мысленно инспектирует свои владения в сопровождении старого Ильи, который еще при папеньке, Владимире Михайловиче, старостой служил и давным-давно на кладбище схоронен.

— Умный мужик Илья! старинный слуга! Нынче такие-то люди выводятся. Нынче что: поюлить да потарантить, а чуть до дела коснется — и нет никого! — рассуждает сам с собою Порфирий

Владимирыч, очень довольный, что Илья из мертвых воскрес.

Не торопясь да Богу помолясь, никем не видимые, через поля и овраги, через долы и луга, пробираются они на пустошь Уховщину и долго не верят глазам своим. Стоит перед ними лесище стена стеной, стоит, да только вершинами в вышине гудёт. Деревья все одно к одному, красные — сосняк; которые в два, а которые и в три обхвата; стволы у них прямые, обнаженные, а вершины могучие, пушистые: долго, значит, еще этому лесу стоять можно!

— Вот, брат, так лесок! — в восхищении восклицает Иудушка.

— Заказничок! — объясняет старик Илья. — Еще при покойном дедушке вашем, при Михаиле Васильиче, с образами обошли — вон он какой вырос!

— А сколько, по-твоему, тут десятин будет?

— Да, в ту пору ровно семьдесят десятин мерили, ну а нынче… тогда десятина-то хозяйственная была, против нынешней в полтора раза побольше.

— Ну а как ты думаешь, сколько на каждой десятине примерно дерев сидит?

— Кто их знает! у Бога они сосчитаны!

— А я так думаю, что непременно шестьсот-семьсот на десятину будет. Да не на старую десятину, а на нынешнюю, на тридцатку[130]. Постой! погоди! ежели по шестисот… ну, по шестисот по пятидесяти положить, — сколько же на ста пяти десятинах дерев будет?

Порфирий Владимирыч берет лист бумаги и умножает 105 на 650: оказывается 68 250 дерев.

— Теперича, ежели весь этот лес продать… по разноте… как ты думаешь, можно по десяти рублей за дерево взять?

Старик Илья трясет головой.

— Мало! — говорит он. — Ведь это — какой лес! из каждого дерева два мельничных вала выйдет, да еще строевое бревно, хоть в какую угодно стройку, да семеричок, да товарничку, да сучья… По-вашему, мельничный-то вал — сколько он стоит?

Порфирий Владимирыч притворяется, что не знает, хотя он давно уж все до последней копейки определил и установил.

— По здешнему месту один вал десяти рублей стоит, а кабы в Москву, так и цены бы ему, кажется, не было! Ведь это — какой вал! его на

---

[130] Notes: 130

Старая десятина — площадью 3200 кв. саженей. *Тридцатка* — казенная десятина, площадью 2400 кв. саженей.

тройке только-только увезти! да еще другой вал, потоньше, да бревно, да семеричок, да дров, да сучьев… Ан дерево-то, бедно-бедно, в двадцати рублях пойдет.

Слушает Порфирий Владимирыч Ильины речи и не наслушается их! Умный, верный мужик этот Илья! Да и все вообще управление ему както необыкновенно удачно привел Бог сладить! В помощниках у Ильи старый Вавило служит (тоже давно на кладбище лежит) — вот, брат, так кряж! В конторщиках маменькин земский Филипп-перевезенец (из вологодских деревень его, лет шестьдесят тому назад, перевезли); полесовщики всё испытанные, неутомимые; псы у амбаров — злые! И люди и псы — все готовы за барское добро хоть черту горло перегрызть!

— А ну-тко, брат, давай прикинем: сколько это будет, ежели всю пустошь по разноте распродать?

Порфирий Владимирыч снова рассчитывает мысленно, сколько стоит большой вал, сколько вал поменьше, сколько строевое бревно, семерик, дрова, сучья. Потом складывает, умножает, в ином месте отсекает дроби, в другом прибавляет. Лист бумаги наполняется столбцами цифр.

— На-тко, брат, смотри, что вышло! — пока-

зывает Иудушка воображаемому Илье какую-то совсем неслыханную цифру, так что даже Илья, который, и со своей стороны, не прочь от приумножения барского добра, и тот словно съежился.

— Что-то как будто и многовато! — говорит он, в раздумье поводя лопатками.

Но Порфирий Владимирыч уже откинул все сомнения и только веселенько хихикает:

— Чудак, братец, ты! Это уж не я, а цифра говорит… Наука, братец, такая есть, арифметикой называется… уж она, брат, не солжет! Ну хорошо, с Уховщиной теперь покончили; пойдем-ка, брат, в Лисьи Ямы, давно я там не бывал! Сдается мне, что мужики там пошаливают, ой пошаливают мужики! Да и Гаранька-сторож… знаю! знаю! Хороший Гаранька, усердный сторож, верный — это что и говорить! а все-таки… Маленько он как будто сшибаться стал!

Идут они неслышно, невидимо, сквозь чащу березовую едва пробираются и вдруг останавливаются, притаивши дыхание. На самой дороге лежит на боку мужицкий воз, а мужик стоит и тужит, глядючи на сломанную ось. Потужил-потужил, выругал ось, да и себя кстати ругнул, вытянул лошадь кнутом по спине («ишь, во-

рона!»), однако делать что-нибудь надо — не стоять же на одном месте до завтра! Озирается вор-мужичонко, прислушивается: не едет ли кто, потом выбирает подходящую березку, вынимает топор… А Иудушка все стоит, не шелохнется… Дрогнула березка, зашаталася и вдруг, словно сноп, повалилась наземь. Хочет мужик отрубить от комля, сколько на ось надобно, но Иудушка уж решил, что настоящий момент наступил. Крадучись, подползает он к мужику и мигом выхватывает из рук его топор.

— Ах! — успевает только крикнуть застигнутый врасплох вор.

— «Ах!» — передразнивает его Порфирий Владимирыч. — А чужой лес воровать дозволяется? «Ах!» — а чью березку-то, свою, что ли, срубил?

— Простите, батюшка!

— Я, братец, давно всем простил! Сам Богу грешен и других осуждать не смею! Не я, а закон осуждает. Ось-то, которую ты срубил, на усадьбу привези, да и рублик штрафу кстати уж захвати; а покуда пускай топорик у меня полежит! Небось, брат, сохранно будет!

Довольный тем, что успел на самом деле доказать Илье справедливость своего мнения насчет Гараньки, Порфирий Владимирыч с места пре-

ступления заходит мысленно в избу полесовщика и делает приличное поучение. Потом он отправляется домой и по дороге ловит в господском овсе трех крестьянских кур. Воротившись в кабинет, он опять принимается за работу, и целая особенная хозяйственная система вдруг зарождается в его уме. Все растущее и прозябающее на его земле, сеянное и несеянное, обращается в деньги по разноте, и притом со штрафом. Все люди вдруг сделались порубщиками и потравщиками, а Иудушка не только не скорбит об этом, но, напротив, даже руки себе потирает от удовольствия.

— Травите, батюшки, рубите! мне же лучше, — повторяет он, совершенно довольный.

И тут же берет новый лист бумаги и принимается за выкладки и вычисления.

Сколько на десятине овса растет и сколько этот овес может денег принести, ежели его куры мужицкие помнут и за все помятое штраф уплатят?

«А овес-то, хоть и помят, ан после дождичка и опять поправился!» — мысленно присовокупляет Иудушка.

Сколько в Лисьих Ямах березок растет и сколько за них можно денег взять, ежели их мужики воровским манером порубят и за все порубленное штраф заплатят?

«А березка-то, хоть она и срублена, ко мне же в дом на протопленье пойдет, стало быть, дров самому пилить не надо!» — опять присовокупляет Иудушка мысленно.

Громадные колонны цифр испещряют бумагу; сперва рубли, потом десятки, сотни, тысячи… Иудушка до того устает за работой и, главное, так волнуется ею, что весь в поту встает из-за стола и ложится отдохнуть на диван. Но взбунтовавшееся воображение и тут не укрощает своей деятельности, а только избирает другую, более легкую тему.

— Умная женщина была маменька, Арина Петровна, — фантазирует Порфирий Владимирыч, — умела и спросить, да и приласкать умела — оттого и служили ей все с удовольствием! однако и за ней грешки водились! Ой, много было за покойницей блох!

Не успел Иудушка помянуть об Арине Петровне, а она уж и тут как тут; словно чует ее сердце, что она ответ должна дать: сама к милому сыну из могилы явилась.

— Не знаю, мой друг, не знаю, чем я перед тобой провинилась! — как-то уныло говорит она. — Кажется, я…

— Те-те-те, голубушка! лучше уж не грешите! —

без церемонии обличает ее Иудушка. — Коли на то пошло, так я все перед вами сейчас выложу! Почему вы, например, тетеньку Варвару Михайловну в ту пору не остановили?

— Как же ее останавливать! она и сама в полных летах была, сама имела право распоряжаться собою!

— Ну нет-с, позвольте-с! Муж-то какой у нее был? Старенький да пьяненький — ну, самый, самый, значит… бесплодный! А между тем у ней четверо детей проявилось… откуда, спрашиваю я вас, эти дети взялись?

— Что это, друг мой, как ты странно говоришь! как будто я в этом причинна!

— Причинны не причинны, а все-таки повлиять могли! Смешком бы да шуточкой, «голубушка» да «душенька», — смотришь, она бы и посовестилась! А вы все напротив! На дыбы да с кондачка! Варька да Варька, да подлая да бесстыжая! чуть не со всей округой ее перевенчали! вот она и того… и она тоже на дыбы встала! Жаль! Горюшкино-то наше бы теперь было!

— Далось тебе это Горюшкино! — говорит Арина Петровна, очевидно становясь в тупик перед обвинением сына.

— Мне что Горюшкино! Мне, пожалуй, и ничего

не надо! Было бы на свечку да на маслице — вот я и доволен! А вообще, по справедливости… Да, маменька, и рад бы смолчать, а не сказать не могу: большой грех на вашей душе лежит, очень, очень большой!

Арина Петровна уже ничего не отвечает, а только руками разводит, не то подавленная, не то недоумевающая.

— Или бы вот, например, другое дело, — продолжает между тем Иудушка, любуясь смущением маменьки, — зачем вы для брата Степана в ту пору дом в Москве покупали?

— Надо было, мой друг; надо же было и ему какой-нибудь кусок выбросить, — оправдывается Арина Петровна.

— А он взял да и промотал его! И добро бы вы его не знали: буян-то он был, и сквернослов, и непочтительный — нет-таки. Да еще папенькину вологодскую деревеньку хотели ему отдать! А деревенька-то какая! вся в одной меже, ни соседей, ни чересполосицы, лесок хорошенький, озерцо… стоит как облупленное яичко, Христос с ней! хорошо, что я в то время случился да воспрепятствовал… Ах, маменька, маменька, и не грех это вам!

— Да ведь сын он… пойми, все-таки — сын!

— Знаю я и даже очень хорошо понимаю! И все-таки не нужно было этого делать, не следовало! Дом-то двенадцать тысяч серебрецом заплачен — а где они? Вот тут двенадцать тысяч плакали, да Горюшкино тетеньки Варвары Михайловны, бедно-бедно, тысяч на пятнадцать оценить нужно… Ан денег-то и многонько выйдет!

— Ну-ну, полно! уж перестань! не сердись, Христа ради!

— Я, маменька, не сержусь, я только по справедливости сужу… что правда, то правда — терпеть не могу лжи! с правдой родился, с правдой жил, с правдой и умру! Правду и Бог любит, да и нам велит любить. Вот хоть бы про Погорелку, всегда скажу, много, ах как много денег вы извели на устройство ее.

— Да ведь я сама в ней жила…

Иудушка очень хорошо читает на лице маменьки слова: кровопивец ты несуразный! — но делает вид, что не замечает их.

— Нужды нет, что жили, а все-таки… Киотка-то и до сих пор в Погорелке стоит, а чья она? Лошадь маленькая — тоже; шкатулочка чайная… сам собственными глазами еще при папеньке в Головлеве ее видел! а вещичка-то хорошенькая!

— Ну, что уж!

— Нет, маменька, не говорите! оно, конечно, сразу не видно, однако как тут рубль, в другом месте — полтина, да в третьем — четвертачок… Как посмотришь да поглядишь… А впрочем, позвольте, я лучше сейчас все на цифрах прикину! Цифра — святое дело; она уж не солжет!

Порфирий Владимирыч опять устремляется к столу, чтоб привести наконец в полную ясность, какие убытки ему нанесла добрый друг маменька. Он стучит на счетах, выводит на бумаге столбцы цифр — словом, готовит все, чтоб изобличить Арину Петровну. Но, к счастию для последней, колеблющаяся его мысль не может долго удержаться на одном и том же предмете. Незаметно для него самого к нему подкрадывается новый предмет стяжания и, словно каким волшебством, дает его мысли совсем иное направление. Фигура Арины Петровны, еще за минуту перед тем так живо мелькавшая у него в глазах, вдруг окунулась в омуте забвения. Цифры смешались…

Давно уж собирался Порфирий Владимирыч высчитать, что может принести ему полеводство, и вот теперь наступил самый удобный для этого момент. Он знает, что мужик всегда нуждается, всегда ищет занять и всегда же отдает без обмана, с лихвой. В особенности щедр мужик на свой

труд, который «ничего не стоит» и на этом основании всегда при расчетах принимается ни во что, в знак любви. Много-таки на Руси нуждающегося народа, ах как много! Много людей, не могущих определить сегодня, что ждет их завтра, много таких, которые, куда бы ни обратили тоскливые взоры — везде видят только безнадежную пустоту, везде слышат только одно слово: отдай! отдай! И вот вокруг этих-то безнадежных людей, около этой-то перекатной голи, стелет Иудушка свою бесконечную паутину, по временам переходя в какую-то неистовую фантастическую оргию.

На дворе апрель, и мужику, по обыкновению, нечего есть. «Проелись, голубчики! зиму-то пропраздновали, а к весне и животы подвело!» — рассуждает Порфирий Владимирыч сам с собой, а он, как нарочно, только-только все счеты по прошлогоднему полеводству в ясность привел. В феврале были обмолочены последние скирды хлеба, в марте зерно лежало ссыпанное в закрома, а на днях вся наличность уже разнесена по книгам в соответствующие графы. Иудушка стоит у окна и поджидает. Вот вдали, на мосту, показался в тележонке мужик Фока. На повертке в Головлево он как-то торопливо задергал вожжами и, за неимением кнута, пугнул рукой лошадь,

еле передвигающую ноги.

— Сюда! — шепчет Иудушка. — Ишь у него лошадь-то! как только жива! А покормить ее с месяц, другой — ничего животок будет! Рубликов двадцать пять, а не то и все тридцать отдашь за нее.

Между тем Фока подъехал к людской избе, привязал к изгороди лошадь, подкинул ей охапку сенной трухи и через минуту уже переминается с ноги на ногу в девичьей, где Порфирий Владимирыч имеет обыкновение принимать подобных просителей.

— Ну, друг! что скажешь хорошенького? — начинает Порфирий Владимирыч.

— Да вот, сударь, ржицы бы…

— Что так! свою-то, видно, уж съели? Ах, ах, грех какой! Вот кабы вы поменьше водки пили, да побольше трудились, да Богу молились, и землица-то почувствовала бы! Где нынче зерно — смотришь, ан в ту пору два или три получилось бы! Занимать-то бы и не надо!

Фока как-то нерешительно улыбается вместо ответа.

— Ты думаешь, Бог-то далеко, так он и не видит? — продолжает морализировать Порфирий Владимирыч. — Ан Бог-то — вот он. И там, и тут,

и вот с нами, покуда мы с тобой говорим, — везде он! И все он видит, все слышит, только делает вид, будто не замечает. Пускай, мол, люди своим умом поживут; посмотрим, будут ли они меня помнить! А мы этим пользуемся, да вместо того чтоб Богу на свечку из достатков своих уделить, мы — в кабак да в кабак! Вот за это за самое и не подает нам Бог ржицы — так ли, друг?

— Это уж что говорить! Это так точно!

— Ну, так вот видишь ли, и ты теперь понял. А почему понял? потому что Бог милость свою от тебя отвратил. Уродись у тебя ржица, ты бы и опять фордыбачить стал, а вот как Бог-то…

— Справедливо это, и кабы ежели мы…

— Постой! дай я скажу! И всегда так бывает, друг, что Бог забывающим его напоминает об себе. И роптать мы на это не должны, а должны понимать, что это для нашей же пользы делается. Кабы мы Бога помнили, и он бы об нас не забывал. Всего бы нам подал: и ржицы, и овсеца, и картофельцу — на, кушай! И за скотинкой бы за твоей наблюл — вишь, лошадь-то у тебя! в чем только дух держится! и птице, ежели у тебя есть, и той бы настоящее направление дал!

— И это вся ваша правда, Порфирий Владимирыч.

— Бога чтить, это — первое, а потом — старших, которые от самих царей отличие получили, помещиков например.

— Да мы, Порфирий Владимирыч, и то, кажется…

— Тебе вот «кажется», а поразмысли да посуди — ан, может, и не так на поверку выйдет. Теперь, как ты за ржицей ко мне пришел, грех сказать! очень ты ко мне почтителен и ласков; а в позапрошлом году, помнишь, когда жнеи мне понадобились, а я к вам, к мужичкам, на поклон пришел? помогите, мол, братцы, вызвольте! вы что на мою просьбу ответили? Самим, говорят, жать надо! Нынче, говорят, не прежнее время, чтоб на господ работать, нынче — воля! Воля, а ржицы нет!

Порфирий Владимирыч учительно взглядывает на Фоку; но тот не шелохнется, словно оцепенел.

— Горды вы очень, от этого самого вам и счастья нет. Вот я, например: кажется, и Бог меня благословил, и царь пожаловал, а я — не горжусь! Как я могу гордиться! что я такое! червь! козявка! тьфу! А Бог-то взял да за смиренство за мое и благословил меня! И сам милостию своею взыскал, да и царю внушил, чтобы меня пожаловал.

— Я так, Порфирий Владимирыч, мекаю, что

прежде, при помещиках, не в пример лучше было, — льстит Фока.

— Да, брат, было и ваше времечко! попраздновали, пожили! Всего было у вас, и ржицы, и сенца, и картофельцу! Ну, да что уж старое поминать! я не злопамятен; я, брат, давно об жнеях позабыл, только так, к слову вспомнилось! Так как же ты говоришь, ржицы тебе понадобилось?

— Да, ржицы бы…

— Купить, что ли, собрался?

— Где купить! в одолжение, значит, до новой!

— Ахти-хти! Ржица-то, друг, нынче кусается! Не знаю уж, как и быть мне с тобой…

Порфирий Владимирыч впадает в минутное раздумье, словно и действительно не знает, как ему поступить: «И помочь человеку хочется, да и ржица кусается…»

— Можно, мой друг, можно и в одолжение ржицы дать, — наконец говорит он, — да, признаться сказать, и нет у меня продажной ржи: терпеть не могу Божьим даром торговать! Вот в одолжение — это так, это я с удовольствием. Я, брат, ведь помню: сегодня я тебя одолжу, а завтра — ты меня одолжишь! Сегодня у меня избыток — бери, одолжайся! четверть хочешь взять — четверть бери! осьминка понадобилась — осьминку отсы-

пай! А завтра, может быть, так дело повернет, что и мне у тебя под окошком постучать придется: одолжи, мол, Фокушка, ржицы осьминку — есть нечего!

— Где уж! пойдете ли, сударь, вы!..

— Я-то не пойду, а к примеру… И не такие, друг, повороты на свете бывают! Вон в газетах пишут: какой столб Наполеон был, да и тот прогадал, не потрафил. Так-то, брат. Сколько же тебе требуется ржицы-то?

— Четвертцу бы, коли милость ваша будет.

— Можно и четвертцу. Только зараньше я тебе говорю: кусается, друг, нынче рожь, куда как кусается! Так вот как мы с тобой сделаем: я тебе шесть четверичков отмерить велю, а ты мне через восемь месяцев два четверичка при́полнцу отдашь — так оно четвертца в аккурат и будет! Процентов я не беру, а от избытка ржицей…

У Фоки даже дух занялся от Иудушкинова предложения; некоторое время он ничего не говорит, только лопатками пошевеливает.

— Не многовато ли будет, сударь? — наконец произносит он, очевидно робея.

— А много — так к другим обратись! Я, друг, не неволю, а от души предлагаю. Не я за тобой посылал, сам ты меня нашел. Ты — с запросцем,

я — с ответцем. Так-то, друг!

— Так-то так, да словно бы при́полну-то уж много?

— Ах, ах, ах! А я еще думал, что ты — справедливый мужик, степенный! Ну, а мне-то, скажи, чем мне-то жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои должен удовлетворять? Ведь у меня сколько расходов — знаешь ли ты? Конца-краю, голубчик, расходам у меня не видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положь! Всем надо, все Порфирий Владимирыча теребят, а Порфирий Владимирыч отдувайся за всех! Опять и то: кабы я купцу рожь продал — я бы денежки сейчас на стол получил. Деньги, брат, — святое дело. С деньгами накуплю я себе билетов, положу в верное место и стану пользоваться процентами! Ни заботушки мне, ни горюшка, отрезал купончик — пожалуйте денежки! А за рожью-то я еще походи, да похлопочи около нее, да постарайся! Сколько ее усохнет, сколько на ро́ссыпь пойдет, сколько мышь съест! Нет, брат, деньги — как можно! И давно бы мне за ум взяться пора! давно бы в деньги все обратить, да и уехать от вас!

— А вы с нами, Порфирий Владимирыч, поживите.

— И рад бы, голубчик, да сил моих нет. Кабы

прежние силы, конечно, еще пожил бы, повоевал бы. Нет! пора, пора на покой! Уеду отсюда к Троице-Сергию, укроюсь под крылышко угоднику — никто и не услышит меня. А уж мне-то как хорошо будет: мирно, честно, тихо, ни гвалту, ни свары, ни шума — точно на небеси!

Словом сказать, как ни вертится Фока, а дело слаживается, как хочется Порфирию Владимирычу. Но этого мало: в самый момент, когда Фока уж согласился на условия займа, является на сцену какая-то Шелепиха. Так, пустошонка ледащая, с десятинку покосцу, да и то вряд ли… Так вот бы…

— Я тебе одолжение делаю — и ты меня одолжи, — говорит Порфирий Владимирыч, — это уж не за проценты, а так, в одолжение! Бог за всех, а мы друг по дружке! Ты десятинку-то шутя скосишь, а я тебя напредки попомню! я, брат, ведь прост! Ты мне на рублик послужишь, а я…

Порфирий Владимирыч встает и в знак окончания дела молится на церковь. Фока, следуя его примеру, тоже крестится.

Фока исчез; Порфирий Владимирыч берет лист бумаги, вооружается счетами, а костяшки так и прыгают под его проворными руками… Мало-помалу начинается целая оргия цифр. Весь мир застилается в глазах Иудушки словно дымкой;

с лихорадочною торопливостью переходит он от счетов к бумаге, от бумаги к счетам. Цифры растут, растут…

Расчет

На дворе декабрь в половине; окрестность, схваченная неоглядным снежным саваном, тихо цепенеет; за ночь намело на дороге столько сугробов, что крестьянские лошади тяжко барахтаются в снегу, вывозя пустые дровнишки. А к головлевской усадьбе и следа почти нет. Порфирий Владимирыч до того отвык от посещений, что и главные ворота, ведущие к дому, и парадное крыльцо с наступлением осени наглухо заколотил, предоставив домочадцам сообщаться с внешним миром посредством девичьего крыльца и боковых ворот.

Утро; бьет одиннадцать. Иудушка, одетый в халат, стоит у окна и бесцельно поглядывает вперед. Спозаранку бродил он взад и вперед по кабинету и все об чем-то думал и высчитывал воображаемые доходы, так что наконец запутался в цифрах и устал. И плодовитый сад, раскинутый против главного фасада господского дома, и поселок, приютившийся на задах сада, все утонуло в снежных сувоях. После вчерашней вьюги день выдался морозный, и снежная пелена сплошь блестит на солнце миллионами искр, так что

Порфирий Владимирыч невольно щурит глаза. На дворе пустынно и тихо; ни малейшего движения ни у людской, ни около скотного двора; даже крестьянский поселок угомонился, словно умер. Только над поповым домом вьется сизый дымок и останавливает на себе внимание Иудушки.

«Одиннадцать часов било, а попадья еще не отстряпалась, — думается ему, — вечно эти попы трескают!»

Выйдя из этого пункта, он начинает соображать: будни или праздник сегодня, постный или скоромный день и что должна стряпать попадья, — как вдруг внимание его отвлекается в сторону. На горке, при самом выезде из деревни Нагловки, показывается черная точка, которая постепенно придвигается и растет. Порфирий Владимирыч вглядывается и, разумеется, прежде всего задается целой массой праздных вопросов. Кто едет? мужик или другой кто? Другому, впрочем, некому — стало быть, мужик… да, мужик и есть! Зачем едет? ежели за дровами, так ведь нагловский лес по ту сторону деревни… наверное, шельма, в барский лес воровать собрался! Ежели на мельницу, так тоже, выехавши из Нагловки, надо взять вправо… Может быть, за попом? кто-нибудь умирает или уж и умер?.. А может быть,

и родился кто? Какая же это баба родила? Ненила по осени с прибылью ходила, да той, кажется, еще рано… Ежели уродился мальчик, так в ревизию со временем попадет — сколько бишь в Нагловке, по последней ревизии, душ? А ежели девочка, так тех в ревизию не записывают, да и вообще… А все-таки и без женского пола нельзя… тьфу!

Иудушка отплевывается и смотрит на образ, как бы ища у него защиты от лукавого.

Очень вероятно, что он долго блуждал бы таким образом мыслью, если б показавшаяся у Нагловки черная точка обыкновенным порядком помелькала и исчезла; но она все росла и росла и наконец повернула на гать, ведущую к церкви. Тогда Иудушка совершенно отчетливо увидел, что едет небольшая рогоженная кибитка, запряженная парой гусем. Вот она поднялась на взлобок и поравнялась с церковью («не благочинный ли? — мелькнуло у него. — То-то у попа не отстряпались о сю пору!»), вот повернула вправо и направилась прямо к усадьбе: «так и есть, сюда!» Порфирий Владимирыч инстинктивно запахнул халат и отпрянул от окна, словно боясь, чтоб проезжий не заметил его.

Он отгадал: повозка подъехала к усадьбе и остановилась у боковых ворот. Из нее поспешно

выскочила молодая женщина. Одета она была совсем не по сезону, в городское ватное пальто, больше для вида, нежели для тепла, отороченное барашком, и, видимо, закоченела. Особа эта, никем не встреченная, вприскочку побежала на девичье крыльцо, и через несколько секунд уж слышно было, как хлопнула в девичьей дверь, а следом за этим опять хлопнула другая дверь, а затем во всех ближайших к выходу комнатах началась ходьба, хлопанье и суета.

Порфирий Владимирыч стоял у двери кабинета и прислушивался. Он так давно не видал никого постороннего и вообще так отвык от общества людей, что его взяла оторопь. Прошло с четверть часа; ходьба и хлопанье дверью не перемежались, а ему все еще не докладывали. Это еще больше взволновало его. Ясно, что приезжая принадлежала к числу лиц, которые в качестве «присных» не дают никакого повода сомневаться относительно своих прав на гостеприимство. Кто же у него «присные»? Он начал припоминать, но память как-то тупо ему служила. Был у него сын Володька да сын Петька, была маменька Арина Петровна… давно, ах, давно это было! Вот в Горюшкине с прошлой осени поселилась Надька Галкина, покойной тетеньки Варвары Михайлов-

ны дочь, — неужто ж она? Да нет, та уж однажды пыталась ворваться в головлевское капище, да шиш съела! — «Не смеет она! не посмеет!» — твердил Иудушка, приходя в негодование при одной мысли о возможности приезда Галкиной. Но кто же может быть еще?

Покуда он таким образом припоминал, Евпраксеюшка осторожно подошла к двери и доложила:

— Погорелковская барышня, Анна Семеновна, приехала.

Действительно, это была Аннинька. Но она до такой степени изменилась, что почти не было возможности узнать ее. В Головлево явилась на этот раз уж не та красивая, бойкая и кипящая молодостью девушка, с румяным лицом, серыми глазами навыкате, с высокой грудью и тяжелой пепельной косой на голове, которая приезжала сюда вскоре после смерти Арины Петровны, а какое-то слабое, тщедушное существо с впалой грудью, вдавленными щеками, с нездоровым румянцем, с вялыми телодвижениями, существо сутулое, почти сгорбленное. Даже великолепная ее коса выглядела как-то мизерно, и только глаза, вследствие общей худобы лица, казались еще больше, нежели прежде, и горели лихорадочным

блеском. Евпраксеюшка долгое время вглядывалась в нее, как в незнакомую, но наконец-таки узнала.

— Барышня! вы ли? — вскрикнула она, всплеснув руками.

— Я. А что?

Сказавши это, Аннинька тихонько засмеялась, точно хотела прибавить: да, вот как! отделали-таки меня!

— Дядя здоров? — спросила она.

— Что дяденька! так ништо… Только слава, что живут, а то и не видим их почéсть никогда!

— Что же с ним?

— Да так… от скуки, видно, с ними сделалось…

— Неужто и на бобах разводить перестал?

— Нынче они, барышня, молчат. Все говорили и вдруг замолчали. Слышим иногда, как промежду себя в кабинете что-то разговаривают и даже смеются будто, а выдут в комнаты — и опять замолчат. Сказывают, с покойным ихним братцем, Степаном Владимирычем, то же было… Все были веселы — и вдруг замолчали. Вы-то, барышня, все ли здоровы?

Аннинька только махнула рукою в ответ.

— Сестрица все ли здорова?

— Уже целый месяц, как в Кречетове при боль-

шой дороге в могиле лежит.

— Чтой-то, спаси господи! уж и при дороге?

— Известно, как самоубийц хоронят.

— Господи! всё барышни были — и вдруг сами на себя ручку наложили… Как же это так?

— Да, сперва «были барышни», а потом отравились — только и всего. А я вот струсила, жить захотела! к вам вот приехала! Ненадолго, не пугайтесь… умру!

Евпраксеюшка глядела на нее во все глаза, словно не понимала.

— Что на меня глядите? хороша? Ну, какова есть… А впрочем, после об этом… после… Теперь велите-ка ямщика рассчитать да дядю предупредите.

Говоря это, она вынула из кармана старенький портмоне и достала оттуда две желтеньких бумажки.

— А вот и имущество мое! — прибавила она, указывая на жиденький чемодан. — Тут все: и родовое, и благоприобретенное! Иззябла я, Евпраксеюшка, очень иззябла! Вся я больна, ни одной косточки во мне не больной нет, а тут, как нарочно, холодище… Еду, да об одном только думаю: вот доберусь до Головлева, так хоть умру в тепле! Водки бы мне… есть у вас?

— Да вы бы, барышня, чайку лучше; самовар сейчас будет готов.

— Нет, чай — потом, а теперь водки бы… Вы дяде, впрочем, не сказывайте об водке-то покуда… Все само собой после увидится.

Покамест в столовой накрывали к чаю, явился и Порфирий Владимирыч. В свою очередь, и Анниньку с изумлением встретилась с ним: до такой степени он похудел, выцвел и задичал. Он обошелся с Аннинькой как-то странно: не то чтобы прямо холодно, а как будто ему до нее совсем дела нет. Говорил мало, вынужденно, точно актер, с трудом припоминающий фразы из давнишних ролей. Вообще был рассеян, как будто в голове его в это время шла совсем другая и очень важная работа, от которой его досадным образом оторвали по пустякам.

— Ну вот, ты и приехала! — сказал он. — Чего хочешь? чаю? кофею? распорядись!

В прежнее время при родственных свиданиях роль чувствительного человека обыкновенно разыгрывал Иудушка, но на этот раз расчувствовалась Аннинька, и расчувствовалась взаправду. Должно быть, очень у нее наболело внутри, потому что она бросилась к Порфирию Владимирычу на грудь и крепко его обняла.

— Дядя! я к вам! — крикнула она и вдруг залилась слезами.

— Ну что ж! милости просим! комнат у меня довольно — живи!

— Больна я, дяденька! очень, очень больна!

— А больна, так Богу молиться надо! Я и сам, когда болен, — все молитвой лечусь!

— Умирать я приехала к вам, дядя!

Порфирий Владимирыч испытующим оком взглянул на нее, и чуть заметная усмешка скользнула по его губам.

— Доигралась? — произнес он чуть слышно, почти про себя.

— Да, доигралась. Любинька — та «доигралась» и умерла, а я вот… живу!

При известии о смерти Любиньки Иудушка набожно покрестился и молитвенно пошептал. Анниньку между тем села к столу, облокотилась и, смотря в сторону церкви, продолжала горько плакать.

— Вот плакать и отчаиваться — это грех! — учительно заметил Порфирий Владимирыч. — По-христиански-то, знаешь ли, как надо? не плакать, а покоряться и уповать — вот как по-христиански надлежит!

Но Анниньку откинулась на спинку стула и,

тоскливо повесив руки, повторяла:

— Ах, уж и не знаю! не знаю, не знаю, не знаю!

— Ежели ты об сестрице так убиваешься — так и это грех! — продолжал между тем поучать Иудушка. — Потому что хотя и похвально любить сестриц и братцев, однако, если Богу угодно одного из них или даже и нескольких призвать к себе…

— Ах, нет, нет! вы, дядя, добрый? добрый вы? скажите!

Аннинька опять бросилась к нему и обняла.

— Ну добрый, добрый! ну говори! хочется чего-нибудь? закусочки? чайку, кофейку! требуй! сама распорядись!

Анниньке вдруг вспомнилось, как в первый приезд ее в Головлево дяденька спрашивал: «Телятинки хочется? поросеночка? картофельцу?» — и она поняла, что никакого другого утешения ей здесь не сыскать.

— Благодарю вас, дядя, — сказала она, снова присаживаясь к столу, — ничего особенного мне не нужно. Я заранее уверена, что буду всем довольна.

— А будешь довольна, так и слава богу! в Погорелку-то поедешь, что ли?

— Нет, дядя, я покамест у вас поживу. Ведь вы

ничего не имеете против этого?

— Христос с тобой! живи! Ежели я и спросил про Погорелку, так потому, что на случай поездки распоряжение нужно сделать: кибиточку, лошадушек…

— Нет! после! после!

— И прекрасно. Когда-нибудь после съездишь, а покудова с нами поживи. По хозяйству поможешь — я ведь один! Краля-то эта, — Иудушка почти с ненавистью указал на Евпраксеюшку, разливавшую чай, — все по людским рыскает, так иной раз и не докличешься никого, весь дом пустой! Ну а покамест прощай. Я к себе пойду. И помолюсь, и делом займусь, и опять помолюсь… так-то, друг! Давно ли Любинька-то скончалась?

— Да с месяц, дядя.

— Так мы завтра ранехонько к обеденке сходим, да кстати и панихидку по новопреставльшейся рабе Божией Любви отслужим… Так прощай покуда! Кушай-ка чай-то, а ежели закусочки захочется с дорожки, и закусочки подать вели. А в обед опять увидимся. Поговорим, побеседуем; коли нужно что — распорядимся, а не нужно — и так посидим!

Так произошло это первое родственное свидание. С окончанием его Аннинька вступила в

новую жизнь в том самом постылом Головлеве, из которого она, уж дважды в течение своей недолгой жизни, не знала как вырваться.

* * *

Аннинька пошла под гору очень быстро. Вызванное головлевской поездкой (после смерти бабушки Арины Петровны) сознание, что она «барышня», что у нее есть свое гнездо и свои могилы, что не все в ее жизни исчерпывается вонью и гвалтом гостиниц и постоялых дворов, что есть, наконец, убежище, в котором ее не настигнут подлые дыханья, зараженные запахом вина и конюшни, куда не ворвется тот «усатый», с охрипшим от перепоя голосом и воспаленными глазами (ах, что он ей говорил! какие жесты в ее присутствии делал!), — это сознание улетучилось почти сейчас вслед за тем, как только пропало из вида Головлево.

Аннинька отправилась в ту пору из Головлева прямо в Москву и начала хлопотать, чтоб ее и сестру приняли на казенную сцену. С этой целью она обращалась и к maman, директрисе института, в котором она воспитывалась, и к некоторым институтским товаркам. Но везде ее приняли как-то странно. Maman, отнесшаяся

к ней в первую минуту довольно радушно, как только узнала, что она играет на провинциальном театре, вдруг переменила благосклонное выражение лица на важное и строгое, а товарки, большею частью замужние женщины, взглянули на нее с таким нахальным изумлением, что она просто-напросто струсила. Только одна, более добродушная, нежели другие, желая показать участие, спросила:

— А скажи, душка, правда ли, что когда вы, актрисы, одеваетесь в уборных, то вам стягивают корсеты офицеры?

Одним словом, ее попытки утвердиться в Москве так и остались попытками. Надо, впрочем, сказать правду, что и настоящих задатков она для успеха на столичной сцене не имела. И она, и Любинька принадлежали к числу тех бойких, но не особенно даровитых актрис, которые всю жизнь играют одну и ту же роль. Анниньке удалась «Перикола», Любиньке — «Анютины глазки» и «Полковник старых времен»[131]. И затем, за что бы они ни принимались, — везде выходили «Периколы» и «Анютины глазки», а в большинстве случаев, пожалуй, и совсем

[131] Notes: 131

«Полковник старых времен» — комедия-водевиль И. Мелесвиля, Габриэля и Анжела (СПб. 1838).

ничего не выходило. Приходилось Анниньке играть и «Прекрасную Елену» (по обязанностям службы даже и часто); она накладывала на свои пепельные волосы совершенно огненный парик, делала в тунике разрез до самого пояса, но и за всем тем выходило посредственно, вяло, даже не цинично. От «Елены» она перешла к «Отрывкам из герцогини Герольштейнской», и так как тут к бесцветной игре прибавилась еще совершенно бессмысленная постановка, то вышло уже что-то совсем глупое. Наконец, взялась играть Клеретту в «Дочери Рынка»[132], но здесь, стараясь наэлектризовать публику, до такой степени переиграла, что и неприхотливым провинциальным зрителям показалось, что по сцене мечется даже не актриса, желающая «угодить», а просто какая-то непристойная лохань. Вообще об Анниньке составилась репутация, что она актриса проворная, обладающая недурным голосом, а так как при этом у нее была красивая внешность, то в провинции она могла, пожалуй, делать сборы. Но и только. Заставить говорить об себе она не могла и никакой определенной физиономии не имела. Даже в среде провинциальной публики ее

[132] Notes: 132

«Дочь Рынка» — адаптированная для русской сцены В. Курочкиным комическая опера Ш. Лекока «Дочь мадам Анго».

партию составляли исключительно служители всех родов оружия, главная претензия которых заключалась в том, чтобы иметь свободный вход за кулисы. В столице же она была мыслима не иначе как навязанная очень сильным покровительством, но и за всем тем от публики она, наверное, заслужила бы только незавидное прозвище «арфистки».

Приходилось возвращаться в провинцию. В Москве Аннинька получила от Любиньки письмо, из которого узнала, что их труппа перекочевала из Кречетова в губернский город Самоваров, чему она, Любинька, очень рада, потому что подружилась с одним самоваровским земским деятелем, который до того увлекся ею, что «готов, кажется, земские деньги украсть», лишь бы выполнить все, что она ни пожелает. И действительно, приехавши в Самоваров, Аннинька застала сестру среди роскошной, сравнительно, обстановки и легкомысленно решившею бросить сцену. В минуту приезда у Любиньки находился и «друг» ее, земский деятель Гаврило Степаныч Люлькин. Это был отставной гусарский штабс-ротмистр, еще недавно belhomme, но теперь уже слегка отяжелевший. Лицо у него было благородное, манеры благородные, образ мыслей

благородный, но в то же время все, вместе взятое, внушало уверенность, что человек этот отнюдь не обратится в бегство перед земским ящиком. Любинька приняла сестру с распростертыми объятиями и объявила, что в ее квартире для нее приготовлена комната.



Но, под влиянием недавней поездки в «свое место», Аннинька рассердилась. Между сестрами завязался горячий разговор, а потом произошла и размолвка. Невольно вспомнилось при этом Анниньке, как воплинский батюшка говорил, что трудно в актерском звании «сокровище» соблюсти.

Аннинька поселилась в гостинице и прекратила всякие сношения с сестрой. Прошла Святая; на Фоминой начались спектакли, и Аннинька узнала, что на место сестры уже выписана из Казани девица Налимова, актриса неважная, но зато совершенно беспрепятственная в смысле телодвижений. По обыкновению, Аннинька вышла перед публикой в «Периколе» и привела самоваровских обывателей в восторг. Возвратившись в гостиницу, она нашла в своем номере пакет, в котором оказались сторублевая бумажка и коротенькая записка, гласившая: «А в случае чего, и еще столько же. Купец, торгующий модным товаром, Кукишев». Аннинька рассердилась и пошла жаловаться хозяину гостиницы, но хозяин объявил, что у Кукишева такое уж «обнакновение», чтоб всех актрис с приездом поздравлять, а впрочем-де, он человек смирный и обижаться на него не стоит. Следуя этому совету, Аннинька

запечатала в конверт письмо и деньги и, возвратив на другой день все по принадлежности, успокоилась.

Но Кукишев оказался более упорным, нежели как об нем отозвался хозяин гостиницы. Он считал себя в числе друзей Люлькина и находился в приятельских отношениях к Любиньке. Человек он был состоятельный и, сверх того, подобно Люлькину, в качестве члена городской управы состоял в самых благоприятных условиях относительно городского ящика. И при сем, подобно тому же Люлькину, обладал неустрашимостью. Наружность он имел, с гостинодворской точки зрения, обольстительную. А именно, напоминал того жука, которого, по словам песни, вместо ягод нашла в поле Маша:

Жука черного с усами
И с курчавой головой,
С черно-бурыми бровями —
Настоящий милый мой!

Затем, заручившись такою наружностью, он тем более считал себя вправе дерзать, что Любинька прямо обещала ему свое содействие.

Вообще Любинька, по-видимому, окончательно сожгла свои корабли, и об ней ходили самые

неприятные для сестрина самолюбия слухи. Говорили, что каждый вечер у ней собирается кутежная ватага, которая ужинает с полуночи до утра. Что Любинька председает в этой компании и, представляя из себя «цыганку», полураздетая (при этом Люлькин, обращаясь к пьяным друзьям, восклицал: посмотрите! вот это так грудь!), с распущенными волосами и с гитарой в руках, поет:

Ах, как было мне приятно
С этим милым усачом!

Аннинька слушала эти рассказы и волновалась. И что всего более изумляло ее — это то, что Любинька поет романс об усаче на цыганский манер: точь-в-точь как московская Матреша! Аннинька всегда отдавала полную справедливость Любиньке, и если б ей сказали, например, что Любинька «неподражаемо» поет куплеты из «Полковника старых времен», — она, разумеется, нашла бы это совершенно натуральным и охотно поверила бы. Да этому нельзя было и не верить, потому что и курская, и тамбовская, и пензенская публика до сих пор помнит, с какою неподражаемою наивностью Любинька своим маленьким голоском заявляла о желании быть подполковником… Но

чтобы Любинька могла петь по-цыгански, на манер Матреши — это извините-с! это — ложь-с! Вот она, Аннинька, *может* так петь — это несомненно. Это ее жанр, это ее амплуа, и весь Курск, видевший ее в пьесе «Русские романсы в лицах», охотно засвидетельствует, что она *может*.

И Аннинька брала в руки гитару, перекидывала через плечо полосатую перевязь, садилась на стул, клала ногу на ногу и начинала: и-эх! и-ах! И действительно: выходило именно, точка в точку, так, как у цыганки Матреши.

Как бы то ни было, но Любинька роскошничала, а Люлькин, чтобы не омрачать картины хмельного блаженства какими-нибудь отказами, по-видимому, уже приступил к позаимствованиям из земского ящика. Не говоря о массе шампанского, которая всякую ночь выпивалась и выливалась на пол в квартире Любиньки, она сама делалась с каждым днем капризнее и требовательнее. Явились на сцену сперва выписанные из Москвы платья от m-me Минангуа́, а потом и бриллианты от Фульда[133]. Любинька была

[133] Notes: 133

Фирма «Мадам Минангуа» занималась пошивом одежды на заказ, магазин этой фирмы был хорошо известен в Москве. Династия ювелиров Фульдов имела в Москве собственный магазин бриллиантовых и золотых изделий.

расчетлива и не пренебрегала ценностями. Пьяная жизнь — сама по себе, а золото и камешки, и в особенности выигрышные билеты, — сами по себе. Во всяком случае, жилось не то чтобы весело, а буйно, беспардонно, из угара в угар. Одно было неприятно: оказывалось нужным заслуживать благосклонное внимание господина полицмейстера, который хотя и принадлежал к числу друзей Люлькина, но иногда любил дать почувствовать, что он в некотором роде власть. Любинька всегда угадывала, когда полицмейстер бывал недоволен ее угощением, потому что в таких случаях к ней являлся на другой день утром частный пристав и требовал паспорт. И она покорялась: утром подавала частному приставу закуску и водку, а вечером собственноручно делала для господина полицмейстера какой-то «шведский» пунш, до которого он был большой охотник.

Кукишев видел это разливанное море и сгорал от зависти. Ему захотелось во что бы ни стало иметь точно такой же въезжий дом и точь-в-точь такую же «кралю». Тогда можно было бы и время разнообразнее проводить: сегодня ночь — у люлькинской «крали», завтра ночь — у его, Кукишева, «крали». Это была его заветная мечта,

мечта глупого человека, который чем глупее, тем упорнее в достижении своих целей. И самою подходящею личностью для осуществления этой мечты представлялась Аннинька.

Однако ж Аннинька не сдавалась. До сих пор кровь еще не говорила в ней, хотя она имела много поклонников и не стеснялась в обращении с ними. Была одна минута, когда ей казалось, что она готова полюбить местного трагика, Милославского 10-го, который, и в свою очередь, по-видимому, сгорал к ней страстью. Но Милославский 10-й был так глуп и притом так упорно нетрезв, что ни разу ничего ей не высказал, а только таращил глаза и как-то нелепо икал, когда она проходила мимо. Так эта любовь и заглохла в самом зачатке. На всех же остальных поклонников Аннинька просто смотрела как на неизбежную обстановку, на которую провинциальная актриса осуждена самыми условиями своего ремесла. Она покорялась этим условиям, пользовалась теми маленькими льготами (рукоплескания, букеты, катанья на тройках, пикники и проч.), которые они ей предоставляли, но дальше этого, так сказать, внешнего распутства не шла.

Так поступила она и теперь. В продолжение целого лета она неуклонно пребывала на стези

добродетели, ревниво ограждая свое «сокровище» и как бы желая заочно доказать воплинскому батюшке, что и в среде актрис встречаются личности, которым не чуждо геройство. Однажды она даже решилась пожаловаться на Кукишева начальнику края, который благосклонно ее выслушал и за геройство похвалил, рекомендовав и на будущее время пребывать в оном. Но вместе с сим, увидев в ее жалобе лишь предлог для косвенного нападения на его собственную, начальника края, персону, изволил присовокупить, что, истратив силы в борьбе с внутренними врагами, не имеет твердого основания полагать, чтобы он мог быть в требуемом смысле полезным. Выслушав это, Анниньку покраснела и ушла.

Между тем Кукишев действовал так ловко, что успел заинтересовать в своих домогательствах и публику. Публика как-то вдруг догадалась, что Кукишев прав и что девица Погорельская 1-я (так она печаталась в афишах) не бог весть какая «фря», чтобы разыгрывать из себя недотрогу. Образовалась целая партия, которая поставила себе задачей обуздать строптивую выскочку. Началось с того, что закулисные завсегдатаи стали обегать ее уборную и свили себе гнездо по соседству, в уборной девицы Налимовой.

Потом — не выказывая, впрочем, прямо враждебных действий — начали принимать девицу Погорельскую при ее выходах с такою убийственною воздержностью, как будто на сцену появился не первый сюжет, а какой-нибудь оглашенный статист. Наконец настояли на том, чтобы антрепренер отобрал у Анниньки некоторые роли и отдал их Налимовой. И что еще любопытнее, во всей этой подпольной интриге самое деятельное участие принимала Любинька, у которой Налимова состояла на правах наперсницы.

К осени Анниньку с изумлением увидела, что ее заставляют играть Ореста в «Прекрасной Елене» и что из прежних первых ролей за ней оставлена только Перикола, да и то потому, что сама девица Налимова не решилась соперничать с ней в этой пьесе. Сверх того, антрепренер объявил ей, что, ввиду охлаждения к ней публики, жалованье ее сокращается до 75 рублей в месяц с одним полубенефисом в течение года.

Аннинька струсила, потому что при таком жалованье ей приходилось переходить из гостиницы на постоялый двор. Она написала письма к двум-трем антрепренерам, предлагая свои услуги, но отовсюду получила ответ, что нынче и без того от Перикол отбою нет, а так как, сверх того,

из достоверных источников сделалось известно об ее строптивости, то и тем больше надежд на успех не предвидится.

Анниньку проживала последние запасные деньги. Еще неделя — и ей не миновать было постоялого двора, наравне с девицей Хорошавиной, игравшей Парфенису и пользовавшейся покровительством квартального надзирателя. На нее начало находить что-то вроде отчаяния, тем больше, что в ее номер каждый день таинственная рука подбрасывала записку одного и того же содержания: «Перикола! покорись! Твой Кукишев». И вот в эту тяжелую минуту к ней совсем неожиданно ворвалась Любинька.

— Скажи на милость, для какого принца ты свое сокровище бережешь? — спросила она кратко.

Анниньку оторопела. Прежде всего ее поразило, что и воплинский батюшка, и Любинька в одинаковом смысле употребляют слово «сокровище». Только батюшка видит в сокровище «основу», а Любинька смотрит на него как на пустое дело, от которого, впрочем, «подлецы-мужчины» способны доходить до одурения.

Затем она невольно спросила себя: что такое, в самом деле, это сокровище? действительно ли оно сокровище и стоит ли беречь его? — и увы! не

нашла на этот вопрос удовлетворительного ответа. С одной стороны, как будто совестно остаться без сокровища, а с другой… ах, черт побери! да неужели же весь смысл, вся заслуга жизни в том только и должны выразиться, чтобы каждую минуту вести борьбу за сокровище?

— Я в полгода успела тридцать выигрышных билетов скопить, — продолжала между тем Любинька, — да вещей сколько… Посмотри, какое на мне платье!

Любинька повернулась кругом, обдернулась сперва спереди, потом сзади и дала себя осмотреть со всех сторон. Платье было действительно и дорогое, и изумительно сшитое: прямо от Минангуа из Москвы.

— Кукишев — добрый, — опять начала Любинька, — он тебя как куколку вырядит, да и денег даст. Театр-то можно будет и побоку… достаточно!

— Никогда! — горячо вскрикнула Анниньку, которая еще не забыла слов: святое искусство!

— Можно и остаться, если хочешь. Старший оклад опять получишь, впереди Налимовой пойдешь.

Анниньку молчала.

— Ну, прощай. Меня внизу ждут наши. И Куки-

шев там. Едем?

Но Анниньку продолжала молчать.

— Ну, подумай, коли есть над чем думать… А когда надумаешь — приходи! Прощай!

17-го сентября, в день Любинькиных именин, афиша самоварновского театра возвещала экстраординарное представление. Анниньку явилась вновь в роли «Прекрасной Елены», и в тот же вечер, «на сей только раз», роль Ореста выполнила девица Погорельская 2-я, то есть Любинька. К довершению торжества, и тоже «на сей только раз», девицу Налимову одели в трико и коротенькую визитку, слегка тронули лицо сажей, вооружили железным листом и выпустили на сцену в роли кузнеца Клеона. Ввиду всего этого и публика была как-то восторженно настроена. Едва показалась из-за кулис Анниньку, как ее встретил такой гвалт, что она, совсем уже отвыкшая от оваций, почувствовала, что к ее горлу подступают рыдания. А когда в третьем акте, в сцене ночного пробуждения, она встала с кушетки почти обнаженная, то в зале поднялся в полном смысле слова стон. Так что один чересчур наэлектризованный зритель крикнул появившемуся в дверях Менелаю: «Да уйди ты, постылый человек, вон!» Анниньку поняла, что

публика простила ее. С своей стороны, Кукишев, во фраке, в белом галстуке и белых перчатках, с достоинством заявлял о своем торжестве и в антрактах поил в буфете шампанским знакомых и незнакомых. Наконец и антрепренер театра, преисполненный ликования, явился в уборную Анниньки и, встав на колени, сказал:

— Ну вот, барышня, теперь — вы паинька! И потому с нынешнего же вечера, по-прежнему, переводитесь на высший оклад с соответствующим числом бенефисов-с!

Одним словом, все ее хвалили, все поздравляли и заявляли о сочувствии, так что она и сама, сначала робевшая и как бы не находившая места от гнетущей тоски, совершенно неожиданно прониклась убеждением, что она… выполнила свою миссию!

После спектакля все отправились к именинице, и тут поздравления усугубились. В квартире Любиньки собралась такая толпа и сразу так надымила табаком, что трудно было дышать. Сейчас же сели за ужин, и полилось шампанское. Кукишев ни на шаг не отходил от Анниньки, которая, по-видимому, была слегка смущена, но в то же время уже не тяготилась этим ухаживанием. Ей казалось немножко смешно, но и лестно,

что она так легко приобрела себе этого рослого и сильного купчину, который шутя может подкову согнуть и разогнуть и которому она может все приказать, и что захочет, то с ним и сделает. За ужином началось общее веселье, то пьяное, беспорядочное веселье, в котором не принимают участия ни ум, ни сердце и от которого на другой день болит голова и ощущаются позывы на тошноту. Только один из присутствующих, трагик Милославский 10-й, глядел угрюмо и, уклоняясь от шампанского, рюмка за рюмкой хлопал водку-простеца. Что касается до Аннинъки, то она некоторое время воздерживалась от «упоения»; но Кукишев был так настоятелен и так жалко умолял на коленях: «Анна Семеновна! за вами дюбе́т-с (debet)! Позвольте просить-с! за наше блаженство-с! совет да любовь-с! Сделайте ваше одолжение-с!» — что ей хоть и досадно было видеть его глупую фигуру и слушать его глупые речи, но она все-таки не могла отказаться и не успела опомниться, как у нее закружилась голова. Любинька, с своей стороны, была так великодушна, что сама предложила Анниньке спеть «Ах, как было мне приятно с этим милым усачом», что́ последняя и выполнила с таким совершенством, что все воскликнули: «Вот это

так уж точно… по-Матрешиному!» Взамен того, Любинька мастерски спела куплеты о том, как приятно быть *под*полковником, и всех сразу убедила, что это настоящий ее жанр, в котором у нее точно так же нет соперниц, как у Анниньки — в песнях с цыганским пошибом. В заключение Милославский 10-й и девица Налимова представили «сцену-маскарад», в которой трагик декламировал отрывки из «Уголино» («Уголино», трагедия в 5-ти действиях, соч. Н. Полевого), а Налимова подавала ему реплики из неизданной трагедии Баркова. Выходило нечто до такой степени неожиданное, что девица Налимова чуть-чуть не затмила девиц Погорельских и не сделалась героинею вечера.

Было уже почти светло, когда Кукишев, оставивши дорогую именинницу, усаживал Анниньку в коляску. Благочестивые мещане возвращались от заутрени и, глядя на расфранченную и слегка пошатывавшуюся девицу Погорельскую 1-ю, угрюмо ворчали:

— Люди из церкви идут, а они вино жрут… пропасти на вас нет!

От сестры Аннинька отправилась уже не в гостиницу, а на *свою* квартиру, маленькую, но уютную и очень мило отделанную. Туда же сле-

дом за ней вошел и Кукишев.

Вся зима прошла в каком-то неслыханном чаду. Аннинька окончательно закружилась, и ежели по временам вспоминала об «сокровище», то только для того, чтобы сейчас же мысленно присовокупить: «Какая я, однако ж, была дура!» Кукишев, под влиянием гордого сознания, что его идея насчет «крали» равного достоинства с Любинькой осуществилась, не только не жалел денег, но, подстрекаемый соревнованием, выписывал непременно два наряда, когда Люлькин выписывал только один, и ставил две дюжины шампанского, когда Люлькин ставил одну. Даже Любинька начала завидовать сестре, потому что последняя успела за зиму накопить сорок выигрышных билетов, кроме порядочного количества золотых безделушек с камешками и без камешков. Они, впрочем, опять сдружились и решили все накопленное хранить сообща. При этом Аннинька все еще о чем-то мечтала и в интимной беседе с сестрой говорила:

— Когда *все это* кончится, то мы поедем в Погорелку. У нас будут деньги, и мы начнем хозяйничать.

На что Любинька очень цинично возражала:

— А ты думаешь, что *это* когда-нибудь кончит-

ся… дура!

На несчастье Анниньки, у Кукишева явилась новая «идея», которую он начал преследовать с обычным упорством. Как человеку неразвитому и притом несомненно неумному, ему казалось, что он очутится наверху блаженства, если его «краля» будет «делать ему аккомпанемент», то есть вместе с ним станет пить водку.

— Хлопнемте-с! вместе-с! по одной-с! — приставал он к ней беспрестанно (он всегда говорил Анниньке «вы», во-первых, ценя в ней дворянское звание и, во-вторых, желая показать, что и он недаром жил в «мальчиках» в московском гостином дворе).

Аннинька некоторое время отнекивалась, ссылаясь на то, что и Люлькин никогда не заставлял Любиньку пить водку.

— Однако же оне из любви к господину Люлькину все-таки кушают-с! — возразил Кукишев. — Да и позвольте вам доложить, кралечка-с, разве нам господа Люлькины образец-с? Они — Люлькины-с, а мы с вами — Кукишевы-с! Оттого мы и хлопнем, по-нашему-с, по-кукишевски-с!

Одним словом, Кукишев настоял. Однажды Аннинька приняла из рук своего возлюбленного рюмку, наполненную зеленой жидкостью,

и разом опрокинула ее в горло. Разумеется, невзвидела света, поперхнулась, закашлялась, закружилась и этим привела Кукишева в неистовый восторг.

— Позвольте вам доложить, кралечка! вы не так кушаете-с! вы слишком уж скоро-с! — поучал он ее, когда она немного успокоилась. — Пакальчик (так называл он рюмку) следует держать в ручках вот как-с! Потом поднести к устам и не торопясь: раз, два, три… Господи баслави́!

И он спокойно и серьезно опрокинул рюмку в горло, точно вылил содержание ее в лохань. Даже не поморщился, а только взял с тарелки миниатюрный кусочек черного хлеба, обмакнул в солонку и пожевал.

Таким образом, Кукишев добился осуществления и второй своей «идеи» и начал уж помышлять о том, какую бы такую новую «идею» выдумать, чтобы господам Люлькиным в нос бросилось. И, разумеется, выдумал.

— Знаете ли что-с? — вдруг объявил он. — Ужо, как лето наступит, отправимтесь-ка мы с господами Люлькиными за компанию ко мне на мельницу-с, возьмем с собой саквояж-с (так называл он коробок с вином и закуской) и искупаемся в речке-с, с обоюдного промежду себя согласия-с!

— Ну, уж этому-то никогда не бывать! — возражала с негодованием Анниньк а.

— Отчего так-с! Сначала искупаемся, потом чуточку хлопнем-с, а потом немного проклажé и опять искупаемся-с! Расчудесное будет дело-с!

Неизвестно, осуществилась ли эта новая «идея» Кукишева, но известно, что целый год длился этот пьяный угар и в продолжение этого времени ни городская управа, ни земская таковая ж не обнаружили ни малейшего беспокойства относительно господ Кукишева и Люлькина. Люлькин, впрочем, ездил, для вида, в Москву и, воротившись, сказывал, что продал на сруб лес, а когда ему напомнили, что он уже четыре года тому назад, когда жил с цыганкой Домашкой, продал лес, то он возражал, что тогда он сбыл урочище Дрыгаловское, а теперь — пустошь Дашкину Стыдобушку. Причем для придания своему рассказу большего вероятия присовокупил, что проданная пустошь была так названа потому, что при крепостном праве в этом лесу «застали» девку Дашку и тут же на месте наказывали за это розгами. Что касается Кукишева, то он для отвода глаз распускал под рукой слух, что беспошлинно провез из-за границы в карандашах партию кружев и этою операцией нажил хороший барыш.

Тем не менее в сентябре следующего года полицмейстер попросил у Кукишева заимообразно тысячу рублей, и Кукишев имел неблагоразумие отказать. Тогда полицмейстер начал о чем-то перешептываться с товарищем прокурора («Оба у меня шампанское каждый вечер лакали!» — показывал впоследствии на суде Кукишев). И вот, 17-го сентября, в годовщину кукишевских «любвей», когда он вместе с прочими вновь праздновал именины Любиньки, прибежал гласный из городской управы и объявил Кукишеву, что в управе собралось присутствие и составляется протокол.

— Стало быть, «дюбе́т» нашли? — довольно развязно воскликнул Кукишев и без дальних разговоров последовал за посланным в управу, а оттуда в острог.

На другой день всполошилась и земская управа. Собрались члены, послали в казначейство за денежным ящиком, считали, пересчитывали, но как ни хлопали на счётах, а в конце концов оказалось, что и тут «дюбе́т». Люлькин присутствовал при ревизии, бледный, угрюмый, но… благородный! Когда «дюбе́т» обнаружился вполне осязательно и члены, каждый про себя, обсуждали, какое Дрыгаловское урочище при-

дется каждому из них продавать для пополнения растраты, Люлькин подошел к окну, вынул из кармана револьвер и тут же всадил себе пулю в висок.

Много говору наделало в городе это происшествие. Судили и сравнивали. Люлькина жалели, говорили: по крайней мере, благородно покончил! Об Кукишеве отзывались: аршинником[134] родился, аршинником и умрет! А об Анниньке и Любиньке говорили прямо, что это — «они», что это — «из-за них» и что их тоже не мешало бы засадить в острог, чтобы подобным прощелыгам впредь неповадно было.

Следователь, однако ж, не засадил их в острог, но зато так настращал, что они совсем растерялись. Нашлись, конечно, люди, которые приятельски советовали припрятать что поценнее, но они слушали и ничего не понимали. Благодаря этому адвокат истцов (обе управы наняли одного и того же адвоката), отважный малый, в видах обеспечения исков, явился в сопровождении судебного пристава к сестрам и все, что нашел, описал и опечатал, оставив в их распоряжении только платья и те золотые и серебряные вещи,

---

[134] Notes: 134
Аршинник — пренебрежительное название купца.

которые, судя по выгравированным надписям, оказывались приношениями восхищенной публики. Любинька успела, однако ж, при этом захватить пачку бумажек, подаренную ей накануне, и спрятать за корсет. В этой пачке оказалась тысяча рублей — все, чем сестры должны были неопределенное время существовать.

В ожидании суда их держали в Самоварном месяца четыре. Затем начался суд, на котором они, а в особенности Аннинька, выдержали целую пытку. Кукишев был циничен до мерзости; даже надобности не было в тех подробностях, которые он выложил, но он, очевидно, хотел порисоваться перед самоварновскими дамами и излагал решительно все. Прокурор и частный обвинитель, люди молодые и тоже желавшие доставить самоварновским дамам удовольствие, воспользовались этим, чтоб сообщить процессу игривый характер, в чем, конечно, и успели. Аннинька несколько раз падала в обморок, но частный обвинитель, озабочиваясь обеспечением иска, решительно не обращал на это внимания и ставил вопрос за вопросом. Наконец следствие кончилось, и предоставлено было слово заинтересованным сторонам. Уж поздно ночью присяжные вынесли Кукишеву обвини-

тельный приговор, с смягчающими, впрочем, обстоятельствами, вследствие чего он был тут же присужден к ссылке на житье в Западную Сибирь, в места не столь отдаленные.

С окончанием дела сестры получили возможность уехать из Самоварнова. Да и время было, потому что спрятанная тысяча рублей подходила под исход. А сверх того, и антрепренер кречетовского театра, с которым они предварительно сошлись, требовал, чтобы они явились в Кречетов немедленно, грозя, в противном случае, прервать переговоры. О деньгах, вещах и бумагах, опечатанных по требованию частного обвинителя, не было ни слуху ни духу…

Таковы были последствия небрежного обращения с «сокровищем». Измученные, истерзанные, подавленные общим презрением, сестры утратили всякую веру в свои силы, всякую надежду на просвет в будущем. Они похудели, опустились, струсили. И, к довершению всего, Анниньку, побывавши в школе Кукишева, приучилась пить.

Дальше пошло еще хуже. В Кречетове, едва успели сестры выйти из вагона, как их тотчас же разобрали по рукам. Любиньку принял ротмистр Папков, Анниньку — купец Забвенный. Но прежних приволий уже не было. И Папков,

и Забвенный были люди грубые, драчуны, но тратились умеренно (Забвенный выражался: глядя по товару), а через три-четыре месяца и значительно охладели. К довершению, рядом с умеренными любовными успехами шли и чересчур умеренные успехи сценические. Антрепренер, выписавший сестер в расчете на скандал, произведенный ими в Самоварнове, совсем неожиданно просчитался. На первом же представлении, когда обе девицы Погорельские были на сцене, кто-то из райка крикнул: «Эх вы, подсудимые!» — и кличка эта так и осталась за сестрами, сразу решив их сценическую судьбу.

Потянулась вялая, глухая, лишенная всякого умственного интереса жизнь. Публика была холодна, антрепренер дулся, покровители — не заступались. Забвенный, который, подобно Кукишеву, мечтал, как он будет «понуждать» свою кралю прохаживаться с ним по маленькой, как она сначала будет жеманиться, а потом мало-помалу уступит, был очень обижен, когда увидел, что школа уже пройдена сполна и что ему остается только одна утеха: собирать приятелей и смотреть, как Анютка «водку жрет». С своей стороны, и Панков был недоволен и находил, что Любинька похудела, или, как он выражался,

«постервела».

— У тебя прежде телеса были, — допрашивал он ее, — сказывай, куда ты их девала?

И вследствие этого не только не церемонился с нею, но даже не раз под пьяную руку бивал.

К концу зимы сестры не имели ни покровителей «настоящих», ни «постоянного положения». Они еще держались кой-как около театра, но о «Периколах» и «Полковниках старых времен» не было уж и речи. Любинька, впрочем, выглядела несколько бодрее, Аннинька же, как более нервная, совсем опустилась и, казалось, позабыла о прошлом и не сознавала настоящего. Сверх того, она начала подозрительно кашлять: навстречу ей, видимо, шел какой-то загадочный недуг…

Следующее лето было ужасно. Мало-помалу сестер начали возить по гостиницам к проезжающим господам, и на них установилась умеренная такса. Скандалы следовали за скандалами, побоища за побоищами, но сестры были живучи как кошки и все льнули, все желали жить. Они напоминали тех жалких собачонок, которые, несмотря на ошпаривания, израненные, с перешибленными ногами, все-таки лезут в облюбованное место, визжат и лезут. Держать при театре подобные личности оказывалось неудобным.

В эту мрачную годину только однажды луч света ворвался в существование Анниньки. А именно, трагик Милославский 10-й прислал из Самоварнова письмо, в котором настоятельно предлагал ей руку и сердце. Аннинька прочла письмо и заплакала. Целую ночь она металась, была, как говорится, сама не своя, но наутро послала короткий ответ: «Для чего? для того, что ли, чтоб вместе водку пить?» Затем мрак сгустился пуще прежнего, и снова начался бесконечный подлый угар.

Любинька первая очнулась, или, лучше сказать, не очнулась, а инстинктивно почувствовала, что жить довольно. Работы впереди уже не предвиделось: и молодость, и красота, и зачатки дарования — все как-то вдруг пропало. О том, что есть у них приют в Погорелке, ей ни разу даже не вспомнилось. Это было что-то далекое, смутное, совсем забытое. Если их прежде не манило в Погорелку, то теперь и подавно. Да, именно теперь, когда приходилось почти умирать с голоду, теперь-то меньше всего и манило туда. С каким лицом она явится? с лицом, на котором всевозможные пьяные дыхания выжгли тавро: подлая! Везде они легли, эти проклятые дыхания, везде они чувствуются, на всяком месте. И что всего

ужаснее, и она, и Анниньку настолько освоились с этими дыханиями, что незаметно сделали их неразрывною частью своего существования. Им не омерзительны ни трактирная вонь, ни гвалт постоялых дворов, ни цинизм пьяных речей, так что если б они ушли в Погорелку, то им, наверное, всего этого будет недоставать. Но, кроме того, ведь и в Погорелке надо чем-нибудь существовать. Сколько уж лет они мыкаются по белу свету, а об доходах с Погорелки что-то не слыхать. Не миф ли она? не вымерли ли там все? Все эти свидетели далекого и вечно памятного детства, когда их, сироток, бабенька Арина Петровна воспитывала на кислом молоке и попорченной солонине… Ах, что это было за детство! что это за жизнь… вся вообще! Вся жизнь… вся, вся, вся жизнь!

Ясно, что надо умереть. Раз эта мысль осветила совесть, она делается уж неотвязною. Обе сестры нередко пробуждались от угара, но у Анниньки эти пробуждения сопровождались истериками, рыданиями, слезами и проходили быстрее. Любинька была холоднее по природе, а потому не плакала, не проклинала, а только упорно помнила, что она «подлая». Сверх того, Любинька была рассудительна и как-то совершенно ясно сообразила, что жить даже и расчета нет. Совсем

ничего не видится впереди, кроме позора, нищеты и улицы. Позор — дело привычки, его можно перенести, но нищету — никогда! Лучше покончить разом со всем.

— Надо умереть, — сказала она однажды Анниньке тем же холодно-рассудительным тоном, которым два года тому назад спрашивала ее, для кого она бережет свое сокровище.

— Зачем? — как-то испуганно возразила Аннинька.

— Я тебе серьезно говорю: надо умереть! — повторила Любинька. — Пойми! очнись! постарайся!

— Что ж... умрем! — согласилась Аннинька, едва ли, однако же, сознавая то суровое значение, которое заключало в себе это решение.

В тот же день Любинька наломала головок от фосфорных спичек и приготовила два стакана настоя. Один из них выпила сама, другой подала сестре. Но Аннинька мгновенно струсила и не хотела пить.

— Пей... подлая! — кричала на нее Любинька. — Сестрица! милая! голубушка! пей!

Аннинька, почти обезумев от страха, кричала и металась по комнате. И в то же время инстинктивно хваталась руками за горло, словно

пыталась задавиться.

— Пей! пей… подлая!

Артистическая карьера девиц Погорельских кончилась. В тот же день вечером Любинькин труп вывезли в поле и зарыли. Аннинька осталась жива.

* * *

По приезде в Головлево Аннинька очень быстро внесла в старое Иудушкино гнездо атмосферу самого беспардонного кочеванья. Вставала поздно; затем, неодетая, нечесаная, с отяжелевшей головой, слонялась вплоть до обеда из угла в угол и до того вымученно кашляла, что Порфирий Владимирыч, сидя у себя в кабинете, всякий раз пугался и вздрагивал. Комната ее вечно оставалась неприбранною; постель стояла в беспорядке; принадлежности белья и туалета валялись разбросанные по стульям и на полу. В первое время она виделась с дядей только во время обеда и за вечерним чаем. Головлевский владыка выходил из кабинета весь одетый в черное, говорил мало и только по-прежнему изнурительно долго ел. По-видимому, он присматривался, и Аннинька, по скошенным в ее сторону глазам его, догадывалась, что он присматривался именно к ней.

Вслед за обедом наступали ранние декабрьские сумерки и начиналась тоскливая ходьба по длинной анфиладе парадных комнат. Аннинька любила следить, как постепенно потухают мерцания серого зимнего дня, как меркнет окрестность и комнаты наполняются тенями и как потом вдруг весь дом окунется в непроницаемую мглу. Она чувствовала себя легче среди этого мрака и потому почти никогда не зажигала свечей. Только в конце длинной залы стрекотала и оплывала дешевенькая пальмовая свечка, образуя своим пламенем небольшой светящийся круг. Некоторое время в доме происходило обычное послеобеденное движение: слышалось лязганье перемываемой посуды, раздавался стук выдвигаемых и задвигаемых ящиков, но вскоре доносилось топанье удаляющихся шагов, и затем наступала мертвая тишина. Порфирий Владимирыч ложился на послеобеденный отдых, Евпраксеюшка зарывалась в своей комнате в перину, Прохор уходил в людскую, и Аннинька оставалась совершенно одна. Она ходила взад и вперед, напевая вполголоса и стараясь утомить себя и, главное, ни о чем не думать. Идя по направлению к зале, вглядывалась в светящийся круг, образуемый пламенем свечи; возвращаясь

назад, усиливалась различить какую-нибудь точку в сгустившейся мгле. Но, назло усилиям, воспоминания так и плыли ей навстречу. Вот уборная, оклеенная дешевенькими обоями по дощатой перегородке с неизбежным трюмо и не менее неизбежным букетом от подпоручика Папкова 2-го; вот сцена с закопченными, захватанными и скользкими от сырости декорациями; вот и она сама вертится на сцене, именно только вертится, воображая, что играет; вот театральный зал, со сцены кажущийся таким нарядным, почти блестящим, а в действительности убогий, темный, с сборною мебелью и с ложами, обитыми обшарканным малиновым плисом. И в заключение обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры без конца. Потом гостиница с вонючим коридором, слабо освещенным коптящею керосиновой лампой; номер, в который она по окончании спектакля впопыхах забегает, чтоб переодеться для дальнейших торжеств, номер с неприбранной с утра постелью, с умывальником, наполненным грязной водой, с валяющеюся на полу простыней и забытыми на спинке кресла кальсонами; потом общая зала, полная кухонного чада, с накрытым посредине столом; ужин, котлеты под горошком, табачный дым, гвалт,

толкотня, пьянство, разгул… И опять обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры без конца…

Таковы были воспоминания, относившиеся к тому времени, которое она когда-то называла временем своих успехов, своих побед, своего благополучия…

За этими воспоминаниями начинался ряд других. В них выдающуюся роль играл постоялый двор, уже совсем вонючий, с промерзающими зимой стенами, с колеблющимися полами, с дощатою перегородкой, из щелей которой выглядывали глянцевитые животы клопов. Пьяные и драчливые ночи; проезжие помещики, торопливо вынимающие из тощих бумажников зелененькую; хваты-купцы, подбадривающие «актерок» чуть не с нагайкой в руках. А наутро головная боль, тошнота и тоска, тоска без конца. В заключение — Головлево…

Головлево — это сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вечно подстерегающая новую жертву. Двое дядей тут умерли; двое двоюродных братьев здесь получили «особенно тяжкие» раны, последствием которых была смерть; наконец, и Любинька… Хоть и кажется, что она умерла где-то в Кречетове «по своим делам», но начало «особенно тяжких» ран несо-

мненно положено здесь, в Головлеве. Все смерти, все отравы, все язвы — все идет отсюда. Здесь происходило кормление протухлой солониной, здесь впервые раздались в ушах сирот слова: постылые, нищие, дармоеды, ненасытные утробы и проч.; здесь ничто не проходило им даром, ничто не укрывалось от проницательного взора черствой и блажной старухи: ни лишний кусок, ни изломанная грошовая кукла, ни изорванная тряпка, ни стоптанный башмак. Всякое правонарушение немедленно восстановлялось или укоризной, или шлепком. И вот, когда они получили возможность располагать собой и поняли, что можно бежать от этого паскудства, они и бежали… *туда*! И никто не удержал их от бегства, да и нельзя было удержать, потому что хуже, постылее Головлева не предвиделось ничего.

Ах, если б все это забыть! если б можно было хоть в мечте создать что-нибудь иное, какой-нибудь волшебный мир, который заслонил бы собою и прошедшее, и настоящее. Но увы! действительность, которую она пережила, была одарена такою железною живучестью, что под гнетом ее сами собой потухли все проблески воображения. Напрасно мечта усиливается создать ангельчиков с серебряными крылышками — из-

за этих ангельчиков неумолимо выглядывают Кукишевы, Люлькины, Забвенные, Папковы… Господи! да неужто же все утрачено? неужто даже способность лгать, обманывать себя — и та потонула в ночных кутежах, в вине и разврате? Надо, однако ж, как-нибудь убить это прошлое, чтоб оно не отравляло крови, не рвало на куски сердца! Надо, чтоб на него легло что-нибудь тяжелое, которое раздавило бы его, уничтожило бы совсем, дотла!

И как все это странно и жестоко сложилось! нельзя даже вообразить себе, что возможно какое-нибудь будущее, что существует дверь, через которую можно куда-нибудь выйти, что может хоть что-нибудь случиться. Ничего случиться не может. И что всего несноснее: в сущности, она уже умерла, и между тем внешние признаки жизни — налицо. Надо было *тогда* кончать, вместе с Любинькой, а она зачем-то осталась. Как не раздавила ее та масса срама, которая в то время со всех сторон надвинулась на нее? И каким ничтожным червем нужно быть, чтобы выползти из-под такой груды разом налетевших камней?

Вопросы эти заставляли ее стонать. Она бегала и кружилась по зале, стараясь угомонить взбудораженные воспоминания. А навстречу так и

плыли: и герцогиня Герольштейнская, потрясающая гусарским ментиком, и Клеретта Анго, в подвенечном платье, с разрезом впереди до самого пояса, и Прекрасная Елена, с разрезами спереди, сзади и со всех боков… Ничего, кроме бесстыдства и наготы… вот в чем прошла вся жизнь! Неужели все это было?

Около семи часов дом начинал вновь пробуждаться. Слышались приготовления к предстоящему чаю, а наконец раздавался и голос Порфирия Владимирыча. Дядя и племянница садились у чайного стола, разменивались замечаниями о проходящем дне, но так как содержание этого дня было скудное, то и разговор оказывался скудный же. Напившись чаю и выполнив обряд родственного целования на сон грядущий, Иудушка окончательно заползал в свою нору, а Аннинька отправлялась в комнату к Евпраксеюшке и играла с ней в мельники[135].

С 11-ти часов начинался разгул. Предварительно удостоверившись, что Порфирий Владимирыч угомонился, Евпраксеюшка ставила на стол разное деревенское соленье и графин с водкой. Припоминались бессмысленные и бесстыжие

---

[135] Notes: 135
Мельники — название карточной игры.

песни, раздавались звуки гитары, и в промежутках между песнями и подлым разговором Анниньки выпивала. Пила она сначала «по-кукишевски», хладнокровно, «господи баслави!», но потом постепенно переходила в мрачный тон, начинала стонать, проклинать…

Евпраксеюшка смотрела на нее и «жалела».

— Посмотрю я на вас, барышня, — говорила она, — и так мне вас жалко! так жалко!

— А вы выпейте вместе — вот и не жалко будет! — возражала Аннинька.

— Нет, мне как возможно! Меня и то уж из-за дяденьки вашего чуть из духовного звания не исключили, а ежели да при этом…

— Ну, нечего, стало быть, и разговаривать. Давайте-ка лучше я вам «Усача» спою.

Опять раздавалось бренчанье гитары, опять поднимался гик: и-ах! и-ох! Далеко за́ полночь на Анниньку, словно камень, сваливался сон. Этот желанный камень на несколько часов убивал ее прошедшее и даже угомонял недуг. А на другой день, разбитая, полуобезумевшая, она опять выползала из-под него и опять начинала жить.

И вот, в одну из таких паскудных ночей, когда Аннинька лихо распевала перед Евпраксеюшкой репертуар своих паскудных песен, в дверях

комнаты вдруг показалась изнуренная, мертвенно-бледная фигура Иудушки. Губы его дрожали; глаза ввалились и при тусклом мерцании пальмовой свечи казались как бы незрящими впадинами; руки были сложены ладонями внутрь. Он постоял несколько секунд перед обомлевшими женщинами и затем, медленно повернувшись, вышел.

* * *

Бывают семьи, над которыми тяготеет как бы обязательное предопределение. Особливо это замечается в среде той мелкой дворянской сошки, которая, без дела, без связи с общей жизнью и без правящего значения, сначала ютилась под защитой крепостного права, рассеянная по лицу земли русской, а ныне уже без всякой защиты доживает свой век в разрушающихся усадьбах. В жизни этих жалких семей и удача, и неудача — все как-то слепо, не гадано, не думано.

Иногда над подобной семьей вдруг прольется как бы струя счастья. У захудалых корнета и корнетши, смирно хиреющих в деревенском захолустье, внезапно появляется целый выводок молодых людей, крепоньких, чистеньких, проворных и чрезвычайно быстро усвояющих

жизненную суть. Одним словом, «умниц». Все всплошь умницы — и юноши, и юницы. Юноши — отлично кончают курс в «заведениях» и уже на школьных скамьях устраивают себе связи и покровительства. Во́время умеют высказать себя скромными (j'aime cette modestie![136] — говорят про них начальники) и вовремя же — самостоятельными (j'aime cette indépendance!)[137]; чутко угадывают всякого рода веяния и ни с одним из них не порывают, не оставив позади надежной лазейки. Благодаря этому они на всю жизнь обеспечивают для себя возможность без скандала и во всякое время сбросить старую шкуру и облечься в новую, а в случае чего и опять надеть старую шкуру. Словом сказать, это истинные делатели века сего, которые всегда начинают искательством и *почти всегда* кончают предательством. Что же касается до юниц, то и они, в мере своей специальности, содействуют возрождению семьи, то есть удачно выходят замуж и затем обнаруживают столько такта в распоряжении

---

[136] Notes: 136
Мне нравится эта скромность! *(фр.)*

[137] Notes: 137
Мне нравится эта независимость! *(фр.)*

своими атурами[138], что без труда завоевывают видные места в так называемом обществе.

Благодаря этим случайно сложившимся условиям, удача так и плывет навстречу захудалой семье. Первые удачники, бодро выдержавши борьбу, в свою очередь воспитывают новое чистенькое поколение, которому живется уже легче, потому что главные пути не только намечены, но и проторены. За этим поколением вырастут еще поколения, покуда наконец семья естественным путем не войдет в число тех, которые, уже без всякой предварительной борьбы, прямо считают себя имеющими прирожденное право на пожизненное ликование.

В последнее время, по случаю возникновения запроса на так называемых «свежих людей», запроса, обусловленного постепенным вырождением людей «не свежих», примеры подобных удачливых семей начали прорываться довольно часто. И прежде бывало, что от времени до времени на горизонте появлялась звезда с «косицей», но это случалось редко, во-первых, потому, что стена, окружавшая ту беспечальную область, на вратах которой написано: «Здесь во всякое время

---

[138] Notes: 138

Атуры — украшения женского наряда, аксессуары.

едят пироги с начинкой», почти не представляла трещин, а во-вторых, и потому, что для того, чтобы в сопровождении «косицы» проникнуть в эту область, нужно было воистину иметь за душой что-либо солидное. Ну а нынче и трещин порядочно прибавилось, да и самое дело проникновения упростилось, так как от пришельца солидных качеств не спрашивается, а требуется лишь «свежесть», и больше ничего.

Но наряду с удачливыми семьями существует великое множество и таких, представителям которых домашние пенаты с самой колыбели ничего, по-видимому, не дарят, кроме безвыходного злополучия. Вдруг, словно вша, нападает на семью не то невзгода, не то порок и начинает со всех сторон есть. Расползается по всему организму, прокрадывается в самую сердцевину и точит поколение за поколением. Появляются коллекции слабосильных людишек, пьяниц, мелких развратников, бессмысленных празднолюбцев и вообще неудачников. И чем дальше, тем мельче вырабатываются людишки, пока наконец на сцену не выходят худосочные зауморыши вроде однажды уже изображенных мною Головлят[139],

---

[139] Notes: 139
См. рассказ «Семейные итоги». *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

зауморыши, которые при первом же натиске жизни не выдерживают и гибнут.

Именно такого рода злополучный фатум тяготел над головлевской семьей. В течение нескольких поколений три характеристические черты проходили через историю этого семейства: праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой. Первые две приводили за собой пустословие, пустомыслие и пустоутробие, последний — являлся как бы обязательным заключением общей жизненной неурядицы. На глазах у Порфирия Владимирыча сгорело несколько жертв этого фатума, а кроме того, предание гласило еще о дедах и прадедах. Все это были озорливые, пустомысленные и никуда не пригодные пьянчуги, так что головлевская семья, наверное, захудала бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайным метеором не блеснула Арина Петровна. Эта женщина, благодаря своей личной энергии, довела уровень благосостояния семьи до высшей точки, но и за всем тем ее труд пропал даром, потому что она не только не передала своих качеств никому из детей, а, напротив, сама умерла, опутанная со всех сторон праздностью, пустословием и пустоутробием.

До сих пор Порфирий Владимирыч, однако ж, крепился. Может быть, он сознательно оберегался пьянства ввиду бывших примеров, но, может быть, его покуда еще удовлетворял запой пустомыслия. Однако ж, окрестная молва недаром обрекала Иудушку заправскому, «пьяному» запою. Да он и сам по временам как бы чувствовал, что в существовании его есть какой-то пробел; что пустомыслие дает многое, но не все. А именно: недостает чего-то оглушающего, острого, которое окончательно упразднило бы представление о жизни и раз навсегда выбросило бы его в пустоту.

И вот вожделенный момент подвернулся сам собою. Долгое время, с самого приезда Анниньки, Порфирий Владимирыч, запершись в кабинет, прислушивался к смутному шуму, доносившемуся до него с другого конца дома; долгое время он отгадывал и недоумевал… И наконец учуял.

На другой день Аннинька ожидала поучений, но таковых не последовало. По обычаю, Порфирий Владимирыч целое утро просидел запершись в кабинете, но когда вышел к обеду, то вместо одной рюмки водки (для себя) налил две и молча, с глуповатой улыбкой указал рукой на одну из них Анниньке. Это было, так сказать, молчаливое

приглашение, которому Аннинька и последовала.

— Так ты говоришь, что Любинька умерла? — спохватился Иудушка в средине обеда.

— Умерла, дядя.

— Ну, Царство Небесное! Роптать — грех, а помянуть — следует. Помянем, что ли?

— Помянемте, дядя.

Выпили еще по одной, и затем Иудушка умолк: очевидно, он еще не вполне оправился после своей продолжительной одичалости. Только после обеда, когда Аннинька, выполняя родственный обряд, подошла поблагодарить дяденьку поцелуем в щеку, он в свою очередь потрепал ее по щеке и вымолвил:

— Вот ты какая!

Вечером, в тот же день, во время чая, который на сей раз длился продолжительнее обыкновенного, Порфирий Владимирыч некоторое время с той же загадочной улыбкой посматривал на Анниньку, но наконец предложил:

— Закусочки, что ли, велеть поставить?

— Что ж… велите!

— То-то, лучше уж у дяди на глазах, чем по закоулкам… По крайней мере, дядя…

Иудушка не договорил. Вероятно, он хотел ска-

зать, что дядя, по крайней мере, «удержит», но слово как-то не выговорилось.

С этих пор каждый вечер в столовой появлялась закуска. Наружные ставни окон затворялись, прислуга удалялась спать, и племянница с дядей оставались глаз на глаз. Первое время Иудушка как бы не поспевал, но достаточно было недолговременной практики, чтоб он вполне сравнялся с Аннинькой. Оба сидели, не торопясь выпивали и между рюмками припоминали и беседовали. Разговор, сначала безразличный и вялый, по мере того как головы разгорячались, становился живее и живее и наконец неизменно переходил в беспорядочную ссору, основу которой составляли воспоминания о головлевских умертвиях и увечиях.

Зачинщицею этих ссор всегда являлась Аннинька. Она с беспощадною назойливостью раскапывала головлевский архив и в особенности любила дразнить Иудушку, доказывая, что главная роль во всех увечьях, наряду с покойной бабушкой, принадлежала ему. При этом каждое слово ее дышало такою циническою ненавистью, что трудно было себе представить, каким образом в этом замученном, полупотухшем организме могло еще сохраняться столько жизненного ог-

ня. Эти поддразнивания уязвляли Иудушку до бесконечности; но он возражал слабо и больше сердился, а когда Аннинька в своем озорливом науськиванье заходила слишком далеко, то кричал криком и проклинал.

Такого рода сцены повторялись изо дня в день, без изменения. Хотя все подробности скорбного семейного синодика были исчерпаны очень быстро, но синодик этот до такой степени неотступно стоял перед этими подавленными существами, что все мыслительные их способности были как бы прикованы к нему. Всякий эпизод, всякое воспоминание прошлого растравляли какую-нибудь язву, и всякая язва напоминала о новой свите головлевских увечий. Какое-то горькое, мстительное наслаждение чувствовалось в разоблачении этих отрав, в их расценке и даже в преувеличениях. Ни в прошлом, ни в настоящем не оказывалось ни одного нравственного устоя, за который можно бы удержаться. Ничего, кроме жалкого скопидомства, с одной стороны, и бессмысленного пустоутробия — с другой. Вместо хлеба — камень, вместо поучения — колотушка. И в качестве варианта — паскудное напоминание о дармоедстве, хлебогадстве, о милостыне, об утаенных кусках… Вот ответ, который получа-

ло молодое сердце, жаждавшее привета, тепла, любви. И что ж! по какой-то горькой насмешке судьбы, в результате этой жестокой школы оказалось не суровое отношение к жизни, а страстное желание насладиться ее отравами. Молодость сотворила чудо забвения; она не дала сердцу окаменеть, не дала сразу развиться в нем начаткам ненависти, а, напротив, опьянила его жаждой жизни. Отсюда бесшабашный, закулисный угар, который в течение нескольких лет не дал прийти в себя и далеко отодвинул вглубь все головлевское. Только теперь, когда уже почуялся конец, в сердце вспыхнула сосущая боль, только теперь Аннинька настоящим образом поняла свое прошлое и начала настоящим образом ненавидеть.

Хмельные беседы продолжались далеко за полночь, и если б их не смягчала хмельная же беспорядочность мыслей и речей, то они на первых же порах могли бы разрешиться чем-нибудь ужасным. Но, к счастью, ежели вино открывало неистощимые родники болей в этих замученных сердцах, то оно же и умиротворяло их. Чем глубже надвигалась над собеседниками ночь, тем бессвязнее становились речи и бессильнее обуревавшая их ненависть. Под конец не только не чувствовалось боли, но вся насущная обстановка

исчезала из глаз и заменялась светящеюся пустотой. Языки запутывались, глаза закрывались, телодвижения коснели. И дядя и племянница тяжело поднимались с мест и, пошатываясь, расходились по своим логовищам.

Само собой разумеется, что в доме эти ночные похождения не могли оставаться тайной. Напротив того, характер их сразу определился настолько ясно, что никому не показалось странным, когда кто-то из домочадцев, по поводу этих похождений, произнес слово «уголовщина». Головлевские хоромы окончательно оцепенели; даже по утрам не видно было никакого движения. Господа просыпались поздно, и затем до самого обеда из конца в конец дома раздавался надрывающий душу кашель Анниньки, сопровождаемый непрерывными проклятиями. Иудушка со страхом прислушивался к этим раздирающим звукам и угадывал, что и к нему тоже идет навстречу беда, которая окончательно раздавит его.

Отовсюду, из всех углов этого постылого дома, казалось, выползали «умертвия». Куда ни пойдешь, в какую сторону ни повернешься, везде шевелятся серые призраки. Вот папенька Владимир Михайлович, в белом колпаке, дразнящийся языком и цитирующий Баркова; вот братец Степ-

ка-балбес и рядом с ним братец Пашка-тихоня; вот Любинька, а вот и последние отпрыски головлевского рода: Володька и Петька… И все это хмельное, блудное, измученное, истекающее кровью… И над всеми этими призраками витает живой призрак, и этот живой призрак — не кто иной, как сам он, Порфирий Владимирыч Головлев, последний представитель выморочного рода…

* * *

В конце концов постоянные припоминания старых умертвий должны были оказать свое действие. Прошлое до того выяснилось, что малейшее прикосновение к нему производило боль. Естественным последствием этого был не то испуг, не то пробуждение совести, скорее даже последнее, нежели первое. К удивлению, оказывалось, что совесть не вовсе отсутствовала, а только была загнана и как бы позабыта. И вследствие этого утратила ту деятельную чуткость, которая обязательно напоминает человеку о ее существовании.

Такие пробуждения одичалой совести бывают необыкновенно мучительны. Лишенная воспитательного ухода, не видя никакого просвета

впереди, совесть не дает примирения, не указывает на возможность новой жизни, а только бесконечно и бесплодно терзает. Человек видит себя в каменном мешке, безжалостно отданным в жертву агонии раскаяния, именно одной агонии, без надежды на возврат к жизни. И никакого иного средства утишить эту бесплодную разъедающую боль, кроме шанса воспользоваться минутою мрачной решимости, чтобы разбить голову о камни мешка…

Иудушка в течение долгой пустоутробной жизни никогда даже в мыслях не допускал, что тут же, о бок с его существованием, происходит процесс умертвия. Он жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да Богу помолясь, и отнюдь не предполагал, что именно из этого-то и выходит более или менее тяжелое увечье. А следовательно, тем меньше мог допустить, что он сам и есть виновник этих увечий.

И вдруг ужасная правда осветила его совесть, но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт. Вот он состарелся, одичал, одной ногой в могиле стоит, а нет на свете существа, которое приблизилось бы к нему, «пожалело» бы его. Зачем он один? зачем он видит кругом не

только равнодушие, но и ненависть? отчего все, что ни прикасалось к нему, — все погибло? Вот тут, в этом самом Головлеве, было когда-то целое человечье гнездо — каким образом случилось, что и пера не осталось от этого гнезда? Из всех выпестованных в нем птенцов уцелела только племянница, но и та явилась, чтоб надругаться над ним и доконать его. Даже Евпраксеюшка — уж на что простодушна — и та ненавидит. Она живет в Головлеве, потому что отцу ее, пономарю, ежемесячно посылается отсюда домашний запас, но живет, несомненно, ненавидя. И ей он, Иуда, нанес тягчайшее увечье, и у ней он сумел отнять свет жизни, отняв сына и бросив его в какую-то безыменную яму. К чему же привела вся его жизнь? Зачем он лгал, пустословил, притеснял, скопидомствовал? Даже с материальной точки зрения, с точки зрения «наследства» — кто воспользуется результатами этой жизни? кто?

Повторяю: совесть проснулась, но бесплодно. Иудушка стонал, злился, метался и с лихорадочным озлоблением ждал вечера не для того только, чтобы бестиально упиться, а для того, чтобы утопить в вине совесть. Он ненавидел «распутную девку», которая с такой холодной наглостью бередила его язвы, и в то же время неудержимо

влекся к ней, как будто еще не все между ними было высказано, а оставались еще и еще язвы, которые тоже необходимо было растравить. Каждый вечер он заставлял Анниньку повторять рассказ о Любинькиной смерти, и каждый вечер в уме его больше и больше созревала идея о саморазрушении. Сначала эта мысль мелькнула случайно, но, по мере того как процесс умертвий выяснялся, она прокрадывалась глубже и глубже и наконец сделалась единственною светящеюся точкой во мгле будущего.

К тому же и физическое его здоровье резко пошатнулось. Он уже серьезно кашлял и по временам чувствовал невыносимые приступы удушья, которые, независимо от нравственных терзаний, сами по себе в состоянии наполнить жизнь сплошной агонией. Все внешние признаки специального головлевского отравления были налицо, и в ушах его уже раздавались стоны братца Павлушки-тихони, задохшегося на антресолях дубровинского дома. Однако ж эта впалая, худая грудь, которая, казалось, ежеминутно готова была треснуть, оказывалась удивительно живучею. С каждым днем вмещала она все большую и большую массу физических мук, а все-таки держалась, не уступала. Как будто и организм своей

неожиданной устойчивостью мстил за старые умертвия. «Неужто ж это не конец?» — каждый раз с надеждой говорил Иудушка, чувствуя приближение припадка; а конец все не приходил. Очевидно, требовалось насилие, чтобы ускорить его.

Одним словом, с какой стороны ни подойди, все расчеты с жизнью покончены. Жить и мучительно, и не нужно; всего нужнее было бы умереть; но беда в том, что смерть не идет. Есть что-то изменнически-подлое в этом озорливом замедлении умирания, когда смерть призывается всеми силами души, а она только обольщает и дразнит…

Дело было в исходе марта, и Страстная неделя подходила к концу. Как ни опустился в последние годы Порфирий Владимирыч, но установившееся еще с детства отношение к святости этих дней подействовало и на него. Мысли сами собой настраивались на серьезный лад; в сердце не чувствовалось никакого иного желания, кроме жажды безусловной тишины. Согласно с этим настроением, и вечера утратили свой безобразно-пьяный характер и проводились молчаливо, в тоскливом воздержании.

Иудушка и Аннинька сидели вдвоем в столо-

вой. Не далее как час тому назад кончилась всенощная, сопровождаемая чтением двенадцати Евангелий, и в комнате еще слышался сильный запах ладана. Часы пробили десять, домашние разошлись по углам, и в доме водворилось глубокое, сосредоточенное молчание. Аннинька, взявши голову в обе руки, облокотилась на стол и задумалась; Порфирий Владимирыч сидел напротив, молчаливый и печальный.

На Анниньку эта служба всегда производила глубоко потрясающее впечатление. Еще будучи ребенком, она горько плакала, когда батюшка произносил: «И сплетше венец из терния, возложиша на главу его, и трость в десницу его», — и всхлипывающим дискантиком подпевала дьячку: «Слава долготерпению Твоему, Господи! слава Тебе!» А после всенощной, вся взволнованная, прибегала в девичью и там, среди сгустившихся сумерек (Арина Петровна не давала в девичью свечей, когда не было работы), рассказывала рабыням «страсти Господни». Лились тихие рабьи слезы, слышались глубокие рабьи воздыхания. Рабыни чуяли сердцами своего Господина и Искупителя, верили, что Он воскреснет, воистину воскреснет. И Аннинька тоже чуяла и верила. За глубокой ночью истязаний, подлых издевок и

покива́ний для всех этих нищих духом виднелось царство лучей и свободы. Сама старая барыня, Арина Петровна, обыкновенно грозная, делалась в эти дни тихою, не брюзжала, не попрекала Анниньку сиротством, а гладила ее по головке и уговаривала не волноваться. Но Аннинька даже в постели долго не могла успокоиться, вздрагивала, металась, по нескольку раз в течение ночи вскакивала и разговаривала сама с собой.

Потом наступили годы учения, а затем и годы странствования. Первые были бессодержательны, вторые — мучительно пошлы. Но и тут, среди безобразий актерского кочевья, Аннинька ревниво выделяла «святые дни» и отыскивала в душе отголоски прошлого, которые помогали ей по-детски умиляться и вздыхать. Теперь же, когда жизнь выяснилась вся, до последней подробности, когда прошлое проклялось само собою, а в будущем не предвиделось ни раскаяния, ни прощения, когда иссяк источник умиления, а вместе с ним иссякли и слезы, — впечатление, произведенное только что выслушанным сказанием о скорбном пути, было поистине подавляющим. И тогда, в детстве, над нею тяготела глубокая ночь, но за тьмою все-таки предчувствовались лучи. Теперь — ничего не предчувствовалось, ни-

чего не предвиделось: ночь, вечная, бессменная ночь — и ничего больше. Аннинька не вздыхала, не волновалась и, кажется, даже ни о чем не думала, только впала в глубокое оцепенение.

С своей стороны, и Порфирий Владимирыч с не меньшею аккуратностью с молодых ногтей чтил «святые дни», но чтил исключительно с обрядной стороны, как истый идолопоклонник. Каждогодно накануне Великой пятницы он приглашал батюшку, выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздевал руки, стукался лбом в землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных Евангелий и все-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Аннинька разбудила в нем сознание «умертвий», он понял впервые, что в этом сказании идет речь о какой-то неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над Истиной…

Конечно, было бы преувеличением сказать, что по поводу этого открытия в душе его возникли какие-либо жизненные сопоставления, но несомненно, что в ней произошла какая-то смута, почти граничащая с отчаянием. Эта смута была тем мучительнее, чем бессознательнее прожилось то прошлое, которое послужило ей источником. Было что-то страшное в этом прошлом,

а что именно — в массе невозможно припомнить. Но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемою завесою, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить. Если б еще оно взаправду раздавило — это было бы самое лучшее; но ведь он живуч — пожалуй, и выползет. Нет, ждать развязки от естественного хода вещей — слишком гадательно; надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильною смутою. Есть такая развязка, есть. Он уже с месяц приглядывается к ней и теперь, кажется, не проминёт. «В субботу приобщаться будем — надо на могилку к покойной маменьке проститься сходить!» — вдруг мелькнуло у него в голове.

— Сходим, что ли? — обратился он к Анниньке, сообщая ей вслух о своем предположении.

— Пожалуй… съездимте…

— Нет, не съездимте, а… — начал было Порфирий Владимирыч и вдруг оборвал, словно сообразил, что Аннинька может помешать.

«А ведь я перед покойницей маменькой… ведь я ее замучил… я!» — бродило между тем в его мыслях, и жажда «проститься» с каждой минутой сильнее и сильнее разгоралась в его сердце. Но «проститься» не так, как обыкновенно про-

щаются, а пасть на могилу и застыть в воплях смертельной агонии.

— Так ты говоришь, что Любинька сама от себя умерла? — вдруг спросил он, видимо, с целью подбодрить себя.

Сначала Анниньку словно не расслышала вопроса дяди, но, очевидно, он дошел до нее, потому что через две-три минуты она сама ощутила непреодолимую потребность возвратиться к этой смерти, измучить себя ею.

— Так и сказала: пей… подлая?! — переспросил он, когда она подробно повторила свой рассказ.

— Да… сказала.

— А ты осталась? не выпила?

— Да… вот живу…

Он встал и несколько раз в видимом волнении прошелся взад и вперед по комнате. Наконец подошел к Анниньке и погладил ее по голове.

— Бедная ты! бедная ты моя! — произнес он тихо.

При этом прикосновении в ней произошло что-то неожиданное. Сначала она изумилась, но постепенно лицо ее начало искажаться, искажаться, и вдруг целый поток истерических, ужасных рыданий вырвался из ее груди.

— Дядя! вы добрый? скажите, вы добрый? — по-

чти криком кричала она.

Прерывающимся голосом, среди слез и рыданий, твердила она свой вопрос, тот самый, который она предложила еще в тот день, когда после «странствия» окончательно воротилась для водворения в Головлеве, и на который он в то время дал такой нелепый ответ.

— Вы добрый? скажите! ответьте! вы добрый?

— Слышала ты, что за всенощной сегодня читали? — спросил он, когда она наконец затихла. — Ах, какие это были страдания! Ведь только этакими страданиями и можно… И простил! всех навсегда простил!

Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота.

— Всех простил! — вслух говорил он сам с собою. — Не только тех, которые *тогда* напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые и после, вот теперь и впредь, во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью… Ужасно! ах, это ужасно!

И вдруг, остановившись перед ней, спросил:

— А ты… простила?

Вместо ответа она бросилась к нему и крепко его обняла.

— Надо меня простить! — продолжал он. — За всех… И за себя… и за тех, которых уж нет… Что такое! что такое сделалось?! — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом. — Где… *все*?..

Измученные, потрясенные, разошлись они по комнатам. Но Порфирию Владимирычу не спалось. Он ворочался с боку на бок в своей постели и все припоминал, какое еще обязательство лежит на нем. И вдруг в его памяти совершенно отчетливо восстановились те слова, которые случайно мелькнули в его голове часа за два перед тем. «Надо на могилку к покойнице маменьке проститься сходить…» При этом напоминании ужасное, томительное беспокойство овладело всем существом его…

Наконец он не выдержал, встал с постели и надел халат. На дворе было еще темно, и ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха. Порфирий Владимирыч некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом Искупителя в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он решился. Трудно сказать, насколько он сам сознавал свое решение, но через несколько минут он, крадучись, добрался до передней и щелкнул крючком, замыкавшим входную дверь.

На дворе выл ветер и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимирыч шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра и только инстинктивно запахивая полы халата.

* * *

На другой день, рано утром, из деревни, ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден закоченевший труп головлевского барина. Бросились к Анниньке, но она лежала в постели в бессознательном положении, со всеми признаками горячки. Тогда снарядили нового верхового и отправили его в Горюшкино к «сестрице» Надежде Ивановне Галкиной (дочке тетеньки Варвары Михайловны), которая уже с прошлой осени зорко следила за всем, происходившим в Головлеве.

1875–1880



Сказки



Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, — сказал один генерал. — Ви-

жу, будто живу я на необитаемом острове…

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! да что ж это такое! где мы! — вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что́ же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слезы. — Ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что, — отвечал другой генерал, — поди-

те вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все стороны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов[140] учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошел один генерал направо и видит: растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, ви-

[140] Notes: 140

Школа для солдатских и унтер-офицерских детей, существовала с 1805 по 1856 год.

дит: рыба там, словно в садке на Фонтанке[141], так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой уж дожидается.

— Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?

— Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

---

[141] Notes: 141
Имеется в виду «живорыбный садок» для торговли свежей рыбой.



— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да, — отвечал другой генерал, — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить… Только как все это сделать?

— Как все это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями[142] и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы сту-

---

[142] Notes: 142

Пикули — овощи, маринованные в уксусе.

чали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом. — Ведь этак мы друг друга съедим! И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм… да… А я, признаться, как служил в де-

партаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать пора!»

Но упоминовение об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда наконец соки совсем не прекратятся…

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять…

— Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера, — читал взволнованным голосом один генерал, — у почтенного начальника нашей

древней столицы[143] был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и „шекснинска стерлядь золотая“[144], и питомец лесов кавказских — фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника…»

— Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее:

«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая

---

[143] Notes: 143

Имеется в виду князь В. А. Долгоруков — московский генерал губернатор в 1865–1891 годах.

[144] Notes: 144

Из стихотворения Г. Р. Державина «Приглашение к обеду». *Шекснинска* — от названия реки Шексны в Вологодской губернии.

разнообразная и даже почти прихотливая…»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится…»



Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, — все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти

пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение…

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?

— То есть как же… мужика?

— Ну да, простого мужика… какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм… мужика… но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Ка́к нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него. — Небось и ухом не ведешь, что тут два

генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!»

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было Вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!



— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более что в «Московских ведомостях» повествуют…

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани, — и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! все сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

— Еще как жалко-то! Особливо как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да

представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше, словно муха, ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить[145], как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно ге-

---

[145] Notes: 145
На бобах разводить — гадать.

нералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот наконец и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

1869





Пропала совесть

Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую *болесть* вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее — все, казалось, так и отдавалось им в руки, — им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести.

Совесть пропала вдруг… почти мгновенно! Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг… ничего! Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница-совесть. Оставалось толь-

ко смотреть на Божий мир и радоваться: мудрые мира поняли, что они наконец освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение.

А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя; всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик.

И вдруг он почувствовал, что его пронизала словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, на избавление от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только страх, тот тупой страх, который повергает

человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности; потом всполошилась память, заговорило воображение. Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд; воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем, сам собой, проснулся суд…

Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает: он до того подавлен вставшею перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что бóльшая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Чтó такое его прошлое? почему он прожил его так, а не иначе? что такое он сам? — все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшею бессознательностью.

Иго строило его жизнь; под игом родился он, под игом же сойдет и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание — да на что оно ему нужно? затем ли оно пришло, чтоб безжалостно поставить вопросы и ответить на них молчанием? затем ли, чтоб погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва ее?

Увы! проснувшееся сознание не приносит ему с собой ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся совесть указывает только один выход — выход бесплодного самообвинения. И прежде кругом была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными привидениями; и прежде на руках звенели тяжелые цепи, да и теперь те же цепи, только тяжесть их вдвое увеличилась, потому что он понял, что это цепи. Льются рекой бесполезные пропойцевы слезы; останавливаются перед ним добрые люди и утверждают, что в нем плачет вино.

— Батюшки! не могу… несносно! — криком кричит жалкий пропоец, а толпа хохочет и глумится над ним. Она не понимает, что пропоец никогда не был так свободен от винных паров, как в эту минуту, что он просто сделал несчастную находку, которая разрывает на части его бедное

сердце. Если бы она сама набрела на эту находку, то уразумела бы, конечно, что есть на свете горесть, лютейшая всех горестей, — это горесть внезапно обретенной совести. Она уразумела бы, что и она — настолько же подъяремная[146] и изуродованная духом толпа, насколько подъяремен и нравственно искажен взывающий перед нею пропоец.

«Нет, надо как-нибудь ее сбыть! а то с ней пропадешь, как собака!» — думает жалкий пьяница и уже хочет бросить свою находку на дорогу, но его останавливает близь стоящий хожалый[147].

— Ты, брат, кажется, подбрасыванием подметных[148] пасквилей заниматься вздумал! — говорит он ему, грозя пальцем. — У меня, брат, и в части за это посидеть недолго!

Пропоец проворно прячет находку в карман и удаляется с нею. Озираясь и крадучись, приближается он к питейному дому, в котором торгует старинный его знакомый, Прохорыч. Сначала он заглядывает потихоньку в окошко и, увидев, что

---

[146] Notes: 146
Подъяремная — рабская.

[147] Notes: 147
Хожалый — рассыльный при полиции; здесь — полицейский.

[148] Notes: 148
Подметный — подброшенный тайком.

в кабаке никого нет, а Прохорыч один-одинехонек дремлет за стойкой, в одно мгновение ока растворяет дверь, вбегает, и, прежде нежели Прохорыч успевает опомниться, ужасная находка уже лежит у него в руке.

Некоторое время Прохорыч стоял с вытаращенными глазами; потом вдруг весь вспотел. Ему почему-то померещилось, что он торгует без патента; но, оглядевшись хорошенько, он убедился, что все патенты, и синие, и зеленые, и желтые, налицо. Он взглянул на тряпицу, которая очутилась у него в руках, и она показалась ему знакомою.

«Эге! — вспомнил он. — Да никак это та самая тряпка, которую я насилу сбыл перед тем, как патент покупать! да! она самая и есть!»

Убедившись в этом, он тотчас же почему-то сообразил, что теперь ему разориться надо.

— Коли человек делом занят, да этакая пакость к нему привяжется, — говори пропало! никакого дела не будет и быть не может! — рассуждал он почти машинально и вдруг весь затрясся и побледнел, словно в глаза ему глянул неведомый дотоле страх.

— А ведь куда скверно спаивать бедный народ! — шептала проснувшаяся совесть.

— Жена! Арина Ивановна! — вскрикнул он вне себя от испуга.

Прибежала Арина Ивановна, но как только увидела, какое Прохорыч сделал приобретение, так не своим голосом закричала: «Караул! батюшки! грабят!»

«И за что я через этого подлеца в одну минуту всего лишиться должен?» — думал Прохорыч, очевидно намекая на пропойца, всучившего ему свою находку. А крупные капли пота между тем так и выступали на лбу его.

Между тем кабак мало-помалу наполнялся народом, но Прохорыч, вместо того чтоб с обычною любезностью потчевать посетителей, к совершенному изумлению последних, не только отказывался наливать им вино, но даже очень трогательно доказывал, что в вине заключается источник всякого несчастия для бедного человека.

— Коли бы ты одну рюмочку выпил — это так! это даже пользительно! — говорил он сквозь слезы. — А то ведь ты норовишь, как бы тебе целое ведро сожрать! И что ж? сейчас тебя за это самое в часть сволокут; в части тебе под рубашку засыплют, и выдешь ты оттоль, словно кабы награду какую получил! А и всей-то твоей награды было

сто лозанов![149] Так вот ты и подумай, милый человек, стоит ли из-за этого стараться, да еще мне, дураку, трудовые твои денежки платить!

— Да что ты, никак, Прохорыч, с ума спятил! — говорили ему изумленные посетители.

— Спятишь, брат, коли с тобой такая оказия случится! — отвечал Прохорыч. — Ты вот лучше посмотри, какой я нынче патент себе выправил!

Прохорыч показывал всученную ему совесть и предлагал, не хочет ли кто из посетителей воспользоваться ею. Но посетители, узнавши, в чем штука, не только не изъявляли согласия, но даже боязливо сторонились и отходили подальше.

— Вот так патент! — не без злобы прибавлял Прохорыч.

— Что́ ж ты теперь делать будешь? — спрашивали его посетители.

— Теперича я полагаю так: остается мне одно — помереть! Потому обманывать я теперь не могу; водкой спаивать бедный народ тоже не согласен; что́ же мне теперича делать, кроме как помереть?

— Резон! — смеялись над ним посетители.

— Я даже так теперь думаю, — продолжал

---

[149] Notes: 149
Лозаны — розги.

Прохорыч, — всю эту посудину, какая тут есть, перебить и вино в канаву вылить! Потому, коли ежели кто имеет в себе эту добродетель, так тому даже самый запах сивушный может нутро перевернуть!

— Только смей у меня! — вступилась наконец Арина Ивановна, сердца которой, по-видимому, не коснулась благодать, внезапно осенившая Прохорыча. — Ишь добродетель какая выискалась!

Но Прохорыча уже трудно было пронять. Он заливался горькими слезами и все говорил, все говорил.

— Потому, — говорил он, — что, ежели уж с кем это несчастие случилось, тот так несчастным и должен быть. И никакого он об себе мнения, что он торговец или купец, заключить не смеет. Потому что это будет одно его напрасное беспокойство. А должен он о себе так рассуждать: «Несчастный я человек в сем мире — и больше ничего».

Таким образом в философических упражнениях прошел целый день, и хотя Арина Ивановна решительно воспротивилась намерению своего мужа перебить посуду и вылить вино в канаву, однако они в тот день не продали ни капли. К вечеру Прохорыч даже развеселился и, ложась на ночь, сказал плачущей Арине Ивановне:

— Ну вот, душенька и любезнейшая супруга моя! хоть мы и ничего сегодня не нажили, зато как легко тому человеку, у которого совесть в глазах есть!

И действительно, он как лег, так сейчас и уснул. И не метался во сне, и даже не храпел, как это случалось с ним в прежнее время, когда он наживал, но совести не имел.

Но Арина Ивановна думала об этом несколько иначе. Она очень хорошо понимала, что в кабацком деле совесть совсем не такое приятное приобретение, от которого можно было бы ожидать прибытка, и потому решилась во что бы то ни стало отделаться от непрошеной гостьи. Скрепя сердце она переждала ночь, но, как только в запыленные окна кабака забрезжил свет, она выкрала у спящего мужа совесть и стремглав бросилась с нею на улицу.

Как нарочно, это был базарный день: из соседних деревень уже тянулись мужики с возами, и квартальный надзиратель Ловец самолично отправлялся на базар для наблюдения за порядком. Едва завидела Арина Ивановна поспешающего Ловца, как у ней блеснула уже в голове счастливая мысль. Она во весь дух побежала за ним и едва успела поравняться, как сейчас же, с изуми-

тельною ловкостью, сунула потихоньку совесть в карман его пальто.

Ловец был малый не то чтоб совсем бесстыжий, но стеснять себя не любил и запускал лапу довольно свободно. Вид у него был не то чтоб наглый, а *устремительный*. Руки были не то чтоб слишком озорные, но охотно зацепляли все, что попадалось по дороге. Словом сказать, был лихоимец порядочный.

И вдруг этого самого человека начало коробить.

Пришел он на базарную площадь, и кажется ему, что все, что там ни наставлено, и на возах, и на рундуках[150], и в лавках, — все это не его, а чужое. Никогда прежде этого с ним не бывало. Протер он себе бесстыжие глаза и думает: «Не очумел ли я, не во сне ли все это мне представляется?» Подошел к одному возу, хочет запустить лапу, ан лапа не поднимается; подошел к другому возу, хочет мужика за бороду вытрясти — о ужас! длани[151] не простираются!

Испугался.

---

[150] Notes: 150
Рундук — сундук с откидной крышкой, использовавшийся как скамья.

[151] Notes: 151
Длани — руки.

«Что это со мной нынче сделалось? — думает Ловец. — Ведь этаким манером, пожалуй, и напредки[152] все дело себе испорчу! Уж не воротиться ли, за добра ума, домой?»

Однако понадеялся, что, может быть, и пройдет. Стал погуливать по базару; смотрит, лежит всякая живность, разостланы всякие материи, и все это как будто говорит: «Вот и близок локоть, да не укусишь!»

А мужики между тем осмелились: видя, что человек очумел, глазами на свое добро хлопает, стали шутки шутить, стали Ловца Фофаном[153] Фофанычем звать.

— Нет, это со мною болезнь какая-нибудь! — решил Ловец и так-таки без кульков, с пустыми руками, и отправился домой.

Возвращается он домой, а Ловчиха-жена уж ждет, думает: «Сколько-то мне супруг мой любезный нынче кульков принесет?» И вдруг — ни одного. Так и закипело в ней сердце, так и накинулась она на Ловца.

— Куда кульки девал? — спрашивает она его.

— Перед лицом моей совести свидетельству-

---

[152] Notes: 152
Напредки — на будущее.

[153] Notes: 153
Фофан — простофиля, глупец.

юсь… — начал было Ловец.

— Где у тебя кульки, тебя спрашивают?

— Перед лицом моей совести свидетельствуюсь… — вновь повторил Ловец.

— Ну так и обедай своею совестью до будущего базара, а у меня для тебя нет обеда! — решила Ловчиха.

Понурил Ловец голову, потому что знал, что Ловчихино слово твердое. Снял он с себя пальто — и вдруг словно преобразился совсем! Так как совесть осталась вместе с пальто на стенке, то сделалось ему опять и легко, и свободно, и стало опять казаться, что на свете нет ничего чужого, а всё его. И почувствовал он вновь в себе способность глотать и загребать.

— Ну, теперь вы у меня не отвертитесь, дружки! — сказал Ловец, потирая руки, и стал поспешно надевать на себя пальто, чтоб на всех парусах лететь на базар.

Но, о чудо! едва успел он надеть пальто, как опять начал корячиться. Просто как будто два человека в нем сделалось: один, без пальто, — бесстыжий, загребистый и лапистый; другой, в пальто, — застенчивый и робкий. Однако хоть и видит, что не успел за ворота выйти, как уж присмирел, но от намерения своего идти на базар

не отказался. «Авось-либо, думает, превозмогу».

Но чем ближе он подходил к базару, тем сильнее билось его сердце, тем неотступнее сказывалась в нем потребность примириться со всем этим средним и малым людом, который из-за гроша целый день бьется на дождю да на слякоти. Уж не до того ему, чтоб на чужие кульки засматриваться; свой собственный кошелек, который был у него в кармане, сделался ему в тягость, как будто он вдруг из достоверных источников узнал, что в этом кошельке лежат не его, а чьи-то чужие деньги.

— Вот тебе, дружок, пятнадцать копеек! — говорит он, подходя к какому-то мужику и подавая ему монету.

— Это за что же, Фофан Фофаныч?

— А за мою прежнюю обиду, друг! прости меня, Христа ради!

— Ну, Бог тебя простит!

Таким образом обошел он весь базар и роздал все деньги, какие у него были. Однако, сделавши это, хоть и почувствовал, что на сердце у него стало легко, но крепко призадумался.

— Нет, это со мною сегодня болезнь какая-нибудь приключилась, — опять сказал он сам себе. — Пойду-ка я лучше домой, да кстати уж захвачу по дороге побольше нищих, да и накормлю

их, чем бог послал!

Сказано — сделано: набрал он нищих видимо-невидимо и привел их к себе во двор. Ловчиха только руками развела, ждет, какую он еще дальше проказу сделает. Он же потихоньку прошел мимо нее и ласково таково сказал:

— Вот, Федосьюшка, те самые странние люди[154], которых ты просила меня привести: покорми их, ради Христа!

Но едва успел он повесить свое пальто на гвоздик, как ему и опять стало легко и свободно. Смотрит в окошко и видит, что на дворе у него нищая братия со всего городу сбита! Видит и не понимает: «Зачем? неужто всю эту уйму сечь предстоит?»

— Что за народ? — выбежал он на двор в исступлении.

— Ка́к что за народ? это всё странние люди, которых ты накормить велел! — огрызнулась Ловчиха.

— Гнать их! в шею! вот так! — закричал он не своим голосом и как сумасшедший бросился опять в дом.

Долго ходил он взад и вперед по комнатам и все

---

[154] Notes: 154

Странние люди — странники, те, кто ходит на богомолье по святым местам и живет милостыней.

думал: что такое с ним сталось? Человек он был всегда исправный, относительно же исполнения служебного долга просто лев, и вдруг сделался тряпицею!

— Федосья Петровна! матушка! да свяжи ты меня, ради Христа! чувствую, что я сегодня таких дел наделаю, что после целым годом поправить нельзя будет! — взмолился он.

Видит и Ловчиха, что Ловцу ее круто пришлось. Раздела его, уложила в постель и напоила горяченьким. Только через четверть часа пошла она в переднюю и думает: «А посмотрю-ка я у него в пальто; может, еще и найдутся в карманах какие-нибудь грошики?» Обшарила один карман — что, ежели уж с кем нашла пустой кошелек; обшарила другой карман — нашла какую-то грязную, замасленную бумажку. Как развернула она эту бумажку — так и ахнула!

— Так вот он нынче на какие штуки пустился! — сказала она себе. — Совесть в кармане завел!

И стала она придумывать, кому бы ей эту совесть сбыть, чтоб она того человека не в конец отяготила, а только маленько в беспокойство привела. И придумала, что самое лучшее ей место

будет у отставного откупщика[155], а ныне финансиста и железнодорожного изобретателя[156], еврея Шмуля Давыдовича Бржоцского.

— У этого, по крайности, шея толста! — решила она. — Может быть, и побьется малое дело, а выдержит!

Решивши таким образом, она осторожно сунула совесть в штемпельный конверт, надписала на нем адрес Бржоцского и опустила в почтовый ящик.

— Ну, теперь можешь, друг мой, смело идти на базар, — сказала она мужу, воротившись домой.

Самуил Давыдыч Бржоцский сидел за обеденным столом, окруженный всем своим семейством. Подле него помещался десятилетний сын Рувим Самуилович и совершал в уме банкирские операции.

— А сто, папаса, если я этот золотой, который ты мне подарил, буду отдавать в рост по двадцати процентов в месяц, сколько у меня к концу года денег будет? — спрашивал он.

— А какой процент: простой или слозный? —

[155] Notes: 155

Откупщик — купец, за деньги приобретший право на какой-нибудь род государственных доходов, налогов.

[156] Notes: 156

То есть махинатора.

спросил, в свою очередь, Самуил Давыдыч.

— Разумеется, папаса, слозный!

— Если слозный и с усецением дробей, то будет сорок пять рублей и семьдесят девять копеек!

— Так я, папаса, отдам!

— Отдай, мой друг, только надо благонадезный залог брать!

С другой стороны сидел Иосель Самуилович, мальчик лет семи, и тоже решал в уме своем задачу: летело стадо гусей; далее помещался Соломон Самуилович, за ним Давыд Самуилович, и соображали, сколько последний должен первому процентов за взятые заимообразно леденцы. На другом конце стола сидела красивая супруга Самуила Давыдыча, Лия Соломоновна, и держала на руках крошечную Рифочку, которая инстинктивно тянулась к золотым браслетам, украшавшим руки матери.

Одним словом, Самуил Давыдыч был счастлив. Он уже собирался кушать какой-то необыкновенный соус, украшенный чуть не страусовыми перьями и брюссельскими кружевами, как лакей подал ему на серебряном подносе письмо.

Едва взял Самуил Давыдыч в руки конверт, как заметался во все стороны, словно угорь на угольях.

— И сто зе это такое! и зацем мне эта вессь! — завопил он, трясясь всем телом.

Хотя никто из присутствующих ничего не понимал в этих криках, однако для всех стало ясно, что продолжение обеда невозможно.

Я не стану описывать здесь мучения, которые претерпел Самуил Давыдыч в этот памятный для него день; скажу только одно: этот человек, с виду тщедушный и слабый, геройски вытерпел самые лютые истязания, но даже пятиалтынного возвратить не согласился.

— Это сто зе! это ницего! только ты крепце дерзи меня, Лия! — уговаривал он жену во время самых отчаянных пароксизмов. — И если я буду спрасивать скатулку — ни-ни! пусть луци умру!

Но так как нет на свете такого трудного положения, из которого был бы невозможен выход, то он найден был и в настоящем случае. Самуил Давыдыч вспомнил, что он давно обещал сделать какое-нибудь пожертвование в некоторое благотворительное учреждение, состоявшее в заведовании одного знакомого ему генерала, но дело это почему-то изо дня в день все оттягивалось. И вот теперь случай прямо указывал на средство привести в исполнение это давнее намерение.

Задумано — сделано. Самуил Давыдыч осторожно распечатал присланный по почте конверт, вынул из него щипчиками посылку, переложил ее в другой конверт, запрятал туда еще сотенную ассигнацию, запечатал и отправился к знакомому генералу.

— Зелаю, васе превосходительство, позертвование сделать! — сказал он, кладя на стол пакет перед обрадованным генералом.

— Что же-с! это похвально! — отвечал генерал. — Я всегда это знал, что вы… как еврей… и по закону Давидову… Плясаше — играше… так, кажется?

Генерал запутался, ибо не знал наверное, точно ли Давид издавал законы, или кто другой.

— Тоцно так-с; только какие зе мы евреи, васе превосходительство! — заспешил Самуил Давыдыч, уже совсем облегченный. — Только с виду мы евреи, а в дусе совсем-совсем русские!

— Благодарю! — сказал генерал. — Об одном сожалею… как христианин… отчего бы вам, например?.. а?..

— Васе превосходительство… мы только с виду… поверьте цести, только с виду!

— Однако?

— Васе превосходительство!

— Ну, ну, ну! Христос с вами!

Самуил Давыдыч полетел домой словно на крыльях. В этот же вечер он уже совсем позабыл о претерпенных им страданиях и выдумал такую диковинную операцию ко всеобщему уязвлению, что на другой день все так и ахнули, как узнали.

И долго таким образом шаталась бедная, изгнанная совесть по белому свету, и перебывала она у многих тысяч людей. Но никто не хотел ее приютить, а всякий, напротив того, только о том думал, как бы отделаться от нее и хоть бы обманом, да сбыть с рук.

Наконец наскучило ей и самой, что негде ей, бедной, голову приклонить и должна она свой век проживать в чужих людях, да без пристанища. Вот и взмолилась она последнему своему содержателю, какому-то мещанинишке, который в проходном ряду пылью торговал и никак не мог от той торговли разжиться.

— За что вы меня тираните! — жаловалась бедная совесть. — За что вы мной, словно отымалкой[157] какой, помыкаете?

— Чтó же я с тобою буду делать, сударыня совесть, коли ты никому не нужна? — спросил, в

[157] Notes: 157

Отымалка — тряпка, которой берут горшок из горячей печи.

свою очередь, мещанинишка.

— А вот что, — отвечала совесть, — отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет — не погнушается.

По этому ее слову все так и сделалось. Отыскал мещанинишка маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и схоронил в нем совесть.

Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама.

1869

Дикий помещик

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядючи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды Богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но Бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, — видит и опасается: «А ну как он у меня все добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!»

— Одно только слово написано, — молвит глупый помещик, — а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь,

а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим. — Потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут — всё нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: «Моя вода!», курица за околицу выбредет — помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух — все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к Господу Богу:

— Господи! легче нам пропáсть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый Бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и,

словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные[158] мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!»

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, — думает, — театр у себя! напишу к актеру Садовскому[159]: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский: сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто и ставить театр и занавес поднимать некому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот Бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! кто же

---

[158] Notes: 158

Посконный — сшитый из посконины (домотканого холста).

[159] Notes: 159

По-видимому, речь идет о Прове Михайловиче Садовском (1818–1872) — актере Малого театра в Москве, основателе театральной династии Садовских.

тебе, глупому, умываться подает?

— Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

— Стало быть, шампиньоны на лице ро́стить собрался? — сказал Садовский и с этим словом и сам уехал, и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я все гранпасьянс да гранпасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульку[160] –другую сыграть!»

Сказано — сделано: написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

---

[160] Notes: 160

Пулька — партия в карточной игре.



— А оттого это, — хвастается помещик, — что Бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы. — Стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет?

— Нисколько, — отвечает помещик.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

— Что́ ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите, чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня Бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сырьем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть…

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гранпасьянс.

— Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что́ может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз» и думает: «Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать». И как назло, сколько раз ни разложит — все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

— Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, довольно гранпасьянс раскладывать, пойду позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все па́ром да па́ром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет: «Вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех!» Посмотрит в окошко — ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велению, под грузом плодов

деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться — ан там уж пыли на вершок насело…

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: — Ну, пускай себе до поры до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что́ может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, — и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали и ходит он в лентах и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать!» Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра…

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит… и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя. — Хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая принесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкап, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен!»

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные[161] вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

— А вот так и так, Бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил!

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?.. это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по

---

[161] Notes: 161

Временнообязанные — крестьяне, получившие личную свободу, но не выкупившие землю у помещика и потому продолжавшие находиться в зависимости у помещика, расплачиваясь за пользование землей своим трудом.

лицу земли рассеяны?

— Уж это… не знаю… я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий существовать не может?

— Я что ж… я готов! рюмку водки… я заплачу!

— Да вы знаете ли, что по милости вашей у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки,

ни куска мяса?



И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» — и струсил

не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и всё думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!»

Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит: «А глупый ты, господин помещик!» Видит он, бежит чрез комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гранпасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

— Кшш… — бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: «Погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!»

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился… и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не

замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рявканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка в один миг взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит, это, заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, — а он уж тут как тут. Словно стрела, соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь. — Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил!



— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каковом человеко-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства

свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берете!!

«Что же сделалось, однако, с помещиком?» — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.



Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

1869

Премудрый пискарь

Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки[162] в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло́ не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый пискарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать[163], так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой

---

[162] Notes: 162

Аридовы (Аредовы) веки — чрезвычайное долголетие; от имени Иареда, прожившего 962 года (Быт. 5: 20).

[163] Notes: 163

Жуир (от фр. jouir — наслаждаться) — беззаботный человек, ищущий удовольствий.

драться, только комара задаром растреплют.



А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода́, и сети, и ве́рши, и норота́, и, наконец... уду! Кажется, что́ может быть глупее уды? — Нитка, на нитке крючок, на крючке — червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем имен-

но на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он. — Потому что хоть и глупейший этот снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься — ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, — даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они — не трогают… «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег

и начали рыбу из мотни[164] в траву валить. Тут-то он и узнал, что́ такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают… Слышит — «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере во время бури, ходуном ходит. Это — «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунется, потом как полоумная выскочит, потом опять окунется — и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пущай в реке порастет!» Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает…

---

[164] Notes: 164
Мотня — средняя часть невода.



И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он

пискарь просвещенный, умеренно-либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил, — сказал он себе, — а не то как раз пропадешь!» — и стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полден, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору

и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что́ в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось… Что, если в это время щуренок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, — глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает.

И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе господи! жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! кажется, жив!»



Даже щуки под конец и те стали его хвалить: «Вот кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет...» А ну-тка, в самом деле, что́ бы тогда было?

Стал он расскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!»

Потому что для продолжения пискарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались обще-

ственности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовали. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия… живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: «Вылезука я из норы да гоголем по всей реке проплыву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать:

«Никому, никто».

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может быть, как и он, пискари, — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: «Дай-ка спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился слишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?» Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что́ всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет?» А многие даже просто дураком

и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что́ тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и *премудрого*?

1883

Самоотверженный заяц

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Заинька! остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть… ха-ха… я тебя и помилую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает: «Через столько-то суток и часов смерть должна прийти». Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются: «Ха-ха!» И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к

нему подбегут, ласкаются, зубами стучат… А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: «Изменил мне косой!» А может быть, подождала-подождала, да и с другим… слюбилась… А может быть и так: играла бедняжка в кустах, а тут ее волк… и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего — куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит… Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается — ан это невестин брат.

— Невеста-то твоя помирает, — говорит. — Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и

думает: «Неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!»

Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалося. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пущал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности — неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой заиньке, которая тем только и виновата, что его, косого, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую заиньку, передними лапками за ушки и все бы миловал да по головке бы гладил.

— Бежим! — говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет — и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

— Не могу, — говорит, — волк не велел.

А волк между тем все видит и слышит и потихоньку по-волчьи с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

— Бежим! — опять говорит посланец.

— Не могу! — повторяет осужденный.

— Что вы там шепчетесь, злоумышляете? — как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу — что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой заиньке и без жениха, и без братца — обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые — а перед ними и волк, и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

— Мы, ваше благородие, ничего… так, промежду себя… землячок проведать меня пришел! — лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху.

— То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

— Так и так, ваше благородие, — вступился тут невестин брат, — сестрица моя, а его невеста, помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

— Гм… это хорошо, что невеста жениха любит, — говорит волчиха. — Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк! отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

— Да ведь его на послезавтра есть назначено…

— Я, ваше благородие, прибегу… я мигом оборочу… у меня это… вот как Бог свят прибегу! — заспешил осужденный и, чтобы волк не сомневался, что он *может* мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

— Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом[165] у себя оставил.

— Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра, — сказал он, — я его вместо тебя съем; а коли воротишься — обоих съем, а может быть… ха-ха… и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется — он ее «на уру» возьмет; река — он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото — он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое

---

[165] Notes: 165

Аманат — в восточных странах заложник.

царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непременно женюсь!», — ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть…

Даже птицы быстроте его удивлялись, говорили: «Вот в „Московских ведомостях“ пишут, будто у зайцев не душа, а пар, — а вон он как… улепетывает!»

Прибежал наконец. Сколько тут радостей было — этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Серенькая заинька, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать — это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем: не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы — всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:

— Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

— Что больно к спеху занадобилось? — подшучивает над ним зайчиха-мать.

— Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову — господин. Судили тут тетки и сестрицы — и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова — крепись, а давши — держись! никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уже прощался с молодой женой.

— Беспременно меня волк съест, — говорил он, — так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытьи (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

— А может быть, волк меня… ха-ха… и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу

справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сраженье кипело. В третьем месте холера проявилась — надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть… А кроме того, волки, лисицы, совы — на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косой; зараньше так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи; ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит, глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось! И все-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: «Через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит!» Вспомнит он об этом — и еще шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота — все ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы

бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг все кругом затихло, словно помертвело. А косой все бежит и все одну думу думает: «Неужто ж я друга не выручу!»

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг — пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы денные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее… А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот наконец гора. За этой горой — болото, и в нем — волчье логово… Опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы… вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения… неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним как на блюдечке.

Где-то вдали, на колокольне, бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

— Здесь я! здесь! — крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

— Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите до поры до времени оба под этим кустом, а впоследствии я вас… ха-ха… помилую!..

1883

Бедный волк

Другой зверь, наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещаниями, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушию.

Однако ж не по своей воле он так жесток, а потому, что комплекция у него каверзная: ничего он, кроме мясного, есть не может. А чтобы достать мясную пищу, он не может иначе поступать, как живое существо жизни лишить. Одним словом, обязывается учинить злодейство, разбой.

Не легко ему пропитание его достается. Смерть-то ведь никому не сладка, а он именно только со смертью ко всякому лезет. Поэтому кто посильнее — сам от него обороняется, а иного, который сам защититься не может, другие обороняют. Частенько-таки волк голодный ходит, да еще с помятыми боками вдобавок. Сядет он в ту пору, поднимет рыло кверху и так пронзительно воет, что на версту кругом у всякой живой твари от страху да от тоски душа в пятки уходит. А волчиха его еще тоскливее подвывает, потому что у нее

волчата, а накормить их нечем.

Нет того зверя на свете, который не ненавидел бы волка, не проклинал бы его. Стоном стонет весь лес при его появлении: «Проклятый волк! убийца! душегуб!» И бежит он вперед да вперед, голову повернуть не смеет, а вдогонку ему: «Разбойник! живорез!» Уволок волк с месяц тому назад у бабы овцу — баба-то и о сю пору слез не осушила: «Проклятый волк! душегуб!» А у него с тех пор маковой росинки в пасти не было: овцу-то сожрал, а другую зарезать не пришлось… И баба воет, и он воет… как тут разберешь!

Говорят, что волк мужика обездоливает; да ведь и мужик тоже, как обозлится, куда лют бывает! И дубьем-то он его бьет, и из ружья в него палит, и волчьи ямы роет, и капканы ставит, и облавы на него устраивает. «Душегуб! разбойник! — только и раздается про волка в деревнях. — Последнюю корову зарезал! остатнюю овцу уволок!» А чем он виноват, коли иначе ему прожить на свете нельзя?

И убьешь-то его, так проку от него нет. Мясо — негодное, шкура жесткая — не греет. Только и корысти-то, что вдоволь над ним, проклятым, натешишься да на вилы живьем поднимешь: пускай, гадина, по капле кровью исходит!

Не может волк, не лишая живота, на свете прожить — вот в чем его беда! Но ведь он этого не понимает. Если его злодеем зовут, так ведь и он зовет злодеями тех, которые его преследуют, увечат, убивают. Разве он понимает, что своею жизнью другим жизням вред наносит? Он думает, что живет — только и всего. Лошадь — тяжести возит, корова — дает молоко, овца — волну, а он — разбойничает, убивает. И лошадь, и корова, и овца, и волк — все «живут», каждый по-своему.

И вот нашелся, однако ж, между волками один, который долгие веки все убивал да разбойничал и вдруг, под старость, догадываться начал, что есть в его жизни что-то неладное.

Жил этот волк смолоду очень шибко и был одним из немногих хищников, который почти никогда не голодал. И день и ночь он разбойничал, и все ему с рук сходило. У пастухов из-под носу баранов утаскивал; во дворы по деревням забирался; коров резал; лесника однажды до смерти загрыз; мальчика маленького, у всех на глазах, с улицы в лес унес. Слыхал он, что его за эти дела все ненавидят и клянут, да только лютей и лютей от этих покоров становился.

— Послушали бы, что́ в лесу-то делается, — говорил он. — Нет той минуты, чтоб там убийства

не было, чтоб какая-нибудь зверюга не верещала, с жизнью расставаясь, — так неужто ж на это смотреть?

И дожил он таким родом, промежду разбоев, до тех лет, когда волк уж «матерым» называется. Отяжелел маленько, но разбои все-таки не оставил; напротив, словно бы даже полютел. Только и попадись он нечаянно в лапы к медведю. А медведи волков не любят, потому что и на них волки шайками нападают, и частенько-таки слухи по лесу ходят, что там-то и там-то Михайло Иваныч оплошал: в клочки серые вороги шубу ему разорвали.

Держит медведь волка в лапах и думает: «Чтó мне с ним, с подлецом, делать? ежели съесть — с души сопрёт, ежели так задавить да бросить — только лес запахом его падали заразишь. Дай посмотрю: может быть, у него совесть есть. Коли есть совесть, да поклянется он вперед не разбойничать — я его отпущу».

— Волк, а волк! — молвил Топтыгин. — Неужто у тебя совести нет?

— Ах, что вы, ваше степенство! — ответил волк. — Разве можно хоть один день на свете без совести прожить!

— Стало быть, можно, коли ты живешь. Поду-

май: каждый божий день только и вестей про тебя, что ты или шкуру содрал, или зарезал, — разве это на совесть похоже?

— Ваше степенство! позвольте вам доложить! должен ли я пить-есть, волчиху свою накормить, волчат воспитать? какую вы на этот счет резолюцию изволите положить?

Подумал-подумал Михайло Иваныч — видит: коли положено волку на свете быть, стало быть, и прокормить он себя право имеет.

— Должен, — говорит.

— А ведь я, кроме мясного, — ни-ни! Вот хоть бы ваше степенство, к примеру, взять: вы и малинкой полакомитесь, и медком от пчел позаимствуетесь, и овсеца пососете, а для меня ничего этого хоть бы не было! Да опять же и другая вольгота у вашего степенства есть: зимой, как заляжете вы в берлогу, ничего вам, кроме собственной лапы, не требуется. А я и зиму, и лето — нет той минуты, чтобы я о пище не думал! И все об мясце. Так каким же родом я эту пищу добуду, коли прежде не зарежу или не задушу?

Задумался медведь над этими волчьими словами, однако все еще попытать хочет.

— Да ты бы, — говорит, — хоть полегче, что ли…

— Я и то, ваше степенство, сколько могу, облегчаю. Лисица — та зудит: рванет раз — и отскочит, потом опять рванет — и опять отскочит… А я прямо за горло хватаю — шабаш!

Еще пуще задумался медведь. Видит, что волк ему правду-матку режет, а отпустить его все еще опасается: сейчас он опять за разбойные дела примется.

— Раскайся, волк! — говорит.

— Не в чем мне, ваше степенство, каяться. Никто своей жизни не ворог, и я в том числе; так в чем же тут моя вина?

— Да ты хоть пообещай!

— И обещать, ваше степенство, не могу. Вот лиса — та вам что хотите обещает, а я — не могу.

Что делать? Подумал, подумал медведь да наконец и решил.

— Пренесчастнейший ты есть зверь — вот что я тебе скажу! — молвил он волку. — Не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу греха, отпуская тебя. Одно могу прибавить: на твоем месте я не только бы жизнью не дорожил, а за благо бы смерть для себя почитал! И ты над этими моими словами подумай!

И отпустил волка на все четыре стороны.

Освободился волк из медвежьих лап и сейчас

опять за старое ремесло принялся. Стонет от него лес, да и шабаш. Повадился в одну и ту же деревню; в две, в три ночи целое стадо зря перерезал — и ни́што ему. Заляжет с сытым брюхом в болоте, потягивается да глаза жмурит. Даже на медведя, своего благодетеля, войной пошел, да тот, по счастию, вовремя спохватился да только лапой ему издали погрозил.

Долго ли, коротко ли он так буйствовал, однако и к нему наконец старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавок мужичок ему спинной хребет поленом перешиб; хоть и отлежался он, а все-таки уж на прежнего удальца-живореза не похож стал. Кинется вдогонку за зайцем — а ног-то уж нет. Подойдет к лесной опушке, овечку из стада попробует унести — а собаки так и скачут-заливаются. Подожмет он хвост да и бежит с пустом.

— Никак я уж и собак бояться стал? — спрашивает он себя.

Воротится в логово и начнет выть. Сова в лесу рыдает, да он в болоте воет — страсти господни, какой поднимется в деревне переполох!

Только промыслил он однажды ягненочка и волочет его за шиворот в лес. А ягненочек-то самый еще несмысленочек был: волочет его волк, а он

не понимает. Только одно твердит: «Что такое? что такое?..»

— А я вот покажу тебе, что́ такое… мммерррзавец! — остервенился волк.

— Дяденька! я в лес гулять не хочу! я к маме хочу! не буду я, дяденька, не буду! — вдруг догадался ягненочек и не то заблеял, не то зарыдал: — Ах, пастушок, пастушок! ах, собачки! собачки!

Остановился волк и прислушивается. Много он на своем веку овец перерезал, и все они какие-то равнодушные были. Не успеет ее волк ухватить, а она уж и глаза зажмурила, лежит, не шелохнется, словно натуральную повинность исправляет. А вот и малыш — а поди как плачет: хочется ему жить! Ах, видно, и всем эта распостылая жизнь сладка! Вот и он, волк, — стар-стар, а все бы годков еще с сотенку пожил!

И припомнились ему тут слова Топтыгина: «На твоем бы месте я не жизнь, а смерть за благо для себя почитал…» Отчего так? Почему для всех других земных тварей жизнь — благо, а *для него* она — проклятие и позор?

И, не дождавшись ответа, выпустил из пасти ягненка, а сам побрел, опустив хвост, в логово, чтобы там на досуге умом раскинуть.

Но ничего ему этот ум не выяснил, кроме того,

что он уж давно знал, а именно: что никак ему, волку, иначе прожить нельзя, как убийством и разбоем.

Лег он плашмя на землю и никак улежать не может. Ум — одно говорит, а нутро — чем-то другим загорается. Недуги, что ли, его ослабили, старость ли в разор разорила, голод ли измучил, только не может он прежней власти над собой взять. Так и гремит у него в ушах: «Проклятый! душегуб! живорез!» Что ж в том, что он за собой вольной вины не знает? ведь проклятий-то все-таки не заглушишь! Ох, видно, правду сказал медведь: только и остается, что руки на себя наложить!

Так ведь и тут опять горе: зверь — ведь он даже рук на себя наложить не умеет. Ничего сам собой зверь не может: ни порядка жизни изменить, ни умереть. Живет он словно во сне, и умрет — словно во сне же. Может быть, его псы растерзают или мужик подстрелит; так и тут он только захрапит да корчей его на мгновенье сведет — и дух вон. А откуда и как пришла смерть — он и не догадается.

Вот разве голодом он себя изведет… Нынче он уж и за зайцами гоняться перестал, только около птиц ходит. Поймает молодую ворону или

витютня[166] — только этим и сыт. Так даже и тут прочие витютни хором кричат: «Проклятый! проклятый! проклятый!»

Именно проклятый. Ну как-таки только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? Положим, несправедливо его проклинают, нерезонно: не своей волей он разбойничает, — но как не проклинать! Сколько он зверья на своем веку погубил! сколько баб, мужиков обездолил, на всю жизнь несчастными сделал!

Много лет он в этих мыслях промучился; только одно слово в ушах его и гремело: «Проклятый! проклятый! проклятый!» Да и сам себе он все чаще и чаще повторял: «Именно проклятый! проклятый и есть; душегуб, живорез!» И все-таки, мучимый голодом, шел на добычу, душил, рвал и терзал…

И начал он звать смерть. «Смерть! смерть! хоть бы ты освободила от меня зверей, мужиков и птиц! Хоть бы ты освободила меня от самого себя!» — день и ночь выл он, на небо глядючи. А звери и мужики, слыша его вой, в страхе вопили: «Душегуб! душегуб! душегуб!» Даже небу пожаловаться он не мог без того, чтоб проклятья

---

[166] Notes: 166
Витютень — вид птиц рода голубей.

на него со всех сторон не сыпались.

Наконец смерть сжалилась-таки над ним. Появились в той местности «лукаши»[167], и соседние помещики воспользовались их прибытием, чтоб устроить на волка охоту. Лежит однажды волк в своем логове и слышит — зовут. Он встал и пошел. Видит: впереди путь вехами означен, а сзади и сбоку мужики за ним следят. Но он уже не пытался прорваться, а шел, опустив голову, навстречу смерти…

И вдруг его ударило прямо между глаз.

— Вот она… смерть-избавительница!

1883

[167] Notes: 167

«Лукаши» — мужики из Великолуцкого уезда Псковской губернии, которые занимаются изучением привычек и нравов лесных зверей и потом предлагают охотникам свои услуги для облав. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

Добродетели и Пороки

Добродетели с Пороками исстари во вражде были. Пороки жили весело и ловко свои дела обделывали; а Добродетели жили посерее, но зато во всех азбуках и хрестоматиях как пример для подражания приводились. А втихомолку между тем думали: «Вот кабы и нам, подобно Порокам, удалось хорошенькое дельце обделать!» Да, признаться сказать, под шумок и обделывали.

Трудно сказать, с чего у них первоначально распря пошла и кто первый задрал. Кажется, что Добродетели первые начали. Порок-то шустрый был и на выдумки гораздый. Как пошел он, словно конь бо́рзый, пространство ногами забирать, да в парчах, да в шелках по белу свету щеголять — Добродетели-то за ним и не поспели. И не поспевши — огорчились. «Ладно, — говорят — щеголяй, нахал, в шелках! Мы и в рубище от всех почтены́ будем!» А Пороки им в ответ: «И будьте почтены́ с Богом!»

Не стерпели Добродетели насмешки и стали Пороки на всех перекрестках костить. Выйдут в рубищах на распутие и пристают к прохожим: «Не правда ли, господа честные, что мы вам и

в рубище милы?» А прохожие в ответ: «Ишь вас, салопниц[168], сколько развелось! проходите, не задерживайте! Бог подаст!»

Пробовали Добродетели и к городовым за содействием обращаться. «Вы чего смотрите? совсем публику распустили! ведь она, того и гляди, по́ уши в пороках погрязнет!» Но городовые знай себе стоят да Порокам под козырек делают.

Так и остались Добродетели ни при чем, только пригрозили с досады: «Вот погодите! ушлют вас ужо за ваши дела на каторгу!»

А Пороки между тем всё вперед да вперед бегут да еще и похваляются. «Нашли, — говорят, — чем стращать — каторгой! Для нас-то еще либо будет каторга, либо нет, а вы с самого рождения в ней по́ уши сидите! Ишь, злецы! кости да кожа, а глаза, посмотри, как горят! Щелкают на пирог зубами, а ка́к к нему приступиться — не знают!»

Словом сказать, разгоралась распря с каждым днем больше и больше. Сколько раз даже до открытого боя дело доходило, но и тут фортуна почти всегда Добродетелям изменяла. Одолеют Пороки и закуют Добродетели в кандалы: «Сидите, злоумышленники, смирно!» И сидят,

---

[168] Notes: 168

Салопница — женщина из мещанской среды, в изношенном платье, в старом салопе, которая ходила по богатым домам и жила подачками.

покуда начальство не вступится да на волю не выпустит.

В одну из таких баталий шел мимо Иванушка-Дурачок, остановился и говорит сражающимся:

— Глупые вы, глупые! из-за чего только вы друг друга увечите! ведь первоначально-то вы все одинаково *свойствами* были, а это уж потом, от безалаберности да от каверзы людской, добродетели да пороки пошли. Одни свойства понажали, другим вольный ход дали — колесики-то в машине и поиспортились. И воцарились на свете смута, свара, скорбь… А вы вот что́ сделайте: обратитесь к первоначальному источнику — может быть, на чем-нибудь и сойдетесь!

Сказал это и пошел путем-дорогой в казначейство подать вносить.

Подействовали ли на сражающихся Иванушкины слова, или пороху для продолжения битвы недостало, только вложили бойцы мечи в ножны и задумались.

Думали, впрочем, больше Добродетели, потому что у них с голоду животы подвело, а Пороки, как протрубили трубы отбой, так сейчас же по своим прежним канальским делам разбрелись и опять на славу зажили.

— Хорошо ему про «свойства» говорить! — пер-

вое молвило Смиренномудрие. — Мы и сами не плоше его эти «свойства» знаем! Да вот одни свойства в бархате щеголяют и на золоте едят, а другие в затрапезе ходят да по целым дням не евши сидят. Иванушке-то с пола́горя: он набил мамон[169] мякиной — и прав; а нас ведь на мякине не проведешь — мы знаем, где раки зимуют!

— Да и что за «свойства» такие проявились! — встревожилось Благочиние. — Нет ли тут порухи какой? Всегда были Добродетели и были Пороки, сотни тысяч лет это дело ведется, и сотни тысяч томов об этом написано, а он на-тко, сразу решил: «свойства»! Нет, ты попробуй приступись-ка к этим сотням тысяч томов, так и увидишь, какая от них пыль столбом полетит!

Судили, рядили и наконец рассудили: Благочиние правду сказало. Сколько тысяч веков Добродетели числились Добродетелями и Пороки — Пороками! Сколько тысяч книг об этом написано, какая масса бумаги и чернил изведена! Добродетели всегда одесную стояли, Пороки — ошуюю[170]; и вдруг, по дурацкому Иванушкину слову, от всего откажись и назовись какими-то

---

[169] Notes: 169
Мамон — здесь: брюхо.

[170] Notes: 170
Одесную — справа, *ошуюю (ошую)* — слева.

«свойствами»! Ведь это почти то же, что от прав состояния отказаться и «человеком» назваться! Просто-то оно, конечно, просто, да ведь иная простота хуже воровства. Поди-тко спроста́-то коснись, ан с первого же шага в такое несметное множество капканов попадешь, что и голову там, пожалуй, оставишь!

Нет, о «свойствах» думать нечего, а вот компромисс какой-нибудь сыскать — или, как по-русски зовется, фортель — это, пожалуй, дельно будет. Такой фортель, который и Добродетели бы возвеселил, да и Порокам бы по нраву пришелся. Потому что ведь и Порокам подчас жутко приходится. Вот намеднись Любострастие с поличным в бане поймали, протокол составили, да в ту же ночь Прелюбодеяние в одном белье с лестницы спустили. Вольномыслие-то давно ли пышным цветом цвело, а теперь его с корнем вырвали! Стало быть, и Порокам на фортель пойти небезвыгодно. Милостивые государи! милостивые государыни! не угодно ли кому предложить: у кого на примете «средствице» есть?

На вызов этот прежде всех выступил древний старичок, Опытом называемый (есть два Опыта: один порочный, а другой добродетельный; так этот — добродетельный был). И предложил он

штуку: «Отыщите, — говорит, — такое сокровище, которое и Добродетели бы уважило, да и от Пороков было бы не прочь. И пошлите его парламентером во вражеский лагерь».

Стали искать и, разумеется, нашли. Нашли двух бобылок: Умеренность и Аккуратность. Обе на задворках в добродетельских селениях жили, сиротский надел держали, но торговали корчемным вином[171] и потихоньку Пороки у себя принимали.

Однако первый блин вышел комом. Бобылки были и мало представительны, и слишком податливы, чтоб выполнить возложенную на них задачу. Едва появились они в лагере Пороков, едва начали канитель разводить: «Помаленьку-то покойнее, а потихоньку — вернее», как Пороки всем скопищем загалдели:

— Слыхали мы-ста прибаутки-то эти! давно вы с ними около нас похаживаете, да не в коня корм! Уходите с Богом, бобылки, не проедайтесь!

И как бы для того, чтобы доказать Добродетелям, что их на кривой не объедешь, на всю ночь закатились в трактир «Самарканд», а под утро, расходясь оттуда, поймали Воздержание и Непре-

---

[171] Notes: 171
Корчемное вино — незаконное.

любысотворение и поступили с ними до такой степени низко, что даже татары из «Самарканда» дивились: хорошие господа, а что́ делают!

Поняли тогда Добродетели, что дело это серьезное и надо за него настоящим манером взяться.

Произросло между ними в ту пору существо среднего рода: ни рак, ни рыба, ни курица, ни птица, ни дама, ни кавалер, а всего помаленьку. Произросло, выровнялось и расцвело. И было этому межеумку имя тоже среднего рода: Лицемерие…

Все в этом существе было загадкою, начиная с происхождения. Сказывали старожилы, что однажды Смирение с Любострастием в темном коридоре спознались и от этого произошел плод. Плод этот Добродетели сообща выкормили и выпоили, а потом и в пансион к француженке Комильфо[172] отдали. Догадку эту подтверждал и наружный вид Лицемерия, потому что хотя оно ходило не иначе как с опущенными долу глазами, но прозорливцы не раз примечали, что по лицу его частенько пробегают любострастные тени, а поясница, при случае, даже очень нехорошо вздрагивает. Несомненно, что в этом

[172] Notes: 172

Комильфо (*фр.* comme il faut — как должно) — как следует по правилам светского приличия..

наружном двоегласии в значительной мере был виноват пансион Комильфо. Там Лицемерие всем главным наукам выучилось: и «как по струнке ходить», и «как водой не замутить», и «как без мыла в душу влезть»; словом сказать, всему, что добродетельное житие обеспечивает. Но в то же время оно не избегло и влияния канкана, которым и стены, и воздух пансиона были пропитаны. Но, кроме того, мадам Комильфо еще и тем подгадила, что сообщила Лицемерию подробности об его родителях. Об отце (Любострастии) сознавалась, что он был моветон и дерзкий — ко всем щипаться лез! Об матери (Смирении) — что она хотя не имела блестящей наружности, но так мило вскрикивала, когда ее щипали, что даже и не расположенные к щипанию Пороки (каковы Мздоимство, Любоначалие, Уныние и проч.) — и они не могли отказать себе в этом удовольствии.

Вот это среднее существо, глаза долу опускающее, но и из-под закрытых век блудливо окрест высматривающее, и выбрали Добродетели, чтоб войти в переговоры с Пороками и такой общий modus vivendi[173] изобрести, при котором и тем и другим было бы жить вольготно.

---

[173] Notes: 173
Образ поведения *(лат.)*.

— Да ты по-нашему-то умеешь ли? — вздумало было предварительно проэкзаменовать его Галантерейное Обращение.

— Я-то? — изумилось Лицемерие. — Да я вот как…

И не успели Добродетели опомниться, как у Лицемерия уж и глазки опущены, и руки на груди сложены, и румянчик на щечках играет… девица, да и шабаш!

— Ишь, дошлая! ну а по-ихнему, по-порочному… как?

Но Лицемерие даже не ответило на этот вопрос. В один момент оно учинило нечто, ни для кого явственно не видимое, но до такой степени достоверное, что Прозорливство только сплюнуло: «Тьфу!»

И затем все одинаково решили: написать у нотариуса Бизяева общую доверенность для хождения по всем добродетельским делам и вручить ее Лицемерию.

Взялся за гуж, не говори, что не дюж: как ни горько, а пришлось у Пороков пардону просить. Идет Лицемерие в ихний подлый вертеп и от стыда не знает, куда глаза девать. «Везде-то нынче это паскудство развелось! — жалуется оно вслух, а мысленно прибавляет: — Ах, хорошо Пороки

живут!» И точно, не успело Лицемерие с версту от добродетельской резиденции отойти, как уж со всех сторон на него разливанным морем пахнуло. Смехи, да пляски, да игры — стон от веселья стоит. И город какой отменный Пороки для себя выстроили: просторный, светлый, с улицами и переулками, с площадями и бульварами. Вот улица Лжесвидетельств, вот площадь Предательства, а вот и Срамной бульвар. Сам Отец Лжи тут сидел и из лавочки клеветой распивочно и навынос торговал.

Но как ни весело жили Пороки, как ни опытны они были во всяких канальских делах, а увидевши Лицемерие, и они ахнули. С виду — ни дать ни взять сущая девица; но точно ли сущая — этого и сам черт не разберет. Даже Отец Лжи, который думал, что нет в мире той подлости, которой бы он не произошел, — и тот глаза вытаращил.

— Ну, — говорит, — это я об себе напрасно мечтал, будто вреднее меня на свете никого нет. Я — что! вот он, настоящий-то яд, где! Я больше нахалом норовлю — оттого меня хоть и не часто, а все-таки от времени до времени с лестницы в три шеи спускают; а это сокровище, коли прильнет, — от него уж не отвертишься! Так тебя опутает, так окружит, что, покуда все соки не

вызудит, не выпустит!

Тем не менее как ни велик был энтузиазм, возбужденный Лицемерием, однако и тут без розни не обошлось. Пороки солидные (аборигены), паче всего дорожившие преданиями старины, как, например: Суемудрие, Пустомыслие, Гордость, Человеконенавистничество и проч., — не только сами не пошли навстречу Лицемерию, но и других остерегали.

— Истинный порок не нуждается в прикрытии, — говорили они, — но сам свое знамя высоко и грозно держит. Чтó существенно нового может открыть нам Лицемерие, чего бы мы от начала веков не знали и не практиковали? Положительно ничего. Напротив, оно научит нас опасным изворотам и заставит нас ежели не прямо стыдиться самих себя, то, во всяком случае, показывать вид, что мы стыдимся. Caveant consules![174] До сих пор у нас было достаточно твердых и верных последователей, но ведь они, видя наши извороты, могут сказать: «Должно быть, и впрямь Порокам туго пришлось, коль скоро они сами от себя отрицаться должны!» И отвернутся от нас, вот увидите — отвернутся.

---

[174] Notes: 174
Пусть консулы будут бдительны! *(лат.)*

Так говорили заматерелые Пороки-Катоны, не признававшие ни новых веяний, ни обольщений, ни обстановок. Родившись в навозе, они предпочитали задохнуться в нем, лишь бы не отступить от староотеческих преданий.

За ними шла другая категория Пороков, которые тоже не выказали особенного энтузиазма при встрече с Лицемерием, но не потому, однако, чтобы последнее претило им, а потому, что они уже и без посредства Лицемерия состояли в секретных отношениях с Добродетелями. Сюда принадлежали: Измена, Вероломство, Предательство, Наушничество, Ябеда и проч. Они не разразились кликами торжества, не рукоплескали, не предлагали здравиц, а только подмигнули глазом: милости просим!

Как бы то ни было, но торжество Лицемерия было обеспечено. Молодежь, в лице Прелюбодеяния, Пьянства, Объедения, Распутства, Мордобития и проч., сразу созвала сходку и встретила парламентера такими овациями, что Суемудрие тут же нашлось вынужденным прекратить свою воркотню навсегда.

— Вы только мутите всех, старые пакостники! — кричала старикам молодежь. — Мы жить хотим, а вы уныние наводите! Мы в хрестоматию

попадем (это в особенности льстило), в салонах блистать будем! нас старушки будут любить!

Словом сказать, почва для соглашения была сразу найдена, так что когда Лицемерие, возвратившись восвояси, отдало Добродетелям отчет о своей миссии, то было единогласно признано, что всякий повод для существования Добродетелей и Пороков как отдельных и враждебных друг другу групп устранен навсегда. Тем не менее старую номенклатуру упразднить не решались — почем знать, может быть, и опять понадобится? — но положили употреблять ее с таким расчетом, чтобы всем было видимо, что она прикрывает собой один только прах.

С тех пор пошло между Добродетелями и Пороками гостеприимство великое. Захочет Распутство побывать в гостях у Воздержания, возьмет под ручку Лицемерие — и Воздержание уже издали, завидев их, приветствует:

— Милости просим! покорно прошу! У нас про вас…

И наоборот. Захочет Воздержание у Распутства постненьким полакомиться, возьмет под ручку Лицемерие, а у Распутства уж и двери все настежь:

— Милости просим! покорно прошу! У нас

про вас…

В постные дни постненьким потчуют, в скоромные — скоромненьким. Одной рукой крестное знамение творят, другой — неистовствуют. Одно око горé возводят, другим — непрестанно вожделеют. Впервые Добродетели сладости познали, да и Пороки не остались в убытке. Напротив, всем и каждому говорят: «Никогда у нас таких лакомств не бывало, какими теперь пóходя жуируем!»

А Иванушка-Дурачок и о сю пору не может понять: отчего Добродетели и Пороки так охотно помирились на Лицемерии, тогда как гораздо естественнее было бы сойтись на том, что и те и другие суть «свойства» — только и всего.

1884

Медведь на воеводстве

Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и, в качестве таковых, заносятся на скрижали Истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными, и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

I. Топтыгин 1-й

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать; следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали Истории попасть желал, а ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли — он всё на одно поворачивал: «Кровопролитиев… кровопролитиев… вот чего нужно!»

За это Лев произвел его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес, вроде

как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери — рыскали, птицы — летали, насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот ужо приедет майор, — говорили они, — засыплет он нам — тогда мы и узнаем, как Кузькину тещу зовут!»

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый Михайлов день[175], и сейчас же решил: «Быть назавтра кровопролитию». Что заставило его принять такое решение — неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что в ожидании кровопролития задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил,

---

[175] Notes: 175
Михайлов день отмечается 8/21 ноября.

то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь Чижику. Особенный это был Чижик, умный: и ведерко таскать умел, и спеть по нужде за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: «Увидите, что наш Чижик со временем поноску носить будет!» Даже до Льва об его уме слух дошел, и не раз он Ослу говаривал (Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл): «Хоть одним бы ухом послушал, как Чижик у меня в когтях петь будет!»

Но как ни умен был Чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает: «Беспременно это должен быть внутренний супостат!»

— Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? — рявкнул он наконец.

Улететь бы Чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел: сгреб грубияна в лапу, да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел.

Съесть-то съел, да съевши спохватился: «Что

такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось?» Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел — только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что, ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная.

— Зачем я его съел? — допрашивал сам себя Топтыгин. — Меня Лев, посылаючи сюда, предупреждал: «Делай знатные дела, от бездельных же стерегись!» — а я, с первого же шага, чижей глотать вздумал! Ну да ничего! первый блин всегда комом! Хорошо, что по раннему времени никто дурачества моего не видал.

Увы! не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии…

И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит:

— Дурак! его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он Чижика съел!

Взбеленился майор; полез за скворцом на березу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь — на другую, а скворка — опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

— Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!

Он — за вороной, ан из-за куста заинька выпрыгнул:

— Бурбон стоеросовый! Чижика съел!

Комар из-за тридевять земель прилетел:

— Risum teneatis, amici![176] Чижика съел!

Лягушка в болоте ква́кнула:

— Олух царя небесного! Чижика съел!

Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и всё мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор Чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он на-тко что́ сделал! И куда ни направит Михайло Иваныч

---

[176] Notes: 176
Возможно ли не рассмеяться, друзья! *(лат.)*

свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: «Дурень ты, дурень! Чижика съел!»

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок — так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако все-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он — слушай! Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: «Дурак! Чижика съел!»

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умаляется. Того гляди и в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут!

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица Чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и

на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ваше степенство! вы — наши отцы, мы — ваши дети!» Все знали, что сам Осел за него перед Львом предстательствует, а уж если Осел кого ценит — стало быть, он того стоит. И вот благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: «Дурак! Чижика съел!» Все равно как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел… Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства — это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История… Но… Чижик! скажите на милость! Чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» — крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трущобу стыдно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес.

— Так вот оно, общественное-то мнение чтó значит! — тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло. — А потом, пожалуй, и на

скрижали Истории попадешь… с Чижиком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин, при упоминовении об ней, задумывался. Сам по себе он знал об ней очень смутно, но от Осла слыхал, что даже Лев ее боится: «Не хорошо, — говорит, — в зверином образе на скрижали попасть!» История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он для начала стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полесовщика[177] по бревну раскатал — ну, тогда История… а впрочем, наплевать бы тогда на Историю! Главное, Осел бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь смотрите-ка! — съел Чижика и тем себя воспрославил! Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел — и первым делом Чижика съел… ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз, и сын степей калмык — все будут говорить: «Майора Топтыгина послали супостата покорить, а он вместо того Чижика съел!» Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напредки проходу им школяры не дадут, будут

[177] Notes: 177
Полесовщик — лесной сторож, лесничий.

кричать: «Чижика съел! Чижика съел!» Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтоб экую пакость загладить! Сколько народу ограбить, разорить, загубить!



Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!

Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает: «Ах, что-то Осел об моей майорской проказе скажет!»

И вдруг, словно сон в руку, предписание от Осла: «До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а Чижика съели, — правда ли?»

Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: «Дурак! Чижика съел!» Но частным образом Осел дал виноватому знать (Медведь-то ему кадочку с медом в презент при рапорте отослал): «Непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить…»

— Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю! — молвил Михайло Иваныч и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и

нити разыскивать, да кстати целый лес основ выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши все это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения.

Однако ожидания его не сбылись.

Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственнолапно наОсловом докладе сбоку нацарапал: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика сиел!»

И приказал отчислить его по инфантерии.

Так и остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографии начал — быть бы ему теперь генералом.

II. Топтыгин 2-й

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и то-

же Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому, еще до получения прогонных денег, он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство.

Тем не менее карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом, он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет; хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда — вон под той сосной — казенный ручной станок, который лесные куранты тискал, но еще при Магницком[178] этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и ни-

---

[178] Notes: 178

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1844) — в 1819–1826 годах попечитель Казанского учебного округа; в 1826 году отправлен в отставку: в результате реформ Магницкого Казанский университет пришел в полный упадок, кроме того, ревизия выявила огромную растрату казенных денег.

кто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре не переставаючи пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору, по мере начертания на ней письмен, точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать («similia similibus cusantur»)[179], но получил в ответ, что Магницкий, волею Божией, пóмре.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, погубить нельзя, — сказал он себе, — стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

---

[179] Notes: 179
Подобное излечивается подобным *(лат.)*.

Сказано — сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает, негодяй, что уж в лоск мужичка разорил, а все ему мало кажется. «Постой, — говорит, — я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с сумой по́ миру пущу!» И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми да и провались. Повис майор на воздухе; видит, что неминучее дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.

Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернутся — кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков.

— Ишь, анафема! перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А ну-тко-то, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы.

Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная История, присовокупив для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах (для средних учебных заведений издаваемых) подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присвояется наименование «срамных».

По докладу о сем Осла, Лев собственнолапно на оном нацарапал так: «О приговоре Истории дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

III. Топтыгин 3-й

Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое! — сказал он себе, прочитав резолюцию Льва. — Мало напакостишь — поднимут на смех; много напакостишь — на рогатину поднимут… Полно, ехать ли уж?»

Спрашивал он рапортом у Осла: «Ежели-де

ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» — но Осел ответил уклончиво: «Все-де нужные по сему предмету указания вы найдете в Лесном уставе». Заглянул он в Лесной устав, но там обо всем говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях — молчок! И затем, на все его дальнейшие докуки и настояния, Осел отвечал с одинаковою загадочностью: «Действуйте по пристойности!»

— Вот до какого мы времени дожили! — роптал Топтыгин 3-й. — Чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить — не указывают!

И опять мелькнуло у него в голове: «Полно, ехать ли?» — и если б не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы!

Прибыл он в трущобу на своих на двоих — очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает: «Даже с зайца шкуру содрать нельзя — и то, пожалуй, за злодейство сочтут! И кто сочтет?

добро бы Лев или Осел, — это бы куда ни шло! — а то мужики какие-то. Да Историю еще какую-то нашли — вот уж подлинно ис-то-ри-я!!» Хохочет Топтыгин в берлоге, про Историю вспоминаючи, а на сердце у него жутко: чует он, что сам Лев Истории боится… Как тут будешь лесную сволочь подтягивать — и ума приложить не может. Спрашивают с него много, а разбойничать не велят! В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится — стой, погоди! не в свое место заехал! Везде «права́» завелись. Даже у белки, и у той нынче права́! Дробину тебе в нос — вот какие твои права́! У *них* — права́, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет — просто пустое место! *Они* — друг друга поедом едят, а он — задрать никого не смеет! На что похоже! А все Осел! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивия быстра соделал? узы ему кто разрешил?» — вот об чем нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» — ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом

рявкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавши его рев, только молвила: «Чу, Мишка ревет! гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин 3-й опять в берлогу…

Но повторяю: он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

Дело в том, что, покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведенный порядок (хотя бы и неблагополучный) от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами «натуральными». Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощипывают, то хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это все-таки «порядок» — стало быть, и следует признать его за таковой. А еже-

ли при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что «порядок» не выходит из определенных ему искони границ. Неужели и этих «натуральных» злодейств недостаточно?

В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения — все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому, рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще «под личною вашего степенства ответственностью».

Таким образом, перед умственным взором Топтыгина 3-го вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды в дружеской беседе Осел говорил:

— Об каких это вы всё злодействах допраши-

ваете? Главное в нашем ремесле — это laissez passer, laissez faire![180] Или, по-русски выражаясь: «Дурак на дураке сидит и дураком погоняет!» Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается, и все у вас будет обстоять благополучно!

Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится.

— Я даже не понимаю, зачем воевод посылают! ведь и без них… — слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль: ничего, ничего, молчание…[181]

С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем все пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в бер-

---

[180] Notes: 180
Позволять, не мешать! *(фр.)*

[181] Notes: 181
Ничего, ничего, молчание… — из «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя.

логе многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники и наконец…

Но тут явились в трущобу мужики-лукаши[182], и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

1884

[182] Notes: 182

«Лукаши» — мужики из Великолуцкого уезда Псковской губернии, которые занимаются изучением привычек и нравов лесных зверей и потом предлагают охотникам свои услуги для облав. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

Обманщик-газетчик и легковерный читатель

Жил-был газетчик, и жил-был читатель. Газетчик был обманщик — все обманывал, а читатель был легковерный — всему верил. Так уж исстари повелось на свете: обманщики обманывают, а легковерные верят. Suum cuique[183].

Сидит газетчик в своей берлоге и знай себе обманывает да обманывает. «Берегитесь! — говорит. — Дифтерит обывателей косит!» «Дождей, — говорит, — с самого начала весны нет — того гляди без хлеба останемся!» «Пожары деревни и города истребляют!» «Добро казенное и общественное врозь тащат!» А читатель читает и думает, что газетчик ему глаза открывает. «Такая, — говорит, — уж у нас свобода книгопечатания: куда ни взгляни — везде либо дифтерит, либо пожар, либо неурожай»…

Дальше — больше. Смекнул газетчик, что его обманы по сердцу читателю пришлись, — начал еще пуще поддавать. «Никакой, — говорит, — у нас обеспеченности нет! не выходи, — говорит, —

---

[183] Notes: 183
Каждому свое *(лат.)*.

читатель, на улицу: как раз в кутузку попадешь!» А легковерный читатель идет гоголем по улице и приговаривает: «Ах, как верно газетчик про нашу необеспеченность выразился!» Мало того: другого легковерного читателя встретит и того спросит: «А читали вы, как прекрасно сегодня насчет нашей необеспеченности газетчик продернул?» — «Как не читать! — ответит другой легковерный читатель. — Бесподобно! Нельзя, именно нельзя у нас по улицам ходить — сейчас в кутузку попадешь!»

И все свободой книгопечатания не нахвалятся. «Не знали мы, что у нас везде дифтерит, — хором поют легковерные читатели, — ан оно вон что!» И так им от этой уверенности на душе легко стало, что скажи теперь этот самый газетчик, что дифтерит был, да весь вышел, пожалуй, и газетину его перестали бы читать.

А газетчик этому рад, потому для него обман — прямая выгода. Истина-то не всякому достается — поди, добивайся! — пожалуй, за нее и десятью копеечками со строчки не отбояришься! То ли дело обман! Знай пиши да обманывай. Пять копеек со строчки — целые вороха обманов со всех сторон тебе нанесут!

И такая у газетчика с читателем дружба заве-

лась, что и водой их не разольешь. Что больше обманывает газетчик, то больше богатеет (а обманщику чего же другого и нужно!); а читатель, что больше его обманывают, то больше пятаков газетчику несет. И распивочно, и навынос — всяко газетчик копейку зашибает!

«Штанов не было! — говорят про него завистники. — А теперь, смотрите, как козыряет! Льстеца себе нанял! рассказчика из народного быта завел! Блаженствует!»

Пробовали было другие газетчики истиной его подкузьмить — авось, дескать, и на нашу приваду подписчик побежит, — так куда тебе! Не хочет ничего знать читатель, только одно и твердит:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...[184]

Долго ли, коротко ли так дело шло, но только нашлись добрые люди, которые пожалели легковерного читателя. Призвали обманщика-газетчика и говорят ему: «Будет с тебя, бесстыжий и неверный человек! До сих пор ты торговал обманом, а отныне — торгуй истиной!»

Да, кстати, и читатели начали понемножку

---

[184] Notes: 184
Из стихотворения А. С. Пушкина «Герой».

отрезвляться, стали цидулки[185] газетчику посылать. Гулял, дескать, я сегодня с дочерью по Невскому, думал на съезжей[186] ночевать (дочка даже бутербродами, на случай, запаслась, — говорила: «Ах, как будет весело!»), а вместо того благополучно оба воротились домой… Так как же, мол, такой утешительный факт с вашими передовицами об нашей необеспеченности согласовать?

Натурально, газетчик, с своей стороны, только того и ждал. Признаться сказать, ему и самому надоело обманывать. Сердце-то у него давно уж к истине склонялось, да что же поделаешь, коли читатель только на обман клюет! Плачешь, да обманываешь. Теперь же, когда к нему со всех сторон с ножом к горлу пристают, чтоб он истину говорил, — что ж, он готов! Истина, так истина, черт побери! Обманом два каменных дома нажил, а остальные два каменные дома приходится истиной наживать!

И начал он каждый день читателя истиной донимать! Нет дифтерита, да и шабаш! И кутузок нет, и пожаров нет; если же и выгорел

---

[185] Notes: 185
Цидула — записка, письмецо.

[186] Notes: 186
Съезжая — здесь: помещение при полиции для арестованных.

Конотоп[187], так после пожара он еще лучше выстроился. А урожай, благодаря наступившим теплым дождям, оказался такой, что и сами ели-ели, да наконец и немцам стали под стол бросать: подавись!

Но что всего замечательнее — печатает газетчик только истину, а за строку всё пять копеек платит. И истина в цене упала с тех пор, как стали ею распивочно торговать. Выходит, что истина, что обман — все равно цена грош. А газетные столбцы не только не сделались оттого скучнее, но еще больше оживились. Потому что ведь ежели благорастворение воздухов вплотную разделывать начать — это такая картина выйдет, что отдай всё, да и мало!

Наконец читатель окончательно отрезвился и прозрел. И прежде ему недурно жилось, когда он обман за истину принимал, а теперь уж и совсем от сердца отлегло. В булочную зайдет — там ему говорят: «Надо быть, со временем хлеб дешев будет!», в курятную лавку заглянет — там ему говорят: «Надо быть, со временем рябчики нипочем будут!»

— Ну а покудова как?

---

[187] Notes: 187

Речь идет о пожаре 1862 года, в результате которого в Конотопе сгорело более 300 деревянных зданий.

— Покудова рубль двадцать копеечек за пару!

Вот какой, с Божьею помощью, поворот!

И вот однажды вышел легковерный читатель франтом на улицу. Идет, «в надежде славы и добра»[188], и тросточкой помахивает: знайте, мол, что отныне я вполне обеспечен!

Но на этот раз, как на грех, произошло следующее:

Не успел он несколько шагов сделать, как случилась юридическая ошибка, и его посадили в кутузку.

Там он целый день просидел не евши. Потому что хоть его и потчевали, но он посмотрел-посмотрел, да только молвил: «Вот они, урожаи-то наши, каковы!»

Там же он схватил дифтерит.

Разумеется, на другой день юридическая ошибка объяснилась, и его выпустили на поруки (не ровен случай, и опять понадобится). Он возвратился домой и умер.

---

[188] Notes: 188
Из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы».

А газетчик-обманщик и сейчас жив. Четвертый каменный дом под крышу подводит и с утра до вечера об одном думает: чем ему напредки легковерного читателя ловчее обманывать — обманом или истиною?

1884

Вяленая вобла

Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на веревочке на солнце: пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.

И стала вобла жить да поживать[189].

— Как это хорошо, — говорила вяленая вобла, — что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего такого не будет! Всё у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!

Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства — об этом, еще живучи на воле, вобла слышала. И никогда, признаться, не завидовала тем, которые такими излишками

---

[189] Notes: 189

Я знаю, что в натуре этого не бывает, но так как из сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому делу так. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

обладали. От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за «лишним» не гналась, в эмпиреях не витала и неблагонадежных компаний удалялась. Еще где, бывало, заслышит, что пискари об конституциях болтают, — сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же и за всем тем не без страху жила, потому что не ровен час, вдруг… «Мудреное нынче время! — думала она. — Такое мудреное, что и невинный за виноватого как раз сойдет! Начнут, это, шарить, а ты *около* где-нибудь спряталась, — ан и *около* пошарят! Где была? по какому случаю? каким манером? — Господи, спаси и помилуй!» Стало быть, можете себе представить, как она была рада, когда ее изловили и все мысли и чувства у ней выхолостили! «Теперь милости просим! — торжествовала она. — Когда угодно и кто угодно приходи! теперь у меня все доказательства налицо!»

Что именно разумела вяленая вобла под названием «лишних» мыслей и чувств — неизвестно, но что действительно на наших глазах много лишнего завелось — с этим и я не согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что, куда ни обернись, — везде какой-то привесок

выглядывает. И хоть ты что хочешь, а надобно этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он и не подумал, что его надувают. Все это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется по-старинному, прямиком пройти, ан прямик буреломом завалило, промоинами исковеркало — ну и ступай за семь верст киселя есть. Всякий партикулярный[190] человек нынче эту тягость уж сознает, а какое для начальства от того отягощение — этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые; да и в штатах-то в самых уж привески завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была: как сел на место в десять часов утра, так и не встает до четырех — все служит! А нынче придет он в час, уж позавтракавши; час папироску курит, час куплеты напевает, а остальное время — та́к, около столов колобродит. И тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело перелистывать: «Посмотрите, какой курьез!» — за другое возьмется: «Глядите! ведь это — отдай всё, да и мало!» Наберет курьезов с три короба да к Пал-

[190] Notes: 190
Партикулярный — частный, неофициальный, неслуживый.

кину[191] обедать. А как ты удержишься, чтобы курьезом стен Палкина трактира не огласить! — Да ежели, я вам доложу, за каждую канцелярскую нескромность будет каторга обещана, так и тогда от нескромностей не уйти!

Спрашивается: с кем же тут начальству подняться! У всех есть пособники, а у него нет; у всех есть укрыватели, а у него нет! Как тут остановить наплыв «лишнего» в партикулярном мире, когда в своей собственной цитадели, куда ни вскинь глазами, — везде лишнее да неподлежащее так и хлещет через край!

Трудно, ах как трудно среди этой массы привесков жить! Приходится всю дорогу ощупью идти. Думаешь, что настоящее место нашарил, а оказывается, что шарил «около». Бесполезно, бесплодно, жестоко, срамно. Положим, что невелика беда, что невиноватый за виноватого сошел — много их, невиноватых-то этих! сегодня он не виноват, а завтра кто ж его знает? — да вот в чем настоящая беда: подлинного-то виноватого все-таки нет! Стало быть, и опять нащупывать надо, и опять — мимо! В том все время и проходит. Понятно, что даже самые умудренные партику-

[191] Notes: 191
Имеется в виду дорогой ресторан на Невском проспекте в Петербурге.

лярные люди (те, которые сальных свечей не едят и стеклом не утираются) — и те стали в тупик! И так как на ежа голым телом никому неохота садиться, то всякий и вопиет: «Господи! пронеси!»

Нет, как хотите, а надо когда-нибудь эти привески счесть, да и присмотреться к ним. Узнать: откуда они пришли? зачем? куда пролезть хотят? Не все же нахалом вперед лезут — иное что и полезное сыщется.

Очень, впрочем, возможно, что вобле эти вопросы и на ум совсем не приходили. Однако повторяю: и она вместе с прочими чувствовала, что или от привесков, или по поводу привесков — ей всячески мат. И только тогда, когда ее на солнце хорошенько провялило и выветрило, когда она убедилась, что внутри у нее ничего, кроме молок, не осталось, — только тогда она ободрилась и сказала себе: «Ну, теперь мне на все наплевать!»

И точно: теперь она, даже против прежнего, сделалась солиднее и благонадежнее. Мысли у ней — резонные, чувства — никого не задевающие, совести — на медный пятак. Сидит себе с краю и говорит, как пишет. Нищий к ней подойдет — она оглянется; коли есть посторонние — сунет нищему в руку грошик; коли нет никого — кивнет головой: Бог подаст! Встретится

с кем-нибудь — непременно в разговор вступит; откровенно мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит. Не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь — дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь — людей насмешишь и т. п. А всего больше о том, что уши выше лба не растут.

— Ах, воблушка! как ты скучно на бобах разводишь! точно тебя тошнит! — воскликнет собеседник, ежели он из свеженьких.

— И всем скучно сначала, — стыдливо ответит воблушка. — Сначала — скучно, а потом — хорошо. Вот как поживешь на свете, да пошарят *около* тебя вдоволь — тогда и об воблушке вспомнишь, скажешь: «Спасибо, что уму-разуму учила!»

Да нельзя и не сказать спасибо, потому что ежели по правде рассудить, так именно только одна воблушка в настоящую центру попала. Бывают такие обстановочки, когда подлинного ума-разума и слыхом не слыхать, а есть только воблушкин ум-разум. Люди ходят как сонные, ни к чему приступиться не умеют, ничему не радуются, ничем не печалятся. И вдруг в ушах раздается успокоительно-соблазнительный шепот: «Потихоньку да

полегоньку, двух смертей не бывает, одной не миновать…» Это она, это воблушка шепчет! Спасибо тебе, воблушка! правду ты молвила: двух смертей не бывает, а одна искони за плечами ходит!

Не явись на выручку воблушка, одно бы осталось — пропáсть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озорники да курьезы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысли о брешах никому не придет! Вот уж там-то все шито да крыто, там-то уж ни о каких привесках и слыхом не слыхать! Есть захотелось — ешь! спать вздумалось — спи! Ходи, сиди, калякай! К этому-то и привесить-то ничего нельзя. Будь счастлив — только и всего.

И сам будешь счастлив, и те, которые около тебя, — все будете счастливы! Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спите, други, почивайте! И нашаривать около вас не для чего, потому что везде путь торный и все двери нáстежь. «Вперед без страха и сомненья!»[192], или, говоря другими словами, шествуй в надлежащее место!

— И откуда у тебя, воблушка, такая ума па-

---

[192] Notes: 192
Первая строка стихотворения А. Н. Плещеева.

лата? — спрашивают ее благодарные пискари, которые, по милости ее советов, неискалеченными остались.

— От рожденья Бог меня разумом наградил, — скромно отвечает воблушка, — а сверх того, и во время вяленья мозг у меня в голове выветрился… С тех пор и начала я умом раскидывать…

И действительно: покуда наивные люди в эмпиреях витают, а злецы ядом передовых статей жизнь отравляют, воблушка только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакое человеконенавистничество, никакие змеиные передовые статьи не действуют так воспитательно, как действует скромный воблушкин пример. «Уши выше лба не растут!» — ведь это то самое, о чем древние римляне говорили: «Respice finem!»[193] Только более нам ко двору.

Хороша клевета, а человеконенавистничество еще того лучше, но они так сильно в нос бьют, что не всякий простец вместить их может. Все кажется, что одна половина тут наподлена́, а другая — налгана́. А главное, конца-краю не видать. Слушаешь или читаешь и все думаешь: «Ловко-то ловко, да что́ же дальше?» — а дальше

---

[193] Notes: 193
Подумай о последствиях! *(лат.)*

опять клевета, опять яд… Вот это-то и смущает. То ли дело скромная воблушкина резонность? «Ты никого не тронь — и тебя никто не тронет!» — ведь это целая поэма! Тускленька, правда, эта пресловутая резонность, но посмотрите, как цепко она человека нащупывает, как аккуратно его обшлифовывает! Сначала клевета поизмучает, потом хлевный яд одурманит, и когда процесс мучительства завершит свой цикл, когда человек почувствует, что нет во всем его организме места, которое бы не ныло, а в душе нет иного ощущения, кроме безграничной тоски, — вот тогда и выступает воблушка с своими скромными афоризмами. Она бесшумно подкрадывается к искалеченному и безболезненно одурманивает его. И, приведя его к стене, говорит: «Вот сколько каракуль там написано; всю жизнь разбирай — всего не разберешь!»

Смотри на эти каракули и, ежели есть охота, — доискивайся их смысла. Тут все в одно место скучено: и заветы прошлого, и яд настоящего, и загадки будущего. И над всем лег густой слой всякого рода грязи, погадок, вешних потоков и следов непогод. А ежели разбираться в каракулях охоты нет, то тем еще лучше. Верь на слово, что суть этих каракуль может быть выражена в

немногих словах: выше лба уши не растут. И затем — живи.

Все это отлично поняла вяленая вобла, или, лучше сказать, не сама она поняла, а принес ей это понимание тот процесс вяления, сквозь который она прошла. А впоследствии время и обстоятельства усыновили ее и дали широкий простор для применений.

Все поприща поочередно открывались перед ней, и на всяком она службу сослужила. Везде она свое слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что, по обстоятельствам, лучше не надо.

Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне да на округлении периодов настаивала. «Главное, — твердила она, — чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили как пьяные!» И всем действительно сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то воблушка резонно утверждала, что без этого никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них

изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни, и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожделенная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать.

Забралась вяленая вобла в ряды «излюбленных»[194] — и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели: «Мы-ста, да вы-ста… повергнуть наши умные мысли к стопам!» Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: «Моя речь еще впереди». И действительно: раз повергли, в другой — повергли, в третий — опять было повергнуть собрались, да концов с концами свести не могут. Один кричит: «Мало!», другой перекрикивает: «Много!», а третий прямо бунт объявляет: «Едем, братцы, прямо…» — так вас и пустили! Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло,

[194] Notes: 194
Излюбленный — так называли выбранных на какие-либо должности.

и говорит: «Повергать, — говорит, — мы тогда можем, коли нас спрашивают, а ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание». — «Как так? почему?» — «А потому, — говорит, — что так истари заведено: коли спрашивают — повергай! а не спрашивают — сиди и памятуй, что выше лба уши не растут!» И вдруг из этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и дивиться ее уму-разуму.

— Откуда у тебя такая ума палата взялась? — обступили ее со всех сторон. — Ведь, кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились!

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

— Оттого я так умна, что своевременно меня провялили. С тех пор меня точно свет осиял: ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести — ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе, и другим твержу: не растут уши выше лба! не растут!

— Правильно! — согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постановили: — Коли спрашивают — повергать! а не спрашивают —

сидеть и получать присвоенное содержание…

Каковое правило соблюдается и доныне.

Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить — и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть наполняет сердца робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судье: «Проверь самого себя!» А ежели у кого совесть вместе с прочей требухой из нутра вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камней — полна пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгнувши, на заблуждения человеческие и знай себе камешками пошвыривает. Каждое заблуждение у ней под номером значится, и против каждого камешек припасен — тоже под номером. Остается только нелицеприятную бухгалтерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью — полностью искалечь: сам виноват! Ежели следует искалечить в частности — искалечь частицу: вперед наука! И так она этою своею резонностью всем понравилась, что скоро про совесть никто и вспомнить без смеха не мог…

Но больше всего была богата последствиями

добровольческая воблушкина деятельность по распространению здравых мыслей в обществе. С утра до вечера неуставаючи ходила она по градам и весям и все одну песню пела: «Не расти ушам выше лба! не расти!» И не то чтоб с азартом пела, а солидно, рассудительно, так что и рассердиться на нее было не за что. Разве что вгорячах кто крикнет: «Ишь, паскуда, распелась!» — ну да ведь в деле распространения здравых мыслей без того нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой не обругал…

Вяленая вобла, впрочем, не смущалась этими напутствиями. Она не без основания говорила себе: «Пускай сначала к голосу моему привыкнут, а затем я своего уж добьюсь…»

Надо сказать правду: общество, к которому обращались поучения воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек. Это, положим, и везде так бывает, но в других местах для убежденных людей выдаются изрядные светлые промежутки, а тут они — коротенькие. Извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставить, извольте добиться, чтоб они усвоили себе представление о своем праве на жизнь, да не машинально только

усвоили, а с тем чтобы в случае надобности и защитить это право умели. Утвердительно можно сказать, что это задача мучительная. А между тем сколько во имя ее погубляется жизней, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и тяжелых дум! И ежели в результате этих усилий блеснет одна-единственная минута радости (вдобавок мнимой), то это уже награда, которая считается достаточною, чтобы оправдать целые годы последующих отрав…

А кроме того, и время стояло смутное, неверное и жестокое. Убежденные люди надрывались, мучились, метались, вопрошали и вместо ответа видели перед собой запертую дверь. Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время нюхали в воздухе, чем пахнет. Пахло не хорошо; ощущалось присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. «Кто-то нас выручит? кто-то подходящее слово скажет?» — ежемгновенно тосковали пестрые люди и были рады-радехоньки, когда в ушах их раздались отрезвляющие звуки.

Наступает короткий период задумчивости: пестрые люди уже решились, но еще стыдятся. Затем пестрая масса начинает мало-помалу волноваться. Больше, больше, и вдруг вопль: «Не

растут уши выше лба, не растут!»

Общество отрезвилось. Это зрелище поголовного освобождения от лишних мыслей, лишних чувств и лишней совести до такой степени умилительно, что даже клеветники и человеконенавистники на время умолкают. Они вынуждены сознаться, что простая вобла, с провяленными молоками и выветрившимся мозгом, совершила такие чудеса консерватизма, о которых они и гадать не смели. Одно утешает их: что эти подвиги подъяты воблой под прикрытием их человеконенавистнических воплей. Если б они не взывали к посредничеству ежовых рукавиц, если б не угрожали согнутием в бараний рог — могла ли бы вобла с успехом вести свою мирно-возродительную пропаганду? Не заклевали ли бы ее? не насмеялись ли бы над нею? И наконец, не перспектива ли скорпионов и ран, ежеминутно ими, клеветниками, показываемая, повлияла на решение пестрых людей?

Некоторые из клеветников даже устраивали на всякий случай лазейку. Хвалить хвалили, но камень за пазухой все-таки приберегали. «Прекрасно, — говорили они, — мы с удовольствием допускаем, что общество отрезвилось, что химера упразднена, а на место ее вступила в свои права

здоровая, неподкрашенная жизнь. Но надолго ли? но прочно ли наше отрезвление — вот вопрос. В этом смысле мирный характер, который ознаменовал процесс нашего возрождения, наводит на очень серьезные мысли. До сих пор мы знали, что заблуждения не так-то легко полагают оружие даже перед очевидностью совершившихся фактов, а тут вдруг, нежданно-негаданно, благодаря авторитету пословицы — положим, благонамеренной и освященной вековым опытом, но все-таки не более как пословицы, — является радикальное и повсеместное отрезвление! Полно, так ли это? искренно ли состоявшееся на наших глазах обращение? не представляет ли оно искусного компромисса или временного modus vivendi[195], допущенного для отвода глаз? И нет ли в самых приемах, которыми сопровождалось возрождение, признаков того легковесного либерализма, который, избегая такие испытанные средства, как ежовые рукавицы, мечтает кроткими мерами разогнать тяготеющую над нами хмару? Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше есть не что иное, как разношерстный и бесхарактерный агломерат

[195] Notes: 195
Образ поведения *(лат.)*.

всевозможных веяний и наслоений и что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь тогда, когда разнообразные элементы, его составляющие, предварительно приведены к одному знаменателю?»

Как бы то ни было, но настоящий, здоровый тон был найден. Сперва его в салонах усвоили; потом он в трактиры проник, потом… Дамочки радовались и говорили: «Теперь у нас балы начнутся». Гостинодворцы развертывали материи и ожидали оживления промышленности.

Оставалось одно: отыскать настоящее, здоровое «дело», к которому можно было бы «здоровый» тон применить.

Однако тут совершилось нечто необыкновенное. Оказалось, что до сих пор у всех на уме были только ежовые рукавицы, а об деле так мало думали, что никто даже по имени не мог его назвать. Все говорят охотно: «Надо дело делать», но какое — не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает: «Не растут уши выше лба! не растут!»

— Помилуй, воблушка! да ведь это только «тон», а не «дело», — возражают ей, — дело-то какое нам предстоит, скажи!

Но она заладила одно и ни пяди уступить не

согласна! Так ни от кого насчет дела ничего и не узнали.

Но, кроме того, тут же сбоку выскочил и другой вопрос: а что, если настоящее дело наконец и откроется — кто же его делать-то будет?

— Вы, Иван Иваныч, будете дело делать?

— Где мне, Иван Никифорыч! Моя изба с краю… вот разве вы…

— Что вы! что вы! да разве я об двух головах! ведь я, батюшка, не забыл…

И таким образом все. У одного — изба с краю, другой — не об двух головах, третий — чего-то не забыл… все глядят, как бы в подворотню проскочить, у всех сердце не на месте и руки — как плети…

«Уши выше лба не растут!» — это хорошо сказано, сильно, а дальше что? На стене каракули-то читать? — положим, и это хорошо, а дальше что? Не шевельнуться, ни пикнуть, носа не совать, не рассуждать? — прекрасно и это, а дальше что?

И чем старательнее выводились логические последствия, вытекающие из воблушкиной доктрины, тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос: «А дальше что?»

Ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человеконенавистники.

«Само по себе взятое, — говорили и писали они, — учение, известное под именем доктрины вяленой воблы, не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадежным. Но дело не в доктрине и ее положениях, а в тех приемах, которые употреблялись для ее осуществления и насчет которых мы с самого начала предостерегали тех, кому ведать о сем надлежит. Приемы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе клеймо того же паскудного либеральничанья, которое уже столько раз приводило нас на край бездны. Так что ежели мы еще не находимся на дне оной, то именно только благодаря здравому смыслу, искони лежавшему в основании нашей жизни. Пускай же этот здравый смысл и теперь сослужит нам свою обычную службу. Пусть подскажет он всем, серьезно понимающим интересы своего отечества, что единственный целесообразный прием, при помощи которого мы можем прийти к какому нибудь результату, представляют ежовые рукавицы. Об этом напоминают нам предания прошлого; о том же свидетельствует смута настоящего. Этой смуты не было бы и в помине, если б наши предостережения были своевременно выслушаны и приняты

во внимание. „Caveant consules!“[196] — повторяем мы и при этом прибавляем для не знающих по-латыни, что в русском переводе выражение это значит: не зевай!»

Таким образом оказалось, что хоть и провялили воблу, и внутренности у нее вычистили, и мозг выветрили, а все-таки в конце концов ей пришлось распоясываться. Из торжествующей она превратилась в заподозренную, из благонамеренной — в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадежнее была мысль, составлявшая основание ее пропаганды.

И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал…

Пестрые люди смотрели на это зрелище, плескали руками и вопили: «Да здравствуют ежовые рукавицы!» Но История взглянула на дело иначе и втайне положила в сердце своем: «Годиков через сто я непременно все это тисну!»

1884

---

[196] Notes: 196
Пусть консулы будут бдительны! *(лат.)*

Орел-меценат

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И статьи у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно сравнивают его с орлом. «Подобно орлу, — говорят, — городовой бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав, — простил».

Я сам очень долго этим панегирикам верил. Думал: «Ведь в самом деле красиво! Выхватил… простил! Простил?!» — вот что́ в особенности пленяло. «Кого простил? — мышь!! Что такое мышь?!» И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, а затем его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осенила мысль. «С чего же, однако, орел „простил“ мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и… простил! Почему он „простил“ мышь,

а не мышь „простила“ его?»

Дальше — больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он — птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городового может быть лестно только по недоразумению.

И теперь я думаю об орлах так: «Орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они в то же время сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что при появлении их все пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют».

Выискался, однако ж, орел, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды

своей орлице:

— Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце — инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи. Воро́ны бы сплетни ему переносили, попугаи — кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы — величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал, да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

— Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало; она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и всё.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму воро́н. Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы[197]. Ворона — птица плодущая

[197] Notes: 197

Ревизские сказки — перепись податного населения по результатам ревизии. *Окладные листы* — документ, извещающий о сроках и сумме податного налога.

и на все согласная. Главным же образом тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать. Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что́ бы такое было, и наконец догадались: во всех дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех ни других.

Три птицы в особенности считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первона-

чально в школе кантонистов[198], потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать, без предварительной цензуры, газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется — ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется — ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку тук да тук. Вот он и замыслил: «Пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!»

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запóем, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем Баба-яга», «Каким полом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал: «Пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!»

---

[198] Notes: 198

Школа для солдатских и унтер-офицерских детей, существовала с 1805 по 1856 год.

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладкострастен и славолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять… Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать…

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: «Доложи да доложи!»

Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянцем на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни Бабой-ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слыхал: что эта птица — малая, не стоит из-за ее клюв марать.

— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то

умер? — спросил сокол.

— Какой такой Бонапарт?

— То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо гости приедут, разговаривать будут. Скажут: «При Бонапарте это было», — а ты будешь глазами хлопать. Нехорошо.

Призвали на совет сову, и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье — свет, а неученье — тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» — ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали — значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведерко с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!

— Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: «Ловок орел, а простофиля».

— Что ж, я не прочь от наук! — цыркнул орел.

Сказано — сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучива-

ли гимн «Науки юношей питают»[199], коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи — новые кунштюки выдумывали. С ворон определили новый налог, под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей — академию де сиянс[200], да кстати уж и воронятам купили по экземпляру азбуки-копейки[201]. И, в заключение, самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьем.

И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил,

---

[199] Notes: 199

Из «Оды на день восшествия на престол Елисаветы Петровны» (1747) М. В. Ломоносова.

[200] Notes: 200

Академия де сиянс (от *фр.* Académie des Sciences) — Академия наук.

[201] Notes: 201

Азбука-копейка — дешевое издание детского букваря.

что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, — а орел подтвердил: «Имянно!»

Наконец снегирь надоел.

— Следующий! — цыркнул орел.

Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел, а орел с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». «Было у солнца, — говорил дятел, — трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел. Акула была распутная — ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся — его отец владыкою над пустыней сделал; а Орёлко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил — воздушные пространства ему во владенье отвел».

Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпенье кричал:

— Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что Бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают… Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орел, да и шабаш!

— Что этот дуралей бормочет! — крикнул он наконец. — Позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: «Имянно! имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолюбивые попытки соловья и по-

кончились. Живо запрятали его в куролеску[202] и продали в Зарядье, в трактир «Расставанье друзей», где и о сю пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения все-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководительство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год вместо «Орел» подписывался «Арер», так что ни один солидный заимодавец векселей с такою подписью не принимал. Но еще бóльшая ошибка заключалась в том, что, подобно всем во-

---

[202] Notes: 202

Куролеска (куралеск) — невысокий ящик, обтянутый сверху и снизу холстом, предназначенный для содержания только что пойманного соловья.

обще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: «Бб… зз… хх…», а сокол тоже ежеминутно внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

— Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел — сколько в запасе осталось? — с укоризною спрашивал сокол.

Орел не мог разрешить и молчал, но зла против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат!», а орлица начала орла дразнить: «Ученый! ученый!», затем общими силами возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: «Вв… зз… рррр…»

— Уйди, постылая! — кротко огрызнулся орел.

— Извольте, ваше степенство, повторить: бб…

кк… мм…

— Второй раз говорю: уйди!

— Пп… хх… шш…

В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое.

А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

— Вот тебе задача, — сказал он, — награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну — тебе, другую — всем прочим челядинцам, — сколько на твою долю достанется?

— Всё, — отвечал орел.

— Ты говори дело, — возразил сокол. — Ежели бы «всё», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «всё», а холоп осмеливается возражать: «Не всё». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличить не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился:

— А де сиянс академии оставаться по-преж-

нему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смутою.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего «золотого века» не осталось и следов. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без просыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую.

Чтоб оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживем…

И в доказательство, что весь вред от наук идет,

начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища…

— Шабаш! — вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое.

Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

— Знаки препинания ставить умеешь?

— Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как то: кавычки, тире, скобки — всегда, по сущей совести, становлю.

— А женский пол от мужеского отличить можешь?

— Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, по́мре.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твердо:

жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увертки их опровергнул, спросив: «Да сиянсы-то зачем?» И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

В это же самое время отобрали у воронят азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из полученной массы наделали игральных карт.

Дальше — больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи… Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днем молчит, а ночью спит…

Дворня опустела. Остались орел с орлицею, и при них ястреб да коршун. А вдали — масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше накоплялось на нем недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (воронье в счет не полагалось), стали изводить друг друга. И всё на почве наук. Ястреб донес, что коршун, по секрету, читает часослов, а коршун

съябедничал, что у ястреба в дупле «Новейший песенник» спрятан.

Орел смутился…

Но тут уж сама История ускорила свое течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, воро́ны вдруг спохватились: «А что бишь на этот счет в азбуке-копейке сказано?» И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

— Сие да послужит орлам уроком!

Но что́ означало в данном случае слово «урок»: то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе, — об этом он умолчал.

1884

Карась-идеалист

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ерш под выражением «слукавить» — неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

— Вот ужо увидишь!

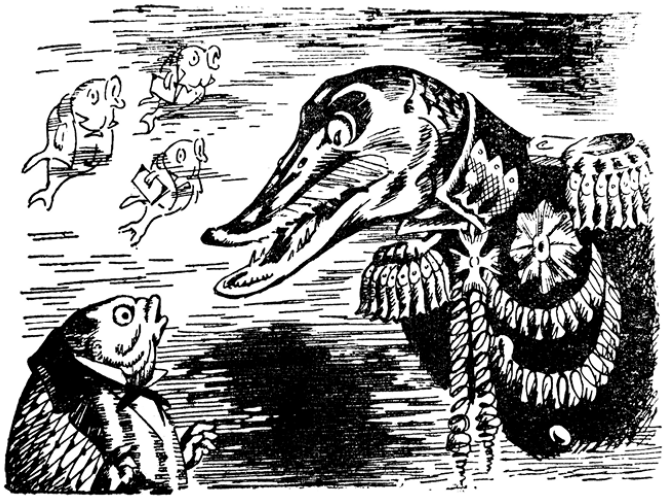
Карась — рыба смирная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит он больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то,

что они вкусны.

Ловят карасей, по преимуществу, сетью или неводом; но, чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню[203], чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

---

[203] Notes: 203
Мотня — средняя часть невода.



Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, — не знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили

раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирал карась.

— Не верю, — говорил он, — чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастие — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!

— Дожидайся! — иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и неспокойно. Это — рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у нее на сердце… ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду распрю видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь! — отзывался карась. — И не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне благодаря новейшим исследованиям можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?

— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: «На то щука в море, чтоб карась не дремал», то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс[204] и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фофан[205] ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном

---

[204] Notes: 204
Никсы (*нем.* Nixen) — духи воды.

[205] Notes: 205
Напредки — на будущее.

месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет, — разглагольствовал карась, — зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман»! разве это ответ?

— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!

— Нет; ты послушай, что́ я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущей силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ерш.

— Не посрамлены еще, но будут посрамлены — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы как одурелые сами прямо в сеть лезем; а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, сказывают, во время багрения вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы, да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

— А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху? — удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться.

О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь… заколю!

Ерш ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

— Намеднись в нашу заводь щука заглядывала, — объявлял ерш.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: «Чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?» И с этим уплыла.

— Что же мне теперича делать?

— Изготовляться — только и всего. Ужо, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!



— Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват…

— Глуп ты — вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!

— Не может такого закона быть! — искренно возмущался карась. — И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздержаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.

— Вот кабы все рыбы между собой согласились… — загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чем это фофан речь заводит? — думалось ему. — Того гляди провртся, а тут головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай прислушивается».

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! — убеждал он карася. — Не для чего пасть-то разевать: можно и шепотком что

нужно сказать.

— Не хочу я шептаться, — продолжал карась невозмутимо, — а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда…

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! — кричал он на карася и, навостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не предаст — в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того гляди, не понимаючи, сболтнет! А об головлях, язях, линях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!

— Посмотри ты на себя, — говорил он карасю, — ну какую ты, не ровён час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот — чутошный. Даже чешуя на тебе — и та не серьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости — как есть ува-

лень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

— Да за что же меня есть, коли я не провинился? — по-прежнему упорствовал карась.

— Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется, — только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон[206] с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: «Вот кабы все рыбы между собой согласились...» А что, если бы ракушки между собой согласились, — сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

— Но ракушки — ведь это... — пробормотал он смущенно.

— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а и те и другие должны ответ держать.

---

[206] Notes: 206
Мамон — здесь: брюхо.

Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.

Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были, — это ты правду сказал, — объяснил он ершу, — а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, — так с этаким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтоб он серьезную пакость сделал, — ну тогда, конечно…

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что́ надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй, скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадет! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! да ведь намеднись, на глазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил… Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями сталось: и́но их съели, и́но в сажалку[207] посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорвиголова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами ни задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскур-

---

[207] Notes: 207
Сажалка — небольшой искусственный водоем, пруд.

сий в область эмпиреев повышал.

— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторствовал он. — Чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ерш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своем карась. — Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А ну-тка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что́ такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю?

— Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права созна́ем, когда нас с малых лет, в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Все-таки…

— То-то «все-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор

открыт. А что же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще…

— Например?

— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: «Не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!»

— А он тебя за грубость на сковороду либо в золу в горячую… Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопьи чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился где погуще и молчи, остолоп!

Или еще:

— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил наяву карась. — Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И всё это добро, всё на потребу.

— А для щук на потребу караси, — отрезвлял его ерш.

— Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особливый закон в видах обеспечения его личности издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение распубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему — ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки[208], если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!

Карась, однако ж, не обробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашел в отрицатель-

---

[208] Notes: 208

Аридовы (Аредовы) веки — чрезвычайное долголетие; от имени Иареда, прожившего 962 года (Быт. 5: 20).

ном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она… добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет да и скажет: «За то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этою заводью; будь ты над нею начальник!»

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплёток ни наплели, а она — рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

— Слышала я, — молвила щука, — что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

— Об счастии я больше думаю, — скромно, но с достоинством ответил карась. — Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

— Гм… и ты думаешь, что такому делу статься возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Например: плыву я, а рядом со мною… карась?

— Так что́ же такое?

— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то… съем?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указаниями к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

— Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть? — обратилась щука к головлю.

— В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся головель.

— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

— А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных. Что объявится такое общее де-

ло, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче — ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то еще где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придется!

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать-то, что им вкусным кажется. Ну да это еще когда-то будет. А вот что: так, значит, по-твоему, и я работать буду должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу. Поди проспись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него, во всяком случае, не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану и ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки… от общих, взаимных трудов…

— Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Головель! как, по-нынешнему, такие речи называются?

— Сицилизмом, ваше высокостепенство!

— Так я и знала. Давненько я уж слышу: «Бунтовские, мол, речи карась говорит!» Только думаю: «Дай лучше сама послушаю...» Ан вон ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего, — пробормотал он в смущении, — это я по простоте...

— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты — карась как карась, — только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно

обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головли и взяли под караул.

Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

— Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что́ такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновенье остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке — узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уж заранее все

предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!

1884

Игрушечного дела людишки

В 184* году я жил в одной из северных губерний России. Жил, то есть состоял на службе, как это само собой разумелось в то время. И при этом всякие дела делал: возлежал на лоне у начальника края, танцевал котильон с губернаторшей, разговаривал с жандармским штаб-офицером о величии России и, совместно с управляющим палатой государственных имуществ, плакал горючими слезами, когда последний удостоверял, что будущее принадлежит окружным начальникам. И, что всего важнее, ужасно сердился, когда при мне называли окружных начальников эмиссарами Пугачева. Одним словом, проводил время не весьма полезно.



В то время, вблизи губернского города, процветал (а быть может, и теперь процветает) уездный городок Любезнов, куда я частенько-таки езжал, во-первых, потому что праздного времени было пропасть, а во-вторых, потому что там служил в качестве городничего мой приятель, штабс-капитан Вальяжный, а у него жила экономка Аннушка. Эта Аннушка была премилая особа, и, признаюсь, когда мне случалось пить у Вальяжного чай или кофе, то очень приятно было думать, что предлагаемый напиток разливала

девица благоутробная, а не какая-нибудь пряничная форма. Но, впрочем, только и всего. Хотя же и был на меня донос, будто б я езжу в Любезнов «для лакомства», но, ввиду моей беспорочной службы, это представляло так мало вероятия, что сам его превосходительство собственноручно на доносе написал: «Не верю; пусть ездит».

Подобно тому как у любого отца семейства всегда бывает особенно надежное чадо, о котором родители говорят: «Этот не выдаст!» — подобно сему и у каждого губернатора бывает свой излюбленный город, который его превосходительство называет своею «гвардией» и относительно которого сердце его не знает никаких тревог. Об таких городах ни в губернаторской канцелярии, ни в губернском правлении иногда по целым месяцам слыхом не слыхать. Исправники в них — непьющие; городничие — такие, что, две рюмки вставши, да три перед обедом, да три перед ужином, — и сами говорят: «Баста!», городские головы — такие, что только о том и думают, как бы новую пожарную трубу[209] приобрести или общественный банк устроить, а обыватели — трудолюбивые, к начальству ласковые и

[209] Notes: 209
То есть пожарную повозку с ручным насосом.

к уплате податей склонные.

К числу таких веселящих начальственные сердца муниципий принадлежал и Любезнов. Я помню, губернатор даже руки потирал, когда заводили речь об этом городе. «За Любезнов я спокоен! Любезновцы меня не выдадут!» — восклицал его превосходительство, и все губернское правление, в полном составе, вторило: «Да, за Любезнов мы спокойны! Любезновцы нас не выдадут!» Зато, бывало, как только придет из Петербурга циркуляр о принятии пожертвований на памятник Феофану Прокоповичу или на стипендию имени генерал-майора Мардария Отчаянного, так тотчас же первая мысль: поскорее дать знать любезновцам! И точно: не успеет начальство и оглянуться, как исправник Миловзоров уже шлет 50 копеек, а городничий Вальяжный — целых 75 копеек. Тогда как из Полоумного городничий с тоской доносит, что, по усиленному его приглашению, пожертвований на означенный предмет поступила всего 1 копейка… Да еще испрашивает в разрешение предписания, как с одной копейкой поступить, потому-де, что почтовая контора принимает к пересылке деньги лишь в круглых суммах!

Любезнов был городок небольшой, но настоль-

ко опрятный, что только разве в самую глухую осень, да и то не на всех его улицах, можно было увязнуть. В нем был общественный банк, исправная пожарная команда, бульвар на берегу реки Любезновки, небольшой каменный гостиный двор, собор, две мощеные улицы — одним словом, все, что может веселить самое прихотливое начальническое сердце. Но главным украшением города был городской голова. Этот замечательно деятельный человек целых пять трехлетий не сходил с головства и в течение этого времени неуклонно задавал пиры губернским властям, а местным — кидал подачки. С помощью этой внутренней политики он и сам твердо держался на месте и в то же время содержал любезновское общество в дисциплине, подходящей к ежовым рукавицам. И вот, быть может, благодаря этим последним в Любезнове процвели разнообразнейшие мастерства, которые сделали имя этого города известным не только в губернии, но и за пределами ее.

Этот блестящий результат был, однако ж, достигнут не без труда. Есть предание, что Любезнов некогда назывался Буяновым и что кличка эта была ему дана именно за крайнюю необузданность его обывателей. Было будто бы такое время,

когда любезновцы проводили время в гульбе и праздности и все деньги, какие попадали им в руки, «крамольным обычаем» пропивали и проедали; когда они не токмо не оказывали начальству должных знаков почитания, но одного из своих градоначальников продали в рабство в соседний город (см. «Северные народоправства», соч. Н. И. Костомарова). Даже и доднесь[210] наиболее распространенные в городе фамильные прозвища свидетельствуют о крамольническом их происхождении. Таковы, например, Изуверовы, Идоловы, Строптивцевы, Вольницыны, Непроймёновы и т. д. Так что несколько странно видеть какого-нибудь Идолова, которого предок когда-то градоначальника в рабство продал, а ныне потомок постепенными мерами до того доведен, что готов для увеселения начальства сам себя в рабство задаром отдать.

К счастию для Буянова, случилось сряду четыре удачных и продолжительных головства, которые и положили конец этой неурядице. Первый из этих удачных градских голов дал городу раны,

---

[210] Notes: 210
Доднесь — до сего дня.

второй — скорпионы[211], третий — согнул в бараний рог, а четвертый познакомил с ежовыми рукавицами. И, независимо от этого, все четверо прибегали и к мерам кротости, неослабно внушая приведенным в изумление гражданам, что человек рожден для трех целей: во-первых, дабы пребывать в непрерывном труде; во-вторых, дабы снимать перед начальством шапку, и в-третьих, — лить слезы. Повторяю: результат оказался блестящий. Изуверовы, вместо того чтобы заниматься «противодействиями», занялись изобретением perpetuum mobile[212] и, в ожидании, покуда это дело выгорит, работали самокаты и делали какие-то особенные игрушки, которые «чуть не говорят»; Идоловы, прекратив «филантропии», избрали специальностью сборку деревянных часов, которые в сутки показывали двое суток, но и за всем тем, как образчик русской смекалки, могли служить поводом для размышлений о величии России; Строптивцевы, бросив «революции», изобрели такие шкатулки, до которых нельзя было дотронуться, чтобы по

[211] Notes: 211

Скорпионы — здесь: многохвостные плети с острыми металлическими наконечниками.

[212] Notes: 212

Вечный двигатель *(лат.)*.

всему дому не пошел гвалт и звон; а один из Непроймёновых, занявшийся торговлей муравьиными яйцами (для кормления соловьев), до того осмелился, что написал даже диссертацию «О сравнительной плотности муравьиных яиц» и, отослав оную в надлежащее ученое общество (вместе с удостоверением, что недоимок за ним не состоит), получил за сие диплом на звание члена-соревнователя.

И вот, когда город совсем очистился от крамолы и все старые недоимки уплатил, когда самый последний из мещан настолько углубился в свою специальность, что буйствовать стало уж некогда, а впору было платить дани и шапки снимать, — случилось нечто торжественное и чудное. Обыватели, созванные на вече (это было последнее вече, после которого вечевой колокол был потоплен в реке) городским головой Вольницыным, принесли публичное покаяние, а затем, в порыве чувств единогласно постановили: просить вышнее начальство, дабы имя Буянова из географии Арсеньева[213] исключить, а город ихний возродить к новой жизни под именем Любезнова…

---

[213] Notes: 213

Арсеньев Константин Иванович (1789–1865) — русский историк, статистик и географ, академик, автор «Краткой всеобщей географии» (1818).

Нужно ли прибавлять, что ходатайство сие было уважено?

Повторяю: в 184* году Любезнов ни о каких «народоправствах» уже не думал, а просто принадлежал к числу городов, осужденных радовать губернаторские сердца. А так как времена были тогда патриархальные, то члены губернского синклита частенько-таки туда езжали, во-первых, чтобы порадоваться на трудолюбивых и ласковых мещан, а во-вторых, чтобы попить и поесть у гостеприимного головы. Следуя общему настроению умов, ездил туда и я.

Однажды приезжаю прямо к другу моему, Вальяжному, и уже на лестнице слышу, что в городнической квартире происходит что-то не совсем обычное. Отворяю дверь и вижу картину. Городничий стоит посреди передней, издавая звуки и простирая длани (с рукоприкладством или без оного — заверить не могу), а против него стоит, прижавшись в угол, довольно пожилой мужчина, в синем кафтане тонкого сукна, с виду степенный, но бледный и как бы измученный с лица. Очевидно, это был один из любезновских граждан, который до того уж проштрафился, что даже голова нашел находящиеся в его руках меры кротости недостаточными и препроводил

виновного на воздействие предержащей власти.

— Степан Степаныч! голубчик! — воскликнул я, приветствуя дорогого хозяина. — А мы-то в губернии думаем, что в Любезнове даже самое слово «расправа» упразднено!

— Да… вот… — сконфузился было Вальяжный, но тотчас же поправился и, обращаясь к стоявшим тут «десятникам», присовокупил: — Эй! бегите в лавку за Твердолобовым, да судья чтобы… В бостончик? — обратился он ко мне.

— С удовольствием.

— Отлично. Милости просим! А я — вот только кончу!

И покуда я разоблачался (дело было зимой), он продолжал суд.

— Говори! почему ты не хочешь с женой «жить»?

Вальяжный остановился на минуту и укоризненно покачал головой. Подсудимый молчал.

— И баба-то какая… Давеча пришла… печь печью! Да с этакой бабой… конца-краю этакой бабе нет! А ты!! Ах ты, ах!

Но подсудимый продолжал молчать.

— Да ты знаешь ли, что даже в книгах сказано: «Муж, иже жены своея…» — хотел было поучить от Писания Вальяжный, но запнулся и опять

произнес: — Ах-ах-ах!

Мещанин продолжал переминаться с ноги на ногу, но на лице его постепенно выступало какое-то бесконечно-тоскливое выражение.

— Говори! что ж ты не говоришь?

— Что же я, вашескородие, скажу?

— Будешь ли «жить» с женой как следует… как закон велит? Говори!

Подсудимый несколько секунд помолчал и наконец вдруг заметался.

— Вашескородие! Мне не токма что говорить, а даже думать… увольте меня, вашескородие!

— А коли так — марш в холодную! И завтра чтобы без разговоров! А будешь разговаривать — так вспрысну, что до новых веников не забудешь! Марш!

И, помахав (чтоб крепче было) у подсудимого под носом указательным перстом, Вальяжный приказал его увести и затем, обратившись ко мне, протянул обе руки и воскликнул:

— Ну, вот вы и к нам! очень рад! очень рад! Аннушка! чаю!

До бостона я с полчаса спорил с Вальяжным. Он говорил, что «есть в законах»; я говорил, что «нет в законах». Послали за письмоводителем — тот ответил надвое: «Сам не видал, а, должно быть,

где-нибудь да есть». Аннушка, вслушавшаяся в наш разговор, тоже склонялась в пользу того мнения, что где-нибудь да должно быть: «Потому ежели они теперича в браке, то какие же это будут порядки, если жена своево положения от мужа получать не будет». Даже подоспевший к бостону судья — и тот сказал, что нужно где-нибудь в примечаниях[214] поискать, потому что иногда где не чаешь, там-то именно и обретешь сокровище. Кончилось тем, что Вальяжный приказал письмоводителю к завтраму отыскать закон и в заключение прибавил:

— А ночь он пускай в холодной посидит! Там что́ еще окажется, а ему — наука!

В течение вечера дело хотя и недостаточно, но все-таки слегка для меня объяснилось. Обвиняемый был любезновский мещанин, Никанор Сергеев Изуверов, имевший в городе лучшую игрушечную мастерскую. Человек трезвый, трудолюбивый и послушливый, он представлял собой идеал обывателя, каким ему перед Богом и Страшным Его судом предстать надлежит. Слава об его мастерстве доходила некоторым образом даже до столиц, потому что всякий заезжий по

[214] Notes: 214

То есть в примечаниях к отдельным статьям в Своде законов Российской империи.

делам службы столичный чиновник или офицер считал своею обязанностью поощрить «самородка» и приобрести у него несколько особенно хитрых игрушечных механизмов. Говорили, что он не игрушки делает, а «настоящих деревянных человечков». И еще говорили, что если бы всех самородков, в недрах земли русской скрывающихся, откопать, то вышла бы такая каша, которой врагам России и вовек бы не расхлебать.

Изуверов до сорока лет прожил одиноко с старухой матерью. Всецело углубившись в свою специальность, он, по-видимому, даже не ощущал потребности в обществе жены; но лет пять тому назад старуха мать умерла, и Изуверова попутал бес. Некому было шти сготовить, некому — заплату на штаны положить. Он затосковал и начал было даже попивать. В это время под руку подвернулась двадцатипятилетняя девица Матрена Идолова, рослая, рыхлая, как будто нарочно созданная, чтобы горшки из печи ухватом таскать. Изуверов решился. Он даже радовался, что у него будет жена сильная, печь печью; думал, что при сильной бабе в доме больше порядку будет. Но увы! Матрена с первых же шагов заявила наклонность не столько к тасканию горшков из печи, сколько к тому, чтобы муж вел себя

относительно ее как дамский кавалер. И так как Никанор Сергеев, по-видимому, к роли дамского угодника чувствовал призвание очень слабое, то немедленно же обнаружилась полнейшая семейная неурядица, а под конец дело дошло и до разбирательства полиции.

Разумеется, на другой день письмоводитель доложил, что «в законах нет». Но, кроме того, оказалось и еще кое-что, а именно, что даже «вспрыснуть» Изуверова нельзя, так как закон на этот раз гласил прямо, что мещане, яко образованные, от телесных воздействий освобождаются. Поэтому Изуверова тогда же выпустили, а жене его Вальяжный объявил кратко: «Закона нет».

Результат этого я отчасти приписываю себе. Конечно, я был тут орудием случайным и даже страдательным, но все-таки в качестве чиновника из губернии в известной мере олицетворял авторитет. Я убежден, что, не наткнись я на сцену и не возбуди вопроса о том, есть ли в законе или нет, никто (и всех меньше сам Изуверов) и не подумал бы об этом. Никанор Сергеев не только высидел бы в холодной свое «положенное», но, наверное, был бы и «вспрыснут». Много-много, если бы Вальяжный перед «вспрыснутием» сказал бы: «А ну, образованный, ложись!» Это был бы

единственный компромисс, который он допустил бы в свидетельство, что в городническом правлении действительно имеется шкап, в котором в качестве узника заключен закон.

К стыду моему, я должен сознаться, что, очень часто слыша о необыкновенных способностях Изуверова, я до сих пор еще ни разу не полюбопытствовал познакомиться с произведениями его мастерства. Поэтому теперь, когда, помимо его репутации, меня заинтересовала самая личность «самородка-механика», я счел уже своею обязанностью посетить его и его заведение.

Домик, в котором жил Изуверов, стоял в одной из пригородных слобод и почти ничем не отличался от соседних домов. Такой же чистенький, словно подскобленный, так же о трех окнах и с таким же маломерным двором. Вообще мастерские и ремесленные слободы Любезнова были распланированы и обстроены с изумительным однообразием, так что сами граждане в шутку говаривали: «Точно у нас каторга!» В домиках с утра до ночи шла неусыпающая деятельность; все работали: и взрослые, и подростки, и малолетки, и мужеск, и женск пол; зато улицы стояли пустынные и безмолвные.

Я застал хозяина в мастерской одного. Изуверов

принял меня с каким-то робким радушием и показался мне чрезвычайно симпатичным. Лицо его, изжелта-бледное и слегка изнуренное, было очень привлекательно, а в особенности приятно смотрели большие серые глаза, в которых, от времени до времени, проблескивало глубоко тоскливое чувство. Тело у него было совсем тщедушное, так что сразу было видно, что ему на роду написано: не быть исправным кавалером. Плечи узкие, грудь впалая, руки худые, безволосые, явно непривычные к тяжелой работе. Когда я вошел, он стоял в одной рубахе за верстаком и суетливо заторопился надеть армяк, который висел возле на гвоздике. На верстаке лежала кукла, сделанная вчерне. Плешивая голова без глаз; вместо груди и живота — две пустые коробки, предназначенные для помещения механизма; деревянные остовы рук и ног с обнаженными шалнерами.

Я, конечно, видал в своей жизни великое множество разоренных кукол, но как-то они никогда не производили на меня впечатления. Но тут, в этой насыщенной «игрушечным делом» атмосфере, меня вдруг охватило какое-то щемящее чувство, не то чтобы грусть, а как бы оторопь. Точно я вошел в какое-то совсем оголтелое царство, где все в какой-то отупелой безнадежности засты-

ло и онемело. Это последнее обстоятельство было в особенности тяжко, потому что немота именно заключает в себе что-то безнадежное. Так что мне ужасно жалким показался этот человек, который осужден проводить жизнь в этом застывшем царстве, смотреть в просверленные глаза, начинять всякой чепухой пустые груди и направлять всю силу своей изобретательности на то, чтобы руки, приводимые в движение замаскированным механизмом, не стучали «по-деревянному», а плавно и мягко, как у ханжей и клеветников, ложились на перси[215], слегка подправленные тряпкой и ватой и «для натуральности» обтянутые лайкой.

— Как живете? — приветствовал я хозяина.

— Тихо-с. Смирно у нас здесь-с. Прохор Петрович (голова) такую в нашем городе тишину завел, что, кажется, кабы не стучал станок — подумал бы, что и сам-то умер.

— Скучно?

— Не скучно-с, а как будто совсем нет ничего: ни скуки, ни веселости — одна тишина-с. Все мы здесь на равных правах состоим, точно веревка скрозь продернута. Один утром проснулся, за веревку потянул — и все проснулись; один за

---

[215] Notes: 215
Перси — грудь.

станок стал — и все стали. Порядок-с.

— Что ж, это хорошо. Порядок и притом тишина — это прежде всего. Оттого и начальники, глядя на вас, радуются; оттого и недоимок на вас нет. А при сем весьма возможно, что и порочные наклонности ваши, не встречая питания…

К счастию, я поперхнулся на этом слове, и когда откашлялся, то потерял нить, и, таким образом, учительное настроение как-то само собой оставило меня.

— Вы, сказывали мне, игрушечным мастерством занимаетесь? И притом какие-то особенные, отличнейшие куклы работаете?

— Хвалить себя не смею, а, конечно, стараюсь доходить. Весь век промежду кукол живешь, все молчишь, все думаешь… Думаешь да думаешь — и вдруг, это, кукла перед тобой как живая стоит! Ну, натурально, потрафить хочется… А в этом разе, уж само собой, одной тряпкой да лайкой мудрено обойтись.

— Значит, вы отчасти и в скульптуру вдаетесь?

— Не знаю, сударь, как на это вам доложить. По-моему, я куклу работаю — только, разумеется, потрафить стараюсь. Скажем теперича хоть так: желаю я куклу-подьячего сделать — как с этим быть? Разумеется, можно и так: взял чурбашок,

наметил на нем глаза, нос, губы, напялил камзолишко да штанишки — и снес на базар продавать по гривеннику за штуку. А можно и иначе. Можно так сделать, что этот самый подьячий разговаривать будет, мимику руками разводить.

— Вот как!

— Да и это, позвольте вам доложить, еще не самый конец. И подьячие тоже разные бывают. Один подьячий — мздоимец; другой — мзды не емлет, но лакомству предан; третий — руками вперед без резону тычет; четвертый — только о том думает, как бы ему мужичка облагодетельствовать. Вот изволите видеть: только четыре сорта назвал, а уж и тут четыре особенные куклы понадобились.

— Так что если бы всех сортов подьячих в кукольном виде представить, так они, пожалуй, всю мастерскую бы вашу заполонили?

— Мудреного нет-с. Или, например, женский род — сколько тут для кукольного дела материалу сыщется! Одних «щеголих» десятками не сосчитаешь, а сколько бесстыжих, закоснелых, оглашенных, сколько таких, которые всю жизнь зря мотаются и ни к какому безделью пристроить себя не могут! Да вон она-с! извольте присмотреть! — вскрикнул он, указывая в окошко. — Это

соседка наша, госпожа Строптивцева, по улице мостовой идет! Муж у ней часовым мастерством занимается, так она за него, вишь, устала, погулять вышла! Извольте взглянуть — чем не кукла-с?

Действительно, по другой стороне улицы проходила молодая женщина, несколько странного, как бы забвенного, вида. Идет, руками машет, головой болтает, ногами переплетает. Не то чего-то ищет, не то припоминает: «Чего, бишь, я ищу?»

— Вот этакую-то куклу, да ежели ейный секрет как следует уследить — стоит ли за ней посидеть, спрошу вас, или нет? А многие ли, позвольте спросить, из нашего брата, игрушечников, понимают это? Бóльшая часть так думает: насовал тряпки, лайкой обтянул да платьем прикрыл — и готов женский пол! Да вот, позвольте-с! у меня и образчик отличнейший в этом роде найдется — не угодно ли полюбопытствовать?

Он подошел к стеклянному шкапу и вынул оттуда довольно большую и ценную куклу. Кукла представляла собой богато убранную «новобрачную», в кринолине, в белом атласном платье, украшенном серебряным шитьем и кружевными тряпочками. Личико у нее было восковое, с нежным румянчиком на щеках; глазки — фарфо-

ровые; волосы на голове — желтенькие. С головы до полу спускался длинный тюлевый вуаль.

— Полковник здесь у набора был[216], — объяснил Изуверов, — так он заведение мое осматривал, а впоследствии мне эту куклу из Петербурга в презент прислал. Как, сударь, по-вашему, дорого эта кукла стоит?

— Да рублей двадцать, двадцать пять.

— Вот видите-с. Мне этакой суммы и не выговорить, а по-моему, вся ей цена, этой кукле, — грош!

— Что́ так?

— Пустая кукла — вот отчего-с. Что она есть, что нет ее — не жалко. Сейчас ты у ней голову разбил — и без головы хороша; платье изорвал — другое сшить можно. Ишь у ней глазки-то зря болтаются; ни́ она сыскоса взглянуть ими, ни́ кверху их завести — ничего не может. Пустая кукла — только и всего!

В самом деле, рассмотревши внимательно щегольскую петербургскую куклу, я и сам убедился, что это пустая кукла. Дадут ее ребенку в руки, сейчас же он у нее голову скусит — и поделом. Однако ж я все-таки попытался хоть немного

---

[216] Notes: 216
То есть занимался набором в рекруты.

смягчить приговор Изуверова.

— Послушайте! да ведь это «новобрачная»! — сказал я. — Чего ж вы хотите от нее?

— Ежели, вашескородие, насчет ума это изволите объяснять, так позвольте вам доложить: хоть и трудно от «новобрачной» настоящего ума ожидать, однако ежели нет у ней ума, так хоть простота должна быть! А у этой куклы даже и простоты настоящей нет. Почему она «новобрачная»? на какой предмет и в каком градусе состоит? Какие ответы она на эти вопросы может дать? Что уваль-то[217] у ней на голове, в знак непорочности положен? так ведь его можно и снять-с! Чтó тогда она будет? «новобрачная» или просто пологрудая баба, которая наготою своею глаза прохожим людям застелить хочет?

— Да разве можно от нее ответов требовать, коль скоро она «новобрачная»? ведь она и сама, вероятно, о себе ничего сказать не сумеет.

— Бывает с ними, конечно, и это-с. Бывают промежду ихней сестры такие, что, об чем ты с ней ни заговори, она все только целоваться лезет… Так ведь нужно, чтобы и это было сразу понятно. Чтобы всякий, как только взглянул на нее, так и

---

[217] Notes: 217
Уваль — вуаль.

сказал: «Вот так баба… ах-ах-ах!» А то — на-тко! Нацепил уваль — и думает, что дело сделал! Этакие-то куклы у нас на базаре по гривеннику штука продают. Вон их, чурбашкóв, сколько в углу навалено!

— Так вы, значит, и простую куклу работаете?

— Без простой куклы нам пропитаться бы нечем. А настоящую куклу я работаю, когда досуг есть.

— И это интересует вас?

— Известно, кабы не было занятно, так лучше бы чурбашки работать: по крайности, полтинников больше в кармане водилось бы. А от этих от «человечков» и пользы для дому не видишь, да не ровен час и от тоски, пожалуй, пропадешь с ними.

— Тоска-то с чего же?

— С того самого и тоска, что тебе вот «дойти» хочется, а дело показывает, что руки у тебя коротки. Хочется тебе, например, чтоб «подьячий»… ну, рассердился бы, что ли… а он заместо того только «гневается»! Хочется, чтоб он сегодня — одно, а завтра — другое; а он с утра до вечера все одну и ту же канитель твердит! Хочется, чтоб у «человечков» твоих поступки были, а они только руками машут!

— Еще бы вы чего захотели: чтоб у кукол поступки были!

— Знаю, сударь, что умного в этом хотенье мало, да ведь хотеть никому не заказано — вот горе-то наше какое! Думаешь: «Сейчас взмахну и полечу!» — а «человечек»-то вцепился в тебя, да и не пускает. Как встал он на свою линию, так и не сходит с нее. Я даже такую механику придумал, что людишки мои из лица краснеют, — ан и из этого проку не вышло. Пустишь это в лицо ему карминцу[218], думаешь: «Вот сейчас он рассердится!» — а он «гневается», да и шабаш! А нынче и еще фортель приспособил: сердца им в нутро вкладывать начал, да уж наперед знаю, что и из этого только проформа выйдет одна.

И он показал мне целую связку крошечных кукольных сердец, из которых на каждом мелкими-мелкими буквами было вырезано: «Цена сему серцу Адна копек.».

— Так вот как поживешь, этта, с ними: ума у них — нет, поступков — нет, желаний — нет, а на место всего — одна видимость, ну и возьмет тебя страх. Того гляди зарежут. Сидишь посреди этой немоты и думаешь: «Господи! да куда же

---

[218] Notes: 218
Кармин — красный краситель из кошенили.

настоящие-то люди попрятались?»

— Ах, голубчик, да ведь и в заправской-то жизни разве много таких найдется, которых можно «настоящими» людьми назвать?

— Вот, сударь, вот. Это одно и смиряет. Взглянешь кругом: все-то куклы! везде-то куклы! не есть конца этим куклам! Мучат! тиранят! в отчаянность, в преступление вводят! Верите ли, иногда думается: «Господи! кабы не куклы, ведь десятой бы доли злых дел не было против того, что теперь есть!»

— Гм… отчасти это, пожалуй, и так.

— Вполне верно-с. Потому настоящий человек — он вперед глядит. Он и боль всякую знает, и огорчение понять может, и страх имеет. Осмотрительность в нем есть. А у куклы — ни страху, ни боли — ничего. Живет как забвенная, ни у ней горя, ни радости настоящей, живет да душу изнимает — и шабаш! Вот хоть бы эта самая госпожа Строптивцева, которую сейчас изволили видеть, — хоть распотроши ее, ничего в ней, окромя тряпки и прочего кукольного естества, найти нельзя. А сколько она с помощью этой тряпки злодеяниев наделает, так, кажется, всю жизнь ее судить, так и еще на целую такую же жизнь останется. Так вот как рассудишь это по-

рядком — и смиришься-с. Лучше, мол, я к своим деревянным людишкам уйду, не чем с живыми куклами пропадать буду!

— С деревянными-то людишками, стало быть, поваднее?

— Как же возможно-с! С деревянным «человечком» я какой хочу, такой разговор и поведу. А коли надоел, его и угомонить можно: ступай в коробку, лежи! А живую куклу как ты угомонишь? она сама тебя изведет, сама твою душу вынет, всю жизнь тебе в сухоту обратит!

Изуверов высказал это страстно, почти с ненавистью. Видно было, что он знал «живую куклу», что она, пожалуй, и теперь, в эту самую минуту, невидимо изводила его, вынимала из него душу и скулила над самым его ухом.

— У нас, сударь, в здешнем земском суде хороший человек служит, — продолжал он, — так он, как ему чуточку в голову вступит, сейчас ко мне идет. «Изуверов, — говорит, — исправник одолел! празднословит с утра до вечера — смерть! Сделай ты мне такую куклу, чтоб я мог с нею заместо исправника разговаривать!»

— А любопытно было бы исправника вашей работы видеть — есть у вас?

— Материалу покуда у нас, вашескородие,

еще не припасено, чтобы господ исправников в кукольном виде изображать. А впрочем, и то сказать: невелику бы забаву и господин секретарь получил, если б я его каприз выполнил. Сегодня он позабавился, сердце себе утолил, а завтра ему и опять к той же живой кукле на расправу идти. Тяжело, сударь, очень даже тяжело промежду кукол на свете жить!

Он помолчал с минуту, вздохнул и прибавил:

— Отец дьякон соборный не однажды говаривал мне: «Прямой ты, Изуверов, дурак! И от живых людишек на свете житья нет, а он еще деревянных плодит!»

Изуверов опять умолк, и на этот раз, по-видимому, даже усомнился, правильно ли он поступил, сообщив разговору философическое направление. Он застенчиво ходил около верстака и полою армяка сметал с него опилки и стружки.

— А не покажете ли вы мне своих «людишек»? — попросил я.

— Помилуйте! отчего же-с! — ответил он. — Даже за честь почту-с! Да вот, позвольте, для начала, хоть господ «подьячих» вам отрекомендовать.

— А ну-тка, господин коллежский асессор, вылезай! — воскликнул Изуверов, вынимая из картонки куклу и становя ее на верстак.

Передо мною стоял «человечек» величиною около пяти вершков; лицо и части тела его были удовлетворительно соразмерены; голова, руки и ноги свободно двигались. Тип подьячего был схвачен положительно хорошо. Волоса на голове — черные, тщательно прилизанные, с завиточками на висках и с коком над лбом; лицо, вздернутое кверху, самодовольное, с узким лбом и выдающимися скулами; глаза маленькие, подвижные и блудливые, с сильным бликом; щеки одутловатые, отливающие желтизною и в выдающихся местах как бы натертые кирпичиком (вместо румянца); губы пухлые, красные, масленые, точно сейчас после принятия жирной пищи; подбородок бритый и порезанный; кой-где по лицу рассеяны прыщи. Одет в вицмундир серого казинета[219], с красным казинетовым же воротником, и притом несколько странного покроя: с узенькими-узенькими фалдочками, падающими почти до земли; при вицмундире серенькие штанишки, коротенькие и отрепанные; карманы везде глубокие, способные вместить содержание сумы нищего, возвращающегося домой после удачного сбора «кусков». В петлице

[219] Notes: 219

Казинет — плотная бумажная или полушерстяная ткань для верхней одежды.

висит серебряной фольги медаль с надписью: «За спасение погибающих». Бедра крутые, женского типа; брюшко круглое, как комочек, и весело колеблющееся, как будто в нем еще продолжают трепыхаться только что заглотанные живьем куры и другая живность. Одну руку он утвердил фертом на бедре[220], другую — засунул в карман брюк, как бы нечто в оный поспешно опуская; ноги сложил ножницами. Вообще всей своей фигурой он напоминал ножницы, опрокинутые острым концом вниз. И хотя я не мог доподлинно вспомнить, где именно я эту личность видел, но несомненно, что где-то она мне встречалась, и даже нередко.

— «Мздоимец»? — спросил я.

— Он самый-с; как на ваш взгляд-с?

— Недурен. Только, признаюсь, я не совсем понимаю, зачем вы его в серый вицмундир оделили, да еще с красным воротником? Ведь такой формы, сколько мне известно, не существует.

— Для цензуры-с. Ежели бы я в настоящий вицмундир его нарядил — куда бы я с ним сунулся-с? А теперь с меня взятки гладки-с. Там как хочешь

---

[220] Notes: 220

Фертом — подбоченившись, сходно с буквой Ф, называвшейся «ферт» в старо– и церковно-славянской азбуке.

разумей, а у меня один ответ: партикулярный[221], мол, человек, — только и всего.

— Ну а зачем вы его коллежским асессором прозвали?

— Тоже для цензуры-с. Приезжал ко мне, позвольте вам доложить, в мастерскую человек один — он в Петербурге чиновником служит, — так он мне сказывал, что там свыше коллежского асессора представлять в кукольном виде не дозволяется, а до коллежского асессора будто бы можно. Вот я с тех пор и поставил себе за правило эту самую норму брать.

— Правильно. Ну, так покажите мне теперь вашего коллежского асессора, как он действует.

— Сейчас, вашескородие. Мы ему сперва-наперво экзамент учиним. Сказывай, коллежский асессор: взятки любишь?

— Па́пп-п-па́! — вдруг совершенно отчетливо крикнул «человечек».

Я даже вздрогнул. Как-то удивительно неприятно поражал голос, которым были произнесены эти звуки. Точно попугай в соседней комнате крикнул, да еще в старозаветных помещичьих домах приживалки и попадьи таким голосом

---

[221] Notes: 221

Партикулярный — частный, неофициальный, неслуживый.

говаривали, когда желали веселить своих благодетелей.

— Это значит: люблю-с, — пояснил Изуверов и, вновь обращаясь к «коллежскому асессору», продолжал: — Большую, поди, мзду любишь?

— Па́пп-п-па́!

— Такую, чтоб ограбить? дотла чтобы?

— Па́ппа́! па́ппа́! па́ппа́!

Троекратно произнося этот возглас, коллежский асессор выказывал чрезвычайное волнение: вращал глазами, кивал головой, колыхал животом и хлопал руками по бедрам, точь-в-точь как бьет крыльями птица, которая неожиданно налетела на рассыпанный корм. Мне показалось, что даже было одно мгновение, когда он покраснел…

— Вот вы говорили, что ваши «человечки» поступков не имеют, — сказал я, — а посмотрите, какой неподдельный восторг ваш коллежский асессор выказывает!

— То-то и есть, что не вполне, вашескородие! — возразил Изуверов. — И руками он хлопает, и глазами бегает — это действительно; а в лице все-таки настоящей алчности нету! Вот у нас в магистрате секретарь служит, так тот, как взятку-то увидит, даже из себя весь помертвеет! И взгляд у него помутится, и руки затрясутся, и слюна на

губах. Ну а мой до этого не дошел-с.

— Мне кажется, что́ вы чересчур уж скромны, Никанор Сергеич. По моему мнению, и ваш «подьячий» — мерзавец хоть куда!

— Нет, сударь, что́ уж? Дальше — лучше увидите доказательства, что не напрасно я недоволен им. А покуда позвольте мне экзамент продолжать. — Ну, коллежский асессор, сказывай! Что большую мзду ты любишь — это мы знаем, а как насчет малой мзды — приемлешь?

— Па́пп… вззз…

«Человечек» как будто спохватился и зашипел. Признаться, я подумал, не испортился ли в нем механизм, но Изуверов поспешил разуверить меня.

— Это значит: приемлю и малую мзду, но лишь в тех случаях, когда сорвать больше нечего. — Ну, а как ты насчет того скажешь, чтобы, например, совсем без мзды дело решить?

— Вззззз…

Коллежский асессор не только зашипел, но даже закружился. Лицо у него совсем налилось красною жидкостью; глаза блудливо бегали в орбитах. Вообще было видно, что самая идея решить дело без мзды может довести его до исступления.

Даже Изуверов возмутился такою наглостью и

строго покачал головой.

— Как посмотрю я на тебя, «Мздоимец», — сказал он, — так ты жаден, так жаден, что, кажется, отца родного за взятку продать готов?

— Па́пп-па́! па́пп-па́! па́пп-па́!

— А под суд за это попасть хочешь?

— Вззззз…

— Не любишь? Конечно!.. Кому под суд попасть хочется! Какой ни на есть пансион, хоть грош, а все-таки заслужить лестно! Ты, поди, уж и деревнюшку для себя присмотрел?

— Па́пп-па́!

— Наберешь взятков, женишься, уедешь в вотчину, станешь деток зо́блить, крестьян на барщину гонять, в праздники на крылосе за обедней подпевать!

— Па́пп-па́!

— И вдруг кондрашка?!

— Вззззз…

— Не любишь? Ничем его так, вашескородие, огорчить нельзя, как ежели о смертном часе напомнить. Ну ладно, коллежский асессор! Покуда что, а мы тебя теперь с одним человечком сведем…

Изуверов отыскал другую картонку и вынул оттуда «мужика».

Мужик был совсем настоящий и, по-видимому, даже зажиточный. Борода длинная, с сильною проседью; волосы, обильно вымазанные коровьим маслом; на плечах — синий армяк, подпоясанный красным кушаком, на ногах — совсем новенькие лапти. Из-за пазухи у него высовывались куры, гуси, утки, индюшки, поросята, а в одном из карманов торчала даже целая корова. Изуверов поставил его сначала поодаль от коллежского асессора.

— Ну что, мужичок! виноват?

— Мм-му-у!

— А коли виноват — становись, значит, на коленки!

Он поставил мужика на колени и обратил лицом к коллежскому асессору.

— Ползи!

Мужик пополз и остановился перед «Мздоимцем». Коллежский асессор сначала отвернул голову в сторону, притворяясь, будто не видит просителя; но после несколько раз повторенных «мм-му-у!» постепенно начал взглядывать по направлению виноватого и наконец вдруг плотоядно и пронзительно взвизгнул:

— Па́пп-па́!

И тотчас же вырвал у мужика из-за пазухи гуся,

которого тут же, при неистовом гоготании птицы, живьем и сожрал.

— Кланяйся же! кланяйся, мужичок! — поощрял Изуверов. — Проси прощенья… вот так! виноват, мол, ваше высокородие! не буду!

— Мму-у-у! мму-у-у! мму-у-у! — твердил мужичок.

Поощренный этим, коллежский асессор словно остервенился. Откинулся всем корпусом назад и некоторое время стоял в этой позе, как бы разглядывая свою жертву; потом начал раскачиваться из стороны в сторону, наливаясь при этом кровью, и наконец со всех ног бросился на мужика и принялся его теребить и грабить. Все это было проделано до такой степени живо, что у меня даже волосы встали дыбом. «Мздоимец» повытаскал из-за пазухи мужика всех курят, выволок из кармана за рога корову, потом вывернул другой карман и нашел там свинью, которая со страху сейчас же опоросилась десятью поросятами, и при всякой находке восклицал:

— Па́пп-па́! па́пп-па́! па́пп-па́!

Мужик же в умилении вторил ему:

— Мму-у-у!!

Наконец «Мздоимец» отцепился, и мужик, думая, что вина ему уж прощена, тоже начал про-

ворно становиться на ноги. Однако ж не тут-то было. Коллежский асессор опять что-то вспомнил (и, по-видимому, самое важное) и энергично замахал руками, указывая мужику на лапти. Мужик сконфузился, как будто его уличили в плутне; затем беспрекословно опустился на пол и стал разувать онучи и лапти. Все время, покуда происходил процесс разувания, «Мздоимец» внимательно следил за виноватым и лукаво улыбался, как бы говоря: «Надуть хотел… негодяй!!» И точно: по мере того как развертывались мужиковы онучи, из них во множестве сыпались беленькие и желтенькие кружочки.

— Это крестóвики и полуимпериальчики-с![222] — пояснял Изуверов.

Коллежский асессор остервенился вновь. В одно мгновение ока бросился он на виноватого, обшарил с головы до ног, обрал деньги, снял с мужика армяк и даже отнял медный гребень, висевший у него на поясе.

— Пáпп-пá! пáпп-пá! пáпп-пá! — восклицал он в восхищении.

---

[222] Notes: 222

Крестовик — народное название серебряного рубля, чеканившегося в XVIII веке, на оборотной стороне которого вензель императора помещался четыре раза крестообразно. *Полуимпериал* — золотая монета, чеканившаяся с 1755 года; изначально была пятирублевого достоинства, впоследствии ее ценность многократно менялась.

— Мму-у-у! — вторил ему мужик.

— Ну вот, теперь вставай! — решил Изуверов, становя мужика на ноги.

Мужик был сильно помят, но, по-видимому, нимало не огорчен. Он понимал, что исполнил свой долг, и только потихоньку встряхивался.

— Доволен? — обратился к нему Изуверов.

— Мму-у-у!

— Ну, то-то! теперь твое дело — верное! и дома всем так говори: «Теперь, мол, меня хоть с кашею ешь, хоть на куски режь — мое дело верное!» Ну-ну! добро, полезай опять в картонку да обрастай до будущего раза!

Он ухватил мужика поперек туловища и уложил его обратно в картонку.

— Этот мужичок у меня для «представлений» служит, — объяснил мне Изуверов. — Сам по себе он персоны не обозначает, а коли-ежели силу души кому показать нужно, так складнее парня не сыскать! А засим позвольте, вашескородие, попросить: не угодно ли будет вам уж от себя вопросы господину коллежскому асессору предложить?

— Какие же вопросы?

— Что́, сударь, вздумаете, то́ и спросите. Увидите, по крайности, какую силу он перед вами

выкажет.

— Извольте! Что бы, например?.. Ну, например: понимаешь ли ты, коллежский асессор, какое значение слово «правда» имеет?

Молчание.

— А Бога… боишься?

Молчание.

— Ну, что́ бы еще?.. На пользу ближнему послужить не прочь?

Опять и опять молчание. Я в недоумении взглянул на Изуверова.

— Не понимает-с, — объяснил он кратко.

— То есть как же это не понимает? Кажется, вопросы не очень мудреные?

— И не мудреные, а он ответить не может. Нет у него «добродетельного» разговора — и шабаш! все воровство, да подлости, да грабеж — только на уме! Вообще, позвольте вам доложить, сколько я ни старался добродетельную куклу сделать — никак не могу! Мерзавцев — сколько угодно, а что касается добродетели, так, кажется, экого слова и в заводе-то в этом царстве нет!

— Да ведь это, впрочем, и естественно. Возьмите даже живую куклу — разве она понимает, что́ такое добродетель?

— Не понимает — это верно-с. Да, по крайности,

она хоть лицемерить может. Спросите-ка, например, нашего магистратского секретаря: «Боишься ли ты Бога?» — так он, пожалуй, даже в умиление впадет! Ну а мой коллежский асессор — этого не может.

— Это, я полагаю, оттого, что, в сущности, ваш «коллежский асессор» добродетельнее, нежели магистратский секретарь, — вот и всё. А попробуйте-ка вы «добродетельные» разговоры с точки зрения лицемерия повести — тогда я уверен, что и ваш «Мздоимец» не хуже магистратского секретаря на всякий вопрос ответит.

Идея эта, сама по себе очень простая, — сделать доступною для негодяя добродетель, обратив ее, при посредстве лицемерия, в подлость, — по-видимому, не приходила до сих пор в голову Изуверову. Даже и теперь он не сразу понял: как это так? сейчас была добродетель… и вдруг будет подлость! Но, в конце концов, метаморфоза, разумеется, объяснилась для него вполне.

— А ведь я, вашескородие, попробую! — сказал он, робко взглядывая на меня.

— Разумеется, попробуйте! И я уверен, что успех будет полный.

— Ведь я тогда, вашескородие, пожалуй, и госпожу Строптивцеву вполне сработать могу?

— Еще бы! Да вот, постойте: попробуемте даже сейчас с вашим «Мздоимцем» опыт сделать. Поставимте ему вопрос по-новому — что он нам скажет?

И, обращаясь к кукле, я формулировал вопрос так:

— Слушай, «Мздоимец»! Что ты не понимаешь, что́ значит правда, — это мы знаем. Но если бы, например, на пироге у головы кто-нибудь разговор об правде завел, ведь и ты, поди, сумел бы притвориться: одною, мол, правдою и свет Божий мил?

«Коллежский асессор» взглянул на нас с недоразумением и несколько мгновений как бы соображал, стараясь понять. И вдруг пронзительно и радостно крикнул:

— Па́пп-па́! па́пп-па́! па́пп-па́!

Новая кукла, «Лакомка», с внешней стороны оказалась столь же удовлетворительною, как и «Мздоимец». «Лакомка» был «человек» неизвестных лет, в напудренном парике, с косичкою назади и букольками на висках, в костюме петиметра[223] осьмнадцатого столетия, как их изображают на дешевеньких гравюрах, украша-

---

[223] Notes: 223
Петиметр (*фр.* petit-maître) — щеголь.

ющих стены провинциальных гостиниц. Лицо полное, румяное, улыбающееся, губы сочные, глаза с поволокою. Одной рукой он зажимал трехугольную шляпу, другую — держал наотмашь, как бы посылая в пространство воздушный поцелуй. Сзади его стояли ширмы, на которых сусального золота буквами было написано: «Приют слатких адахнавений»; сбоку были поставлены другие ширмы с надписью: «Вхот для прелесниц». Вообще было заметно поползновение устроить такую обстановку, которая сразу указывала бы на постыдный характер занятий действующего лица.

— Тоже состоит на службе? — спросил я.

— Помилуйте! пряжку[224] имеет-с!

После этого предварительного объяснения «Лакомка», по данному знаку, учащенно замахал свободной рукой, то прижимая ее к сердцу, то поднося к губам. И в то же время, как бы повинуясь какому-то тонкому психологическому побуждению, одну ногу поднял.

— Это он женский пол чует! — объяснил мне

---

[224] Notes: 224

Пряжка — нагрудный знак отличия за беспорочную службу: четырехугольная колодка, обтянутая черно-красной Владимирской или черно-желтой Георгиевской лентой с наложенными на нее римскими цифрами прослуженного срока.

Никанор Сергеич, покуда «Лакомка» что есть мочи кричал:

— Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

Как бы в ответ на этот призыв занавеска, скрывающая «вход для прелестниц», заколыхалась. Я ждал, что вот-вот сейчас войдет какая-нибудь ветреная маркиза, но, к удивлению моему, вошла… старуха!.. И не маркиза, а старая мещанка, в отрепанном платьишке, с платком на голове, и даже, по-видимому, добродетельная. Лицо у нее сморщилось, глаза слезились, подбородок трясся, нос выказывал признаки затяжного насморка, во рту не было видно ни одного зуба. Она держала в руках прошение и тотчас же бросилась на колени перед «Лакомкой», как бы оправдываясь, что у нее ничего нет, кроме бесплодных воспоминаний о добродетельно проведенной жизни.

Сначала «Лакомка» как бы не верил глазам своим, но потом ужасно разгневался.

— Вззз… — шипел он злобно, топая ногами и изо всей силы потрясая крошечным колокольчиком.

— Ишь, Искариот, ошалел! — шепнул мне Изуверов, по-видимому принимавший в старухе большое участие. — Он, вашескородие, у нас по благотворительной части попечителем служит, так бабья этого несть конца, что к нему валит.

И чтобы он, расподлец, хворости или старости на помощь пришел — ни в жизнь этому не бывать! Вот хоть бы старуха эта самая! Колькóй уж год она в богадельню просится, и все пользы не видать!

Покуда Изуверов выражал свое негодование, на звон колокольчика прибежал сторож, и между действующими лицами произошла так называемая «комическая» сцена. «Лакомка» бросился с кулаками на сторожа, сторож с тем же оружием — на старуху; с головы у старухи слетел шлык[225], и она, обозлившись, ущипнула «Лакомку» в жирное место. Тогда сторож и «Лакомка» окончательно рассвирепели и стали тузить старуху уже соединенными силами. Одним словом, вышло что-то неестественное, сумбурное и невеселое, и я был даже доволен, когда добродетельную старуху наконец вытолкали.

— Вззз… — потихоньку шипел «Лакомка», оправляясь перед зеркалом и с трудом овладевая охватившим его волнением.

Мало-помалу, однако ж, все пришло в порядок; сторож скрылся, а «Лакомка», успокоенный, встал в прежнюю позу и вновь что есть мочи закричал:

---

[225] Notes: 225
Шлык — головной убор замужних женщин.

— Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

На этот раз из-за занавески показалась молодая женщина. Но так как чувство изящного было не особенно развито в Изуверове, то красота вошедшей «прелестницы» отличалась каким-то совсем особенным характером. Все в ней, и лицо, и тело, заплыло жиром; краски не то выцвели, не то исчезли под густым слоем неумытости и заспанности. Одета она была маркизой осьмнадцатого столетия, в коротком платье, сделанном из лоскутков старых оконных драпри, в фижмах и почти до пояса обнажена. Несмотря, однако ж, на непривлекательность «прелестницы», «Лакомка» даже шляпу из рук выронил при виде ее: так она пришлась ему по вкусу!

— Индюшка-с! — шепнул мне Изуверов.

Действительно, остановившись перед «Лакомкой», «прелестница» как-то жалобно и с расстановкой протянула:

— П-пля! п-пля! п-пля!

На что «Лакомка» немедленно возопил:

— Курлы-рлы-рлы! Кур-курлы!

Началась мимическая сцена обольщения. Как ни глупа казалась «Индюшка», но и она понимала, что без предварительной игры ходатайство ее не будет уважено. А ходатайство это было такого

рода, что человеку, получающему присвоенное от казны содержание, нельзя было не призадуматься над ним. А именно — требовалось, чтоб «Лакомка», забыв долг и присягу, соединился с внутренним врагом, сделал из подведомственных ему учреждений тайное убежище, в котором могли бы укрываться неблагонадежные элементы и оттуда безнаказанно сеять крамолу. Понятно, что «Индюшка» должна была пустить в ход все доступные ей чары, чтобы доставить торжество своему преступному замыслу.

Мы, видевшие на своем веку появление и исчезновение бесчисленного множества вольнолюбивых казенных ведомств, — мы уж настолько притупили свои чувства, что даже судебная или земская крамола не производит на нас надлежащего действия. Но в то время крамола была еще внове. «Лакомка», по-видимому, и сам не вполне понимал, в чем именно заключается опасность, а только смутно сознавал, что шаг, который ему предстоит, может иметь роковые последствия для его карьеры. И под гнетом этого предчувствия потихоньку вздрагивал.

Сцена обольщения продолжалась. «Индюшка» закатывала глаза, сгибала стан, потрясала бедрами, а «Лакомка» все стоял, вперив в нее мутный

взор, и вздрагивал. Что происходило в это время в душе его? Понял ли он, наконец? приходил ли в ужас от дерзости преступной незнакомки или же наивно обдумывал: «Сначала часок-другой приятно позабавлюсь, а потом и отошлю со сторожем в полицию на дальнейшее распоряжение…»

Как бы то ни было, но, ввиду этих колебаний, «Индюшка» решилась на крайнюю меру: начала всею горстью скрести себе бедра, томно при этом выкрикивая:

— П-ля! п-ля! п-ля!

Тогда он не выдержал. Забыв долг службы, весь в мыле, он устремился к обольстительнице и ухватил ее поперек талии… Признаюсь, я ужасно сконфузился. «Приют сладких отдохновений» находился так близко, что я так и думал: «Вот-вот сейчас будет скандал». Но Изуверов угадал мои опасения и поспешил успокоить меня.

— Не извольте опасаться, вашескородие! недолжного ничего не будет! — сказал он в ту минуту, когда, по-видимому, ничто уже не препятствовало осуществлению крамолы.

И действительно, вдруг откуда ни возьмись… мужик!! Это был тот же самый мужичина, который за несколько минут перед тем фигурировал и у «Мздоимца», — но как он в короткое время

оброс! Опять на нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком; опять из-за пазухи торчал целый запас кур, уток, гусей и проч., а из кармана, ласково мыча, высовывала рогатую голову корова; опять онучи его кипели млеком и медом, то есть сребром и златом… И опять он был виноват!

Он вбежал как угорелый, бросился на колени и замер.

— Это он по ошибке-с! — объяснил Изуверов. — Ему опять надлежало к «Мздоимцу» отъявиться, а он этажом ошибся, да к «Лакомке» попал!

И рассказал при этом анекдот, как однажды сельский поп, приехав в губернский город, повез к серебрянику старое серебро на приданое дочери подновить, да тоже этажом ошибся и вместо серебряника — к секретарю консистории влопался.

— И таким родом воротился восвояси уже без сребра, — прибавил Изуверов в заключение.

Первую минуту и «Лакомка», и «Индюшка» стояли в оцепении, точно сейчас проснулись. Но вслед за тем оба зашипели, бросились на мужика и начали его тузить. На шум прибежал, разумеется, сторож и тоже стал направо и налево тузить. Опять произошла довольно грубая «комическая»

сцена, в продолжение которой действующие лица до того перемешались, что начали угощать тумаками без разбора всякого, кто под руку попадет. Мужика, конечно, вытолкали, но в общей свалке, к моему удовольствию, исчезла и «Индюшка».

— Надеюсь, что она больше уж не явится? — обратился я к Изуверову.

— Явится, — отвечал он, — но только тогда, когда вопрос о крамоле окончательно созреет.

«Лакомка» остался один и задумчиво поправлял перед зеркалом слегка вывихнутую челюсть.

Несмотря на принятые побои, он, однако ж, не унялся, и как только поврежденная челюсть была вправлена, так сейчас же, и даже умильнее прежнего, зазевал:

— Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

Впорхнула довольно миловидная субретка (тоже по рисункам XVIII столетия), скромно сделала книксен и, подавая «Лакомке» книжку, мимикой объяснила:

— Барышня приказали кланяться и благодарить; просят, нет ли другой такой же книжки — почитать?

Увы! к величайшему моему огорчению, я должен сказать, что на обертке присланной книжки

было изображено: «Сочинения Баркова. Москва. В университетской типографии. Печатано с разрешения Управы Благочиния».

Я так растерялся при этом открытии, что даже посовестился узнать фамилию барышни.

Между тем «Лакомка», бережно положив принесенный том на стол, устремился к субретке и ущипнул ее. Произошла мимическая сцена, по выразительности своей не уступавшая таковым же, устраиваемым на театре города Мариуполя Петипа[226].

— Еще ничего я от вас не видела, — говорила субретка, — а вы уж щиплетесь!

Тогда «Лакомка», смекнув, что перед ним стоит девица рассудительная, без потери времени вынул из шкапа банку помады и фунт каленых орехов и поверг все это к стопам субретки.

— А ежели ты будешь мне соответствовать, — прибавил он телодвижениями, — то я, подобно сему, и прочие мои сокровища не замедлю в распоряжение твое предоставить!

Субретка задумалась, некоторое время даже рассчитывала что-то по пальцам и наконец ска-

---

[226] Notes: 226

Речь идет о сыне знаменитого балетмейстера, драматическом актере Мариусе Мариусовиче Петипа (1850–1919), который гастролировал с труппой по провинциальным городам.

зала:

— Ежели к сему прибавишь еще полтинник, то — согласна соответствовать.

Весь этот разговор произошел ужасно быстро. И так как не было причины предполагать, чтоб и развязка заставила себя ждать (я видел, как «Лакомка» уже начал шарить у себя в карманах, отыскивая требуемую монету), то я со страхом помышлял: «Ну, уж теперь-то наверное скандала не миновать!»

Но гнусному сластолюбцу было написано на роду обойтись в этот день без «лакомства». В ту минуту, когда он простирал уже трепетные руки, чтобы увлечь новую жертву своей ненасытности, за боковой кулисой послышались крики, и на сцену ворвалась целая толпа женщин. То были старые «Лакомкины» прелестницы. Я счел их не меньше двадцати штук; все они были в разнообразных одеждах, и у каждой лежало на руках по новорожденному ребенку.

— П-ля! п-ля! п-ля! — кричали они разом.

«Лакомка» на минуту как бы смутился. Но сейчас же оправился и, обращаясь в нашу сторону, с гордостью произнес, указывая на младенцев:

— Таковы результаты моей попечительной деятельности за минувший год!

Этим представление кончилось.

После этого Изуверов разыграл передо мной еще два «представления»: одно — под названием «Наказанный Гордец», другое — «Нерассудительный Выдумщик, или Сделай милость, остановись!». Я, впрочем, не буду в подробности излагать здесь сценарий этих представлений, а ограничусь лишь кратким рассказом их содержания.

Пьеса «Наказанный Гордец» начиналась тем, что коллежский асессор появился в телеге, запряженной тройкой лихих лошадей, и с чрезвычайной быстротой проскакал несколько кругов по верстаку. Едва въехал он на сцену, как во всю мочь заорал: «Го-го-го!», объявил, что едет на усмирение[227], и дал ямщику тумака в спину. На нем было форменное пальто с светлыми пуговицами и фуражка с кокардой на голове; в левой руке он держал мешок с выбитыми, по разным административным соображениям, зубами, а правую имел в готовности. Несмотря на захватывающую дух езду, он ни на минуту не переставал гоготать, мерно ударяя ямщика в спину, вылущивая ему зубы и лишая волос. Наконец частные членовредительства, по-види-

[227] Notes: 227
То есть на усмирение крестьянского бунта.

мому, показались ему мало действительными и он решил покончить с ямщиком разом. Снял с него голову и бросил ее в кусты. Почуяв свободу, лошади бешено рванули вперед, и я уж предвидел минуту, когда телега и ее утлый седок будут безжалостно растрепаны; но, к счастию, станция была уже близко. Повинуясь инстинкту, лошади как вкопанные остановились перед станционным столбом, и тотчас же все три поколели. Покуда «Гордец» скакал последние полверсты, я заметил, что на станционном дворе происходило какое-то чрезвычайно суетливое движение; но когда тройка подскакала и раздалось раскатистое «го-го-го!», то никто на этот оклик не ответил. «Гордец», закинув голову назад, ходил взад и вперед, держа в руках часы и твердо уверенный, что через минуту новая перекладная будет подана. Но урочная минута прошла, и никакого движения не проявлялось. Тогда «Гордец» удивленно огляделся кругом, и унылая картина предстала очам его…

Почтовый двор стоял одиноко в лесу, и внутри его все словно умерло. Какие-то таинственные звуки доносились со двора, не то шепот, не то фырканье, да слышно было, что где-то вдали, в лесной чаще, аукается леший. «Гордец» отлично

понял, что тут кроется противодействие властям, и сейчас же бросился на розыски. Действительно, не прошло и минуты, как он вытащил за шиворот из потаенных убежищ писаря и четверых ямщиков. И, по мере того как вытаскивал, немедленно лишал их жизни даже без допроса. Когда же лишил жизни последнего ямщика, то вновь возопил: «Го-го-го!», думая, что теперь-то уж непременно выедет готовая перекладная. Однако и на этот оклик никто не явился. Тогда, вне себя от гнева, он поймал петуха и оторвал ему голову; потом, завидев бегущую собаку, погнался за ней, догнал и разорвал на части. Но и это не помогло.

Между тем времени прошло немало; на землю спустились сумерки, и в глубине леса показалось стадо голодных волков. Впервые в голове «Гордеца» блеснула мысль, что если б он не заботился так много об ограждении прерогатив власти, то, вероятно, в эту минуту преспокойно продолжал бы путь, а может быть, доехал бы уж до места. А волки между тем, почуяв убиенных, подходили всё ближе и ближе, и подняли наконец такой надрывающий душу вой, что даже во́роны, облепившие, в чаянии пира, соседнюю сосну, поняли, что тут взятки гладки, и, с шумом снявшись с дерева, полетели дальше.

Мрак сгущался, волки выли, лес начинал гудеть… Долго крепился «Гордец», все думал: «Не может этого быть!» — но наконец заплакал. Плакал он много и горько, плакал безнадежно, как человек, который неожиданно понял, сколько жестокого, сатанински бессмысленного заключает в себе акт лишения жизни. И, плача, вспоминал папеньку, маменьку, братцев, сестриц и горько взывал к ним: «Где вы?» Потом обратился мыслью к начальникам и тоже вопиял: «Где вы?» И среди этой агонии слез — кощунствовал, говорил: «А ведь управлять и опустошать — не одно и то же!»

Но тут совершилось нечто ужасное. Стая волков настолько приблизилась, что совершенно заслонила собой «Гордеца». Еще минута — и на пороге станционного дома валялась одна фуражка, украшенная кокардою…

Содержание «Нерассудительного Выдумщика» было несколько сложнее.

Некоторый коллежский асессор, получив власть, вдруг почему-то сообразил, что она дана ему не напрасно. А так как начальники, облекшие его властью, ничего ему на этот счет не объяснили, то он начал додумываться сам. Думал-думал и наконец выдумал: власть дается

для искоренения невежества. «Уж больше столетия, — сказал он себе, — как коллежские асессоры искореняют русское невежество, а толку все нет. Отчего? А оттого, сударь мой, что не все коллежские асессоры в одинаковой силе действуют. Много есть между ними мздоимцев, много прелюбодеев, много зубосокрушителей и очень мало настоящих искоренителей невежества. Начнет истинный искоренитель искоренять, а невежество возьмет да за полтинник откупится. А надо так на невежество нажать, чтоб ему вздыху не было, чтоб куда оно ни сунулось — везде ему мат».

И как только решил про себя «Выдумщик», какая ему задача предстоит, так сел за письменный стол, да с тех пор и не выходит оттуда. Не пьет, не ест, не спит — всё «нерассудительные» выдумки выдумывает.

Строчит с утра до вечера; но так как он и сам не понимает, что́ строчит, то все выходит у него без связи, вразброд. То вдруг, с большого ума, покажется: оттого в России невежество, что община по рукам и по ногам мужика связывает, — и вот готов проект: общину упразднить. То вдруг мелькнет: оттого царствует невежество, что в деревнях хороших племенных жеребцов нет, — немедленно таковых приобрести! Или

вздумается: истинное основание русскому невежеству полагают кабаки — сейчас резолюции: кабаки закрыть, а вместо оных повсеместно открыть торговлю печатными пряниками. А наконец и еще: куда были бы мы просвещеннее, если б мужики сеяли на полях вместо ржи персидскую ромашку[228], а на огородах вместо репы морковь! И опять резолюция: дать знать, кому ведать надлежит, и т. д.

Но беда в том, что невежество упорно. Недостаточно сказать ему: «В видах твоего искоренения необходимо упразднить общину». Надо, кроме того, еще сделать его способным к восприятию этой истины. Иначе, пожалуй, оно и того не поймет, с какой стати его невежеством зовут и зачем непременно понадобилось его искоренить. Каким же образом добиться, чтобы невежество сделалось способным к восприятию? Думал-думал коллежский асессор и наконец хоть и с болью в сердце, но пришел к заключению, что самое лучшее средство — это экзекуция! «Конечно, — рассудил он сам с собою, — это то же самое, что в древности называлось „по́ронцами“, но ведь одно другого дороже: или церемониться, или достигать! По-

[228] Notes: 228

Персидская ромашка — многолетнее растение, из которой делали «персидский порошок» — средство от насекомых, прежде всего клопов.

ронцы так поронцы!»

И вот сидит он да нерассудительность свою не уставаючи тешит, а по дороге солдатики в рога трубят, а в рощице волостные начальнички веники режут[229], а на селе мужичок кричит: «Вашескородие! не буду!» Слышит эти крики «Выдумщик», но некоторое время делает вид, что не понимает. Однако ж наконец и он видит, что притворяться непонимающим дольше нельзя. Вскочит, приложит руку к сердцу и скажет в свое оправдание: «Знаю, милые, что ныне вам больно, но надеюсь, что впоследствии вы сами поймете, сколь сие было для вас полезно!»

И что всего ужаснее — не только неподкупен, но и неумолим. Сколько раз мужички всем миром ходили, хабару[230] носили, на коленях просили — не внемлет и не приемлет. «Глупенькие! — говорит. — Стерпится — слюбится, а после вы меня же благодарить будете!»

Так у них до сих пор колесом дело и идет. Он нерассудительные выдумки выдумывает, они — вопиют: «Вашескородие! не будем!» Ромашку персидскую посеяли, а клопы пуще прежнего

---

[229] Notes: 229
То есть порят розгами.

[230] Notes: 230
Хабара — поборы, взятки.

одолели; о племенных жеребцах докучали, а начальство, по недоразумению, племенных поросят прислало; кабаки закрыли — корчемщиков[231] развели.

Одна только община о сю пору цела стоит: видно, уж сам Бог ее бережет!

«Подьячие» были исчерпаны. Только и додумался Изуверов до этих четырех типов, да, может быть, и в самом деле только их и было в тогдашнее несложное время. Я, впрочем, был очень этому рад. Несмотря на то что мое посещение длилось не больше двух часов, я чувствовал какую-то чрезвычайную усталость. И не только физическую, но и нравственную. Как будто ощущение оголтения, о котором я говорил выше, мало-помалу заползло и в меня самого, и все внутри у меня онемело и оскудело.

Я немало на своем веку встречал живых кукол и очень хорошо понимаю, какую отраву они вносят в человеческое существование; но на этот раз чувство немоты произвело на меня такое угнетающее впечатление, что я готов был вытерпеть бесчисленное множество живых кукол,

[231] Notes: 231

Корчемщик (корчемник) — здесь: незаконный торговец алкогольными напитками.

лишь бы уйти из мира «людишек». Даже госпожа Строптивцева, возвращавшаяся в это время по улице домой, — и та показалась мне «умницей».

Мне кажется, разгадка этого чувства угнетенности заключается в том, что живых кукол мы встречаем в разнообразнейших комбинациях, которые не позволяют им всегда оставаться вполне цельными, верными своему кукольному естеству. А сверх того, они живут хотя и скудною, но все-таки живою жизнью, в которой имеются некоторые, общие людскому роду, инстинкты и вожделения… Словом сказать — принимают участие в общей жизненной драме. Тогда как деревянные людишки представляются нам как-то наянливо[232] сосредоточенными, до тупости последовательными и вполне изолированными от каких-либо осложнений, вызываемых наличностью живого инстинкта. Участвуя в общей жизненной драме, вперемежку с другими такими же куклами, живая кукла уже по тому одному действует не так вымогательно, что назойливость ее отчасти умеряется разными жизненными нечаянностями. Деревянные людишки и этого отпора не встречают. У них в запасе имеется только

[232] Notes: 232
Наянливо — докучливо.

одна струна; но они бьют в эту струну с беспрепятственностью и регулярностью, доводящими мыслящего зрителя до отчаяния.

Правда, Изуверов утверждает, что его «людишек» можно легко угомонить, тогда как живая кукла сама, дескать, вынет из тебя душу и заставит проклинать час твоего рождения. Положим, что это и так; но в таком случае стоит ли интересоваться этими людишками, стоит ли тратить на них свою жизнь? И не прав ли был соборный дьякон, укорявший Изуверова: «И от живых людишек отбою на свете нет, а ты еще деревянных плодишь!»

Но, сверх того, ежели хорошенько вникнуть в дело, то Изуверов окажется не прав и в другом. Он слишком презрительно, свысока отозвался о присланной из Петербурга «Новобрачной», слишком поспешил назвать ее «пустою» куклой. Во-первых, чтобы сделать такую куклу, не нужно ни задумываться, ни изобретать, ни мнить себя гением, а достаточно обладать некоторым навыком, иметь под рукой достаточное количество тряпок и лайки и уметь со вкусом распорядиться наружными украшениями. А во-вторых, как «Новобрачная» эта кукла положительно не оставляет ничего желать. Изуверов спрашивает: «На

какой предмет? и в каком градусе?» — странные вопросы! Да на всякий предмет и во всяком градусе — вот и все.

Природа благосклонна; люди — злее. Природа не допускает строго последовательного пустоутробия; люди, напротив, слишком охотно настаивают на этой последовательности. Если б природа хотела быть до конца жестокою, она награждала бы живых людишек тем же идиотским упорством побуждений и движений, каким награждает Изуверов своих деревянных людишек. Вот тогда было бы ужасно, ужасно, ужасно — в полном смысле этого слова! Ни угомонить куклу, ни уйти от нее нельзя! сиди и ежемгновенно чувствуй, как она вынимает из тебя душу! и не шелохнись, потому что всякий протест, всякое движение вызывают новую жестокость, новую невыносимую боль!

Но, может быть, жизнь уж и созидает таких людишек? Может быть, в тех бесчисленных принудительных сферах, которые со всех сторон сторожат человека, совсем не в редкость те потрясающие «кукольные комедии», в которых живая кукла попирает своей пятой живого человека? Может быть, Изуверов является совсем не изобретателем, а только бледным копиистом того, что

уже давно изобретено жизнью?

Кто возьмет на себя смелость утверждать, что это не так? И кто не согласится, что из всех тайн, раскрытие которых наиболее интересует человеческое существование, «тайна куклы» есть самая существенная, самая захватывающая?

1880

Чижиково горе

Канарейку за чижика замуж выдали и свадьбу на славу справили. В магазине «Забава и дело» купили новенькую кирку; за пастора ученый снегирь был; скворцы величальные песни пели, а для наблюдения за порядком полициймейстер отряд копчиков прислал. Чуть не со всего леса птицы слетелись на молодых поглазеть, да и почтенных гостей нашлось довольно. У чижа был шафером зяблик, у канарейки — соловей. Сам ястреб к невесте в посаженые отцы набивался, но родители под благовидным предлогом от этой чести уклонились и пригласили глухого тетерева, того самого, который еще при царе Горохе, во внимание к дряхлости и потере памяти, в сенат посажен был.

И молодые, и родители, и поезжане[233] — все были веселы. Чижик выступал гордо и предвкушал; канарейка перебирала носиком перышки; родители думали: «Ну, слава богу, одну дочку сбыли!» А поезжане мечтали о той горе конопля-

[233] Notes: 233

Поезжане — участники «свадебного поезда» — те, кто в день свадьбы едет в церковь и дом жениха.

ного семени, маринованных комаров, варенных в сахаре мух и проч., которую им предстояло уничтожить на новоселье у чижика. Только ворона-вещунья без пути каркала: «Не будет проку от этого брака! не будет! не будет! не будет!»

Хотя между людьми ворона и слывет глупою, однако птицы отлично знают, что ежели она каркает, то, значит, есть у нее на то основание. И точно: едва раздалось воронье карканье, как кукушка первая прокуковала: «Ку-ку! как бы и в самом деле по-вещуньиному не сбылось!» А за нею следом в том же смысле свистнули: синичка, горихвостка, пеночка…

И все начали всматриваться в молодых, начали припоминать. Обратились к интимной истории этих двух существ, за минуту перед тем связавших друг друга неразрывными узами; вспомнили их наклонности, вкусы, привычки. И, как и водится, в результате вышла картина.

Чижик был малый простодушный и добрый, имел три характеристические особенности: неприхотливость, аккуратность и домовитость. Сверх того, он был и немолод, хотя надежда, что, в случае чего, он еще может за себя постоять, не покидала его. Всю жизнь он служил в интендантском ведомстве, дослужился там до майорского

чина и там же образовал свой ум и сердце. Взяток он не брал (царство хищения кончилось), однако нелицеприятными действиями успел-таки скопить капиталец. Однажды ему удалось приобрести, по случаю, хорошую партию канареечного семени, и вот тогда-то в голове у него блеснула мысль: «Женюсь на канарейке и буду жену и детей канареечным семенем кормить!» Отца и матери он, еще слётком будучи, лишился, наследства никакого не получил, а потому охотно выставлял на вид, что солидным своим положением в обществе обязан единственно самому себе. Даже ведерко с водой он выучился таскать самоучкою.

Таков был умственный и нравственный облик новобрачного. Особенных поводов для симпатий он, конечно, не представлял, но с легальной точки зрения — это был обыватель, какого лучше не надо.

В наружности его тоже не замечалось ничего обольстительного или блестящего; напротив, вся его фигура поражала несомненною будничностью и заурядностью. Даже воробьи смеялись, как он, желая сказать девице комплимент, потряхивал фалдочками и пущал глаза враскос. Да и комплименты выходили у него неинтересные:

либо интендантский анекдот расскажет, либо похвастается, что, как бы дешево ни просил с него извозчик, он ему всегда пятачком меньше дает, а ежели время терпит, то и пешком дойдет.

— И вот, благодарение Богу, — обыкновенно заканчивал он, — не только себя могу прокормить, но и семью-с.

Родителям такие речи очень нравились, и они так усердно ловили его в свои силки, что однажды чуть было совсем не удавили. Но дочки-девицы называли его «интендантскою холерою» и при появлении его мгновенно разлетались, хотя маменьки и приказывали им: «Рестé!»[234] И он не только не оскорблялся этими девичьими поступками, но даже успокоивал родителей, говоря:

— Ничего-с, я привык-с. Это в них девичье-с. Когда я в интендантском ведомстве служил, так одна трясогузочка была-с. Ну, такая, доложу вам, — отдай всё, да и мало! И тоже на первых порах: «Хи-хи» да «ха-ха!» Я ей говорю: «Познакомимтесь, мамзель!», а она: «Ах, нет, вы противный!» Словом сказать, я за ней, она — от меня! Туда-сюда… настиг-с! И что же-с: впоследствии даже хвалила!

---

[234] Notes: 234
Reste! (*фр.* restez) — Останьтесь!

— Так вот вы, Иван Иванович, какой! — шутили родители. — Чего доброго, детей у вас на стороне нет ли?

— Наверное сказать не могу, но поручиться не смею-с. Природную слабость в свое время в совершенстве выполнил-с. Вообще я насчет этого так полагаю: излишеств допускать не следует, но в препорцию отчего же себе удовольствие не предоставить! Я и от водки не отказываюсь, пью-с; но не без просыпу-с, а, как в песне поется, «по этой причине-с».

В последнее время он службу оставил. «Сыт-с». Прихоти у него были небольшие, да и капиталец, который ему Бог на службе послал, он крепко зажал. Следовательно, одних казенных процентов ему за глаза довольно; а ежели он свой капитал взаймы под вторые закладные раздаст, так и деваться с деньгами будет некуда-с.

— Одежа у меня даровая, Богом предназначенная, — говорил он, — ем я тоже не покупное, а Богом предназначенное; а ежели удовольствие себе захочу доставить, так и это дорогого не стоит: спою песню — вот и прав-с! Следственно, покуда есть на свете мухи, пауки, червяки и другая подобная снедь и покуда я в силах ловить, я обеспечен-с. Ежели же силы меня оставят, тогда

придется помереть. Что же такое-с! И с прочими птицами завсегда так бывает-с!

Но ежели и на службе он ни о чем с таким удовольствием не мечтал, как о семейном очаге, о самоваре, халате, двуспальной кровати и других идеалах семейного счастья, выработавшихся в интендантском ведомстве («Что такое бессемейный чиж? — рассуждал он. — Медицинский термин, и больше ничего-с!»), то, по выходе в отставку, эта мысль начала угнетать его с каждым днем все больше и больше. И вот, наметивши желтенькую канарейку, он надел мундир, прицепил шпоры (все это он при отставке «в воздаяние» получил) и отправился к родителям своей суженой рекомендоваться в качестве жениха.

В первый раз в жизни восторг овладел его сердцем, в первый раз в жизни он пропел «По улице мостовой» — и не сфальшивил! Страсть к красавице-канарейке до такой степени овладела всеми его помыслами, что он, вопреки своей обычной осмотрительности, пренебрег даже справиться, что за птица была его невеста и есть ли за нею какое-нибудь приданое.

А это было, пожалуй, нелишним, потому что невеста была барышня светская и образованная. Любила пожеманиться, принарядиться, пела *«Si*

vous n'avez rien a me dire»[235], играла на органчике *«Le Ruisseau»*[236] и скучала, ежели около нее кавалеров не было. Может быть, она и добрая была, да некогда ей было об этом подумать. То новые фасоны из магазина привезут, то юнкера к братцу в гости прилетят. Так, промеж дел, доброты своей и не рассмотрела.

— Барышня! можно у вас ножку поцеловать? — приставали к ней юнкера.

— Ах, какие вы… ну, целуйте!

Только и всего.

И родители у нее были светские, и тоже без гостей скучали. Папаша в Канареечной губернии пять трехлетий предводителем прослужил, четыре наследства спустил, с год тому назад последнее выкупное свидетельство[237] проел, а теперь жил финансовыми операциями и до того изловчился, что от извозчиков чрез проходные ворота улепетывал. Что касается до мамаши,

---

[235] Notes: 235

«Если вам нечего мне сказать» *(фр.)*. Романс К. Сен-Санса на стихи В. Гюго.

[236] Notes: 236

«Ручеек» *(фр.)*. Вальс-этюд Г. А. Волленгаупта.

[237] Notes: 237

Выкупное свидетельство — документ на право получения выкупной ссуды (*Выкупную ссуду* правительство выплачивало помещикам при освобождении крестьян от крепостной зависимости.).

то она как смолоду канарейкой была, так и под старость канарейкой осталась. Прыгала с жердочки на жердочку, высматривала, нет ли где кавалеров, и с благодарностью вспоминала, как она, будучи предводительшею, писаные пряники ела, а павлин-губернатор, завидев ее, хвост распускал. В этом же духе она и старшенькую дочь свою воспитала.

— Я мою девочку на высшие курсы не посылаю, — сказала она чижику, когда он посватался, — по-моему, умела бы девушка по-французски, да с жердочки на жердочку прыгать, да одеться к лицу, да гостей занять — вот и все, что для счастья женщины нужно!

— И хорошо сделали, сударыня, что девицу вашу в страхе Божием воспитали, — согласился чижик. — Мужескому полу действительно необходимо географию знать, потому что, не ровён час, начальство приказывает лететь, а куда — неизвестно! А девицу всякий кавалер с удовольствием проводит. Лишь бы не заблудиться-с.

— Ах нет! на этот счет вы можете быть покойны, майор! У меня такая дочка умница, что ежели даже с уланом в дремучий лес попадет, то и тогда вот ни с эстолько себя не повредит.

— Дай бог-с.

Кроме этих трех личностей, в семье была еще младшая дочь и два сына. Младшая дочь скорее на новорожденного галчонка, чем на канарейку (так ее и по имени звали: Галочка (Галина), а старшую дочь звали Прозерпиночкой), похожа была, и потому домашние смотрели на нее, как на Сандрильону[238]. Но она была девушка добрая, преданная семье и бодрая, и, несмотря на то что ею, как горничной, помыкали и каждым куском попрекали, горячо любила и родителей, и сестру, и братьев. Об одном только потихоньку плакала, что заботы по дому не позволяют ей на высшие курсы ходить. Что касается братьев, то старший служил юнкером в уланском полку и никак не мог сдать экзамен из закона Божия, а младший ходил в гимназию и не понимал, зачем начальству понадобилось, чтобы он греческий язык знал.

— Ну на кой мне, маменька, черт этот остолопин язык? — жаловался он мамаше своей. — Ну, латинский — это я еще понимаю. «Mons, parturiens mus…»[239], mus, muris… mons, montis… parturio,

---

[238] Notes: 238
Сандрильона — Золушка.

[239] Notes: 239
«Гора, родившая мышь…»

parturivi, parturire… допустим! Рецепт написать, цитату в передовую статью подпустить — готово! Но греческий… ну зачем, спрашиваю я вас, мне греческий язык!

— Может быть, для поведения? — догадывалась мать.

— Ах, маменька!

Целый день в этом доме шла суматоха и хлебосольство, целый день гости. С жердочки на жердочку прыгают, на органчике играют, песни поют. Канареечное семя, цитварное[240], хлеб, в молоке моченный, яичные желтки протертые — со стола не сходят, а между тем в мелочную лавочку полгода по счету не плачено. Переверты-вается старый кенарь, словно вьюн на сковороде, придумывая, как ему деньгами раздобыться. Каждое утро только и делает, что по приятелям летает; одному скажет, что у него тетка на днях померла, так надо денег, чтобы наследство получить; другому скажет, что у него в занадельной земле[241] каменный уголь проявился, а достать

[240] Notes: 240

Цитварное семя — семена полыни цитварной; применялись как средство от глистов.

[241] Notes: 241

Занадельная земля — помещичья земля, оставшаяся после наделения крестьян земельными наделами.

его без капитала нельзя; третьему просто-напросто объявит, что деньги до зарезу нужны. А иногда подойдет к кому-нибудь из гостей-юнкеров и скажет: «Нет ли у вас, молодой человек, двугривенного? я вам завтра с благодарностью отдам». И давали. Но зато и жуировали. Прилетят уланы-юнкера, прижмут Прозерпиночку к уголку и крутят усы. А бедная Галочка видит, какой опасности сестрица подвергается, и заливается-плачет.

Такова была семья, в которую вознамерился вступить чижик. Все соседи знали, что старый кенарь дотла прогорел, что старую канарейку на днях еще видели, как она в кустах с дроздом-ростовщиком шушукалась, что сама Прозерпиночка, под предлогом уроков пения, к соловью летала, а потом будто бы жировое яичко[242] снесла… Но чижик словно ослеп и оглох. Заручившись родительским согласием, он восторженно перелетал с дерева на дерево, подстерегая, как его красотка-невеста в корытце купается, и когда успевал подстеречь, то пел. Пел фальшиво и неистово, но — увы! — это был единственно доступный для него способ возблагодарить Творца

[242] Notes: 242
Жировое яичко — неоплодотворенное.

за оказанные ему в сей жизни благодеяния.

— Чувствую и знаю, — пел он, — что не по чину мне милость сия, но потщусь заслужить оную в будущем!

Впрочем, к чести Прозерпиночки надо сказать, что она, будучи невестой, нимало не скрывала от чижика своего равнодушия. Когда родители объявили ей, что майор сделал ей честь и что они уже заранее изъявили согласие, она тут же залилась звонким смехом и сказала:

— Ах, maman, посмотрите, какой он уморительный!

И затем, когда родители с намерением оставили их вдвоем, чтобы они поближе друг друга узнали, у них, вместо комплиментов, завязался довольно-таки откровенный разговор.

— Вы скупой? — спросила его Прозерпиночка.

— Я не скуп, а бережлив-с, — ответил чижик. — Я так полагаю: зачем деньги зря бросать, коли можно своими средствами обойтись? Но для вас, чтобы вам удовольствие сделать, я и бережливость свою готов оставить-с.

Высказавши это, майор любезно шаркнул ножкой, но — увы! — поступок этот не только не тронул Прозерпиночку, но, напротив, пробудил в ней новый взрыв веселости.

— Ах, как вы уморительно ножкой шаркаете! Шаркните еще, еще… вот так! Ха-ха! Что же вы дома едите? гадость какую-нибудь?

— Сам я ем пищу, Богом предназначенную. Простую, но здоровую. А для вас я канареечное семя предоставлю-с.

— Ах нет, я салат больше люблю!

— И салатцу достать не диковинка-с. Слетаю утречком в огород и нащиплю по секрету-с. Другому бы это больших денег стоило, а я для вас и задаром спроворю!

— Ну а какой же вы мне подарок сделаете? Недавно вот из Парижа новые фасоны манжеток прислали… подарите-ка! а?

— С превеликим моим удовольствием-с. Сегодня же пауку закажу, чтобы завтра чуть свет были готовы.

— Да, но ведь такие манжетки дороги…

— Не извольте беспокоиться-с! Придет ко мне ужо паук за деньгами, а я его съем-с. Вот мы и будем квиты.

Так и пошло у них: нет, чтобы сказать жениху «миленький» или «душечка», — «уморительный», и больше ничего. И чем дальше, тем невеста делалась развязнее и развязнее. С женихом почти вовсе не занималась, а окружала себя

юнкерами и гимназистами и самым бессовестным манером шушукалась с ними.

— Знаете ли, майор, что мне про вас рассказывали? — говорила она ему в упор. — Что вы в последнюю войну армию и флот гнилыми сухарями кормили?

Он конфузился, но не опровергал; потому что хоть и не заведывал он сухарями, но все-таки был за ним грех: для лошадей сено со всячинкой заготовлял. А это, пожалуй, похуже гнилых сухарей будет, потому что солдат — он пожаловаться может, а у лошади и слов-то для жалобы нет…

Ах, нехорошо он тогда поступал!

Иногда Прозерпиночка даже прямо всей компанией над ним насмехалась. Задумают, например, молодые люди в горелки играть, а он, постылый, тут же торчит. Вот и заставят его гореть, да глаза вдобавок завяжут: «Лови!» Бросится он стремглав вперед, крылья распустит, летит, — а она с подружками да с юнкерами — в кусты. Выглядывают оттуда и кричат: «Лови, майор, лови!» — покуда он с размаху о сосну грудью не треснется.

На первых порах старая канарейка побаивалась, как бы майор не обиделся, и от времени до времени даже покрикивала на дочь: «Финис-

сé!»[243] Но когда убедилась, что с майора как с гуся вода, то махнула рукой и только каждый вечер аккуратно обращалась к жениху: «Нет ли у вас, майор, целкового? мы вам завтра с удовольствием отдадим».

Одна только Галочка жалела бедного чижика, и кто знает, не участвовало ли в этом жалении более сладкое чувство…

По крайней мере, однажды, поздно вечером, когда майор, лениво шевеля крыльями, возвращался восвояси, Галочка обогнала его.

— Ну, к лицу ли вам такую красотку любить? — сказала она ему. — Женитесь-ка лучше на мне. Я вас вот как покоить буду!

Но он словно одеревенел. Даже не выслушал порядком Галочкиных слов и грубо ответил:

— Кабы я на галке жениться хотел, то галку бы и сватал за себя. А так как я к сестрице вашей присватался, то, стало быть, с ней и круг действия совершить желаю-с.

Впрочем, нельзя сказать, чтоб он уж совсем ничего не понимал. Напротив, он очень многое и очень тонко понимал. Но в то же время он ясно видел, что попался и что судьба его решена беспо-

---

[243] Notes: 243
Финиссе! (*фр.* finissez) — Перестаньте!

воротно и навсегда. Почему навсегда? — он не мог себе дать в этом отчета, а только одно твердил: «Бесповоротно! навсегда!»

И вот он женился. После свадьбы целый вечер бражничали, так что и вечерняя заря уже с час назад потухла, когда чижик собрался на гнездышко с молодой женой. Хорошо ему было! дивно! Теплая ночь благоухала; звезды в темной синеве неба, как алмазы, играли; а он, чижик, весь горел! Восторг катился по жилам его, дивный, опьяняющий восторг! Не то петь ему хотелось, не то рыдать, но в то же время какая-то чуткая деликатность заставляла его сдерживать свои порывы. Сама Прозерпиночка, казалось, подчинилась обаянию этой страсти. Она томно закрыла глазки и, сладко вздрагивая, клюнула его носиком в темечко… Но в эту самую минуту вдруг мимо чижикова дупла пронеслась пьяная процессия. Это были братцы в сопровождении целой оравы товарищей; они с гиканьем и свистом гремели песню «Мальбруг в поход поехал…». Заслышав эти звуки, молодая мгновенно переродилась. В ночном дезабилье выбежала она на край дупла и вплоть до поздних петухов прохохотала с юнкерами. Чижик, одевшись в мундир, стоял позади молодой жены и тоже старался веселиться. Но — увы! — он скоро

убедился, что в майорском чине веселость уж не к лицу. Как он ни нудил себя, но чин в соединении с преклонным возрастом взяли-таки свое. Глаза его сомкнулись сами собой, а через минуту громкое сопение наполнило всю внутренность дупла. Даже последовавший затем взрыв смеха не разбудил его. Так, в мундире, застегнутом на все пуговицы, он и проспал свою медовую ночь.

С этой минуты он окончательно погиб в глазах молодой жены.

Когда он проснулся — хотя это было еще очень рано, — Прозерпиночки уже и след простыл. Чечеточка[244] –девушка, которую он для прислуг нанял, доложила, что *барышня* к мамаше улетела и будут ли дома кушать или нет — неизвестно. «Барышня»! — это слово точно кипятком его ошпарило!

Он выглянул из дупла и прыгнул на ближайший сучок. Кругом царствовала мертвая тишина, которая предшествует пробуждению и во время которой вся природа представляется как бы неживущею. Птицы еще не проснулись; даже листья на деревьях не трепетали. Но восток уже алел, и майору показалось, что розоперстая Авро-

---

[244] Notes: 244
Чечеточка (чечетка) — певчая птица семейства вьюрковых.

ра, иронически приветствуя его, делает ему нос. Очевидно, что в эту ночь в его существовании совершилось нечто очень важное, ложившееся на все его будущее неизгладимым темным пятном; что ему предстояло выполнить какой-то долг — весьма, впрочем, незатруднительный и всякому чижу свойственный, — но он, как раб ленивый и лукавый, этот долг не осуществил…

Приступив к всестороннему обсуждению своего положения, он прежде всего слукавил. Или, говоря словами науки, начал рассматривать дело с точки зрения причин, его породивших. По зависящим ли от него причинам он не осуществил своего долга или по независящим? «Кабы я был этому делу причинен, — говорил он себе, — ну, тогда точно! Хоть голову с меня снимите, ежели я виноват, — слова не скажу! А то никакой с моей стороны причины нет — и на-тко что сделалось!» Но едва он придумал этот изворот, как тотчас же понял тщету его. Есть факты, относительно которых закон причинности не допускается. Они должны быть осуществлены — *неупустительно,* и никакая логомахия[245] не воссоздаст того, что *должно было быть* и чего *не было*. Нет для него

[245] Notes: 245
Логомахия — беспредметный спор о словах.

оправдания! Нет! Ни один молодой муж, ни одна любящая мать, ни один суд присяжных, нижé[246] коронный суд — никакого другого приговора ему не вынесут, кроме слов: «Срам! срам! срам!»

Он должен был отразить нападение пьяной ватаги; он должен был сделать свое гнездо неприступным, должен был грудью защищать свое право на осуществление «долга», вступить, во имя долга, в кровавый бой… Qu'il mourût![247]

— Срам-с! — повторил он автоматически и автоматически же, не снимая мундира, растрепанный, с тощим желудком, полетел *туда*!

Старая канарейка уже проснулась и сидела злая-презлая. Кроме того, что с ее Прозерпиночкой случился такой «срам», ночью к ней прилетела в гости из-за тридевять земель канарейка-кузина и вконец растравила ее своими рассказами. Она тоже выдала свою Милочку замуж за снегиря; но… какая разница! Ах, какая разница!

— Тáк Милочку муж любит! — говорит гостья. —

---

[246] Notes: 246
Нижé — даже.

[247] Notes: 247
Пусть умер бы! *(фр.)* Из трагедии П. Корнеля «Гораций».

Та́к любит… C’est tout unpoéme![248] Представьте себе…

Гостья склонялась к уху кузины, шептала ей нечто и с радостным ужасом откидывалась назад, повторяя:

— Но представь себе удивление моей цыпочки!!!

А старая канарейка слушала и злобно скрипела носиком.

— Ну, дай Бог Милочке… дай Бог! — шептала она. — А вот мы… Кому счастье, а нам… Твою Милочку муж вон как обрадовал, а у нас… Кого другого, а Прозерпиночку мою, кажется, уж обглодком назвать нельзя… И полненькая, и резвенькая… и щечки, и грудка… И что ж! даже внимания, мерзавец, не обратил!

— Est-ce possible?![249]

В эту самую минуту явился чижик. И только что хотел принести оправдание, как огорченная теща, указывая на дверь, закричала:

— Сорте́! Срам, сударь! срам! срам! срам!

А за нею, словно эхо, и кузина повторила:

— Срам! срам! срам!

---

[248] Notes: 248
Это совершенная поэма! *(фр.)*

[249] Notes: 249
Возможно ли?! *(фр.)*

Оглушенный, он хотел лететь куда глаза глядят, но у него даже крылья как будто перешибло. Он пошел по дорожке, направляясь к своему дуплу и думая скрыть в нем свой срам; но птицы уже проснулись и все знали. И хотя ни одна ему ничего «подходящего» в глаза не говорила, а некоторые даже подлетали и поздравляли, но он совершенно ясно видел, что у всех в глазах было написано:

— Срам! срам! срам!

К вечеру, однако же, Прозерпиночка воротилась, но, не сказавши бонжур, прямо пролетела в свое гнездышко.

— Милая! миленькая! ангельчик! — свистнул ей вслед майор, и так жалобно, что чечеточка, хоть и из простого звания птичка, а прослезилась.

Но Прозерпиночка не ответила ни одним звуком, и чижик слышал только, как она лапками раздвигала в гнездышке пух, устраивая себе на ночь постельку.

— Супруга, Богом мне данная! — не свистнул, а как-то взвыл майор и залился слезами.

Но и на этот призыв Прозерпиночка промолчала. Он подошел к ее постельке и склонился над нею; но она уже спала или, скорее всего, притво-

рялась спящею.

И эту ночь пришлось майору провести в одиночестве. Мундир, конечно, он снял, но брюки снять не решился, чтобы не сконфузить Прозерпиночку. А на другое утро, как ни рано он проснулся, Прозерпиночки уже не было: опять улетела к родителям.

Майорский мартиролог начался.

В продолжение целого месяца молодая жена ни одним словом с ним не перемолвилась. Каждый вечер прилетала она в чижиково дупло, укладывалась в гнездышке и каждое утро исчезала так таинственно и проворно, что майор никак ее не мог подстеречь. Раза четыре в течение этого времени прилетала она в сопровождении ватаги юнкеров и гимназистов, призывала чечетку и заказывала ей богатый ужин. Но и она, и ее собутыльники самым наглым образом пили и ели на глазах у чижика и ни разу даже спасибо ему не сказали, точно он был не хозяин своего дупла, а сторож при нем. В женином семействе майора иначе не звали как «мерзавцем».

— А «мерзавец»-то опять выигрышный билет купил! — сообщала старая канарейка загостившейся кузине.

Или:

— Скоро, кажется, «мерзавец» с ума сойдет. Задумываться начал!

Один старый кенарь (тесть) от времени до времени посещал майора, утешал его и даже обещал высечь Прозерпиночку; но обещания не выполнил, а только выманил у зятя целую уйму двугривенных.

Прошел и еще месяц. Отношения Прозерпиночки к майору несколько изменились, но не к лучшему. Канарейка постепенно вошла в свою роль, обнаглела. Она уже не разыгрывала молчальницу, но обращала к чижику свою речь таким тоном, каким должна говорить королева с каким-нибудь безвестным дворцовым истопником.

— Денег надо, — говорила она.

— Сколько-с?

— Не «сколько», а давайте!

Ни сколько, ни на какой предмет — молчок. Может быть, она поступала так с умыслом, желая повредить чижику душу; но может быть, и без умысла, «так». Душа канарейки — потемки, и ни один мудрец не разберет, где в ней кончается грациозное порхание мысли и где начинается мучительство. Как бы то ни было, чижик не прекословил. Он уходил на минуту в заднее от-

деление дупла и дрожащими руками выносил оттуда свою копилку. И покуда она зря черпала в россыпи серебряных пятачков и как-то странно при этом улыбалась, он чувствовал, что у него душу вынимают. Не потому, чтоб он был скуп, а потому, что от природы имел потребность во всякое время знать состояние своей кассы в точности.

Ограбивши мужнину кассу, она улетала, а через час он уже видел и результаты произведенного грабежа. Прозерпиночка, во главе целого косяка улан и светских дам полулегкого поведения, с шумом и песнями пролетала мимо и садилась на ближайшую поляну. Там устраивался, на чижиков счет, веселый пикник, и вся ватага вплоть до вечерней зари кутила, пела, водила хороводы и по временам разлеталась в кусты для отдохновения.

Однажды вечером Прозерпиночка прилетела домой в необыкновенно возбужденном состоянии. Летала по дуплу («чуть грудочку себе не расшибла!»), кружилась, пела, смеялась, плакала… Майор смотрел на нее сначала испуганно, но потом вдруг умилился. Его голову озарила несчастная мысль, что Прозерпиночкино сердце растворилось, что испытаниям его наступил

конец, что она сама идет к нему навстречу… идет для того, чтоб упоить его блаженством, блаженством, блаженством без конца! Сладкое и в то же время жгучее волнение овладело всем его существом и пробудило в нем смелость, не всякому интендантскому майору свойственную. В чаду страсти он тихонько подкрался к Прозерпиночке в ту минуту, когда она, вперивши глаза в темное пространство, стояла у входа, и тихонько стукнул ее носиком в темечко.

— Дурак! — крикнула она ему в упор и, уклонившись от его объятий, порхнула вон из дупла.

Это был с ее стороны очень решительный шаг. До тех пор она улетала днем, теперь — улетела ночью!

На другое утро она, однако, вернулась, но целый день скучала, плакала, нигде места себе найти не могла. А вечером, едва майор засопел, опять улетела.

Так продолжалось целых две недели. Ночью — таинственное исчезновение, днем — истерика, слезы. Майор весь исстрадался, ходил за ней по пятам, держа в носике, на случай дурноты, ведерочко с водой, и слезно убеждал:

— Выкушай водицы! Откройся мне! Ну, не как мужу — увы! я этого счастья не заслужил! — а

как отцу, как брату. Кто тебя, мою пичужечку, обидел?

— Дурак!!!

Наконец она не возвратилась совсем. Ждал майор день, ждал другой и решился… ждать без конца. Тяжкое время для него настало, время полного одиночества. Жена бросила; родственники, не предупредивши ни словом, скрылись — должно быть, и впрямь старый кенарь после тетки наследство получил, — а прочим птицам ему было совестно в глаза смотреть, потому что он все-таки не смыл своего позора, не оправдал себя. Даже девушка-чечеточка, и та расчету потребовала и где-то на чердаке с воробьем гнездо свила.

До сих пор у него хоть страдания были, страдания жгучие, острые, которые давали ему возможность метаться от боли, проклинать… и надеяться; теперь страдания остались, но приняли тупую форму, которая сковывала его движения, парализировала волю и наполняла будущее безрассветным мраком…

Между тем наступила осень; птицы усиленно захлопотали около гнезд; он один ничего не предпринимал, не решаясь, лететь ли на теплые воды или остаться на родине. Полились дожди, задули холодные ветры; роща обнажилась и тоскливо

шумела; ночи сделались долгие, темные. А он целые ночи напролет, голодный и холодный, просиживал, не смыкаючи очей, у входа своего неухиченного[250] дупла и ждал. Сколько раз хищная сова пролетала мимо, задевая крылом за его дупло! сколько раз заглядывал в дупло кровожадный бурундук! Но, по счастливой случайности, ни сова, ни бурундук не потревожили его. Очень возможно, что, с точки зрения съедобности, он представлял для хищников уже слишком ничтожную величину; но возможно и то, что хищники знали, какой он был в свое время дельный интендантский офицер и, не желая лишать отечество его услуг в будущем, щадили…

Понимая, что жизнь его разбита, он невольно обращал свою мысль к прошлому. Все там было так чисто, аккуратно, что сердце вчуже радовалось. Да и не без приятностей-с. Не одни интендантские мероприятия, но, например, трясогузочка-с. Что за шустренькая, аккуратненькая была девушка… точно огурчик! И тоже сначала: «Ах, какой вы уморительный!» Уморительный да уморительный, да вдруг: «Ах, миленький, какая я была глупенькая! сколько задаром времени

---

[250] Notes: 250

Неухиченное — здесь: не готовое к зиме, непогоде.

потеряла!» Жениться бы ему на ней, а он, вместо того, с шестерыми ребятами ее бросил! Или опять: заехал он раз к перепелочке-вдове, которая постоялый двор при дороге держала и просом да гречневой крупой поторговывала. Слово за слово: «Почем просо? крупа почем-с? Чай, скучно вам одним без мужа, сударыня?» — смотрят, ан и огни везде потушили… И тут бы ему жениться следовало, а он пообещал — и был таков!

Хорошо было тогда, дивно! И чем бесчеловечнее он в ту пору с трясогузками и перепелками поступал, тем больше гордился, тем больше слыхал себе похвал. Все интендантские писаря говорили о нем: «У нас майор лихой… ишь ножками семенит, ишь похаживает — так им, дурам, и надо!»

Ба! да не поступить ли опять в интендантство? — Что же такое! Взял перо, написал просьбу — примут! право, с удовольствием примут!

Но едва появлялась эта мысль, как он уже гнал ее от себя. Не о трясогузках и перепелках он должен думать — нет, не о них! Отныне ему предстоит одно: изнывать от боли и ждать. Ждать свою бесценную желтенькую барышню, свою Богом данную жену! Прилетит она, вот увидите, ужо прилетит!

По временам, однако ж, он возмущался. Но не сам с собою, а под влиянием наущения неблагонамеренных птиц, которые прилетали к нему попросить денег взаймы. В особенности тлетворно действовал на него в этом смысле дрозд. Он начинал всегда с того, что выражал соболезнование по поводу его одиночества, и затем, переходя от одного соболезнования к другому, очень ловко инсинуировал, что по нынешнему времени и развестись ничего не стоит.

— Нанял аблаката — и дело с концом! — убеждал он. — Аблакат тебе все в одночасье свертит. Право, друг, разведись! Что на нее, на шлюху, смотреть!

А кроме дрозда, и зяблик его смущал; но этот был против развода, а советовал в «волостную» прошение подать.

— Много для них чести будет, коли со всякой шлюхой разводиться придется! — говорил он. — Ступай прямо в «волостную»; такую ли ей там баню зададут — до новых веников не забудет!

И вот однажды майор поддался искушению. Полетел в Петербург и прямо отъявился к аблакату Балалайкину.

— Хочу от живой жены на другой жениться — орудуй!

— С удовольствием, — ответил Балалайкин, — я сам от четырех живых жен на пятой женат и вот, как видите, даже в арестантских ротах не сиживал!

Но уже по тону, которым Балалайкин эти слова сказал, чижик понял, что проку от его ходатайства ждать нельзя. Заплатив Балалайкину двугривенный (за одно вранье!), он скрепя сердце направил свой полет в «волостную», но и тут потерпел неудачу.

— Приведи ее, мы выпорем, — ответили ему совершенно резонно. — А коли будешь и впредь без поличного здешнее место утруждать, мы тебя самого разложим; не посмотрим, что ты майор.

Это был, так сказать, последний проблеск бунтующей плоти. Он воротился домой и окончательно присмирел.

Прошла зима. Полузамерзший, наголодавшийся, чуть живой, чижик вылез из своего дупла и едва-едва долетел до речки. Лед был уже настолько слаб, что в некоторых местах образовались полыньи. К одной из них он приблизился, надеясь чем-нибудь поживиться, какою-нибудь ветошью; но, увидев в воде свое изображение, так и ахнул. За зиму он до того похудел, осунулся, отощал, что мундир висел на нем, как на вешалке. От

прежнего аккуратно застегнутого, чистенького и сытенького чижика не осталось и следа; даже шпоры — и те неизвестно куда девались. С тоскою в сердце вернулся он в дупло и сразу утратил веру в более светлое будущее.

Что пользы, ежели он и дождется ее, — какое он сделает ей приветствие? какие представит доказательства супружеской любезно-верной преданности?

И вдруг, в один теплый майский вечер, она воротилась. Воротилась худая, больная, истрепанная и как будто *не в себе*. Хохолок на головке был выщипан, перышки на крыльях помяты, хвостик жиденький; даже желтенькое платьице выцвело и посерело. И вся дрожала, не то от холода, не то от стыда. Насилу чижик ее узнал.

— Вот и я пришла! — сказала она.

— Живи! — ответил ей чижик.

Только и разговору промеж них было. О прошлом — молчок, о будущем — ни гугу.

И живут с тех пор друг подле друга в одном дупле, молчат и все о чем-то думают. Может быть, ждут чуда, которое растворит их сердца и наполнит их ликованиями прощения и любви; но может быть, сознают себя окончательно раздавленными и угрюмо ропщут. Он: «Ах, разбила ты мою жизнь, кукла бесчувственная!» Она: «Ах, заел ты мою молодость, распостылый майор!»

1884

Верный Трезор

Служил Трезорка сторожем при лабазе московского 2-й гильдии купца Воротилова и недреманным оком хозяйское добро сторожил. Никогда от конуры не отлучался; даже Живодерки[251], на которой лабаз стоял, настоящим образом не видал: с утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливается! Caveant consules![252]

И премудрый был, никогда на своих не лаял, а все на чужих. Пройдет, бывало, хозяйский кучер овес воровать — Трезорка хвостом машет, думает: «Много ли кучеру нужно!» А случится прохожему по своему делу мимо двора идти — Трезорка еще где заслышит: «Ах, батюшки, воры!»

Видел купец Воротилов Трезоркину услугу и говорил: «Цены этому псу нет!» И ежели случалось в лабаз мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет: «Дайте Трезорке помоев!» А Трезорка из кожи от восторга лезет: «Рады ста-

---

[251] Notes: 251

Живодерка — улица в Москве на Пресне (ныне ул. Красина), располагавшаяся на месте прежней Живодерной слободы, жители которой занимались убоем и разделкой скота.

[252] Notes: 252

Пусть консулы будут бдительны! *(лат.)*

раться, ваше степенство!.. хам-ам! почивайте, ваше степенство, спокойно… хам… ам… ам… ам!»

Однажды даже такой случай был: сам частный пристав к купцу Воротилову на двор пожаловал — так и на него Трезорка вóззрился. Такой содом поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети — все выбежали. Думали, грабят; смотрят — ан гость дорогой!

— Вашескородие! милости просим! Цыц, Трезорка! Ты это что, мерзавец? не узнал? а? Вашескородие! водочки! закусить-с.

— Благодарю. Прекраснейший у вас песик, Никанор Семеныч! благонамеренный!

— Такой пес! такой пес! Другому человеку так не понять, как он понимает!

— Собственность, значит, признает; а это, по нынешнему времени, ах как приятно!

И затем, обернувшись к Трезорке, присовокупил:

— Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет, — и тот по-песьему лаять обязывается!

Три раза Воротилов Трезорку искушал, прежде чем вполне свое имущество доверил ему. Нарядился вором (удивительно, как к нему этот

костюм шел!), выбрал ночь потемнее и пошел в амбар воровать. В первый раз корочку хлебца с собой взял — думал этим его соблазнить, — а Трезорка корочку обнюхал, да как вцепится ему в икру! Во второй раз целую колбасу Трезорке бросил: «Пиль, Трезорушка, пиль!» — а Трезорка ему фалду оторвал. В третий раз взял с собой рублевую бумажку замасленную — думал, на деньги пес пойдет; а Трезорка, не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались: стоят да дивуются, с чего это хозяйский пес на своего хозяина заливается?

Тогда купец Воротилов собрал домочадцев и при всех сказал Трезорке:

— Препоручаю тебе, Трезорка, все мои потроха; и жену, и детей, и имущество — стереги! Принесите Трезорке помоев!

Понял ли Трезорка хозяйскую похвалу, или уж сам собой, в силу собачьей породы, лай из него, словно из пустой бочки, валил — только совсем он с тех пор иссобачился. Одним глазом спит, а другим глядит, не лезет ли кто в подворотню; скакать устанет — ляжет, а цепью все-таки погромыхивает: «Вот он я!» Накормить его позабудут — он даже очень рад: ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, так он, чего доброго, в одну неделю

разопсеет! Пинками его челядинцы наделят — он и в этом полезное предостережение видит, потому что, ежели пса не бить, он и хозяина того гляди позабудет.

— Надо с нами, со псами, сурьезно поступать, — рассуждал он, — и за дело бей, и без дела бей — вперед наука! Тогда только мы, псы, настоящими псами будем!

Одним словом, был пес с принципами и так высоко держал свое знамя, что прочие псы поглядят-поглядят, да и подожмут хвост — куды тебе!

Уж на что Трезорка детей любил, однако и на их искушения не сдавался. Подойдут к нему хозяйские дети:

— Пойдем, Трезорушка, с нами гулять!

— Не могу.

— Не смеешь?

— Не то что не смею, а права не имею.

— Пойдем, глупый! мы потихоньку… никто и не увидит!

— А совесть?

Подожмет Трезорка хвост и спрячется в конуру, от соблазна подальше.

Сколько раз и воры сговаривались: «Поднесемте Трезорке альбом с видами Замоскворечья»; но он и на это не польстился.

— Не требуется мне никаких видов, — сказал он, — на этом дворе я родился, на нем же и старые кости сложу — каких еще видов нужно! Уйдите до греха!

Одна за Трезоркой слабость была: Кутьку крепко любил, но и то не всегда, а временно.

Кутька на том же дворе жила и тоже была собака добрая, но только без принципов. Полает и перестанет. Поэтому ее на цепи не держали, а жила она больше при хозяйской кухне и около хозяйских детей вертелась. Много она на своем веку сладких кусков съела и никогда с Трезоркой не поделилась; но Трезорка нимало за это на нее не претендовал: на то она и дама, чтобы сладенько поесть! Но когда Кутькино сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой в кухонную дверь. Заслышав эти тихие всхлипыванья, Трезорка, со своей стороны, поднимал такой неистовый и, так сказать, характерный вой, что хозяин, понимая его значение, сам спешил на выручку своего имущества. Трезорку спускали с цепи и на место его сажали дворника Никиту. А Трезорка с Кутькой, взволнованные, счастливые, убегали к Серпуховским воротам.

В эти дни купец Воротилов делался зол, так что

когда Трезорка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арапником нещадно. И Трезорка, очевидно, сознавал свою вину, потому что не подбегал к хозяину гоголем, как это делают исполнившие свой долг чиновники, а униженно и поджавши хвост подползал к ногам его; и не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал: «Mea culpa! mea maxima culpa!»[253] В сущности, он был слишком умен, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из вида некоторые смягчающие обстоятельства; но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что ежели его в таких случаях не бить, то непременно он разопсеет.

[253] Notes: 253
Мой грех! мой тягчайший грех! *(лат.)*



Но что было особенно в Трезорке дорого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно, имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Никанора ли («сам» именинник), Анфисы ли («сама» именинница) на дворе — он, все равно что в будни, на цепи скачет!

— Да замолчи ты, постылый! — крикнет на него Анфиса Карповна. — Знаешь ли, какой сегодня день!

— Ничего, пусть лает! — пошутит в ответ Никанор Семеныч. — Это он с ангелом поздравляет! Лай, Трезорушка, лай!

Только раз в нем проснулось что-то вроде честолюбия — это когда бодливой хозяйской корове Рохле, по требованию городского пастуха, колокол на шею привесили. Признаться сказать, позавидовал-таки он, когда она пошла по двору звонить.

— Вот тебе счастье какое; а за что? — сказал он Рохле с горечью. — Только твоей и заслуги, что молока полведра в день из тебя надоят, а по-настоящему какая же это заслуга! Молоко у тебя даровое, от тебя не зависящее: хорошо тебя кормят — ты много молока даешь; плохо кормят — и

молоко перестанешь давать. Копыта об копыто ты не ударишь, чтобы хозяину заслужить, а вот тебя как награждают! А я вот сам от себя, motu proprio[254] день и ночь маюсь, недоем, недосплю, инда осип от беспокойства, — а мне хоть бы гремушку кинули! Вот, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видят!

— А цепь-то? — нашлась Рохля в ответ.

— Цепь?!

Тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак. Что он, стало быть, награжден уже изначала, награжден еще в то время, когда ничего не заслужил. И что отныне ему следует только об одном мечтать: чтоб старую, проржавленную цепь (он ее однажды уже порвал) сняли и купили бы новую, крепкую.

А купец Воротилов точно подслушал его скромно-честолюбивое вожделение: под самый Трезоркин праздник купил совсем новую, на диво выкованную цепь и сюрпризом приклепал ее к Трезоркину ошейнику. «Лай, Трезорка, лай!»

И залился он тем добродушным, заливистым лаем, каким лают псы, не отделяющие своего

---

[254] Notes: 254
По собственному побуждению. *(лат.)*

собачьего благополучия от неприкосновенности амбара, к которому определила их хозяйская рука.

В общем, Трезорке жилось отлично, хотя, конечно, от времени до времени не обходилось и без огорчений. В мире псов, точно так же как и в мире людей, лесть, пронырство и зависть нередко играют роль, вовсе им по праву не принадлежащую. Не раз приходилось и Трезорке испытывать уколы зависти; но он был силен сознанием исполненного долга и ничего не боялся. И это вовсе не было с его стороны самомнением. Напротив, он первый готов был бы уступить честь и место любому новоявленному барбосу, который доказал бы свое первенство в деле непреоборимости. Нередко он даже с тревогою подумывал о том, кто заступит его место в ту минуту, когда старость или смерть положит предел его нестомчивости… Но увы! во всей громадной стае измельчавших и излаявшихся псов, населявших Живодерку, он, по совести, не находил ни одного, на которого мог бы с уверенностью указать: «Вот мой преемник!» Так что когда интрига задумала во что бы то ни стало уронить Трезорку в мнении купца Воротилова, то она достигла только одного — и притом совершенно для нее нежелательного — резуль-

тата, а именно: выказала повальное оскудение псовых талантов.

Не раз завистливые барбосы, и в одиночку, и небольшими стайками, собирались во двор купца Воротилова, садились поодаль и вызывали Трезорку на состязание. Поднимался несосветимый собачий стон, который наводил ужас на всех домочадцев, но к которому хозяин дома прислушивался с любопытством, потому что понимал, что близко время, когда и Трезору понадобится подручный. В этом неистовом хоре выдавались голоса недурные; но такого, от которого внезапно заболел бы живот со страху, не было и в помине. Иной барбос выказывал недюжинные способности, но непременно или перелает, или недолает. Во время таких состязаний Трезорка обыкновенно умолкал, как бы давая противнику возможность высказаться, но под конец не выдерживал и к общему стону, каждая нота которого свидетельствовала об искусственном напряжении, присоединял свой собственный свободный и трезвенный лай. Этот лай сразу устранял все сомнения. Заслышав его, кухарка выбегала из стряпущей и ошпаривала коноводов интриги кипятком. А Трезорке приносила помоев.

Тем не менее купец Воротилов был прав, утвер-

ждая, что ничто под луною не вечно. Однажды утром воротиловский приказчик, проходя мимо собачьей конуры в амбар, застал Трезорку спящим. Никогда этого с ним не бывало. Спал ли он когда-нибудь — вероятно, спал, — никто этого не знал, и, во всяком случае, никто его спящим не заставал. Разумеется, приказчик не замедлил доложить об этом казусе хозяину.

Купец Воротилов сам вышел к Трезорке, взглянул на него и, видя, что он повинно шевелит хвостом, как бы говоря: «И сам не понимаю, как со мной грех случился!» — без гнева, полным участия голосом, сказал:

— Что, старик, на кухню собрался? Стара стала, слаба стала? Ну ладно! ты и на кухне службу сослужить можешь.

На первый раз, однако ж, решились ограничиться приисканием Трезорке подручного. Задача была нелегкая; тем не менее, после значительных хлопот, успели-таки отыскать у Калужских ворот некоего Арапку, репутация которого установилась уже довольно прочно.

Я не стану описывать, как Арапка первый признал авторитет Трезорки и беспрекословно ему подчинился, как оба они подружились, как Трезорку с течением времени окончательно перевели

на кухню и как, несмотря на это, он бегал к Арапке и бескорыстно обучал его приемам подлинного купеческого пса… Скажу только одно: ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость Кутьки не заставили Трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил, сидючи на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи.

Время, однако ж, шло, и Трезорка все больше и больше старелся. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги; глаза почти не видели; уши висели неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетит исчез, а постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса жаться к печке.

— Воля ваша, Никанор Семеныч, а Трезорка начал паршиветь, — доложила однажды купцу Воротилову кухарка.

На этот раз, однако, купец Воротилов не сказал ни слова. Тем не менее кухарка не унялась и через неделю опять доложила:

— Как бы дети около Трезорки не испортились… Опаршивел он вовсе.

Но и на этот раз Воротилов промолчал. Тогда кухарка, через два дня, вбежала уже совсем обозленная и объявила, что она ни минуты не

останется, ежели Трезорку из кухни не уберут. И так как кухарка мастерски готовила поросенка с кашей, а Воротилов безумно это блюдо любил, то участь Трезоркина была решена.

— Не к тому я Трезорку готовил, — сказал купец Воротилов с чувством, — да, видно, правду пословица говорит: собаке — собачья и смерть… Утопить Трезорку!

И вот вывели Трезорку на двор. Вся челядь высыпала, чтоб посмотреть на предсмертную агонию верного пса; даже хозяйские дети окно обсыпали. Арапка был тут же и, увидев старого учителя, приветливо замахал хвостом. Трезорка от старости еле передвигал ногами и, по-видимому, не понимал; но когда начал приближаться к воротам, то силы оставили его, и надо было его тащить волоком за загривок.

Что́ затем произошло — об этом история умалчивает, но назад Трезорка уж не возвратился.

А вскоре Арапка и совсем изгнал Трезоркин образ из сердца купца Воротилова.

1885

Недреманное око

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Прокурор, и было у него два ока: одно — дреманное, а другое — недреманное. Дреманным оком он ровно ничего не видел, а недреманным видел пустяки.

В этом царстве исстари так было заведено: как только у обывателя родится мальчик с двумя оками, дреманным и недреманным, так тотчас в ревизских сказках[255] записывают: «У обывателя Куролеса Проказникова, на Болоте, уродился мальчишечка, по имени Прокурор». И потом ожидают, когда мальчишечка в совершенные лета придет.

Так было и тут. Не успел мальчишечка от земли вырасти, как ему сейчас же доложили:

— Пожалуйте!

— С удовольствием. Но в скором ли времени предвидится сенаторская вакансия?

— Ах, сделайте милость! Как скоро, так сейчас.

— То-то.

---

[255] Notes: 255

Ревизские сказки — перепись податного населения по результатам ревизии.

Приосанился мальчишечка, посмотрелся в зеркало, видит: какой такой оттуда хитрец выглядывает? — ан это он самый и есть. Ладно. И, не говоря худого слова, сейчас же за дело принялся: дреманным оком ничего не видит, а недреманным видит пустяки. «Я, — говорит, — здесь на минутку, по дороге в Сенат, а там и оба ока сомкну. Да и уши у меня, бог даст, к тому времени заложит».

Увидели мздоимцы, клеветники, душегубы, хищники и воры, что мальчишечка на них недреманным оком смотрит, и сейчас же испугались. Думали-думали, как с этим делом быть, и решили всем с недреманной стороны уйти и укрыться под сенью дреманного прокурорского ока. И сделалось с недреманной стороны так чисто, как будто ни лиходеев, ни воров, ни душегубов отроду никогда не бывало, а были и есть только обыкновенные лгуны, проходимцы, предатели, изменники и ханжи, до которых прокурору, собственно говоря, и дела нет. А мальчишечка видит, что от одного его недреманного взгляда такие чистые горизонты открылись, и радуется. Неужто, думает, начальство усердия его во внимание не примет?

И пошел он по судебно-административному по-

лю гоголем похаживать. Ходит да посвистывает: берегись! в ложке воды утоплю!

Только видит, стоит человек и криком кричит: «Ограбили! батюшки, караул!» Разумеется, он — к ограбленному.

— Что ты, такой-сякой, на всю улицу зеваешь! вот я тебя!

— Помилуйте, Прокурор Куролесыч, воры!

— Где воры? какие воры? врешь ты: никаких воров нет и не бывало (а они у него под ноздрею с дреманной стороны притаились)! Это вы нарочно, бездельники, не заслуживающими внимания жалобами начальство затруднить хотите… Взять его под арест!

Идет дальше, слышит: «Мздоимцы, Прокурор Куролесыч, одолели! мздоимцы! лихоимцы! кривотолки! прелюбодеи!»

— Где мздоимцы? какие лихоимцы? никаких я мздоимцев не вижу! Это вы нарочно, такие-сякие, кричите, чтобы авторитеты подрывать… Взять его под арест!

Еще дальше идет; слышит: «Добро казенное и общественное врозь тащат! Чего вы, Прокурор Куролесыч, смотрите! Вон они, хищники-то, вон!»

— Где хищники? Кто казенное добро тащит?

— Вон хищники! вон они! Вон он какой домино

на краденые деньги взбодрил! А тот вон — ишь сколько тысяч десятин земли у казны украл!

— Врешь ты, такой-сякой! Это не хищники, а собственники! Они своим имуществом спокойно владеют, и все документы у них налицо. Это вы нарочно, бездельники, кричите, чтобы принцип собственности подрывать! Взять его под арест!

Дальше — больше. «Жена мужу жизнь с утра до вечера точит!» — «Муж жену в гроб, того гляди, заколотит!» — «Ни за чем вы, Прокурор Куролесыч, не смотрите!»

— Я-то не смотрю? А ты видел ли, какое у меня око? Одно оно у меня, но — ах, как далеко я им вижу! Так далеко, что и твою, бездельникову, душу насквозь понимаю! И знаю, чего вам, негодникам, хочется: семейный союз вам хочется подорвать! Взять его под арест!

Словом сказать, все союзы перебрал и везде нашел: сами по себе стоят союзы незыблемо, но крикунишки непременно им как пить дадут, ежели им своевременно уста не замазать. А когда до государственного союза мальчишечка дошел, то и разговаривать не стал. Кричит как озаренный: «Взять его! связать его! замуровать! законопатить!» Сам кричит, а недреманное око так у него колесом и вертится в глазнице.

День-деньской таким манером мальчишечка мается, союзы оберегает, а к вечеру домой отдыхать вернется. Ляжет на кровать и думает: «Все-то я в полной мере, как хочется начальству, выполнил! хищников, мздоимцев, распутников и злоупотребителей с помощью одного моего недреманного ока рассеял, а с подрывателями, кои недельными жалобами начальство утруждают, особливо распорядился! Чисто, благородно. Надеюсь, что и начальство, с своей стороны, мои труды в надлежащей мере оценит».

— Чего, бишь, мне, например, пожелать? — говорил он сам себе. — В Сенат ежели — так я еще на одно ухо слышу, да Сенат от меня и не уйдет… Вот кабы — хоть не теперь, а со временем — вот кабы в… да нет, это уж разве когда и обоняние я потеряю! Нет, вот сейчас, в ближайшем будущем, чего бы мне, например, пожелать?

Расстраивал-расстраивал себе воображение, да наконец и расстроил. «Жениться надо как можно скорее — вот что!»

И так как он для поисков невесты недреманное око в ход пустил, то, разумеется, сейчас же нашел. А именно: девицу Агриппину такой красоты, что ни в сказках сказать, ни пером описать. И при ней двести тысяч: точь-в-точь как при билете

внутреннего с выигрышами займа полагается.

Женился. Отпраздновали свадьбу на славу в кухмистерской Завитаева и домой на новоселье приехали. Только смотрит мальчишечка, а новобрачная с чего-то под сень дреманного ока спряталась. Хвать-похвать: «Агриппина! где ты?»

— Не Агриппина я, но Агафья. И тезоименитство мое бывает пятого февраля.

Вот так штука! Даже побледнел мальчишечка с испугу: неужто в прохожденье его службы чертовщина вмешалась?

— Покажись… Агафья! — вымолвил он.

Смотрит: и у Агафьи, как у него, одно око дреманное, а другое — недреманное. Только у него недреманное око с правой стороны, а у нее — с левой. Точно им сама судьба определила совместно прокурорское служение проходить.

— Приданое-то у тебя есть ли?

— И приданого у меня нет. Одно недреманное око — только и всего.

Ах, прах побери, да и совсем! Была-была Агриппина, и вдруг Агафья сделалась! Стал он разыскивать, каким манером такое дело случиться могло, и оказалось, что очень просто. Покуда он недреманным оком в одну сторону стрелял, Агриппина на минуточку отлучилась, да и вышла замуж за

офицера. А он за себя взял… Агафью!

Делать, однако, нечего. Недаром же Завитаеву деньги за свадьбу отданы — надо как-нибудь жить. Легли они спать, да не остереглись: смотрят друг на дружку недреманными оками — инда жутко ему стало! Ему-то жутко, а ей точно с гуся вода — даже приятно!

— Ведьма ты, что ли? — спросил он ее. — Сказывай!

— Нет, я не ведьма, но твоя законная жена. А до сих пор я краденными старыми носками на Апраксиной[256] торговала.

— Как «краденными»? каким же образом я тебя не изловил?

— Разве ты можешь кого-нибудь изловить? Ты все в одну сторону оком стреляешь, а что у тебя под левой ноздрей делается — не видишь.

— Ну, давай вместе воров ловить, коли так. Я — справа, ты — слева.

Словом сказать, так отлично устроились, что через год у них сын родился, и тоже с недреманным оком.

— Вот так чудак! — воскликнул мальчишечка, взглянув на своего первенца.

---

[256] Notes: 256
То есть на Апраксином дворе — рынке в Петербурге.

Тут только он догадался, что как ни дорого недреманное око, а два обыкновенных глаза, пожалуй, еще того дороже.

Служба его между тем своим чередом прохождение имела. Постепенно он все тюрьмы крикунами наполнил, а хищники, мздоимцы, концессионеры и прочие подлинные потрясатели тем временем у него под сенью дреманного ока благодушествовали.

Долго ли, коротко ли так шло, только начал он со временем и на оба уха припадать. Даже недреманное око, и то постепенно слипаться стало. Самое время, значит, в Сенат поспешать, покуда обоняния еще не утратил.

Слышит… зовут!

Надел он фуфайку фланелевую, носки шерстяные да сапоги валяные на ноги натянул; уши канатом законопатил[257], камфарным маслом надушился, в шубу закутался, а Агафья, сверх шубы, шерстяным шарфом его повязала. И пошел в Сенат. Идет и думает: какой такой сон на первый раз он, сидючи в Сенате, увидит?

Но тут случилось нечто совсем неожиданное. Покуда он недреманным оком все вправо да

---

[257] Notes: 257
То есть канатной пряжей.

вправо стрелял, а Сенат взял полевее, да с дреманной стороны и притаился. Ищет Прокурор Куролесыч — и носом в воздухе потянет, и языком щелкнет, и даже руками кругом пошарит, — никак-таки нащупать Сената не может.

Наконец видит: городовой на посту бодрствует. Натурально — к нему. Так и так, служивый: «Не знаешь ли, куда девался Сенат?»

Взглянул на него городовой и сразу недреманную душу его разгадал.

— Знаю, — сказал он, — Сенат, вот он! Вон он на солнышке играет! Ишь посматривает, как бы какой шалун на закон не наступил… Ах ты, ах! Только не про всякого у нас место в Сенате припасено. Ты вот глядел недреманным-то оком в книгу, а видел фигу, так нынче этаких в здешнее место сажать не велено. Воротись лучше, калека, домой; валенки-то сними, глаза-то протри, уши промой, да и ложись с бабой на печь спать!.. А у нас нынче так в здешнем месте заведено: чтобы и голова, и прочие члены — все чтобы на своем месте было, а глаза и уши — у всех чтобы настежь!

Так и не попал Прокурор Куролесыч в Сенат.

1885

Дурак

В старые годы, при царе Горохе это было: у умных родителей родился сын дурак. Еще когда младенцем Иванушка был, родители дивились: в кого он уродился? Мамочка говорила, что в папочку, папочка — что в мамочку, а наконец подумали и решили: должно быть, в обоих.

Не то, впрочем, родителей смущало, что у них сын дурак, — дурак, да ежели ко двору, лучше и желать не надо, — а то, что он дурак особенный, за которого, того гляди, перед начальством ответить придется. Набедокурит, начудит — по какому праву? какой такой закон есть?

Бывают дураки легкие, а этот мудреный. Вон у Милитрисы Кирбитьевны — рукой подать — сын Лёвка, тоже дурачок. Выбежит босиком на улицу, спустит рукава, на одной ножке скачет, а сам во всю мочь кричит: «Тили-тили, Левку били, бими-бими, бом-бум!» Сейчас его изымают да на замок в холодную: сиди да посиживай! Даже губернатору, когда на ревизию приезжал, Лёвку показывали, и тот похвалил: «Берегите его, нам дураки нужны!»

А этот дурак — необыкновенный. Сидит себе

дома, книжку читает либо к папке с мамкой ласкается — и вдруг ни с того ни с сего в нем сердце загорится. Бежит, земля дрожит. К которому делу с подходцем бы подойти, а он на него прямиком лезет; которое слово совсем бы позабыть надо, а он его-то и ляпнет. И смех и грех. Хоть кричи на него, хоть бей — ничего он не чувствует и не слышит. Сделает, что ему хочется, и опять домой прибежит, к папке с мамкой под крылышко.

— Что́ с тобой, ненаглядный ты наш? сядь, миленький, отдохни!

— Я, мамочка, не устал.

— Куда ты, голубчик, бегаешь? Не скажешься никому и убежишь!

— Я, мамочка, к Лёвке бегал. Лёвка болен, калачика просит; я взял с прилавка в булочной калачик и снес.

Услышит мамочка эти слова, так и ахнет.

— Ах, убил! ах, голову с меня, несчастный, ты снял! Что ты наделал! Это ты, значит, калачик-то украл!

— Ка́к «украл»? что́ такое «украл»?

Сколько раз и соседи папочку с мамочкой предостерегали:

— Уймите вы своего дурака! большие он вам неприятности через свою глупость предоставит!

Но родители ничего не могли, только думали: «Легко сказать: „Уймите!“, а как ты его уймешь? Как это люди не понимают, что родительское сердце по глупом сыне больше даже, чем по умном, разрывается?»

И точно, примется, бывало, папочка дурака усовещивать: «Калач есть собственность» — он как будто и понимает: «Да, папочка!» Но вдруг, в это время, откуда ни возьмись Лёвка: «Дай, Ваня, калачика!» Он — шмыг, и точно вот слизнул калач с прилавка! Как тут понять: украл он его или не украл?

Терпел-терпел булочник, но наконец обиделся: принес в квартал жалобу. Явился к дураковым родителям квартальный и сказал: «Как угодно, а извольте вашего дурака высечь». Плакала родительская утроба, а делать нечего. Видит папочка, что резонно квартальный говорит: высек дурака.

Но дурак ничего не понял. Почувствовавши, что больно, всплакнул, но не жаловался: «За что?» — и не кричал: «Не буду!» Скорее как будто удивился: «Для чего это папочке понадобилось?»

Так и пропал этот урок даром: как был Иванушка до сечения дураком, так и после сечения дураком остался. Увидит из окна, что Лёвка босиком по улице скачет, — и он выбежит, сапоги

снимет, рукава у рубашки спустит и начнет заодно с дурачком куролесить.

— Ишь занятие нашел! — рассердится мамочка. — Дурака дразнит!

— Я, мамочка, не дразню, а играю с ним, потому что ему одному скучно.

— Повертись! повертись! довертишься, что сам дураком сделаешься!

Услышит папочка этот разговор и на мамочку накинется:

— Сечь его надо, а она разговаривает! разговаривай больше — дождешься! Кабы ты чаще ему под рубашку заглядывала, давно бы он у нас человеком был!

И все соседи папочку одобряют: во-первых, потому, что закон есть такой, чтобы дураков учить; а во-вторых, и потому, что никому от Иванушки житья не стало. Намеднись соседские мальчишки вздумали козла дразнить — он за козла вступился. Стал посередке и не дает козла в обиду. Козел его сзади рогами бьет, мальчишки спереди по чем попало тузят, а ему горюшка мало — всего в синяках домой привели! А на другой день опять с дураком история: у повара петуха отнял. Нес повар под мышкой петуха на кухню, а дурак ему навстречу: «Куда, Кузьма, петушка

несешь?» — «Известно, мол, на кухню да в суп»… Как кинется на него дурак! Не успел Кузьма опомниться — смотрит, а петух уж на забор взлетел и крыльями хлопает!

Толковал-толковал ему папочка: «Петух — не твой, как же ты смел его у повара отнимать?» А он в ответ одно твердит: «Знаю я, что петух не мой, да и не поваров он, а свой собственный…»

Как ни любили дурака все домочадцы за его ласковость и тихость, но с течением времени он всех поступками своими донял. Есть ему захочется — нет чтобы мамочку попросить: «Позвольте, мол, милый друг маменька, в буфете пирожок взять», — сам пойдет, и в буфете, и в кухне перешарит, и что попадется под руку, так, без спросу, и съест. Захочется погулять — возьмет картуз, так, без спросу, и уйдет. Раз нищий под окном остановился, а у мамочки, как на грех, в ту пору трехрублевенькая бумажка на столе лежала — он взял да *ВСЕ* три рублика нищему в суму и ухнул!

— Батюшки! да из него Картуш[258] выйдет! — невзвидела света мамочка.

— И непременно выйдет, — отозвался папочка, — хуже выйдет, ежели ты, вместо того чтобы

---

[258] Notes: 258
Картуш (1693–1721) — французский разбойник.

сечь, лясы с ним точить будешь!

Делать нечего, высекла дурака и мамочка. Но высекла, надо прямо сказать, чуть-чуть, только чтобы наука была. А он встал, сердечный, весь заплаканный, и обнял мамочку.

— Ах, мамочка, мамочка! бедненькая ты моя мамочка!

И сделалось мамочке вдруг так стыдно, так стыдно, что она и сама заплакала.

— Дурачок ты мой ненаглядный! вот кабы нас Бог с тобой вместе к себе взял!

Наконец, однако, он и себя, и мамочку едва не погубил. Гуляли они однажды всей семьей по набережной реки. Папочка мамочку под ручку вел, а он, впереди, разведчика из себя изображал. Будто бы они источники Нигера[259] открывать собирались, так он послан вперед разузнать, не угрожает ли откуда опасность. Вдруг слышат стоны; взглянули на реку, а там чей-то мальчишечко в воде барахтается! Не успели опомниться — ан дурак уж в реку бухнул, а за дураком мамочка, как была в кринолине, так и очутилась в воде. А за мамочкой — пара городовых в амуниции. А папочка стоит у решетки да руками, словно птица

[259] Notes: 259
Нигер — река в Западной Африке; ее истоки были открыты в 1879 г.

крыльями, машет: «Моих-то спасайте! моих!» Наконец городовые всех троих из воды вытащили. Мамочка-то одним страхом поплатилась, а дурак целый месяц в горячке вылежал. Понял ли он, что поступил по-дурацки, или сделалось ему мамочку жалко, только как пришел он в себя да увидел, что мамочка, худенькая да бледненькая, в головах у него сидит, — так и залился слезами! Только и твердит: «Мамочка! мамочка! мамочка! зачем нас Бог к себе не взял?»

А папочка тут же стоял и все надеялся, что дурак хоть на этот раз скажет: «Простите, милый папочка, я вперед не буду!» — Однако он так-таки и не сказал.

После этого случая папочка с мамочкой серьезно совещались: ка́к с дураком быть? Ходили, обнявшись, по зале, со всех сторон предмет рассматривали и долго ни на чем не могли сойтись.

Дело в том, что папочка был человек справедливый. И дома, и в гостях, и на улице он только об одном твердил: «Всуе законы писать, ежели их не исполнять». У него даже и наружность такая уморительная была, как будто он в одной руке весы держит, а другою — то золотник в чашечку поступков подбавит, то ползолотника в чашечку возмездий подкинет. Поэтому, и принимая во

внимание все вышеизложенное, он требовал, чтобы с Иванушкой было поступлено по всей строгости домашнего кодекса.

— Преступил он — следовательно, и соответствующее возмездие понести должен. Вот смотри!

И он показал мамочке табличку, в которой было изображено:

Название проступка:	Число ударов розгою:
Отступление от правил субординации	от 5 до 7

Но мамочка была мамочка — только и всего. Справедливости она не отрицала, но понимала ее в каком-то первобытном смысле, в каком понимает это слово простой народ, говоря о «справедливом» человеке. Без возмездий, а вроде как бы отпущения. И как ни мало она была в юридическом отношении развита, однако в одну минуту папочку осрамила.

— За что ж мы наказывать его будем? — сказала она. — За то, что он утопающего спасти хотел? Опомнись!

Тем не менее папочка настоял-таки, что дома держать дурака невозможно, а надо отдать его в «заведение».

Регулярно-спокойный обиход заведения на первых порах отразился на дураке довольно выгодно. Ничто не бередило его восприимчивости, не пробуждало в нем внезапных движений души. В первые годы даже учения настоящего не было, а только усваивался учебный материал. Не встречалось также резкой разницы и в товарищеской среде — такой разницы, которая вызывала бы потребность утешить, помочь. Все шло тем средним ходом, который успех учения ставил главным образом в зависимость от памяти. А так как память у Иванушки была превосходная, да и сердце к тому же было золотое, то чуть-чуть Иванушка и впрямь из дурака не сделался умницей.

— Говорил я тебе? — торжествовал папочка.

— Ну-ну, не сердись! — отвечала мамочка, как бы винясь, что она чересчур поторопилась папочку осрамить.

Но по мере того, как объем предлагаемого знания увеличивался, дело Иванушки усложнялось. Большинства наук он совсем не понимал. Не понимал истории, юриспруденции, науки о накоплении и распределении богатств. Не потому, чтобы не хотел понимать, а воистину не понимал. И на все усовещивания учителей и наставников отвечал одно: «Не может этого быть!»

Только тогда настоящим образом узнали, что он несомненный и круглый дурак. Такой дурак, которому могут быть доступны только склады науки, а самая наука — никогда. Природа поступает по временам жестоко: раскроет способности человека только в меру понимания азбучного материала, а как только дойдет очередь, чтобы из материала делать выводы, — законопатит, и конец.

Снова сконфузился папочка и стал мамочку упрекать, что Иванушка в нее уродился. Но мамочка уже не слушала попреков, а только глаз не осушала, плакала. Неужто Иванушка так-таки навек дураком и останется!

— Да ты хоть притворись, что понимаешь! — уговаривала она Иванушку. — Принудь себя, хоть немножко пойми, ну, дай я тебе покажу!

Раскроет мамочка книжку, прочтет *«§ о порядке наследования по закону единоутробных»* — и ничего-таки не понимает! Плачут оба: и дурак, и мамочка. А папочка между тем так и режет: *единоутробных,* прежде всего, необходимо отличать: во-первых, от единокровных; во-вторых, от тех, кои, будучи единоутробными, суть в то же время и единокровные, и в-третьих, от *червонных*

валетов...[260]

— Вот папенька-то как хорошо знает! — удивлялась мамочка, заливаясь слезами.

Видя материнские слезы, дурак напрягал нередко все свои усилия. Уйдет во время рекреации в класс, сядет за тетрадку, заложит пальцами уши и начнет долбить. Выдолбит и так отлично скажет урок, словно на бобах разведет... И вдруг что-нибудь такое насчет Александра Македонского ляпнет, что у учителя на плешивой голове остальные три волоса дыбом встанут.

— Садитесь! — молвит учитель. — Печальная вам в будущем учесть предстоит! Никогда вы государственным человеком не сделаетесь. Благодарите Бога, что он дал вам родителей, которые ни в чем не замечены. Потому что, если б не это... Садитесь! и ежели можете, то старайтесь не огорчать ваших наставников возмутительными выходками!

И точно: только благодаря родительскому благонравию дурака из класса в класс переводили, а наконец и из заведения с чином выпустили. Но когда он домой с аттестатом явился, то мамочка, как взглянула, что́ там написано, так и залилась

---

[260] Notes: 260

Червонные валеты — здесь: мошенники.

слезами. А папочка сурово спросил:

— Что ты, бесчувственный идол, набедокурил?

— Я, папочка, так себе, — ответил он, — это, должно быть, такое правило в заведении…

Даже не объяснился порядком; увидал на улице Лёвку и убежал.

Лёвку он полюбил пуще прежнего, потому что бедный дурак еще жальче стал. Как и шесть лет тому назад, он ходил босой, худой, держа руки граблями, — но весь оброс волосами и вытянулся с коломенскую версту. Милитриса Кирбитьевна давно от него отказалась: не кормила его и почти совсем не одевала. Поэтому он был всегда голоден, и если б не сердобольные торговки-калашницы, то давно бы с голоду помер. Но больше всего он страдал от уличных мальчишек. Отдыху они ему не давали: дразнились, науськивали на него собак, щипали за икры, теребили на нем рубашку. Целый день раздавался на улице его вой, сопровождаемый неистовым дурацким щелканьем. Он выл от боли, но не понимал, откуда эта боль идет.

Дурак защитил Лёвку, обогрел, накормил и одел. Все, что для Лёвки было нужно, Иванушка брал без спроса; а ежели не знал, где найти, то требовал таким тоном, как будто самое представ-

ление об отказе ему было совершенно чуждо. Только у дураков бывает такая убежденность в голосе, такая непререкаемость во взорах. Никого и ничего он не боялся, ни к чему не питал отвращения и совсем не имел понятия об опасности. Завидев исправника, он не перебегал на другую сторону улицы, но шел прямо навстречу, точно ни в чем не был виноват. Случится в городе пожар — он первый идет в огонь; услышит ли, что где-нибудь есть трудный больной, — он бежит туда, садится к изголовью больного и прислуживает. И умные слова у него в таких случаях оказывались, словно он и не дурак. Одно только тяжелым камнем лежало на его сердце: мамочка бессонные ночи проводила, пока он дурачество свое ублажал. Но было в его судьбе нечто непреодолимое, что фаталистически влекло его к самоуничижению и самопожертвованию, и он инстинктивно повиновался этому указанию, не справляясь об ожидаемых последствиях и не допуская сделок даже в пользу кровных уз.

Не раз родители задумывались, каким бы образом дурака пристроить, чтобы он хоть мало-мальски на человека похож был. Определил было папочка его на службу чем-то вроде попечителя местного училища (без жалованья, дескать,

и дурак сойдет, а с жалованьем — даже наверное!); но дурак сразу такую ахинею понес, что исправник только во внимание к испытанному благонравию родителей согласился это дело замять. Тогда мамочка напала на мысль — женить дурака: может быть, Бог узы ему разрешит[261]. Подыскали невесту, молодую купеческую вдову Подвохину. Невеста из себя писаная краля была и в гостином дворе две лавки имела. Вдовела она безупречно, товар держала всегда первейшего качества и дела свои по торговле вела умело и самостоятельно. Словом сказать, лучшей партии и желать не надо. Дурак, в свою очередь, тоже понравился невесте: внешность у него была приличная, поведение — кроткое. Даже ума в нем она не отрицала, как другие, но только находила, что нужно этот ум развязать. И вполне на себя надеялась, что успеет в этом.

Но у дурака все вообще инстинкты до такой степени глубоко спали, что даже эта жалостливая и скромная женщина удивилась. Ни разу он не дрогнул от прикосновения к ней, ни разу не смутился, не почувствовал ни одной из тех неловкостей, к которым с таким сердечным жалением

---

[261] Notes: 261
То есть наделит потомством.

относятся женщины, инстинктивно угадывая в них первые, сладостнейшие трепетания любви. Придет дурак, отобедает, чаю напьется и, по-видимому, совсем не понимает, почему он находится у Подвохиной, а не дома.

— Как это вам не скучно: ничего вы не понимаете? — спросит его красавица-вдова.

— Ах нет, мне очень скучно! Говорят, будто оттого, что занятия у меня никакого нет.

— Так вы займитесь… полюбите кого-нибудь!

— Помилуйте! как же возможно не любить! всех любить надо. Счастливых — за то, что они сумели себя счастливыми сделать; несчастных — за то, что у них радостей нет.

Так это сватовство и не состоялось. Потужила вдова Подвохина и даже пообещала годок подождать, но месяц-другой потерпела, да в рождественский мясоед и вышла замуж за городского голову Лиходеева. Теперь у них уж четыре лавки в гостином дворе; по будням они во всех четырех лавках торг ведут: она — по галантерейной части, он — по бакалейной; а по праздникам исправника и прочих властей пирогом угощают.

А дурак засел дома на родительской шее и ухом не ведет. На пожары бегает, больных выхаживает, нищих целыми табунами домой приводит.

— Хоть бы Господь его прибрал! — шепчет папочка потихоньку, чтоб мамочка не слыхала.

А мамочка все молится, на милость Божью надеется. Просветит Господь разум Иванушкин пониманием, направит стопы его по стезе господина исправника, его помощника и непременного заседателя![262] Должен же он какую-нибудь должность по службе получить! не может быть, чтоб для всех было дело и только для него одного — ничего.

Только один человек на дурака иными глазами взглянул, да и тот был случайный проезжий. Ехал он мимо города и завернул к папочке, с которым он старинный-старинный приятель был. Пошли сказы да рассказы: помянули старину, об увлечениях молодости досыта наговорились, а между прочим и настоящего коснулись. Папочка двери на всякий случай притворил, и оба, что было на душе, все выложили. Объяснились. Не сказали, а подумали: «Так вот, брат, ты кто!» Разумеется, не обошлось без жалоб и на дурака; а так как с ним уж не чинились, то так-таки в его присутствии прямо «дураком» его и чествовали. Заинтересовался проезжий рассказами о дураке,

---

[262] Notes: 262

Непременный заседатель — избиравшийся от дворянства постоянный член суда.

остался ночевать у старого приятеля, а на другой день и говорит:

— Совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет — от этого он и к жизни приспособиться не может. Бывают и другие, которые от подлых мыслей постепенно освобождаются, но процесс этого освобождения стоит больших усилий и нередко имеет в результате тяжелый нравственный кризис. Для него же и усилий никаких не требовалось, потому что таких пор в его организме не существовало, через которые подлая мысль заползти бы могла. Сама природа ему это дала. А впрочем, несомненно, что настанет минута, когда наплыв жизни силою своего гнета заставит его выбирать между дурачеством и подлостью. Тогда он поймет. Только не советовал бы я вам торопить эту минуту, потому что, как только она пробьет, не будет на свете другого такого несчастного человека, как он. Но и тогда — я в этом убежден — он предпочтет остаться дураком.

Сказал это проезжий и проследовал из города дальше. А папочка между тем задумался. Начал всю свою жизнь перебирать, припоминая, какие у него подлые мысли бывали и каким манером он освобождался от них. И разумеется, как ни строго себя экзаменовал, но вышел из испытания

с честью. Никогда у него подлых мыслей не бывало, а следовательно, и освобождаться от них он надобности не ощущал. Отчего же, однако, он не дурак?

Наконец порешил на том, что у старого друга ум за разум зашел. «Сидят они там, в петербургских мурьях, да развиваются. Разовьются, да и завруться. А мы вот засели по Пошехоньям: не развиваемся, да зато и не завираемся — так-то прочнее. И врет он всё: никакого дара природы в дурачестве нет, и ежели, по милости Божией, мой дурак когда-нибудь умницей сделается, то, наверное, несчастным оттого не будет, а поступит на службу, да и начнет жить да поживать, как и прочие все».

Порешивши таким родом, стал ждать: вот-вот Иванушка просияет и его, не в пример другим, на чреду служения призовут. Ан, вместо того, в одно прекрасное утро ему объявили, что дурак совсем из дома исчез.

Прошли годы; старики-родители очи выплакали. Не было той минуты, в которую бы они не ждали; не было той мысли, которая бы прямо или косвенно не относилась к исчезнувшему дураку. Все перезабыли старики, только об одном помнили: «Где он теперь? сыт ли? одет ли?

много ли дураку нужно, чтоб погибнуть!» Не дай Бог врагу испытывать эту пытку родительского сердца, которое все вины на себя берет, всеми детскими стонами, в тысячекратно раздающемся эхе, раздирается!

Однако дурак воротился. Внезапно, точно так же, как и исчез. Но от прежнего цветущего здоровьем дурака не осталось и следов. Он был бледен, худ и измучен. Где он скитался? что видел? понял или не понял? — никто ничего дознаться от него не мог. Пришел он домой и замолчал.

Во всяком случае, проезжий был прав: так до смерти и осталась при нем кличка: *дурак*.

1885

Соседи

В некотором селе жили два соседа: Иван Богатый да Иван Бедный. Богатого величали «сударем» и «Семенычем», а бедного — просто Иваном, а иногда и Ивашкой. Оба были хорошие люди, а Иван Богатый — даже отличный. Как есть во всей форме филантроп. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил. «Это, — говорит, — с моей стороны лепта. Другой, — говорит, — и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно — это уж свинство. А я еще ничего». А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но взамен того производил ценности. И тоже говорил: «Это с моей стороны лепта».

Сойдутся они вечером под праздник, когда и бедным, и богатым — всем досужно, сядут на лавочку перед хоромами Ивана Богатого и начнут калякать.

— У тебя завтра с чем щи? — спросит Иван Богатый.

— С пу́стом, — ответит Иван Бедный.

— А у меня с убоиной.

Зевнет Иван Богатый, рот перекрестит, взгля-

нет на Бедного Ивана, и жаль ему станет.

— Чудно́ на свете деется, — молвит он, — который человек постоянно в трудах находится, у того по праздникам пустые щи на столе; а который при полезном досуге состоит — у того и в будни щи с убоиной. С чего бы это?

— И я давно думаю: «С чего бы это?» — да недосуг раздумывать-то мне. Только начну думать, ан в лес за дровами ехать надобно; привез дров — смотришь, навоз возить или с сохой выезжать пора пришла. Так, между делом, мысли-то и уходят.

— Надо бы, однако, нам это дело рассудить.

— И я говорю: надо бы.

Зевнет и Иван Бедный с своей стороны, перекрестит рот, пойдет спать и во сне завтрашние пустые щи видит. А на другой день проснется — смотрит, Иван Богатый сюрприз ему приготовил: убоины, ради праздника, во щи прислал.

В следующий предпраздничный канун опять сойдутся соседи и опять за старую материю примутся.

— Веришь ли, — молвит Иван Богатый, — и наяву, и во сне только одно я и вижу: сколь много ты против меня обижен!

— И на этом спасибо, — ответит Иван Бедный.

— Хоть и я благородными мыслями немалую пользу обществу приношу, однако ведь ты… не выйди-ка ты вовремя с сохой — пожалуй, и без хлеба пришлось бы насидеться. Так ли я говорю?



— Это так точно. Только не выехать-то мне нельзя, потому что в этом случае я первый с голоду пропаду.

— Правда твоя: хитро эта механика устроена. Однако ты не думай, что я ее одобряю, — ни боже мой! Я только об одном и тужу: «Господи! как бы так сделать, чтобы Ивану Бедному хорошо было?! Чтобы и я — свою порцию, и он — свою порцию».

— И на этом, сударь, спасибо, что беспокоитесь. Это действительно, что кабы не добродетель ваша — сидеть бы мне праздник на тюре на одной…

— Что́ ты! что́ ты! разве я об том! Ты об этом забудь, а я вот об чем. Сколько раз я решался: «Пойду, мол, и отдам пол-имения нищим!» И отдавал. И что же! Сегодня я отдал пол-имения, а назавтра проснусь — у меня, вместо убылой-то половины, целых три четверти опять объявилось.

— Значит, с процентом…

— Ничего, братец, не поделаешь. Я — от денег, а деньги — ко мне. Я бедному пригоршню, а мне, вместо одной-то, неведомо откуда, две. Вот ведь чудо какое!

Наговорятся и начнут позевывать. А между разговором Иван Богатый все-таки думу думает: «Что бы такое сделать, чтобы завтра у Ивана

Бедного щи с убоиной были?» Думает-думает, да и выдумает.





— Слушай-ка, миляга! — скажет. — Теперь уж недолго и до ночи осталось, сходи-ка ко мне в огород грядку вскопать. Ты шутя часок лопатой поковыряешь, а я тебя, по силе возможности, награжу — словно бы ты и взаправду работал.

И действительно, поиграет лопатой Иван Бедный часок-другой, а завтра он с праздником, словно бы и «взаправду поработал».

Долго ли, коротко ли соседи таким манером калякали, только под конец так у Ивана Богатого сердце раскипелось, что и взаправду невтерпеж ему стало. «Пойду, — говорит, — к самому На́большему, паду перед ним и скажу: „Ты у нас око царево! ты здесь решишь и вяжешь, караешь и милуешь! Повели нас с Иваном Бедным в одну версту поверстать. Чтобы с него рекрут — и с меня рекрут, с него подвода — и с меня подвода, с его десятины грош — и с моей десятины грош. А души чтобы и его, и моя от акциза одинаково свободны были!“»

И как сказал, так и сделал. Пришел к Наибольшему, пал перед ним и объяснил свое горе. И Наибольший за это Ивана Богатого похвалил. Сказал ему: «Исполать тебе, добру молодцу, за то, что соседа своего, Ивашку Бедного, не забываешь. Нет для начальства приятнее, как ежели государевы

подданные в добром согласии и во взаимном радении живут, и нет того зла злее, как ежели они в сваре, в ненависти и в доносах друг на дружку время проводят!» Сказал это Набольший и, на свой страх, повелел своим помощникам, чтобы, в виде опыта, обоим Иванам суд равный был и дани равные, а того бы, как прежде было: один тяготы несет, а другой песенки поет — впредь чтобы не было.

Воротился Иван Богатый в свое село, земли под собою от радости не слышит.

— Вот, друг сердешный, — говорит он Ивану Бедному, — своротил я, по милости начальнической, с души моей камень тяжелый! Теперь уж мне супротив тебя, в виде опыта, никакой вольготы не будет. С тебя рекрут — и с меня рекрут, с тебя подвода — и с меня подвода, с твоей десятины грош — и с моей грош. Не успеешь и ты оглянуться, как у тебя от одной этой поровёнки во щах ежеде́нь убоина будет!

Сказал это Иван Богатый, а сам, в надежде славы и добра, уехал на теплые воды, где года два сряду и находился при полезном досуге.

Был в Вестфалии — ел вестфальскую ветчину; был в Страсбурге — ел страсбургские пироги; в Бордо был — пил бордоское вино; наконец

приехал в Париж — все вообще пил и ел. Словом сказать, так весело прожил, что насилу ноги унес. И все время об Иване Бедном думал: «То-то он теперь, после поровёнки-то, за обе щеки упи-сывает!»



А Иван Бедный между тем в трудах жил. Сегодня вспашет полосу, а завтра заборонует; сегодня скосит осьминник, а завтра, коли Бог вёдрушко даст, сено сушить принимается. В кабак и дорогу позабыл, потому знает, что кабак — это погибель его. И супруга его, Марья Ивановна, заодно с ним трудится: и жнет, и боронует, и сено трясет, и дрова колет. И детушки у них подросли — и те так и рвутся хоть с эстолько поработать. Словом сказать, вся семья с утра до ночи словно в котле кипит, и все-таки пустые щи не сходят у нее со стола. А с тех пор как Иван Богатый из села уехал, так даже и по праздникам сюрпризов Иван Бедный не видит.

— Незадача нам, — говорил бедняга жене, — вот и сравняли меня, в виде опыта, в тягостях с Иваном Богатым, а мы все при прежнем интересе находимся. Живем богато, со двора покато; чего ни хватись, за всем в люди покатись.

Так и ахнул Иван Богатый, как увидел соседа в прежней бедности. Признаться сказать, первою его мыслью было, что Ивашка в кабак прибытки свои таскает. «Неужели он так закоренел? неужели он неисправим?» — восклицал он в глубоком огорчении. Однако Ивану Бедному не стоило никакого труда доказать, что у него не только на

вино, но и на соль не всегда прибытков достаточно. А что он не мот, не расточитель, а хозяин радетельный, так и тому доказательства были налицо. Показал Иван Бедный свой хозяйственный инвентарь, и все оказалось в целости, в том самом виде, в каком было до отъезда богатого соседа на теплые воды. Лошадь гнедая покалеченная — 1; корова бурая, с подпалиной — 1; овца — 1; телега, соха, борона. Даже старые дровнишки — и те прислонены к забору стоят, хотя по летнему времени надобности в них нет и, стало быть, можно было бы без ущерба для хозяйства их в кабаке заложить. Затем осмотрели и избу — и там все налицо, только с крыши местами солома повыдергана; но и это произошло оттого, что позапрошлой весной кормов недостало, так из прелой соломы резку для скота готовили.

Словом сказать, не оказалось ни единого факта, который обвинял бы Ивана Бедного в разврате или в мотовстве. Это был коренной, задавленный русский мужик, который напрягал все усилия, чтобы осуществить все свое право на жизнь, но, по какому-то горькому недоразумению, осуществлял его лишь в самой недостаточной степени.

— Господи! да с чего ж это? — тужил Иван Богатый. — Вот и поравняли нас с тобой, и права у нас

одни, и дани равные платим, и все-таки пользы для тебя не предвидится — с чего бы?

— Я и сам думаю: «С чего бы?» — уныло откликнулся Иван Бедный.

Стал Иван Богатый умом раскидывать и, разумеется, нашел причину. Оттого, мол, так выходит, что у нас нет ни общественного, ни частного почина. Общество — равнодушное; частные люди — всякий об себе промышляет; правители же хоть и напрягают силы, но вотще. Стало быть, прежде всего надо общество подбодрить.

Сказано — сделано. Собрал Иван Семеныч Богатый на селе сходку и в присутствии всех домохозяев произнес блестящую речь о пользе общественного и частного почина… Говорил пространно, рассыпчато и вразумительно, словно бисер перед свиньями метал; доказывал примерами, что только те общества представляют залог преуспеяния и живучести, кои сами о себе промыслить умеют; те же, кои предоставляют событиям совершаться помимо общественного участия, те сами себя зараньше обрекают на постепенное вымирание и конечную погибель. Словом сказать, все, что в азбуке-копейке[263]

[263] Notes: 263

Азбука-копейка — дешевое издание детского букваря.

вычитал, все так и выложил пред слушателями.

Результат превзошел все ожидания. Посадские люди[264] не только прозрели, но и прониклись самосознанием. Никогда не испытывали они такого горячего наплыва разнообразнейших ощущений. Казалось, к ним внезапно подкралась давно желанная, но почему-то и где-то задерживавшаяся жизненная волна, которая высоко-высоко подняла на себе этот темный люд. Толпа ликовала, наслаждаясь своим прозрением; Ивана Богатого чествовали, называли героем. И в заключение единогласно постановили приговор: 1) кабак закрыть навсегда; 2) положить основание самопомощи, учредив Общество доброхотной копейки.

В тот же день, по числу приписанных к селу душ, в кассу общества поступило две тысячи двадцать три копейки, а Иван Богатый, сверх того, пожертвовал неимущим сто экземпляров азбуки-копейки, сказав: «Читайте, други! тут все есть, что для вас нужно!»

Опять уехал Иван Богатый на теплые воды, и опять остался Иван Бедный при полезных трудах, которые на сей раз, благодаря новым условиям

---

[264] Notes: 264
Посадские люди — горожане, мещане.

самопомощи и содействию азбуки-копейки, несомненно должны были принести плод сторицею.

Прошел год, прошел другой. Ел ли в течение этого времени Иван Богатый в Вестфалии вестфальскую ветчину, а в Страсбурге — страсбургские пироги, достоверно сказать не умею. Но знаю, что когда он по окончании срока воротился домой, то в полном смысле слова обомлел.

Иван Бедный сидел в развалившейся лачуге, худой, отощалый; на столе стояла чашка с тюрей, в которую Марья Ивановна по случаю праздника подлила, для запаха, ложку конопляного масла. Детушки обсели кругом стола и торопились есть, как бы опасаясь, чтоб не пришел чужак и не потребовал сиротской доли.

— С чего бы это? — с горечью, почти с безнадежностью, воскликнул Иван Богатый.

— И я говорю: «С чего бы это?» — по привычке отозвался Иван Бедный.

Опять начались предпраздничные собеседования на лавочке перед хоромами Ивана Богатого; но как ни всесторонне рассматривали собеседники удручавший их вопрос, ничего из этих рассмотрений не вышло. Думал было сначала Иван Богатый, что оттого это происходит, что не дозрели мы; но, рассудив, убедился, что есть пи-

рог с начинкою — вовсе не такая трудная наука, чтоб для нее был необходим аттестат зрелости. Попробовал было он поглубже копнуть, но с первого же абцуга[265] такие пугала из глубины повыскакали, что он сейчас же дал себе зарок — никогда ни до чего не докапываться. Наконец решились на последнее средство: обратиться за разъяснением к местному мудрецу и филозофу Ивану Простофиле.



[265] Notes: 265
То есть с самого начала.

Простофиля был коренной сельчанин, колченогий горбун, который, по случаю убожества, ценностей не производил, а питался тем, что круглый год в кусочки ходил[266]. Но в селе про него говорили, что он умен, как поп Семен, и он вполне оправдывал эту репутацию. Никто лучше его не умел на бобах развести и чудеса в решете показать. Посулит Простофиля красного петуха — глядь, ан петух уж где-нибудь на крыше крыльями хлопает; посулит град с голубиное яйцо — глядь, ан от града с поля уж ополоумевшее стадо бежит. Все его боялись, а когда под окном раздавался стук его нищенской клюки, то хозяйка-стряпуха торопилась как можно скорее подать ему лучший кусок.

И на этот раз Простофиля вполне оправдал свою репутацию прозорливца. Как только Иван Богатый изложил пред ним обстоятельства дела и затем предложил вопрос: «С чего бы?» — Простофиля тотчас же, нимало не задумываясь, ответил:

— Оттого, что в плантý так значится.

Иван Бедный, по-видимому, сразу понял Простофилину речь и безнадежно покачал головой.

---

[266] Notes: 266
То есть просил милостыню.

Но Богатый Иван решительно недоумевал.

— Плант такой есть, — пояснил Простофиля, отчетливо произнося каждое слово и как бы наслаждаясь собственным прозорливством, — и в оном планту значится: живет Иван Бедный на распутии, а жилище у него не то изба, не то решето дырявое. Вот богачество-то и течет все мимо да скрозь, потому задержки себе не видит. А ты, Богатый Иван, живешь у самого стёка, куда со всех сторон ручьи бегут. Хоромы у тебя просторные, справные, частоколы кругом выведены крепкие. Притекут к твоему жительству ручьи с богачеством — тут и застрянут. И ежели ты, к примеру, вчера пол-имения роздал, то сегодня к тебе на смену целых три четверти привалило. Ты — от денег, а деньги — к тебе. Под какой куст ты ни заглянешь, везде богачество лежит. Вот он каков, этот плант. И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту так значится.

1885

Здравомысленный заяц

Хоть и обыкновенный это был заяц, а преумный. И так здраво рассуждал, что и ослу впору. Притаится под кустом, чтоб не видать его было, и сам с собой разговаривает.

— Всякому, — говорит, — зверю свое житье предоставлено. Волку — волчье, льву — львиное, зайцу — заячье. Доволен ты или недоволен своим житьем, никто тебя не спрашивает: живи, только и всего. Нашего брата, зайца, например, все едят, — кажется, имели бы мы основание на сие претендовать? Однако, ежели рассудить здраво, то едва ли подобная претензия могла бы назваться правильною. Во-первых, кто ест, тот знает, зачем и почему ест; а во-вторых, если бы мы и правильно претендовали, от этого нас есть не перестанут. Сверх препорции все равно не будут есть, а сколько надо — непременно съедят. Статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые…

На этом заяц обыкновенно засыпал, потому что статистика имела свойство приводить его в беспамятство. Но выспится и опять примется здраво рассуждать:

— Едят нас, едят, а мы, зайцы, что год, то больше плодимся. Стало быть, и нам пальца в рот не клади. И летом, и зимой посмотри на поляну — то и дело, что зайцы вдоль и поперек сигают. Заберемся мы в капустники или в овсы, или около молодых яблонь пристроимся, — пожалуй, и от нашего брата солоно мужичку придется. Да, и за нами, за зайцами, глаз да глаз нужен. Недаром статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые…

Новый сон, новые пробуждения, новые здравые мысли. Без конца заяц умную свою канитель разводил; и так прикинет, и этак смекнет — и все у него хорошо выходило. И что всего дороже — ни карьеры он при этом в виду не имел, ни перед начальством оригинальностью взглядов блеснуть не рассчитывал (он знал, что начальство, не выслушавши его, съест), а просто-напросто сам для себя любил солидно, по-заячьи, обо всем рассудить. Дескать,

> *Неправо о вещах те думают, Шувалов,*
>
> *Которые стекло чтут ниже минералов…*[267]

---

[267] Notes: 267
Из «Письма о пользе стекла…» М. В. Ломоносова.

Вот, мол, у нас как!

Сидел он однажды таким манером под кустиком, да и вздумал перед зайчихой своей здравыми мыслями щегольнуть. Встал на задние ножки, ушки на макушку взбодрил, передними лапками штуки-фигуры выделывает, а языком, слово за словом, точно горох, так и сыплет.

— Нет, — говорит, — мы, зайцы, даже очень хорошо прожить можем. Мы и свадьбы справляем, и хороводы водим, и пиво в престольные праздники варим. Расставим верст на десять сторожей, да и горланим. А волк услышит, да и прибежит: «Кто песни пел?..» Ну, тут, натурально, кто куда поспел! Успел улепетнуть — в другом месте пиво вари; не успел — съест тебя волк, как пить даст! И ничего ты с этим не поделаешь. Зайчиха! правду ли я говорю?

— Коли не врешь, так правду говоришь, — ответила зайчиха, которая уже за десятым мужем за этим зайцем была, и все прежние девятеро у нее на глазах напрасною смертью погибли.

— Подлый народ эти волки — это правду надо сказать. Все у них только разбой на уме! — продолжал заяц. — Сколько раз я и говорил, и в газетах писал: «Господа волки! вместо того чтоб зайца сразу резать, вы бы только шкурку с него содра-

ли — он бы спустя время другую вам предоставил! Заяц, хошь он и плодущ, однако, ежели сегодня целый косяк вырезать, да завтра другой косяк — глядь, ан на базаре-то вместо двугривенного заяц уж в полтину вскочил! А кабы вы чередом пришли: „Господа, мол, зайцы! не угодно ли на сегодняшнюю волчью трапезу столько-то десятков штук предоставить!“ — „С удовольствием, господа волки! Эй, староста! гони очередных!“ И шло бы у нас все по закону, как следует. И волки, и зайцы — все бы в надежде были. И мы бы, и вы бы, и с одной стороны, и с другой стороны… ах, господа, господа!»

Говорил-говорил заяц и чуть было совсем не зарапортовался, как вдруг услышал, что неподалёчку, в траве, что-то шуршит. Смотрит, ан зайчиха-то его давно стречка дала, а лиса-кляузница легла на брюхо, да и ползет на него, словно поиграть с заинькой собралась.

— Вон ты какой, заяц, умный! — первая заговорила лиса. — Так ты сладко растабарываешь, что век бы я тебя слушала и все бы слушать хотелось!

Умен был заяц, а спервоначалу и он обомлел. Стоит на задних лапках как вкопанный, не то в сторону глазами косит, куда бы стречка дать,

не то обдумывает: «Вот оно, когда пришлось с здравой точки зрения на свое положение взглянуть…»

— Голодна, тетенька? — спросил он, стараясь как можно меньше робеть.

— И! что ты! Господь с тобой! да я пресытехонька! разве потом что будет, а теперь — и Боже меня сохрани! Здравствуй, заинька, будь здоров!

Села лиса по-собачьему и заиньку присесть пригласила; и он ножки под себя поджал. Поджал, сердечный, и все сам с собой рассуждает: «Как, мол, я ожидал, так, по-моему, и вышло. Всякому зверю свое житье: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье. Ну-тка, вывози теперь, заячье житье!»

А лисица точно читает в его сокровенных мыслях, сидит да знай заиньку похваливает.

— И откуда ты к нам, такой филозóф, пожаловал?

— Недавно я, тетенька, из-за тридевять земель, как угорелый, сюда прикатил. Жил я в своем месте, можно сказать, даже очень хорошо. И семейство у меня было, и обзаведеньице, и все такое. Целую зиму мы у помещика на скотном

дворе в омёте[268] припеваючи прожили: днем спим, а ночью кленков да яблонек погрызем. Уж дело к весне шло, в лес бы собираться на дачу пора, ан к нам в омёт волк пожаловал. «Какие такие звери? по какому виду?[269] с чьего разрешения?..» Я-то, признаться, убег, а зайчиха с зайчатами…

— Слышала я об этом. Волк-то мне кумом приходится, так сказывал. «Намеднись, — говорит, — я целое заячье гнездо разорил, а заяц убег, так как бы нам, кума, его разыскать?» Ан ты вот он — он. Смотри, жену-то, чай, жалко было?

— Уж и не помню. Вижу, что надо бежать, — и побежал. Прибежал, смотрю — зайчиха-вдова сидит: «Давай, мол, вместе жить!» И стали жить. Жили мы с ней, нельзя похаять, исправно, а теперь вот она убежала, а я остался.

— Ах ты, горюн, горюн! Ну, дай срок, мы ее изымем!

Лисица зевнула, легонько куснула зайца за ляжку (он, однако, сделал вид, что не заметил), повалилась на бок, откинула голову и зажмурилась.

— Ишь ведь солнце-то жарит, — лениво про-

---

[268] Notes: 268
Омёт — большая куча плотно уложенной соломы.

[269] Notes: 269
Речь идет о паспорте.

бормотала она, — словно дело делает! Сём, я вздремну, а ты тем временем сядь поближе да покалякай.

Так и сделали. Лиса задремала, а заяц с таким расчетом сел, чтоб лисе его во всякое время мордой достать было можно, и начал сказки сказывать.

— Я, тетенька, не привередлив, — говорил он, — я всячески жить согласен. И трех лет еще нет, как я на свете живу, а уж чуть не половину России обегал. Только что в одном месте оснуёшься — глядь, либо волк, либо сова, либо охотнички с облавой на тебя собрались. Беги сломя голову, устраивайся по-новому за тридевять земель. Но я на это не ропщу, потому понимаю, что такова есть заячья жизнь. А ежели иной раз и не понимаю, то и не понимаючи все-таки бегу. Все одно как мужики в наших местах. Он спать собрался, а под окном у него — тук-тук! «Ступай, дядя Михей, с подводой!» На дворе метель, стыть, лошаденка у него чуть дышит, а он навалит на подводу солдат, да и прет двадцать верст около саней пешком. Через сутки, гляди, опять домой вернулся, ребятам пряника привез, жене — платок на голову, всем вообще — слезы. Спроси его: «Что́ сие означает?» — он тебе ответит: «Означает сие мужицкую

жизнь». Так-то и мы, зайцы. Жить — живем, а рук на себя не накладываем. Всегда мы готовы… Так ли я, тетенька, говорю?

Лиса, вместо ответа, тихо лайнула, точно во сне; заяц искоса взглянул на нее: «Не спит ли, мол, тетенька?» Не было ли у него при этом на уме, в случае чего, стречка дать? Наверное сказать не могу, но очень возможно, что и такого рода политика в программу заячьей жизни входит. Однако хотя лиса не только глаза зажмурила, но легла на спину и даже ноги, подлая, распялила, но заяц чутьем догадался, что она это комедии перед ним разыгрывает.

— Расскажу я тебе, — продолжал он, — как у меня дядя у одного солдата в услужении жил. Поймал его солдат еще махонького и всему солдатскому обиходу выучил. Из ружья ли выпалить, артикул ли выкинуть, смаршировать ли, в барабан ли зо́рю отбить — на все дядя за первый сорт был. Ездят, бывало, вдвоем по базарам, представленья показывают, а им — кто яйцо, кто копеечку, кто хлеба кусок, Христа ради, подаст. Так вот этот самый солдат житие свое дяде рассказывал. «Жил я, — говорит, — в дому у родителей, и послал меня однажды батюшка сани на зиму изладить. Излаживаю я, песенки

попеваю, трубочку покуриваю — вдруг десятский на двор: „Ступай, Семен, в волостную, тебя в солдаты требуют“. Я в чем был, в том и ушел; хорошо, что трубку-то в штаны спрятать успел. Ушел, да двадцать лет после того и пропонтировал[270]. А через двадцать лет воротился в свое место — ни кола, ни двора, чисто!..» Так вот оно, — прибавил рассудительно заяц, — мужичья-то жизнь как оборачивается! Сейчас он — мужик, а сейчас — солдат, и то и другое житьем называется. Так-то вот и с нами, зайцами…

— Неужто ж вас в солдаты отдают? — спросила лиса, точно сейчас проснулась.

— Нет, нас едят, — ответил заяц как можно веселее.

— И я тоже думаю, потому что какие же вы солдаты! хуже старинной гарнизы, которую славный генерал Бибиков «негодницей» звал[271]. И дядю-то твоего, поди, солдат под конец съел?

---

[270] Notes: 270

Заяц, очевидно, говорит про очень старинные времена, когда солдатская служба продолжалась не меньше 20 лет и когда рекрутов, из опасения, чтобы они не бежали в дороге, забивали в колодки. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[271] Notes: 271

Генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков (1729–1774), будучи направленным на подавление восстание Пугачева, сетовал на бездействие гарнизонных отрядов в письме генерал-фельдмаршалу З. Г. Чернышеву.

— Нет, солдат-то умер, а дядя в ту пору бежал. Пришел домой, а заячьей работы работать не может — отвык. И тетка задаром кормить его не согласна. Вот он однажды и надумал: «Пойду в село на базар, буду комедии представлять». Да только что зачал «кавалерийскую рысь» на барабане отхватывать — его собаки и разорвали!

— И поделом: зачем публику беспокоил. Впрочем, ведь дядя-то твой, чай, и зараньше знал, что когда-нибудь да съедят его. Не собаки, так волк, не волк, так лисица. Резолюция-то вам всем одна. Ну, а покуда что, скажи мне: лисицы-то каковы в вашей стороне? Лихи, чай?

— В нашей стороне лисицы, нужно правду сказать, даже очень лихи. Я-то ни с одной близко не встречался, а видел, как однажды лисицу, у меня в глазах, охотничек заполевал. И, признаться…

Заяц хотел сказать: «обрадовался», но спохватился и обробел; однако лиса отгадала его мысль.

— Вот ведь ты кровопивец какой! — укорила она его и так больно укусила ему бок, что из раны полилась кровь.

— Ах! — взвизгнул заяц от боли, но в одну минуту сдержал себя и молодецки поправился. — Это я, ваше высокое степенство, о тамошних лисах

говорю, а здешние лисицы, сказывают, добрые.

— Ой ли?

— Верно говорю. В прошлом году у нас в лесу зайчик-сирота остался, так одна лисица его с своими детьми, слышь, воспитала.

— Вырастила, значит, и выпустила? Где ж он теперь, сиротка-то ваш?

— Кто его знает, где он теперь… Пропал будто. Поворовывать, говорят, начал, скружился, а наконец, и лисицу молоденькую соблазнил. За это будто бы его старуха-лисица и съела.

— Я его съела, я — та самая лисица и есть, о которой ты слышал. Только не за то я его съела, что он скружился и в разврат впал, а за то, что пора его приспела.

Лисица на минуту задумалась и щелкнула зубами, поймав блоху. Потом, не торопясь, встала, встряхнулась и совершенно добродушно спросила зайца:

— А теперь, как ты полагаешь, кого я есть буду?

Умен был заяц, а не угадал. Или, лучше сказать, у него тогда уже в уме мелькнуло: «Вот оно, заячье-то житье… начинается!» — но ему смерть не хотелось даже самому себе признаться в этом.

— Не знаю, — ответил он.

Однако и по лицу, и по голосу его так было явно, что он лжет, что лиса не на шутку рассердилась.

— Вот ты какой лгун! — сказала она. — Мне про тебя и невесть чего наговорили: и филозóф-то ты, и сердцеведец-то, а выходит, что ты самый обыкновенный, плохой зайчонко! Тебя буду есть! тебя, сударь, тебя!

Лиса отпрянула назад и сделала вид, что вот-вот сейчас бросится на зайца и съест. Но вслед за тем она села и, как ни в чем не бывало, начала задней ногой за ухом чесать.

— А может быть, ты и помилуешь? — вполголоса сделал робкое предположение заяц.

— Час от часу не легче! — еще пуще рассердилась лиса. — Где ты это слыхал, чтобы лисицы миловали, а зайцы помилование получали? Разве для того мы с тобой, фофан ты этакой, под одним небом живем, чтобы в помилованья играть… а?

— Ну, тетенька, примеры-то эти бывали! — настаивал заяц, все еще хорохорясь. Но тут же, впрочем, упал духом и затосковал.

Вспомнилось ему, как он из конца в конец бегал, словно мужик-раскольщик, «вышнего града взыскуя»; как он по целым суткам в дупле, не евши, дрожал; как однажды, от лихого зверя спасаясь, он в подполицу к мужику расскакался, да

благо в ту пору Великий пост был, мужик-от его и выпустил. Вспомнил про своих зайчих-любушек, как он вместе с ними зайчат зóблил и как ни с одной порядком даже надышаться не успел. И, вспоминая, то и дело втихомолку твердил:

— Ах, кабы пожить! Ах, кабы хоть чуточку еще пожить!

А лиса тем временем и взаправду приятный сюрприз зайцу приготовила.

— Слушай, подлый зайчишко, — сказала она, — я ведь думала, что ты в самом деле филозóф, а тебя между тем, вишь, как от одной мысли о смерти коробит. Так вот я какую для тебя вольготу придумала. Отойду я на четыре сажени вперед, сяду к тебе задом и не буду на тебя, на гаденка этакого, целых пять минут смотреть. А ты в это время старайся мимо меня так пробежать, чтобы я тебя не поймала. Успеешь улизнуть — твоя взяла; не успеешь — сейчас тебе резолюция готова.

— Ах, тетенька, где уже мне!

— Глупый! ежели и не улизнешь, так все-таки время проведешь. Делом займешься, потрафлять будешь — ан тоски-то и убавится. Все равно как солдат на войне: потрафляет да потрафляет — смотришь, ан и пропал!

Заяц подумал-подумал и должен был согла-

ситься, что лиса хорошо придумала. Между делом быть съеденным все-таки вольготнее, нежели в томительно-праздном ожидании. Настоящая-то заячья смерть именно такова и есть, чтобы на всем скаку: бежишь во весь опор, ан тут тебе и капут.

«Ничего ты не понимаешь, что с тобой делается, а тебя вдруг пополам разорвали! — соображал заяц и машинально прибавил: — А может быть…»

— Ну, эти фантазии-то ты оставь! — предупредила его лиса, угадав неясную надежду, мелькнувшую у него в голове. — Ты лучше уж без фантазий… раз, два, три! Господи благослови, начинай!

Сказавши это, лиса отошла на четыре сажени вперед, предварительно посадивши зайца задом к частому-частому кустарнику, чтобы никак он не мог назад убежать, а бежал бы не иначе как мимо нее.

Села лисица и занялась своим делом, словно и не видит зайца. Но заяц нимало не сомневался, что если б она и еще на четыре сажени вперед отошла, то и тогда ни одно самомалейшее его движение не ускользнуло бы от нее. Несколько раз он вскакивал на ноги и уши на спину складывал; несколько раз он весь собирался в комок,

намереваясь сделать какой-то диковинный скачок, благодаря которому он сразу очутился бы вне преследования; но уверенность, что лиса, и не видя, все видит, приводила его в оцепенение. Тем не менее лиса все-таки была по-своему права: у зайца действительно нашлось заячье дело, которое в значительной мере агонию его смягчило.

Наконец урочные пять минут истекли, застав зайца неподвижным на прежнем месте и всецело погруженным в созерцание своего заячьего дела.

— Ну, теперь давай, заяц, играть! — предложила лисица.

Начали они играть. С четверть часа лисица прыгала вокруг зайца: то укусит его и совсем уж сберется горло перервать, то прыгнет в сторону и задумается: «Не простить ли, мол?» Но даже и это было для зайца своего рода дело, потому что ежели он и не оборонялся взаправду, то все-таки лапками закрывался, верезжал…

Но через четверть часа все было кончено. Вместо зайца остались только клочки шкуры да здравомысленные его слова: «Всякому зверю свое житье: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье».

1885

Либерал

В некоторой стране жил-был либерал, и притом такой откровенный, что никто слова не молвит, а он уж во все горло гаркает: «Ах, господа, господа! что вы делаете! ведь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а, напротив, все говорили: «Пускай предупреждает — нам же лучше!»

— Три фактора, — говорил он, — должны лежать в основании всякой общественности: свобода, обеспеченность и самодеятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мысли, не имея ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели общество сознает себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Ежели общество лишено самодеятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об отечестве.

Вот как мыслил либерал, и, надо правду сказать, мыслил правильно. Он видел, что кругом него люди, словно отравленные мухи, бродят,

и говорил себе: «Это оттого, что они не сознают себя строителями своих судеб. Это колодники, к которым и счастие, и злосчастие приходит без всякого с их стороны предвидения, которые не отдаются беззаветно своим ощущениям, потому что не могут определить, действительно ли это ощущения или какая-нибудь фантасмагория». Одним словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собою все остальные блага, необходимые для развития общественности.

Но этого мало: либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать. Заветнейшее его желание состояло в том, чтобы луч света, согревавший его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил ее и все живущее напоил благоволением. Всех людей он признавал братьями, всех одинаково призывал насладиться под сению излюбленных им идеалов.

Хотя это стремление перевести идеалы из области эмпиреев на практическую почву припахивало не совсем благонадежно, но либерал так искренно пламенел и притом был так мил и ко всем ласков, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой вы-

сказать, и простачком, где нужно, прикинуться, и бескорыстием щегольнуть. А главное, никогда и ничего он не требовал, наступя на горло, а всегда только *по возможности*.

Конечно, выражение «по возможности» не представляло для его ретивости ничего особенно лестного, но либерал примирялся с ним, во-первых, ради общей пользы, которая у него всегда на первом плане стояла, и, во-вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и преждевременной гибели. Сверх того, он знал, что идеалы, его одушевляющие, имеют слишком отвлеченный характер, чтобы воздействовать на жизнь непосредственным образом. Что такое свобода? обеспеченность? самодеятельность? Все это отвлеченные термины, которые следует наполнить несомненно осязательным содержанием, чтобы в результате вышло общественное цветение. Термины эти, в своей общности, могут воспитывать общество, могут возвышать уровень его верований и надежд, но блага осязаемого, разливающего непосредственное ощущение довольства, принести не могут. Чтобы достичь этого блага, чтобы сделать идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи и уже в этом виде применять к исцелению недугов,

удручающих человечество. Вот тут-то, при размене на мелочи, и вырабатывается само собой это выражение: «по возможности», которое из двух приходящих в соприкосновение сторон одну заставляет *в известной степени* отказаться от замкнутости, а другую — *в значительной степени* сократить свои требования. Все это отлично понял наш либерал и, заручившись этими соображениями, препоясался на брань с действительностью. И прежде всего, разумеется, обратился к сведущим людям.

— Свобода — ведь, кажется, тут ничего предосудительного нет? — спросил он их.

— Не только не предосудительно, но и весьма похвально, — ответили сведущие люди, — ведь это только клевещут на нас, будто бы мы не желаем свободы; в действительности мы только об ней и печалимся… Но, разумеется, в пределах…

— Гм… «в пределах»… понимаю! А что вы скажете насчет обеспеченности?

— И это милости просим… Но разумеется, тоже в пределах.

— А как вы находите мой идеал общественной самодеятельности?

— Его только и недоставало. Но разумеется, опять-таки в пределах.

Что ж! в пределах так в пределах! Сам либерал хорошо понимал, что иначе нельзя. Пусти-ка савраса без узды — он в один момент того накуролесит, что годами потом не поправишь! А с уздою — святое дело! Идет саврас и оглядывается: а ну-тко я тебя, саврас, кнутом шарахну… вот так!

И начал либерал «в пределах» орудовать: там урвет, тут урежет; а в третьем месте и совсем спрячется. А сведущие люди глядят на него и не нарадуются. Одно время даже так работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сделались.

— Действуй! — поощряли они его. — Тут обойди, здесь стушуй, а там и вовсе не касайся. И будет все хорошо. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя, козла, в огород пустить, да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесен!

— Вижу-то вижу, — соглашался либерал, — но только как мне стыдно свои идеалы ломать! так стыдно! ах как стыдно!

— Ну и постыдись маленько: стыд глаза не выест! зато, *по возможности,* все-таки затею свою выполнишь!

Однако, по мере того как либеральная затея *по возможности* осуществлялась, сведущие люди

догадывались, что даже и в этом виде идеалы либерала не розами пахнут. С одной стороны, чересчур широко задумано; с другой стороны — недостаточно созрело, к восприятию не готово.

— Невмоготу нам твои идеалы! — говорили либералу сведущие люди. — Не готовы мы, не выдержим!

И так подробно и отчетливо все свои несостоятельности и подлости высчитывали, что либерал, как ни горько ему было, должен был согласиться, что, действительно, в предприятии его существует какой-то фаталистический огрех: не лезет в штаны, да и баста.

— Ах, как это печально! — роптал он на судьбу.

— Чудак! — утешали его сведущие люди. — Есть отчего плакать! Тебе чтó нужно? — будущее за твоими идеалами обеспечить? — так ведь мы тебе в этом не препятствуем. Только не торопись ты, ради Христа! Ежели нельзя «по возможности», так удовольствуйся тем, что отвоюешь «хоть что-нибудь»! Ведь и «хоть что-нибудь» свою цену имеет. Помаленьку да полегоньку, не торопясь да Богу помолясь — смотришь, ан одной ногой ты уж и в капище! В капище-то, с самой постройки его, никто не заглядывал; а ты взял да и заглянул… И за то Бога благодари.

Делать нечего, пришлось и на этом помириться. Ежели нельзя «по возможности», так «хоть что-нибудь» старайся урвать, и на том спасибо скажи. Так либерал и поступил, и вскоре так свыкся с своим новым положением, что сам дивился, как он был так глуп, полагая, что возможны какие-нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к нему явились. И пшеничное, мол, зерно не сразу плод дает, а также поцеремонится. Сперва надо его в землю посадить, потом ожидать, покуда в нем произойдет процесс разложения, потом оно даст росток, который прозябнет, в трубку пойдет, восколосится и т. д. Вот через сколько волшебств должно перейти зерно прежде, нежели даст плод сторицею! Так же и тут, в погоне за идеалами. Посадил в землю «хоть что-нибудь» — сиди и жди.

И точно: посадил либерал в землю «хоть что-нибудь» — сидит и ждет. Только ждет-пождет, а не прозябает «хоть что-нибудь», и вся недолга. На камень оно, что ли, попало или в навозе сопрело — поди разбирай!

— Что за причина такая? — бормотал либерал в великом смущении.

— Та самая причина и есть, что загребаешь ты чересчур широко, — отвечали сведущие люди. —

А народ у нас между тем слабый, расподлеющий. Ты к нему с добром, а он норовит тебя же в ложке утопить. Большую надо сноровку иметь, чтобы с этим народом в чистоте себя сохранить!

— Помилуйте! что уж теперь о чистоте говорить! С каким я запасом-то в путь вышел, а кончил тем, что весь его по дороге растерял. Сперва «по возможности» действовал, потом на «хоть что-нибудь» съехал — неужто можно и еще дальше под гору идти?

— Разумеется, можно. Не хочешь ли, например, «применительно к подлости»?

— Как так?

— Очень просто. Ты говоришь, что принес нам идеалы, а мы говорим: «Прекрасно; только ежели ты хочешь, чтобы мы восчувствовали, то действуй применительно».

— Ну?

— Значит, идеалами-то не превозносись, а по нашему масштабу их сократи, да применительно и действуй. А потом, может быть, и мы, коли пользу увидим… Мы, брат, тоже травленые волки, прожектеров-то видели! Намеднись генерал Крокодилов вот этак же к нам отъявился: «Господа, — говорит, — мой идеал — кутузка! пожалуйте!» Мы сдуру-то поверили, а теперь и

сидим у него под ключом.

Крепко задумался либерал, услышав эти слова. И без того от первоначальных его идеалов только одни ярлыки остались, а тут еще подлость прямую для них прописывают! Ведь этак, пожалуй, не успеешь оглянуться, как и сам в подлецах очутишься. Господи! вразуми!

А сведущие люди, видя его задумчивость, с своей стороны, стали его понуждать: «Коли ты, либерал, заварил кашу, так уж не мудри, вари до конца! Ты нас взбудоражил, ты же нас и ублаготвори… действуй!»

И стал он действовать. И все применительно к подлости. Попробует иногда, грешным делом, в сторону улизнуть; а сведущий человек сейчас его за рукав: «Куда, либерал, глаза скосил? гляди прямо!»

Таким образом шли дни за днями, а за ними шло впереди дело преуспеяния «применительно к подлости». Идеалов и в помине уж не было — одна мразь осталась, — а либерал все-таки не унывал. «Что ж такое, что я свои идеалы по́ уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь — я и опять молодец молодцом!» А сведущие лю-

ди слушали эти его похвальбы и поддакивали: «Именно так!»

И вот шел он однажды по улице с своим приятелем, по обыкновению, об идеалах калякал и свою мудрость на чем свет превозносил. Как вдруг он почувствовал, словно бы на щеку ему несколько брызгов пало. Откуда? с чего? Взглянул либерал наверх: не дождик ли, мол? Однако видит, что в небе ни облака, и солнышко, как угорелое, на зените играет. Ветерок хоть и подувает, но так как помои из окон выливать не указано, то и на эту операцию подозрение положить нельзя.

— Что́ за чудо! — говорит приятелю либерал. — Дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят!

— А видишь, вон за углом некоторый человек притаился, — ответил приятель, — это его дело! Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он, «применительно к подлости», из-за угла и плюнул; а на тебя ветром брызги нанесло.

1885

Баран-непомнящий

Домашние бараны с незапамятных времен живут в порабощении у человека; их настоящие родоначальники неизвестны.

Брем[272]

Были ли когда-нибудь домашние бараны «вольными» — история об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами прирученных баранов, и затем, через все века, баран проходит распространенным по всему лицу земли в качестве животного, как бы нарочито на потребу человека созданного. Человек, в свою очередь, создает целые особые породы баранов, почти не имеющие между собой ничего общего. Одних воспитывают для мяса, других — для сала, третьих — ради теплых овчин, четвертых — ради обильной и мягкой волны.

Сами домашние бараны, конечно, всего меньше о вольном прародителе своем помнят, а просто знают себя принадлежащими к той породе, в которой застал их момент рождения. Этот момент

---

[272] Notes: 272

Брем Альфред Эдмунд (1829–1884) — немецкий зоолог, автор знаменитой научно-популярной книги «Жизнь животных».

составляет исходную точку личной бараньей истории, но даже и он постепенно тускнеет, по мере вступления барана в зрелый возраст. Так что истинно мудрым называется только тот баран, который ничего не помнит и не сознает, кроме травы, сена и месятки[273], предлагаемых ему в пищу.

Однако грех да беда на кого не живет. Спал однажды некоторый баран и увидел сон. Должно быть, не одну месятку во сне видел, потому что проснулся тревожный и долго глазами чего-то искал.

Стал он припоминать, что такое случилось; но, хоть убей, ничего вспомнить не мог. Даль какая-то, серебряным светом подернутая, и больше ничего. Только смутное ощущение этой бесформенной серебряной дали и осталось в нем, но никакого определенного очертания, ни одного живого образа…

— Овца! а, овца! чтó я такое во сне видел? — спросил он лежащую рядом овцу, которая, яко воистину овца, отроду снов не видала.

— Спи, выдумщик! — сердито отвечала овца. — Не для того тебя из-за моря привезли, чтоб сны

---

[273] Notes: 273
Месятка — месиво для откорма скота.

видеть да модника из себя представлять!

Баран был породистый английский меринос. Помещик Иван Созонтыч Растаковский шальные деньги за него заплатил и великие на него надежды возлагал. Но, конечно, не для того он его из-за моря вывез, чтоб от него поколение *умных* баранов пошло, а для того, чтоб он создал для своего хозяина стадо тонкорунных овец.

И в первое время по приезде его на место баран действительно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Ни о чем он не рассуждал, ничем не интересовался, даже не понимал, куда и зачем его привезли, а просто-напросто жил да поживал. Что же касается до вопроса о том, что такое баран и какие его права и обязанности, то баран не только никаких пропаганд по этому предмету не распространял, но едва ли даже подозревал, что подобные вопросы могут бараньи головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Созонтыч и сам нарадоваться на него не мог, и соседей любоваться водил: «Смотрите!»

И вдруг этот сон… Что это был за сон, баран решительно не мог сообразить. Он чувствовал только, что в существование его вторглось нечто

необычное, какая-то тревога, тоска. И хлев у него, по-видимому, тот же, и корм тот же, и то же стадо овец, предоставленное ему для усовершенствования, а ему ни до чего как будто бы дела нет. Бродит он по хлеву как потерянный и только и дела блеёт:

— Что́ такое я во сне видел? растолкуйте мне, что такое я видел?

Но овцы не выказывали ни малейшего сочувствия к его тревогам и даже не без ядовитости называли его умником и филозо́фом, что, как известно, на овечьем языке имеет значение худшее, нежели «моветон».

С тех пор как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом, шлёнской породы[274], баране, который перед тем четыре года сряду ими помыкал; но под конец, за выслугу лет, был определен на кухню и там без вести пропал (видели только, как его из кухни на блюде, с триумфом, в господский дом пронесли). То-то был настоящий служилый баран! Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а дело свое делал по точному разуму баранього устава — и больше ничего знать не хотел. И что

---

[274] Notes: 274
Немецкая порода тонкорунных овец.

же! его, старого и испытанного слугу, уволили, а на его место определили какого-то празднолюбца, мечтателя, который с утра до вечера неведомо о чем блеёт, а они, овцы, между тем ходят яловы!

— Совсем нас этот аглецкой олух не совершенствует! — жаловались овцы овчару Никите. — Как бы нам за него, за фофана, перед Иваном Созонтычем в ответе не быть?

— Успокойтесь, милые! — обнадежил их Никита. — Завтра мы его выстрижем, а потом крапивой высечем — шелковый будет!

Однако расчеты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь опять сон увидел.

С этих пор сны не покидали его. Не успеет он ноги под себя подогнуть, как дремá уже сторожит его, не разбирая, день или ночь на дворе.

И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не баранье сделается, а серьезное, строгое, как у старого, благомысленного мужичка из тех, что в старинные годы «министрами» называли. Так что всякий, кто ни пройдет мимо, непременно скажет: «Не на скотном дворе этому барану место — ему бы бурмистром следовало быть!»

Тем не менее, сколько он ни подстерегал себя,

чтобы восстановить в памяти только что виденный сон, усилия его по-прежнему оставались напрасными.

Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины, созерцание которых приводило его в восторженное состояние; но как только бодрственное состояние возвращалось, и образы и картины исчезали неведомо куда, и он опять становился заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шел навстречу своему бараньему делу, а теперь ходил ошеломленный, чего-то сдуру искал, а чего именно — сам себе объяснить не мог… Баран, да еще меланхолик — что, кроме ножа, может ожидать его в будущем?!

Но, кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет боли горшей, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания от тьмы к свету встревоженной бессознательности. Пристигнутое внезапной жаждой бесформенных чаяний, бедное, подавленное существо мечется и изнемогает, не умея определить ни характера этих чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем, и не знает, ради чего это пламя зажглось; оно смутно чует, что мир не окан-

чивается стенами хлева, что за этими стенами открываются светлые, радужные перспективы, и не умеет наметить даже признаки этих перспектив; оно предчувствует свет, простор, свободу — и не может дать ответа на вопрос, что́ такое свет, простор, свобода…

По мере учащения снов волнение барана все больше и больше росло. Ниоткуда не видел он ни сочувствия, ни ответа. Овцы с испугу жались друг к другу при его приближении; овчар Никита, хотя, по-видимому, и знал нечто, но упорно молчал. Это был умный мужик, который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну обязательную аксиому:

— Коли ты в бараньем сословии уродился, — говорил он солидно, — в ём, значит, и живи!

Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно «сословие»-то его и мучило, не потому, что ему худо было жить, а потому, что с тех пор, как он стал сны видеть, ему постоянно чуялось какое-то совсем другое «сословие».

Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею.

Тем не менее с течением времени тревоги его начали утихать, и он как будто даже остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на прежнюю баранью колею, а, напротив, скорее свидетельствовало об общем обессилении бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой.

Баран — очевидно, с предвзятым намерением — с утра до вечера спал, как будто искал обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему бодрственная действительность…

В то же время он с каждым днем все больше и больше чах и хирел и наконец сделался до того поразительно худ, что глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо между собой перешептываться. И по мере того как неразгаданный недуг овладевал им, лицо его становилось осмысленнее и осмысленнее. Овчары все до единого жалели о нем. Все знали, что он честный и добрый баран и что ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастие, вовсе баранам не свойственное, но в то же время — как многие инстинктивно догадывались — делающее ему лично великую честь.

Сам Иван Созонтыч сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле — нож, но Растаковский упорно отклонял это предложение.

— Плакали мои денежки, — говорил он, — но не затем я их платил, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умрет!

И вот вожделенный момент просияния наступил. Над полями мерцала теплая, облитая лунным светом, июньская ночь; тишина стояла кругом непробудная; не только люди притаились, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении.

В бараньем загоне все спало. Овцы, понурив головы, дремали около изгороди. Баран лежал одиноко, посередке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил. Выпрямил ноги, вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении, как бы прислушиваясь и всматриваясь, простоял он несколько минут, и затем сильное, потрясающее блеянье вырвалось из его груди…

Заслышав эти торжественно-агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих мест и шарахнулись в сторону. Сторожевой пес тоже

проснулся и с лаем бросился приводить в порядок всполошившееся стадо. Но баран уже не обращал внимания на происшедший переполох: он весь ушел в созерцание.

Перед тускнеющим его взором воочию развернулась сладостная тайна его снов…

Еще минута — и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мертвый рухнул на землю.

Иван Созонтыч был очень смертью его огорчен.

— И что́ за причина такая? — сетовал он вслух. — Все был баран как баран, и вдруг словно его осе́тило… Никита! ты пятьдесят лет в овчарах состоишь, стало быть, должен дурью эту породу знать: скажи, отчего над ним такая беда стряслась?

— Стало быть, «вольного барана» во сне увидел, — ответил Никита. — Увидать-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог… Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Все равно как из нашего брата бывает…

Но Иван Созонтыч от дальнейшего объяснения уклонился.

— Сие да послужит нам уроком! — похвалил он Никиту. — В другом месте из этого барана, может

быть, козел бы вышел, а по нашему месту такое правило: ежели ты баран, так и оставайся бараном без дальних затей. И хозяину будет хорошо, и тебе хорошо, и государству приятно. И всего у тебя будет довольно: и травы, и сена, и месятки. И овцы к тебе будут ласковы… Так ли, Никита?

— Это так точно, Иван Созонтыч! — отозвался Никита.

1885

Коняга

Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужичком ее одолели.

Коняга — обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалялась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит.

А силы Коняге набраться нéоткуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживится, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами сопрелая

ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел.

Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле. «Ну, милый, упирайся!» — услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними — забирает, морду к груди пригнет. «Ну, каторжный, вывози!» А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть — и Коняге, и мужику; каждый день смерть.

Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит; юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные — они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек,

вдали идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет.

Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало — той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи.

Лежит Коняга на самом солнечном припеке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи как бешеные мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а

он — только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли Коняга или помирает — нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе Бог бессловесной животине отказал.

Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой все дальше и дальше в бездонную глубь.

Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца-краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном — оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас — опять народилось. Не поймешь, что́ тут смерть и что́ жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель — Коняга. Для всех поле — раздолье, поэзия, простор; для Коня-

ги оно — кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему сквозь дремоту слышится окрик: «Ну, милый! ну, каторжный! ну!»

Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз… Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение — отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию — бедный Коняга знает о нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.

Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представ-

ляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несет это иго — он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди — не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа.

Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и

там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде все он, все один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни — только одно это для этой массы и ясно. Но что́ такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идет? — вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее… Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.

Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто с первого взгляда не скажет, что Коняга и Пустопляс — одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло.

Жил, во времена оны, старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а Коняга — неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик Конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но наконец рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля: Коняге — солома, а Пустоплясу — овес». Так с тех пор и пошло.

Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена ему в ясли засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: «Хлопай зубами, Коняга! А пить — вон из той лужи».

Совсем было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, — говорит, — мне стойло теплое, прискучила сыта медовая, не лезет в горло пшено ярое; пойду проведаю, каково-то мой братец живет!»

Смотрит — ан братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни попадя, а он живет; кормят его соломою, а он живет! И в какую сторону поля ни взгляни, везде все братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом — он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может!

И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать.

Один скажет:

— Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе

смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоров, Коняга! Делай свое дело, бди!

Другой возразит:

— Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь! Чтó такое здравый смысл? Здравый смысл, это — нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит! И покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит!

Третий молвит:



— Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа, дух жизни[275] — что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что он «настоящий труд» для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личною совестью, и с совестью масс и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся! загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда.

А четвертый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:

— Ах, господа, господа! все-то вы пальцем в небо попадаете! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а оттого, что он спокон веку к своей юдоли привычен. Теперича хоть целое дерево об него обломай, а он все жив. Вон он лежит — кажется, и духу-то в нем нисколько не осталось, — а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами выворты-вать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то́ дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек

---

[275] Notes: 275
Из стихотворения А. С. Хомякова «Киев».

этаких, по полю разбрелось — и все как один. Калечьте их теперича сколько угодно — их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас — его нет, а сейчас — он опять из-под земли выскочил.

И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами:

— Н-но, каторжный, шевелись!

Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется.

— Смотрите-ка, смотрите-ка! — закричат они вкупе и влюбе. — Смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! вот кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!

1885

Кисель

Сварила кухарка кисель и на стол поставила. Скушали кисель господа, сказали спасибо, а детушки пальчики облизали. На славу вышел кисель; всем по нраву пришелся, всем угодил. «Ах, какой сладкой кисель!», «ах какой мягкой кисель!», «вот так кисель!» — только и слов про него. «Смотри, кухарка, чтобы каждый день на столе кисель был!» И сами наелись, и гостей употчевали, а под конец и прохожим на улицу чашку выставили. «Поешьте, честные господа, киселя! вон он у нас какой: сам в рот лезет! Ешьте больше, он это любит!» И всякий подходил, совал в кисель ложкой, ел и утирался.

Кисель был до того разымчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал оттого, что его ели. Напротив того, слыша общие похвалы, он даже возмечтал. Стоит на столе да знай себе пузырится. «Стало быть, я хорош, коли господа меня любят! Не зевай, кухарка! подливай!»

Долго ли, коротко ли так шло, только стал постепенно кисель господам прискучивать. Господа против прежнего сделались образованнее; даже из подлого звания которые мало-мальски в чины

произошли — и те начали желеи да бламанжеи предпочитать.

— Помилуйте! — говорит один. — Что хорошего в этом киселе? разве это еда? попробуйте, какой он мягкой, да слизкой, да сладкой!

— Отдадимте, господа, кисель свиньям! — подхватил другой. — А сами уедем на теплые воды гулять! Нагуляемся вдосталь, а там, если уж это непременно нужно, и опять домой воротимся кисель есть.

Что же! свиньи так свиньи — право, киселю все равно, в каком ранге особа его ест. Лишь бы ели. Засунула свинья рыло в кисель по самые уши и на весь скотный двор чавкотню подняла. Чавкает да похрюкивает: «Покатаюся, поваляюся, господского киселя наевшись!» Сытости, подлая, не знает; чуть замешкается кухарка, она уж хрюкает: «Подливай!» А ежели скажут: «Был кисель, да весь вышел», — она и по углам, и по закоулкам, и под навозом мордой вышарит и уж где-нибудь да отыщет.

Ела да ела свинья и наконец все до капли съела. А господа между тем гуляли-гуляли, да и догулялись. Догулялись и говорят друг другу: «Теперь нам гулять больше не на что; айда домой кисель есть!»

Приехали домой, взялись за ложки — смотрят, ан от киселя остались только засохшие поскребушки.

И теперь все — и господа, и свиньи — все в один голос вопиют:

— Ели мы кисель, а про запас не оставили! Чем-то на будущее время сыты будем! Где ты, кисель? ау!

1885

Праздный разговор

Нынче этого нет, а было такое время, когда и между сановниками вольтерьянцы попадались. Само высшее начальство этой моды держалось, а сановники подражали.

Вот в это самое время жил-был губернатор, который многому не верил, во что другие, по простоте, верили. А главное, не понимал, для какой причины губернаторская должность учреждена.

Напротив, предводитель дворянства в этой губернии во все верил, а значение губернаторской должности даже до тонкости понимал.

И вот однажды уселись они вдвоем в губернаторском кабинете и заспорили.

— Между нами будь сказано, решительно я этого не понимаю, — сказал губернатор. — По моему мнению, если бы нас всех, губернаторов, без шума упразднить, то никто бы и не заметил.

— Ах, вашество, как вы так выражаетесь! — возразил ему удивленный и даже испуганный предводитель.

— Разумеется, я это конфиденциально… но ежели говорить по совести, то опять-таки повторяю: положительно я этого не понимаю! Представьте

себе: живут люди мирно, Бога помнят, царицу чтут — и вдруг к ним… губернатор!! Откуда? как? что за причина?

— А та и причина, что власть! — урезонивал его предводитель. — Нельзя без оной. Вверху — губернатор, посередке — исправник, внизу — тысяцкий[276]. А по бокам — предводители, председатели, воинство…

— Знаю. Но зачем? Вы говорите: «тысяцкий», — хорошо. Тысяцкий — это который при мужике, — понимаю и это. Теперь представьте себе: живет мужик, в поле работает, пашет, косит; плодится, множится, словом сказать, круг жизни своей производит. И вдруг, откуда-то из-под низу, — тысяцкий… Зачем? что случилось?

— Не случилось, но может случиться, вашество!

— Не верю-с. Ежели люди живут в свое удовольствие — зачем для них тысяцкий? Ежели они тихим манером нужды свои справляют, Бога помнят, царицу чтут — что тут случиться может, кроме хорошего? И что тысяцкий может в данном случае устранить или присовокупить? Даст Бог урожай — будет урожай; не даст Бог урожаю — и

---

[276] Notes: 276

Тысяцкий — выборный от крестьян, деревенский старшина.

так как-нибудь проживут. При чем тут тысяцкий? разве он может хоть колос единый в снопе убавить или прибавить? Нет, он налетит, намутит, нашумит, да того гляди, в заключение, еще в острог кого-нибудь посадит. Только и всего.

— Ну, не даром же посадит, а тоже за что-нибудь!

— Однако, согласитесь, что если б его нелегкая не принесла, все шло бы без него своим чередом, и никакого бы «что-нибудь» не случалось. Во всяком случае, в остроге никто бы не сидел. А как только он появится, так тотчас же вслед за ним и «что-нибудь» явилось.

— Ах, вашество, ведь и тысяцкие разные бывают! Вот у нас, например…

— Нет, вы меня выслушайте. Я не об личностях веду речь и не парадоксами перед вами щегольнуть хочу. Я по опыту эту музыку знаю и даже на самом себе могу пример показать. Уезжаю я, например, из губернии — и что вдруг случилось? Не успел я за заставу отъехать, как вдруг во всей губернии наступило благорастворение воздухов. Полициймейстер — не скачет, квартальные — не бегут, городовые — не усердствуют. Даже и простецы, которые и о существовании моем досконально не знают, и те чувствуют, что из их

жизни исчезла какая-то запятая, от которой им во всех местах больно было. Что сей сон означает? — спрашиваю я вас. А то, государь мой, что мой заступающий *не все то может сделать, что я могу*, и что, следовательно, и служащим, и обывателям на всю эту разницу легче стало. Но вот я возвращаюсь опять к своему посту. Шум, треск, езда, беготня… Кто в фуражке ходил — бежит в треуголке; кто в полном удовольствии месяц прожил — снова приходит в унылость; все видят впереди бесконечную распостылую канитель… Да, впрочем, что же много об этом толковать! вы и на себе наверное хоть отчасти да испытали…

Действительно, предводитель вспомнил, что и за ним в этом роде грешок водился. Как только, бывало, губернатор за ворота, так он сейчас: «Эй, тарантас!» — и марш в деревню. И ходит там без оных, покуда опять начальство к долгу не призовет. Только одну проформу и соблюдает, что, едучи мимо вице-губернаторской квартиры, зайдет на минуту к заступающему должность и условится:

— Уж вы, Арефий Иваныч, коли что случится, гонца пришлите!

— Чему случиться! с Богом!

— Ну так прощайте; Капитолине Сергеевне

кланяйтесь. Пошевеливай!

Только его и видели.

— Есть тот грех, — сказал он, — только все-таки не оттого… Просто отдохнуть хочется… вот и пользуешься.

— То-то что «отдохнуть»! а кто отдохнуть помешал? разве в отдыхе грех какой? Никакого греха нет, а просто мешал, потому что он губернатор — только и всего. Теперь пойдем дальше. Замечали ли вы, как партикулярные[277] люди о губернаторе отзываются, когда похвалить его хотят? «Это, — говорят, — хороший губернатор: он сидит смирно, никого не трогает». Вот-с. Стало быть, что всего более в губернаторе любезно — это ежели он благосклонно бездействует. И в самом деле, рассудите по совести, в чем его вмешательство в обывательских делах пользу принести может? Приехал он в губернию чуженин-чуженином — это раз; обучался он, может быть, чему-нибудь, да только не тому, чему следует, — это два. Затем: статистики он — не знает, этнографии — не разумеет; нравы и обычаи — не при нем писаны; где какая река, куда течет, почему и в каком смысле — это он разве тогда узнает, когда раз

---

[277] Notes: 277

Партикулярный — частный, неофициальный, неслуживый.

пять вдоль и поперек губернию исколесит; о железных дорогах знает только, когда и куда какой поезд отходит, чтобы в случае чего не опоздать; а зачем дорога построена, сколько в прошлом году доходов собрано, сколько в нынешнем, где и какую питательную ветвь надо провести, — все это для него — темна вода во облацех. И можно бы все это узнать, и сведения все под руками, да неинтересно и не для чего. Ничего из этих сведений не выйдет[278].

— Или насчет торгов, ремесл, промыслов: сапожное там ремесло, огороднический промысел; в одном месте рогожи ткут, в другом — косы, серпы куют: зачем? почему? Где раки зимуют?

— Вашество! — прервал предводитель расходившегося губернатора. — Да ведь я — обыватель здешний, а и я этого ничего не знаю!

— Вы — другое дело; вы — предводитель. Подают вам за столом говядину — вам и нужды нет, откуда она. Была бы съедобна — только и всего. А я — губернатор, я должен все знать. Меня — нет-нет да и спросят: «В каком, мол, положении у вас огородничество?»

— Да, по нынешнему времени всего ожидать

---

[278] Notes: 278

Само собой разумеется, что это только в сказке возможно. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

можно.

— Нынче, батюшка, чтобы всякая копейка на счету стояла, чтобы все, из чего извлечь можно, — «где, бишь, оно? не полезно ли, мол, обложить?». Вот нынче как. Ну, и отвечаешь на всякий случай, чтобы без хлопот: «Оставляет, мол, желать многого».

— Н-да, а между тем капуста у нас…

— То-то «капуста». А я только недавно об этом узнал. Намеднись подают кочан; я думал, он из Алжира — ан он из Поздеевки.

— Из Поздеевки — это верно; там и морковь, и репа — всякий овощ. Так-то всегда у нас. Мы по Эмсам да по Мариенбадам воду пить ездим, а у нас, в Поздеевке, своя вода есть, да еще лучше, потому что от мариенбадской-то воды желудок расстраивается.

— А скажите-ка, кто поздеевскую-то капусту завел? Небось губернатор? как бы не так! Мужичок, сударь. Побывал во времена оны какой-нибудь поздеевский Семен Малявка в Ростове, посмотрел, как тамошние мужички капустную рассаду разводят, да и завел, воротясь домой, у себя огородец, а глядя на него, и другие принялись.

— Это так точно, вашество, — вынужден был согласиться предводитель.

— И все у нас промыслы как-то местом ведутся. Тут — благодать, а рядом — нет ничего. Представьте себе, около этой самой Поздеевки деревня Развалиха есть, — так там об огородах и слыхом не слыхать, а все мужички до одного шерстобиты. Летом землю общим крестьянским обычаем работают, а зимой разбредутся кто куда и шерстобитничают. И тоже не губернатор завел, а побывал простой мужик Абрамко в Калязинском уезде и привез оттуда.

— Вот и понимайте теперь. Капуста, огурцы, шерстобитничество, сапоги, рогожи… все они, все обыватели! Вы думаете, у вас, в Растеряевке, колокольню кто построил? губернатор? Ан нет, купец Поликарп Аггеев Параличев ее построил, а губернатор только на освящении был да пирог с визигой ел.

— Это верно.

— А переславских сельдей кто первый коптить начал?

— Тоже верно. Не губернатор.

— А семгу-порог? а кольскую морошку? а ржевскую и коломенскую пастилу? Губернатор? а?

— Позвольте, вашество! но ведь, кроме огородничества и бакалеи, есть и других предметов достаточно…

— Например?

— Подати, например… Собирать их, взыскивать…

— А что такое подати? слыхали?

— Подати… это, так сказать, свидетельство принадлежности… — начал было предводитель, но запутался и умолк.

— То-то «свидетельство»… А как вы думаете, приятное это «свидетельство»? Смотрите-ка! за податьми приехал! Ах, как приятно! Диво бы секрет разведения муромских огурцов или копченья тамбовской ветчины привез… а то подати выбивать! Да и как, позвольте спросить, я это «свидетельство принадлежности» осуществлю, ежели, например, у поздеевских мужиков капуста не родится? Какая моя в этом разе роль? Разошлю по исправникам циркуляр — только и всего; а исправники наполнят губернию криком — тоже только всего. Во всяком случае, я понуждаю — не знаю, на какой предмет; исправник кричит — тоже на какой предмет, не знает. Что такое случилось? Куда скрылись казенные подати? Неурожай ли мужика обездолил, пьянство ли одолело, мироед ли к нему присосался, или мужик сам капризничать начал, кубышку вздумал копить? Вот ведь сколько разных

случаев может быть, да и все ли еще тут! А мы суетимся, гамим, знать ничего не хотим: чтоб были подати — только и всего!

— Да, это так точно. И нагамят, и нашумят, и даже под рубашку заглянут; а какой в том результат — сами не знают! — грустно подтвердил предводитель.

Оба собеседника на минуту задумались.

Первый очнулся предводитель. Он, по-видимому, еще не отчаивался, и у него уже назрел было вопрос: «А народная нравственность? а просвещение? науки? искусства?» — как губернатор словно угадал его мысли и так строго взглянул на своего собеседника, что тот мог вымолвить только:

— А народное продовольствие?

— И вам не совестно? — вместо ответа спросил его в упор губернатор.

Предводитель покраснел. Он вспомнил, как в начале года он в качестве председателя земской управы разъезжал по волостям и т. д. Вспомнил и застыдился.

— Так неужто же наконец… — воскликнул он и вдруг нечто вспомнил. — Позвольте! вот вам предмет: содействие к соединению общества!

— Какого такого общества?

— Здешнего-с.

— Гм… так вы думаете, что я соединяю здешнее общество?

— И вы, вашество, и супруга ваша… Лукерья Ивановна.

— Лукерья Ивановна — может быть, но я… нет! меня… увольте! Да и кому, наконец, этот предмет нужен… «соединение общества»… да еще здешнего?!

Собеседники окончательно умолкли. И, может быть, им пришлось бы очень неловко, если б на выручку не явился из губернского правления казначей.

Это было 30-е число месяца. В этот день, как известно, производилась некогда получка жалованья, и казначеи всех ведомств являлись к начальникам с денежными книгами, которые очищались расписками в получении.

Губернатор принял от казначея пачку, не торопясь пересчитал деньги, положил их на стол и расписался.

— Ну-с, а это-с? — пошутил предводитель, указывая на пачку. — В каком же смысле следует понимать «это»?..

— Н-да… то есть вы хотите сказать: «это»? — переспросил губернатор, как бы очнувшись.

— Да-с! Это-с. Именно оно самое… это-с!
— Гм… «это»?.. Это… воздаяние!

1885

Деревенский пожар

(НЕ ТО СКАЗКА, НЕ ТО БЫЛЬ)

В деревне Софонихе около полден вспыхнул пожар. Это случилось в самый развал июньской пахоты. И мужики, и бабы были в поле. Сказывали: шел мимо деревни солдатик, присел на завалинку, покурил трубочки и ушел. А вслед за ним загорелось.

Деревня сгорела дотла. Только тот порядок, где были житницы, уцелел наполовину. Мужики в одночасье потеряли все и сделались нищими. Сгорела бабушка Прасковья да еще Татьянин мальчик Петька. Мужики и бабы, завидев густой дым, бежали с поля как угорелые, оставив сохи и лошадей. Но спасать было уже нечего. Хорошо, что скота не было дома да навоз был только что вывезен, а то пришлось бы совсем хоть помирай. Малолетки, которые в минуту пожара играли на улице, спаслись в речку и отчаянно ревели. Девочки-подростки, с младенцами на руках, испуганно выглядывали на обуглившиеся избы и обнаженные остовы печей.

Тетка Татьяна была бодрая и еще молодая бо-

былка. Лет шесть тому назад у нее умер муж, но она продолжала держать хозяйство. Платила миру за половину надела, сама пахала, косила и жала. У нее был единственный сын, Петька, лет восьми, в котором она души не чаяла и в котором уже видела будущего мужика. Он и сам видел в себе мужика и говорил:

— Я, мама, буду мужик… хресьянин.

Вся деревня его любила. Мальчик был вострый и ласковый и уже ходил в школу. Бывало, идет по деревне мимо стариков.

— Ну что, мужичок, помогаешь мамке? — спрашивают старики.

— Помогаю.

Между тем улица запружалась всяким мужицким хламом: мужику все дорого, все надобно. Домохозяева, окруженные домочадцами, бродили каждый по своему пепелищу и тащили все, что попадалось на глаза: старую подошву, заржавленный гвоздь, обрывок шлеи, обломок сошника и проч. У некоторых уцелели подполицы; но так как время было голодное (Петров пост), то подполицы были пусты. Один заведомый нищий, лет десять ходивший «в кусочки»[279], метался

[279] Notes: 279
То есть просил милостыню.

и кричал:

— Где моя кубышка? где? кто унес? сказывайте: кто?

Бабушка Авдотья ходила взад и вперед по улице и всем показывала два обгоревших выигрышных билета внутреннего займа. Обгорели края; серединка с несколькими купонами осталась цела.

— Чай, выдадут! — утешал ее староста Михей. — Ишь, и нумера видны (на уцелевших купонах); ужо барыня в Питере похлопочет[280].

Старики собрались в кучу и обсуждали мирскую нужу. На всех лицах была написана душевная мука; у некоторых глаза сочились слезами. Решили идти всем миром, поклониться соседней одновотчинной[281] деревне, чтобы дала приют погорельцам, покуда не будут устроены хотя какие-нибудь временные помещения. Затем

---

[280] Notes: 280

Факт. В 1872 году приходила к автору крестьянка села Заозерья (Углицкого уезда) и показывала два или три обгоревших по краям билета, но так, что на уцелевших посередке купонах видны были и № билета, и серия. Я просил некоторых добрых знакомых ходатайствовать в банке. Всем казалось дело несомненным; но г. Ламанский, тогдашний управляющий банком, рассудил иначе. Ни возобновить билеты, ни даже выдать за них нарицательную цену оказалось невозможным. Это, изволите видеть, польза банка. Вот как истинные сановники блюдут интересы казны! *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[281] Notes: 281

Одновотчинный — относящийся к той же вотчине, тому же землевладению.

снарядили старосту и послали верхом в город, в управу, за пособием и страховыми.

Пришел сельский батюшка и, похаживая между мужиками, утешал их.

— Кто дал? Бог! — говорил он. — Кто взял? Бог! Неужто ж он не знает?

Мужики молча ему поклонились.

— А вы не унывайте! — продолжал батюшка. — С какого права? почему? как? кто дозволил? Скот — при вас, земледельческие орудия целехоньки, навоз вывезен — чего еще земледельцу нужно? А вы ропщете! Вот ужо управа на постройку денег отпустит; помещица нуждающимся хлебца пришлет; и я тоже… разве я не молюсь за вас? Я не только за вас, но и за *всех* молюсь. «И всех православных христнян» — вот как.

Опять поклонились мужики, а словоохотливый батюшка продолжал:

— Коли страх Божий будете в сердцах сохранять да храм Божий усердно посещать, так и не увидите, как Бог сторицей вознаградит. Хлеб нынче обещает жатву изрядную. Озимые отменные; яровые, Бог даст, поправятся. Ужо снимете у барыни полевину[282] — вот вы и с сеном. Свезете

[282] Notes: 282

Полевина — задерновелая, поросшая травами или кустарником земля.

по возку, по другому — ан и денежки в кошеле завелись; а там озимое, ржицы на базар свезете — опять деньги; а наконец и овсецо — тоже деньги. В будущем же году и не увидите, как на месте истребленных неумолимым пламенем хижин будут красоваться новые дома, удобные и просторные, и все вы поживете в них, кийждо под смоковницею своей, и всерадостно и всецело возблагодарите Господа вашего за ниспосланное вам благодеяние. Вот увидите.

А тетка Татьяна беспомощно ходила по своему пепелищу, сгребала тлеющие бревна и выкликала:

— Петь, а Петь! где ты, милый? Откликнись! — И не слыхала, как ветхий старик Калистратыч говорил ей:

— Смотри, не в лес ли он убег? Давеча видел я его. Сидел я у житницы на приступочке, как ваша-то изба занялась. Смотрю: кружится Петька по горнице, рубашонкой раздувает. Я ему кричу: «Толкни, милый, дверь, толкни!» Только кружился он, кружился, а потом и ничего не стало видно. Наверное, убёг в лес с испугу.

Но Татьяна ничего не чувствовала, кроме того, что сердце ее рвется на части.

— Петь, а Петь! где ты, милый? Откликнись! —

раздавался ее вопль среди общего говора деревенского люда.

Наконец человека два сжалились над нею и пришли на помощь. Разворочали обрушившийся потолок и под дымящимися обломками его нашли труп мальчика. Вся сторона тела и лица, обращенная кверху, представляла безобразную черную массу; но та, которая прилегала к полу, осталась нетронутою.

Татьяна пошатнулась, в глазах потемнело, и из груди на всю деревню вырвался потрясающий ее вопль:

— Господи! видишь ли?

Этот вопль услыхал и батюшка и, разумеется, поспешил с утешением.

— Ропщешь? — говорил он с ласковой укоризной. — А Иова помнишь? Нет? Так я тебе напомню! Он был богат и славен, имел детей, стада и сокровища — и вдруг, с дозволения Божия, все было у него отнято: и дети, и скот, и друзья, а сам он был поражен проказою, изгнан из города и лежал у городских ворот, на гноище. Псы лизали его раны… псы! Но и за всем тем он не токмо не возроптал, но наипаче возлюбил Господа, создавшего его. И Бог, видя таковую его преданность, воззрел на него. Через короткое время Иов был и

здоров, и богат, и славен более прежнего. Стада умножились, детей народилось достаточно, словом сказать, все…

Однако и батюшкины увещания доходили до Татьяны в форме смутного и назойливого шума. Она устремила глаза на ту линию, которая разделяла уцелевшую часть Петькина лица от обуглившейся, и тихо шептала:

— Господи! видишь ли?

В усадьбе в это время добрая барыня, Анна Андреевна Копейщикова, праздновала день своего рождения. Собрались немногие, но искренние друзья: предводитель Кипящев с женою, исправник Шипящев с племянницею, да еще Иван Иваныч Глаз, партикулярный человек, про которого говорили, что при нем язык за зубами держать надо. Впрочем, так как тут были все люди, при которых тоже нужно было язык держать на привязи (сама Анна Андреевна говорила, что она где-то «служит»), то Иван Иваныч чувствовал себя в этой компании очень удобно. Присутствовал тут и батюшка с попадьей.

Анна Андреевна была генеральская вдова, лет сорока с небольшим, еще красивая и особенно выдающаяся роскошным бюстом на балах и вечерах, где обязательно декольте и где ее бюст

приковывал к себе взоры людей всех возрастов и всех оружий. Но она раз навсегда сказала себе: *«Ni-ni — c'est fini»*[283], — и всю себя отдала своим детям. За это в свете про нее говорили: *«C'est une sainte»*[284], а за патриотизм: *«C'est une fière matrone!»*[285] Как и все русские дамы, она говорила по-французски, знала *un peu d'arithmétique, un peu de géographie et un peu de mythologie (cette pauvre Léda!)*[286], долго жила за границей, а в последнее время сделалась патриоткой и полюбила «добрый русский народ». Три года тому назад она посетила родное Горбилево и с тех пор ездила туда каждое лето. Поставила в саду мавзолей покойному мужу и каждый день молилась. Ни с кем не знакомилась, кроме испытанных «друзей порядка», хозяйства не вела, а отдавала землю мужикам исполу[287] и видимо экономничала.

---

[283] Notes: 283
Ни-ни — это кончено *(фр.)*.

[284] Notes: 284
Это — святая *(фр.)*.

[285] Notes: 285
Это твердая патрицианка! *(фр.)*

[286] Notes: 286
Немножко арифметики, немножко географии и немножко мифологии (ах, эта бедная Леда!) *(фр.)*.

[287] Notes: 287
Исполу — на половинных началах.

У нее был сын Сережа, правовед лет шестнадцати, и восемнадцатилетняя дочь Верочка, шустрая особа, которая тоже знала *un peu d'arithmétique et un peu de mythologie*.

Господа уже возвратились из церкви и сидели за завтраком, когда прибежали сказать, что Софониха горит. Батюшка мгновенно скрылся увещевать; прочие побежали к окнам и смотрели. За громадной тучей дыма не было видно пламени, но дым прямо летел по ветру на усадьбу, и чувствовался в комнатах горький запах его. Людей тоже не было видно, но по дороге бежали к пожарищу толпы соседних крестьян и дворовых.

— Как вы хотите, господа, — сказала наконец Анна Андреевна, — а я не могу оставаться равнодушной зрительницей. Ведь они — мои. Злые люди разлучили нас — надеюсь, временно, — но я все-таки помню, что они — мои.

Но ей не дали одной совершить подвиг самоотвержения и всей компанией вызвались сопутствовать ей.

— Да и вообще это наш долг, — продолжала Анна Андреевна, — если бы даже это были и не мои крестьяне, все-таки наша священная обязанность — быть там, где страдают. Мы обеднели, мы обижены… но мы все забыли. Мы помним

только, что к нам обращает взоры страждущий меньший брат!

Узнавши, что в этот день пекли хлебы для рабочих и дворовых, она велела разрезать несколько на ломти и снести погорельцам.

— А завтра опять испечете хлеба для своих… надо же! Да не забудьте солью посыпать!

Словом сказать, сделала все, что было в ее власти, и, наконец, захватила портмоне, сказав: «Это на всякий случай!» И Верочка, по примеру матери, взяла кошелек с заветными светленькими монетами.

Компания остановилась у входа в деревню, но Верочка и мамзель Шипящева не утерпели и пошли вглубь по улице.

— Скажите мужичкам, что я им две четверти ржи жертвую! — крикнула им вслед Анна Андреевна.

Минут через пять Верочка прибежала назад, вся в слезах.

— Ах, мамочка! — объявила она. — Там есть бедная женщина, у которой сгорел мальчик-сын! Ах, как страшно… Что с ней делается! Батюшка увещевает ее, а она не слушается, только повторяет: «Господи! видишь ли?» Мамочка! это ужасно, ужасно, ужасно!

— Жаль бедную; но какая ты, однако ж, нервная, Вера! — упрекнула ее Анна Андреевна. — Это не годится, мой друг! Везде Промысел — это прежде всего нужно помнить! Конечно… это большая утрата; но бывают и не такие, а мы покоряемся и терпим! Помнишь: крах Баймакова и наш текущий счет… Давал шесть процентов… и что ж! Впрочем, соловья баснями не кормят. Господа! — обратилась она к окружающим. — Сделаемте маленькую коллекту в пользу бедной страдалицы-матери! Кто сколько может!

Она трепетною рукою вынула из портмоне десятирублевую бумажку, положила ее на ладонь и протянула руку. Верочка тотчас же положила туда весь свой кошелек; гости тоже вынули несколько мелких ассигнаций. Только Иван Иваныч Глаз отвернулся в сторону и посвистывал. Собралось около тридцати рублей.

— Ну вот, снеси ей! — сказала Анна Андреевна дочери. — Скажи, что свет не без добрых людей. Да подтверди мужичкам насчет ржи… две четверти! Да хлеба принесли ли? Скажи, чтоб роздали! Это для утоления первого голода!

Верочка быстро побежала. Ей представлялось в эту минуту, что она — ангел-хранитель и помавает серебряными крылами в небесной лазури, с

тридцатью рублями в руках. Она застала Татьяну все в том же положении. Последняя стояла с широко открытыми глазами, машинально шевелила губами, без всякого признака самочувствия. Батюшка по-прежнему стоял подле нее и рассказывал пример из истории первых мучеников времен жестокого царя Нерона. Татьяне еще не представлялся вопрос: что с ней будет? нужна ли ей изба, поле и вообще все, что до сих пор наполняло ее жизнь? или она должна будет скитаться по белу свету в батрачках?

И вдруг — ангел-хранитель.

— На́ тебе, милая! мамочка прислала! — говорила Верочка, протягивая деньги.

Татьяна ничего не поняла, даже не взглянула на милостыню.

— Бери, строптивая! — увещевал ее батюшка. — Добрые господа жалуют, а ты небрежешь!

Даже мужички заинтересовались и принялись уговаривать:

— Бери, тетка Татьяна, бери, коли дают! на избу пригодится… бери!

Татьяна не шелохнулась.

Верочка постояла, положила деньги на землю и удалилась, огорченная. Батюшка поднял их.

— Ну, ежели ты не хочешь брать, — сказал

он, — так я ими на церковное украшение воспользуюсь. Вот у нас паникадило плоховато, так мы старенькое-то в лом отдадим да вместе с этими деньгами и взбодрим новое! Засвидетельствуйте, православные!

— Мамочка, она не взяла! — говорила Верочка со слезами в голосе.

Изумились.

— Однако душок-то этот в них еще есть! не выбили! — загадочно молвил Глаз.

Но на этот раз Анна Андреевна не согласилась с ним:

— Есть душок — это правда; но не следует терять из вида глубину ее горя! Только сердце матери может понять, каково потерять… сына!

Предсказание батюшкино сбылось. Года через два я проезжал мимо Софонихи и увидел сущую метаморфозу. На месте старого пепелища стоял порядок новых домов, высоких и сравнительно просторных. Крыши, правда, были крыты соломою, но под щетку, так что глаз не огорчался ни махрами, ни висящими клочьями. Новые срубы блестели на солнце, как облупленное яичко. Только на месте Татьяниной избы валялись неприбранные головешки, а сама она скрылась из деревни неизвестно куда. Должно быть, по

святым местам странствует, Христовым именем. Мужики жили дружно и, следовательно, исправно. Усердно работали, платили выкупные и мирские платежи безнедоимочно, отбывали повинности: рекрутскую, подводную и дорожную. Ежели же требовалось сверх того, то и это исполняли с готовностью.

Исправник Шипящев не нахвалится ими.

— Эта деревня у меня — в первом нумере! — говорит он. — Бог в помощь, робята!

1886

Путем-дорогою

(РАЗГОВОР)

Шли путем-дорогою два мужика: Иван Бодров да Федор Голубкин. Оба были односельчане и соседи по дворам, оба только что в весенний мясоед женились. С апреля месяца жили они в Москве в каменщиках и теперь выпросились у хозяина в побывку домой на сенокосное время. Предстояло пройти от железной дороги верст сорок в сторону, а этакую махину, пожалуй, и привычный мужик в одни сутки не оплетёт.

Шли они не то́ропко, не надрываясь. Вышли ранним утром, а теперь солнце уж высоко стояло. Они отошли всего верст пятнадцать, как ноги уж потребовали отдыха, тем больше что день выдался знойный, душный. Но, высматривая по сторонам, не встретится ли стога сена, под которым можно было бы поесть и соснуть, они оживленно между собой разговаривали.

— Ты что́ домой, Иван, несешь? — спросил Федор.

— Да три пятишницы хозяин до расчета дал. Одну-то, признаться, в Москве еще на мелочи

истратил, а две домой несу.

— И я тоже. Да только куда с двумя пятишницами повернешься?

— Тут и в пир, и в мир, а отец велел сказать, что какая-то старая недоимка нашлась, так понуждают. Пожалуй, и все туда уйдет.

— А у нас и хлеба-то до нового не хватит. Пришел сенокос, руки-то целый день намахаешь, так поневоле есть запросишь. Ничего-то у нас нет, ни хлеба, ни соли, а тоже людьми считаемся. Говорят: «Вы каменщики, в Москве работаете, у вас должны деньги значиться…» А сколько их и по осени-то принесешь!

— Худо наше крестьянское житье! Нет хуже.

— Чего еще!

Путники вздохнули и несколько минут шли молча.

— Что-то теперь наши делают? — опять начал Федор.

— Что делают! Чай, навоз вывезли; пашут… и пашут, и боронят, и сеют; круглое лето около земли ходят, а все хлеба нет. Сряду три года то вымокнет, то сухмень высушит, то градом побьет… Как-то нынче Господь совершит!

— А у меня, брат, и еще горе. К Дуньке волостной старшина увязался; не дает бабе проходу, да

и вся недолга. Свах с подарками засылает; одну батюшко вожжами поучил, так его же на три дня в холодную засадили.

— И ничего не поделаешь! Помнишь, как летось Прохорова Матренка задавилась? Тоже старшина… Терпела-терпела, да и в петлю…

— Нам худо, а бабам нашим еще того хуже. Мы, по крайности, в Москву сходим, на свет поглядим, а баба — куда она пойдет? Словно к тюрьме прикованная. Ноги и руки за лето иссекутся; лицо словно голенище черное сделается, и на человека-то не похоже. И всякий-то норовит ее обидеть да обозвать…

— Давай-ка, Федя, песню с горя споем!

Стали петь песню, но с горя и с устатку как-то не пелось.

— А что, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится? — молвил Федор.

— И я тоже не однова спрашивал у людей: «Где, мол, Правда, где ее отыскать?» А мне один молодой барин в Москве сказал, будто она на дне колодца сидит спрятана.

— Ишь ведь! Кабы так, давно бы наши бабы ее оттоле бадьями вытащили, — пошутил Федор.

— Известно, посмеялся надо мной барчук. Им что! Они и без Правды проживут. А нам Неправ-

да-то оскомину набила.

— Старики сказывают, что дедушко Еремей еще при старом барине все Правды искал; да Правда-то, вишь, изувечила его.

— Прежде многие Правду разыскивали; тяжельше, стало быть, жить было, да и сердце у стариков болело. Одна барщина сколько народу сгубила. В поле — смерть, дома — смерть, везде… Придет крестьянин о празднике в церковь, а там на всех стенах Правда написана, только со стены-то ее не снимешь.

— Это правда твоя, что не снимешь. Что крестьянин? Он и видит, да глаз неймет. Темные мы люди, бессчастные; вздохнешь да поплачешь: «Господи, помилуй!» — только и всего. И молиться-то мы не умеем.

— Прежде ходоки такие были, за мир стояли. Соберется, бывало, ходок, крадучись, в Петербург, а его оттоле по этапу…

— Все-таки прежде хоть насчет Правды лучше было. И старики детям наказывали: «Одолела нас Неправда, надо Правды искать». Батюшко сказывал: «Такое сердце у дедушки Еремея было — так и рвется за мир постоять!» И теперь он на печи изувеченный лежит; в чем душа, а все о Правде твердит! Только нынче его уж не слушают.

— То-то, что легче, говорят, стало — оттого и Еремея не слушают. Кому нынче Правда нужна? И на сходке, и в кабаке — везде нонче легость…

— Прежде господа рвали душу, теперь — мироеды да кабатчики. Во всякой деревне мироед завелся: рвет христианские души, да и шабаш.

— Возьмем хоть бы Василия Игнатьева — какие он себе хоромы на христианскую кровь взбодрил. Крышу-то красную за версту видно; обок лавка, а он стоит в дверях да брюхо об косяк чешет.

— И все к нему с почтением. Старшина приедет — с ним вместе бражничает, долги его прежде казенных податей собирает; становой приедет — тоже у него становится. У него и щи с убоиной, и водка. Летось молодой барин из Питера приезжал — сейчас: «Попросите ко мне Василия Игнатьича!..» — «Ну что, Василий Игнатьич, все ли подобру-поздорову? хорошо ли торгуете?»

— Чайку вместе попьемте… вы, дескать, настоящий добрый русский крестьянин! печетесь о себе, другим пример показываете… И ежели, мол, вам что нужно, так пишите ко мне в Петербург.

— Одворицу выкупил, да надел на семь душ! Совсем из мира увольнился, сам барин.

— А теперь мир ему в ноги кланяется, как придет время подати вносить. Миром ему и сенокос

убирают, и хлеб жнут…

— Вот так легость! Нет, ты скажи, где же Правду искать?

— У Бога она, должно быть. Бог ее на небо взял и не пущает.

Опять смолкли спутники, опять завздыхали. Но Федор верил, что не может этого статься, чтобы Правды не было на свете, и ему не по нраву было, что товарищ его относится к этой вере так легко.

— Нет, я попробую, — сказал он. — Я как приду, так сейчас же к дедушке Еремею схожу. Все у него выспрошу, как он Правду разыскивал.

— А он тебе расскажет, как его в части секли, как по этапу гнали да в Сибирь совсем было собрали, только барин вдруг спохватился: «Определить Еремея лесным сторожем!» И сторожил он барские леса до самой воли, жил в трущобе, и никого не велено было пускать к нему. Нет уж, лучше ты этого дела не замай!

— Никак этого сделать нельзя. Возьми хоть Дуньку: как я приду, сейчас она мне все расскажет… Что ж я столбом, что ли, перед ней стоять буду? Нет, тут и до смертного случая недалеко. Я ему кишки, псу несытому, выпущу!

— Ишь ведь! Все говорил об Правде, а теперь на кишки своротил. Разве это Правда? знаешь ли

ты, что за такую Правду с тобой сделают?

— И пущай делают. По-твоему, значит, так и оставить. «Приходите, мол, Егор Петрович: моя Дунька завсегда…» Нет, это надо оставить! Сыщу я Правду, сыщу!

— Ах ты, жарынь какая! — молвил Иван, чтобы переменить разговор. — Скоро, поди, столб будет, а там деревнюшка. Туда, что ли, полдничать пойдем или в поле отдохнем?

Но Федор не мог уж угомониться и все бормотал: «Сыщу я Правду, сыщу!»

— А я так думаю, что ничего ты не сыщешь, потому что нет Правды для нас: время, вишь, не наступило! — сказал Иван. — Ты лучше подумай, на какие деньги хлеба искупить, чтобы до нового есть было что.

— К тому же Василию Игнатьеву пойдем, в ноги поклонимся! — угрюмо ответил Федор.

— И то придется; да десятину сенокоса ему за подожданье уберем! Батюшко, пожалуй, скажет: «Чем на платки жене да на кушаки третью пятишницу тратить, лучше бы на хлеб ее сберег».

— Терпим и холод, и голод, каждый год все ждем: авось будет лучше… доколе же? Ин и в самом деле Правды на свете нет! так только, попусту, люди болтают: «Правда, Правда…» — а

где она?!

— Намеднись начетчик один в Москве говорил мне: «Правда — у нас в сердцах. Живите по Правде — и вам, и всем хорошо будет».

— Сыт, должно быть, этот начетчик, оттого и мелет.

— А может, и господа набаловали. Простой, дескать, мужик, а какие речи говорит! Ему-то хорошо, так он и забыл, что другим больно.

В это время навстречу путникам мелькнул полусгнивший верстовой столб, на котором едва можно было прочитать: «От Москвы 18, от станции Рудаки 3 версты».

— Что ж, в поле отдохнем? — спросил Иван. — Вон и стожок близко.

— Известно, в поле, а то где ж? в деревне, что ли, харчиться?

Товарищи свернули с дороги и сели под тенью старого, накренившегося стога.

— Есть же люди, — заметил Иван, снимая лапти, — у которых еще старое сено осталось. У нас и солому-то с крыш по весне коровы приели.

Начали полдничать: добыли воды да хлеб из мешков вынули — вот и еда готова. Потом вытащили из стога по охапке сена и улеглись

— Смотри, Федя, — молвил Иван, укладываясь и позевывая, — во все стороны сколько простору! Всем место есть, а нам…

1886

Богатырь

В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выхолила и, когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: «Иди, Богатырь, совершай подвиги!»

Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит, один дуб стоит — он его с корнем вырвал; видит, другой стоит — он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит, и в нем дупло — залез Богатырь в дупло и заснул.

Застонала мать зеленая дубровушка от храпов его перекатистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешачатами — и был таков.

Пошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надивятся на него: свои боятся *вообще* потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А сверх того, и надежда есть: беспременно Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь и нас перед всем миром воспрославит». Чужие,

в свой черед, опасаются: «Слышь, мол, какой стон по земле пошел, — никак, в „оной“ земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснется!»

И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»

И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала, да наконец и приехала. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не вывари-ли: ау, мужик! Всё приделали, всё прикончили, друг дружку обворовали начисто — шабаш! А Богатырь все спит, все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит да перекатистые храпы кругом на сто верст пущает.

Долго глядели супостаты, долго думали: «Могущественна, должно быть, оная страна, в коей боятся Богатыря за то только, что он в дупле спит!»

Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать; начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу Богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много

народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье наше!» А он, вместо того, в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило: думали, придет Богатырь, мирских людей накормит, а он, вместо того, в дупле просидел. В таком-то году и города и селенья огнем попалило, не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ежева; думали: «Вот придет Богатырь и мирскую нужду исправит» — а он и тут в дупле проспал.

Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.

Что ж это за Богатырь такой?

Многострадальная и долготерпеливая была оная страна и имела веру великую и неослабную. Плакала — и верила; вздыхала — и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил — воняет; другой

подошел — тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» — молвили супостаты и ринулись на страну.

Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату — глядят, идти не с чем. И вспомнили тут про Богатыря, и в один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»

Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая дубровушка.

Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком — смотрит, ан у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.

Спи, Богатырь, спи!

1886

Гиена

(ПОУЧЕНИЕ)

Загляните в любую Зоологию и всмотритесь в изображение гиены. Ее заостренная книзу мордочка не говорит ни о лукавстве, ни о подвохе, ни, тем менее, о жестокости, а представляется даже миловидною.

Это хорошее впечатление она производит благодаря небольшим глазкам, в которых светится благосклонность. У прочих острорылых — глаза чистые, быстрые, блестящие, взор жесткий, плотоядный; у нее — глазки томные, влажные, взор — доброжелательный, приглашающий к доверию. У ксендзов такие умильные глаза бывают, когда они соберутся, ad majorem Dei gloriam[288], совести у пасомого пошарить. Или вот у чиновников, которым доверено, под величайшим секретом, праздничные наградные списки набело переписать, и они, чтобы всех обнадежить и в то же время государственную тайну соблюсти, начинают всем одинаково улыбаться.

---

[288] Notes: 288
К вящей славе Божией *(лат.)*.

Кто бы подумал, что это изображение принадлежит одной из тех гиен, о которых с древних времен сложилась такая нехорошая репутация?!

Древние видели в гиене нечто сверхъестественное и приписывали ей силу волшебных чар. Этот взгляд на гиену в значительной мере господствует и поныне между аборигенами тех стран, где привитают эти животные. Судя по рассказам Брема, местные арабы верят, что человек сходит с ума от употребления мозга гиены и что колдуны пользуются этим, чтобы вредить ненавистным им людям. Мало того: арабы убеждены, что гиены не что иное, как замаскированные волшебники, которые днем являются в виде людей, а ночью принимают образ зверя, на погибель праведных душ.

Очевидно, россказни эти столь же мало правдоподобны, как и та басня, которую я слышал от одной купчихи в Замоскворечье. «Знаю-де я гиену, которая днем в человеческом виде дорогих гостей принимает, а чуть смеркнется, берется за перо и начинает — в гиенском образе — „газету писать“...» Какой вздор!

Впрочем, о полосатой гиене Брем отзывается довольно снисходительно, хотя, разумеется, особенных добродетелей за ней не видит. Но ведь

у зверей вообще ни добродетелей, ни пороков не водится, а водятся только свойства. Самый вой полосатой гиены, по свидетельству Брема, далеко не так противен, как рассказывают, — и нередко он забавлялся, слушая его. Наоборот, вой пятнистой гиены имеет действительно характер «какого-то ужасного хохота, который всякой верующей душе с живым воображением легко приписать дьяволу и его адской компании». Так что ежели, читая, например, куранты, вы слышите страшный хохот, «который можно приписать дьяволу», то знайте, что он принадлежит пятнистой гиене и что эта разновидность гиены есть самая опасная и ненавистная из всех.

Об этой гиенской особи у Брема никаких сведений нет, но нужно вообще заметить, что его рассказ о гиенах несколько спутан. И, очевидно, эта спутанность происходит именно оттого, что тип гиены-оборотня как будто ускользнул от него. К счастию, он не ускользнул от той замоскворецкой купчихи, о которой я упомянул выше и которая, положительно, видела такую гиену собственными глазами.

— Посмотреть на нее — милушка! — рассказывала она. — А как начнет она хрюкать да хохотать… хохочет-хохочет, да вдруг как захны-

кает… Господи, спаси и помилуй!

Тем не менее нет сомнения, что именно эту разновидность имеет Брем в виду, когда говорит, что гиены обладают отвратительно резким голосом, издают противный запах и при еде поднимают такое кряхтение, крик и хохот, что суеверным людям вполне естественно кажется, будто беснуются все черти ада. Сверх того, эта гиена нападает только на слабых, спящих и беззащитных (а конечно, еще того лучше, коли жертва связана) и, кроме того, нередко заходит днем в дома и уносит маленьких детей. Вообще дети — любимое лакомство гиены-оборотня. Ночью она забирается в жилища мамбуков (одно из кафрских племен), проходит мимо телят, не трогая их, и из-под одеял спящих матерей утаскивает детей.

Изловить живую гиену не особенно трудно, и потому содержатели зверинцев довольно дешево приобретают их и в клетках показывают публике. Заключенная в клетку, гиена по целым часам лежит на боку, как колода, потом вдруг вскочит, смотрит невыразимо глупо, трется об решетку и от времени до времени заливается хохотом, который пронизывает до мозга костей.

За всем тем, по свидетельству того же Брема, насколько гиена ехидна, настолько она и труслива.

Однажды случилось ему заночевать в компании на берегу Голубой реки, как вдруг вблизи самого костра появилась гиена и затянула свою раздирающую песню. Однако ж стоило собравшейся компании в ответ на эту песню захохотать, как незваная гостья испугалась и немедленно бежала. В другой раз, в городе Сенааре, возвращаясь в полночь из гостей, Брем в одной из городских улиц встретил порядочное стадо гиен. Но одного камня, брошенного в них, было достаточно, чтобы разогнать все стадо.

Гиен можно даже приручать. Удовольствия, конечно, это занятие доставить не может, но, в видах подробнейшего исследования нравов этого животного, подобные попытки не бесполезны. Достигается приручение довольно легко: стоит только чаще прибегать к побоям и к купанью в холодной воде. Прирученные таким образом гиены, рассказывает Брем, завидевши его, вскакивали с радостным воем, начинали вокруг него прыгать, клали передние лапы ему на плечи, обнюхивали лицо, наконец поднимали хвост совсем прямо кверху и высовывали вывороченную кишку на $1^1/_2$— 2 дюйма из заднего прохода. Одним словом, человек восторжествовал и тут, как везде; только вот высунутая кишка — это уж лишнее.

А впрочем, видеть *радость* гиены… это тоже в своем роде…

«Но что же означает вся эта история и с какою целью она написана?» — быть может, спросит меня читатель. — А вот именно затем я ее и рассказал, чтобы наглядным образом показать, что «человеческое» всегда и неизбежно должно восторжествовать над «гиенским».

Иногда нам кажется, что «гиенское» готово весь мир заполонить, что оно и одесную, и ошую распространило криле и вот-вот задушит все живущее. Такие фантасмагории случаются нередко. Кругом раздается дьявольский хохот и визг; из глубины мрака несутся возгласы, призывающие к ненависти, к сваре, к междоусобью. Все живое в безотчетном страхе падает ниц; все душевные отправления застывают под гнетом одной удручающей мысли: изгибло доброе, изгибло прекрасное, изгибло человеческое! Все, словно непроницаемым пологом, навсегда заслонено ненавистническим, клеветническим, гиенским!

Но это — громадное и преступное заблуждение. «Человеческое» никогда окончательно не погибало, но и под пеплом, которым временно засыпало его «гиенское», продолжало гореть.

И впредь оно не погибнет и не перестанет

гореть — никогда! Ибо для того, чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно: осветить сердца и умы сознанием, что «гиенство» вовсе не обладает теми волшебными чарами, которые приписывает ему безумный и злой предрассудок. Как только это просветление свершится, не будет надобности и в приручении «гиенства» — зачем? оно все-таки не перестанет смердеть, да и возни с приручением много, — а будет оно само собой все дальше и дальше удаляться вглубь, покуда наконец море не поглотит его, как древле оно поглотило стадо свиней.

Dixi[289].

1886

[289] Notes: 289
Я высказался.

Приключение с Крамольниковым

(СКАЗКА-ЭЛЕГИЯ)

Однажды утром, проснувшись, Крамольников совершенно явственно ощутил, что его нет. Еще вчера он сознавал себя сущим; сегодня вчерашнее *бытие* каким-то волшебством превратилось в *небытие*. Но это небытие было совершенно особого рода. Крамольников торопливо ощупал себя, потом произнес вслух несколько слов, наконец посмотрелся в зеркало; оказалось, что он — тут, налицо, и что в качестве ревизской души он существует в том же самом виде, как и вчера. Мало того: он попробовал мыслить, — оказалось, что и мыслить он может… И за всем тем для него не подлежало сомнению, что его нет. Нет того *не-ревизского* Крамольникова, каким он сознавал себя накануне. Как будто бы перед ним захлопнулась какая-то дверь или завалило впереди дорогу и ему некуда и незачем идти.

Переходя от одного предположения к другому и в то же время с любопытством всматриваясь в окружающую обстановку, он взглянул мимоходом на лежавшую на письменном столе начатую

литературную работу, и вдруг все его существо словно электрическая струя пронизала…

Не нужно! не нужно! не нужно!

Сначала он подумал: «Какой вздор!» — и взялся за перо. Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что действительно ему предстоит провести черту и под нею написать: *Не нужно!!*

Он понял, что все оставалось по-прежнему, — только душа у него запечатана. Отныне он волен производить свойственные ревизской душе отправления; волен, пожалуй, мыслить; но все это ни к чему. У него отнято главное, что составляло основу и сущность его жизни: отнята та лучистая сила, которая давала ему возможность огнем своего сердца зажигать сердца других.

Он стоял изумленный; смотрел и не видел; искал и не находил. Что-то бесконечно мучительное жгло его внутренности… А в воздухе между тем носился нелепо-озорной шепот: «Поймали, расчухали, уличили!»

— Что такое? что такое случилось?

Положительно, душа его была запечатана. Как у всякого убежденного и верящего человека, у Крамольникова был внутренний храм, в котором хранилось сокровище его души. Он не прятал

этого сокровища, не считал его своею исключительною собственностью, но расточал его. В этом, по его мнению, замыкался весь смысл человеческой жизни. Без этой деятельной силы, которая, наделяя человека потребностью источать из себя свет и добро, в то же время делает его способным воспринимать свет и добро от других, — человеческое общество уподобилось бы кладбищу. Это было бы не общество, а склад трупов… И вот теперь трупный период для него наступил. Обмену света и добра пришел конец. И сам он, Крамольников, — труп, и те, к которым он так недавно обращался, как к источнику живой воды для своей деятельности, — тоже трупы… Никогда, даже в воображении, не представлял он себе несчастия столь глубокого.

Крамольников был коренной пошехонский литератор, у которого не было никакой иной привязанности, кроме читателя, никакой иной радости, кроме общения с читателем. Читатель не олицетворялся для него в какой-нибудь материальной форме и тем не менее всегда предстоял перед ним. В этой привязанности к отвлеченной личности было что-то исключительное, до болезненности страстное. Целые десятки лет она одна питала его и с каждым годом делалась все больше

и больше настоятельною. Наконец пришла старость, и все блага жизни, кроме одного, высшего и существеннейшего, окончательно сделались для него безразличными, ненужными…

И вдруг в эту минуту — рухнуло и последнее благо. Разверзлась темная пропасть и поглотила то «единственное», которое давало жизни смысл…

В литературном цехе такие, направленные исключительно в одну сторону личности по временам встречаются. Смолоду так односторонне слагается их жизнь, что какие бы случайности ни сталкивали их с фаталистически обозначенной колеи, уклонение никогда не бывает ни серьезно, ни продолжительно. Под грудами наносного хлама продолжает течь настоящая жильная струя. Все разнообразие жизни представляется фиктивным; весь интерес ее сосредоточивается в одной светящей точке. Никогда они не дают себе отчета в том, какого рода случайности ждут на пути, никогда не предусматривают, не стараются обеспечить тыл, не предпринимают разведок, не справляются с бывшими примерами. Не потому, чтобы проходящие перед ними явления и зависимость их от этих явлений были для них неясны, а потому, что никакие предвидения, никакие

справки — ни на йоту не могут видоизменить те функции, прекращение которых было бы равносильно прекращению бытия. Нужно убить человека, чтобы эти функции прекратились.

Неужели именно это убийство и совершилось теперь, в эту загадочную минуту? Что такое случилось? Тщетно искал он ответа на этот вопрос. Он понимал только одно, что его со всех сторон обступает зияющая пустота.

Крамольников горячо и страстно был предан своей стране и отлично знал как прошедшее, так и настоящее ее. Но это знание повлияло на него совершенно особенным образом: оно было живым источником болей, которые, непрерывно возобновляясь, сделались наконец главным содержанием его жизни, дали направление и окраску всей его деятельности. И он не только не старался утишить эти боли, а, напротив, работал над ними и оживлял их в своем сердце. Живость боли и непрерывное ее ощущение служили источником живых образов, при посредстве которых боль передавалась в сознание других.

Знал он, что пошехонская страна исстари славилась непостоянством и неустойчивостью, что самая природа ее какая-то не заслуживающая доверия. Реки расползлись вширь, и что ни год, то

меняют русло, пестрея песчаными перекатами. Атмосферические явления поражают внезапностью, похожею на волшебство: сегодня — жара, хоть рубашку выжми, завтра — та же рубашка колом стоит на обывательской спине. Лето короткое, растительность бедная, болота неоглядные… Словом сказать — самая неспособная, предательская природа, такая, что никаких дел загадывать вперед не приходится.

Но еще более непостоянные в Пошехонье судьбы человеческие. Смерд говорит: «От сумы да от тюрьмы не открестишься»; посадский человек[290] говорит: «Барыши наши на воде вилами писаны»; боярин говорит: «У меня вчера уши выше лба росли, а сегодня я их вовсе сыскать не могу». Нет связи между вчерашним и завтрашним днем! Бродит человек словно по Чуровой[291] долине: пронесет Бог — пан, не пронесет — пропал.

Какая может быть речь о совести, когда все кругом изменяет, предательствует? На что́ обопрется совесть? на чем она воспитается?

Знал все это Крамольников, но, повторяю, это

---

[290] Notes: 290
Посадские люди — горожане, мещане.

[291] Notes: 291
Чурова — заколдованная.

знание оживляло боли его сердца и служило отправным пунктом его деятельности. Повторяю: он глубоко любил свою страну, любил ее бедноту, наготу, ее злосчастие. Быть может, он усматривал впереди чудо, которое уймет снедавшую его скорбь.

Он верил в чудеса и ждал их. Воспитанный на лоне волшебств, он незаметно для самого себя подчинился действию волшебства и признал его решающим фактором пошехонской жизни. В какую сторону направит волшебство свое действие? — в этом весь вопрос… К тому же и в прошлом не все была тьма. По временам мрак редел, и в течение коротких просветов пошехонцы, несомненно, чувствовали себя бодрее. Это свойство расцветать и ободряться под лучами солнца, как бы ни были они слабы, доказывает, что для всех вообще людей свет представляет нечто желанное. Надо поддерживать в них эту инстинктивную жажду света, надо напоминать, что жизнь есть радование, а не бессрочное страдание, от которого может спасти лишь смерть. Не смерть должна разрешить узы, а восстановленный человеческий образ, просветленный и очищенный от тех посрамлений, которые наслоили на нем века подъяремной неволи. Истина эта так естественно

вытекает из всех определений человеческого существа, что нельзя допустить даже минутного сомнения относительно ее грядущего торжества. Крамольников верил в это торжество и всего себя отдал напоминаниям о нем.

Все силы своего ума и сердца он посвятил на то, чтобы восстановлять в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не обнимет. В этом, собственно, заключалась задача всей его деятельности.

Действительно, волшебство не замедлило вступить в свои права. Но не то благотворное волшебство, о котором он мечтал, а заурядное, жестокое пошехонское волшебство.

Не нужно! не нужно! не нужно!

К чести Крамольникова должно сказать, что он ни разу не задался вопросом: за что? Он понимал, что при полном отсутствии винословности подобного рода вопрос не только неуместен, но прямо свидетельствует о слабодушии вопрошающего. Он даже не отрицал нормальности настигшего его факта — он только находил, что нормальность в настоящем случае заявила себя чересчур уже жестоко и резко. Не раз приходилось ему, в течение долгого литературного

пути, играть роль anima vilis[292] перед лицом волшебства, но до сих пор последнее хоть душу его оставляло нетронутою. Теперь оно эту душу отняло, скомкало и запечатало, и как ни привычны были Крамольникову капризы волшебства, но на этот раз он почувствовал себя изумленным. Весь он был словно расшиблен, везде, во всем существе, ощущал жгучую и совсем новую боль.

И вдруг он вспомнил о «читателе». До сих пор он отдавал читателю все силы вполне беззаветно; теперь в его сердце впервые шевельнулось смутное чаянье отклика, сочувствия, помощи…

И его инстинктивно потянуло на улицу, как будто там его ожидало какое-то разъяснение.

Улица имела обыкновенный пошехонский вид. Крамольникову показалось, что перед глазами его расстилается немое, слепое и глухое пространство. Только камни вопияли. Люди сновали взад и вперед осторожно и озираясь, точно шли воровать. Только эта струна и была живая. Все прочее было проникнуто изумлением, почти остолбенением. Однако ж Крамольникову сгоряча показалось, что даже эта немая улица нечто *знает*. Ему этого так страстно хотелось, что он

---

[292] Notes: 292
Подопытного существа *(лат.)*.

вопль камней принял за вопль людей. Тем не менее отчасти он не ошибался. Действительно, там и сям раздавалось развязное гуденье. То было гуденье либералов, недавних друзей его. Одних он обгонял, другие шли навстречу. Но увы! никакого оттенка участия не виделось на их лицах. Напротив, на них уже успела лечь тень отступничества.

— Однако! похоронили-таки вас, голубчик! живо! — сказал один. — Строгонько, сударь, строгонько! Ну да ведь тоже и вы… нельзя этого, мой друг; я вам давно говорил, что нельзя! Терпели вас, терпели, — ну, наконец…

— Но что́ же такое «наконец»?

— Да просто «наконец» — и все тут! скучно стало. Нынче не разговаривать нужно, а взирать и, буде можно, — усматривать. Вам, сударь, следовало самому зараньше догадаться; а ежели вам претило присоединиться от полноты души — ну так хоть слегка бы: «Разбирайте, мол, каков я там… внутри!» А то все сплеча! все сплеча! Ну и надоело. Я и сам — разве, вы думаете, мне сладко? Не со вчерашнего дня, чай, меня знаете! Однако и я поразмыслил да посоветовался с добрыми людьми… Господи, благослови… Бух!

Другой сказал:

— Да, любезный друг, жаль вас, очень жаль! приятно было почитать. Улыбнешься, вздохнешь, а иногда и дельное что-нибудь отыщешь… Даже приятелям, бывало, спешишь сообщить. В канцеляриях цитировали. У меня был знакомый, который наизусть многое знал. Но, с другой стороны, есть всему и предел. Настали времена, когда понадобилось другое; вы должны были понять это, а не дожидаться, пока вас прихлопнут. Что такое это «другое» — выяснится потом, но не теперь… Вот я, вслед за другими, смотрел-смотрел, да и говорю жене: «Надо же!» Ну и она говорит: «Надо!» Я и решился.

— На что же вы решились?

— Да просто — идти общим торным путем. Не заглядываясь по сторонам, не паря ввысь, не думая о широких задачах… Помаленьку да полегоньку. Оно скучненько и серенько, положим, но ведь, с одной стороны, блистать-то нам не по плечу, а с другой стороны — семейство. Жена принарядиться любит, повеселиться… Сам тоже: имеешь положение в свете, связи, знакомства; видишь, как другие вперед да вперед идут, — неужто же все потерять? Вы думаете, я так-таки навсегда… нет, я тоже с оговорочкой. Придут когда-нибудь и лучшие времена… Вот, например,

ежели Николай Семеныч… Кормило-то, батюшка, нынче… Сегодня Иван Михайлыч, а завтра Николай Семеныч… Ну, тогда и опять…

— Да ведь Николай-то Семеныч — вор!

— Вор! Ах, как вы жестоко выражаетесь!

Наконец третий просто напрямки крикнул на него:

— И за дело! Будет с вас! Вы, сударь, не только себя, но и других компрометируете — вот что! Я из-за вас вчера объяснение имел, а нынче и не знаю, есмь я или не есмь! А какое вы имеете право, позвольте вас спросить? «В приятельских отношениях с господином Крамольниковым, — говорит, — а посему…» Я — туда-сюда. «Какие же, — говорю, — это приятельские отношения, вашество? так, буффон[293] — отчего же после трудов и не посмеяться!» Ну, дали покамест двадцать четыре часа на размышление, а там что будет. А у меня между тем семья, жена, дети… Да и сам я в поле не обсевок… Можно ли было этого ожидать! Повторяю: какое вы имеете право? ах-ах-ах!

Крамольников не счел нужным продолжать беседу и пошел дальше. Но так как на пути его стоял

---

[293] Notes: 293
Буффон — шутовство.

дом, в котором жил давний его однокашник, то он и зашел к нему, думая хоть тут отвести душу.

Лакей принял его радушно; по-видимому, он ничего еще не знал. Он сказал, что Дмитрия Николаича нет дома, а Аглая Алексеевна в гостиной. Крамольников отворил дверь, но едва переступил порог гостиной, как сидевшая в ней дама взвизгнула и убежала. Крамольников отретировался.

Наконец он вспомнил, что на Песках живет старый его сослуживец (Крамольников лет пятнадцать назад тоже служил в департаменте Грешных Помышлений), Яков Ильич Воробушкин. Человек этот был большой почитатель Крамольникова и служил неудачно. С лишком десять лет тянул он лямку столоначальника, не имея в перспективе никакого повышения и при каждой перемене веяния дрожа за свое столоначальничество. Робкий и неискательный от природы, он и на частной службе приютиться не мог. Как-то с самого начала он устроил себя так, что ему самому казалось странным чего-нибудь искать, подавать записки об уничтожении и устранении, слоняться по передним и лестницам и т. д. Раз только он подал записку о необходимости ободрить нищих духом; но директор,

прочитав ее, только погрозил ему пальцем, и с тех пор Воробушкин замолчал. В последнее время, однако ж, он начал смутно надеяться, стал ходить в ту самую церковь, куда ходил его начальник, так что последний однажды подарил ему половину заздравной просфоры (донышко) и сказал: «Очень рад!» Таким образом, дело его было уже на мази, как вдруг…

Крамольникову отворила дверь старая нянька, сзади которой, из внутренних дверей выглядывали испуганные лица детей. Нянька была сердита, потому что нежданный посетитель помешал ей ловить блох. Она напрямки отрезала Крамольникову:

— Нет Якова Ильича дома; его из-за вас к начальнику позвали, и жив он теперь или нет — неизвестно; а барыня в церкву молиться ушли.

Крамольников стал спускаться по лестнице, но едва сделал несколько шагов, как встретил самого Воробушкина.

— Крамольников! простите меня, но я не могу поддерживать наши старые отношения! — сказал Воробушкин взволнованным голосом. — На этот раз, впрочем, я, кажется, оправдался, но и то наверное поручиться не могу. Директор так и сказал: «На вас неизгладимое пятно!» А у меня жена,

дети! Оставьте меня, Крамольников! Простите, что я такой малодушный, но я не могу…

Крамольников воротился домой удрученный, почти испуганный.

Что отныне он был осужден на одиночество — это он сознавал. Не потому он был одинок, что у него не было читателя, который ценил, а быть может, и любил его, а потому, что он утратил всякое общение с *своим* читателем. Этот читатель был далеко и разорвать связывающие его узы не мог. Напротив, был другой читатель, ближний, который во всякое время имел возможность зажалить Крамольникова до смерти. Этот остался налицо и нагло выражал, что самая немота Крамольникова ему ненавистна.

Смутно проносилось в его уме, что во всех отступничествах, которых он был свидетелем, кроется не одно личное предательство, а целый подавляющий порядок вещей. Что все эти вчерашние свободные мыслители, которые еще недавно так дружелюбно жали ему руки, а сегодня чураются его как чумы, делают это не только страха ради иудейска, но потому, что их придавило.

Их придавила жажда жизни; а так как жажда эта вполне законна и естественна, то Крамоль-

никову становилось страшно при этой мысли. «Неужто, — спрашивал он себя, — для того, чтобы удержать за собой право на существование, нужно пройти сквозь позорное и жестокое иго? Неужто в этом загадочном мире только то естественно, что идет вразрез с самыми заветными и дорогими стремлениями души?»

Или опять: почти всякий из недавних его собеседников ссылался на семью; один говорил: «Жена принарядиться любит»; другой: «Жена» — и больше ничего… Но особенно тяжко выходило это у Воробушкина. Семья ему душу рвала. Вероятно, он лишал себя всего, плохо ел, плохо спал, добывал на стороне работишку — все ради семьи. И, за всем тем, добывал так мало, что только самоотверженность Лукерьи Васильевны (жены Воробушкина) помогала переносить эту нужду. И вот, ради этого малого, ради нищенской подачки…

Что же это такое? Что такое семья? Как устроиться с семейным началом? Как сделать, чтобы оно не было для человека египетской язвой, не тянуло его во все стороны, не мешало быть гражданином?

Крамольников думал-думал, и вдруг словно кольнуло его.

«Отчего же, — говорил ему внутренний голос, — эти жгучие вопросы не представлялись тебе так назойливо *прежде,* как представляются *теперь*? Не оттого ли, что ты был прежде раб, сознававший за собой какую-то мнимую силу, а теперь ты раб бессильный, придавленный? Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?

Из-под пера твоего лился протест, но ты облекал его в такую форму, которая делала его мертворожденным. Все, против чего ты протестовал, — все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста.

Твой труд был бесплоден. Это был труд адвоката, у которого язык измотался среди опутывающих его лжей. Ты протестовал, но не указал ни того, что́ нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие. Но это было пленное раздражение мысли — раздражение, положим, доброе, но все-таки только раздражение. Ты даже тех людей, которые сегодня так нагло отвернулись от тебя, — ты и их

не сумел понять. Ты думал, что *вчера* они были иными, нежели сегодня.

Правда, ты не способен идти следом за этими людьми; ты не способен изменить тем добрым раздражениям, которые с молодых ногтей вошли тебе в плоть и кровь. Это, конечно, зачтется тебе… где и когда? Но теперь, когда тебя со всех сторон обступила старость, с ее недугами, рассуди сам, что тебе предстоит?..»

Post scriptum от автора. Само собой разумеется, что все написанное выше — не больше как сказка. Никакого Крамольникова нет и не было; отступники же и переметные сумы водились во всякое время, а не только в данную минуту. А так как и во всем остальном все обстоит благополучно, то не для чего было и огород городить, в чем автор и кается чистосердечно перед читателями.

1886

Христова ночь

(ПРЕДАНИЕ)

Равнина еще цепенеет, но среди глубокого безмолвия ночи под снежною пеленою уже слышится говор пробуждающихся ручьев. В оврагах и ложбинах этот говор принимает размеры глухого гула и предостерегает путника, что дорога в этом месте изрыта зажорами. Но лес еще молчит, придавленный инеем, словно сказочный богатырь железною шапкою. Темное небо сплошь усыпано звездами, льющими на землю холодный и трепещущий свет. В обманчивом его мерцании мелькают траурные точки деревень, утонувших в сугробах. Печать сиротливости, заброшенности и убожества легла и на застывшую равнину, и на безмолвствующий проселок. Все сковано, беспомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой.

Но вот в одном конце равнины раздалось гудение полночного колокола; навстречу ему, с противоположного конца, понеслось другое, за ним — третье, четвертое. На темном фоне ночи вырезались горящие шпили церквей, и

окрестность вдруг ожила. По дороге потянулись вереницы деревенского люда. Впереди шли люди серые, замученные жизнью и нищетою, люди с истерзанными сердцами и с поникшими долу головами. Они несли в храм свое смирение и свои воздыхания; это было все, что они могли дать воскресшему Богу. За ними, поодаль, следовали в праздничных одеждах деревенские богатеи, кулаки и прочие властелины деревни. Они весело гуторили меж собою и несли в храм свои мечтания о предстоящем недельном ликовании. Но скоро толпы народные утонули в глубине проселка; замер в воздухе последний удар призывного благовеста, и все опять торжественно смолкло.

Глубокая тайна почуялась в этом внезапном перерыве начавшегося движения — как будто за наступившим молчанием надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь и возрождение. И точно: не успел еще заалеть восток, как желанное чудо совершилось. Воскрес поруганный и распятый Бог! воскрес Бог, к которому искони огорченные и недугующие сердца вопиют: «Господи, поспешай!»

Воскрес Бог и наполнил собой вселенную. Широкая степь встала навстречу ему всеми своими снегами и буранами. За степью потя-

нулся могучий лес и тоже почуял приближение Воскресшего. Подняли матерые ели к небу мохнатые лапы; заскрипели вершинами столетние сосны; загудели овраги и реки; выбежали из нор и берлог звери, вылетели птицы из гнезд; все почуяли, что из глубины грядет нечто светлое, сильное, источающее свет и тепло, и все вопияли: «Господи! Ты ли?»

Господь благословил землю и воды, зверей и птиц и сказал им:

— Мир вам! Я принес вам весну, тепло и свет. Я сниму с рек ледяные оковы, одену степь зеленою пеленою, наполню лес пением и благоуханиями. Я напитаю и напою птиц и зверей и наполню природу ликованием. Пускай законы ее будут легки для вас; пускай она для каждой былинки, для каждого чуть заметного насекомого начертит круг, в котором они останутся верными прирожденному назначению. Вы не судимы, ибо выполняете лишь то, что вам дано от начала веков. Человек ведет непрестанную борьбу с природой, проникая в ее тайны и не предвидя конца своей работе. Ему необходимы эти тайны, потому что они составляют неизбежное условие его благоденствия и преуспеяния. Но природа сама себе довлеет, и в этом ее преимущество.

Нет нужды, что человек мало-помалу проникает в ее недра, — он покоряет себе только атомы, а природа продолжает стоять перед ним в своей первобытной неприступности и подавляет его своим могуществом. Мир вам, степи и леса, звери и пернатые! и да согреют и оживят вас лучи моего Воскресения!

Благословивши природу, Воскресший обратился к людям. Первыми вышли навстречу к нему люди плачущие, согбенные под игом работы и загубленные нуждою. И когда он сказал им: «Мир вам!» — то они наполнили воздух рыданиями и пали ниц, молчаливо прося об избавлении.

И сердце Воскресшего вновь затуманилось тою великою и смертельную скорбью, которою оно до краев переполнилось в Гефсиманском саду, в ожидании чаши, ему уготованной. Все это многострадальное воинство, которое пало перед ним, несло бремя жизни имени его ради; все они первые приклонили ухо к его слову и навсегда запечатлели его в сердцах своих. Всех их он видел с высот Голгофы, как они метались вдали, окутанные сетями рабства, и всех он благословил, совершая свой крестный путь, всем обещал освобождение. И все они с тех пор жаждут его и рвутся к нему. Все с беззаветною верою простирают к

нему руки: «Господи! Ты ли?»

— Да, это я, — сказал он им. — Я разорвал узы смерти, чтобы прийти к вам, слуги мои верные, сострадальцы мои дорогие! Я всегда и на всяком месте с вами, и везде, где пролита ваша кровь, — тут же пролита и моя кровь вместе с вашею. Вы чистыми сердцами беззаветно уверовали в меня, потому только, что проповедь моя заключает в себе правду, без которой вселенная представляет собой вместилище погубления и ад кромешный. Люби Бога и люби ближнего, как самого себя, — вот эта правда, во всей ее ясности и простоте, и она наиболее доступна не богословам и начетчикам, а именно вам, простым и удрученным сердцам. Вы верите в эту правду и ждете ее пришествия. Летом, под лучами знойного солнца, за сохою, вы служите ей; зимой, длинными вечерами, при свете дымящейся лучины, за скудным ужином, вы учите ей детей ваших. Как ни кратка она сама по себе, но для вас в ней замыкается весь смысл жизни и никогда не иссякающий источник новых и новых собеседований. С этой правдой вы встаете утром, с нею ложитесь на сон грядущий и ее же приносите на алтарь мой в виде слез и воздыханий, которые слаще аромата кадильного растворяют сердце мое. Знайте же: хотя никто не

провидит вперед, когда пробьет ваш час, но он уже приближается. Пробьет этот желанный час, и явится свет, которого не победит тьма. И вы свергнете с себя иго тоски, горя и нужды, которое удручает вас. Подтверждаю вам это, и как некогда с высот Голгофы благословлял вас на стяжание душ ваших, так и теперь благословляю на новую жизнь в царстве света, добра и правды. Да не уклонятся сердца ваши в словеса лукавствия, да пребудут они чисты и просты, как доднесь, а слово мое да будет истина. Мир вам!

Воскресший пошел далее и встретил на пути своем иных людей. Тут были и богатеи, и мироеды, и жестокие правители, и тати, и душегубцы, и лицемеры, и ханжи, и неправедные судьи. Все они шли с сердцами, преисполненными праха, и весело разговаривали, встречая не Воскресение, а грядущую праздничную суету. Но и они остановились в смятении, почувствовав приближение Воскресшего.

Он также остановился перед ними и сказал:

— Вы — люди века сего и духом века своего руководитесь. Стяжание и любоначалие — вот двигатели ваших действий. Зло наполнило все содержание вашей жизни, но вы так легко несете иго зла, что ни единый скрупул вашей совести

не дрогнул перед будущим, которое готовит вам это иго. Все окружающее вас представляется как бы призванным служить вам. Но не потому овладели вы вселенною, что сильны сами по себе, а потому, что сила унаследована вами от предков. С тех пор вы со всех сторон защищены, и сильные мира считают вас присными. С тех пор вы идете с огнем и мечом вперед и вперед; вы крадете и убиваете, безнаказанно изрыгая хулу на законы Божеские и человеческие, и тщеславитесь, что таково искони унаследованное вами право. Но говорю вам: придет время — и недалеко оно, — когда мечтания ваши рассеются в прах. Слабые также познают свою силу; вы же сознаете свое ничтожество перед этою силой. Предвидели ли вы когда-нибудь этот грозный час? смущало ли вас это предвидение за себя и за детей ваших?

Грешники безмолвствовали на этот вопрос. Они стояли, потупив взоры и как бы ожидая еще горшего. Тогда Воскресший продолжал:

— Но во имя моего Воскресения я и перед вами открываю путь к спасению. Этот путь — суд вашей собственной совести. Она раскроет перед вами ваше прошлое во всей его наготе; она вызовет тени погубленных вами и поставит их на страже у изголовий ваших. Скрежет зубовный

наполнит дома ваши; жены не познают мужей, дети — отцов. Но когда сердца ваши засохнут от скорби и тоски, когда ваша совесть переполнится, как чаша, не могущая вместить переполняющей ее горечи, — тогда тени погубленных примирятся с вами и откроют вам путь к спасению. И не будет тогда ни татей, ни душегубцев, ни мздоимцев, ни ханжей, ни неправедных властителей, и все одинаково возвеселятся за общею трапезой в обители моей. Идите же и знайте, что слово Мое — истина!

В эту самую минуту восток заалел, и в редеющем сумраке леса выступила безобразная человеческая масса, качающаяся на осине. Голова повесившегося, почти оторванная от туловища, свесилась книзу; во́роны уже выклевали у нее глаза и выели щеки. Самое туловище было по местам обнажено от одежд и, зияя гнойными ранами, размахивало по ветру руками. Стая хищных птиц кружилась над телом, а более смелые бесстрашно продолжали дело разрушения.

То было тело предателя, который сам совершил суд над собой.

Все предстоявшие с ужасом и отвращением отвернулись от представившегося зрелища; взор Воскресшего воспылал гневом.

— О, предатель! — сказал он. — Ты думал, что вольною смертью избавился от давившей тебя измены; ты скоро сознал свой позор и поспешил окончить расчеты с постыдною жизнью. Преступление так ясно выступило перед тобой, что ты с ужасом отступил перед общим презрением и предпочел ему душевное погубление. «Единый миг, — сказал ты себе, — и душа моя погрузится в безрассветный мрак, а сердце перестанет быть доступным угрызениям совести». Но да не будет так. Сойди с древа, предатель! да возвратятся тебе выклеванные очи твои, да закроются гнойные раны, и да восстановится позорный твой облик в том же виде, в каком он был в ту минуту, когда ты лобзал предаваемого тобой. Живи!

По этому слову, перед глазами у всех, предатель сошел с древа и пал на землю перед Воскресшим, моля его о возвращении смерти.

— Я всем указал путь к спасению, — продолжал Воскресший, — но для тебя, предатель, он закрыт навсегда. Ты проклят Богом и людьми, проклят на веки веков. Ты не убил друга, раскрывшего перед тобой душу, а застиг его врасплох и предал на казнь и поругание. За это я осуждаю тебя на жизнь. Ты будешь ходить из града в град, из веси в весь и нигде не найдешь крова, который бы

приютил тебя. Ты будешь стучаться в двери — и никто не отворит их тебе; ты будешь умолять о хлебе — и тебе подадут камень; ты будешь жаждать — и тебе подадут сосуд, наполненный кровью преданного тобой. Ты будешь плакать, и слезы твои превратятся в потоки огненные, будут жечь твои щеки и покрывать их струпьями. Камни, по которым ты пойдешь, будут вопиять: «Предатель! будь проклят!» Люди на торжищах расступятся перед тобой, и на всех лицах ты прочтешь: «Предатель! будь проклят!» Ты будешь искать смерти и на суше, и на водах — и везде смерть отвратится от тебя и прошипит: «Предатель! будь проклят!» Мало того: на время судьба сжалится над тобою, ты обретешь друга и предашь его, и этот друг из глубины темницы возопит к тебе: «Предатель! будь проклят!» Ты получишь способность творить добро, но добро это отравит души облагодетельствованных тобой. «Будь проклят, предатель! — возопиют они. — Будь проклят и ты, и все дела твои!» И будешь ты ходить из века в век с неусыпающим червем в сердце, с погубленною душою. Живи, проклятый! и будь для грядущих поколений свидетельством той бесконечной казни, которая ожидает предательство. Встань, возьми вместо

посоха древесный сук, на котором ты чаял найти смерть, — и иди!

И едва замерло в воздухе слово Воскресшего, как предатель встал с земли, взял свой посох, и скоро шаги его смолкли в той необъятной, загадочной дали, где его ждала жизнь из века в век. И ходит он доднесь по земле, рассеивая смуту, измену и рознь.

1886

Ворон-челобитчик

(СКАЗКА)

Все сердце у старого ворона изболело. Истребляют вороний род: кому не лень, всякий его бьет. И хоть бы ради прибытка, а то просто ради потехи. Да и само вороньё измалодушничалось. О прежнем вещем карканье и в помине нет; осыплют воро́ны гурьбой березу и кричат зря: «Вот мы где!» Натурально, сейчас — паф! — и десятка или двух в стае как не бывало. Еды прежней, привольной, тоже не стало. Леса кругом повырубили, болота повысушили, зверье угнали — никак честным образом прокормиться нельзя. Стало вороньё по огородам, садам, по скотным дворам шнырять. А за это опять — паф! — опять десятка или двух в стае как не бывало! Хорошо еще, что воро́ны плодущи, а то кто бы кречету, да ястребу, да беркуту дань платил?

Начнет он, старик, младших собратий увещевать: «Не каркайте зря! не летайте по чужим огородам!» — да только один ответ слышит: «Ничего ты, старый хрен, в новых делах не смыслишь! нельзя, по нынешнему времени, не воровать.

И в науке так сказано: коли нечего тебе есть, так изворачивайся. И все так нынче живут: дела не делают, а изворачиваются. Пропадать, что ли, нам! Мы еще где дó свету встанем, снимемся с гнезд и весь лес обшарим — везде хоть шаром покати. Ни ягоды лесной, ни пичуги малой, ни зверя упалóго. Даже червь и тот в землю зарылся».

Слышит старый ворон эти речи и глубокую думу думает. Трудные бывали на его памяти времена. Целыми годами преследовала вороний род бескормица, без числа вороньё погибало. Но тогда было правило: есть у тебя когти — рви ими свою грудь, а на чужой кусок не зарься! Однако и тогда уж было приметно, что недолго вороньё эту школу выдержит. Смотреть, как другие живут припеваючи, а самому добровольно умирать с голода, — от одного этого хоть чье хочешь сердце изноет.

И наука, кстати, на помощь пришла: клюй, что можешь и где можешь! Удастся набить зоб — летай на свободе сытый и веселый; не удастся — виси простреленный на огороде, вместо чучела! На то война.

Когда принес его сюда, едва оперившегося, старый батько из-за тридевять морей, места здесь были вольные. Лес да вода — и глазом не

окинешь. В лесу всякой ягоды, всякого зверя, птицы — всего вдоволь; в воде рыба кишмя кишела. Начальником и тогда у них был, как и теперь, ястреб, но тогдашний ястреб и сам по себе был по горло сыт, да и прост был, так прост, что и до сих пор об его простоте анекдоты ходят. Любил, правда, молоденькими воронятами полакомиться, но и тут справедливость наблюдал: сегодня из одного гнезда унесет вороненка, завтра из другого, а ежели видит, что гнездо бедное, упалое, так и безо всего улетит. И подати тогда были не тяжелые: по яйцу с гнезда, да по перу с крыла, да с каждых десяти гнезд по вороненку орлу в презент. Отбыл повинность — и спи на оба уха.

Но чем дальше шло, тем глубже и глубже все изменялось. Облюбовал вольные места человек и начал с того, что пустил в ход топор. Леса поредели, болота стали затягиваться, река обмелела. Сначала по берегу реки появились заи́мки, потом деревни, села, помещичьи усадьбы. Стук топора гулким эхом раздавался в глубинах лесных, нарушая обычное течение жизни зверей и птиц. Старейшины вороньего племени уже тогда предсказывали, что грозит что-то недоброе, но молодое вороньё с веселым карканьем кружилось около человеческих жилищ, словно приветствуя

пришельцев. Строгие заветы предков наскучили молодым сердцам; лесные глубины опостылели. Потребовалось новое, диковинное, неизведанное. Вороньё разделилось на партии; начались пререкания, усобицы, рознь…

Одновременно с этими изменениями произошли изменения и в высших орнитологических сферах. Старый ястреб оказался стоящим не на высоте своей задачи. Он мог управлять только при патриархальных порядках, но когда отношения усложнились, когда на каждом шагу в воронье существование врывались новые элементы, административное чутье окончательно его покинуло. Главные начальники называли его старым колпаком; вороньё оспаривало его власть и бесцеремонно каркало ему в уши всякую чепуху. Он же, вместо того чтоб пресечь зло в самом корне, только благосклонно хлопал глазами и шутя говорил: «Вот ужо придет реформа, узнаете вы, как кузькину мать зовут!» Наконец и ожидаемая реформа пришла. Старика сдали в архив, а прислали вместо него начальником совсем молодого ястреба, да в помощь к нему, в видах пущего контроля, поставили кречета.

Прилетели новые начальники и сказали вороньему племени немилостивое слово. «Я вас

к одному знаменателю приведу!» — цыркнул ястреб, а кречет прибавил: «И я тоже». Сказавши это, объявили, что отныне налоги увеличиваются против прежнего втрое, выдали окладные листы[294] и улетели.

Началось окончательное разорение. Вороньё роптало. «Налоги установили немилостивые, а новых угодьев не предоставили!» — раздавалось по лесу; но ни ястреб, ни кречет не внимали жалобам воронья и посылали копчиков ловить смутьянов, которые зря пустые речи в народ пущают. Много было тогда гнезд разорено, много вороньего племени в плен уведено и отдано на съедение волкам и лисицам. Думали, что вороньё, испугавшись, на хвосте дани принесет. Но вороньё от испуга только металось и жалобно каркало: «Хоть режьте, хоть стреляйте, а даней нам взять неоткуда!»

Так оно и посейчас идет: вороньё разоряется, а казна не наполняется. Что и добудет ворона на стороне, и то копчик на пути отнимет. Словом сказать, хуже нельзя. Надумало было вороньё новых местов искать и летунов вперед для разведок отправило, но они улететь — улетели, а назад не

[294] Notes: 294

Окладные листы — документ, извещающий о сроках и сумме податного налога.

воротились. Может быть, заблудились, может быть, по пути копчики задавили, а может быть, и сами собой с голоду погибли. Да и шутка сказать — с насиженных мест неведомо куда лететь! Нет нынче вольных мест! всюду проник человек! И ему тесно стало. Идет вперед с топором; стонут леса, бегут звери, а он с утра до вечера корчует пни, расчищает пашню, рубит избу, а ночью дрожит в землянке от холода и голода в ожиданье, когда-то вся эта сутолока в порядок придет.

Думал-думал старый ворон и наконец надумал: «Надо лететь всю правду объявить». Только стар он и слаб — долетит ли? Ведь лететь — дорога не близкая. Сначала надо ястребу челом бить, потом кречету, а наконец — и к коршуну, который в ту пору вороньим племенем, вроде как начальник края, правил.

У птиц тоже, как и у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: «Был ли у ястреба? был ли у кречета?», а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прослывешь.

Наконец, однако ж, снялся ранним утром с гнезда и полетел. Видит, сидит ястреб на высокой-высокой сосне, уж сытый, и клюв когтями чистит.

— Здравствуй, старче! — приветствовал его

ястреб благодушно. — Зачем пожаловал?

— Прилетел я к твоему степенству правду объявить! — горячо закаркал старый ворон. — Гибнет вороний род! гибнет! человек его истребляет, дани немилостивые разоряют, копчики донимают... Мрет вороний род, а кои и живы — тем прокормиться нечем.

— Вот как! А не от нерадивости ли вашей все эти беды на вороний род опрокинулись?

— Сам ты знаешь, что нерадивости в нас нет. С утра до ночи мы шарим и корму доглядываем. Живем в трудах, как честному воронью жить надлежит, только добыть что-нибудь честным образом невозможно стало.

Ястреб на минуту задумался, словно не решался настоящее слово выговорить, но наконец сказал:

— Изворачивайтесь!

Однако решение это не удовлетворило, а только пуще взволновало ворона.

— Знаю я, что нынче все изворотами живут, — горячо ответил он, — да прост на это наш вороний род. Другие миллионы крадут, и все им как с гуся вода, а ворона украдет копейку — ей за это смерть. Подумай, разве это не злодейство: за копейку — смерть. А ты еще учишь: «Изворачивайтесь!» Прислан ты к нам начальником, чтоб

защищать нас от обид, а явился первым разорителем и угнетателем! Доколе мы будем терпеть? Ведь ежели мы…

Ворон не договорил и испугался: нелегко, видно, правду-то объявлять.

Но ястреб, как сказано было выше, был сыт и смотрел на незваного гостя благодушно.

— Знаю, не договаривай, — сказал он, — давно мы эту песню слышим, да покуда Бог еще миловал… А ты все-таки на ус себе намотай: прилетел ты ко мне правду объявить, да на первом же слове и запнулся… Все ли ты сказал?

— Всё покамест, — отвечал ворон, продолжая робеть.

— Ну, так я тебе вот что отвечу: правда твоя давно всем известна; не только вам, во́ронам, а и копчикам, и ястребам, и коршунам. Только не ко двору она в наше время пришлась, а потому, сколько об ней ни объявляй, хоть на всех перекрестках кричи, — ничего из этого не выйдет. А когда наступит время, что она сама собою объявится, — этого покуда никто не знает. Понял?

— Понял я одно: что вороньему роду конец пришел! — с горечью ответил ворон.

— Ну, коли не понял, давай разговаривать. Говоришь ты, что человек вас истребляет, — но

разве можем мы, птицы, против человека идти? Человек порох выдумал — а мы чем на это ответить можем? Выдумал человек порох — и палит в нас; что вздумается, то над нами и делает. Мы все равно что мужики: со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только знай перевертываются. Каким таким манером случилось, что Губошлепов дорогу заполучил, а у них после того по гривне в кошеле убавилось, — разве темный человек может это понять? А дело-то простое: Губошлепов порох выдумал, а мужики, ровно черви, только в навозе копаться умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червю жить подобает. Червю и вы, вороньё, потачки не даете, — вспомни-ка! что, если б он на вас гвалт поднял, не вы ли бы первые удивились: «Червь, мол, ползущий, а тоже разговаривает!» Так-то, старче! Кто одолеет, тот и прав. Понял теперь?

— Погибать, значит, надо? Ах, какое жестокое ты слово сказал! — затосковал ворон.

— Жестоко ли мое слово или не жестоко, не в том суть, а в том, что и я правды от тебя не утаил. Не той правды, которой ты ищешь, а той, которую, по нынешнему времени, всякий в расчет принимать должен. Но будем продолжать разго-

вор. Ты говоришь, что копчики корм у вас на лету отнимают, что я сам, ястреб, ваши гнезда разоряю, что мы не защитники ваши, а разорители. Что ж: вы кормиться хотите — и мы кормиться хотим. Кабы вы были сильнее — вы бы нас ели, а мы сильнее — мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе — свою; только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает. Понял?

— Погибать! погибать надо! — продолжал твердить старый ворон, почти не сознавая действительного значения ястребовых речей, но инстинктивно чувствуя, что они заключают в себе нечто неслыханно жестокое.

Ястреб оглянул челобитчика с головы до хвоста, и так как был сыт, то захотелось ему пошутить над стариком.

— А хочешь, я тебя съем! — сказал он; но, увидев, что ворон инстинктивно сделал скачок назад, продолжал: — Ну тебя! тощ ты и стар — какая это еда! Ну-тка, распахни-ка жилет!

Ворон распустил крылья и сам удивился: кости да кожа, ни пуху, ни перьев нет — волк голодный, и тот на такую птицу не позарится.

— Вот видишь, каков ты стал. А все оттого, что о правде думаешь. Кабы ты по-вороньи, без думы,

жил — такой ли бы ты был! А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты еще, что поборы с вас, воронья, немилостивые берут, — и это правда. Но подумай: с кого же брать? Воробьи, синицы, чижи, зяблики — много ли они могут дать? рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки? — эти живут каждый сам по себе, их и днем с огнем не отыщешь. Одно вороньё живет обществом, как настоящие мужики, и притом само о себе непрестанно возглашает, — что же удивительного, что оно в ревизские сказки попало? А коли попал в ревизские сказки — держись! Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то, стало быть, так нужно. Потребностей больше — и сборов больше: это хоть кого хочешь спроси. Так-то вот, старче. Ты правду сказал, и я правду сказал; а чья правда крепче — на это отвечает ваше воронье житье. Ну а теперь лети восвояси, а я вздремнуть хочу.

Однако ворон не возвратился восвояси, а направил полет к кречету.

«Будь что будет, — думал он, тяжело взмахивая старческими крыльями, — а я доведу дело до конца! Если и кречет моей правды не примет, то полечу в губернию к самому коршуну, а от правды не отступлюсь!»

Кречет жил в впадине горного ущелья, и доступ к нему был очень труден. У порога его жилища сидел дежурный копчик и принимал посетителей. На этот раз дежурным оказался известный всему вороньему роду копчик Иван Иваныч, фаворит кречета (слухи шли даже, что он его побочный сын), который поручал ему самые важные и секретные дела. Это был лихой малый, с виду добродушный, с благосклонными и даже изысканными манерами. Не прочь был и побалагурить, и кутнуть где-нибудь за облачком, и полетать с девушками-чечеточками в горелки, и даже одолженье другу-приятелю сделать; но все это благодушие оставалось при нем лишь до тех пор, покуда он находился вне службы. Как только он приступал к исполнению обязанностей (особливо секретных поручений), то мгновенно преображался. Становился холоден, суров и исполнителен до жестокости. Прикажут ему настичь — он настигнет; прикажут удавить — задавит. Если птица и вдвое больше и сильнее его, он таким кубарем к ней подлетит, что та загодя начинает уж кричать и метаться от тоски. Вообще птицы, которые бывали у него в переделке, при одном имени его трепетали от страха.

— Не проспался, старик? — иронически при-

ветствовал челобитчика Иван Иваныч.

Старый ворон понял, что здесь уже все известно. И у птиц существуют свои лазутчики, через которых не только действия, но и тайные помышления обывателей известны.

— Какой уж у стариков сон! — уклончиво отвечал он.

— Правду объявлять прилетел? — продолжал копчик. — Ну да, впрочем, это твое дело. Доложить?

— Да, уж сделай такую милость.

Иван Иваныч юркнул в впадину и около часа там оставался. Ворон с замиранием сердца ждал его появления. Наконец он пока-зался.

— Велено тебе сказать, — молвил он, — что растабарывать с тобой некогда. Правда твоя искони всем известна, да, стало быть, есть в ней порок, ежели она сама собой не проявляется. Беспокойный у тебя нрав, пустые ты речи в народ пущаешь. Давно бы за это съесть тебя надо, да, слышь, стар ты, худ и немощен. К начальнику края, чай, теперь полетишь?

— Нет уж, что уж… — хотел было утаиться ворон.

— Не запирайся! насквозь я тебя вижу! Что же, лети! только как бы тебе очи за твою правду не

выклевали. Смотри не прогадай! Да ты, поди, и дороги не знаешь; видишь, вон, облако, там, над самым этим облаком, — там и есть.

Несмотря на предсказание копчика, ворон решился довести свое челобитье до конца. Долгим и кружным путем взбирался он, ночуя в покинутых звериных норах и пропитываясь ягодами, изредка попадавшимися на отрогах гор. Наконец он врезался в облако, и перед глазами его предстало волшебное зрелище.

Несколько смежных горных вершин, покрытых снегом, пламенели в лучах восходящего солнца. Издали казался точно сказочный за́мок, у подножия которого застыли облака, а наверху вместо крыши расстилалась бесконечная небесная лазурь.

Коршун сидел на скале, окруженный целой массой разнообразнейших птиц. По правую сторону его сидел белый кречет, помощник его и советник; у ног кувыркались всех сортов чиновники особых поручений: попугаи, ученые снегири и чижи; сзади хор скворцов докладывал утреннюю почту; в сторонке, на отдельной вершине, дремали совы, филины и нетопыри, образуя из себя нечто вроде губернского совета; вороны во множестве мелькали вдали, с перьями за ушами,

строчили указы, предписания и донесения и кричали: «С пылу с жару! по пятачку за пару!»

Коршун был ветхий старик и от старости едва-едва скрипел клювом. В ту минуту, когда у ног его опустился ворон, он только что пообедал и в полудремоте, смежив очи, покачивал головой, несмотря на оглушающий говор и шум. Однако появление челобитчика произвело среди птиц некоторый переполох, благодаря которому коршун встрепенулся.

— С просьбицей, старче? — спросил он ворона ласково.

— Прилетел я из-за тридевяти земель правду твоему великостепенству объявить! — начал ворон восторженно, но тут же был остановлен кречетом.

— Не разводи риторики! — холодно прервал его последний. — Докладывай дело без украшений, ясно, просто, по пунктам. Что тебе надобно?

Начал ворон по пунктам свое челобитье излагать: человек вороний род истребляет, копчики, ястреба, кречета донимают, сборы немилостивые разоряют… И каждый раз, как кончит он один пункт, коршун поскрипит клювом и молвит:

— Правда твоя, старче!

Сердце играло в груди старого ворона при

этих подтверждениях. «Наконец-то! — думалось ему. — Увижу я эту правду, по которой сызмлада тоскую! Послужу своему племени, поревную за него!» И чем дальше лилось его слово, тем горячее и горячее оно звучало. Наконец он высказал все, что у него на душе, и замолк.

— Все ли ты сказал? — спросил его коршун.

— Все, — ответил ворон.

— У ястреба, у кречета челом бил?

— Бил и у них.

Он кратко изложил свой разговор с ястребом, а также свое неудавшееся свидание с кречетом.

— Так вот что́ я тебе на твою правду скажу, — молвил коршун, — больше двухсот лет я сижу на этом утесе и хоть бочком да на солнце смотрю… Но Правде и до сих пор ни разу взглянуть в лицо не мог.

— Но почему же? — в недоумении каркнул ворон.

— А потому, что вместить ее птице не под силу. Ежели кто об себе думает, что он правду вместил, тот и выполнить ее должен: а мы, стало быть, не можем выполнить — оттого и смотрим на нее исподлобья. Думается: «Авось-либо она мимо пройдет!»

Коршун на минуту задумался и продолжал:

— Жестокое тебе слово ястреб сказал, но правильное. Хороша правда, да не во всякое время и не на всяком месте ее слушать пригоже. Иных она в соблазн ввести может, другим — вроде укоризны покажется. Иной и рад бы правде послужить, да как к ней с пустыми руками приступиться! Правда не ворона — за хвост ее не ухватишь. Посмотри кругом — везде рознь, везде свара; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет… Оттого каждый и ссылается на *свою* личную правду. Но придет время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна, — тогда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются как дым и все мелкие «личные правды». Объявится настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придет и весь мир осияет. И будем мы жить все вкупе и влюбе. Так-то, старик! А покуда лети с миром и объяви вороньему роду, что я на него, как на каменную гору, надеюсь.

1889

Рождественская сказка

Прекраснейшую сегодня проповедь сказал, для праздника, наш сельский батюшка.

— Много столетий тому назад, — сказал он, — в этот самый день пришла в мир Правда.

Правда извечна. Она прежде всех век восседала с Христом-человеколюбцем одесную Отца, вместе с ним воплотилась и возжгла на земле свой светоч. Она стояла у подножия креста и сораспиналась с Христом; она восседала в виде светозарного ангела у гроба его и видела его Воскресение. И когда человеколюбец вознесся на небо, то оставил на земле Правду как живое свидетельство своего неизменного благоволения к роду человеческому.

С тех пор нет уголка в целом мире, в который не проникла бы Правда и не наполнила бы его собою. Правда воспитывает нашу совесть, согревает наши сердца, оживляет наш труд, указывает цель, к которой должна быть направлена наша жизнь. Огорченные сердца находят в ней верное и всегда открытое убежище, в котором они могут успокоиться и утешиться от случайных волнений жизни.

Неправильно думают те, которые утверждают, что Правда когда-либо скрывала лицо свое, или — что еще горше — была когда-либо побеждена Неправдою. Нет, даже в те скорбные минуты, когда недальновидным людям казалось, что торжествует отец лжи, в действительности торжествовала Правда. Она одна не имела временного характера, одна неизменно шла вперед, простирая над миром крыле свои и освещая его присносущим светом своим. Мнимое торжество лжи рассевалось, как тяжкий сон, а Правда продолжала шествие свое.

Вместе с гонимыми и униженными Правда сходила в подземелья и проникала в горные ущелия. Она восходила с праведниками на костры и становилась рядом с ними перед лицом мучителей. Она воздувала в их душах священный пламень, отгоняла от них помыслы малодушия и измены; она учила их страдать всладце. Тщетно служители отца лжи мнили торжествовать, видя это торжество в тех вещественных признаках, которые представляли собой казни и смерть. Самые лютые казни были бессильны сломить Правду, а, напротив, сообщали ей вящую притягивающую силу. При виде этих казней загорались простые сердца, и в них Правда обретала новую

благодарную почву для сеяния. Костры пылали и пожирали тела праведников, но от пламени этих костров возжигалось бесчисленное множество светочей, подобно тому как в светлую утреню от пламени одной возжженной свечи внезапно освещается весь храм тысячами свечей.

В чем же заключается Правда, о которой я беседую с вами? На этот вопрос отвечает нам евангельская заповедь. Прежде всего, люби Бога, и затем люби ближнего, как самого себя. Заповедь эта, несмотря на свою краткость, заключает в себе всю мудрость, весь смысл человеческой жизни.

Люби Бога — ибо он жизнодавец и человеколюбец, ибо в нем источник добра, нравственной красоты и истины. В нем — Правда. В этом самом храме, где приносится бескровная жертва Богу, — в нем же совершается и непрестанное служение Правде. Все стены его пропитаны Правдой, так что вы — даже худшие из вас, — входя в храм, чувствуете себя умиротворенными и просветленными. Здесь, перед лицом Распятого, вы утоляете печали ваши; здесь обретаете покой для смущенных душ ваших. Он был распят ради Правды, лучи которой излились от него на весь мир, — вы ли ослабнете духом перед постигающими вас испытаниями?

Люби ближнего, как самого себя, — такова вторая половина Христовой заповеди. Я не буду говорить о том, что без любви к ближнему невозможно общежитие, — скажу прямо, без оговорок: любовь эта сама по себе, помимо всяких сторонних соображений, есть краса и ликование нашей жизни. Мы должны любить ближнего не ради взаимности, но ради самой любви. Должны любить непрестанно, самоотверженно, с готовностью положить душу, подобно тому как добрый пастырь полагает душу за овец своих.

Мы должны стремиться к ближнему на помощь, не рассчитывая, возвратит он или не возвратит оказанную ему услугу; мы должны защитить его от невзгод, хотя бы невзгода угрожала поглотить нас самих; мы должны предстательствовать за него перед сильными мира, должны идти за него в бой. Чувство любви к ближнему есть то высшее сокровище, которым обладает только человек и которое отличает его от прочих животных. Без его оживотворяющего духа все дела человеческие мертвы, без него тускнеет и становится непонятною самая цель существования. Только те люди живут полною жизнью, которые пламенеют любовью и самоотвержением; только они одни знают действительные радования жизни.

Итак, будем любить Бога и друг друга — таков смысл человеческой Правды. Будем искать ее и пойдем по стезе ее. Не убоимся козней лжи, но станем до́бре и противопоставим им обретенную нами Правду. Ложь посрамится, а Правда останется и будет согревать сердца людей.

Теперь вы возвратитесь в домы ваши и предадитесь веселию о празднике Рождества Господа и человеколюбца. Но и среди веселия вашего не забывайте, что с ним пришла в мир Правда, что она во все дни, часы и минуты присутствует посреди вас и что она представляет собою тот священный огонь, который освещает и согревает человеческое существование.

Когда батюшка кончил и с клироса раздалось: «Буди имя Господне благословенно», то по всей церкви пронесся глубокий вздох. Точно вся громада молящихся этим вздохом подтверждала: «Да, буди благословенно!»

Но из присутствовавших в церкви всех внимательнее вслушивался в слова отца Павла десятилетний сын мелкой землевладелицы Сережа Русланцев. По временам он даже обнаруживал волнение, глаза его наполнялись слезами, щеки горели, и сам он всем корпусом подавался вперед, точно хотел о чем-то спросить.

Марья Сергеевна Русланцева была молодая вдова и имела крохотную усадьбу в самом селе. Во времена крепостной зависимости в селе было до семи помещичьих усадьб, отстоявших в недальнем друг от друга расстоянии. Помещики были мелкопоместные, а Федор Павлыч Русланцев принадлежал к числу самых бедных: у него всего было три крестьянских двора да с десяток дворовых. Но так как его почти постоянно выбирали на разные должности, то служба помогла ему составить небольшой капитал. Когда наступило освобождение, он получил, в качестве мелкопоместного, льготный выкуп и, продолжая полевое хозяйство на оставшемся за наделом клочке земли, мог изо дня в день существовать.

Марья Сергеевна вышла за него замуж значительное время спустя после крестьянского освобождения, а через год уже была вдовой. Федор Павлыч осматривал верхом свой лесной участок, лошадь чего-то испугалась, вышибла его из седла, и он расшиб голову об дерево. Через два месяца у молодой вдовы родился сын.

Жила Марья Сергеевна более нежели скромно. Полеводство она нарушила, отдала землю в кор-

тому[295] крестьянам, а за собой оставила усадьбу с небольшим лоскутком земли, на котором был разведен садик с небольшим огородцем. Весь ее хозяйственный живой инвентарь заключался в одной лошади и трех коровах; вся прислуга — из одной семьи бывших дворовых, состоявшей из ее старой няньки с дочерью и женатым сыном. Нянька присматривала за всем в доме и пестовала маленького Сережу; дочь — кухарничала, сын с женою ходили за скотом, за птицей, обрабатывали огород, сад и проч. Жизнь потекла бесшумно. Нужды не чувствовалось; дрова и главные предметы продовольствия были некупленные, а на покупное почти совсем запроса не существовало. Домочадцы говорили: «Точно в раю живем!» Сама Марья Сергеевна тоже забыла, что существует на свете иная жизнь (она мельком видела ее из окон института, в котором воспитывалась). Только Сережа по временам тревожил ее. Сначала он рос хорошо, но, приближаясь к семи годам, начал обнаруживать признаки какой-то болезненной впечатлительности.

Это был мальчик понятливый, тихий, но в то же время слабый и болезненный. С семи лет Марья

---

[295] Notes: 295
Кортома — аренда.

Сергеевна засадила его за грамоту; сначала учила сама, но потом, когда мальчик стал приближаться к десяти годам, в ученье принял участие и отец Павел. Предполагалось отдать Сережу в гимназию, а следовательно, требовалось познакомить его хоть с первыми основаниями древних языков. Время близилось, и Марья Сергеевна в большом смущении помышляла о предстоящей разлуке с сыном. Только ценою этой разлуки можно было достигнуть воспитательных целей. Губернский город отстоял далеко, и переселиться туда при шести-семистах годового дохода не представлялось возможности. Она уже вела о Сереже переписку с своим родным братом, который жил в губернском городе, занимая невидную должность, и на днях получила письмо, в котором брат соглашался принять Сережу в свою семью.

По возвращении из церкви, за чаем, Сережа продолжал волноваться.

— Я, мамочка, по правде жить хочу! — повторял он.

— Да, голубчик, в жизни главное — правда, — успокоивала его мать, — только твоя жизнь еще впереди. Дети иначе не живут, да и жить не могут, как по правде.

— Нет, я не так хочу жить; батюшка говорил,

что тот, кто по правде живет, должен ближнего от обид защищать. Вот как нужно жить, а я разве так живу? Вот, намеднись, у Ивана Бедного корову продали — разве я заступился за него? Я только смотрел и плакал.

— Вот в этих слезах — и правда твоя детская. Ты и сделать ничего другого не мог. Продали у Ивана Бедного корову — по закону, за долг. Закон такой есть, что всякий долги свои уплачивать обязан.

— Иван, мама, не мог заплатить. Он и хотел бы, да не мог. И няня говорит: «Беднее его во всем селе мужика нет». Какая же это правда?

— Повторяю тебе, закон такой есть, и все должны закон исполнять. Ежели люди живут в обществе, то и обязанностями своими не имеют права пренебрегать. Ты лучше об ученье думай — вот твоя правда. Поступишь в гимназию, будь прилежен, веди себя тихо — это и будет значить, что ты по правде живешь. Не люблю я, когда ты так волнуешься. Что ни увидишь, что ни услышишь — все как-то в сердце тебе западает. Батюшка говорил вообще; в церкви и говорить иначе нельзя, а ты уж к себе применяешь. Молись за ближних — больше этого и Бог с тебя не спросит.

Но Сережа не унялся. Он побежал в кухню, где

в это время собрались челядинцы и пили, ради праздника, чай. Кухарка Степанида хлопотала около печки с ухватом и то и дело вытаскивала горшок с закипающими жирными щами. Запах прелой убоины и праздничного пирога пропитал весь воздух.

— Я, няня, по правде жить буду! — объявил Сережа.

— Ишь с коих пор собрался! — пошутила старуха.

— Нет, няня, я верное слово себе дал! Умру за правду, а уж неправде не покорюсь!

— Ах, болезный мой! ишь ведь что тебе в головку пришло!

— Разве ты не слыхала, что́ в церкви батюшка говорил? За правду жизнь полагать надо — вот что! в бой за правду идти всякий должен!

— Известно, что́ же в церкви и говорить! На то и церковь дана, чтобы в ней об праведных делах слушать. Только ты, миленький, слушать слушай, а умом тоже раскидывай!

— С правдой-то жить оглядываючись надо, — резонно молвил работник Григорий.

— Отчего, например, мы с мамой в столовой чай пьем, а вы в кухне? разве это правда? — горячился Сережа.

— Правда не правда, а так испокон века идет. Мы люди простецкие, нам и на кухне хорошо. Кабы все-то в столовую пошли, так и комнат не наготовиться бы.

— Ты, Сергей Федорыч, вот что! — вновь вступился Григорий. — Когда будешь большой — где хочешь сиди: хошь в столовой, хошь в кухне. А покедова мал, сиди с мамашенькой — лучше этой правды по своим годам не сыщешь! Придет ужо батюшка обедать, и он тебе то же скажет. Мы мало ли что делаем: и за скотиной ходим, и в земле роемся, а господам этого не приходится. Так-то!

— Да ведь это же неправда и есть!

— А по-нашему так: коли господа добрые, жалостливые — это их правда. А коли мы, рабочие, усердно господам служим, не обманываем, стараемся — это наша правда. Спасибо и на том, ежели всякий свою правду наблюдает.

Наступило минутное молчание. Сережа, видимо, хотел что-то возразить, но доводы Григория были так добродушны, что он поколебался.

— В нашей стороне, — первая прервала молчание няня, — откуда мы с маменькой твоей приехали, жил помещик Рассошников. Сначала жил, как и прочие, и вдруг захотел по правде

жить. И что ж он под конец сделал? Продал имение, деньги нищим роздал, а сам ушел в странствие… С тех пор его и не видели.

— Ах, няня! вот это какой человек!

— А между прочим, у него сын в Петербурге в полку служил, — прибавила няня.

— Отец имение роздал, а сын ни при чем остался… Сына-то бы спросить, хороша ли отцовская правда? — рассудил Григорий.

— А сын разве не понял, что отец по правде поступил? — вступился Сережа.

— То-то, что не слишком он это понял, а тоже пытал хлопотать. Зачем же, говорит, он в полк меня определил, коли мне теперь содержать себя нечем?

— В полк определил… содержать себя нечем… — машинально повторял за Григорием Сережа, запутываясь среди этих сопоставлений.

— И у меня один случай на памяти есть, — продолжал Григорий, — занялся от этого самого Рассошникова у нас на селе мужичок один — Мартыном прозывался. Тоже все деньги, какие были, роздал нищим, оставил только хатку для семьи, а сам надел через плечо суму, да и ушел, крадучись, ночью, куда глаза глядят. Только, слышь, пачпорт позабыл выправить — его через

месяц и выслали по этапу домой.

— За что? разве он худое что-нибудь сделал? — возразил Сережа.

— Худое не худое, я не об этом говорю, а об том, что по правде жить оглядываючись надо. Без паспорта ходить не позволяется — вот и вся недолга. Этак все разбредутся, работу бросят — и отбою от них, от бродяг, не будет…

Чай кончился. Все встали из-за стола и помолились.

— Ну, теперь мы обедать будем, — сказала няня, — ступай, голубчик, к маменьке, посиди с ней; скоро, поди, и батюшка с матушкой придут.

Действительно, около двух часов пришел отец Павел с женою.

— Я, батюшка, по правде жить буду! Я за правду на бой пойду! — приветствовал гостей Сережа.

— Вот так вояка выискался! от земли не видать, а уж на бой собрался! — пошутил батюшка.

— Надоел он мне. С утра все об одном и том же говорит, — сказала Марья Сергеевна.

— Ничего, сударыня. Поговорит и забудет.

— Нет, не забуду! — настаивал Сережа. — Вы сами давеча говорили, что нужно по правде жить… в церкви говорили!

— На то и церковь установлена, чтобы в ней о

правде возвещать. Ежели я, пастырь, своей обязанности не исполню, так церковь сама о правде напомнит. И помимо меня, всякое слово, которое в ней произносится, — правда; одни ожесточенные сердца могут оставаться глухими к ней…

— В церкви? а жить?

— И жить по правде следует. Вот когда ты в меру возраста придешь, тогда и правду в полном объеме поймешь, а покуда достаточно с тебя и той правды, которая твоему возрасту свойственна. Люби маменьку, к старшим почтение имей, учись прилежно, веди себя скромно — вот твоя правда.

— Да ведь мученики… вы сами давеча говорили…

— Были и мученики. За правду и поношение следует принять. Только время для тебя думать об этом не приспело. А притом же и то сказать: тогда было время, а теперь — другое, правда приумножилась — и мучеников не стало.

— Мученики… костры… — лепетал Сережа в смущении.

— Довольно! — нетерпеливо прикрикнула на него Марья Сергеевна.

Сережа умолк, но весь обед оставался задумчив. За обедом велись обыденные разговоры о дере-

венских делах. Рассказы шли за рассказами, и не всегда из них явствовало, чтобы правда торжествовала. Собственно говоря, не было ни правды, ни неправды, а была обыкновенная жизнь, в тех формах и с тою подкладкою, к которым все искони привыкли. Сережа бесчисленное множество раз слыхал эти разговоры и никогда особенно не волновался ими. Но в этот день в его существо проникло что-то новое, что подстрекало и возбуждало его.

— Кушай! — заставляла его мать, видя, что он почти совсем не ест.

— In corpore sano mens sana[296], — с своей стороны прибавил батюшка. — Слушайся маменьки — этим лучше всего свою любовь к правде докажешь. Любить правду должно, но мучеником себя без причины воображать — это уже тщеславие, суетность.

Новое упоминовение о правде встревожило Сережу; он наклонился к тарелке и старался есть; но вдруг зарыдал. Все всхлопотались и окружили его.

— Головка болит? — допытывалась Марья Сергеевна.

---

[296] Notes: 296
В здоровом теле здоровый дух *(лат.)*.

— Болит, — ответил он слабым голосом.

— Ну поди, ляг в постельку. Няня, уложи его!

Его увели. Обед на несколько минут прервался, потому что Марья Сергеевна не выдержала и ушла вслед за няней. Наконец обе возвратились и объявили, что Сережа заснул.

— Ничего, уснет — и пройдет! — успокоивал Марью Сергеевну отец Павел.

В вечеру, однако ж, головная боль не только не унялась, но открылся жар. Сережа тревожно вставал ночью в постели и все шарил руками около себя, точно чего-то искал.

— Мартын… по этапу за правду… что такое? — лепетал он бессвязно.

— Какого он Мартына поминает? — недоумевая, обращалась Марья Сергеевна к няне.

— А помните, у нас на селе мужичок был, ушел из дому Христовым именем… Давеча Григорий при Сереже рассказывал.

— Все-то вы глупости рассказываете! — рассердилась Марья Сергеевна. — Совсем нельзя к вам мальчика пускать.

На другой день, после ранней обедни, батюшка вызвался съездить в город за лекарем. Город отстоял в сорока верстах, так что нельзя было ждать приезда лекаря раньше как к ночи. Да и

лекарь, признаться, был старенький, плохой; никаких других средств не употреблял, кроме оподельдока, который он прописывал и снаружи, и внутрь. В городе об нем говорили: «В медицину не верит, а в оподельдок верит».

Ночью, около одиннадцати часов, лекарь приехал. Осмотрел больного, пощупал пульс и объявил, что есть «жарок». Затем приказал натереть пациента оподельдоком[297] и заставил его два катышка проглотить.

— Жарок есть, но вот увидите, что от оподельдока все как рукой снимет! — солидно объявил он.

Лекаря накормили и уложили спать, а Сережа всю ночь метался и пылал как в огне.

Несколько раз будили лекаря, но он повторял приемы оподельдока и продолжал уверять, что к утру все как рукой снимет.

Сережа бредил; в бреду он повторял: «Христос… Правда… Рассошников… Мартын…» — и продолжал шарить вокруг себя, произнося: «Где? где?..» К утру, однако ж, успокоился и заснул.

Лекарь уехал, сказав: «Вот видите!» — и ссылаясь, что в городе его ждут другие пациенты.

---

[297] Notes: 297

Оподельдок — мазь из мыльного и нашатырного спирта с камфорой и эфирными маслами, применявшаяся при ревматических и суставных болях.

Целый день прошел между страхом и надеждой. Покуда на дворе было светло, больной чувствовал себя лучше, но упадок сил был настолько велик, что он почти не говорил. С наступлением сумерек опять открылся «жарок» и пульс стал биться учащеннее. Марья Сергеевна стояла у его постели в безмолвном ужасе, усиливаясь что-то понять и не понимая.

Оподельдок бросили; няня прикладывала к голове Сережи уксусные компрессы, ставила горчичники, поила липовым цветом, словом сказать, впопад и невпопад употребляла все средства, о которых слыхала и какие были под рукою.

К ночи началась агония. В восемь часов вечера взошел полный месяц, и так как гардины на окнах по оплошности не были спущены, то на стене образовалось большое светлое пятно. Сережа приподнялся и потянул к нему руки.

— Мама! — лепетал он. — Смотри! весь в белом… это Христос… это Правда… За ним… к нему…

Он опрокинулся на подушку, по-детски всхлипнул и умер.

Правда мелькнула перед ним и напоила его существо блаженством; но неокрепшее сердце отрока не выдержало наплыва и разорвалось.

1886

Приложение

Сказка о ретивом начальнике, как он сам своими действиями в изумление был приведен

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ретивый начальник. А случилось это очень давно, в ту пору, когда промежду начальства два главных правила в руководство приняты были. Первое правило: чем больше начальник вреда делает, тем больше отечеству пользы принесет. Науки упразднит — польза; город спалит — польза; население испугает — еще того больше пользы. Предполагалось, что отечество завсегда в расстроенном виде от прежнего начальства к новому доходит, так пускай оно сначала, через вред, остепенится, от бунтов отвыкнет, а потом отдышится и настоящим манером процветет. А второе правило: как можно больше мерзавцев в распоряжении иметь, потому что обыватели своим делом заняты, а мерзавцы — люди досужие и ко вреду способные.

Все это ретивый начальник на носу у себя зарубил, и так как ретивость его всем была ведома, то вскорости дали ему в управление вверенный

край. Хорошо. Помчался он туда и уже дорогой все сны наяву видит. Как он сначала один город спалит, потом за другой примется, камня на камне в них не оставит — все затем, чтоб как можно больше вверенному краю пользы принести. И всякий раз при этом будет слезы лить и приговаривать: видит Бог, как мне тяжко! Годик, другой таким манером попалит — смотришь, ан вверенный-то край и взаправду помаленьку остепеняться стал. Остепенялся да остепенялся — и вдруг каторга! Да не такая, как в Сибири, каторга, а веселая, ликующая, где люди добровольно под сению изданных на сей предмет узаконений блаженствуют. В будни работу работают, в праздник песни поют и за начальников Бога молят. Наук нет — а обыватели все до одного хоть сейчас на экзамен готовы; вина не пьют, а питейный доход возрастает да возрастает; товаров из-за границы не получают, а пошлины на таможнях поступают да поступают. А он только смотрит да радуется; бабам по платку дарит, мужикам — по красному кушаку. «Вот какова *моя* каторга! — говорит он ликующим обывателям, — вот зачем я города огнем палил, народ пугал, науки истреблял. Теперь понимаете?»

— Как не понимать — понимаем.

Приехал он в свое место и начал вредить. Вредит год, вредит другой. Народное продовольствие — прекратил, народное здравие — уничтожил, науки — сжег и пепел по ветру развеял. Только на третий год стал он себя поверять: надо бы, по-настоящему, вверенному краю уж процвести, а он словно и остепеняться еще не начинал…

Задумался ретивый начальник, принялся разыскивать: какая тому причина?

Думал-думал, и вдруг его словно свет озарил. «Рассуждение» — вот причина! Начал он припоминать разные случаи, и чем больше припоминал, тем больше убеждался, что хоть и много он навредил, но до *настоящего* вреда, до такого, который бы всех сразу прищемил, все-таки дойти не мог. А не мог потому, что этому препятствовало «рассуждение». Сколько раз бывало, разбежится он, размахнется, закричит «разнесу!» — ан вдруг «рассуждение»: какой же ты, братец, осел! Он и спасует. А кабы не было у него «рассуждения», он бы…

— Давно бы вы у меня отдышались! — крикнул он не своим голосом, сделавши это открытие. — Посмотрел бы я, как бы вы у меня…

И погрозил кулаком в пространство, думая хоть этим пользу вверенному краю принести

На его счастье, жила в том городе волшебница, которая на кофейной гуще будущее отгадывала, а между прочим умела и «рассуждение» отнимать. Побежал он к ней: отымай! Та видит, что дело к спеху, живым манером отыскала у него в голове дырку и подняла клапанчик. Вдруг что-то оттуда свистнуло — и шабаш! Остался наш парень без рассуждения.

Разумеется, очень рад. Хохочет.

Прежде всего побежал в присутственное место. Встал посреди комнаты и хочет вред сделать. Только хотеть-то хочет, а какой именно вред и как к нему приступить — не понимает. Таращит глаза, шевелит губами — больше ничего. Однако ж так он этим одним всех испугал, что от одного его вида нерассудительного разом все разбежались. Тогда он ударил кулаком по столу, разбил его и сам убежал.

Прибежал в поле. Видит — люди пашут, боронят, косят, сено гребут. Знает, что необходимо сих людей в рудники заточить, а за что и каким манером — не понимает. Вытаращил глаза, отнял у одного пахаря косулю[298] и разбил вдребезги, но только что бросился к другому, чтоб борону

---

[298] Notes: 298
Косуля — орудие пахоты.

у него разнести, как все испугались, и в одну минуту поле опустело. Тогда он разметал только что сметанный стог сена и убежал.

Воротился в город. Знает, что надобно его с четырех концов запалить, а почему и каким манером — не понимает. Вынул из кармана коробку спичек, чиркает, да только все не тем концом. Взбежал на колокольню и стал бить в набат. Звонит час, звонит другой, а для чего — не понимает. А народ между тем сбежался, спрашивает: где, батюшко, где? Наконец устал звонить, сбежал вниз, вынул коробку со спичками, зажег их все разом, и только что было ринулся в толпу, как все мгновенно брызнули в разные стороны, и он остался один. Тогда, делать нечего, побежал домой и заперся на ключ.

Сидит день, сидит другой. За это время опять у него «рассуждение» прикапливаться стало, да только вместо того, чтоб крадучись да с ласкою к нему подойти, а оно все старую песню поет: какой же ты, братец, осел! Ну, он и осердится. Отыщет в голове дырку (благо узнал, где она спрятана), приподнимет клапанчик, оттуда свистнет — опять он без рассуждения сидит.

Казалось, тут-то бы и отдышаться обывателям, а они вместо того испугались. Не поняли, значит.

До тех пор все вред с рассуждением был, и все от него пользы с часу на час ждали. И только что польза наклевываться стала, как пошел вред без рассуждения, а чего от него ждать — неизвестно. Вот и забоялись все. Бросили работы, попрятались в норы, азбуку позабыли, сидят и ждут.

А он хоть и лишился рассуждения, однако понял, что один его нерассудительный вид отлично свою ролю сыграл. Уж и то важно, что обыватели в норы попрятались: стало быть, остепеняться хотят. Да и прочие все дела под стать сложились: поля заскорбли, реки обмелели, на стада сибирская язва напала. Все, значит, именно так подстроилось, чтоб обывателя в чувство привести… Самый бы теперь раз к устройству каторги приступить. Только с кем? Обыватели попрятались, одни ябедники да мерзавцы, словно комары на солнышке, стадами играют. Так ведь с одними мерзавцами и каторгу устроить нельзя. И для каторги не ябедник праздный нужен, а обыватель коренной, работящий, смирный.

Стал он в обывательские норы залезать и поодиночке их оттоле вытаскивать. Вытащит одного — приведет в изумление; вытащит другого — тоже в изумление приведет. Но не успеет до крайней норы дойти — смотрит, ан прежние

опять в норы уползли. Нет, стало быть, до *настоящего* вреда он еще не дошел!

Тогда он собрал «мерзавцев» и сказал им:

— Пишите, мерзавцы, доносы!



Обрадовались мерзавцы. Кому горе, а им радость. Кружатся, суетятся, играют, с утра до вечера у них пир горой. Пишут доносы, вредные проекты сочиняют, ходатайствуют об оздоровлении… И все это, полуграмотное и вонючее, в кабинет к ретивому начальнику ползет. А он читает и ничего не понимает. «Необходимо поначалу в барабаны бить и от сна обывателей внезапно пробуждать» — но почему? «Необходимо обывателей от излишней пищи воздерживать» — но на какой предмет? «Необходимо Америку снова закрыть» — но, кажется, сие от меня не зависит? Словом сказать, начитался он по горло, а ни одной резолюции положить не мог.

Горе тому граду, в котором начальник без расчету резолюциями сыплет, но еще того больше горе, когда начальник совсем никакой резолюции положить не может!

Снова он собрал «мерзавцев» и говорит им:

— Сказывайте, мерзавцы, в чем, по вашему мнению, настоящий вред состоит?

И ответили ему «мерзавцы» единогласно:

— Дотоле, по нашему мнению, *настоящего* вреда не получится, доколе наша программа вся, во всех частях, выполнена не будет. А программа наша вот какова. Чтобы мы, мерзавцы,

говорили, а прочие чтобы молчали. Чтобы наши, мерзавцев, затеи и предложения принимались немедленно, а прочих желания чтобы оставлялись без рассмотрения. Чтоб нам, мерзавцам, жить было повадно, а прочим всем чтоб ни дна ни покрышки не было. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холе и в неженье, а прочих всех — в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу считался, а прочими всеми, если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что хотим, то и лаем! Вот коли все это неукоснительно выполнится, тогда и вред настоящий получится.

Выслушал он эти мерзавцевы речи, и хоть очень наглость ихняя ему не по нраву пришлась, однако видит, что люди на правой стезе стоят, — делать нечего, согласился.

— Ладно, — говорит, — принимаю вашу программу, господа мерзавцы. Думаю, что вред от нее будет изрядный, но достаточный ли, чтоб вверенный край от него процвел, — это еще бабушка надвое сказала!

Распорядился мерзавцевы речи на досках написать и ко всеобщему сведению на площадях

вывесить, а сам встал у окошка и ждет, что будет. Ждет месяц, ждет другой; видит: рыскают мерзавцы, сквернословят, грабят, друг дружку за горло рвут, а вверенный край никак-таки процвести не может! Мало того: обыватели до того в норы уползли, что и достать их оттуда нет средств. Живы ли, нет ли — голосу не подают…

Тогда он решился. Вышел из ворот и пошел прямиком. Шел, шел и наконец пришел в большой город, в котором главное начальство резиденцию имело. Смотрит — и глазам не верит! Давно ли в этом самом городе «мерзавцы» на всех перекрестках программы выкрикивали, а «людишки» в норах хоронились — и вдруг теперь все наоборот сделалось! Людишки свободно по улицам ходят, а «мерзавцы» спрятались… Что за причина такая?

Начал он присматриваться и прислушиваться. Зайдет в трактир — никогда так бойко не торговали! Пойдет в калашную — никогда столько калачей не пекли! Заглянет в бакалейную лавку, — верите ли, икры наготовиться не можем! Сколько привезут, столько сейчас и расхватают.

— Да отчего же? — спрашивает. — Какой такой *настоящий* вред вам был нанесен, от которого вы так ходко пошли?

— Не от вреда это, — отвечают ему, — а напротив, оттого, что новое начальство все старые вреды отменило!

Не верит. Отправился по начальству. Видит, дом, где начальник живет, новой краской выкрашен. Швейцар — новый, курьеры — новые. А наконец, и сам начальник — с иголочки. От прежнего начальника вредом пахло, а от нового — пользою. Прежний хоть и угрюмо смотрел, а ничего не видел, этот — улыбается, а все видит.

Начал ретивый начальник докладывать. Так и так; сколько ни делал вреда, чтобы пользу принести, а вверенный край и о сю пору отдышаться не может.

— Повторите! — не понял новый начальник.

— Так и так, никаким манером до *настоящего* вреда дойти не могу!

— Что такое вы говорите?

Оба разом встали и смотрят друг на друга.

1882–1883